

**В. МИХАЙЛОВСКИЙ**

*Статьи  
о русской  
литературе*

*XIX-начала XX века*





**Н. МИХАЙЛОВСКИЙ**

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

*Статьи  
о русской  
литературе*

*XIX-начала XX века*



ЛЕНИНГРАД  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1989

ББК 83.3 Р1  
М 69

**Составление, вступительная статья и комментарии**  
**Б АВЕРИНА**

**Оформление художника**  
**А. А. ВЛАСОВА**

М  $\frac{4603010101-056}{028(01)-89}$  223—88

ISBN 5—280—00391—3

© Состав, вступительная статья,  
комментарии. Издательство «Ху-  
дожественная литература», 1989 г.



---

## СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА Н. К. МИХАЙЛОВСКОГО

Широкую известность Н. К. Михайловский приобрел в конце 60-х годов прошлого века, когда он вошел в редакцию «Отечественных записок» и опубликовал в этом журнале свои первые крупные работы. Один из руководителей журнала, видный публицист Г. З. Елисеев, в письме 1869 года к Некрасову проникательно заметил: «Михайловский, как видно по последним статьям его, оказывается даровитейшей личностью, и может быть даже надеждою литературы в будущем»<sup>1</sup>.

В том же году Некрасов, почти никогда не ошибавшийся в оценке начинающих писателей, так характеризовал Михайловского: «. теперь ясно, что это самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстает хорошая будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, очень энергичен и работающ»<sup>2</sup>.

Позднее, в 1873 году, Достоевский, познакомившись с далеко не хвалебными отзывами Михайловского о его произведениях, писал, что они «поразили его внимание» и он «всею душою убежден, что это один из самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге»<sup>3</sup>.

Отнюдь не склонный к сентиментальным излияниям М. Е. Салтыков-Щедрин в 1885 году признавался в письме к Михайловскому, что он был для него «одним из симпатичнейших и любимейших людей...»<sup>4</sup>

Салтыков-Щедрин, Некрасов, Елисеев — это люди, близко знавшие Михайловского и в значительной степени — его единомышленники. Но вот наступает XX век. Русское общество готовится отметить сорокалетний юбилей литературной деятельности Михайловского.

---

<sup>1</sup> Лит. наследство. М., 1947. Т. 51—52. С. 250.

<sup>2</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1952. Т. 11. С. 147.

<sup>3</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 156—157.

<sup>4</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч.: В 20 т. Л., 1977. Т. 20. С. 156—157.

К этому времени многое в идеологии и практике «шестидесятников» и пришедших им на смену народников 70—80-х годов кажется наивным и устаревшим. И если в течение более трех десятилетий интеллигенция читала и перечитывала, изучала и комментировала его произведения или просто «шла за Михайловским», то теперь ему все чаще приходится читать и слышать критические замечания в свой адрес. «Дети», как это им и положено, начинают пересматривать взгляды своих «отцов» и весьма часто находят в них действительно слабые места, пробелы и крайности. Не избежал этой переоценки и Михайловский. Особенно задевали его сторонники почти всех направлений русского марксизма, хотя популярности Маркса в России, вольно или невольно, он способствовал сам.

Еще в 1872 году Михайловский в рецензии «По поводу русского издания книги Карла Маркса» приветствовал выход первого тома «Капитала». В 1877 году в статье «Карл Маркс перед судом Г. Ю. Жуковского», на которую Маркс откликнулся письмом в редакцию «Отечественных записок», Михайловский писал, что немецкий ученый обладает «редкой логической силой и громадной эрудицией, признаваемой даже решительными его противниками», добавляя, впрочем, что эти качества «могут побудить к принятию без критики и таких его положений, перед которыми отнюдь не полагается отворять настежь ворота»<sup>1</sup>.

Сам Михайловский остро чувствовал, что времена изменились и появилось новое поколение русской интеллигенции. Вечная проблема «отцов и детей» становится для него одной из главных и иногда даже выносится в заглавие работ. К чести Михайловского, естественное неприятие во многом чуждой ему новой идеологии и литературы не помешало ему увидеть несомненную талантливость таких писателей, как Чехов, Горький, Леонид Андреев, Мережковский.

Явное стремление Михайловского понять литературу рубежа веков вызывало у ее представителей искреннее уважение, и, в отличие от ряда народнических критиков, он продолжает играть видную роль в новых исторических условиях. Об этом свидетельствуют высокие оценки Михайловского писателями конца XIX — начала XX века, чьи первые произведения он иногда оценивал излишне сурово.

Так, Чехов, в ответ на предложение революционера и поэта П. Ф. Якубовича принять участие в сборнике в честь сорокалетия литературной деятельности Михайловского, писал: «Я глубоко уважаю Н. К. Михайловского с тех пор, как знаю его, и очень многим обязан

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909. Т. IV. С. 167. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

ему... Мне кажется, что Н[иколай] К[онстантинович] слишком большой и слишком заметный человек, чтобы празднование его 40-летнего юбилея можно было ограничить изданием сборника... Если бы от меня зависело, то я объявил бы конкурс на книгу о деятельности Н[иколая] К[онстантиновича], очень хорошую и нужную книгу, которую издал бы не спеша, с толком, издал бы указатель статей его и о нем, выпустил бы прекрасный портрет его...»<sup>1</sup>

После того как в 1901 году вышла статья Михайловского о первом сборнике рассказов Л. Андреева, начинающий автор в письме к критику называет его своим учителем и пишет: «Как и все поколение, к которому я принадлежу, я учился мыслить «по Михайловскому», и с этим именем у меня связывается так много хорошего, светлого и честного. Я не могу подумать о начале своей сознательной жизни без того, чтобы тотчас же не вспомнить Вас. Вы были одним из самых дорогих моих учителей, указавших мне настоящую дорогу, и Ваше одобрение бесконечно дорого мне»<sup>2</sup>.

Эти отзывы подтверждают необычность литературной судьбы Михайловского. Его идеи, суждения и оценки были живыми и действительными на протяжении долгого исторического периода, несмотря на резкие изменения, происходившие в культуре, философии и литературе. Секрет редкого «литературного долголетия» Михайловского кроется не только в тонкости эстетического вкуса (иногда все-таки изменявшего ему) и особом изяществе стиля (к чему не особенно и стремился критик) и даже не в его гражданской стойкости и честности, никогда и ни у кого не вызывавших сомнений. Он объясняется глубиной и оригинальностью его мышления, о чем и свидетельствуют его литературно-критические статьи.

Николай Константинович Михайловский (1842—1904) родился в городе Мещовске Калужской губернии в дворянской семье. Матери он лишился в раннем детстве. Отец умер, когда ему было четырнадцать лет. После окончания гимназии в Костроме, родственники определили Михайловского в Петербургский институт корпуса горных инженеров. В своих воспоминаниях, которые до сих пор остаются почти единственным источником биографических сведений о молодом Михайловском, он отмечал, что почувствовал склонность к сочинительству с раннего детства. В гимназии и в институте он отличался сочинениями на заданные или им самим избранные темы. Тепло вспоминал Михайловский и о своих учителях русского языка, которые всегда

---

<sup>1</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. М., 1980. Т. 9. С. 88—89.

<sup>2</sup> Лит. архив. М.; Л., 1960. Кн. 5. С. 51.

с вниманием относились к самым зачаточным проблескам его литературного дарования.

Весной 1860 года, как с мягким юмором рассказывает сам Михайловский, он «с трепетным сердцем и маленькой рукописью в кармане пробирался на Петербургскую сторону в редакцию «Рассвета», «журнала для взрослых девиц», издававшегося артиллерийским офицером Кремлиным»<sup>1</sup>.

В это время в журнале «Современник» появился отрывок из романа Гончарова «Обрыв», озаглавленный «Софья Николаевна Беловодова». «Маленькая рукопись» Михайловского и была статьей-рецензией на этот отрывок, где автор высказывал свой взгляд на остро стоявший тогда женский вопрос. Одновременно Михайловский задумал еще целый ряд статей о «женских фигурах, исторических, поэтических».

В том же юмористическом тоне Михайловский продолжает, что в это время он «женщин не только не знал, а почти что и не встречал. Оторванный волею судеб с 14 лет от всякой семейной обстановки, заключенный в четырех стенах закрытого заведения и долго не имея в Петербурге никаких знакомых, я только перед самым своим выходом из корпуса, можно сказать, увидел женщин. Отсюда следует заключить, что в статейку о «Софье Николаевне Беловодовой» едва ли вложено особенно глубокое понимание, хотя тогда я, разумеется, был совершенно иного мнения об этом своем первенце»<sup>2</sup>.

В этом эпизоде Михайловский видит две явные несообразности. Почему никому не известный артиллерийский офицер издает журнал «для взрослых девиц», а начинающий автор первую свою работу посвящает женскому вопросу? В общей форме ответ вполне очевиден — таково было «веяние времени». Но не менее важны для Михайловского и частности.

Автор был молод и, не будучи поэтом, вместо «голубоглазых идеалистических стихов» «к ней», писал статьи по «женскому вопросу». То есть здесь была естественность и особая искренность теоретизирования, характерная для многих «шестидесятников». Кроме того, возраст автора совпадал с «молодостью» эпохи, освобождающейся от многих мировоззренческих и социальных пут. И последнее, но очень существенное обстоятельство. По мнению Михайловского, есть сложные общественные проблемы, которые, тем не менее, легко формулируются в своих исходных пунктах. «К числу их, — подчеркивает критик, — принадлежит и так называемый женский вопрос. Основные его положения так просты и ясны, что им, собственно говоря, могут быть

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1905. Т. 1. С. 6.

<sup>2</sup> Там же. С. 7.

противопоставлены только лицемерие, предрассудки и насилие... Он не был, конечно, ни самым значительным, ни самым острым из множества возникших тогда общественных вопросов, но он был самым общедоступным. В сущности, он вовсе не так прост, как кажется или как казалось тогда, но его первые элементы поражают известным образом молодые умы и молодые или помолодевшие общества своею простотой и ясностью... Чтобы понять это и проникнуться этим, не требуется ни специальных знаний, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрых чувств, которые могут быть и у артиллерийского офицера, и у полувзрослого горного кадета»<sup>1</sup>.

Восемнадцатилетний автор этой статьи демонстрирует незаурядные способности публициста, и никто, прочтя это произведение, не мог бы назвать Михайловского юным и неопытным. Статья начинается с общего положения о неспособности «русского человека к продолжительному напряжению» физических и нравственных сил. По мнению Михайловского, который в этом случае следует за статьей Добролюбова «Что такое обломовщина?», «русский народ любит дать отдохнуть своим богатырским силам, продолжительное, а тем более постоянное напряжение чувств, ума, воли, силы физической для него непонятно», «да и вся-то святая Русь долго, долго была сонным царством» (X, 371). Но эта категоричная и однозначная оценка в дальнейшем подвергается сомнению: «Тем не менее человека, спящего всю жизнь, всю жизнь не напрягавшего своих сил, нам трудно себе представить» (X, 371). Уже в статье «Софья Николаевна Беловодова» проявилась та черта Михайловского-мыслителя, которая впоследствии станет определяющей его особенностью — стремление увидеть с нескольких, иногда прямо противоположных точек зрения предмет или явление, придав им тем самым действительную глубину и стереоскопичность. И отсюда главное достоинство его статей — отсутствие какого-либо догматизма.

Сам Михайловский считает, что истинно художественное произведение также должно соответствовать этому требованию. В конце статьи «Софья Николаевна Беловодова» есть наблюдение о том, что если раньше писатель изображал честного человека, то он «обыкновенно был честен во всю свою жизнь, это был абсолютно честный человек, воплощенная честность, а потому он и носил неизменно свою кличку». Его потому и привлекал Гончаров, что у него было «слишком много таланта и литературного такта, чтобы сделать такую грубую ошибку» (X, 379).

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. С. 8.

Вместе с тем Михайловский достаточно быстро понял всю наивность своей статьи, в которой он брался объяснить характер женщины, не будучи даже хорошо знакомым ни с одной из них. Этот первый юношеский опыт, осознанный много позже, научил Михайловского за внешним глубокомыслием и аргументированностью видеть отсутствие у автора того, что в дальнейшем будет названо «живой жизнью», часто не укладывающейся в рамки стройных логических схем и концепций. Все основные работы зрелого Михайловского — это результат долгого, внимательного и подробного изучения предмета. Они поражают действительной эрудицией, хотя Михайловский так и не получил диплома о высшем образовании.

Он вспоминает, что, еще учась в Петербургском институте корпуса горных инженеров и знакомясь с судебной реформой, он воображал себя выдающимся адвокатом, произносящим блестящие речи в качестве «защитника вдов и сирот». «А тут произошли еще школьные беспорядки,— продолжает Михайловский в своих воспоминаниях,— в результате которых мне было так настоятельно любезно предложено подать прошение об увольнении из корпуса, что я не мог отказаться»<sup>1</sup>. Иногда его упрекали в том, что он нигде не кончил курса и не имеет диплома. На это Михайловский отвечал достаточно убедительно: «Надо заметить, что в мое время горный корпус состоял из пяти приготовительных и трех специальных классов. Я вышел из корпуса, сдав экзамен в 3-й специальный, то есть последний класс. Поэтому в выданном мне аттестате значатся успехи в таких науках, каких господа, дразнящие меня неокончанием курса, может быть даже и не слыхивали! Разумеется, я все эти специальные знания давно растерял... а то, что и в этих случаях может дать систематическое школьное обучение — известную умственную дисциплину,— я получил»<sup>2</sup>.

После исключения из института, Михайловский уезжает в провинцию к родным, мечтая в дальнейшем поступить на юридический факультет Петербургского университета. Вернувшись в Петербург, он посещает лекции на юридическом факультете, но затем мечта об адвокатуре постепенно перестает увлекать его, и Михайловский осознает себя литератором.

Еще мечтая о карьере адвоката, он прочел много юридической литературы, благодаря которой впервые познакомился с философией Гегеля, а затем своеобразной ее интерпретацией у Прудона. Если добавить к этому имена Белинского, Добролюбова и Писарева, то таков

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. С. 12.

<sup>2</sup> Там же. С. 13.

был первоначальный научный и мировоззренческий багаж Михайловского.

В 1865 году он встречается с братом известного поэта, переводчика и редактора «Искры» В. С. Курочкина Николаем Степановичем Курочкиным, которого Михайловский называл своим литературным «крестным отцом». Курочкин предлагает Михайловскому стать сотрудником библиографического журнала «Книжный вестник». В этом малозаметном журнале работал также и Николай Дмитриевич Ножин. Он успел опубликовать в «Бюллетене» Петербургской Академии наук часть своего исследования по биологии мелких морских животных, а в «Книжном вестнике» статью о теории Дарвина. Умер он, когда ему было двадцать пять лет <sup>1</sup>. О Ножине Михайловский писал, что это был человек «брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии)» <sup>2</sup>. Под влиянием Ножина, который был сторонником дарвинизма в биологии и противником его в социологии, Михайловский много занимался той и другой наукой. В его сознании начал складываться план большого социологического исследования, получившего впоследствии название «Что такое прогресс?». Будучи опубликовано в 1869 году, оно сделало его автором всероссийски знаменитым. Пока же Михайловский пишет для «Книжного вестника» целый ряд статей библиографического характера. Но журнал просуществовал недолго. После его закрытия в 1867 году Михайловский в течение нескольких лет бедствует, изредка печатается в журнале «Неделя», газете «Гласный суд», альманахе «Невский сборник».

Затем в 1868 году в петербургской журналистике начинается период некоторого оживления. Некрасов берет в аренду журнал «Отечественные записки», и Н. С. Курочкин, заведовавший в этом журнале библиографическим отделом, приглашает Михайловского принять в нем участие. Казалось бы, Михайловский должен был с радостью согласиться, но он долго не решался сделать это. После покушения Каракозова Некрасов, с целью спасти от закрытия издававшийся им журнал «Современник», написал приветственное стихотворение председателю верховной следственной комиссии по делу Каракозова и усмирителю польского восстания Муравьеву. О своих сомнениях Михайловский писал так: «Для нас, молодых читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского произвели непоправимый изъян в физиономии «Современника»... Охлаждение к «Современнику» вообще осложнилось еще слухами о неблагоприят-

<sup>1</sup> Подробнее о Н. Д. Ножине см.: Р у д н и ц к а я Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин. М., 1975.

<sup>2</sup> М и х а й л о в с к и й Н. К. Литературные воспоминания и современная смуга. Т. 1. С. 17.

ном поведении Некрасова в трудное время 1866 года... Мне, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов? Хорош!?»... Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико, и немудрено, что я упираюсь идти в «Отечественные записки»<sup>1</sup>. Тем не менее Михайловский в конце концов соглашается с предложением Н. С. Курочкина и получает лестное приглашение прочесть начало своего романа «Борьба» в присутствии всей редакции журнала «Отечественные записки». Так Михайловский впервые знакомится с Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Слепцовым и Елисеевым. Роман «Борьба» был встречен редакцией благосклонно, что делало честь начинающему автору, но сам автор при первом чтении убедился, что беллетристика — не его область. Роман остался неопубликованным. Это был момент окончательного самоопределения.

И еще один очень важный вывод сделал для себя Михайловский после встречи с редакцией «Отечественных записок». Он почувствовал, что Некрасов, Салтыков и Елисеев были опытными и горячо преданными своему делу журналистами, почувствовал самое главное: что «от этих людей и от руководимого ими дела веяло спокойною, сознающею себя силою». Признавая крупный талант Салтыкова и Некрасова, Михайловский понимал, что их личные способности «удваивались тем историческим путем, на котором они стояли»<sup>2</sup>. И, начиная с 1869 года вплоть до закрытия журнала, Михайловский становится одним из самых ярких сотрудников «Отечественных записок». Быстро пришедшая к нему известность — а в 80-е годы Михайловского называли властителем дум молодежи и популярнейшим мыслителем своего времени — во многом и объяснялась, и укреплялась верно выбранной исторической позицией. Популярность Михайловского имела много оснований.

Он быстро заявил о себе как о мыслителе, работающем в той области знаний, в которой у него, по существу, не было предшественников. Эта область — социология, опирающаяся на естественные науки и на дарвинизм. Огромная эрудиция Михайловского позволила ему одному из первых в русской литературе и публицистике критически осмыслить труды таких общеевропейских авторитетов, как Конт, Спенсер, Дарвин, Милль. Кроме того, Михайловский умел сочетать самые высокие теоретические проблемы с конкретными фактами русской и зарубежной культуры, литературы и политики. Бесспорно, привлекала современников и его традиционная для русского интеллигента антиправительственная позиция.

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. С. 46—48.

<sup>2</sup> Там же. С. 55.



Особенно популярны статьи Михайловского были среди молодежи. Так, например, В. Г. Короленко, в юности захваченный еще не ясными ему народническими настроениями, вспоминал впоследствии: «Я уже года четыре интересовался статьями Михайловского и любил их. Еще студентом петровской академии я прочел одну из них и сразу был захвачен: то настроение, романтическое, смутное, которое бродило среди молодежи и звало наше поколение к народу,— находило здесь глубокое реально-научное обоснование, и то обстоятельство, что Михайловский перемешивал изложение своей теории с постоянными экскурсами публициста в самую злободневную современность, придавало его статьям интерес особенно захватывающий»<sup>1</sup>.

Короленко точно характеризует одну из самых привлекательных способностей стиля Михайловского, а именно: сочетание элементов высокой научности с самой злободневной публицистикой. Эта черта его стиля была для современников в новинку, так как традиционно демократическая мысль пользовалась особым, эзоповым языком. Михайловский же старался композиционно соединить теоретическое обобщение и публицистическую характеристику действительности так, что читатель без труда мог самостоятельно связать теорию с реальностью и сделать необходимые автору выводы.

И для того, чтобы понять Михайловского-критика, необходимо осмыслить общетеоретические взгляды Михайловского-философа и социолога, потому что и литературные факты, и явления социальной действительности Михайловский использовал как иллюстрацию своих философско-социологических концепций.

\* \* \*

Основные идеи Михайловского первоначально были сформулированы им в двух работах: «Что такое прогресс?» и «Борьба за индивидуальность», которые и определили всю последующую тематику его статей. В них Михайловский ставит два главных, тесно связанных для него вопроса — о сущности прогресса и о том, способствует или препятствует прогресс общества и государства развитию личности человека. Своими статьями Н. К. Михайловский вступает в борьбу со стереотипами мышления и начинает ее с потрясения основ. В основе мышления лежит слово. Слово имеет огромную силу, и чаще именно оно владеет человеком, а не человек им. «Много есть таких слов, священных для одних и ненавистных для других, нелегко поддающихся власти человека»,— справедливо считает Михайловский. Среди них

---

<sup>1</sup> Короленко В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. СПб., 1914. Т. 2. С. 283.

на первом месте стоят такие, как «прогресс», «культура», «цивилизация», «личность», «патриотизм», «отечество», «свобода».

По Михайловскому, существует определенный закон в истории слова. Он состоит в том, что есть постоянное несоответствие между понятием и тем словом, которым оно выражается: «К известному понятию приросло известное слово. Понятие расширяется, расслаивается, сдвигается сообразно историческому ходу отношений человека к соответствующему ряду фактов, а слово стоит себе, как скала незыблемая. Таким путем слово весьма часто не только утрачивает первоначальное значение, но получает два или несколько различных значений или даже лишается всякого значения. Язык человека поневоле становится врагом его, обманывая его на каждом шагу, не поддаваясь его усилиям восстановить равновесие между состоянием его сознания и известным сочетанием звуков» (I, 756). Однако чаще всего даже сама попытка анализировать такие «святые» слова, как «личность», «прогресс», «свобода», соотносить их с соответствующим рядом новых фактов кажется человеку кощунственной попыткой разрушения идеалов. «Надо перестать мыслить словами», — парадоксально утверждает Михайловский, потому что изменившемуся понятию по-прежнему соответствует крепко сросшееся с его предыдущим значением слово. Слово — это божественный дар и одновременно исконный враг человека — такова одна из «двойных формул» Михайловского.

В самом себе это противоречие между словом и понятием Михайловский осознал очень рано. Так, он вспоминает, что в юности прочитал труд Дарвина о происхождении видов и был потрясен глубиной логики и силой мышления английского ученого. Такие высокие слова, как «наука», «прогресс», «естественный ход развития», находили в этом труде свое окончательное утверждение и требовали распространения законов Дарвина на систему человеческих отношений, что и делали многие современники Михайловского, принимавшие выводы естественных наук за окончательные истины и частично по этой причине получившие впоследствии название «нигилистов».

Одновременно с трудами Дарвина Михайловский прочел книгу французского ученого, историка и публициста Ж. Мишле (1798—1874) «Любовь». Бессильная риторика, высокие, но пустые слова, отсутствие логики — таково главное его впечатление об исследовании Мишле. И вместе с тем, вспоминает Михайловский, все его существо было на стороне Мишле и восставало против, казалось бы вполне естественного, перенесения научных истин Дарвина на человеческое общество: «И от этого сопоставления становилось на душе еще тяжелее: на одной стороне, на той, на которой лежит душа, — бессилие мысли и паточная риторика, а на противополож-

ной — всепокоряющая сила знания и логики» (IV, 64). Поиски способов преодоления этого противоречия во многом определили все дальнейшее развитие Михайловского — мыслителя, критика и публициста.

Своему методу Михайловский, следуя за выдающимся русским общественным деятелем и мыслителем П. Л. Лавровым, дает странное, парадоксальное определение — «субъективный метод в социологии». Разве может быть научный метод — субъективным? Так уже в самом определении метода Михайловский начинает борьбу со словами, пытаясь наполнить их новым содержанием, преодолевая инертность и трафаретность мышления.

Метод в общественных науках, подчеркивает Н. К. Михайловский, всегда субъективен, только чтобы понять это, нужно отбросить привычные значения слов: субъективный — значит ошибочный, неверный, «плохой», а объективный — значит научный, правильный, «хороший». Ученый-социолог должен осознать в себе неизбежную субъективность, то есть тот самый глубокий слой личности, который определяет мечты и идеалы, часто оформляясь в далеко не адекватных, а иногда и прямо противоречащих им по смыслу словах и выражениях. Это осознание аналогично тому противопоставлению, которое почувствовал в себе Михайловский, прочтя одновременно Дарвина и Мишле.

Одна из основ гносеологии Михайловского определяется неоднозначно им трактуемым понятием «предвзятого мнения». Человеческое сознание, по мнению Михайловского, зависит от унаследованного, личного и сочувственного опыта. Унаследованный опыт — это культура, обычаи, сложившаяся традиционная идеология. И поэтому справедливо утверждение, что даже сознание новорожденного — это не *tabula rasa*, то есть не просто чистая доска, на которой затем будет записываться его личный опыт. Личный опыт — это сформировавшееся своеобразие индивидуальных переживаний и оценок, которые дополняют опыт унаследованный.

Сочувственный опыт (термин, который Михайловский заимствует у Спенсера) — есть способность человека выйти за пределы собственной личности, пережить жизнь другого, посмотреть на мир чужими глазами, отрешиться хотя бы на время от собственных взглядов, мнений, привычек. Унаследованный и личный опыт и составляют основу «предвзятого мнения», но это вовсе не означает, что такое мнение заведомо неверное. Михайловский считает «предвзятым» практически любое человеческое мнение, потому что оно так или иначе включает в себя личный и унаследованный опыт.

Каждое же непосредственное восприятие складывается из взаимодействия впечатления, получаемого от предмета в данную минуту, или перцепции, и сложившихся ранее впечатлений, или апперцепции.

Процесс их взаимодействия может приводить к двоякого рода результатам. С одной стороны, наследуемый опыт, культура, выраженная в слове, часто не позволяют человеку увидеть изменившийся мир. С другой стороны, сильные непосредственные впечатления от новых элементов действительности заставляют отрицать традиционные взгляды и сложившиеся мнения, закрывая при этом истины, которые они в себе несли. В первом случае апперцепция искажает и подавляет перцепцию, во втором — наоборот. И человек «вследствие этого видит то, чего на самом деле нет, не видит того, что встречается на каждом шагу, придает важное значение самым бедным доводам и не убеждается таблицей умножения». «Против этого рода опасностей, — подчеркивает Михайловский, — есть только одно средство: по возможности тщательно проверять свое эмпирическое содержание и отыскивать его источники. Если комбинация восприятий, лежащих в основу предвзятого мнения, признана и может быть сформулирована, она обращается в теорию, допускающую критическое отношение к себе» (I, 133).

Проверка опытов, взглядов, понятий историей их возникновения вела Михайловского к мышлению «двойными формулами», не допускающими абсолютизации той или иной теории. Они позволяли ему увидеть, например, что прогресс общества влечет за собой регресс личности, высокая «степень» развития может сочетаться с низким его «типом», «правда-истина» должна быть уравновешена «правдой-справедливостью», «честь» и «совесть» имеют разную направленность, «десница» уживается с «шуйцей», а объективность — с субъективностью.

Если для Спенсера опыт служит критерием истины, для Михайловского опыт всегда результат сложного взаимодействия перцепции и апперцепции, и потому его данные далеко не всегда являются показателем истины. Поэтому Михайловский противопоставляет внешне объективному методу Спенсера собственный «субъективный метод», в основе которого лежит попытка осознать и сформулировать те идеалы, которые неминуемо определяют «предвзятое мнение».

В исторических и социологических сочинениях, по Михайловскому, самое главное — это *критерий*, с которым подходит исследователь к действительности, так как именно он и определяет выбор тех или иных фактов из огромного моря исторической и социальной жизни человечества. Таким критерием для исследователя является его идеал. С точки зрения своего идеала, ученый восхищается или негодует, проклиная или благословляет факты социальной и исторической действительности.

Социолог, по Михайловскому, не может не внести своих мнений и оценок в исследование, доказывая возможность осуществления

собственного идеала. Но вот это последнее и важнейшее обстоятельство чаще всего им не осознается, «остается в скрытом состоянии». Истинный же социолог, считает Михайловский, должен начинать исследование «с некоторой утопии», а именно: сформулировать свой идеал, «то есть такое расположение реальных элементов, которое лучше, выше, желательнее, чем действительность», после чего «должен прямо сказать: желаю познавать отношения, существующие между обществом и его членами, но кроме познания я желаю еще осуществления таких-то и таких-то моих идеалов, посылное оправдание которых при сем прилагаю» (IV, 406).

Вместе с тем субъективность такого метода становится относительной, так как в само понятие опыта Михайловский включает и опыт сочувственный как возможность встать на точку зрения другого человека или социального слоя, тем самым как бы выйдя за пределы своего сознания, что усложняет и дополняет общепринятое понятие субъективности. Поэтому определение субъективного метода у Михайловского уточняется следующим образом: «субъективным методом называется такой способ удовлетворения познавательной потребности, когда наблюдатель ставит себя мысленно в положение наблюдаемого», и в этом случае «исследователь приближается к истине настолько, насколько он способен переживать чужую жизнь» (III, 400).

Именно с этого разграничения методов и начинаются размышления Михайловского о Л. Толстом в цикле «Записки профана». Одним из поводов обращения Михайловского к творчеству Толстого была его работа «Прогресс и определение образования». Подход Толстого к понятию прогресса был близок Михайловскому. Само слово «прогресс» традиционно воспринималось как нечто положительное, должное, необходимое. В одной из своих первых больших теоретических статей «Что такое прогресс?» Михайловский разрушает эту традиционно положительную оценку данного понятия, раскрывая, как поразному оно входит в различные предвзятые представления, и отказываясь от оценочного его понимания. В социальной сфере Михайловский выделяет как минимум два вида прогресса: прогресс общества и развитие индивидуальности, утверждая, что «эти два вида прогресса не всегда безусловно совпадают и в сумму цивилизации входят иногда неравномерно» (I, 47) Иллюстрацией этой попытки показать неоднозначность и сложность процесса развития служит для Михайловского теория Дарвина.

В природе прогрессом, по Дарвину, считается приспособление живого организма к условиям существования, дающее возможность длительного сохранения вида. Одновременно прогрессом в природе считается постоянное усложнение организма, дифференциация составляющих его частей. Но приспособление очень часто идет по пути

упрощения, а не дифференциации и усложнения организма. В таком случае, что же считать прогрессом?

Однозначный ответ невозможен, считает Михайловский. Если подойти с этой точки зрения к обществу, то окажется, что результатом борьбы за существование для человека является приспособление к исторически данной социальной среде. Но в этом случае человек неминуемо утрачивает индивидуальность. Таких приспособившихся людей Михайловский называл «практическими типами». Эта одна из частей обычных «двойных» формул Михайловского. Вторая часть этой формулы — «идеальный тип», не приспособившийся к среде, а, наоборот, борющийся за такое ее состояние, которое могло бы удовлетворить гармонически развитую индивидуальность.

Михайловскому близко понимание Толстым прогресса, которое выразилось в осуждении писателем современной цивилизации, превращающей человека в функцию, или, по любимому выражению Михайловского, в «палец от ноги». Переводя на свой язык учение Толстого и развивая основные его идеи, Михайловский в статье «Десница и шуйца Льва Толстого» пользуется разработанной им теорией «типа» и «степени» развития.

Для Толстого современная цивилизация — регресс, и поэтому Михайловский видит в нем олицетворение «идеального типа», то есть человека, способного противостоять тому, что считается исторически закономерным развитием. Это, по Михайловскому, — «десница» великого писателя. Но, как «идеальный тип», Толстой односторонен в своих оценках. И здесь кроется его «шуйца». Михайловский считает современное состояние общества высокой «степенью» развития и не отрицает, а скорее приветствует то, что традиционно называют «благами цивилизации». Но, с другой стороны, это очень низкий «тип» общества, так как он препятствует гармоническому развитию индивидуальности, и потому критика его Толстым совершенно оправданна.

Толстого современники постоянно упрекали, что он великий художник, но слабый мыслитель. Автор «Войны и мира» создал странную и, как многие считали, примитивную философию истории и почти абсурдную теорию свободы и необходимости, наивно восставая против «исторического хода вещей» и законов истории.

В своей статье Михайловский остроумно и тонко доказывал, что Толстой не отрицает законов истории, но считает необходимым и обязательным нравственный суд над историческими событиями.

Сам Михайловский все факты делил на три разряда. Первый разряд — это факты естественные, совершающиеся помимо воли и сознания человека. Таковы, например, законы природы, прилагать к которым мерку нравственного суда — бессмысленно.

Другой разряд — факты исторические. С одной стороны, они столь же законченны и не подлежат изменению, как и факты естественные, но тем не менее человек не может относиться к ним равнодушно, так как они в свое время прошли «через руки и сознание» людей.

И самый важный разряд — это факты, с которыми человек сталкивается в настоящем. «По существу, они, разумеется, ничем не отличаются от фактов естественных и управляются общими для всего сущего законами, но ошибочно или нет, а человек — по самой природе своей — чувствует ввиду их свою ответственность, потребность нравственного суда, возможность влиять на факты в ту или иную сторону» (V, 378). В этой области фактов человек свободен, утверждает Михайловский, и никакие доказательства их естественности, закономерности и необходимости не снимают с человека личной нравственной ответственности за все происходящее. Здесь взгляды Толстого и Михайловского совпадают, взаимно дополняя друг друга.

Предметом исследования Михайловского была прежде всего статья Толстого о народном образовании, что давало возможность критику очень четко выделить одну из центральных проблем, заданных народнической идеологией.

Михайловский согласен с Толстым, что в народе заключены громадные духовные силы и возможности, которыми далеко не всегда обладают люди, стоящие вне его. Вместе с тем о народе чаще всего говорится как о темной, неразвитой массе, испытывающей потребность в образовании. И то и другое мнение опирается на реальные факты, чем и объясняется двойственность позиции образованных классов по отношению к крестьянству. И возникает вопрос: нужно учиться у народа или, наоборот, учить народ?

Толстой считает, что образование крестьянства должно сводиться к передаче некоторой суммы сведений, а воспитывать его нельзя, так как можно дать народу «камень вместо хлеба» и разрушить заложенные в нем задатки добра, красоты и справедливости. Тем более что такие задатки существуют в народе в гармонической целостности, в отличие от образованного общества, сознание которого отягощено рефлексией, изломанностью, эгоизмом.

По мнению Михайловского, Толстой предлагает только видимость решения. Отношение же Михайловского к народу станет понятным, если обратиться к излагаемой им самим истории возникновения и развития народнической идеологии. Тем более что социологические, философские и историко-литературные исследования Михайловского, опубликованные в «Отечественных записках», во многом определяли то явление в русской культуре, которое получило название народничества. Он по праву считается одним из выдающихся его

идеологов в целом и самым ярким представителем народнической критики в частности.

Михайловский исследует генезис народничества, начиная с движения декабристов, подчеркивая, что «их ядро составляла военная молодежь аристократического происхождения» (II, 633).

Лучшие люди 40-х годов по своему общественному положению представляли гораздо менее определенную социальную группу. Это были литераторы, профессора, средней руки помещики, закончившие курс в русском или немецком университете, часто стоявшие вне государственной службы. Михайловский считает, что центральной их идеей была идея цивилизации, причем сводилась она к двум основным элементам — философии и искусству. К существующей действительности они относились отрицательно и находили себе прибежище «в гегелевской диалектике и прекрасных образах» (II, 634).

Но вот появляется Белинский, и вместо общих вопросов цивилизации под «красивой корой искусства и философии» заклокотали чисто земные, жизненные задачи — «освобождение крестьян и освежение политической атмосферы» (II, 634).

Следующая эпоха выдвинула на арену две новые силы — разночинцев и «кающихся дворян». Если, по Михайловскому, лучшие люди 40-х годов пытались ответить на вопросы, что такое истина, красота, прогресс, свобода, возводя их решение на высоты философии, то разночинцы «принесли с собою новую точку зрения, которая состояла в подчинении общих категорий цивилизации идее народа» (II, 647).

В этой центральной для Михайловского 70-х годов формуле прежде всего бросается в глаза необычное словосочетание «идея народа», вместо традиционного — «благо народа». Частично такая замена объясняется тем, что о благе народа «пеклась» официальная идеология, с которой Михайловский, конечно, не хотел иметь ничего общего. Но суть дела все-таки заключалась в другом.

Выразителем идеологии эпохи становится все более широкий круг образованного общества и проблемы, им решаемые, с высот философии опускаются к «земле». Соответственно, атрибутами «идеи» становятся не философские и эстетические категории, а такое по отношению к ним конкретное и достаточно определенное социальное понятие, как народ.

Есть и еще одно объяснение необычного словосочетания «идея народа», используемого Михайловским. Существует непосредственное соответствие между глубиной мысли и сложностью исследуемого объекта. Какую глубокую мысль можно извлечь, изучая темного, непросвещенного крестьянина? Poleмическая направленность приведенного словосочетания становится очевидной, если иметь в виду



распространенное во времена Михайловского мнение о том, что может служить предметом изображения для писателя.

В 1874 году в цикле «Из дневника и переписки Ивана Непомнящего» Михайловский цитировал следующее утверждение анонимного критика: «Мы не дали себе труда понять, что литература ничем другим не может питаться, как интересами образованного круга, потому что они одни только суть истинные национальные интересы в форме сознательной и приуроченной к интересам цивилизации... Образованному человеку естественно относиться с гораздо большим интересом к драме, возникшей из столкновения сложных и зрелых характеров, руководимых страстями и побуждениями цивилизованного быта, нежели к прозябанию жизни, остановившейся на низшей форме развития... Культурная жизнь имеет историю, владеет идеалами, в ней нарождаются и сталкиваются интересы, открывающие человеческой мысли далекие горизонты. Жизнь культурного общества, его положение в виду народных масс, находящихся в состоянии культурной неподвижности или стихийных движений, уже есть идея» (II, 683—684).

Следовательно, даже простое изображение сложных характеров представителей образованного общества уже сообщает произведению идейную наполненность. Что же может дать изображение людей, «находящихся на низшей форме развития»? По Михайловскому, и разночинец, и «кающийся дворянин», и такие писатели, как Толстой, Глеб Успенский, Гаршин, открыли в народе многое такое, что представляет не меньший интерес, чем культурная жизнь, идеалы и сильные личности образованного сословия.

«Кающийся дворянин» осознал, что все блага, включая и культурные, он приобрел за счет народа и он в неоплатном долгу перед ним. Как, в какой форме можно отдать этот долг? «Разночинцу не в чем было каяться, он от других требовал покаяния» (II, 648), — подчеркивал Михайловский, то есть предъявлял счет обществу за ту жизнь, которой жил он и народ, известный ему лучше и больше, чем знали его другие. Но в какой форме предъявить этот счет, что нужно делать для того, чтобы изменилась жизнь народа?

Когда русские писатели и интеллигенты, пытаясь ответить на эти вопросы, обратились к изучению народа, они действительно увидели в его жизни проблемы и сложности, не уступающие по глубине жизни образованного общества. Глеб Успенский открыл теорию «власти земли», очень близкую по своему содержанию «двойным» формулам Михайловского. Для многих «народолюбцев» такая социальная форма крестьянской жизни, как община, скрывала в себе возможность гармонического развития человека.

Однако порожденное эпохой 60-х годов общее настроение, которое влекло к крестьянину разночинца и «кающегося дворянина», по-

степенно приобретало характер излишне закругленных, с немалым оттенком догматизма схем. И Михайловский становится одновременно и ведущим идеологом народничества, и его постоянным критиком.

Те «кающиеся дворяне», которые требовали решительных действий, создают два направления в народничестве. Последователи М. Бакунина считают народ готовым к революции и призывают к немедленным действиям. Последователи П. Лаврова, наоборот, считают длительную и неспешную пропаганду в народе единственным способом приблизить возможное где-то в очень далеком будущем крестьянское восстание. Михайловский достаточно далек и от тех, и от других.

Многие из тех, кто «пошел в народ», действительно увидели в крестьянстве недостижимую для образованного человека нравственную высоту.

Единомысленник и друг Михайловского, много лет сотрудничавший с ним в журнале «Русское богатство» В. Г. Короленко так писал об идеологических устремлениях молодежи этого времени: «Молодежь 70-х годов сделала свои выводы из посылок литературы: наш земледельческий народ — основа всего. Он невежественен и темен, но мудр по простоте, он создал у себя общину, зародыш лучшего будущего строя, и в своей мудрости хранит до времени готовые основы общественного устройства, способного обновить нашу жизнь. Нужен только толчок народному сознанию, чтобы пробудить в нем эти спящие возможности»<sup>1</sup>.

Михайловский выступает против наивной идеализации народа. Вот почему статья о Толстом имела своей целью не только анализ творчества великого писателя, но и должна была объяснить интеллигенту-народолюбцу его заблуждения. Противореча многим своим современникам, Михайловский создает теорию о мнениях и интересах народа. «Голос деревни,— справедливо утверждает он,— слишком часто противоречит ее собственным интересам, и задача состоит в том, чтобы, искренне и честно признав интересы народа своей целью, сохранить в деревне, как она есть, только то, что действительно этим интересам соответствует» (III, 707).

Вот почему позиция Толстого, считающего, что народ нельзя воспитывать, была неприемлема для Михайловского, и критика его позиции имела самый злободневный характер. Отсюда становится понятным, почему формулы «благо народа», «интересы народа» Михайловский заменяет гораздо более широкой формулой «идея народа».

---

<sup>1</sup> Короленко В. Г. «Земли! Земли!» // Совр. зап. Париж, 1922. Кн. II. С. 174.

Конкретный вопрос о воспитании и образовании народа и Толстой, и Михайловский возводят к более общей проблеме — проблеме философии истории. Историзм был крупным завоеванием человеческой мысли, и для Михайловского важно, что автор «Войны и мира» «не отрицает значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности». Однако мысль о закономерности исторических явлений и о подвластности человека законам истории имеет и свою оборотную сторону, которую Михайловский называет фатализмом и излишним оптимизмом. Если прогресс развития общества очевиден, а ход истории закономерен, то будущность человечества уже предрешена этими законами. И попытки нравственного суда над историческими событиями есть пред-рассудок и не-до-разумение, в точном смысле этих слов.

Михайловский считает Толстого своим единомышленником в борьбе против фатализма и оптимизма, так как, по его мнению, великий писатель «признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание с ним бороться, свободно ставя перед собой идеалы». Но как в таком случае быть с исторической необходимостью, не признавать которую было бы наивно?

В «Эпилоге» к «Войне и миру» Толстой решал это противоречие так. Человек в своей деятельности следует разуму и сознанию. Разум, или наука, подсказывает человеку, что все его поступки необходимы, и это справедливо. Однако в каждый конкретный момент, совершая то или иное действие, человек ощущает себя свободным. И это ощущение свободы тоже справедливо, ибо человек здесь руководствуется не разумом, а сознанием.

Михайловский был одним из немногих читателей Толстого, почувствовавших строгую логичность решения вопроса о свободе и необходимости в «Эпилоге» к «Войне и миру». Именно цитатой из «Эпилога» и подтверждает Михайловский свою мысль, что признание необходимости исторических законов может привести к фатализму, нравственному безразличию и беспочвенному оптимизму.

Ответ же на вопрос, как возникли идеалы, которые «субъективный социолог» противопоставляет неразумному ходу истории, и что такое для Толстого сознание, позволяет понять, почему Михайловский полемизировал с Толстым до самого конца своей литературной деятельности. Сознание, по Толстому, — это божественное начало в человеке, именно оно дает ощущение свободы — вопреки человеческому разуму, всегда подсказывающему человеку, что все его действия подчинены необходимости. Такое решение для Михайловского неприемлемо, ибо с его точки зрения оно ведет к фатализму и метафизике.

Михайловский — позитивист, и идеал для него — это такое представление о должном, которое вырабатывает критически мыслящая личность в процессе познания себя и мира, способная пережить жизнь другого человека или другого социального слоя. В каждом конкретном случае можно исторически объяснить существование тех или иных идеалов, отвечать же на вопрос, какова вообще причина возникновения идеала — не дело науки.

В статье о Толстом критик почти не касался художественных произведений писателя и не пытался характеризовать его личность.

В статьях о Достоевском и Тургеневе Михайловский продолжает традицию критиков-шестидесятников, выделявших в литературе в первую очередь нравственно-идеологический и общественно-политический аспекты. Поэтому Михайловский прежде всего пытается оценить писателя как мыслителя и как личность, упрощая при этом художественную сторону его произведений. Такой подход определил отношение Михайловского к творчеству Ф. М. Достоевского.

Его оценка как писателя сложилась у Михайловского под сильным влиянием принципиально неприемлемых для него публицистических выступлений Достоевского в «Дневнике писателя». В статье «Жестокий талант» Михайловский несколько наивно отождествляет автора с его героями, причем не только с так называемыми героями-идеологами, но даже с Фомой Опискиным из «Села Степанчиково». Основанием для такого сопоставления часто служат совпадения некоторых публицистических идей Достоевского с отдельными репликами его героев. Михайловский совершенно не принимает Достоевского-мыслителя, и потому влияние его произведений стремится объяснить чисто эмоциональным воздействием, по его мнению, выходящим за пределы художественности. Этот эмоциональный эффект он сравнивает с ощущением зрителей «испанского боя быков».

В самом деле, ощущения страдания и жестокости вызывают реакцию в любом читателе, независимо от развитости или неразвитости в нем эстетического чувства. Само название статьи «Жестокий талант» парадоксально по сути своей, так как одна часть в нем как бы отрицает другую. Представления Михайловского традиционно-гуманистические: талант для него всегда должен заключать в себе доброе начало, а сочетание «жестокий талант» выражает как раз двойственную оценку Михайловским творчества Достоевского: «...тут нарушены все общепризнанные, и основательно общепризнанные, условия литературного творчества. Но ведь мы имеем дело с талантом, а талант имеет привилегию влягать душу живую во все, за что он принимается. Он так предъявит вам свое ненужное, невозможное, невероподобное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до

насмешки вам будет, потому что вы действительно перестрадаете предъявленное вам страдание» (IV, 111).

Статья Михайловского о Достоевском, при всех упрощениях и несправедливых оценках, сыграла в истории литературы важную роль. Во-первых, она отразила реакцию на Достоевского целого поколения его современников, а с другой стороны, формула Михайловского «жестокий талант» и его противопоставление творчества Достоевского «живой жизни» прочно вошли в культуру. И пусть чаще всего они вызывают полемику и несогласие, ни одно крупное исследование о Достоевском не обходится без этих определений.

Так, например, М. М. Бахтин пишет: «Эпитет «жестокий талант», данный Достоевскому Н. К. Михайловским, имеет под собой почву, хотя и не столь простую, как она представлялась Михайловскому». По мнению исследователя, моральные пытки, которым подвергает своих героев Достоевский, объясняются художественной доминантой в построении образа героя, необходимой для того, чтобы «добиться от них слова самосознания, доходящего до своих последних пределов»<sup>1</sup>.

В дальнейшем Михайловский отошел от почти исключительно отрицательной оценки произведений Достоевского, вызванной полемикой, которая разгорелась вокруг творчества писателя после его смерти. Когда крайности спора были сглажены временем, Михайловский назвал в статье «Еще о Горьком и его героях» изобразительную силу Достоевского «мощью одного из истинно великих художников». Это уже иная, качественно новая оценка.

После статьи о Достоевском Михайловский пишет статью «О Тургеневе», и в ней для оценки творчества прибегает к подсказанной самим Тургеневым схеме и создает типологию его героев на основе статьи Тургенева о Гамлете и Дон Кихоте. Одна из основных мыслей Михайловского заключается в том, что Тургенев по особому складу своего дарования изображал общечеловеческие типы, как раз и воплотившиеся в этих двух символических персонажах — Гамлете и Дон Кихоте: «...только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно им разрабатывались. В его отношениях к этим типам, в разнице этих отношений сказываются все особенности художественной натуры Тургенева и весь его душевный облик» (V, 811).

В статье «Гамлет и Дон Кихот» Тургенев, по мнению Михайловского, высказывает гораздо больше симпатии к герою Сервантеса. Дон Кихот для него олицетворение деятельного типа, Гамлет — колеблющегося. Но Михайловский не принимает такой оценки. Он считает, что художественные и человеческие симпатии Тургенева все-та-

---

<sup>1</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 90.

ки должны быть на стороне созерцательного, а не деятельного характера. И в конце статьи Михайловский противопоставляет Тургеневу Достоевскому именно как традиционно-гуманистический талант, впрочем, прямо не называя Достоевского: «Все, лично знавшие Тургенева, хоронят теперь не только одно из лучших украшений русской литературы, а и чрезвычайно доброго человека. Это личное качество отражалось и в его литературной деятельности. Он не мучил своих мучеников-гамлетиков и других слабых, надломленных людей сверх той меры, которая определялась требованиями правды изображения и желанием привлечь к ним участие читателей» (V, 840).

В статьях о Достоевском и Тургеневе Михайловский стремился раскрыть прежде всего индивидуальный облик писателя, то есть то качество, которое он в соответствии со своей социологической теорией ценил более всего. Но их творчество, по Михайловскому, никак не соотносилось с «идеями народа», что и обусловило отчужденно-уважительный тон статей.

Статья о Тургеневе была одной из последних работ, опубликованных в «Отечественных записках». В 1884 году журнал был закрыт. Двумя годами ранее Михайловский был выслан из Петербурга. Поводом для высылки были выступления Михайловского перед студентами в Технологическом институте и на Бестужевских женских курсах. В действительности правительству стали известны некоторые связи критика с «Народной волей». После закрытия журнала Михайловский некоторое время печатается в различных газетах и журналах, до тех пор пока вместе с группой бывших сотрудников «Отечественных записок» не начинает сотрудничать в журнале «Северный вестник».

Здесь в 1885 и 1886 годах и были опубликованы две рецензии на сборник рассказов В. Гаршина. Михайловский считает основным свойством всех рассказов этого писателя пессимистическое мировосприятие человека, который осознает, что теряет индивидуальность и становится чистой социальной функцией. Михайловский пишет, что «мысль об «одиноком в толпе», о безвольном орудии некоторого огромного сложного целого постоянно преследует г. Гаршина и, несомненно, составляет источник всего его пессимизма. Несчастье и скорби его героев зависят от того, что все они ищут ближнего, жаждут любви, ищут такой формы общения с людьми, к которой они могли бы прилепиться всей душой без остатка... и, значит, не в качестве специального орудия или инструмента, а в качестве человека с сохранением всего человеческого достоинства».

Такая позиция Гаршина, с одной стороны, симпатична Михайловскому, так как писатель, по его мнению, выражает естественную

человеческую тоску об оскорбленном достоинстве человека, но, с другой стороны, пессимизм Гаршина кажется ему упрощенным, однозначным отношением к жизни. В статье «О Всеволоде Гаршине» Михайловский почти не упоминает собственные социологические теории и вводит их только через излюбленную и часто повторяемую им метафору из Шекспира: человек — «палец от ноги». Но в произведениях Гаршина он видит констатацию факта полной подавленности человека цивилизацией. Для Михайловского этот факт не должен служить основанием для окончательного пессимистического вывода о целях истории. Его субъективный метод утверждает относительную свободу от исторической необходимости и предъявляет человеку требование «переделать» историю.

Различные формы столкновения индивидуальности писателя и истории исследует Михайловский в статьях о своем друге и во многом единомышленнике Г. И. Успенском и в статье о Лермонтове. И Успенский, и Лермонтов являются для него примером столкновения сильного формирующего влияния среды с индивидуальным началом, эту среду не принимающим.

Основным мотивом творчества Г. И. Успенского Михайловский считает мотив «больной совести». И для характеристики такого типа творчества Михайловский создает формулу о «драме совести» и «драме чести». Честь для Михайловского — это пробуждение в душе человека начал личности. Совесть — болезнь индивидуальности, ощущающей дисгармоничность мира и свою с ним разобщенность. Михайловский считал, что Успенский, сосредоточив свое внимание на драме совести, почти совсем не затрагивает драму чести.

Из преувеличения «драмы совести», как считает Михайловский, родился и совершенно особый стиль писателя — «схема», по определению Михайловского, подчинясь требованиям которой Г. Успенский ограничивал свой огромный художественный талант требованиями публицистики. Вообще, совесть требует «сокращения бюджета личной жизни» и, следовательно, ведет к аскетизму и творческому, и житейскому. И эта драма должна быть уравновешена драмой чести, которая «требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями» (VI, 418). Лермонтов, наоборот, скорее «герой чести».

Прежде всего Михайловский подчеркивает в лирике Лермонтова ее в высшей степени субъективный характер. И эта индивидуализация творчества во многом близка тому, что Михайловский в науке называет «субъективным методом». В статье «Герой безвременья» он задает вопрос, не хотел или не мог поэт отделиться от своей личности, и не отвечает на него. Основную черту творчества Лермонтова — «повсюду оставлять следы своего существования», критик объясняет особенностью личности поэта. Причем к его личности и поэзии Ми-

хайловский относится не как литературный критик, который в данном случае должен был бы говорить о романтизме и особенностях романтического сознания Михайловский выступает в этой статье как социальный психолог, пытающийся определить социальный тип, к которому можно отнести Лермонтова По Михайловскому, это тип человека, стремящегося к власти

Критик считает, что Лермонтов психологически являл собой тип деятеля, противопоставившего двум основным началам человеческой души — разуму и чувству — волю и потребность в борьбе Социальная среда вынуждала такой человеческий тип оставаться в бездействии, и тем самым статья о Лермонтове могла служить подтверждением теории о низком «типе» современной цивилизации, когда развитие индивидуальности и развитие общества находятся в противоречии между собой

В начале 90 х годов начинается новый этап в критической деятельности Михайловского<sup>1</sup> В это время он стал сотрудничать в журнале «Русское богатство», который вскоре возглавил Снова, как и во времена «Отечественных записок», Михайловский получил свою трибуну и работает среди друзей единомышленников «Русское богатство» традиционно считается народническим журналом, однако сам Михайловский на его страницах писал, что он не считает себя народником, так как это направление утратило единство, расплывшись в очень неопределенную идеологию, с некоторыми ответвлениями которой он не может иметь ничего общего «Идея народа», конечно, осталась центральной и для Михайловского, и для ближайших его соратников Однако отстаивать ее Михайловскому уже приходилось гораздо труднее, так как неопределенность народнического мировоззрения сочеталась в этот период, с одной стороны, с явной его догматизацией, а с другой — появлением новых взглядов и теорий

Наибольший интерес в деятельности Михайловского этого периода представляют его статьи и рецензии о новом поколении русских писателей

Выражением нового мироотношения стала для Михайловского статья обозревателя газеты «Неделя» Р Д Дистерло, опубликованная в 1888 году, «Новое литературное поколение», автор которой утверждал «Новое поколение (80 х годов) родилось скептиком, и идеалы отцов и дедов оказались над нами бессильными Оно не чувствует ненависти и презрения к обыденной человеческой жизни, не признает обязанности быть героем, не верит в возможность идеальных людей Все эти идеалы — сухие, логические произведения индивидуальной

---

<sup>1</sup> О периодизации общественно политической деятельности Н К Михайловского см Слинко А А Н К Михайловский и русское общественно-литературное движение Воронеж, 1982. С 32—53



мысли, и для нового поколения осталась только действительность, в которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознанием, что все в жизни вытекает из одного источника — природы, все являет собою одну и ту же тайну бытия и возвращается к пантеистическому мирозерцанию»

С этой цитаты Михайловский начинает статью «Об отцах и детях и о г. Чехове», а резкий спор со скептицизмом, отрицанием идеалов дедов и отцов, спокойным и безропотно принятым жизнью и «пантеистическим мирозерцанием» будет присутствовать в большинстве его статей конца XIX — начала XX века. К поколению «пантеистов» относил Михайловский марксистов, хотя спорил он не столько с Марксом, сколько с русскими марксистами и конкретно с П. Струве и Н. Туган-Барановским «Приятие действительности», жесткое подчинение человека экономическим законам, сухой и бескрылый материализм, исторический фатализм — вот что не мог принять Михайловский у некоторых русских истолкователей Маркса

Единственным талантливым писателем нового литературного поколения Михайловский считает Чехова, но называет его «даром пропадающим». Творчество Чехова, по Михайловскому, не может выполнить одной из главных задач литературы — создать положительный идеал, не способно «светить и греть». Михайловский считает, что действительность в рассказах Чехова совершенно однородна в восприятии автора. Ему как бы все равно, что описывать. Он одинаково говорит о значительном и незначительном. Все эти черты действительно присущи творческой манере Чехова, но Михайловский, точно подмечая, оценивает их неверно.

Из всех произведений Чехова Михайловский выделяет как наиболее удачное «Скучную историю», поскольку видит там идеологические споры, хотя и в ней замечает черты случайного, загроможденность художественными впечатлениями, не подчиненными общей идее. И тем не менее критик считает, что в «Скучной истории» есть благодетельная авторская боль и тоска по «общей идее», и «мучительное сознание» ее необходимости, которые дают надежду, что Чехов «проживет не даром и оставит свой след в литературе».

В 1900 году в статье «Кое что о Чехове» Михайловский уже уверенно утверждает, что его надежды сбылись. Чехов, подчеркивает критик, понял, что «пантеизм» «есть, собственно говоря, атеизм, и затосковал, или по крайней мере превосходно изобразил эту тоску». Не примкнул Чехов, по мнению Михайловского, и к другому направлению, которое «не отрицало наличности тяжелых и мрачных сторон жизни, но оно напирало на то, что эти стороны с такою же необходи-

мостью выступают из недр истории, как и добро и свет, и верило, что они опять же необходимо превратятся в процессе истории в свою противоположность, и даже очень скоро». Здесь Михайловский снова имеет в виду такое истолкование Маркса, которое исключило активную роль личности и вело к историческому фатализму. Не затронуло Чехова и зарождающееся декадентство, и «таким образом, ни одно из современных наших модных течений не захватило г. Чехова». Сила его личности в том и заключается, справедливо считает Михайловский, что «он остался сам по себе».

В конце XIX века в русской культуре зарождается новое течение, по идеалам, задачам и даже по форме выражения чуждое, а часто даже полемически противопоставлявшее себя культуре поколения 60—80-х годов, для которого Михайловский был самым ярким идеологом и выразителем коллективного вкуса. Статья Михайловского, посвященная книге одного из зачинателей символизма Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в этом смысле является документом, зафиксировавшим историю взаимоотношений двух направлений русской литературы на рубеже веков. Статья Михайловского — пример того, как тонкий и умный критик пытается преодолеть свое естественное неприятие позиции нового поколения людей, исповедующих идеалы, лежащие в совсем другой плоскости. Михайловский-социолог высоко ставит способность человека и ученого отрешиться от собственного сознания, встать на чужую точку зрения.

Поэтому Михайловский прежде всего отмечает достоинства анализируемой книги. Глубоко уважительное отношение к автору у него прежде всего вызывает то, что Мережковский «высоко ценит роль и значение литературы и любит ее настоящею, искреннею любовью. Для него, как он обнаруживает в своей книжке, литература не ремесло и не арена для праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное дело, поприще служения высшим человеческим идеалам».

Выделил Михайловский в своей статье и очень важный в истории литературы момент, точно сформулировав «отрицательные достоинства» нового направления, то есть указав, с чем полемизируют, что отрицают его зачинатели: «С художественной стороны символизм, поскольку в нем есть зерно правды, представляет собою реакцию против «натурализма» и «протоколизма» Эмиля Золя с братией. Со стороны философской... он реагирует против последней философской системы, выставленной Францией, против позитивизма». Такая точка зрения на историю возникновения символизма вошла в историю литературы и не оспаривается до сих пор.

Отметил Михайловский и частные достоинства книги — например, действительно интересные характеристики творчества Глеба Успенского и позднего Толстого.

В то же время даже само заглавие статьи Михайловского свидетельствует о настороженной, негативной оценке, которую историк дает новым веяниям. «Русское отражение французского символизма», то есть отраженное, пассивное восприятие чужих идей, не сочетающееся органически с развитием русской литературы.

Мысль о «неестественности» возникновения символизма в России Михайловский специально подчеркивает в своем отзыве: «Прежде всего, одно дело — Франция, а другое дело — Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение «возмущения». Против чего же возмущается г. Мережковский и указываемая им единственно живая в России литературная сила?..» Вопрос Михайловского вполне закономерен. Он пишет статью в тот период, когда новая литературная школа не только не сформировалась окончательно, но еще не было создано сколько-нибудь крупных и значительных произведений, по которым можно было бы судить о характере русского символизма. Поэтому неудивительно, что критик видит в нем только подражание внешним формам новой французской литературы, а ее «протестующее» начало на русской почве оказывается затушеванным, недейственным.

В момент зарождения русского символизма представители его старшего «декадентского поколения» сами часто ссылались на французские авторитеты. Делал это и Мережковский в своей книге, цитируя Бодлера и Верлена. Михайловский же только усиливает, «педалирует» эту связь. Для того чтобы установить соотношение нового литературного направления с русской классической литературой, Михайловскому просто не хватало «материала», а аргументы Мережковского, утверждавшего эту преемственность, выглядели достаточно голословными. Гораздо позднее, когда символизм прочно «встал на ноги», Блок подчеркивал, что это направление только «по случайному совпадению носило то же греческое имя «символизм», что и французское направление»<sup>1</sup>, на деле имея с ним мало общего.

Таким образом, основной недостаток книги Мережковского, на который указывает Михайловский в своей статье — слабая логическая аргументация и противоречивость ряда положений, — справедлив как по существу, так и потому, что реальная литературная практика еще не давала достаточно оснований говорить о сформировавшемся новом литературном течении. Тезис же Мережковского о невыразимой сущности искусства Михайловский легко опровергает тем, что автору книги еще самому далеко не ясна основная идея нового направления.

Действительно новым явлением в литературе Михайловский счи-

---

<sup>1</sup> Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 177.

тает творчество Горького и Л. Андреева, хотя далеко не все принимает в их произведениях.

Он видит, что у Горького, в отличие от Чехова, есть ясно выраженный идеал, формулируя который Михайловский в статье «Еще о г. Максиме Горьком» приводит несколько неожиданную типологическую параллель между творчеством Горького и идеями Ницше. Михайловский одним из первых отметил влияние Ницше на русскую литературу и определил специфику восприятия его философии в России. Самой главной идеей мыслителя, вернее даже настроением, является неудовлетворенность состоянием современной цивилизации, построенной на ложных моральных принципах. Михайловский подчеркивает у Ницше не отрицание любой нравственности, а именно отказ от современных ее форм. Он писал: «Нравственно распущенные люди... пожелали опереться на «имморализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «имморалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной» (VIII, 938).

Другим, русским предшественником М. Горького, Михайловский считает Ф. М. Достоевского, к героям которого «неприменимы обычные понятия о добром и злом». Причем сопоставление Горького с Ницше и Достоевским критик объясняет не влиянием: «Предупреждаю, что я отнюдь не собираюсь доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше... Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носят в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас, прорезывающихся самостоятельными...» (VIII, 934).

Михайловский выделяет общие черты творчества Ницше и Горького. Это — идея одиночества, неизбежного для сильного человека, требующегося для гарантии его внутренней свободы. Михайловский видит такие черты во многих персонажах Горького, например в двух антиподах — Ларре и Данко. Ницше и Горького роднит описание того, что Михайловский вслед за немецким философом называет «психологией чандалов», то есть психологией людей, которые не связаны никакой традиционной системой ценностей — от босяков Горького, пренебрегающих привычным укладом жизни, семейной моралью и христианской этикой, до самого полного пересмотра этой морали в идее сверхчеловека Ницше. Они — странники, бродяги, вечно сгоняемые с привычных мест какой-то смутной, неосознанной тоской, заставляющей их уходить от устойчивого и привычного к новому и неизведанному.

Михайловский находит текстовые параллели в книгах немецкого философа и рассказах русского писателя, и они достаточно убедительны. Во всяком случае, много позднее в статье «Беседы о ремесле»

Горький писал, что он «снабдил их (босяков.— Б. А.) кое-чем от философии Ницше...»<sup>1</sup>

Когда Михайловский пишет, что Ницше было присуще «чувство чандала, обуевающее всякого сильного человека», не нашедшего себя в современном «покорном, посредственном» обществе, «чувство ненависти, мести и восстания против всего существующего», то это соответствовало как некоторым положениям его теории борьбы за индивидуальность, так и пафосу ранних рассказов Горького.

Статья Михайловского о Горьком — достаточно редкий случай непосредственного влияния критика на писателя. Из последующих изданий своих рассказов Горький исключил места, которые Михайловский характеризовал в статье как художественно неоправданные или как пример крайностей нищеанского мирозерцания.

Среди литературных откликов начала века статья о книге рассказов Л. Андреева, в которой критик отмечал литературное дарование начинающего писателя, выделяется отсутствием резких категорических оценок и явной доброжелательностью.

Как это было и в работах о Толстом, Достоевском, Мережковском, основной мотив творчества писателя Михайловский определяет в самом заглавии статьи — «Страх жизни и страх смерти». Михайловского не смущает мрачный колорит рассказов Андреева, который у отдельных современных писателю критиков вызывал сомнение и неприятие. Правда, рассказ Л. Андреева «Ложь» Михайловский не одобрил, так как не видел в нем четко выраженной авторской позиции. Но он чувствовал, что у Андреева есть критерий для различения тьмы и света, добра и зла. Этот критерий он видел в следующей приводимой им цитате из «Рассказа о Сергее Петровиче», где голос героя почти неотделим от голоса автора: «Религия и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него, не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того блаженства, равного которому не создавала еще земля — работать для людей и умирать за них».

О той роли, которую продолжал играть Михайловский в критике начала века, свидетельствуют воспоминания писателя Н. Телешова, отмечавшего, что когда статья Михайловского об Андрееве появилась в «Русском богатстве», то «этого было достаточно, чтобы литературный мир стал считаться с появлением нового литературного дарования»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 322.

<sup>2</sup> Телешов Н. Записки писателя. М., 1966. С. 116.

От поэзии Лермонтова до рассказов Л. Андреева — таков диапазон критико-публицистических исследований Михайловского. По существу, он написал историю русской литературы XIX — начала XX века. Не всегда Михайловский был прав: «Анну Каренину» Толстого отнес к «салонной литературе», совсем не принял талант Лескова, излишне прямолинейно писал о раннем Чехове

Но оригинальность философско-социологического метода Михайловского, который определял его подход к литературным явлениям, неприязнь к жестоким идеологическим схемам и унылому морализаторству, хороший литературный вкус заставляли русскую интеллигенцию внимательно и заинтересованно следить за его творчеством на протяжении более сорока лет. Читатель же конца XX века, познакомившись даже с небольшой частью его литературно-критического наследия, представленного в этой книге, сможет почувствовать, что Михайловский был не только интересным интерпретатором идей своих великих современников, но и мыслителем, принимавшим непосредственное участие в формировании русской культуры.

*Б. Аверин*

---

*Статви*  
1875-1901



## ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

### I

Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?

Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово «социология». Важно то, что всякий изучающий какое-нибудь общественное явление необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически — да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключаящих друг друга типов исследования.



Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею, и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогики вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? — вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогики, и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами: это — смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнущаяся перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого — налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но восставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты<sup>1</sup> не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование *не* свободно. Далее,

он, например, говоря собственно о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Асоченский<sup>2</sup>, это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти<sup>3</sup>. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопросах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господа педагоги на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.

Из критических статей, вызванных педагогическою ересью «Ясной Поляны», для нас особенно любопытна статья г. Маркова<sup>4</sup>, появившаяся в «Русском вестнике». Любопытна она, впрочем, только потому, что гр. Толстой ответил на нее замечательной статьей

«Прогресс и определение образования» (Сочинения, т. IV, 171—215). Статья г. Маркова мне только и известна по ответу гр. Толстого, я не счел нужным ее разыскивать.

Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряда вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств. Только силой непрокритикованного предания и можно объяснить, например, такой факт. В Московском обществе любителей российской словесности кто-то читал отрывок из не напечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной»<sup>5</sup>. «С.-Петербургским ведомостям» немедленно пишут (телеграфировать бы надо!), что отрывок изумителен, превосходит, велик и проч. И в подтверждение приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрелой Амура, возвращается в Петербург и встречается с мужем, то ей кажется, будто у него выросли уши! Корреспондент так и ставит восклицательный знак, выражая тем свое изумление перед психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бывают люди, репутация которых как остроумцев до такой степени установилась, что им стоит только поздравить именинника, разинуть рот, мигнуть, попросить стакан чаю и т. п., чтобы все присутствующие пришли в необычайно веселое настроение. Так-то вот и с гр. Толстым. А между тем, может быть, тот же самый корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» считает себя вправе смотреть на педагогические теории гр. Толстого сверху вниз. Это очень возможно, во-первых, потому, что этому соответствует утвердившаяся репутация гр. Толстого, а во-вторых, потому, что холопское унижение стоит всегда рядом с холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мне говорить о гр. Толстом как беллетристе. Вероятно, придется. Здесь замечу только следующее. Говоря об нем как о первоклассном художнике, обыкновенно подразумевают не только его творческую силу, но и язык, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вот и г. Бунаков, в письме в редакцию «Семьи и школы» (1874, № 10), пишет, что напечатанная в «Отечественных записках» статья гр. Толстого есть сплошная нелепость<sup>6</sup> и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать один только автор „Войны и мира“». Тут сказывается все та же

двойственная репутация гр. Толстого, которая, однако, как и большинство ходячих репутаций, далеко не вполне основательна. Читатель, надеюсь, сейчас убедится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его внимание — «Прогресс и определение образования», отличается, напротив, редкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вместе с тем языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим.

Гр. Толстой дал следующее определение: «Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования». Это сказано до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что определение выходит крайне плохое. Однако тут виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая, напротив, большого внимания, а только его неумение выразить свою мысль. Занявшись практически педагогией, гр. Толстой пожелал найти такое определение образования, которое указывало бы его цель и, следовательно, момент прекращения деятельности образовывающего и образовываемого; определение это должно было дать критерий педагогики, то есть некоторую истину, с высоты которой можно бы было решить вопрос о том, чему и как следует учить. Гр. Толстой рассуждает так. В обществе действует несколько причин, побуждающих одних образовывать, а других образовываться. Возьмем сначала деятельность образовываемого, ученика. Он может учиться для того, чтобы избежать наказания, — это, по определению гр. Толстого, «учение на основании послушания»; для получения награды или для того, чтобы быть лучше других, — «учение на основании самолюбия»; для получения выгодного положения в свете — «учение на основании материальных выгод и честолюбия». Гр. Толстой все тем же неточным и неуклюжим языком утверждает, что «на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы: протестантские — на послушании, католические, иезуитские — на основании соревнования и самолюбия, наши российские — на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия». Могут ли быть эти основания введены в науку? Нет, отвечает гр. Толстой, главным образом по двум причинам: 1) «при таких основаниях нет общего критериума педа-

гогики — и богослов, и естественник одновременно считают свои школы непогрешительными, а не свои школы положительно вредными»; 2) потому, что при системе образования, построенной на одном из перечисленных начал, «приобретаются привычки послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды; но это, конечно, не суть прямые цели образования». Деятельность образовывающего также управляется различными мотивами, из которых главные: «желание сделать людей такими, которые были бы для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров)»; послушание и материальные выгоды; самолюбие; «желание сделать других людей участниками в своих интересах, передать им свои убеждения и с этою целью передать им свои знания». Только этот последний мотив, только побуждение учителя уравнивать с собой знания ученика и соответственное побуждение ученика сравняться в знании с учителем — гр. Толстой признает достойным лечь во главу угла науки педагогики. Как только образовывающий передал свои знания образовываемому — цель образования на данном пункте достигнута: ученик может идти дальше, искать новых учителей, но учитель свое дело сделал, то есть прямое, непосредственное дело образования. Но равенство знаний может быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знания «по той простой причине», что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мысли прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мысли». Это-то и есть «неизменный закон движения вперед образования». Вот что хотел сказать гр. Толстой своим неуклюжим определением образования.

Я желал бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо от педагогики и затем уже приложить найденное к спору гр. Толстого с педагогами. Прием этот кажется мне потому удобным, что мы сразу получим, таким образом, руководящую нить, и нам не нужно будет долго засиживаться на мелочах и частностях текущей педагогической распри, которые выяснены уже достаточно. Тем не менее обойти на этот раз педагогику совсем — не представляется никакой возможности. Я должен привести теперь же по крайней

мере один вывод, который делает гр. Толстой из своего определения образования, собственно для того, чтобы показать, что определение это есть не бесплодная экскурсия в область отвлеченной мысли. На основании своего определения образования гр. Толстой считает возможным указать следующую цель науки педагогики: она должна изучать условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений образующих и образующихся в одной общей цели. Этого-то совпадения, по мнению гр. Толстого, и нет в деле народного образования. Народ хочет учиться, правительства и частные лица хотят его учить, но стремления эти не имеют до сих пор общей точки, не совпадают. Отсюда все трагикомические подробности народного образования. Для устранения их нужно одно — полная свобода для образующихся выбора программы учения. К этому последнему результату приводят гр. Толстого и некоторые другие соображения. Но для нас пока достаточно сказанного.

Замечательно, что упомянутая статья «Русского вестника» (г. Маркова) направлена, как можно судить по цитатам гр. Толстого, не столько против приведенного определения образования и выводов из него, сколько против самой задачи гр. Толстого. Г-н Марков считает нелепыми самые вопросы о цели и критерии педагогики. Он пишет: «„Ясную Поляну“ смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики одному, Лютер другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критериум педагогики и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на этот необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум — в том, чтобы учить, сообразаясь с потребностями времени. Он прост и в совершенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление — пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накопившую ненависть своего века к формализму и искус-

ственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни<sup>7</sup>, и если бы только один Руссо чувствовал ее — не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав<sup>8</sup>, Карлы Мооры<sup>9</sup> и все подобное... Мне непонятно, чего бы хотел гр. Толстой от педагогики. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих — так, по его мнению, не нужно никаких. От чего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые, и так далее».

Вот образец социологического исследования первого типа. Здесь налицо все признаки этого рода исследований. Г-н Марков принимает за точку отправления судьбы общества или цивилизации и предлагает учить и учиться не тому, что тот или другой учитель или ученик считает нужным, полезным, избранным, а тому, что «соответствует потребностям времени», то есть потребностям известного исторического момента. Вместе с тем г. Марков сводит задачу науки к познанию существующего, так как отвергает надобность и возможность для педагога подняться выше существующего порядка вещей или вообще как-нибудь от него отклониться. Тем самым, наконец, г. Марков отказывается дать руководящую нить практике. Сказать: учите, соображаясь с потребностями времени,— значит ничего не сказать, потому что потребности времени остаются невыясненными. Я, впрочем, не намерен утомлять читателя собственным своим разбором мнений г. Маркова, во-первых, потому, что не в них совсем дело, а во-вторых, потому, что я не сумел бы сделать этот разбор лучше гр. Толстого. В своем ответе г. Маркову он стоит на истинно философской высоте, и если бы не портили дела некоторые частности, почти исключительно зависящие от неправильности и неточности выражений, статья «Прогресс и определение образования» была бы безукоризненна во всех отношениях.

«Со времен Гегеля и знаменитого афоризма: «что исторично, то разумно»,— говорит гр. Толстой,— в ли-

тературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение. Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обуславливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа.

Вы говорите, что вы верите в бога,— историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что «Илиада» есть величайшее эпическое произведение,— историческое воззрение отвечает, что «Илиада» есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. *На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории: оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений.* Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь,— историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дети,— ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово «историческое»,— и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом мирозерцании».

Вовсе не надо быть педантом, чтобы с некоторым недоумением остановиться перед этими невозможными «не только, а только», «только сознает, но сознает не



путем сознания» и т. п., испещряющими речь знаменитого русского писателя. Но бог с ним, с языком гр. Толстого. Я упоминаю об нем только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на неосновательность ходячих репутаций. Больше я этой скучной материи касаться не буду. Читатель предупрежден и не станет строить какие-либо выводы на отдельных выражениях гр. Толстого, которые своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишком часто только затемняют, даже извращают мысль автора. Будем следить только за мыслью гр. Толстого. Она этого сто́ит, по крайней мере с моей точки зрения, с точки зрения профана, потому что из приведенных неуклюжих строк так и бьет тот дух жизни, который нам, профанам, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого против того, что он называет историческим воззрением, сосредоточивается в подчеркнутых мною словах. Значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицает. Он очень хорошо знает, что «Илиада», известные понятия о божестве, известный общественный строй — суть продукты исторических условий. Но он хочет не только знать, какое место в истории занимают его идеалы: он хочет жить ими и, следовательно, знать их настоящую, теперешнюю цену, независимо от истории. В другом месте гр. Толстой говорит весьма определительно: «Статья „Русского вестника“ думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во-первых, потому, что *изъять из-под исторических условий нельзя ничего ни на деле, ни даже в мыслях*. Во-вторых, потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что *наша мысль, открывшая известные законы, действует тоже в исторических условиях*, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что мы живем в исторических условиях». Из этого видно, что г. Марков совершенно понапрасну рассыпал цветы своего красноречия. Гр. Толстому очень хорошо известна сила исторических условий. Она ему известна даже лучше, чем г. Маркову, или по крайней мере соображения о ней проводятся гр. Толстым дальше и последовательнее.

Предполагая даже, что потребности времени суть нечто для всех ясное и определенное, я, с точки зрения все той же силы исторических условий, имею полное право восставать против этих потребностей времени, признавать их ложными, дрянными, желать их изменения, делать соответственные усилия и проч. Потому что если во мне зародились известные сомнения и желания, так ведь они не с неба свалились, они тоже определены историческими условиями. И если мои сомнения и желания признаются кем-нибудь неосновательными, то оппонент мой должен оставить исторические условия в покое и представить какие-нибудь иные аргументы «от разума» или «от опыта». Историческими условиями можно оправдать всякую нелепость и всякую мерзость, для чего нет никакой надобности в длинных рассуждениях, к которым любят прибегать в подобных случаях: довольно указать на существование нелепости или мерзости — тем самым они уже оправданы. Но это будет, собственно говоря, не оправдание, а празднословие, очень удобно опрокидываемое несколькими словами, теми самыми словами, которые сказал гр. Толстой: человек, стремящийся стереть с лица земли существующие нелепости и мерзости, есть тоже продукт истории. Против этого аргумента возражений нет. В своем ответе г. Маркову гр. Толстой поставил и разрешил (я не говорю, что это не было сделано другими, задолго до гр. Толстого) теоретический вопрос высочайшей важности. Больших усилий стоило людям убедиться, что нет действий без причины, что и их людские действия, мысли, желания, чувства возникают в конце известного ряда явлений, сменяющих друг друга с физической необходимостью. Убеждение это завоевывалось шаг за шагом, пробивая себе дорогу сквозь целый лес предрассудков. И только в сравнительно недавнее время оно восторжествовало благодаря соединенным усилиям статистиков, историков, психологов, физиологов, философов. Но, к сожалению, мысль о «законосообразности» человеческих действий, не успев даже наметить весь круг своих результатов, уже успела заразиться двумя исконными наследственными недугами человечества — фатализмом и оптимизмом. Удивляться надо в самом деле, какие это цепкие и прилипчивые болезни. Трудно даже найти в истории мысли теорию, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма.

А идея необходимости или законосообразности человеческих действий находится в условиях, особенно благоприятных для заражения. Фатализм есть учение или взгляд, не допускающий возможности влияния личных усилий на ход событий. Понятное дело, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорию необходимости человеческих действий. Каждый из нас, жалких детищ вращающегося во вселенной ничтожного комка грязи, называемого землей, есть нечто вроде шашки, которую сила событий передвигает с одной клетки шахматной доски на другую. Шашка может иметь в ходе игры важное и не важное значение, но она жестоко ошибается, когда думает, что *сама* становится на такую-то клетку и могла бы, если бы захотела, стать на другую. В таком роде рассуждают многие статистики, историки и другие ученые люди не только в теоретической области познания существующего, а и в практической сфере жизни. Нам, профанам, эти рассуждения глубоко противны, мы их не можем переварить. И когда ученые люди говорят нам с презрительно-снихождительным видом: «Что ж делать! наука не может сказать ничего иного», — мы отвечаем: «Что ж делать! эта наука нас не удовлетворяет». Но мы замечаем, что она не удовлетворяет не только нас, а и самих ученых людей. Например, ученые люди говорят и пишут друг другу панегирики. За что? Ведь не пишут же они панегириков камню, падающему на землю сообразно законам тяжести, и траве, начинающей весной зеленеть на лугах. Ученое открытие есть такое же звено известной цепи причинно связанных явлений, как и рост травы и падение камня; оно не может появиться раньше осуществления известных исторических условий, и ученый, сделавший открытие, есть опять-таки не больше как шашка, поставленная ходом игры на определенную клетку. Ученые люди бранят наше невежество и стараются просветить нас. За что бранят и зачем стараются? Одну шашку так же мало резонно бранить, как другой шашке мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, в которых теория необходимости наших действий, их полнейшей зависимости от данных исторических условий удовлетворяет человеческую природу, но есть и такие, где она равно не удовлетворяет и ученых, и неученых людей, где теория исторических условий на каждом шагу путается в противоречиях и сама себя закалывает. Это — сфера практической мысли.

Задним числом, конечно, можно доказать, что Лютер, например, только потому и мог быть учителем целого столетия, что «сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу». Совершенно справедливо, что, не будь у него многочисленных и многосторонних связей с своим временем и своим народом, он пролетел бы как падучая звезда. Но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает *своею собственною* мыслью и действует по *своему собственному* вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой. Пусть, связанный историческими условиями по рукам и по ногам, Лютер обманывался, думая, что он свободно выбрал себе цель, — этот обман неизбежен в практической деятельности: он есть один из необходимых факторов тех самых исторических условий, незыблемость которых провозглашают фаталисты.

Гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди очень любят восклицать: без обмана! Восклицание это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокруг восклицавшего толпу людей с разинутым от умиления ртом. Но отчего же гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди не подумают о том, что наиболее разработанные отрасли физической науки допускают иногда заведомый обман и не конфузятся этого? Метафизики говорят: реальный мир есть обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки говорят: обман так обман, нам до этого дела нет, мы признаем данный мир существующим, потому что того требуют условия человеческой природы, а может, это и в самом деле обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки вводят в свои построения таких гипотетических деятелей, которых себе вполне ясно даже представить нельзя: это — обманы, но наука держится их, потому что в настоящую по крайней мере минуту, ничто, кроме них, не дает возможности ориентироваться в известных рядах фактов. Почему же это науки разработанные не боятся обмана в такой мере, как науки (если только это науки) социальные, в которых кто во что горазд, в которых сколько голов, столько умов, в которых нет почти ничего прочного, установившегося, общепринятого? Да именно оттого, я думаю, что то — науки разработанные, а это — так, что-то вроде наук. Вполне светский человек может себе позволить некоторые уклонения от установившихся в его кругу нравов и обычаев и сделает так, что уклонения

эти не только не будут колоть глаза, но даже усилят основной тон принятого порядка. Неофит, напротив, человек неопытный, не слившийся всем своим существом с известной общественной атмосферой, будет держаться каждой буквы светского кодекса, но именно эти его старания и изобличат в нем человека неопытного и неофита. Так же и с наукой. Давно ли у нас, например, так много толковали о необходимости индуктивного метода и крайней вредности дедуктивного. Между тем как раз в это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, с величайшим успехом применяли дедукцию и двигали ею науку исполинскими шагами вперед. Они уже прошли ту ступень развития, на которой индукция признавалась единственным научным методом, и прилагали к делу, смотря по условиям своих задач, то наведение, то вывод. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые рассуждают так: обман — вещь нехорошая, но если уж в том или другом случае без него по условиям человеческой природы обойтись нельзя, так делать нечего; надо только помнить, что это — обман, введенный в исследование с определенной целью, и что мы имеем право пользоваться им только в определенных случаях и под определенными условиями. Очевидно, что допущенный в науку в таком виде обман даже перестает быть обманом и становится просто орудием науки. А гордые социологи продолжают восклицать: без обмана! Не желая уподобляться Кифе Мокиевичу<sup>10</sup>, я не стану рассуждать о том, что было бы, если бы люди действительно перестали обманываться насчет свободы своей деятельности. Но вот что я могу сказать, не боясь быть опрокинутым учеными из ученых: в момент деятельности я сознаю, что ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий; пусть это — обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно; на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души. Действительно, их вычеркнуть нельзя, надо признать их существование, а между тем они находятся в противоречии с познанием причинной связи явлений. Приходится осуждать то, что в данную минуту не может не существовать. Как тут быть? Это противоречие известно с очень давних пор, и много умных и глупых, ученых и неученых голов билось над его разрешением. Эти го-

ловы придумали три выхода. Одни, закалая на алтаре познания причинной связи явлений личную ответственность, совесть и нравственный суд, стоят на своем: без обмана! Но это не выход, потому что чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда суть вполне реальные явления психической жизни, допускающие наблюдения и вообще научные приемы исследования; они до такой степени реальны, что сами жрецы познания не чужды им в момент жертвоприношения; они произносят нравственный суд и сознают свое жертвоприношение действием свободным. Другие приносят, напротив, в жертву причинную связь явлений, утверждая, что человек свободен. Если это и выход из затруднения, то, во всяком случае, он не может быть принят наукой, потому что совершенно свободных явлений познавать нельзя, а наука только познает. Третьи, наконец, признавая противоречие между свободой и необходимостью неразрешимым по существу, говорят, что иногда мы должны признавать человеческие действия свободными, а иногда необходимыми.

К числу этих третьих принадлежит и гр. Толстой. На первый взгляд, это решение самое неудовлетворительное, наименее научное, потому что ему недостает единства и последовательности. Но это только на первый взгляд. Вы идете в место, лежащее на запад от вас; по дороге вы натываетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь к северу, потом круто сворачиваете к югу, потому что прямо перед вами непроходимое болото: несмотря на эти отклонения от пути на запад, вы идете единственной верной дорогой, потому что, направляясь по-вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цели своей прогулки. Так и единство и последовательность в науке состоят вовсе не в том, чтобы всегда и везде употреблять одни и те же приемы исследования, а в том, чтобы всегда и везде смотреть на вещи так, как того требуют условия научной задачи. Этим достигается не только единство науки, но, что всего важнее, и примирение науки с жизнью. Поставьте только себя в положение гр. Толстого. Он поставил себе жизненную, живую цель, работает для нее, наконец, как ему кажется, достиг ее; узнал, чему и как следует учить. Вдруг является ученый человек, г. Марков, и говорит: каким вы, однако, вздором занимаетесь! разве вы можете придумать какое-нибудь свое собственное решение этого вопроса, независимое от исторических

условий, в которых вы живете? Понятно ли читателю все безобразие этого рипоста<sup>11</sup> г. Маркова, хотя в основании его лежит несомненная истина: гр. Толстой, как и всякий другой, не может вылезти из исторических условий. Дело в том, что в словах г. Маркова есть истина, но она пристраивается им совсем не к месту. Это часто бывает, что ученые люди суют несомненные истины не туда, где им нужно быть. Очки — превосходная вещь, но когда мартышка надевала их себе на хвост, она делала большую ошибку. Мы, профаны, считаем своим священным правом, которого у нас отнять никто не может, право нравственного суда над собой и другими, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Законосообразность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она с ним ничего не подделает. В этой импотенции не к месту пристроенной истины заключается, собственно, комическая сторона ученых набегов на наше право называть мерзавца мерзавцем. Не будь ее, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилию над человеческой личностью, которое позволяют себе некоторые ученые люди, стараясь убедить нас, что мерзавец есть только продукт истории и что мы не смеем даже помыслить о деятельности по собственному вкусу, независимо от «исторических условий» и «потребностей времени». Дыба, испанский осел, нюрнбергская железная девица, все ужасы инквизиции и русских застенков были бы милыми игрушками в сравнении с этим насилием, если бы только оно могло когда-нибудь переселиться из области словоизвержения в область живой действительности. Теперь дух насилия выражается только тем, что, как очень неправильно по форме, но очень метко и верно говорит гр. Толстой, «историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимают в истории». Это — несомненное выражение духа насилия. Исторический воззритель, если такое существование возможно, только потому стремится отравить

вам известное наслаждение, что сам он не способен его оценить. Собственные свои цели он преследует так, как будто бы они имели вечную, непреходящую цену. Вон, например, Спенсер сочиняет социологию, которая должна остаться истинною даже в отдаленнейшем мраке будущего, а радикалу и торию говорит: благословляю вас на все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут<sup>12</sup>; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами истории предписано вам обоим несколько времени поврать и затем умолкнуть (см. «Изучение социологии»). Ясно, что Спенсер потому только может так относиться к радикалу и торию, что ему совершенно чужды волнующие их интересы, что ему решительно все равно, восторжествует ли который-нибудь из них, и вообще все равно, как пойдут дела, о которых спорят торий и радикал. Когда речь идет о скверных каминных щипцах и неудобных аптекарских склянках, Спенсер совершенно изменяет тон: он не говорит, что скверные щипцы займут свое место в истории, он просто говорит, что щипцы скверны, потому что относятся к щипцам и склянкам как живой человек. Величественные запрещения искать чего-нибудь, не помышляя об исторических условиях, и столь же величественные дозволения врать сообразно историческим условиям — суть продукты умственной мертвечины, мертвенного отношения к явлениям.

Итак, значение исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненны право и возможность для личности судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, а сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвечает на этот вопрос в статье «Прогресс и определение образования». Но резче и рельефнее выходит ответ, данный в много осмеянном одними и много расхваленном другими философском приложении к «Воине и миру». Там есть ряд определений, из которых я приведу следующие два: «Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие



о которой вытекает из сознания свободы?— вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы?— вот вопрос этики» (Сочинения, VIII, 166). В русской литературе мне известна только одна постановка вопроса о необходимости и свободе человеческих действий, совпадающая с постановкою гр. Толстого и не уступающая ей в ясности и категоричности. Она сделана одним из сотрудников «Отечественных записок»<sup>13</sup> в статье «Г. Кавелин как психолог» («Отечественные записки», 1872, № 11). «Вопрос о произвольности не существует для науки. Психология неизбежно рассуждает, как бы он был решен отрицательно. Логика и этика столь же неизбежно рассуждают, как бы он был решен положительно».

Человек, будучи обязан признать всякое историческое явление законосообразным, имеет, однако, логическое и нравственное право бороться с ним, признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсюда прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе совершенно бессмыслен и, взятый в своей грубой, эмпирической целости, может оказаться таким смещением добра и зла, что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вывод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что исторично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заключению, что исторический путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот путь развития не есть единственный и что он может и должен быть избегнут Россией. Известно, что совершенно так же смотрят на дело славянофилы и их выродки — «почвенники». При ближайшем, однако, рассмотрении анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что он самым существенным образом отличается от славянофильских воззрений. Читатель в этом сейчас убедится.

Покончив с фатализмом, гр. Толстой обращается к оптимизму. Г-н Марков полагал, что искать критерия образования нет никакой надобности, потому что дело и без него очень просто: «каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дольше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся». Таким образом, все идет к лучшему в сем наилуч-

шем из миров<sup>14</sup>, шипов становится все меньше, а розы цветут и благоухают все роскошнее. Гр. Толстой находит, что этот образ кучи, возрастающей и вместе с тем поднимающей нас, далеко не передает истинного смысла истории. Движения истории он не отрицает, но он не согласен признавать верхние, позднейшие слои исторической кучи лучшими только потому, что они — верхние, позднейшие. Он требует для оценки исторических явлений иных, более сложных приемов, к выработке которых приступает весьма оригинальным образом. Именно он задает себе вопрос: кто признает рост исторической кучи, обыкновенно называемый прогрессом, кто признает его благом? «Так называемое общество, незанятые классы, по выражению Бокля». Рассматривая некоторые, наиболее выдающиеся «явления прогресса» (мы условились не придирааться к неточности и неправильности выражений), гр. Толстой приходит к заключению, что они действительно суть благо для «незанятых классов». Например, по телеграфным проволокам «пролетает мысль о том, что возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет, или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу, укрепились нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени сорок тысяч франков»; сообщаются сведения о «дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, о низвержении короля Оттона, о речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III». Из всего этого незанятые классы извлекают огромные выгоды и много удовольствия. Извлекают они их и из книгопечатания, из улучшенных путей сообщения. Но почему же народ, девять десятых всего населения цивилизованных стран, «занятые классы» относятся к благам цивилизации по малой мере равнодушно, а то и прямо враждебно? Потому, отвечает гр. Толстой, что блага цивилизации для народа вовсе не блага, они или проходят совершенно мимо его, или приносят ему больше зла, чем пользы. Г-н Марков ссылается на Маколея. Гр. Толстой утверждает, что из знаменитой 3-й главы первой части истории Маколея<sup>15</sup> можно выудить только следующие, наиболее выдающиеся факты: «1) Народонаселение увеличилось — так что необходима теория Мальтуса<sup>16</sup>. 2) Войска не было, теперь оно стало огромно; с флотом — то же самое. 3) Число мелких

землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились, и удобств в жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок». Гр. Толстой убежден, что совокупность этих явлений, их общий характер, несомненно, выгоден для незанятых классов, которые поэтому с своей точки зрения имеют все резоны признавать его благом, но они не имеют права навязывать свое воззрение народу; народ, опять-таки с своей точки зрения, имеет тоже все резоны относиться к перечисленным фактам вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (под обществом гр. Толстой разумеет так называемые образованные классы) и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому». Сообразно этому распределяются и понятия «общества» и народа о том или другом историческом явлении в отдельности и об общем направлении истории. Но, спрашивается, неужели мы можем положиться на мнения людей грубых и невежественных, «проводящих жизнь на полатах, в курной избе или за сохой, ковыряющих сами себе лапти и ткущих себе рубахи, никогда не читавших ни одной книги, раз в две недели снимающих с насекомыми рубаху, по солнышку и по петухам узнающих время и не имеющих других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство?» Гр. Толстой самым решительным образом становится на сторону грубого, грязного и невежественного народа. «Я полагаю,— говорит он,— что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства и в особенности свойство искать где лучше, как рыба где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой мысли подтверждает и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что

работник точно так же саркастически и умно обслуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает — что соха, что сволока<sup>17</sup>, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать, какой след; как узнать, тельна ли корова или нет? и за то, что барин живет всю жизнь ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит „табе“, „сабе“, „фитанец“, „плант“ и т. п., и за то, что он в праздник напивается как животное и не знает, как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейцами. Индейцы считают англичан варварами и злодеями, англичане — индейцев; японцы — европейцев; европейцы — японцев; даже самые прогрессивные народы — французы считают немцев тупоголовыми, немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуживать своего благосостояния и народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа на том основании, что: 1) народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на стороне народа; 2) и главное потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения («Илиада», русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа». В конце концов гр. Толстой объясняет, что «весь интерес истории» заключается для него «не в прогрессе цивилизации, а в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния,— продолжает он,— по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частию противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов... Эти люди признают без

всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным».

Но, может быть, прогресс, как он выразился в истории Западной Европы, есть нечто фатальное, нечто неизбежно обязательное как для самой Европы в будущем, так и для других стран, стоящих на низших ступенях цивилизации? Из предыдущего уже видно, что гр. Толстой должен был отвечать на этот вопрос отрицательно. Он так и отвечает. Он говорит, что «не считает этого движения неизбежным». Обращаясь к России, он делает несколько беглых замечаний о разнице в условиях ее жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно из этих замечаний. Упомянув о мнении Маколея, что благосостояние рабочего класса измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить во всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, то есть для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилем благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства».

Этим исчерпываются, кажется, все существенные пункты статьи «Прогресс и определение образования». Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого. Без сомнения, его анализ понятий

прогресса и цивилизации далеко не полон (автор, впрочем, и не ставил себе целью полноту анализа), страдает и другими недостатками. Но дело не в этом. Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого. Она прежде всего не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если где искать у гр. Толстого славянофильских или «почвенных» тенденций, так именно в указанной статье, которая, собственно говоря, представляет целую политическую программу в сжатом, скомканном виде. Между тем здесь-то и выступает всего резче непричастность гр. Толстого к славянофильству. В статье нет и помину об одной из любимейших тем славянофильства — о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, долженствующему стереть с лица земли или по крайней мере совершенно посрамить мир романо-германский. Мало того, что тема эта не затронута в статье — гр. Толстой и вообще не написал на нее ни одной строки, — статья отрицает ее в самом корне, ибо гр. Толстой признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание возможности с ним бороться, свободно ставя перед собой идеалы. Гр. Толстой с своей обычной смелостью бросает перчатку историческим условиям, вовсе не имея в виду, соответствуют они или не соответствуют началам русского, а тем паче славянского национального духа. Мистицизм, уверенный, что им уловлены пути, которыми провидение направляет человечество к известной цели, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оценки исторических явлений, — обе эти крайности, так часто совпадающие, уничтожены гр. Толстым одним ударом. Не отрицая законов истории, он провозглашает право нравственного суда над историей, право личности судить об исторических явлениях не только как о звеньях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответствующих или не соответствующих ее, личности, идеалам. Право нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход событий, которому соответствует обязанность отвечать за свою деятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события

сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий. Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства, что было бы для славянофила почти невозможным подвигом при рассуждениях о русском народе и европейской цивилизации. Правда, как и славянофилы, гр. Толстой много говорит о народе и скептически относится к благам европейской цивилизации. Но разве сочувствие народу и критика европейской цивилизации составляют монополию славянофилов? Во всяком случае, гр. Толстой иначе относится к обоим этим пунктам славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народе», но почти всегда разумели под этим словом стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию. Гр. Толстой не признает этого единства русских людей или по крайней мере усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнивать их отношения к отношениям враждебных национальностей. Для него «общество» и народ стоят друг перед другом в таких же, если можно так выразиться, нравственных позах, как французы и немцы в тот момент, когда они взаимно величают друг друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говорит он, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей. Они полагали, что рознь эта порождена петровским переворотом, и только им. Говорят, что и гр. Толстой относится к петровским реформам отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой в таком смысле не высказывался. Во всяком случае, это весьма возможно. Но я почти уверен, что печатное изложение мнений гр. Толстого о петровской реформе вполне обнаружило бы его непричастность к славянофильству, хотя бы уж потому, что Русь допетровскую он не может себе представлять в розовом свете. И в допетровской Руси существовали отдельно народ, «занятые классы» и, как выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невежественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно так смотрит на дело, это видно из общего характера вышеприведенных его воззрений и из некоторых прямых указаний. Очень любопытно, например, следующее замечание. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь

месяцы» гр. Толстой рассуждает, между прочим, о преподавании истории и о том, следует ли ребятам только сообщать сведения или же давать пищу их патриотическому чувству. Рассказав о впечатлении, произведенном на детей повестью о Куликовской битве, он замечает: «Но если удовлетворять национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года — и всего». Это — замечание глубоко верное само по себе и вполне совпадающее с общим тоном *десницы* гр. Толстого. Действительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами «общества» и народа. Много других блестящих войн вела Россия, и для «общества», для «незанятых классов» суворовский переход через Альпы или венгерская кампания могут представлять даже больший патриотический интерес, чем 1612 и даже 1812 год. «Общество» знает цену тем отвлеченным началам, ради которых Суворов переходил через С.-Готард или русские войска ходили усмирять венгров. Народ — профан в этих отвлеченных началах: они не будят в нем никаких необыденных чувств, потому что не имеют с ним жизненной связи. И я уверен, что рассказ о почти невероятном подвиге перехода через Чертов мост или о том, что Гёргей<sup>18</sup> пожелал сдаться русским, а не австрийцам, — не могут возбудить в народе ни патриотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что в обоих этих случаях русское оружие покрылось неувыдаемою славой. Худо ли это, хорошо ли это — другой вопрос, но это — так. Гр. Толстой, в той же статье о преподавании истории, неподражаемо мастерски передает сцену оживления, возбужденного в яснополянской школе рассказом о войне 1812 года, особенно тот момент, когда, по определению одного из учеников, Кутузов наконец «окарачил» Наполеона. Суворов, Потемкин, Румянцев и другие славные русские полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа бледными и неинтересными фигурами. Вот что, я думаю, хотел сказать гр. Толстой своим замечанием об исключительном, с точки зрения народа, характере 1612 и 1812 годов. Глубоко патриотическая подкладка «Войны и мира» в связи с другими причинами утвердила во многих убеждение, что гр. Толстой есть квасной патриот, славянофил, что он



падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что он верит в какое-то мистическое величие России и проч. Одни радовались, другие бранились, а между тем это убеждение решительно ни на чем не основано. Оно не оправдывается даже *шуйцей* гр. Толстого, о которой — в следующий раз. Я не отрицаю случайных совпадений воззрений гр. Толстого с тем или другим пунктом славянофильского учения, но это совпадения именно только случайные. Гр. Толстой написал резко патристическую хронику Отечественной войны, он написал бы, вероятно, таковую же хронику событий Смутного времени. Не спорю, он впал бы, может быть, при этом в некоторую односторонность и преувеличение в оценке грехов и заслуг той или другой исторической личности, того или другого исторического факта. Но одно верно: роста и развития московской, допетровской Руси он никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками. Не напишет он также ничего подобного «Богатырям» г. Чаева или «Пугачевцам» гр. Сальяса<sup>19</sup>. Сравнение этих романов с «Войной и миром» очень соблазнительно и, смею думать, было бы небезынтересно с точки зрения профана. Но я должен отказаться от этой соблазнительной темы. Скажу только следующее. Ни от читателей, ни от критики не укрылась подражательность произведений гг. Чаева и Сальяса; слишком очевидно было, что эти писатели рабски копируют манеру «Войны и мира». Порешено было, что это плохие копии, и только, все было сведено к степени таланта. Только наш уважаемый сотрудник, г. Скабичевский, взглянул на дело несколько иначе. Но, будучи все-таки уверен в славянофильстве гр. Толстого, он, мне кажется, далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром», с одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» — с другой<sup>20</sup>. Гг. Чаев и Сальяс действительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всех сил старались то же слово так же молвить. Насколько неудачны оказались их старания, это дело второстепенное, ввиду того, что они не сумели схватить главного и существеннейшего в воззрениях гр. Толстого. Они, гг. Чаев и Сальяс, могут любую страницу русской истории, не моргнув глазом, обработать на манер «Войны и мира», и выйдет ни хуже ни лучше, чем «Богатыри» и «Пугачевщина», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаяния, не призадумается и в суворов-

ских, например, походах времен императора Павла увидит общенародное русское дело, то напишет вещь плохую, сравнительно, разумеется, говоря. Вещь эта будет потому плоха, что гр. Толстой не верит в единство целей и интересов всех людей, говорящих русским языком, на протяжении всей русской истории. Он знает, что единство это есть явление крайне редкое в русской, как и в европейской истории, что много нужно условий для совпадения славы оружия с интересами и идеалами народа. Он лишен первобытной невинности и наивности людей, считающих возможным и даже обязательным гореть патриотическим пламенем при всякой победе русского оружия и вообще на всякой громкой странице русской истории. И если бы он вздумал заставить своих героев пламенеть по таким же поводам, по каким пламенеют почти все «герои», то есть положительные типы гг. Чаева и Сальяса,— это было бы пламя фальшивое, бледное, негодное, недостойное мыслящего и убежденного художника.

Повторяю, случайные совпадения мнений гр. Толстого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам «официальной народности»<sup>21</sup>. В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. «Живого славянофила увидите»,— заманивали меня. Я пошел смотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был «святорусский богатырь», «чисто русская широкая натура», что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа...<sup>22</sup> Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен

Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала как личность<sup>23</sup>, быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь *европейских форм* раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тут все-таки не будет. Критика европейской цивилизации, представленная в статье о прогрессе гр. Толстым, и критика славянофильская не только не имеют между собой ничего общего, но мудро даже найти два исследования одного и того же предмета, более противоположные и по исходным точкам, и по приемам, и по результатам. Прошу читателя сравнить воззрения гр. Толстого с следующими, например, строками, заимствованными из статьи «Зигзаги и арабески русского домоседа», напечатанной в № 4 «Дня» за 1865 год. Уверяю вас, что я не рылся в книгах для того, чтобы выудить этот перл. Мне хотелось найти что-нибудь подходящее для сравнения. Я взял первое попавшееся под руку славянофильское издание и, перевернув несколько страниц, нашел следующее:

«Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу — избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчас кровь — пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затем идет длинное, все в том же шутовском стиле, описание запустения дворянской домоседской жизни. Все это просто подход, автору просто хочется сказать, что Южной России нужны железные дороги. Поговорив и о русских красавицах, и об удалых тройках, и еще невесть об чем, автор подступает наконец, с божией помощью, к Илье Муромцу, ну, а уж известное дело, что от Ильи Муромца можно прямым путем до чего угодно дойти. Автор и доходит: «Не старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств несбытных, земель непочатых южнорусский край — ждет он железного пути от срединной Москвы к Черному морю. Ждет его могучего соловьиного свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие злато-

главы церкви, и звонче раздастся колокольный тот звон, что со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе ко святым пещерам зовет, облегченье, обновленье дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера, нетронутая да тяжелая, жизньнюю вскормленная скорбь народная — к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народной жизни новый город Украины, Харьков торговый, — бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом здесь мену ведет, и стремятся сюда свежие, ретивые русские рабочие силы, к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным новороссийским степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. И сильный борец против Киева древнего — юный город, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждут города и земли — к кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бесплодие, бессилие?» Редакция «Дня», с своей стороны, не желая уступить в паясничестве своему корреспонденту, делает такое примечание от себя: «Моря и Москвы хочет достигнуть Киев; пуще моря Москва нужна Харькову: Киеву — первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отошала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей, железом стянуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?»

Я не об том говорю, что гр. Толстой унижится до такого паясничества только в том случае, если у него бог разум отнимет. Это само собой разумеется. Я обращаю внимание читателей на внутреннюю подделку фактов и понятий, выглядывающую из-под этой нелепой, режущей ухо подделки речи. Нужды «дворян-домоседов» обставляются звоном киевских колоколов, Ильей Муромцем, каликами перехожими, и выходит так, как будто бы уж не о дворянах-домоседах речь идет, а о величии всей России. Вместо дворян-домоседов подсовывается «Русь-богатырь». С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только «духа» европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа. Много они об этом духе толковали, и потому выходило так, что они — необыкновенно воз-

вышенные идеалисты, до которых гр. Толстому, как до звезды небесной, далеко. В самом деле, он критикует европейскую цивилизацию совсем не с точки зрения какого бы то ни было «духа», а с точки зрения такой прозаической и материальной вещи, как «общее благосостояние». С этой точки зрения он признает телеграфы, железные дороги, книгопечатание, заработную плату и другие «явления прогресса», которых он не перечисляет, явлениями выгодными для известной, малой части русской нации и невыгодными для другой, большей. Уличайте его в преувеличении, в парадоксах, доказывайте, что его точка зрения неверна, но не валите же на него того, в чем он ни на волос не грешен. Не называйте его славянофилом, когда мудрено найти точку зрения более противоположную славянофильской, чем та, на которой он стоит. Я далек от мысли признавать славянофилов людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятия — напротив, наиболее видные славянофилы были люди вполне искренние. Но тем не менее, оставляя в стороне их богословские воззрения и панславизм (об чем гр. Толстой не написал во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видеть, что они провозили немало контрабанды под флагом начал русского народного духа. В экономическом отношении сделать из России Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетом из нее одного только пункта — поземельной общины. Как это на первый взгляд ни странно, но оно так. Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так, например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование орнаментами в вышеприведенном стиле, то есть рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах переходящих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик переходящих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, то есть того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое

больное место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикантам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе. Недаром один из ораторов заседающего в эту минуту в Петербурге «съезда главных по машиностроительной промышленности деятелей», кажется известный своим красноречием г. Полетика <sup>24</sup>, воскликнул: тогда (то есть после десятка-другого лет отсутствия европейской конкуренции) мы встретим врагов России русскою грудью и русским железом! Вот образец чисто славянофильского пафоса. Русская грудь, русское железо и враги России играют тут такую же роль, как киевские колокола и Илья Муромец в паясничестве «Дня» и его корреспондента из дворян-домоседов: совсем об них речи нет, совсем они ненужны, совсем они даже бессмысленны, потому что врага нужно встречать просто хорошим железом, а будет ли оно русское или английское — это не суть важно. Русская грудь, русское железо и враги России притянуты сюда в качестве флага, прикрывающего контрабанду, скрадывающего разницу между Россией и русскими заводчиками. Этим-то скрадыванием и занимались всегда славянофилы. Они знали себе одно: или Русь-богатырь так казной-мошной истощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму иметь своих собственных русских заводчиков, свои собственные акционерные общества, своих собственных русских концессионеров железных дорог и проч. Все выработанные и освященные европейской цивилизацией формы экономической жизни принимались славянофилами с распростертыми объятьями, со звоном киевских и других колоколов, если они обставлялись русскими и обруселыми именами собственными. А тем самым вызывалось изменение начал русской экономической жизни в чисто европейском смысле. Но изменение не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустим, что русские фабриканты обеспечены от европейской конкуренции, что вследствие этого Русь-богатырь имеет своих собственных святорусских пролетариев и свою собственную святорусскую буржуазию; что значительная часть деревенского населения, стянувшись к городам, передала

свои земли собственным святорусским лендлордам и фермерам; что появилась более или менее высокая заработная плата, появление которой гр. Толстой считает для России признаком упадка народного богатства и проч. Таким образом, русская промышленность и русское сельское хозяйство процветают. Как отзовется это изменение на других сторонах русской жизни? Совсем не надо быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, потому что означенное изменение уже отчасти совершается. Мы видим, например, что народ забывает те свои, чисто народные песни, которые так восхищали славянофилов как выражение начал русского духа, и запекает:

Мы на фабрике живали,  
Мелки деньги получали,—  
Мелки деньги пятаки  
Посносили в кабаки.

**Или:**

Я куплю своему милому  
Тот ли бархатный жилет.

Этой перемене должно, конечно, соответствовать и изменение нравственного характера русского рабочего люда. Политические условия страны опять-таки необходимо должны измениться, экономическая сила буржуазии и лендлордов необходимо повлечет ее по пути развития одного из европейских политических типов. В конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена, хотя процесс начался звоном киевских колоколов и вызовом тени Ильи Муромца.

Может показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проникательнее ненавидели европейскую цивилизацию. Я об этом спорить не буду. Замечу только, что Киреевские, Хомяков были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависело от условий времени. Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, ее бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа. Вообще, я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очерк славянофильства и связанных с ним учений.

Славянофильство имело много почтенных сторон и оказало немало ценных услуг русскому обществу, чего, впрочем, отнюдь нельзя сказать о его преемниках, о тех межеумках, которые получили название «почвенников», — умалчиваю о головоногих «Гражданина»<sup>25</sup>. Я имею в виду только один, но весьма существенный признак славянофильства: в трогательной идиллии или с бурным пафосом, серьезно или при помощи буффонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цели «незанятых классов» (древней или новой России) с интересами классов занятых, вдвигая их в национальное единство. Это справедливо и относительно первых славянофилов. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этот часто очень тонкий и меткий писатель назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так<sup>26</sup>: «Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы должны жить славою и наслаждением других. Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота. Конечно, тут есть бессмыслица при той узкой, запертой жизни, где все делается с закрытыми дверями, как в наше время. В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия». Г-н Страхов прав: это — истинно славянофильские воззрения.

Но это не суть воззрений гр. Толстого. Любопытно, что г. Страхов (статья его о Ренане напечатана в сборнике «Гражданина»), которого нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колена перед г. Н. Данилевским<sup>27</sup> и — я не знаю — может быть, даже перед кн. Мещерским, — любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об «общем благосостоянии» порождены



постыдную завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка («молодшего брата»?) перед «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков об «общем благосостоянии» и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен «житейский материализм». Увы! на эти гарантии наложил руку не кто иной, как — *horribile dictu!* \* — гр. Лев Толстой. Он, так много превознесенный, меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а «общим благосостоянием!» Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом — гр. Толстой не будет ничего иметь против нее. Он, гр. Толстой, не смущаясь соображениями г. Страхова о зависти, утверждает, что «молодшему брату» действительно нет никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гнилом Западе мало ли что делается<sup>28</sup>. Но и русский молодой брат, по мнению гр. Толстого, нисколько не заинтересован в том, что «русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу, укрепились нервами и обнимает своего обожаемого супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русский купец или фабрикант исправно получает телеграммы о дороговизне или дешевизне сахара или хлопчатой бумаги. Молодший брат «только слышит гудение проволок и только стеснен законом о повреждении телеграфов». «Мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительности его пашни, не ослабляют надзора в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него». Вместо того чтобы приглашать молодшего брата радоваться процветанию отечественной литературы, гр. Толстой уверяет, что «сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды»; и «чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса

---

\* Страшно сказать! (лат.) — Ред.

Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».

Довольно. Прегрешение гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочем, вижу во всем этом не прегрешение, а десницу гр. Толстого, свежую и здоровую часть его воззрений. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы все положительные и отрицательные результаты, к которым пришел гр. Толстой, были вполне верны. Главный и общий их недостаток состоит в излишней простоте. В самом деле, они до такой степени просты, что не могут вполне соответствовать действительности, всегда сложной и запутанной. Но дело не в этом. Раз установлена известная точка зрения на вещи, все остальное дело поправимое. Только за точку зрения гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослыл мистиком, оптимистом, фаталистом, славянофилом, квасным патриотом и проч., ни того, почему его воззрения прошли бесследно в шестидесятых годах, когда мы были более или менее восприимчивы к свежей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконец, того, почему его воззрения возбудили такой шум теперь, когда...

## II

В статье «О народном образовании» (старой, напечатанной в IV т. сочинений) Толстой говорит: «Мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования; наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться из того *sergse viciеux* \*, который столько времени проходили европейские школы, *sergse viciеux*, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Евро-

---

\* Порочного круга (фр.).— *Ред.*

пейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще».

Таким образом, граф Толстой, провозглашающий право и обязанность личности бороться с историческими условиями во имя ее идеалов и отрицающий прошлый ход европейской цивилизации, подает руку последним и лучшим плодам этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имели повода пристегиваться к его громкому имени всякие проходимцы, всякие пустопорожные люди и межеумки, по заслугам не пользующиеся сочувствием общества... Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!..

Какова бы, однако, ни была шуйца графа Толстого, но уже из предыдущего видно, до какой степени недобросовестно относятся к нему многие наши критики, как хвалители, так и хулители. Замечательны, в самом деле, усилия, употребляемые многими для смешения гр. Толстого со всем, что только есть темного и промозглого в нашей литературе. По поводу статьи «Отечественных записок» и «Анны Карениной» в мрачных, поросших плесенью, пропитанных гнилью и сыростью подвалах «Гражданина» и «Русского мира»<sup>29</sup> раздались радостные вопли! Своды подвалов тряслись от криков: наш! наш! Он — певец священных радостей и забав «культурных слоев общества» и изобличитель «науки, им ослушной, суеты и пустоты»!<sup>30</sup> Обитателям подвалов простительно это ликование. Понятно, что им лестно пристегнуться к светлому имени. Понятно также, что им не ясен истинный характер воззрений гр. Толстого на радости и забавы «культурных слоев общества». Много мерзостных подробностей быта этих слоев изображено в «Анне Карениной», и обитатели подвалов, пещерные люди, троглодиты с гордостью указывали на эти подробности как на нечто такое, чего не способны проделать «разночинцы». Еще бы! Но бог с ними, с пещерными людьми. Им многое простится, потому что они почти ничего не понимают. Совсем иначе приходится взглянуть на статью г. Евгения Маркова «Последние могилы русской педагогики», напечатанную в № 5 «Вестника Европы». Статьи более недобросовестной, более,

скажу прямо, наглой мне давно не приходилось читать. Г-н Марков тщательно облачается в полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякает шпорами либерализма и потряхивает блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическим и патетическим жаром, и тем не менее каждая ее строчка, так сказать, точеная, деланная, высиженная с весьма непохвальной целью. Звонком и блеском, которого так много, что даже в глазах рябит и тошно становится, прикрывается не непонимание, а простая передержка. Надо заметить, что автор есть тот самый г. Марков, который некогда полемизировал в «Русском вестнике» с гр. Толстым и которому последний отвечал статьей «Прогресс и определение образования». Я узнал об этом из следующего величественного заявления г-на Маркова: «С гр. Л. Н. Толстым мы встречаемся не в первый раз. В 1862 году мы напечатали в «Русском вестнике» статью под заглавием «Теория и практика яснополянской школы», в которой сделали, по возможности, полный анализ как теоретических заблуждений, так и практических достоинств яснополянской школы. Педагогический журнал гр. Л. Н. Толстого закончился ответною статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу решение гр. Толстого прекратить защиту исповедуемой им теории обучения, но все-таки надеялись, что и наши замечания имели, вместе со школьным опытом гр. Толстого, некоторое влияние на изменение его педагогических убеждений. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимает старое копьё и выступает с проповедью тех самых педагогических начал, которые выставлял он в 1862 году, на нас даже лежит некоторая нравственная обязанность не отказываться от состязания и явиться на защиту тех общеевропейских основ народного обучения, которые мы отстаивали против гр. Толстого двенадцать лет назад».

Право, мне жаль г. Маркова. Двенадцать лет человек был убежден, что он убедил и победил, спокойно занимался изучением итальянской живописи, недобросовестностью адвокатов, красотами Крыма и многими другими предметами — вдруг оказывается, что враг и не думал класть оружие! Положение истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы из него надлежало выходить при помощи тех приемов, которые г. Марков

почему-то называет исполнением «нравственной обязанности».

Сердца русских педагогов должны трепетать от радости. Статья гр. Толстого налетела на них, как неожиданная туча, разразившаяся дождем и градом; цветы педагогики были прибиты к земле и еле-еле поднимали свои растрепанные венчики к небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемические опыты гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова<sup>31</sup>, редакции «Семьи и школы» и проч. были так слабы, так незаметны... Но мало-помалу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первым лучом была статья г. Цветкова в «Русском вестнике», появившаяся тотчас же вслед за статьей гр. Толстого в «Отечественных записках». Г. Цветков есть пещерный человек, троглодит, и нападение его на новую педагогику в лице барона Корфа должно было приятно щекотать самолюбие педагогов, как и всякое нападение, исходящее из среды пещерных людей. Но все-таки это был только, так сказать, отрицательный солнечный луч. Мало-помалу и в литературе то там то сям стали проскальзывать более или менее приятные для педагогов вещи (я думаю, тут много помогло педагогам появление в «Русском вестнике» «Анны Карениной»), а наконец... наконец взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Последние могикане русской педагогики» в майской книжке «Вестника Европы». Восемь месяцев пребывали педагоги в томительном ожидании, восемь месяцев г. Евгений Марков работал, работал, работал... Результат налицо. Статья г. Маркова во многих отношениях далеко превосходит полемические опыты гг. Медникова, Евтушевского, Бунакова и проч. Те только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г-н Марков действительно развязен и к конфузу не имеет ни склонностей, ни способности. Гордиев узел полемики гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. старались распутать бойко и с колкостью, но так как они своим саном учителей юношества более приучены к степенности, то колкость и бойкость им не удавалась; при распутывании узла у них нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и в голосе. Г-н Марков, памятуя пример Александра Македонского, не распутывает узла, а разрубает его. Гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. имели вид скромных «штафирок»,

бьющих на то, чтобы действия их имели характер солидности и, будучи втянуты в полемику, наносили удары столь неграциозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвост на отлете вверх и несколько вбок. Г-н Марков имеет, напротив, вид блестящего военного офицера из кавалеристов, с лихо закрученными усами, вполне уверенного в своей непобедимости и все дела обделывающего «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изредка делали вылазки наступательного характера. Г-н Марков презирует оборонительную войну; он наступает, вторгается в неприятельскую страну, жжет, рубит, расстреливает, вешает, налагает контрибуции. Понятно, что сердца педагогов должны трепетать от радости при виде такого победоносного союзника. Он обладает именно теми качествами, недостаток которых обнаружили педагоги; он есть именно такой герой, каким бы они хотели быть, но по привычке к гражданской деятельности быть не могут.

По человечеству, я рад за господ педагогов, если мир действительно осенил их взбаламученные души. Но я должен все-таки сказать, что, будь я педагог, я бы не обрадовался такому союзнику, как г. Марков. Мне казалось бы, что такой союзник компрометирует меня и мое дело, компрометирует именно своею развязностью и неконфузливостью.

Главная задача г. Маркова состоит в том, чтобы смешать гр. Толстого если не прямо с грязью, то хоть с г. Цветковым, автором статьи «Новые идеи в нашей народной школе», напечатанной в № 9 «Русского вестника». Г-н Цветков есть один из «птенцов гнезда Каткова»<sup>32</sup>, то есть нечто вообще злобное, мрачное, воющее с ветряными мельницами, ежеминутно готовое уличить в государственном преступлении и верстовой столб на большой дороге, и кротко блеющего барашка, и сороку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будет достаточно для убеждения читателя в том, что г. Цветков есть действительно птенец гнезда Каткова. Найдя в книге барона Корфа «Наш друг»<sup>33</sup> несколько практических сельскохозяйственных советов (едва ли особенно нужных и полезных) и несколько указаний на полезных и вредных животных, г. Цветков раздражается такими громами: «Без сомнения, проштудировав о любви ради пользы и выгоды, и о барышах, и о чистом доходе, ученики будут наведены, чтобы и без

помощи учителя предложить себе вопросы вроде следующих: какую пользу приносит дряхлый старик, слабый ребенок, калека, больной? За что следует любить их? Какой чистый барыш могут принести мне яблоки, что растут за забором соседа?»

Казалось бы, переход от вредоносности суслика или мыши к воровству соседних яблок невозможен, немислим. Но нас давно уже приучили к такого рода переходам, мало того, притупили в нас способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время — оно от нас очень недалеко, — когда этих виртуозов можно было даже опасаться, но своим изумительным усердием и необычайным искусством, добытым продолжительною практикою, они достигли неожиданного результата: репутации шутов, подчас действительно смешаших, но в большинстве случаев слишком назойливых и надоедливых. Теперь их никто не боится, никто их кликушеством не возмущается, редко кого они смешат. Прочтут люди, пожмут плечами, и конец. Иначе и быть не может. Фельетонисты «Русского мира» и критики «Русского вестника» все обличают кого-то в разрушении семьи, а увидав в последнем романе гр. Толстого Анну Каренину, Облонского, Вронского, самым осязательным образом разрушающих семейное начало, вдруг восклицают: «Вот люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества!» Эти несчастные уверены, что они говорят комплимент «культурному обществу»! Такое самозаушение было смешно, пока оно было внове, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоело. Г-н Цветков очень хорошо знает, что истребление овражков составляет в некоторых губерниях повинность; он, вероятно, держит у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдруг проникается необычайной симпатией к овражкам и мышам и за наименование их бароном Корфом вредными и любви недостойными обвиняет почтенного барона в подговоре к истреблению стариков, калек и к воровству соседних яблок... Г-н Цветков — русский клерикал, то есть нечто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализм не имеет у нас на Руси ни даже подобия почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желанья захватить в свои руки воспитание юношества, ни того умения, с которым ухватились за это дело, например, иезуиты или про-

тестантские пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русского духовенства таково, что мало-мальски серьезный русский клерикализм просто невозможен. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Так вот с этим-то невозможным г. Цветковым г. Марков и желал смешать гр. Толстого. Достигает он этого способами поистине изумительными. Он, собственно говоря, очень хорошо понимает, что гр. Толстой — сам по себе, а г. Цветков — сам по себе. Статьи этих писателей появились почти одновременно. Г. Марков великодушно допускает, что это совпадение случайное. Он даже прямо говорит, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идут из двух совершенно противоположных лагерей». «И радикал (гр. Толстой) и клерикал (г. Цветков), — продолжает г. Марков, — сошлись в общей ненависти к нашей народной школе за ее общечеловеческий и общеевропейский характер и разными орудиями, с разным искусством, из разных побуждений дружно добиваются одной и той же цели — избиения русской народной школы. Этот искусственный минутный союз напоминает такие же искусственные минутные союзы теперешних французских политических партий, где легитимисты идут то рядом с бонапартистами, то рядом с ультрарадикалами, чтобы обессилить единственную пугающую их партию просвещенного и сознательного либерализма».

Г-н Марков делает в этих словах совершенно верное и даже подходящее, но не совсем полное сравнение. Справедливо, что крайние партии во Франции часто вступают в минутные союзы; справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются ввиду партии, которую г. Марков называет «партией просвещенного и сознательного либерализма» и которую правильнее было бы характеризовать русской поговоркой: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но г. Марков не сказал, как поступают в подобных случаях люди «просвещенного и сознательного либерализма»: они мешают шашки, валят с больной головы на здоровую, валят грехи, например, бонапартистов на «ультрарадикалов» и стараются наловить в этой мутной воде как можно больше рыбы. Так поступает и г. Марков относительно г. Цветкова и гр. Толстого. Считая себя, вероятно, человеком просвещенного и сознательного либерализма, г. Марков не гнушается приемами смешения шашек, выработанными людьми просвещенного и сознательного либера-



лизма в Европе. Он, открыто заявляющий, что г. Цветков и гр. Толстой суть представители *совершенно противоположных* лагерей, что они действуют *различными орудиями и из различных побуждений*, он в той же статье, нимало не смущаясь, кладет их обоих в ступу просвещенного и сознательного либерализма и с азартом толчет их вместе пестом «жалких слов»

Приведя из статьи гр. Толстого несколько фраз, г. Марков замечает: «Итак, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, в том, что она изменила науке, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указывает и доказывает это. Г-ну Маркову, по его словам, «дорога та живая идея, которая действует в новой школе и которая, собственно, и возмущает педагогов иного пошиба». Прекрасно. Г-ну Маркову надлежало бы только показать публике эту «живую идею», доказать всем смущенным статьей гр. Толстого, что последний говорит неправду, что наша педагогика вполне научна. Ведь это, кажется, так просто: покажите научные основания, в силу которых г. Миропольский уличает в невежестве барона Корфа и рекомендует благодарить создателя, который нам дал наружные уши, а вот рыбам так не дал; покажите научные основания, которыми руководствуется г. Белов, распевая:

Супцу нет уже нисколько,—  
Все уж скушал мой сынок<sup>34</sup>,

или г. Бунаков, задавая вопрос: сколько у курицы ног и летает ли лошадь?<sup>35</sup> Покажите эти научные основания — и спор немедленно прекратится. Если бы гр. Толстой и продолжал из упрямства твердить свое, ему бы никто не верил и оставался бы он гласом вопиющего в пустыне. Но г. Марков более склонен блистать эполетами и шпорами просвещенного либерализма, чем говорить дело. Поэтому он оставляет упрек гр. Толстого без рассмотрения и, только отметив его, иронически продолжает: «Новая школа готова совсем исправиться, стать неизмеримо научнее... но вдруг, повернувшись, встречает нападение г-на Цветкова. Он ей говорит: 1) Новая школа виновата в том, что она стремится дать *массу научных фактов* и сведений. 2) Новая школа, вместо того чтобы читать «*божественное*», и т. д., и т. д.

Вы возмущены, читатель. И я вас понимаю. Г-н Марков, рассыпавший в своей статье об адвокатах<sup>36</sup> сильные выражения, вроде «прелюбодей мысли» и «со-

фисты XIX века», брезгает даже софизмом — он просто передергивает. Речь идет о гр. Толстом. Опровергните его и принимайтесь потом за г. Цветкова — это ведь люди совершенно противоположных лагерей, действующие различными орудиями и из различных побуждений. Какое же дело гр. Толстому до того, в чем обвиняет новую школу г. Цветков, и обратно — какой резон г. Цветкову отвечать за гр. Толстого? Но г. Марков идет и дальше на этом скользком пути смещения шашек. Он систематизирует прием, который, я боюсь, приличествует только прелюбодеям мысли, возводит его в критический принцип. Он говорит: «Мы не можем представить лучшего опровержения нашим оппонентам, как устроив между ними такую очную ставку; всецелое противоречие свидетелей — на основании которого еще премудрый ветхозаветный судья посрамил двух старцев, оклеветавших невинную Сусанну,— считается окончательным доводом несправедливости на самом строгом судебном процессе. Поэтому мы не видим нужды приводить после этого (поэтому после этого?), в разъяснение истинных целей и сущности новой педагоги, какие-либо авторитетные свидетельства, хотя могли бы сделать это без малейшего труда. Что два союзника, одновременно производящие свое нападение с двух различных флангов, вдруг стукнулись лбами, означает одно: что они двигались в темноте и что они нападали на пустоту». Как вам нравится, читатель, этот новоявленный критический прием? Некто утверждает, что педагоги не могут представить в оправдание своей системы научных оснований и что они не сообщают ученикам новых сведений. Другой говорит, что педагоги сообщают слишком много научных сведений. Является г. Марков и, подражая премудрому ветхозаветному судии, объявляет, бряцая шпорами просвещенного либерализма: вы противоречите друг другу, следовательно, вы оба врете, а *поэтому* я не стану *после этого* доказывать, что современная педагогика хороша,— это само собой ясно. Напрасно, г. Марков. Это вовсе не ясно. И лучше бы вам «без труда» набрать авторитетных свидетельств, чем трудиться над чисткой эпозет просвещенного либерализма. Кроме барышень, которые «к военным людям так и льнут»<sup>37</sup>, блеском эпозет никого и ни в чем убедить нельзя. Кто вас знает, может быть, вы и в самом деле можете доказать, что современная педагогика вполне научна и сообщает такое

именно количество сведений, которое нужно. Отзвонили бы, да и с колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душе будет угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишком ясно, что вы занимаетесь прелюбодеянием мысли. Положим, что существует убеждение в неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марков, разделяете это убеждение (конечно, вы для этого слишком просвещены, но, положим, к примеру). Вы присутствуете при астрономическом споре, в котором на ваших единомышленников нападают с одной стороны люди, доказывающие, что земля обращается около солнца, а с другой стороны — люди, верящие, что солнце вертится около земли. Вы, со свойственною вам развязностью, объясняете: и те и другие врут, ибо противоречат друг другу, а еще премудрый ветхозаветный судия и проч.: поэтому я не стану доказывать после этого, что солнце и земля неподвижны, — это само собой ясно. Без сомнения, такой критический прием и добытый им результат весьма удобны, но могут ли они кого-нибудь убедить?

Но и это только цветки. На словах г. Марков принимает уличить в противоречии двух людей, по его собственным словам, не имеющих между собой ничего общего. Задача по крайней мере легкая, если не плодотворная. Но истинная цель г. Маркова совсем не такова: ему нужно, напротив, доказать, что гр. Толстой и г. Цветков, эти представители совершенно противоположных лагерей, действующие разными орудиями и по разным побуждениям, суть люди одного и того же лагеря, действующие одними и теми же орудиями и по одним и тем же побуждениям. Это — уже несравненно труднейшая задача, и понятно, что разрешить ее нельзя без некоторого прелюбодеяния мысли, каковое г. Марков и совершает с удовлетворительным успехом. Г. Цветков категорически заявляет, что народное образование должно быть сдано на руки духовенства. Гр. Толстой чужд этой исключительности. Правда, он неоднократно рекомендует священно- и церковнослужителей как пригодных народных учителей, но пригодность их он видит единственно в том, что это учителя дешевые и находящиеся под рукой. Выражая сочувственный ему взгляд народа, он говорит, что учителем может быть «дворянин, чиновник, мещанин, солдат, дьячок, священник — все равно, только бы был человек

простой и русский». В другом месте гр. Толстой спрашивает от лица своих оппонентов: «Каковы же будут эти школы с богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками?» Такие перечисления в статье гр. Толстого встречаются не раз и не два. Их категорический, нимало не двусмысленный характер мог, кажется, гарантировать гр. Толстого от сплетения с его именем имени г. Цветкова. Я не говорю уже об общем тоне статьи, который настолько ясен, что даже г. Марков признает гр. Толстого противником не только господствующих в среде наших педагогов воззрений, а и «церковной педагоги». Тем не менее г. Марков, продолжая блистать и греметь, берет в руки решето просвещенного и сознательного либерализма и столь искусно просеивает вышеозначенные перечисления народных учителей, что из всех их налицо остается один дьячок. Правда, мимоходом г. Марков глумится и над писарями, и над солдатами, но в конце концов все-таки сводит дело к дьячку. Гр. Толстой полагает, что программа народного училища должна ограничиваться русским языком, славянским и арифметикой. Г-н Марков местами вычеркивает из этой программы все, кроме «славянской грамоты и счета», которые ставит даже в кавычках, дабы показать, что это подлинное требование гр. Толстого. Вы спросите — зачем эти мелочные, жалкие, дрянные передержки, надставки и просевания? Затем, что г. Маркову нужно смешать гр. Толстого с г. Цветковым, затем, что «славянская грамота и счет» составляют, как выражается г. Марков, дьячковскую программу, которую г. Марков желает навязать гр. Толстому. При помощи подобных, крайне нечистоплотных, манипуляций г. Марков подходит к вожделенному концу и с напряженным, деланным, фальшивым пафосом громит одновременно и гр. Толстого, и Цветкова, безразлично цитируя то одного, то другого. Таковы критические приемы людей просвещенного и сознательного либерализма... Они основываются на умысле пропустить или вставить в критикуемом произведении маленькое, совсем маленькое словечко, поставить кавычки не там, где следует, и т. п. Я начинаю думать, что сознательный и просвещенный либерализм почтенного г. Маркова состоит в полной свободе перевернуть чужие мысли и слова. Избави бог и нас от таких судий.

Гадко рыться в этом «гробе повапленном»<sup>38</sup>, в этой систематизированной лжи, облеченной в полную парадную форму либерализма. Но две-три блески рассмотреть надо хотя бы потому, что некоторые якобы воззрения г. Маркова принадлежат не ему лично, а, так сказать, подслушаны им у гг. Евушевского, Бунакова, Медникова и других возражателей гр. Толстого.

Гр. Толстой выразил мнение, что критерий педагогики состоит в свободе учащегося, что поэтому народ должен сам выработать программу своего образования. Верна ли эта мысль или нет — здесь для нас безразлично. Но вот как передает эту мысль г. Марков: «*Вечный* критерий педагогики в том, чтобы *наш мужик* выбирал, каким предметам нужно учить *человечество* в школе, и чтобы наш русский школьный учитель, *наш русский дьячок* сочинял каждый день экспромты в классе, как нужно учить этим предметам *человечество*». Эти геркулесовы столбы недобросовестности не требуют комментариев. Поучительнее следующие соображения сознательно либерального автора. Он уверяет, будто гр. Толстой так мотивирует законность предлагаемой им программы элементарного народного образования: «Гр. Толстой поучает нас, что русский мужик стоит за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка мог выручить полтину за чтение псалтыря по покойнике: нет, народ вполне понимает педагогическое значение славянского языка, именно как мертвого языка, как организма вполне законченного, и за русскую грамоту вовсе не потому, что норовит своего мальчишку в писаря или в конторщики произвести. Удивительный народ гр. Толстого и счет понимает не как механическое орудие для некоторых отправок своего хозяйства и своей торговли, вроде того как грабли он признает полезными для сгребания сена, а соху для пахоты. О, совершенно нет! Народ гр. Толстого «допускает две области знания, самые точные и не подверженные колебаниям от различных взглядов — языки и математику». Народ этот, видите ли, «*постиг*, что один мертвый, один живой язык, с их этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и математика» — основы знания, «открывающие ему пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Остальные науки он «отталкивает как ложь» и ( — ) говорит: «Мне одно нужно знать — церковный и свой язык и законы чисел». Именно законы; это

стремление к «законам чисел» так естественно и поучительно во взглядах нашего русского мужичка!»

Я потому обращаю внимание читателя на эту тираду, что она фигурирует и у гг. Евтушевского, Медникова, Бунакова и пр. Г-н Марков только обдал ее соком просвещенного и сознательного либерализма, то есть сделал две-три подделки, излагая мысли гр. Толстого. Подчеркнутого мною слова «постиг» у гр. Толстого нет, а там, где у меня стоит знак ( — ), следовало бы вставить имеющиеся у гр. Толстого слова «как будто». Признаюсь, мне стыдно делать эти замечания, стыдно возиться с этими бесстыдными вставками и пропусками. Но что же делать, если г. Маркову не стыдно? Маленькие это словечки, но мал золотник, да дорог. Слово *не* еще меньше, но если г. Марков вычеркнет его из предложения «автор «Последних могижан» недобросовестен», то получит о своей персоне совершенно обратное понятие. Если бы гр. Толстой уверил, что народ постиг педагогическое значение законов чисел или славянского языка с его этимологическими и синтаксическими формами, то это был бы такой смешной вздор, из-за которого Мальбругу-Маркову<sup>39</sup> не стоило бы в поход ехать. Но дело в том, что гр. Толстой ничего подобного не утверждает. Он заявил факт, как я думаю, несомненный: народ желает знать русскую и славянскую грамоту и арифметику или счет. Желание это обусловлено его обстановкой, его практической жизнью. Удовлетворяя этому желанию, вы откроете народу «пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Народ, без сомнения, не понимает под арифметикой или счетом — изучение законов чисел, но ведь это не мешает арифметике быть именно наукою о законах чисел. А следовательно, ничего не мешает сказать: народ *как будто* понимает великое теоретическое значение математики. Программа начального образования выработана или, вернее сказать, выработалась из самой практической жизни, и теоретическими соображениями народ при этом не задавался. Гр. Толстой ее комментирует, вот и все. Ясно или нет?

Я должен, однако, с прискорбием сказать, что среди самых беззастенчивых фальсификаций и плоско-либеральной болтовни г. Маркова есть одно очень важное указание, и если бы он им только и ограничился, а «нравственную обязанность» перевирать чужие слова оставил бы в стороне, то нельзя было бы не поблагода-

ритель его. Г-н Марков делает много любопытнейших выписок из таких статей «Ясной Поляны», которые не вошли в собрание сочинений гр. Толстого и потому большинству теперешней читающей публики совершенно неизвестны. Я приведу только одну из этих выписок, правда большую, с сохранением курсивов г. Маркова, которые в этом случае являются вполне уместными и действительно бьющими в цель.

«...Общество в дер. Подосинках нашло своего учителя и на предложение мое заместить выбранного ими учителя другим объявило, что *не нуждается* в новом учителе и *своим довольно*. Учитель этот был *отставной дьячок*, уже 20 лет занимавшийся обучением детей... Он предложил *учить дешевле*, чем в других школах... Я посетил эту школу во время ее *цветения*. Когда мы вошли, все было тихо там; 24 мальчика, сидевшие с вырезными указками чинно вокруг длинного стола, *вдруг запели* на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, *лет 16-ти*, в синем кафтане. Он запевал: «*надеющиеся на ны*»; сосед его, водя указкой по засаленной азбучке, пел: «*слова под титлами: ангел, ангельский, архангел, архангельский*»; и снова начиная: слова под титлами: ангел и т. д.; третий: «*буки-арцы-аз-бра*»; четвертый — «*премудрость*». Когда я вошел в избу, они закричали, потом встали. *Учителя не было*. Я спросил, зачем они встали? Они объяснили, что меня ждали и что так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать; все начали опять с тех же слов: «*надеющиеся, слова под титлами*» и т. д. Здесь я в первый раз видел классическую старинную школу»... Как устраиваются подобные школы, граф Толстой описывает на следующей странице: «Учитель устраивает стол, лавки, назначает время ученья, обыкновенно с *8-ми часов до сумерек*; отцы обязаны снабдить неграмотных детей азбуками, грамотных часовником или псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель покупает или достает *бог знает какую книжонку* вместо азбучки, иногда не может достать псалтыря, когда уже мальчик начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало ему учить по порядку курса. Так здесь я застал псалтырщика, *читающего уже всю выученную* наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь был занят... Родители, приводя детей в школу или на дом к учителю, *всегда при ученике просят наказывать, бить* и говорят почти одну и ту же обычную фразу, имеющую целью вну-

шить мальчику страх и убедить в том, что родитель передает ему свою власть побоев над сыном... Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь крестятся и целуют эти книги. *Книги для них есть божество вроде идолов у чувашей, которое они просят быть милостивым к ним.* Каждому задается стишок, который он должен выучить (стишок — строка или две)... Начинается то самое пение, которое я застал. *Учитель поручает старшему смотреть за порядком, сам же большею частью уходит.* Порядок состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои пять или шесть слов. Самый лучший из таких классических учителей в продолжение дня едва ли обойдет всех учеников, спросит заданный урок и задаст новый, то есть час времени в продолжение дня употребит на занятие со всеми. Обыкновенный же прием такого рода учителей состоит в том, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же *в продолжение недели заняться с учениками много 3—4 часа.* Все такие учителя непременно завербовывают к себе в школу хотя одного грамотного под предлогом доучивать его, а в сущности, этот полуграмотный и есть учитель. Настоящий же учитель занимает только полицейскую должность *прикрикнуть, приударить, собрать деньги и изредка только указать и спросить урок.* Такими учителями очень часто бывают люди, почти целый день занятые посторонним делом, — *причетники, писаря, и таких-то учителей и вытекающую из их занятий методу* предлагают вышеприведенные указы консистории и циркуляры министерства внутренних дел о волостных училищах».

«Да, — прибавляет г. Марков, — и не только консистории, но и сам гр. Толстой, который в 1862 году удивлялся, *как можно предлагать* в учителя безграмотных и бесполезных причетников, целый день *занятых посторонним делом,* — в 1874 году удивляется, напротив, как можно обходить тех же самых причетников, оскорбляется, что этим «дешевым учителям» предпочитается «любимый тип» учителей, окончивших курс учительской школы, и хлопочет, чтобы вместо теперешних школ с правильно подготовленными наставниками были заводимы сотни школ, подобных подосинковской, у солдат, причетников и дворников, дешевле, чем по 2 рубля в месяц».

В других местах гр. Толстой выражается еще резче. Он называет «старинных учителей» палачами и живо-



дерами и говорит, что не видал еще старинного учителя — «кроткого человека и не пьяницу». Что касается до требований народа, то в той же «Ясной Поляне» гр. Толстой неоднократно говорил, что родители требовали, чтобы детей их били и ничему, кроме азбуки, не учили. «Что нам рихметика! — говорил один мужик гр. Толстому, — копейка за хлеб, копейка за лук, вот и вся рихметика. У нас солдат рихметики не учит, потому *знает, что не нужно*». Из школ, которые заводил гр. Толстой, дело шло успешно только в таких, «где учитель *на шаг не сдавался на требования крестьян*, а прямо говорил: «не нравится, возьми из школы и отдай солдатам»; где он толковал, что *я не пойду тебя учить, как пахать*, хоть ты и для меня бы пахал, *так и ты не учи меня, как учить*, хотя я и учу твоего сына, — *так понемногу крестьяне сдавались*». Я не имел возможности проверить цитаты г. Маркова, а из предыдущего видно, что почтенному писателю этому верить на слово нельзя. Может быть, он и тут нечто просеял и нечто прибавил. Но цитат этих слишком много, и есть же граница у всякой недобросовестности. Должно поэтому думать, что 12 лет тому назад гр. Толстой не возлагал надежд на солдат, прохожих, богомолков и причетников, которых ныне рекомендует в народные учителя, и относился к требованиям народа и его свободе выбирать программу образования не столь доверчиво, как теперь. Это уже не противоречие между гр. Толстым и г. Цветковым, что нимало не поучительно, это — противоречие гр. Толстого с самим собой, и притом не только противоречие его взглядов 1862 года со взглядами 1874 года, как думает г. Марков. Нет, гр. Толстой совершенно справедливо заявляет, что его основные воззрения со времен «Ясной Поляны» не изменились. Поэтому то, что является противоречием теперь, было и тогда противоречием.

Мы здесь имеем первый случай столкновения десницы гр. Толстого с шуйцей, которое (столкновение) есть только одно звено из целой цепи и может быть правильно оценено только в совокупности всех этого рода явлений литературной деятельности этого искренно и глубоко уважаемого мною писателя.

Как ни просты, как ни ясны соображения гр. Толстого о значении для народа явлений, которые принято называть прогрессивными, но приходят к ним сравнительно очень и очень немногие люди. И это совершенно понятно. «Мы все, вверху стоящие, что город на горе, дабы всем виден был»<sup>40</sup> — естественно, должны принимать близко к сердцу казовую сторону цивилизации. Цивилизация разбудила в нас известные потребности и затем сама же удовлетворяет этим потребностям в известном порядке и в известной степени. Наслаждения умственной деятельностью, искусством, политической деятельностью, материальной обстановкой, созданной цивилизацией, так велики, так осязательны, что нам вполне естественно добиваться их и затем просто наслаждаться, когда они в той или другой мере добыты. Мы очень хорошо знаем цену, заплаченную за них нами самими, и именно поэтому даже не задаем себе вопроса: не оплачивает ли наши наслаждения еще кто-нибудь, кроме нас? А если он нам и представится, то мы невольно от него отмахиваемся, что даже очень удобно благодаря сложности и запутанности явлений жизни. Теперь, например, раздаются повсюду жалобы на оскудение беллетристических талантов. Критика напоминает Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, напоминает вторую серию больших талантов — Льва Толстого, Гончарова, Тургенева — и сетует, что источник наслаждения поэтическими произведениями как бы иссяк, не дает ничего нового и грозит даже совершенно высохнуть, как только неумолимая смерть унесет представителей прежнего, блестящего периода русской поэзии. Таланты есть и теперь, и, если бы мы не имели образцов талантов более сильных, мы были бы, может быть, совершенно довольны своим настоящим. Но в общем счете группы поэтов 20—30-х и затем 40-х годов, несомненно, примируют над всем, что народилось лучшего в последние пятнадцать-двадцать лет. Из новейших беллетристов — у кого не хватает выдержки и законченности, у кого — тонкости понимания и изящества кисти, словом, все так или иначе с изъяном, все не дают нам тех наслаждений, которые мы уже имели случаи испытывать. Представим себе теперь, что нижеследующее объяснение этого прискорбного явления вполне верно: поэты двадцатых — сороковых годов бы-

ли хоть и не очень богатые люди, но все-таки в большинстве случаев помещики, обеспеченные крепостным правом. Они имели полную возможность развивать свои таланты на досуге, учиться более или менее пристально сызмала, посещать заграничные университеты, исполнять рецепт Гоголя, по которому следует написать повесть и дать ей «отлежаться» с год, потом переписать ее и опять отложить и т. д., до восьми раз. При такой обстановке ни одна случайная искра духовного интереса не могла пропасть совсем даром и должна была преимущественно разгораться пламенем поэтического таланта, ибо поэзия составляла чуть не единственное более или менее свободное поприще умственной деятельности. Ныне талантов нарождается, может быть, и не меньше, но одни совсем затираются беспощадной борьбой за существование, так что и не показываются даже, а другие недоразвиваются. Возвратите крепостное право или подождите, пока вырастут и окрепнут, то есть передадутся несколько раз по наследству большие промышленные капиталы, и русская беллетристика опять расцветет. Я очень хорошо понимаю, что это объяснение далеко не полное, но думаю, что оно в значительной степени верно. Положим, что мне удалось бы доказать это со всею возможною в такого рода вопросах точностью. Как бы вы приняли эту диссертацию, мой благосклонный читатель? Если бы вы были крепостником, вы бы одобрительно промычали и сказали бы: ну вот, я всегда это говорил! Если бы вы были чем-нибудь вроде г. Скальковского<sup>41</sup>, вы сказали бы, что к крепостному праву возврата нет, но поставить поэзию в зависимость от капитала — не вредно. Если бы вы были не крепостником и не г. Скальковским, а только русским Ренаном, г. Страховым, вы бы сказали: конечно, «пот многих есть необходимое условие развития немногих», и хоть крепостное право омерзительно, но нужно что-нибудь этакое — «фантастическое и неопределенное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но приятное впечатление», как говорится в афишах фокусников. Крепостник и г. Скальковский для нас здесь нимало не интересны, ибо речь идет о поэзии, до которой им дела нет. Г-н Страхов, конечно, интереснее, ибо он способен наслаждаться поэзией и знает цену этому наслаждению. Он действительно может потребовать чего-нибудь «фантастического и неопределенного» единственно ради интересов русской литературы и — мало того — спосо-

бен сказать это смело, публично. Но гг. Страховы очень редки в природе. Большинство моих благосклонных читателей, я полагаю, не решатся заявить симпатии к «фантастическому и неопределенному», отчасти похожему, а отчасти совсем не похожему на крепостное право; не решатся заявить не только публично, другим, а и внутри себя, сами себе. Да, господа, как бы ни были убедительны мои доводы, хоть бы вы под них не сумели иголки подточить, вы не то что не согласились бы со мной, а не хотели бы согласиться. Вам было бы больно, обидно признать, что, может быть, чистейшие ваши наслаждения выросли при помощи такого удобрения, как крепостное право; до такой степени больно, что вы отогнали бы от себя эту мысль, как пискливого комара, не дающего спокойно заснуть. Но если бы, продолжая гипотезу неопровержимой точности моих доказательств, вы и согласились со мной, вам было бы в высокой степени трудно долго удержаться на рекомендуемой точке зрения, и вы бы, может быть, пропустили, не поморщившись, например следующие строки статьи «Современная бездарность», напечатанной в № 5 «Дела» (мне неизвестно, принадлежат ли эти строки автору статьи, или Гальтону<sup>42</sup>, о книге которого статья трактует, но это все равно): «Нынче, как всегда, хозяйство на человеческие силы (?) совершенно в пренебрежении, и все обычаи и строй жизни клонятся не к тому, чтобы увеличивать массу людей (?) и массу мыслящего мозга, а к тому, чтобы их уменьшить. Любопытнейший факт этого рода представляет Древняя Греция. Нигде и никогда не было такой массы выдающихся гениальных людей, как в Аттике. Миллионы европейцев в течение двух тысяч лет не произвели ничего подобного Сократу, Периклу, Фидию, и даже величайший европеец — лорд Бэкон едва равняется второстепенному человеку древности — Платону. Если бы порода древних греков могла сохраниться, распространиться и размножиться по другим странам, в этом бы заключалось величайшее благо для всей последующей цивилизации, и размер этого блага мы даже не в состоянии себе вообразить. Но общественная нравственность древнего мира крайне извратилась. Браков избегали, потому что они вышли из моды, многие из самых честлюбивых и образованных женщин открыто вели распутную жизнь и потому не имели детей, а матери будущих поколений принадлежали к классам общества менее интеллектуальным».

Эти строки дали вам, без сомнения, много пищи для размышлений, очень интересных. Так, вы размышляли, может быть, об том, есть ли какие-нибудь основания для признания Бэкона величайшим европейцем, Платона — второстепенным человеком древности, а Перикла — не превзойденным никем в последующие века; об том, возможно ли и вообще какое-нибудь основание для подобных сравнений; об том, хорошо или дурно, что честолюбивейшие из гречанок не имели детей, и т. п. Но весьма вероятно, что вы, как и автор приведенных строк, совершенно упустили из виду одно немаловажное и уже несомненное — не то что мое объяснение расцвета и оскудения русской поэзии — обстоятельство: «более интеллектуальные» классы общества афинского, все эти Сократы, Платоны, Фидии и Периклы выросли на рабстве и сами открыто признавали институт этот необходимым условием своего блеска. Вы не задавали себе вопроса: как отразились бы на последующей цивилизации сохранение и распространение «породы древних греков» с точки зрения этой коренной ее складки? Почему вы не задали себе этого вопроса? Во-первых, потому, что вам, как образованному человеку, мудрый Сократ и изящнейший Фидий несравненно ближе, чем темная масса «менее интеллектуальных» греческих рабов. Во-вторых, потому, что Сократ и Фидий и сами по себе заметнее, ярче темной массы. В-третьих, наконец, потому, что связь Сократа и Фидия с рабством производит столь неприятное, отталкивающее впечатление, что вы инстинктивно его избегаете.

Заметьте, благосклонный читатель, что я об вас не дурного, а, напротив, очень хорошего мнения: я предполагаю, что связь мудрости Сократа и искусства Фидия с рабством или высокого поэтического таланта гр. Л. Н. Толстого с крепостным правом производит на вас обидное, отталкивающее впечатление. Но некоторые из читателей имеют, вероятно, право на еще лучшее о них мнение. Потому ли, что они вышли из рядов темной массы, на себе испытывающей невидную сторону блеска цивилизации; потому ли, что они люди очень большого ума, не позволяющего им отворачиваться даже от неприятной истины; потому ли, наконец, что они случайно одарены тонкой и восприимчивой нравственной организацией, но они признают факт означенной связи, и признают не на манер крепостника или г. Страхова. Для таких людей возникает ряд очень мучи-

тельных вопросов. Сократ мудр, Фидий прекрасен, но взрастившее их рабство омерзительно. Можно ли разорвать ненавистную, связывающую их цепь? Или надо признать эту связь фатальной и отказаться от надежды обладать философией и искусством? Или, напротив, продолжать плодить мысль и красоту на почве чистого рабства или одного из его видоизменений? Если я, «интеллектуальный» человек, сознаю, что интеллект мой и все связанные с ним наслаждения куплены ценою «пота многих», то каково должно быть мое поведение? Отказаться от интеллектуальных наслаждений я не могу, признать их происхождение безгрешными — тоже не могу.

Повторяю, очень немногие способны задать себе эти вопросы не потому, чтобы их постановка представляла какие-нибудь непреодолимые логические трудности; напротив, логически они крайне просты, но потому, что тут становится поперек дороги весь склад нашей жизни, все наше воспитание, все привычные, ежедневные впечатления. Даже *die Wenigen, die was davon erkann-ten* \*, не могут пройти весь свой жизненный путь твердым, уверенным шагом и почти неизбежно впадают в ряд противоречий. Не избег этих противоречий и гр. Толстой. Я этому не удивляюсь. В статье г. Маркова упоминается, что он богатый помещик; из романов его явствует, что он коротко знает высший свет и, вероятно, имеет с ним многосторонние и прочные связи; он очень тонкий художник и так горячо говорит об искусстве, что должен придавать эстетическому наслаждению высокую цену. И этому-то человеку, имеющему возможность наслаждаться всеми лучшими благами цивилизации, совокупность каких-то неизвестных нам обстоятельств вложила в голову мысли, изложенные мною выше. Если бы такие мысли пришли в голову человеку, лично неспособному или материальною обстановкою лишенному возможности вкушать плоды цивилизации, то тут не было бы ничего удивительного. И обойтись без противоречий такому человеку было бы весьма легко. Например, человек, по своей собственной вине или по вине обстоятельств невежественный или лишенный потребности познания, может весьма последовательно, ни разу в жизни себе не противореча, отрицать знание, поскольку оно отрицается точкою зрения гр. Толстого. Но

---

\* Те немногие, которые об этом знают (*нем.*) <sup>43</sup>. — *Ред.*

сам гр. Толстой находится в совершенно ином положении. Возьмем его литературную деятельность. Он — блестящий писатель, пользующийся громадною известностью, он — художник, то есть творец, и, несомненно, глубоко наслаждается актом поэтического творчества, он издавал журнал и печатал в других журналах и отдельных изданиях свои произведения. Между тем он пришел к следующим воззрениям на книгопечатание:

«Для меня очевидно, что расплождение журналов и книг, безостановочный и громадный процесс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространения книг и школы для увеличения числа грамотных... Но ежели число журналов и книг увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвечу я... Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа... У нас есть разные журналы (гр. Толстой перечисляет тогдашние журналы), есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уж об опытах, деланных мною для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу — надеюсь, люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом... Всякий добросовестный судья, не одержимый верою прогресса, признается, что выгод книгопечатания для народа не было... Но скажут, может быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его

благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я отвечаю, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному... Главное же, что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв в пример хотя бы освобождение от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело совершенно иначе. Мы видели, что бóльшая часть органов требовала бы освобождения без земли и приводила бы доводы, столь же кажущиеся разумными, остроумными, саркастическими. Прогресс книгопечатания, как и прогресс электрических телеграфов, есть монополия класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые под словом «прогресс» понимают свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы от праздности, я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно написать или издать статейку и получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать наверно, какой цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и в другом случае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям увеличивались, но совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия совпадают с увеличением благосостояния всего человечества» (Сочинения, т. IV, 192 и след.).

Я не скуплюсь на выписки из IV тома сочинений гр. Толстого как потому, что мне нужна самая точная передача его мыслей, так и потому, что излагаемые мною воззрения гр. Толстого, я уверен, совершенно неизвестны огромному большинству моих читателей. Так прочно установилась каким-то чудом его репутация как плохого мыслителя, что IV том его сочинений, в котором собраны педагогические статьи, мало кем читается, несмотря на то, что там есть страницы даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть,



все написанное гр. Толстым. Между тем именно в этом томе следует искать ключа ко всей литературной деятельности нашего знаменитого романиста. Всякий писатель может подвергаться и подвергается крайне разноречивым суждениям, во-первых, потому, что судьи обладают различными степенями критической способности, во-вторых, потому, что они держатся различного образа мыслей. Но относительно гр. Толстого существует еще третья и поистине удивительная причина: несмотря на всю свою известность, он неизвестен. Будем же изучать его.

Я прошу читателя серьезно вдуматься в душевное состояние писателя, пришедшего к вышеприведенным воззрениям на книгопечатание и литературу,— писателя не ради куска хлеба и не по каким-нибудь случайным обстоятельствам, а такого, как гр. Толстой, то есть писателя по призванию, неудержимо гонимого на литературное поприще избытком творческой силы. Положение истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говорит, что нет ничего предосудительного в желании написать статейку и получить за нее деньги и известность. Конечно, это времяпровождение само по себе нимало не предосудительно. Но гр. Толстой знает, что этим именно непредосудительным путем «огромные суммы народа перешли в руки» лиц, прикосновенных к литературе и книгопечатанию; что так именно слагается вся литература, эта «искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа». Человеку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писателю, пишущему не по внутренней потребности делиться с читателями возникающими в нем мыслями и образами,— легко сказать то, что говорит гр. Толстой. С другой стороны, есть много людей, совершающих ужасные преступления и тем не менее спокойных душой, потому что их действия для них не суть преступления, они не сознают их преступности. Словом, когда сознание и потребности находятся тем или другим способом в равновесии, жить легко. Гр. Толстой, напротив, ясно сознает, что литература есть один из видов эксплуатации народа, и тем не менее участвует в ней и не может не участвовать, потому что как вечному жиду таинственный голос не уставал говорить: иди, иди, иди, так и гр. Толстому внутренний голос, голос его богато одаренной природы не устает говорить: пиши, пиши, пиши! Это столкновение неудер-

жимой потребности с неумолимым сознанием составляет драму, перипетии которой должны быть тщательно изучены каждым желающим получить правильное понятие о литературной деятельности гр. Толстого. Я не намерен трактовать об «Анне Карениной», во-первых, потому, что она еще не кончена, во-вторых, потому, что об ней надо или много говорить, или не говорить. Скажу только, что в этом романе несравненно поверхностнее, чем в других произведениях гр. Толстого, но, может быть, именно вследствие этой поверхностности, яснее, чем где-нибудь, отразились следы совершающейся в душе автора драмы. Спрашивается, как быть такому человеку, как ему жить, как избежать той отравы сознания, которая ежеминутно вторгается в наслаждение удовлетворенной потребности? Без сомнения, он хотя бы инстинктивно должен изыскивать средства покончить внутреннюю душевную драму, спустить занавес, но как это сделать? Я думаю, что если бы в таком положении мог очутиться человек дюжинный, он покончил бы самоубийством или беспробудным пьянством. Человек недюжинный будет, разумеется, искать других выходов, и таких представляется не один. Гр. Толстой испробовал, кажется, их все. Но вместе с тем мы видим целый ряд очень естественных колебаний в самых этих пробах и ряд отклонений от основной (может быть, не вполне сознаваемой самим автором) задачи. Задача эта состоит в том, чтобы, оставаясь писателем, перестать участвовать в «искусной эксплуатации» или по крайней мере как-нибудь вознаградить народ за эту эксплуатацию. Есть для этого прямой путь — стать чисто народным писателем, внести свою лепту в создание литературы, которая могла бы «привиться» народу. Но даже при наличности всех других благоприятных условий, это — дело крайне трудное в техническом отношении. Гр. Толстой испробовал, впрочем, хотя отчасти, и этот путь несколькими рассказами и статейками, вошедшими в «Азбуку». Здесь кстати будет сделать следующее замечание. Я уже говорил, что взгляды гр. Толстого на различные «явления прогресса», при несомненно глубокой и оригинальной точке зрения, часто слишком просты и, так сказать, прямолинейны для того, чтобы вполне соответствовать сложной и запутанной действительности. Эту излишнюю простоту страдает и его взгляд на литературу и книгопечатание. Что теперешняя наша литература, вообще говоря, не прививается

и не привьется народу, это верно. Существуют, однако, исключения. Я не буду об них распространяться и укажу только на самого гр. Толстого, который напечатал рассказ «Кавказский пленник» сначала в журнале «Заря», то есть для «общества», а потом в «Азбуке», то есть для народа. Может быть, «Кавказский пленник» и, помнится, еще один рассказ были напечатаны в «Заре» только как образцы рассказов для народа. Но есть и другие этого рода примеры. Наша критика (то есть часть «общества») весьма много хвалила и хулила, вообще обсуждала солдата Платона Каратаева в «Войне и мире» — роман этот написан, конечно, не для народа, — между тем очень характерный рассказ Каратаева о невинно сосланном на каторгу купце вошел в «Азбуку» под заглавием «Бог правду видит, да не скоро скажет». Во всяком случае, деятельность гр. Толстого как народного писателя поглотила сравнительно ничтожную долю его сил. Нам, «обществу», он дал «Детство и отрочество», «Войну и мир», а народу не дал как писатель, конечно, ничего даже отдаленно похожего на что-нибудь равноценное. Это зависит прежде всего от того, что ему представился другой и тоже прямой путь служения народу, — деятельность педагогическая, к которой его толкнул другой дар природы — «педагогический такт». Этот педагогический такт гр. Толстой и сам знает за собой, да об нем свидетельствует и г. Марков, ссылающийся на свое личное знакомство с ведением дела в школе гр. Толстого. Но о педагогической деятельности гр. Толстого речь пойдет ниже. Однако народным писателем гр. Толстой не сделался, я думаю, не только потому, что нашел в педагогии иной способ отплаты за эксплуатацию, в которой он участвует наравне с другими писателями. Тут есть и другая причина. Круг его умственных интересов и слишком широк, и слишком узок для роли народного писателя. С одной стороны, он владеет запасом образов и идей, недоступных народу по своей высоте и широте. С другой стороны, он, как человек известного слоя общества, слишком близко принимает к сердцу мелкие, узкие радости и тревоги этого слоя, слишком ими занят, чтобы отказаться от поэтического их воспроизведения. Забавы аристократических салонов и бури дамских будуаров, несмотря на все их ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуют. Эти интересы — новый элемент совершающейся в его душе

драмы — мешают ему не только быть народным писателем, но и идти по другому, косвенному пути к примирению потребности поэтического творчества с сознанием некоторой его греховности. В самом деле, редко кому дано счастье уметь писать для народа — я называю это счастьем хотя бы уже потому, что иметь миллионы читателей приятнее, чем тысячи или сотни, — гр. Толстой может и не обладать нужными для этого силами и способностями. Но раз он уверен, что нация состоит из двух половин и что даже невинные, «непредосудительные» наслаждения одной из них клонятся к невыгоде другой — что может мешать ему посвятить все свои громадные силы этой громадной теме? Трудно даже себе представить, чтобы какие-нибудь иные темы могли занимать писателя, носящего в душе такую страшную драму, какую носит в своей гр. Толстой: так она глубока и серьезна, так она захватывает самый корень литературной деятельности, так она, казалось бы, должна глушить всякие другие интересы, как глушит другие растения цепкая повилка. И разве это недостаточно высокая цель жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляют радостей и забав общечеловеческих; разъяснить «обществу» истинный смысл «явлений прогресса»; будить хоть в некоторых, более восприимчивых натурах сознание и чувство справедливости? И разве на этом обширном поле негде разгуляться поэтическому творчеству? Гр. Толстой много и сделал в этом направлении. Противопоставлением двух означенных половин в «Кзаказах», севастопольских очерках, во многих местах «Войны и мира», в «Утре помещика» и др. он доставил много хорошей духовной пищи общественному сознанию. Сюда же относятся его педагогические статьи и самое издание журнала «Ясная Поляна», который, будучи продуктом книгопечатания и, следовательно, «искусной эксплуатации», тем не менее, наврное, вносил мир в совесть гр. Толстого. Нельзя того же сказать о тщательном изучении и изображении радостей и тревог аристократических салонов и бурь дамских будуаров. Надеюсь, читателю понятно, что эта тема удовлетворяет только потребность творчества гр. Толстого, причем он должен сознавать, что уклоняется от жизненного пути, представляющегося ему правильным, или по крайней мере должен сознавать, что идет путем неправильным. Правда, он тут получает удовлетворение и как человек

известного слоя общества, которому, может быть, не чуждо и все человеческое, но в особенности близки интересы, чувства и мысли именно этого слоя. Это — так, но в этом-то и состоит отклонение от пути, признаваемого гр. Толстым правильным, тут-то и начинается его *шуйца*, что опять-таки должно быть ему самому яснее, чем кому-нибудь. В самом деле, что значит предавать тиснению тончайший и подробнейший анализ различных перипетий взаимной любви Анны Карениной и флигель-адъютанта графа Вронского или истории Наташи Безуховой, п<sup>е</sup>е \* графини Ростовской, и т. п.? Говоря словами самого гр. Толстого, обнародование во многих тысячах экземпляров анализа, например, ощущений графа Вронского при виде переломленного хребта любимой его лошади само по себе не составляет «предосудительного» поступка. Ему «приятно получить за это деньги и известность», а нам, «обществу», не всему, конечно, а преимущественно светским людям и кавалеристам, очень любопытно посмотретья в превосходное художественное зеркало. Когда дело идет о героях произведений г. Тургенева, колеблющихся между юною и неопытною девою, с одной стороны, и страстным, стремительным демоном в юбке — с другой, о душевном состоянии автора не может быть и разговора: оно прозрачно, как кружева страстного демона и цвет лица юной девы, ибо г. Тургенев не смущен воззрениями гр. Толстого на роль книгопечатания и литературы. Но гр. Толстой имеет эти воззрения. Поэтому ему, должно быть, крайне обидно слышать похвалы людей вроде критиков «Русского вестника», «Русского мира» и «Гражданина», которые уверены, что, как выразился один из них, «литература ничем другим не может питаться, как интересами образованного круга, потому что они одни только суть истинные национальные интересы в форме сознательной и приуроченной к интересам цивилизации» («Русский вестник», 1874, № 4, статья о «Пугачевцах» гр. Сальяса). Конечно, это только мое предположение, что гр. Толстому обидно слышать эти похвалы, но предположение, кажется, весьма вероятное. Другой из этих пещерных критиков заявил, что герои «Анны Карениной» суть «люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества». Эти

---

\* Урожденной (фр.). — Ред.

несчастные не знают, что, по мнению гр. Толстого, «в поколениях работников («новые общественные наслоения») лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров, профессоров и лордов» («культурное общество»). Эти несчастные не подозревают, что для гр. Толстого «требования народа от искусства законнее требований испорченного меньшинства так называемого образованного класса»; что для гр. Толстого не то что гр. Сальяс с своими «Пугачевцами», а такие великаны, как Пушкин и Бетховен, не стоят песни о «Ваньке-кляшничке» и напева «Вниз по матушке по Волге» (Сочинения, т. IV, 380). Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его *шуйца*, печальное уклонение, *невольная* дань «культурному обществу», к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без *шуйцы*. Повторяю, я только предполагаю, что гр. Толстому, должно быть, обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его *шуйце*. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и безуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, то есть с разными привираниями и умолчаниями, лобызавших *шуйцу* гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего. Полагаю, что это не исключение, а общее правило.

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все.

Члены, употребляя терминологию гр. Толстого, «общества», или, говоря языком пещерных людей,

«культурного общества», представляются нашему автору людьми испорченными, исполненными лжи, мелкими даже в лучших проявлениях их духа. Он говорит, например: *«страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям (по музыке и поэзии), все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-клюшничке» и напев «Вниз по матушке по Волге»; что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости»*. Несколько раньше в той же статье («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы») читаем: *«Картина Иванова возбудит в народе только удивление пред техническим мастерством, но не возбудит ничего, ни поэтического, ни религиозного, чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуждено лубочною картинкой Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Венера Милосская возбудит только законное отвращение пред наготой, пред наглостью разврата — стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир, вы это можете сделать и постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, академий и художественных классов, он почувствует и прочувствует искренно и картину Иванова<sup>44</sup>, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезненно и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему случится вновь выйти из него»*.

Я мог бы привести десятки подобных цитат и даже жалею, что литературные приличия и недостаток места

мешают мне перепечатать целую треть IV т. сочинений гр. Толстого. Может показаться, что приведенные строки, как и многие другие, опять-таки сближают гр. Толстого с славянофилами: те ведь тоже доказывали, что добро, правда и красота живут только в народе, мы же, цивилизованные люди, со времен Петра питаемся злом, ложью и безобразием. На самом деле разница между гр. Толстым и славянофилами громадна и здесь. Ему *страшно сказать* то, что он говорит, и ему действительно должно быть страшно, потому что сам он не может отказаться от Иванова и Бетховена и променять картину Иванова на лубочную картинку Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Последняя, как он замечает, «замечательна по силе религиозно-поэтического чувства», но «уродлива» — удовлетворить его, значит, она не может. Славянофилы были уверены, что они, такие-то, Хомяков или Аксаков, не только поняли величие народных идеалов, но слились или по крайней мере во всякую данную минуту могут слиться с народом во всех своих воззрениях религиозных, поэтических, политических и проч. Гр. Толстой смотрит на дело гораздо глубже, искреннее и правее. Он помнит, что и сам он захвачен волной цивилизации и что нет у него силы уйти от нее, как нет ее у героя «Казачков» Оленина, нет у героя «Анны Карениной» Константина Левина, нет у героя «Утра помещика» Нехлюдова и проч. Частое повторение этого драматического мотива в произведениях гр. Толстого очень характерно — он, этот мотив, переживается им самим в жизни, в действительности. Часто гр. Толстого ставят рядом с г. Тургеневым и вдвигают его героев в ряд надломленных, бесхарактерных людей, ведущих свое родословное дерево, кажется, с Евгения Онегина. Оно отчасти, может быть, и верно, но гр. Толстой рисует этих людей в такой обстановке и в такие моменты их жизни, которые не приходили в голову ни одному из наших крупных романистов. В этом-то и состоит глубокая оригинальность его как беллетриста. Он не предается фальшивой идеализации удальца, вора и пьяницы Лукашки, которому завидует Оленин, или ямщика Илюшки, по поводу которого Нехлюдов размышляет: зачем я не Илюшка! или того народа, жизнью которого так хочет и так не может жить Константин Левин. Даже в знаменитом Платоне Каратаеве, затасканном нашей критикой, я не вижу фальшивой идеализации, как не вижу ее в признании лубочной картинку уродливого,



но полную религиозно-поэтического чувства. Но автор ставит дело так, что во всех этих грубых и невежественных детях народа оказывается нечто достойное зависти людей образованных и тонко развитых. Что это за нечто и почему гр. Толстой стоит на нем так упорно? Я думаю, что устами Нехлюдова, Оленина, Левина и проч. гр. Толстой сам завидует Лукашкам и Илюшкам, потому что у Илюшек и Лукашек светлее, тише в душе, чем у него, гр. Толстого; светлее и тише не только потому, что они — люди грубые и невежественные, а и потому, что они не виноваты, например, перед автором «Войны и мира» и «Анны Карениной», а он перед ними виноват: он участвовал и участвует в «искусной эксплуатации», совершающейся при посредстве книгопечатания, телеграфов, железных дорог и других «явлений прогресса». Фальшивое положение, в котором находится автор «Войны и мира», «Анны Карениной» (не он один, конечно), немислимо для Лукашек и Илюшек, а это, конечно, должно гарантировать этим грубым и невежественным людям некоторое превосходство над блестящим и тонкоразвитым писателем. С другой стороны, превосходство над ними гр. Толстого тоже не может подлежать сомнению. В чем же дело? Нам ответит сам гр. Толстой словами, сказанными им по отношению к детям, но, очевидно, справедливыми и относительно Лукашек и Илюшек.

Воспитывая, образывая, развивая или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Если бы время не шло, если бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большею частью *самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития...* Большею частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель... Воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному

для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка... *Идеал наш сзади, а не спереди* (курсив гр. Толстого). Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии правды, красоты и добра, до которого я в своей гордости хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему нужен от меня только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне (т. IV, 250).

В этом рассуждении есть очень важный недосмотр, значительно колеблющий все рассуждение, именно: недосмотр закона наследственности. Гр. Толстой полагает, что слово Руссо — человек рождается совершенным — «есть великое слово и, как камень, останется твердым и истинным». К сожалению, это совсем не верно. Камень давно рассыпался, ибо сын сифилитика рождается не совершенным, а сифилитиком, сын идиота имеет много шансов сделаться не совершенством, а слабоумным, сын дряблого барича — не совершенством, а дряблым баричем и проч. Однако известная доля истины все-таки заключается в рассуждении гр. Толстого, потому что сын, например, дряблого барича все-таки имеет возможность развиваться правильнее, «гармоничнее» своего отца, и дисгармония его физических и духовных сил не имеет такого резкого, законченного характера, как у взрослого. Я, впрочем, не на это хочу обратить внимание читателя. Пусть он подставит в приведенном рассуждении вместо «взрослого» человека — человека цивилизованного, члена «общества», хоть самого гр. Толстого, а вместо ребенка — народ, и он получит очень точное понятие о воззрениях гр. Толстого на отношение цивилизованных людей к Лукашкам и Илюш-

кам. Лукашка и Илюшка сравнительно с нами — люди отсталые. Но для гр. Толстого и в этом отношении идеал не впереди нас, а сзади. Г-н Марков или иной какой-нибудь яснолобый либерал сочтет себя, конечно, вправе по этому случаю патетически загоготать: так вот куда нас приглашают эти друзья народа! они предлагают нам обратиться в забубенных Лукашек, вместо того чтобы этим самым Лукашкам дать питательную и вкусную духовную пищу! Под маской любви к народу они желают оставить его в состоянии, мало чем отличающемся от состояния дикарей! Но поздно спохватились, господа! Народ сам понимает, что ему нужен свет, и не поддастся на эту удочку! И проч., и проч., и проч., листов приблизительно на пять печатных с площадными остротами и патетическими завываниями. Но все это яснолобый либерал прогогочет совершенно втуне. Втуне пропотеет он над отшлифовкой своего пафоса и остроумия, ибо, несмотря на высокий стиль и благородное, хотя и деланное негодование, все его фразы далеко не стоят истраченной им бумаги, исписанных им чернил и притупленных перьев. Гр. Толстой очень хорошо понимает, что возврата к состоянию Лукашек и Илюшек для нас, людей цивилизованных, нет. Оттого-то он и гонит Оленина из казачьей станицы, и не дает душевного покоя Нехлюдову, и, без сомнения, благополучно женит Константина Левина на Кити Щербацкой. Понимает гр. Толстой и нежелательность возврата к Лукашкам, даже если бы возврат этот был возможен. Но из этого не следует, чтоб было полезно и справедливо начинать Лукашек и Илюшек тою цивилизацией, которою начинены яснолобые либералы, ибо света не только что в окошке, его довольно много разлито во вселенной. Знает же гр. Толстой, что из ребенка непременно выйдет взрослый человек, но из этого не следует, чтоб ребенок должен был обратиться именно в таких взрослых людей, как, например, г. Марков или г. Цветков. Лукашка и Илюшка составляют для гр. Толстого идеал не в смысле предела, его же не преjdeши, не в смысле высокой степени развития, а в смысле высокого типа развития, не имевшего до сих пор возможности подняться на высшую ступень. Цель воспитания, говорит гр. Толстой, должна состоять не в развитии, а в гармонии развития. Это справедливо не только относительно воспитания. В обществе и литературе то и дело раздаются требования развития, например, нашей азиатской тор-

говли, или железной промышленности, или сельского хозяйства в России; в любой педагогической книжке слово «развитие» повторяется чуть не чаще, чем буква «ъ»; один очень тупой актер доказывал как-то при мне, что актрисы — женщины неразвитые; я очень хорошо помню, как в шестидесятых годах меня развивали и как я сам развивал других — тогда это было в большой моде; Писарев доказывал, что Шекспир неразвит, потому что верит в привидения, и что Щедрин неразвит, потому что не занимается популяризацией естественных наук<sup>45</sup>, и проч., и проч., и проч. Во всех этих случаях говорится о развитии как о чем-то вполне ясном и себе довлеющем. Между тем трудно найти понятие менее определенное и самостоятельное. Я вполне согласен с г. Полетикой и другими заводчиками, что железная промышленность наша должна развиваться, я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что наше сельское хозяйство подлежит развитию<sup>46</sup>. Но наше согласие немедленно прекращается, как только я узнаю *тип* развития, предлагаемый этими учеными людьми. Я говорю: пусть лучше наша железная промышленность, наше сельское хозяйство остаются до поры до времени на низкой степени развития, чем им развиваться дальше, сильнее, но по английскому типу. Если бы я, профан, публиковал свои собственные идеалы развития сельского хозяйства и железной промышленности, то гг. Полетика и Орлов-Давыдов в свою очередь объявили бы, что *такого* развития они не хотят. Точно так же когда говорят: этот человек неразвит или малоразвит, надо ему помочь развиваться, то фраза эта получает определенное содержание только по объяснении предлагаемого типа развития. Конечно, выражение гр. Толстого «гармоническое развитие» тоже требует пояснения. Но он его и дает. Относительно Лукашек и Илюшек он с особенною силою и очень часто упирает на то, что эти люди «сами удовлетворяют своим человеческим потребностям». Из совокупности его воззрений следует заключить, что в этом-то и состоит идеал, находящийся сзади нас. Дайте этому типу подняться на высшую ступень, но не подменяйте его иным типом развития на том только основании, что этот иной тип развит высоко. Так рассуждает гр. Толстой, и я думаю, что воззрения его оправдываются и наукою, и справедливостью. Гармоническим развитием наука — и физическая, и нравственная, может назвать только полное, разностороннее

и равномерное развитие всех сил и способностей. Если же я не сам удовлетворяю своим потребностям, как Лукашка и Илюшка удовлетворяют своим, а пользуюсь чужими услугами, то, значит, некоторые мои силы остаются без работы и гармония моей жизни нарушена, я — человек исковерканный, хотя бы некоторые другие мои силы получили колоссальное развитие. Поэтому гр. Толстой совершенно прав, утверждая, что идеал наш — позади нас. Пусть трудно осуществить его в настоящем и будущем, потому что работа жизни становится все многосложнее и, следовательно, все труднее сохранить или восстановить гармонию сил. Но идеал все-таки поставлен, возможно приближение к нему, которое и есть истинный путь прогресса. У нас, напротив, прогрессом называется вся совокупность отклонений от этого пути.

Итак, гр. Толстой завидует чистоте совести и гармоническому развитию Лукашек и Илюшек. Но он не может завидовать скудости их понятий, многим печальным сторонам их образа жизни, их грубости. Напротив, он желал бы от души поднять их на высшую ступень развития. В силу совершающейся в его душе драмы он должен считать это даже своей обязанностью. Но может ли он, могут ли цивилизованные люди вообще это сделать? и если могут, то как следует приняться за дело? Гр. Толстой, очевидно, мучительно, болезненно занят этим вопросом. Есть что-то лихорадочное в его приемах — он то дает одно решение, то берет его назад, то опять к нему возвращается, то боится вмешательства цивилизованных людей, то призывает его, то удаляется в будуары Карениных и Курагиных и старается отыскать в этом мире хоть что-нибудь «гармоническое», то топчет этот мир. Эта лихорадка умственной работы тем поразительнее, что совершается под покровом наружного спокойствия, которое принято называть объективизмом. Лихорадка эта вполне понятна. Ведь все мы люди изломанные, искалеченные, все мы — либо жалкие и наивные эгоисты, воображающие, что наши радости и горести суть радости и горести целого народа, даже всего человечества, либо, как гр. Толстой, чувствуем себя виноватыми и мучимся завистью к чему-то такому, что нам решительно недоступно, что для нас даже и не вполне, не в своем эмпирическом, наличном виде желательно. Против нас стоит мир грубости и невежества, в котором, однако, есть задатки такой красо-

ты, такой правды, такого добра, которые при благоприятных условиях должны затмить нас совсем, да и теперь уже отчасти затмевают. И в этот-то мир, для его-то блага мы должны что-то большое и важное внести, мы-то, виноватые и искалеченные! Должны, потому что нам говорит это совесть, но можем ли? Не напортим ли мы только? Не лучше ли предоставить дело на волю бо-жью, как говорили в старину в судебных решениях?

Тут вытягивается шуйца гр. Толстого. Критика наша достаточно говорила о неприязненном отношении гр. Толстого к историческим лицам, пытающимся действовать на свой страх, по своему крайнему разумению — неприязненным отношении, доходящем до ненависти и презрения, и о его пристрастии к людям смиренным и недеятельным, сознающим себя слабыми орудиями целесообразного хода истории. Мне было очень смешно читать «Критический фельетон» в № 5 «Дела», где автор с комической серьезностью уверяет, что он впервые разоблачает с этой стороны «Войну и мир»<sup>47</sup>. Я не вижу никакой надобности повторять то, что было говорено так много раз в разных журналах и газетах. Я прибавлю только то, чего наша критика не договорила. Если бы мне пришлось трактовать о философской подкладке «Войны и мира», я бы опровергал ее не от своего имени, а от имени гр. Толстого, заимствуя возражения отчасти из его педагогических статей, а отчасти из «Войны и мира» же. Я бы не стал, например, разбирать, насколько основательно приписывать какой-нибудь разумной, целесообразной силе такую нелепую и недостойную комедию, как кровавое движение народов сначала с запада на восток, а потом с востока на запад. Допустим, что все доводы гр. Толстого в пользу разумности и целесообразности всех подробностей этого измолотившего сотни тысяч человеческих жизней движения — вполне резонны. Но ведь это движение туда и обратно заняло в истории всего несколько лет. Движение европейской цивилизации совершается уже много веков, а гр. Толстой, как мы видели в прошлый раз, превосходно доказал, что это движение нецелесообразно и неразумно, что с ним следует бороться. Если бы каким-нибудь непонятным чудом *один* кровавый эпизод этого многовекового движения и оказался вдруг разумным и целесообразным, то перед таким явлением следует только вложить палец удивления в рот изумления. Стараться же его постигнуть было бы совсем на-

прасным трудом. Не стал бы я тоже обсуждать уверения гр. Толстого, что Наполеон, Александр, Кутузов были те именно люди, какие только и могли быть выставлены историческими условиями. Я бы просто припомнил кое-что из того, что гр. Толстой говорил г. Маркову в статье «Прогресс и определение образования». Например: «очень, может быть, забавно рассуждать вкривь и вкось о тех исторических условиях, которые заставили Руссо выразиться именно в той форме, в какой он выразился». Или: «историческое воззрение может породить много занимательных разговоров, когда делать нечего, и объяснить то, что всем известно», и т. п. Такая очная ставка гр. Толстого с гр. Толстым же была бы в том отношении полезна, что навела бы на необходимость объяснить эти противоречия. Что умный человек заблуждается, в этом еще нет ничего особенно поразительного: не заблуждаются только не рассуждающие. Но что умный человек так резко противоречит себе, это заслуживает большого внимания, потому, что причины, толкающие его к противоречиям, должны непременно быть очень серьезны и очень поучительны. Как уже сказано, для меня все эти причины сводятся к столкновению потребностей гр. Толстого с его сознанием. Подтвердить, однако, эту мысль анализом «Войны и мира» я не берусь. Это потребовало бы слишком много времени и слишком большого труда. К счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высокохудожественная повесть, содержащая в сжатом виде все нужные для меня элементы. К счастью также, наша критика, сколько мне по крайней мере известно, не занималась ею. Значит, я не рискую надоесть читателю. Повесть эта называется «Поликушка», напечатана она в III томе сочинений гр. Толстого.

Дворовый Поликей — человек добрый и вообще недурной, но слабый. В числе его слабостей есть страстишка к воровству, которую он приобрел на конном заводе от конюшего, первого вора по всему околотку. Любит он тоже выпить. Последний его подвиг состоял в том, что он в барской конторе украл дрянные стенные часы. Барыня, женщина нервная, чувствительная и бестолковая, «стала его урезонивать, говорила, говорила, причитала, причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене, и о детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда вперед этого не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба!— говорил Поликей и трогательно плакал. Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем».

Однако репутация вора ему много вредила, и, когда пришло время рекрутского набора, на него все указывали. Надо было сдавать троих. Относительно двоих из них не было никаких колебаний ни у барыни, ни у мира. Третьим староста предлагал барыне или Поликея, или из семьи Дутлова, старого и не бедного мужика, у которого было два сына и племянник. Староста желал выгородить Дутловых и сдать Поликушку. Барыня жалела и Дутловых, но горой стояла за Поликея. «Одно только скажу тебе,— говорила она,— что Поликея я ни за что не отдам. Когда после этого дела с часами он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаивается. («Ну, понесла!» — подумал староста.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и вел себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор». Порешили на Дутловых, и жребий выпал племяннику. Между тем еще во время разговора со старостой у бестолковой барыни блеснула блажная мысль послать Поликея в город получить порядочные деньги, «три полтысячи рублей» (на ассигнации), как потом с гордостью говорил Поликушка. Она не думала, разумеется, что рискует, искушая человека; она была вполне уверена, что деньги будут привезены сполна, ибо знание человеческого сердца подсказало ей, что ее красноречие окончательно обратило вора и пьяницу на путь истины. Она, кажется, в своем приказании только и руководствуется, что желанием обнаружить свою силу и проницательность. Сцены тревоги семьи Поликея, когда его позвали к барыне (как думали в первую минуту, для сообщения вести о рекрутчине), и сборов Поликея в дорогу я передавать не стану, как потому, что они мне здесь не нужны, так и потому, что их пришлось бы выписывать целиком, чтобы оценить их



мастерство и правдивость. В особенности поразительна жена Поликея, в которой сначала нет, кажется, ничего, кроме отчаяния, а потом, когда Поликей принес известие об удивительном приказании барыни, радость и гордость борются с тревожным опасением, что Поликей не выдержит искуса. Нам нужно отметить только одну подробность: шапка у Поликея оказалась столь безобразно рваная, что надо было ее чинить; жена засовала внутрь выбившиеся из-под покрышки хлопки и зашила кое-как дыру. Поликей, наконец, едет, гордый, счастливый и с твердым решением исполнить поручение свято. И действительно, он благополучно миновал все кабаки и полпивные, получил деньги и поехал домой, приятно мечтая о благодарности и уважении, которые его там ждут. Конверт с деньгами он для верности положил в шапку и, пока не заснул в тележке, неоднократно ощупывал конверт и засовывал его глубже в шапку. Одно из этих движений погубило его. «Плис на шапке был гнилой,— поясняет рассказчик,— и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезался с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису». Словом, Поликей вернулся без денег и повесился. Жена его мыла ребят в ту минуту, когда узнала об этом. Она бросилась к повесившемуся, и в это время один из ребят захлебнулся и умер. Этого уже не могла вытерпеть многострадальная женщина и сошла с ума, причем барыня еще раз блистательно обнаружила свою чувствительность и бестолковость. Я рассказываю, так сказать, бегом, и несчастья семьи Поликушки, сбитые в кучу, могут показаться несколько аляповатыми. Но кто читал или прочтет «Поликушку» в подлиннике, тот этого не скажет. Дело этим не кончается. Старик Дутлов, сдав в городе своего племянника, на обратном пути нашел потерянный Поликеем конверт с деньгами, представил его чувствительной и бестолковой барыне и получил от нее все «три полтысячи» в подарок. «Пускай возьмет все,— нетерпеливо говорила барыня горничной.— Что ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!» Часть этих денег счастливый Дутлов (тоже мастерская фигура: прижи-

мистый старик, смесь хитрости с искренностью, простоты с торжественностью, типичный великорусский мужик) употребил на наем охотника за своего племянника. Вот как, значит, иногда неожиданно разыгрываются житейские драмы. Цивилизованный человек, чувствительная и бестолковая барыня, самоуверенно решила, что имеет достаточно и ума, и власти, и житейского опыта для того, чтобы облагодетельствовать и даже окружить некоторым почетом семью Поликушки. Вмешательство ее определило также идти в рекруты Дутлову. Но комбинация разных мелких обстоятельств, вроде починенной шапки и нахождения денег именно Дутловым, комбинация, не лишенная, вероятно, некоторой разумности и целесообразности, перевернула все вверх дном. То именно, что гордый, но слабый разум как чувствительной барыни, так и Поликеея и жены его, старался направить к счастью Поликушки, обрушилось страшною тяжестью на всю его семью и раздавило ее. А Дутлову, напротив, выпал самый счастливый билет лотереи.

Если смотреть на «Поликушку» как на анекдот, то есть как на рассказ об единичном, необыкновенном, исключительном, не подлежащем какому-нибудь обобщению случае, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стечение обстоятельств. Но широкий, преимущественно склонный к обобщениям ум гр. Толстого не годится для анекдотов: он их никогда не писал и, я думаю, не будет писать. Совсем у него иначе голова устроена. И в «Поликушке» следует видеть отражение некоторых задушевных общих понятий автора. С точки зрения господствующих о гр. Толстом мнений дело объясняется очень просто: недоверие к человеческому разуму, неспособному понять цели провидения, гордо помышляющему о своих собственных целях и терпящему в конце концов полное поражение. Это — так. Я знаю, что гр. Толстой имеет такие воззрения, я знаю, что в этом направлении он может унизиться (в философском отношении) даже до такой фразы: «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, а горожанина — городскими» (т. IV, 21). Но я не могу только отметить паразитическое явление и затем пройти мимо. Я с величайшим недоумением останавливаюсь перед ним и спрашиваю себя: как мог сказать такую плоскость такой человек, как гр. Толстой, который так отчетливо, так

глубоко понимает неразумность и нецелесообразность исторического хода событий и так страстно и настойчиво борется с ним, ища при этом опоры в своем разуме и ставя перед собой свои особенные цели? Мне кажется, что я нашел ответ, который и предлагаю читателю. Скажу, однако, что если бы гипотеза, построенная мною для объяснения литературной деятельности гр. Толстого, оказалась даже несостоятельной, но если мне удастся сообщить при этом читателю хоть часть того интереса, который возбуждает во мне этот писатель, так я и тем буду доволен. Потому что он глубоко поучителен даже в своих многочисленных противоречиях. Мне кажется, что корень несчастий, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого в чувствительной и бестолковой барыне, в цивилизованном человеке, слабом и исковерканном, но самоуверенно вмешивающемся в жизнь народа. Наблюдение, чисто теоретические соображения и чувство совести и ответственности привели его к другому заключению: цивилизованный человек обязан действовать, и действовать в известном направлении. Из этого последнего заключения проистекает вся десница гр. Толстого, смелость его мысли, благородство стремлений, энергия деятельности. Но эта нитка ежеминутно грозит оборваться на соображениях о негодности цивилизованного человека: вот и самого гр. Толстого все тянет к миру дамских будуаров. Мысль трусит, стремления замирают, энергия слабеет, и вся надежда возлагается на какое-то туманное целесообразное начало, которое без нас и наперекор нам устроит все по-своему. В этот же психический момент совершаются и другие явления. О пристрастии гр. Толстого к семейному началу наша критика тоже говорила так много, что мне нужно только договорить не договоренное ею. Доводы гр. Толстого в пользу преобладающего, всепоглощающего значения семейного начала, доходящие до апофеоза «сильной и плодovitой самки» Наташи Безуховой<sup>48</sup> (в «Воине и мире» есть прямо логические доводы, кроме логики образов), очень удобно опровергаются, как и некоторые его философско-исторические взгляды, его же собственными соображениями. Я, впрочем, не стану этим заниматься и обращаю внимание читателя на следующее любопытное обстоятельство. Замечательно, что, вводя читателей в мир крестьянский, народный, гр. Толстой не предается преувеличенной идеализации семейного начала и даже

совсем этой стороны жизни не касается. Этим умолчанием, если его поставить рядом с гимнами «сильной и плодovитой самке» в цивилизованном быту (и чем выше общественный слой, тем сильнее автор поет этот гимн), гр. Толстой как будто говорит: обитателям салонов и будуаров надо бросить мысль о какой бы то ни было политической и общественной деятельности, она им не по плечу; если есть у них семья, так это — лучшее, что у них есть; вне этой сферы они могут только вредить; народ — другое дело. Кроме того, пропаганда всепоглощающего семейного начала в цивилизованном быту представляет гр. Толстому некоторую точку опоры, некоторое оправдание его экскурсиям в мир салонов и будуаров. Нужно же найти что-нибудь хорошее там, куда его помимо его воли так тянет его шуйца; нужно же противопоставить что-нибудь этим Курагиным и Облонским, Карениным и Вронским. Но где лежит центр тяжести их жизни? Что их больше всего занимает? Разрушение семейного начала. Значит, и противопоставить им можно только семейное начало.

Повторяю, все это гипотеза. Но без нее гр. Толстой для меня — неразрешимая загадка. И если читатель ее примет, то поймет, конечно, что в вопросе о народном образовании, который состоит, собственно, в том, как и что мы, цивилизованные люди, должны и можем передать народу, что в этом вопросе гр. Толстой не мог обойтись без противоречий.

#### IV

Терпимость резко отличает гр. Толстого от других наших педагогов. Он не делает себе из того или другого способа обучения грамоте любимого конька и не ездит на нем с тем комическим видом Георгия Победоносца, образцом которого мы любовались в статье «Семьи и школы», составленной «по Миропольскому». Гр. Толстой полагает, что все существующие способы обучения грамоте имеют свои достоинства и свои недостатки, что все они могут и должны применяться, смотря по обстоятельствам, то есть смотря по особенностям учеников и учителей. Если гр. Толстой и смеется иногда над тем или другим способом, то только потому, что ему, этому способу, придается кем-либо из педагогов значение всевластного кумира. Тут гр. Толстой сходится, можно

сказать, со всеми педагогами — теоретиками и практиками, от Ушинского до какого-нибудь дьячка с «азами», но также и расходится со всеми ими в том смысле, что не творит себе кумира. Терпимость эта не идет, однако, далее обучения грамоте. За этой первой ступенью образования начинается уже полный разлад между гр. Толстым и другими педагогами. Разлад этот находится в ближайшей связи с другой чертой, еще резче выделяющей гр. Толстого из среды наших педагогов.

Г-н Евтушевский принимал в прошлом году деятельное участие в устройстве семейных или домашних, не помню названия, школ, предназначенных для детей известного класса общества — среднего или выше среднего достатка. Вопрос об этих школах разрабатывался, помнится, и в «Семье и школе». С год тому назад барон Корф публиковал в газетах об устроенной им где-то в Швейцарии школе, опять-таки, конечно, для людей среднего и выше среднего достатка. Ввиду детей этого класса пропагандируются и фребелевские сады<sup>49</sup>. Вообще, если вы проследите теоретическую и практическую деятельность наших известнейших педагогов, то есть посмотрите, где и кому они дают уроки, для кого пишут статьи и книги, об чем беседуют в педагогическом обществе, то увидите, что они много, очень много работают для «общества». Гр. Толстой, напротив, как общественный деятель, то есть поскольку его деятельность подлежит нашему суждению, очень мало интересуется образованием и воспитанием высших классов общества. Если ему случалось писать, например, об университетском образовании или о значении классического образования (которое он, мимоходом сказать, решительно отрицает), то только к слову, для разъяснения некоторых теоретических вопросов, поставленных им ради удобнейшего разрешения коренного для него вопроса — вопроса об образовании народном. Этим сопоставлением я отнюдь не думаю бросить какую-нибудь тень на педагогов: наши дети не менее детей народа нуждаются в образовании. Я только констатирую факт. Факт этот чреват чрезвычайно важными последствиями. Педагог, привыкший к атмосфере семейств среднего и выше среднего достатка и казенных или частных учебных заведений, обеспеченных казенным содержанием или крупной платой учеников, естественно приходит к мысли об образовании идеальном. Как ни неудовлетворительны в разных отношениях

наличные учебные заведения и семейная обстановка достаточных людей, но тут имеются большие, часто громадные материальные средства; поэтому педагогу может, хотя слабо, мерцать приятная мысль дать своим ученикам такое образование, которое он считает наилучшим, наиболее соответствующим, как у нас выражаются, «последнему слову науки». Это совершенно в порядке вещей. Но совершенно в порядке вещей и диаметрально противоположный взгляд гр. Толстого. По отношению к народному образованию он считает просто бессмысленным вопрос: как дать наилучшее образование? Чтобы видеть, что это вопрос действительно бессмысленный, надо взять какой-нибудь резкий пример наилучшего образования. Я, например, полагаю, что наилучшая программа образования дана Контовой классификацией наук<sup>50</sup>, и, если бы у меня имелись материальные средства и другие благоприятные условия, я обучал бы своих детей сперва математике (в известной последовательности ее подразделений), потом астрономии, затем физике, химии, биологии и, наконец, наукам общественным. Больше или меньше приближение к этой программе возможно для людей по средствам, это — «наилучшее образование» (то есть одно из наилучших, потому что другие могут выставить другие программы), но как его дашь народу?

Конечно, если бы вопрос стоял так просто и резко, так ребром, то не могло бы быть никаких пререканий между гр. Толстым и педагогами. Было бы ясно, что они толкуют о совершенно разных вещах. Но дело выходит гораздо сложнее. Педагоги вносят в народное образование привычки мысли, выработанные в совсем иной сфере, но с первого же шага наталкиваются на практическую необходимость сбавить кое-что с требований «последнего слова науки». С другой стороны, и гр. Толстой имеет, как и всякий человек, свои идеалы «наилучшего образования» и не может не желать поднятия уровня требований народа и условий его жизни до этих идеалов. Разница до сих пор выходит, значит, все-таки как будто только количественная. Но она получает характер очень ясного качественного различия, как только вы взгляните в отношения обеих спорящих сторон к народу и к идеалам наилучшего образования. Педагоги вполне уверены в безусловных достоинствах своих идеалов и вместе с тем смотрят на народ как на грубую, глупую и невежественную толпу. Применяясь к этой

грубости, глупости и невежеству, они делают известные урезки в своих идеалах и, например, вместо ряда наук в известной последовательности предлагают народу какую-то педагогическую крошку, составленную из бессвязных обрывков разнообразнейших знаний, или низводят наглядное обучение, представляющееся им последним словом науки, до уровня вопросов о полете лошади и количестве ног у ученика. Выходит, и волки сыты, и овцы целы: и идеалы наилучшего образования сохранены, и сделано снисхождение к глупости мужика. Гр. Толстой находится в ином положении. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невежества, он видит в нем задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчок. К идеалам же наилучшего образования, как и вообще к идеалам «общества» цивилизованных людей, он относится, напротив, крайне скептически. На основании изложенных мною воззрений гр. Толстого можно было бы уже а priori \* сказать, что он должен отрицательно относиться к деятельности наших педагогов: это ведь только частный случай столкновения «общества» с народом. И надо правду сказать, что трудно было бы найти область мысли и деятельности, по отношению к которой скептицизм гр. Толстого был бы законнее. Благодаря стечению благоприятных для господ педагогов обстоятельств они пользовались до сих пор каким-то странным *succés de silence* \*\*. Родители и разные казенные и общественные учреждения раскупали их книжки в громадном для России количестве экземпляров; земства различных губерний вызывали их для устройства учительских съездов и чтения лекций; многие из них стяжали себе титул «нашего известного педагога» и проч. Мне известны, правда, случаи разочарования земства в выписанном им из Петербурга патентованном педагоге, а также случаи разочарования родителей в периодических и непериодических педагогических изданиях. Но все подобные недовольства и разочарования как-то мало всплывали наружу, отчасти, может быть, по свойственной русскому человеку привычке к долготерпению и молчанию, отчасти из боязни осрамиться сомнением в ореоле научности и степенности, втихомолку, но прочно окружившем головы «наших извест-

---

\* Заранее (лат) — Ред

\*\* Тихим успехом (фр) — Ред

ных педагогов». Бывает это, что в обществе появляется человек с репутацией скромности, приличия, степенности, и все привыкают его видеть, и никто не решается заговорить об его нескромностях и неприличиях, и все, бог знает почему, точно условились, смотрят сквозь пальцы на его поведение. Так было и с педагогами, пока гр. Толстой не вторгся с своей критикой. Благодаря его инициативе профаны — кто старательнее и смелее, а кто (как я, грешный) и впервые — заглянули в творения наших известных педагогов, прислушались к их изустным прениям и увидели, что за внешним обликом учености, за терминологиями, классификациями и перечислениями Шольцев и Шмальцев скрывается нечто микроскопически малое.

Но обратимся к гр. Толстому. В народе лежат задатки громадной духовной силы, которые нуждаются только в толчке. Толчок этот может быть дан только нами, представителями «общества», больше ему неоткуда взяться, а мы даже обязаны его дать. Но он должен быть дан с крайнею осторожностью, чтобы как-нибудь не затоптать или не испортить лежащих в народе зачатков сил, а это тем возможнее, что сами мы — люди помятые, более или менее искалеченные, дорожащие разным вздором. Как же быть? Никогда уму человеческому не представлялся вопрос более важный и тревожный. Он находится в ближайшей связи с вопросами, волнующими мыслящих людей и рабочие массы в Европе. Гр. Толстой, как мы видели, полагает, что, если русский мужик будет прогрессом промышленности и сельского хозяйства согнан с земли, взамен которой ему будет предложена заработная плата, как фабричному или сельскому рабочему, то, как бы ни была высока эта плата, мужик будет обобран; обобрано будет его будущее, он будет лишен экономической самостоятельности. С точки зрения гр. Толстого, вполне разделяемой и мною, такие же опасности для народа предстоят и на пути прогресса образования. Опасности здесь даже больше, потому что не так бросаются в глаза. Тернистый путь промышленного прогресса, его обоюдоострый характер изучен, можно сказать, вполне, и только тупоумие, рутинизм и своекорыстие отворачиваются на этом пункте от горьких истин. Не то с прогрессом образования. Всякий способен понять, что заработная плата, как бы она ни была высока, есть часть дохода, даваемого тем или другим производством, а доход



с крестьянского земельного надела, как бы он ни был мал и обременен платежами, есть целый доход. Но обыкновенно говорят, что лучше большая часть, чем малое целое, а потому, дескать, показателем роста народного богатства должна быть признана высота заработной платы, а не количество земельных собственников. Это не то что неверное решение вопроса, а неправильная его постановка. Порядок, при котором большинство населения живет заработной платою, и порядок, при котором это большинство состоит из самостоятельных хозяев, принадлежит не к различным *ступеням*, а к различным *типам* развития. Поэтому здесь и сравнивать надо типы развития. Известный тип развития может быть выше другого и все-таки стоять на низшей ступени. Например, имея в виду *степени экономического развития* Англии и России, всякий должен будет отдать преимущество первой. Но это не помешает мне признать Англию низшим (в экономическом отношении) *типом* развития. Это различие типов и ступеней развития весьма важно и могло бы, если бы постоянно имелось в виду, избавить нас от множества недоразумений и бесплодных пререканий. Я прошу читателя приложить его к приведенному уже мною в прошлый раз утверждению гр. Толстого, что песня «О Ваньке-ключничке» и напев «Вниз по матушке по Волге» выше любого стихотворения Пушкина и симфонии Бетховена. Без сомнения, в «Ваньке-ключничке» и «Вниз по матушке по Волге» нет той тонкости и разнообразия отделки, нет даже той *односторонней* глубины мысли и чувства, какими блещут Пушкин и Бетховен, они ниже последних в смысле ступеней развития, но они принадлежат к высшему *типу* развития, находящемуся пока на низкой ступени, но могущему иметь *свой* прогресс. Эту *возможность* развития, более широкого и глубокого, чем каким вы обладаете сами, вы отнимете, если вам удастся подсунуть народу Пушкина вместо «Ваньки-ключничка» и Бетховена вместо «Вниз по матушке по Волге», вы оберете мужика в духовном отношении, прямо сказать ограбите его. Ограбите даже в том случае, если вам удастся всучить мужику именно такие свои перлы и алмазаны, как Пушкин и Бетховен. Но вернее предположить, что народ получит не их, а что-нибудь вроде «последнего слова куплетистики», как рекламировался недавно в газетах какой-то сборник французско-нижегородских каскадных шансонеток.

Я не знаю, хорошо ли я излагаю мысли гр. Толстого, и не без гордости прибавляю мои, уже не первый год мною развиваемые. Но я рассчитываю на читателя, на его искреннее и серьезное отношение к делу, которое исправит недостатки моего изложения. Я, впрочем, стараюсь быть как можно понятнее, точнее и хватаюсь с этой целью за всевозможные средства. С тою же целью я сделаю теперь небольшое отступление к вышедшему в прошлом году замечательному труду г. Владимирского-Буданова «Государство и народное образование в России XVIII века»<sup>51</sup>. Я не могу согласиться со многими воззрениями почтенного автора, например с его пристрастно-враждебным отношением к Петру I, об чем, впрочем, говорить не буду, так как это завлекло бы меня слишком далеко. Я не могу, к сожалению, исчерпать даже все те стороны исследования г. Владимирского-Буданова, которые находятся в ближайшей связи с вопросами, поднятыми в обществе статьей гр. Толстого. Главное достоинство труда г. Владимирского-Буданова состоит в том, что он не изолирует вопроса о народном образовании, не отрывает его от сопредельных с ним общественных вопросов. Мы к этому совсем не приучены. У нас рассуждают о звуковом методе, о фребелевских садах, о классическом и реальном образовании и проч. почти исключительно отвлеченно, без отношения к той среде, в которой должны будут действовать звуковой или иной метод обучения грамоте, фребелевские сады и классическое и реальное образование. Такие рассуждения, без сомнения, могут иметь свою цену, но, слыша их, я всегда припоминаю один любопытный исторический пример: одни и те же общие теоретические начала отразились во Франции — первой революцией, а в Германии — прусско-государственной философией Гегеля. Это от того зависело, что эти общие теоретические начала встретили в Германии одну комбинацию общественных сил, а во Франции — совершенно другую, а потому и преломились там и тут в диаметрально противоположном виде. Из этого не следует, разумеется, что отвлеченные рассуждения о том или другом факторе общественной и государственной жизни должны быть совсем исключены из нашего умственного обихода. Напротив, они вполне уместны, пока мы не выходим из области теории; временное выделение одного какого-нибудь фактора из всей совокупности жизненных явлений может в этом

случае составить даже превосходный научный прием. Но в вопросах практических необходимо должны быть приняты во внимание те силы и те сочетания сил, с которыми исследуемый фактор столкнется в действительности. В этом именно отношении ценно произведение г. Владимирского-Буданова, которое я беру на себя смелость рекомендовать особенному вниманию наших педагогов и из которого они извлекут несравненно больше пользы себе и обществу, чем из всех Шольцев и Шмальцев вместе. Разве не поучителен в самом деле для наших гордых педагогов хоть такой пример? Известный Янкович де Мириево<sup>52</sup> представил Екатерине проект народного образования, заслуживший одобрение. До тех пор народное образование было в руках дьячков и велось крайне плохо. С принятием проекта Янковича де Мириево частным лицам воспрещено было производить обучение, если они наперед не изучали нового метода в главном народном училище и не получили установленного свидетельства о дозволении открыть школу из приказа общественного призрения, которому были подчинены все народные школы губернии. Метод и объем обучения, рекомендованные Янковичем де Мириево, а равно и соответственные книги, изданные для народных училищ, представляли тоже «последнее слово науки» того времени и были, относительно говоря, ничем не хуже приемов современной педагогики. Но мужик был уже и тогда груб и невежествен. Он до такой степени упорно отдавал своих детей по-старому дьячкам, что правительство, несмотря на все свое могущество, должно было пойти на сделки. Через несколько лет по открытии нежинского училища смотритель его и городничий получили ордер, начинавшийся так: «Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было по вновь изданным книгам, и на тот конец заведены народные училища с немалым от казны содержанием. Хотя взяты были дети от дьячков и приведены в училище, но пробыли там один день, а потом более месяца никто не являлся. Причиною тому дьячки, кои обучают по старому методу; родители же почитают в том только науку, что дети их в церквах читать могут псалтирь». Затем, рядом с некоторыми репрессивными мерами, ордер предписывал понедельник, вторник и среду до обеда посвящать учению в училище по новым методам, а среду после обеда, четверг, пятницу и субботу отдать на съедение дьячкам! О сильном противодействии при-

ходских школ новым свидетельствует и другой документ, относящийся к новгород-северской школе: «Нельзя оставить без примечания, что и сие полезнейшее заведение (народное училище), как и всякое другое, имеет упрямого себе соперника — закоренелый обычай: многим и теперь кажется еще, что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Вот, господа педагоги! Сто лет тому назад ваши предшественники отскакивали с своим последним словом науки от народа, как от стены горох. Прошло сто лет, а вы все еще имеете право жаловаться, что «многим кажется еще (!), что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Положим, народ груб, глуп и невежествен, но возьмите же хоть часть вины на себя. Прислушайтесь хоть к голосу историка народного образования в России XVIII века, которого изучение предмета привело к такому заключению: «Каково бы ни было достоинство (этого) образования, все же остается верным, что степень сочувствия масс к известным явлениям социального характера должна быть необходимо принимаема меркою для оценки пригодности административных мер».

Для ближайшей цели этой главы моих записок важнее, однако, другая сторона исследования г. Владимирского-Буданова, именно: его взгляды на отношение различных форм народного образования к сословным делениям общества. «Несомненно,— говорит автор,— что роскошный цвет образования классических народов есть результат социального строя их, основанного на рабском труде, что блестящие, хотя и бесплодные лепестки средневекового образования, при крайнем невежестве масс запада Европы, есть один из результатов феодальной власти владельцев над сельским населением и промышленной торговой монополии городских общин; чем выше неравенство экономических условий, тем выше неравенство образования на обоих крайних пределах общества, то есть тем оно более блестяще вверху, тем оно ничтожнее внизу. Мало-помалу этот печальный факт стремится перейти в юридическую норму: владеющие классы стремятся утвердить мысль, что

низшие слои населения *не должны* приобретать образование, что оно в руках неимущего есть огонь в руках дитяти». Таково влияние резко сословного строя общества на судьбы народного образования. Но и формы образования в свою очередь влияют на сословный строй общества. Сюда-то и относятся любопытнейшие страницы исследования г. Владимирского-Буданова. Он полагает, что в допетровском обществе влияние сословного строя на распределение степеней образования было весьма ничтожно. Образование, на всех своих ступенях, было в те времена свободное и всесословное и, что особенно важно, не профессиональное, а общее. Принципом образования была «людскость» (*Humanität*), а не потребности той или другой сословно-профессиональной группы. Это относится не только к элементарному образованию, которое по самой сущности своей не может быть профессиональным (и потому при господстве профессиональной системы просто не имеет места). Правительство и из высшего образования не делало орудия сословий. «Образование, как цель правительственных забот, есть «мудрость», то есть *высшее общее образование*, которое по схеме Крыжанича<sup>53</sup> и привилегии московской академии состоит в полном развитии человеческих сил и способностей, в том, что составляет «едино на потребу», к которому все приложится. Зная, что источник благосостояния церковного и государственного есть мудрость, «ни о чесом же, говорит правительство, тако тщание сотворяем, якоже о изобретении премудрости, с нею же вся благая от бога людем дарствуются». Ни к какой другой сторонней цели государство не направляет этой мудрости; она сама себе составляет цель и высочайшую, чистейшую задачу государства. Средствами для достижения этой мудрости правительство признает следующую систему наук: «благоволим храмы чином академии устроить и во оных хощем семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, наченше от грамматики, пиитики, риторики, диалектики и философии разумительной, естественной и нравной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения постановити». Крыжанич уясняет эту систему; по его схеме знание (*scientia*) разделяется на духовное и мирское; первое есть богословие; второе состоит из трех составных частей: наук прикладных («механики»), математики и философии. Последняя (согласно с привилегией московской акаде-

ми) определяется как логика, физика и этика. Первая включает в себе всю филологическую часть человеческого ведения (грамматику, риторику с пиитикой и диалектику). Вторая («философия естественная») включает все науки естественные. Третья («философия нравная») включает в себе юридические, экономические и социальные науки, венец которых составляет политика — «царственная мудрость» (IV).

Петру и его преемникам предстояло или идти по тому же пути, только улучшая и расширяя его, то есть снабжая элементарные, приходские школы лучшими учителями, расширяя и уясняя программы среднего и высшего образования и т. д., или, напротив, сойти с этого пути, замкнув образование в известные сословно-профессиональные рамки. Правительство избрало второй выход. Г-н Владимирский-Буданов полагает, что «русские сословия, преимущественно же дворянское и духовное, одолжены своею организацией главным образом узаконениями о профессиональном образовании». Два принципа господствуют в нашем законодательстве XVIII века: 1) всякий должен учиться тому, что составляет профессию его отца, 2) отсюда само собою следует, что никто сторонний не может быть допущен к этой профессии. Наисильнейшее приложение принципов эти получили к профессии духовенства, результатом чего и было образование резко обособленного духовного сословия. Г-н Владимирский-Буданов, естественно, отдает значительную долю своего исследования этому резкому примеру, подтверждающему его воззрения на влияние образования на сословный строй. Однако он с большим тщанием следит и за другими проявлениями того же принципа. Не говоря уже о дворянстве, которому системой профессионального образования была предоставлена высшая военная и гражданская служба, и о сословии «подьячих», читатель найдет в книге много примеров регламентирования законодательством в сословном смысле даже отдельных частных видов военной и гражданской службы. Так, например, велено было «детей, оставшихся после умерших в службе докторов, штаб-лекарей, подлекарей, аптекарей и прочих аптекарских служителей, не определять на службу ни в какие другие команды, но только в ведомство медицинской канцелярии, где отцы их служили». Дети горнослужащих обучались в горных школах; дети военных мастеровых обучались так, чтобы

«потом могли быть добрыми мастеровыми», дети ладожской команды получали образование в особой, специальной школе, состоявшей при Ладожском канале. Если же дети людей известной профессии оказывались к ней неспособными, то их все-таки стремились удерживать как-нибудь вблизи от нее. Например, солдатские дети обучались в гарнизонных школах и предназначались в военную службу. В случае же неспособности, велено их было обучать мастерствам слесарному, кузнечному, столярному, портному «и прочим художествам, какие при армии и полках потребны и по воинскому штату определены». Неспособных детей духовного сословия рекомендовалось обучать иконописному мастерству. Я привожу эти мелкие примеры потому, что в них направление законодательства отразилось яснее, чем в узаконениях, например, о профессиональном образовании дворянства. Таким образом, «людскость», «полное развитие человеческих сил и способностей» перестали существовать как цели образования. Правительство имело в виду исключительно нужды государства, которые приурочило к сословным целям и интересам. Когда вследствие этого профессиональная система получила преобладающее, исключительное значение, образование элементарное оказалось «не в авантаже»: во-первых, уже потому, что оно есть образование общее, а во-вторых, потому, что им должны были пользоваться низшие классы общества, ни к какой специальной государственной службе не приспособленные.

Некоторые достойные внимания поправки к исторической части исследования г. Владимирского-Буданова читатель найдет в рецензии г. Андреевского, напечатанной в I томе «Сборника государственных знаний»<sup>54</sup>. Я совершенно уклоняюсь от беседы об этой стороне воззрений автора и обращаю внимание читателя только на его социологические выводы.

«Человеческая мысль и нравственная деятельность,— говорит автор,— не призваны к исключительному служению государству» (236). И в другом месте: «Профессии, всегда склонные к наследственности, могут не переходить в сословия только при том единственном условии, если выбор их совершается в летах сравнительно зрелых, после предварительного общего образования. Только общее образование может уяснить для человека его специальные способности и определить его свободную волю в ту или другую сторону практической

деятельности. В нем та сила, которая освобождает человека от условий, данных ему извне его происхождением и положением. Поэтому всякому может показаться весьма странным, что тот самый XVIII век, который принес нам образование, был вместе с тем эпохой развития сословий. Секрет разрешается тем, что правительство начала XVIII века не имеет вовсе в виду общего (человеческого, гуманного) образования. Целью его мер по народному образованию было не образование, а государственная служба» (142). При этом следует, однако, заметить, что, по сознанию самого автора, сословия уже существовали в допетровской Руси; не Петр, а XVIII век, так сказать, обострил их. Но, повторяю, конкретные исторические факты, трактуемые г. Владимирским-Будановым, я оставляю совсем в стороне и смотрю только на их общее социологическое значение. Бывают, значит, случаи, когда прогресс образования идет бок о бок с прогрессом общественных неравенств. Очевидно, что явление это возможно и помимо усиленной деятельности законодательства, направленной исключительно в сторону сословно-профессионального образования. Такая деятельность законодательства может усилить и ускорить движение, которое, однако, вполне мыслимо без нее. Сам г. Владимирский-Буданов указывает (141) на организацию у нас городского сословия, «которое несомненно представляет полный образец строгого сословного учреждения, а между тем нимало не подверглось влиянию законов о народном образовании». Он объясняет это тем, что «только так называемые *духовные* (*geistliche*, по немецкой терминологии) профессии удобно переходят в сословия под влиянием законов об изучении и приобретении профессий. Экономические же профессии могут перейти в сословия совершенно независимо от законов об обучении, в силу стремления к корпоративности, присущего самому духу всякой экономической деятельности». К этому следует еще, может быть, прибавить, что резкую границу между «духовными» и «экономическими» профессиями провести очень трудно. Как бы то ни было, посмотрим, что происходит в обществе или государстве, в котором, по каким бы то ни было причинам, господствует сословное начало образования. Мы видим здесь самую яркую картину борьбы за индивидуальность<sup>1</sup>. Победа

---

<sup>1</sup> См.: Сочинения. Т. III. Гл. VI и Т. V.



первоначально должна принадлежать высшей индивидуальности — государству. Оно совершенно подчиняет себе, поглощает отдельные единицы. Оно говорит: мне нужны офицеры, солдаты, плотники, священники, подьячие как простые, несамостоятельные органы моей жизни; с этой целью я обращаю все эти профессии в наследственные, ибо ряд поколений, воспитанных, например, в школе Ладожского канала, будет наилучше исполнять то, что, по моим задачам, должно быть на Ладожском канале исполнено. Но по мере того как этим путем растут и крепнут сословия и сословийца, победа в значительной степени переходит на их сторону. *Они* уже своею борьбою направляют жизнь государства в ту или другую сторону. Государство (так везде было) в известный момент своего развития стремится побороть, поглотить сословия и сословийца разными средствами и, между прочим, изменением системы образования, которое становится всесословным и общедоступным (поскольку это во власти законодательства). Борьба ведется с переменным счастьем, склоняясь то на одну, то на другую сторону, а пока паны дерутся, у хохлов чубы болят: низшая индивидуальность, личность в чистом и прямом смысле слова — человек в духовном отношении скудеет. Он, правда, развивается, может быть даже весьма сильно и быстро, но все условия его жизни толкают его, как выразился бы гр. Толстой, только к развитию, удаляя от *гармонии развития*. Начало наследственности медицинской профессии положено указами Анны Иоанновны. Представим себе, что план этот получил бы дальнейшее прочное развитие, что способные дети медиков, аптекарей и пр. в целом ряду поколений обучались бы медицине, а малоспособные, как это практиковалось относительно других профессий, пристраивались бы к толчению разных снадобий в аптекарских ступках, к закупориванию склянок, наклеиванию ярлыков и пр., и пр. Медицина при этом порядке едва ли прогрессировала бы, но корпорация, сословие медиков пользовалось бы, вероятно, весьма важным значением и весом в государстве. Однако это значение приобреталось бы на счет «гармонии развития» личностей, составляющих корпорацию. По всей вероятности, те специальные силы и способности, которые требуются медицинской профессией, получили бы в этом ряду поколений весьма высокое развитие. Но все-таки были бы в духовном отношении иска-

лечены не только тот малоспособный (к медицине, что не мешало бы ему быть гениальным математиком, поэтом, историком, философом) мальчик, который осужден завязывать до седых волос аптекарские склянки, но даже и наиболее видные члены корпорации. Ибо в них, разумеется, не было бы «полного развития человеческих сил и способностей», об котором мечтал Крыжанич, или, что то же, гармонии развития, на которой настаивает гр. Толстой. Точно так же был бы нравственно искалечен первый, лучший ученик школы ладожской команды, искалечена была бы его будущность, возможность для него полного и всестороннего раскрытия его духовных сил.

До сих пор читатель, без сомнения, со мной согласен, потому что примеры взяты у меня резкие и простые. Но попробуйте мысленно постепенно расширять пределы профессий медиков и ладожской команды. Эти сословия сложились бы, если бы сложились, совершенно таким же путем и дали бы такие же результаты, как и сословия в общепринятом смысле слова — дворянство, купечество. Разница тут не качественная, а количественная, почему г. Владимирский-Буданов и имеет право рассматривать те и другие вместе. Он настаивает на том, что сословия везде, по крайней мере в значительную долю времени своего развития, имеют характер профессиональных корпораций. Для убеждения в этом, говорит он, достаточно одних названий древних каст Востока и сословий классического и средневекового мира: жрецы, воины, купцы, земледельцы, дедалиды, халкиды, гоплеты, эгикореи, аргадеи, milites и т. д. Так что общие принципы, несомненные для наследственных медиков или наследственных чинов ладожской команды, должны быть верны и по отношению к наследственным жрецам, наследственным воинам и пр. Корпоративность, профессия, наследственность и призвание со стороны государства — вот, по мнению г. Владимирского-Буданова, главные признаки сословий, очевидно одинаково приложимые и к ладожской команде и к каким-нибудь жрецам, воинам и пр. Поэтому, как это на первый взгляд ни странно, но должно признать, что процесс истории, обобравший духовную природу чинов ладожской команды, обобрал и духовную природу каких-нибудь жрецов или воинов. А впрочем, здесь даже и на первый взгляд нет ничего странного. Не ясно ли, что древний воин, с своей односторонне развитою храб-

ростью, драчливостью, жестокостью, грубостью, весьма далек от гармонии развития? Не ясно ли, что некоторые его способности получили колоссальное развитие в ущерб другим духовным его силам? И не имеем ли мы поэтому права называть его духовную природу если не обобранною, то по крайней мере извращенною? Без сомнения, в новейшее время сословия дышат не таким спертым воздухом, как древние касты. В особенности это должно сказать о так называемом третьем сословии в Европе и о средней руки дворянстве у нас. Однако в большей или меньшей степени они все-таки остаются сословиями. Спрашивается теперь, каково должно быть миросозерцание человека, более или менее сдавленного гранями сословия или какого-нибудь из его разветвлений? Очевидно, это миросозерцание будет не совсем правильное, потому что одностороннее. Оно может быть даже совсем исковерканным. Геккель рассказывает (в *generelle Morphologie*)<sup>55</sup>, к каким результатам привели его занятия гимнастикой. Верхняя часть моей руки, говорит он, до тех пор остававшаяся почти без всякого упражнения, сделалась в каких-нибудь полтора года почти вдвое толще; это громадное развитие мускулов и связанное с ним упражнение представлений воли произвели сильное обратное действие на другие мои представления, а этому, в связи с другими причинами, я обязан тем, что господствовавшие во мне дотоле дуалистические и телеологические заблуждения сменились идеей единства и причинной связи явлений. Этот рассказ знаменитого ученого я не потому привел, что считаю его очень убедительным. Напротив, он произвел на меня несколько комическое впечатление. Но в основании его лежит, я полагаю, несомненная истина. Несомненно по крайней мере то, что миросозерцание людей, у которых в целом ряду поколений «представления воли остаются почти без упражнения», вообще говоря, должно иметь свой специальный характер. Это я говорю о миросозерцании вообще, а тем справедливее это относительно той части миросозерцания, которая ведаёт понятиями о явлениях общественной жизни. Несомненно также, что миросозерцание это, вообще говоря, должно быть тем уже, чем замкнутее и обособленнее соответствующие слои общества. Г-н Владимирский-Буданов указывает на презрение к труду и узкоутилитарные понятия русских дворян как на результаты профессиональной системы образования. Я думаю, что яв-

ления эти выработались задолго до XVIII века и, следовательно, профессиональной системы образования. Но это все равно. Так или иначе, а это выражения нравственной скудости, обусловленной сословным строем. Их можно было бы привести не одно и не два. Подобные черты нравственной скудости могут быть иногда очень тонки и неуловимы, тем более что они часто тонут в односторонней духовной роскоши. Они могут быть особенно неуловимы теперь, когда сословия все более и более разворачиваются для сил, прибывающих со стороны, и расплываются в общем понятии цивилизации. Однако черты эти все-таки существуют. У нас, например, часто называют Пушкина общечеловеческим поэтом. Это замечательно неверно. Пушкин есть по преимуществу дворянский, и потому его способен принять близко к сердцу и образованный немец, и образованный француз, и средней руки русский дворянин. Но ни русский купец, ни русский мужик ему большой цены не дадут. Тот круг идей и чувств, который волновал современного ему *среднего* дворянина, Пушкин исчерпал вполне и блистательно. Можно удивляться тонкости его анализа, законченности образов, можно, пожалуй, любоваться, как глубоко залезает он иногда в дворянскую душу, можно, наконец, восхищаться красотой его выражений и стиха, но все это возможно только нам, образованным людям, «обществу». Допустим, что он блистательно разработал все мотивы нашей жизни, чего, однако, допустить нельзя, но он разработал мотивы только *нашей* жизни, жизни известного специального слоя общества, на котором свет не клином сошелся и который не без пятен, потому что ведь и на солнце есть пятна.

Спрашивается, имеем ли мы право думать, что благодетельствуем народ, привив ему Пушкина и другие наши перлы? Станный вопрос! Разве это не перлы, и разве может идти в какое-нибудь сравнение с ними то, чем пробавляется в своей темной доле народ! Да, очень странный вопрос. Его-то и задает себе так часто гр. Толстой и отвечает отрицательно: нет, не благодетельствуем. И всякий должен будет сознаться, если только постарается отрешиться хоть временно от привычных понятий, что гр. Толстой глубоко прав. Надо заметить, что народ никогда не был сословием. Он платил подати и периодически выделял из себя единицы для пополнения рядов армии, но никакой дальнейшей

специализации в пользу высшей индивидуальности не подлежал, никакой корпорации не составлял и профессиональному образованию не подвергался. Он всегда «сам удовлетворял всем своим человеческим потребностям», тогда как система сословий в том именно и состоит, что потребности одних удовлетворяются другими. Без сомнения, сословная система отразилась и на народе весьма сильно, но при этом его духовная жизнь просто осталась на низшей ступени развития, а не подвергалась развитию одностороннему. Поэтому-то вопрос о народном образовании так сложен и щекотлив. Мы можем здесь идти по двум, совершенно несходным путям: мы можем или просто поднять развитие народа на высшую ступень, не нарушая его гармонии, то есть облегчая расцвет его духовных сил, или, объявив все, чем он живет теперь, дрянью и глупостью, привить ему свои перлы и алмазаны. Гр. Толстой решительно избирает первый путь. И весьма любопытно следить, как он в своей педагогической деятельности на каждом шагу допрашивает себя и других: сообщая народу то-то и то-то, не помнем ли мы чего-нибудь из будущих всходов, чего-нибудь, может быть, очень дорогого и высокого? Говорят о самоуверенности графа Толстого, о надменной категоричности тона его рассуждений о народном образовании. Это мнение решительно ни на чем не основано. Напротив, он скорее слишком осторожный и щепетильный скептик. Состояние его духа, как оно сквозит во всех его статьях, напоминает человека, который несет какой-нибудь очень дорогой, тяжелый и ломкий сосуд и тревожно и зорко осматривается, как бы ему не оступиться. Как бы он ни пересаливал в этом отношении, это несравненно лучше, чем развязность гг. Бунаковых, Миропольских, Медниковых и пр., которые — беру аналогическое сравнение — носят, как бойкие ярославские половецкие в московских трактирах. Такой половец все свое достоинство полагает в том, чтобы нести чайный прибор с совершенно своеобразным шиком, чтобы чашки и чайники франтовито дребезжали на подносе, чтобы плечи и руки самого половецкого ходунка ходили. И то, впрочем, сказать: он не бог знает какой севрский фарфор несет — и разобьется, так не беда.

Что же мы дадим народу? воспитание? Этого гр. Толстой пуше всего боится.

«Так называемая наука педагогики, — говорит он, — занимается только воспитанием и смотрит на образо-

ывающегося человека как на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления: книги, рассказы, требования, напоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемой стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с ветряными мельницами, я говорю о том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых лучших передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде школа обстроена кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое внес воспитательное влияние; так поступает и практика воспитания» (т. IV, 120). «Воспитание есть воздействие одного человека на другого, с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. Мы говорим: они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком, спартанцы воспитывали мужественных людей, французы воспитывают односторонних и самодовольных» (128). «Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое, с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим». «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу, выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость мысли и потому не могущее быть положенным в основание разумной человеческой деятельности — науки. *Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость — чувство зависти, возведенное в принцип*

и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным» (124).

Подчеркнутые мною строки особенно характерны для гр. Толстого как педагога, как мыслителя и, наконец, как общественного деятеля. Строки эти взяты из крайне любопытной статьи «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Статья не отвечает на поставленный в заглавии вопрос, потому что из нее следует вывести только то заключение, что у нас крестьянским ребятам учиться нечему, а мы у них учиться не можем. Дело идет о беллетристических опытах учеников яснополянской школы. Я прямо приведу наиболее поразительное, наиболее способное смутить читателя место статьи: «На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой на всей своей необъятной высоте развития не может достичь Гете. Мне казалось столь странным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-ти летнему Семке или Федьке, а что едва-едва — и то только в счастливую минуту раздражения — в состоянии следить за ними и понимать их» (227). Я читал по крайней мере один из этих рассказов (хорошенько не припомню) — «Солдаткино житье»<sup>56</sup>. Рассказ этот был напечатан в «Ясной Поляне» и потом перепечатан не помню где, в «Азбуке» гр. Толстого или в отдельной книжке, содержащей несколько таких рассказов. Читал я его уже предупрежденный статьей гр. Толстого и, признаюсь, все-таки не нашел в нем тех красот, которые видит гр. Толстой. Весьма может быть, что это зависит от слабости или испорченности моего эстетического чутья. Теоретически, по соображению с подходящими фактами других сфер мысли и жизни, я могу, однако, понять возможность указываемого гр. Толстым явления, то есть возможность художественного превосходства Федьки над Гете, несмотря на «необъятную высоту развития» последнего. Могу я это понять потому, что не смешиваю ступеней развития с типами развития. Без

сомнения, Федьке «Фауста» не написать и не понять; не понять ему больного, измученного существа Фауста, бросающегося с вершины ненасытимой жажды познания в омут чувственных наслаждений, из которого ему удастся выплыть только в аллегорическом виде. Для этого надо самому до известной степени быть Фаустом, самому много переболеть. А какой же Федька — Фауст? Он просто здоровый физически и душевно крестьянский мальчишка. Фауст после длинного ряда похождений, вдоволь намучившись сам и намучивши других, примиряется с жизнью на почве непосредственной практической пользы: он, как известно, в конце концов занимается осушением морского берега. Но этот конец жизни Фауста наступает для Федьки, как только он подрастет. Чуть у него силенки прибавилось, он уже и занимается чем-нибудь вроде осушения морского берега, минуя весь тот круг неудовлетворимых желаний и извращенных чувств, который Фауст проходит только затем, чтобы убедиться в неудовлетворимости своих желаний и извращенности своих чувств. Результат получается довольно странный. Выходит, что как-никак, а высокоразвитый Фауст имеет все резоны завидовать Федьке, которому совсем даром достается чуть не в утробе матери то самое, чего он, высокоразвитый человек, добивается, уже стоя одной ногой в гробу. А между тем Фауст — несомненно, высокоразвитый человек, а Федька — конечно, человек неразвитый. Кто же из них выше? Когда сравнивают питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не спрашивают: что питательнее — фунт говядины или десять фунтов свинины? Это вопрос бессмысленный. Десять фунтов свинины, конечно, содержат в себе больше питательного материала, чем один фунт говядины, но это все-таки не решает вопроса о питательности того и другого мяса. Надо взять равные количества говядины и свинины. Так и тут. Фауст давит своим развитием Федьку, но это еще ровно ничего не значит. Дайте Федьке возможность подняться на высшую ступень *своего типа* развития и тогда сравнивайте. А так как возможности этой налицо нет, то можно сравнивать Фауста и Федьку не как ступени развития, а только как типы. А тип развития Федьки должно признать высшим хотя бы уже потому, что Фауст имеет все причины завидовать ему, гармонии его развития, не дающей места тем противоречиям, неудовлетворимым желаниям и извращенным чувствам,



которыми полна душа Фауста. Это, без сомнения, должно отразиться и на литературных произведениях Фауста (или Гете) и Федыки. Гр. Толстой говорит о господствующем в произведениях Семки и Федыки чувстве меры, которое он справедливо считает существеннейшим условием художественного произведения. Это чувство меры, очевидно, совершенно не зависит от *высоты* развития. Высокоразвитый Фауст может обладать им в несравненно меньшей степени, чем Федыка или Семка, именно потому, что он очень высоко развит в известном одностороннем, более или менее извращенном направлении, а односторонность и чувство меры — понятия враждебные. Представим себе теперь, что Фауст, или Гете, или хоть гр. Толстой (большинство мыслящих цивилизованных людей — немножко Фаусты, оттого-то «Фауст» и есть величайшее произведение Гете) займутся воспитанием Федыки или Семки. Если воспитание есть действительно результат желания сделать другого человека себе подобным, то Фауст, конечно, исковеркает Федыку: он заставит его пройти множество совершенно ненужных, но мучительных стадий своего развития. До какой степени гр. Толстой зорко вглядывается в эту грозящую Федыкам и Семкам при столкновении их с цивилизованным человеком опасность, это видно из той же статьи «Кому у кого учиться писать». Автор так описывает свое душевное состояние в те минуты, когда он убедился, что Федыка — замечательный талант: «Я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, чего никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидел цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг совершенно неожиданно открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту» (223). Через две страницы те же мысли повторяются с еще большей силой: «Я оставил урок, потому что был слишком взволнован. «Что с вами? Отчего вы так бледны, вы,

верно, нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его...»

В этой страстной тираде отразился весь гр. Толстой со всеми своими противоречиями, со всею своею любовью к народу, со всеми своими надеждами и опасениями.

Итак, гр. Толстой решительно отрицает право образованных, цивилизованных людей воспитывать народ. Он совершенно вычеркивает воспитание из задач педагогики, и центр тяжести этого отрицания составляет опасение примять и извратить будущность народа, тот расцвет его сил, который пока лежит только *im Werden*, в возможности. К этому центру сходятся все его аргументы. Другое дело — образование; его гр. Толстой требует. Образование есть для него совокупность всех жизненных и школьных влияний, «которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения» (IV, 122). Воспитание, по гр. Толстому, составляет часть образования, именно принудительную часть, причем под принуждением разумеется не столько прямое, физическое или полицейское насилие, сколько исключительный, соображенный только с желаниями учителя выбор сообщаемых сведений и приемов передачи.

Народ желает учиться, «общество» желает его учить, а толку все-таки никакого не выходит, народ остается невежественным, необразованным не только у нас, а и в Европе, где на образовании народа сосредоточено и больше усилий, и больше материальных средств. Это явление побуждает гр. Толстого пересмотреть основания того образования, которое предлагается народу. Какие это, в самом деле, основания? Какие имеет основания школа нашего времени учить тому, а не

этому; учить так, а не иначе? «Китайского мандарина, не выезжавшего из Пекина, можно заставляя заучивать изречения Конфуция и палками вбивать в детей эти изречения. Можно было делать это и в средние века, но где же взять в наше время ту силу веры в несомненность своего знания, которая бы могла нам дать право насильно образовывать народ? Возьмите какую угодно средневековую школу до или после Лютера, возьмите всю ученую литературу средних веков,— какая сила веры и твердо несомненного знания того, что истинно и что ложно, видна в этих людях! Им легко было знать, что греческий язык есть единственное необходимое условие образования, потому что на этом языке был Аристотель, в истине положений которого никто не усомнился несколько веков после. Как было монахам не требовать изучения Священного Писания, стоявшего на незыблемом основании. Хорошо было Лютеру требовать неперемennого изучения еврейского языка, когда он твердо знал, что на этом языке сам бог открыл истину людям. Понятно, что, когда критический смысл человечества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая» (IV, 8). Надо заметить, что «пробуждение критического смысла» имеет в устах гр. Толстого совершенно особенное значение. Это не только возникновение сомнений в известных вековых понятиях о явлениях природы, но и возникновение сомнений в справедливости известных явлений жизни общества, возникновение того чувства ответственности, которым так полон сам гр. Толстой и отсутствие которого в Анне Карениной так охотно берет под свою защиту один из пещерных критиков гр. Толстого<sup>57</sup> («Анна Каренина, во-первых,— барыня, во-вторых, будучи барыней, она не сознает в этом обстоятельстве никакой вины с своей стороны и не желает выйти из своего привилегированного положения». «Русский вестник», № 5). Из этого чувства ответственности вытекает, как мы видели, обязанность помочь обездоленным выбраться на свет божий. Но чувство ответственности до такой степени сильно в гр. Толстом и законность его до такой степени ясно представляется его уму, что он не может допустить, чтобы всякий имел право нести народу в виде образования без разбора все, что только у него есть за душой. Гр. Толстой и себе не дает этого права. Мы видели, как тревожно и пугливо отнесся он к факту разбуженной им в Федьке творческой силы. Он как будто

говорит: положим, некоторые понятия представляются мне несомненно истинными, и для моего домашнего обихода они годятся, удовлетворяют меня; но эта несомненность тонет в моем чувстве ответственности; откуда мне взять *такую* силу веры в несомненность своего знания, которая могла бы мне дать право насильно образовывать народ?

Слишком великим делом представляется гр. Толстому народное образование, слишком важным и ответственным, чтобы удовлетворяться обыкновенными гарантиями истинности наших понятий. Истина — это ведь только случай равновесия между потребностью познания и окружающим познаваемым миром. Она изменяется с изменением познающего субъекта и, следовательно, существенно обуславливается всей социальной обстановкой познающих. Вопрос, следовательно, и с этой стороны сводится на социальную почву, что придает новое значение постоянно присутствующему на умственных счетах гр. Толстого опасению дать народу, как он говорит, камень вместо куска хлеба. С этим же опасением в голове приступает он и к пересмотру оснований принудительного образования или воспитания или замыкания ученика в круг сведений и понятий, который представляется правильным учителю. Основания эти могут быть, по его мнению, подведены под четыре отдела: религиозные, философские, опытные и исторические. Это деление предложено им в статье «О народном образовании» (IV, 5—38). В статье «Воспитание и образование» предлагаются несколько отличные рубрики, но об них потом.

Что касается до образования, имеющего своею основой религию, то гр. Толстой признает за ним, и только за ним, право принуждения. Такое выделение религиозного образования, очевидно, вполне законно, потому что религия имеет дело с предметами веры, а не познания, земные цели подчиняет спасению души и все личные усилия разработать ее догматы отрицает. Но, замечает гр. Толстой, «в наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать молодое поколение учиться известным образом — остается нерешенным». В статье «Отечественных записок», по поводу которой г. Марков столь либерально сваливает в одну кучу г. Цветкова и гр. Толсто-

го, последний выражается еще определеннее: «Теперь всеми признано, и совершенно справедливо, по моему мнению, что религия не может служить ни содержанием, ни указанием метода образования и что образование имеет своим основанием другие требования».

Затем идут основания философские. Все основатели философских систем более или менее касались задач педагогики и приводили их в связь с своими общими философскими воззрениями. Но при этом задачи педагогики оказываются столь же много- и разнообразными, как и философские системы. Эти разнообразные системы не только сменяют друг друга во времени, но зачастую существовали и существуют бок о бок, не побоя друг друга. Поэтому, даже не рассматривая их, а просто можно сказать, что по крайней мере большинство их не представляет достаточных гарантий правильности выведенных из них педагогических теорий. «Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете в ней не критерий образования, но, напротив, одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании всех педагогов, несмотря на их частое между собою разногласие, мысль, убеждающую нас в отсутствии этого критерия. Все они, начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих более или менее верно угаданных потребностях строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике Священное Писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из жизни, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг философии педагогики вперед состоит только в том, чтобы освобождать школу от мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая себе мысль чувствуется во всей истории педагогики: общая — потому что все требуют большой меры свободы школ, противоречащая — потому что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу».

Основания опытные. Может быть, принудительное образование\* может сослаться на опыт, показать блестящие результаты, которых оно достигло? Но где же эти блестящие результаты? Конечно, в Европе. Гр. Толстой ссылается на свои личные наблюдения, свидетельствующие, что таких блестящих результатов там нет. Но важнейший из аргументов состоит в том, что новой народной литературы в Европе нет и что десятое поколение нужно так же насильно посылать в школу, как и первое.

Основания исторические. «Существующие школы выработались историческим путем, историческим же путем должны вырабатываться дальше и видоизменяться сообразно требованиям общества и времени; чем дальше мы живем, тем школы делаются лучше и лучше». Гр. Толстой решительно отрицает это улучшение школ. Он находит, что они становятся, напротив, все хуже и хуже; хуже относительно, сравнительно с общим уровнем образования, который достигается в данный исторический момент. Он употребляет очень любопытный прием для проверки прогресса школьного образования. Образование дается не только школой, оно дается и жизнью — развитием торговых сношений, путей

---

\* Я прошу читателя помнить, что это не то, что у нас называется обязательным обучением. Принудительное образование народа есть замыкание его духовного развития в круг сведений и понятий, избранный по личному вкусу учителя, или общества, или правительства. Что касается до обязательного обучения, которое гр. Толстой вскользь, мимоходом также отрицает, то об нем теперь у нас разговора нет. Замечу только следующее. Обязательное обучение отрицается многими, я полагаю, только потому, что оно налагает на общество обязанность учить (гр. Толстой, конечно, не принадлежит к числу этих многих). Кроме того, следует заметить, что при всей непривлекательности насилия в деле образования (насилия прямого, полицейского) нельзя особенно негодовать против него там, где оно не составляет явления исключительного. Мне пришлось однажды присутствовать при поразительной картине учета волостного старшины. Поразительно здесь было сочетание *обязанности* выборных учитывать плута и даже двух плутов (старшины и писаря) с полнейшей беспомощностью. Я никогда не забуду этой сцены, а это, конечно, еще мелочь. Если бы возможно было снять с народа обязанность платить подати, обязанность нести военную службу и все другие многочисленные обязанности, то обязательное обучение было бы возмутительным и бессмысленным насилием. Теперь же об нем этого сказать нельзя. Я знаю, что гр. Толстой со мной не согласится. Но защита обязательного обучения может и не противоречить отрицанию принудительного образования, как его понимает гр. Толстой. Составьте только для обязательного обучения программу не по своему личному вкусу, а возможно подходящую к требованиям народа. Если дело обойдется при этом без насилия, тем лучше.

сообщения, большей степени свободы личности и участия ее в делах правления, собраниями, музеями, публичными лекциями, литературой и проч. По мере того как эти побочные, внешкольные средства образования развиваются, значение школы падает, она от них отстает. Школы в Париже или Марселе и в каком-нибудь захолустье Франции устроены одинаково, и, однако, народ в Париже и Марселе образованнее, потому что жизнь там поучительнее, чем в захолустье. В прежние времена школа давала все образование, какое было доступно исторической минуте; теперь она дает только ничтожную долю образования, и чем дальше, тем эта доля становится меньше, а главная часть образования получается не из школы, а из жизни. Значит, относительно говоря, школа не улучшается, а ухудшается, значит принудительное образование становится все более незаконным.

В конце концов у принудительного образования нет никаких оснований. «Наше мнимое знание законов добра и зла, и на основании их деятельность на молодое поколение, есть большею частью противодействие развитию нового сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом поколении; оно есть препятствие, а не пособие образованию» (эта вечная борьба «отцов и детей» довольно часто поминается гр. Толстым как явление действительно поучительное). Эту точку зрения гр. Толстой весьма последовательно проводит по всем ступеням образования. Стоя на ней, он самым решительным образом отрицает теперешнее устройство университетов и гимназий как заведений, не соображенных с потребностями молодого поколения, с вырабатывающимся в нем «новым сознанием». Столь же решительно отрицает он и нынешнюю организацию народного образования в тесном смысле слова. Известна его ересь: учите народ тому, чему он хочет учиться, критерий образования есть свобода учащегося.

Но куда же денется при этом наука педагогики? Куда денутся Шульцы, и Шмальцы, и Фибли? Они сдадутся в архив, как сданы в архив алхимики, астрологи и многие другие ученые люди. Но с ними будет похоронена наука, образование останется без научного кормила и научного весла! К такого рода возгласам подал отчасти повод сам гр. Толстой несколькими неточными и неправильными выражениями и теми противоречия-

ми, которые, согласно моей гипотезе, неизбежны и для гр. Толстого. Ну да и заступиться за науку противникам гр. Толстого было лестно: наука вещь хорошая, и в защиту ее можно написать много прекрасных и даже вполне верных, хотя и общеизвестных фраз. В сущности же, гр. Толстой, несмотря на всю свою непочтительность к Урстам и Фиблям, на деле не только не отрицает науки педагогики, но дает ей вполне ясное, оригинальное и весьма глубокое определение. Я уже его приводил. Образование есть известное отношение двух людей или двух групп людей, стремящихся к равенству познаний: одни стремятся передать знания, другие стремятся их получить. «Задача науки образования есть *только* изучение условий совпадения этих двух стремлений к одной общей цели и указание условий, которые препятствуют этому совпадению» (IV, 36). Несмотря на подчеркнутое мною *только*, по-видимому, суживающее пределы науки, я не знаю определения более полного и широкого, более способного поставить педагогику на действительно научную высоту. Но гр. Толстой не воспользовался всеми выгодами этого истинно блестящего определения. Скажу более — он ими и не мог воспользоваться вследствие слишком страстного и лихорадочного отношения к делу.

Определение это, по моему мнению, особенно дорого тем, что обнимает и учителя, и ученика, и образующее общество, и образующийся народ. В развитии же своих педагогических воззрений гр. Толстой далеко не всегда следит за обеими этими частями своей собственной формулы науки. Он преимущественно имеет в виду стремления ученика, народа. Ну хорошо, народ требует, чтобы его обучали славянскому и русскому языку и арифметике. Эта программа, особенно как ее понимает гр. Толстой, может удовлетворить не только ученика, а и учителя. Ну, а если бы народ требовал какой-нибудь ни с чем не сообразной программы? Гр. Толстой скажет, может быть, что такой программы народ не может потребовать, что требования его хотя и элементарны, но непременно разумны и справедливы. Это, однако, не будет резонным возражением, потому что мы ведь не можем поручиться, что признаваемое нами разумным и справедливым действительно таково: народ заявил требование, и мы должны его выполнить, хотя бы оно, на наш взгляд, и казалось ни с чем не сообразным. В сущности, гр. Толстой и сам понимает воз-



возможность таких случаев и даже приводит и комментирует некоторые из них. Но вместе с тем он постоянно колеблется, отдавая первое место то требованиям учителя, его идеалам, то требованиям ученика. То вытягивается его десница, поднимается тот сильный, смелый, энергичный человек, который решился во имя истины и справедливости, во имя интересов народа померяться со всей историей цивилизации; то вылезает шуйца, тот слабый, нерешительный человек, который заявил о целесообразности, законности кровавого движения народов с запада на восток и обратно, о том, что Наполеон был именно такой негодный человек, какой был нужен для целей провидения, и т. п.

Я приведу примеры десницы и шуйцы.

Я уже говорил, что в статье «Воспитание и образование» гр. Толстой располагает основания принудительного образования несколько иначе, чем они приведены выше. Правда, тут он говорит не об основаниях, а о причинах принудительного образования или воспитания. Но на деле разницы большой не выходит. Будем, однако, и мы говорить о причинах такого явления, как насилие в образовании. Причины эти, по мнению гр. Толстого, лежат: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве, 4) в обществе (в тесном смысле — у нас в кругу чиновников и дворянства). Причины, лежащие в религии, мы уже видели. Причины, лежащие в государстве, гр. Толстой только отмечает как имеющие «неоспоримые оправдания» и проходит мимо. Это очень жаль. Я полагаю, что причины эти не больше и не меньше важны, чем все другие, и никакому исключительному суду не подлежат. Я уже рекомендовал книгу г. Владимирского-Буданова гг. педагогам, а теперь рекомендую ее и гр. Толстому. Правительства столь же мало имеют права, как и все частные лица и учреждения, направлять народное образование к своим исключительным целям. И чем дальше, тем более сознают это сами правительства. Как бы то ни было, но о государственных основаниях принудительного образования гр. Толстой, собственно говоря, просто умалчивает. Остаются причины, лежащие в обществе и в семье. Первые гр. Толстой безусловно отрицает, вторые признает основательными. «Отец и мать, — он говорит, — какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, или по крайней мере такими, какими бы они желали быть сами. Стремление это так естест-

венно, что нельзя возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын, так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то естественным». Уже из этих строк видно, что гр. Толстой намерен дать сильную поблажку семейному принудительному образованию, потому что ведь аргумент «пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя» и проч., аргумент этот, очевидно, приложим ко всем родам принудительного образования. Пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого педагога, им, пожалуй, тоже нельзя ставить тех требований, которые предъявляет гр. Толстой. Поблажка очевидна, а в дальнейшем изложении она получает весьма солидные размеры. Четвертая причина принудительного образования лежит в потребности «общества, того общества в тесном смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники». Я не стану приводить всех аргументов гр. Толстого против принудительного «общественного» образования. Они не всегда справедливы, всегда остроумны и очень часто отличаются замечательной глубиной. Характер их должен уже уясниться читателю из всего предыдущего. Я остановлюсь только на точках враждебного столкновения семейного насилия в образовании с насилием «общественным». Чтобы удобнее проследить все ступени принудительного образования, от элементарной школы до университета, гр. Толстой берет в пример историю образования сына не крестьянина, а небогатого купца или мелкопоместного дворянина. Родители эти, предполагает гр. Толстой, отдали детей в ученье «в надежде сделать из них себе помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именьеце производительным, другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю». Но оказывается, что молодые люди, возвращаясь под родительский кров по окончании университетского курса, не только не способны, не могут, не умеют и не хотят оправдывать надежды родителей, но совершенно чужды родной среде, не имеют с ней ничего общего. Это возму-

щает гр. Толстого. «Посмотрите,— говорит он с укором,— как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая». Я отнюдь не думаю защищать наличную систему школьного образования. Но если эта система нехороша тем, что замыкает ученика в круг понятий и сведений, избранный личными вкусами воспитателей, то чем же от нее отличается система, при которой сын дьячка уже смолоду обрекается быть дьячком и сын скотовода — скотоводом? Почему стремление купца засадить своего сына в лавку менее деспотично, чем стремление «общества» получить себе «помощников, потворщиков и участников»? По какому праву вы хотите запереть человека в круг идей и чувств его среды, даже не справляясь, какова эта среда? На все эти вопросы я не нахожу ответов у гр. Толстого, да и не могу найти, потому что все его рассуждения о законности семейного принудительного воспитания представляют его шуйцу. Они высказаны в минуту ослабления мысли и энергии, когда гр. Толстому хочется предоставить так интересующее его дело суду и воле божией, предоставить дело его собственному течению в надежде, что из этого выйдет все-таки что-нибудь лучшее, чем при нашем вмешательстве. На мои вопросы гр. Толстой потому не может дать удовлетворительных ответов, что эти же вопросы и тем же тоном он задает другим, когда десница пересиливает шуйцу. В той же статье, из которой взяты приведенные рассуждения, я нахожу следующие строки: «Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, который на мои увещания и подольщения отдать славного 12-летнего своего сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «Оно так-то так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с собою и хвастается тем, что 12-летний сынишка научился обдывать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались» (125). В другой статье («Яснополянская школа за но-

ябрь и декабрь месяцы») тот же вопрос затрагивается и решается еще энергичнее. Описывается, между прочим, прогулка гр. Толстого с некоторыми учениками яснополянской школы по лесу ночью. Обстановка, предыдущие занятия (только что читали «Вия» Гоголя), разговоры о разных страшных историях, о Кавказе, о пении, о музыке, все это подняло тон душевного настроения маленького общества. Самый процесс поднятия этого тона описан с изумительным мастерством. Но еще изумительнее сопоставление этого высокого тона со «средой», с тем миром фактической обстановки, в который надо же было наконец вернуться из лесу. Я не могу привести здесь всего описания прогулки, но не могу отказать себе в удовольствии выписать по крайней мере вторую его часть — возвращение из лесу. Не забудьте только, что идут люди, полные необыденных чувств и мыслей, настроенные на высокий лад. Идут. И вот что они встречают:

«Мы пошли к деревне. Федька все не пускал моей руки, — теперь, мне казалось, уж из благодарности. Мы все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом с нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще у Мироновых!» — сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал, — прибавил он, — пья-я-яный, распьяный: лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает... Я всегда жалею. Право! за что ее бить». — «А надьсь батя, — сказал Семка, — пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завела, а он спит, пьяный». — «А Гаврюха так по глазам и хлещет... и так мне жалко стало, — еще раз сказал Пронька: — за что он ее бил? Слез, да и хлещет». Семка вдруг остановился. «Наши уж спят», — сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?» — «Нет». — «Пра-а-щайте, Л. Н.», — крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. «Так ты и будешь разводить нас — сперва одного, а потом другого?» — сказал Федька. Мы пошли дальше. У Проньки был огонь, мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина с черными бровями и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на середине висела люлька; математик второго класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропasti на тебя нет! — закричала мать на Проньку. — Где был?» Про-

нька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменяла выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, оттого свет»,— сказал он своим смягченным голосом. «Нынешнего вечера прощай, Л. Н.»,— прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте»,— прозвучал его тонкий голос среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачеха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки, с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахивался на них своею рабочею рукой. «Отоприте!»— Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте!»— еще раз повторил Федька,— всегда так давайте ходить».

Я вижу людей честных, добрых, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: нехорошо!— и покачают головой. Зачем усиленно развивать их? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их к своей среде? Зачем выводить их из своего быта? Я не говорю уже о тех, выдающих себя головой, которые скажут: хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет! Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые работали бы за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и т. д.— кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Федька не тяготится своим оборванным кафтанешком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас, так же как

дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять не забытых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать, — дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь, человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас» (280 и след.).

Описание прогулки по лесу замечательно во многих отношениях: и по художественности формы (я преимущественно именно этот рассказ имел в виду, когда говорил, что в IV томе есть вещи, даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть, все написанное гр. Толстым), и по глубине вложенного в эту форму содержания, и, наконец, для характеристики гр. Толстого. Дело в том, что прогулка в лесу есть единственное в своем роде художественное произведение гр. Толстого. Мир народа и мир «общества» часто сопоставляются им, но, как мы уже видели, всегда с такой стороны, с которой народ оказывается выше общества, — цивилизованные люди или завидуют народу, или, самоуверенно вторгаясь в его жизнь, только портят ее. Эффекта этого гр. Толстой достигает не тем грубым приемом, по которому герои одной среды меряются с пигмеями другой; он не идеализирует мужика, оставляет его и пьяницей, и невеждой и не делает из барина карикатуры. Но свет и тень располагаются все-таки так, что барин со всем своим развитием оказывается плох, а если не плох, так в нем по крайней мере по временам вспыхивает страстное желание жить жизнью мужика. В прогулке в лесу те же два мира поставлены иначе и опять-таки без всякого грубого эффекта: крестьянские мальчики, уже подготовленные своим школьным образованием, удаляются на несколько минут в мир идей и чувств, чуждых их среде, и затем возвращаются в мир действительности, к своим пьяным и грубым отцам. Только. Но вы понимаете, что картинка эта в корень подрывает все рассуждения о преимуществах семейного насилия в образовании перед всеми другими видами насилия. А затем и сам гр. Толстой принимается комментировать эту картинку и доказы-

вать, что он был прав, шевеля души Федьки, Семки и Проньки необыденными, несвойственными их среде мыслями.

Мысль, вложенная в прогулку по лесу, в художественной, образной форме у гр. Толстого нигде больше не воспроизводится. Нигде цивилизованный человек не рисуется им со стороны того, чем он может и должен быть полезен народу. «Десять не забытых работой поколений» нигде не представляются гарантией какой бы то ни было высоты. Напротив, они представляются веками порчи и извращения человеческой природы. Потому-то я и назвал прогулку единственным в своем роде художественным произведением гр. Толстого. Однако мысль, вложенная в прогулку, довольно часто разрабатывается в его педагогических статьях. Наконец, на ней построена вся его педагогическая деятельность. Только потому он и учит и пишет, что признает за собой право и обязанность сообщить народу нечто такое, чего ему не хватает. При этом его десница отодвигает все препятствия, какие только попадают на пути, будь то деспотизм семейства или общества, обстановка той или другой среды, те или другие предрассудки. Но у гр. Толстого есть и шуйца. Она побуждает его, напротив, оставлять препятствия в покое, охранять неприкосновенность установившихся предрассудков и среды в том странном расчете, что «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, горожанина — городскими». Распространите только этот афоризм, на что вы имеете полное логическое право, и вы смело можете утверждать, что не случайно, а целесообразно природа окружила Карениных, Вронских и Облонских теми условиями, которыми они окружены; что не случайно, а целесообразно природа окружила нищего нищенскими условиями и невежду условиями невежества. И вы оправдаете всякий мрак и всякую мерзость, и пещерные люди возликуют, не подозревая, что для них несколько не благоприятна исходная точка противоречий гр. Толстого, та точка, где его мысль раздваивается. И вот опять поднимается десница гр. Толстого и энергически сметает все, что натворила шуйца. Таково приведенное мною противоречие в оценке принудительного семейного образования. Таковы и другие его не менее бросающиеся в глаза противоречия. Таковы же и противоречия, указанные г. Марковым.

Я хотел бы, чтобы читатель не только узнал гр. Толстого, а и получил к нему то уважение, которым проникнут я, чтобы читатель не только не обегал IV тома сочинений гр. Толстого, а, напротив, видел бы в нем ключ ко всем произведениям знаменитого писателя и читал бы его с полною уверенностью найти в нем много и много в высокой степени поучительного; чтобы читатель отнюдь не смущался тем печальным обстоятельством, что гр. Толстой как мыслитель опозорен похвалами пещерных людей. Но не достиг ли я скорее противоположного результата разъяснением целого ряда, мало того — целой системы противоречий гр. Толстого? Не подорвал ли я, напротив, в читателе доверие к этому человеку, способному дать противоположные суждения об одном и том же предмете? Я не могу этого думать, потому что все эти противоречивые суждения не подорвали же во мне доверия и уважения к гр. Толстому как к мыслителю. Дело в том, что противоречия противоречиям рознь. Противоречия писаки, который говорит сегодня одно, а завтра другое, глядя по тому, кто ему платит и обидело или не обидело его то или другое учреждение или лицо; противоречия, вытекающие из небрежности и легкомыслия, и т. п., словом — противоречия, вызванные не внутренним процессом умственной работы, постоянно направленной к одной цели, а сторонними причинами, конечно, должны подрывать доверие и уважение. Не таковы противоречия гр. Толстого. Я бы сравнил их с теми, которых можно немало найти у Прудона. Замечу, что по складу ума, а отчасти и по взглядам гр. Толстой вообще напоминает Прудона. Та же страстность отношений к делу, то же стремление к широким обобщениям, та же смелость анализа и, наконец, та же вера в народ и в свободу. Конечно, противоречия Прудона не могут быть уложены в такую правильную систему, какая допускается противоречиями гр. Толстого. Прудон желал положить весь мир, все познаваемое и непознаваемое, и мир планет, и мир человеческих действий, и наши представления о высшем существе к ногам справедливости (justice). Громадность задачи и страстность работы неизбежно приводили к противоречиям, общий характер которых уловить, однако, нельзя. Задача гр. Толстого тоже велика, работа его тоже страстна, но у него есть и еще источник противоречий. Легко было Прудону веровать в народ и требовать от других такой же веры, когда он сам вы-



шел из народа,— он веровал в себя. Такого непосредственного единения между гр. Толстым и народом нет. Легко было Прудону смело констатировать обратную сторону медали цивилизации, когда эта обратная сторона непосредственно давила его и близких его. Такого давления гр. Толстой не испытывает. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях лордов, баронов, банкиров и профессоров». Прудону было легко говорить это, когда отец его был бочаром, мать кухаркой, а сам он наборщиком; когда он имел право сказать одному легитимисту: «У меня четырнадцать прадедов крестьян<sup>58</sup>, назовите хоть одну фамилию, которая насчитывала бы столько благородных предков». Но гр. Толстой находится скорее в положении того легитимиста, который получил этот отпор. Оставьте в стороне вопрос о том, верны или неверны те выводы, к которым пришел Прудон, и те, к которым пришел гр. Толстой. Положим, что и те и другие так же далеки от истины, как пещерные люди от гр. Толстого. Обратите внимание только на следующее обстоятельство: вся обстановка, все условия жизни, начиная с пеленок, гнали Прудона к тем выводам, которые он считал истинной; все условия жизни гр. Толстого, напротив, гнали и гонят его в сторону от того, что он считает истиной. И если он все-таки пришел к ней, то, как бы он себе ни противоречил, вы должны признать, что это — мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно. Самые противоречия такого человека способны вызвать в читателе ряд плодотворных мыслей.

Продолжаю делиться с читателями теми, которые он вызвал во мне.

Любопытнейшее противоречие гр. Толстого состоит в том, что он отрицает не только научный характер той педагогической окрошки, которую стряпают гг. Миропольские и пр., он отрицает науку педагогики в принципе (по крайней мере, он говорит такие слова) и в то же время дает лучшее и полнейшее определение «науки образования». Педагогика изучает условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений ученика и учителя к общей цели равенства образования. Таково определение гр. Толстого. Я полагаю, что оно не только верно и полно, но может служить прото-

типом определений всех социальных наук. Не буду об этом распространяться и обращу только внимание читателя на те специальные выгоды, которые представляет предлагаемая гр. Толстым конструкция педагогики и которыми сам он не воспользовался. Сам гр. Толстой обращает попеременно исключительное внимание то на один, то на другой элемент, условия совпадения которых должны составить предмет науки. То он кладет все гири на чашку весов образовывающихся и требует, чтобы образовывающийся, «общество» слушалось голоса народа и совершенно устранило свои собственные воззрения; то, наоборот, что, впрочем, в крайней, исключительной форме встречается у него реже, предлагает образовывающему действовать на свой страх. Эти колебания, очевидно, вовсе не соответствуют его определению педагогики и обуславливаются чисто личными причинами. Он боится оставить народ на произвол судьбы, но боится и вмешательства цивилизованных людей в его жизнь. Он страстно ищет такой нейтральной почвы, на которой общество и народ могли бы сойтись безобидно. Ему кажется, что он нашел такую почву — в знаниях. Не пытайтесь, часто говорит он, формировать верования, убеждения, характер учащихся, на то вы не имеете ни права, ни умения, давайте народу знания, больше вам дать нечего. Но это все-таки не решает вопроса, потому что знания должны передаваться в каком-нибудь порядке, в какой-нибудь системе. А не будут ли этот порядок и эта система представлять собою уже нечто большее, чем голое знание? Известное расположение знаний и известная их передача могут уже формировать убеждения и верования.

В «Ясной Поляне» гр. Толстой много писал об том, какие знания и в каком порядке могут сообщаться учащимся в народной школе. Ныне он значительно упростил программу и, повинувшись, как он справедливо говорит, голосу народа, требует для народных школ арифметики и русского и славянского языков. Но с русским языком опять беда, и я удивляюсь, как никто из оппонентов гр. Толстого не обратит на это внимания. Славянская грамота и арифметика не дают произволу учителя никакого простора, но учиться русскому языку значит, между прочим, читать; что же мы дадим народу читать: можно дать Гоголя, можно дать Францзя Венециана<sup>59</sup>, рассказы из естественной истории, «Азбуку» гр. Толстого, книжки бар. Корфа, г. Водовозова<sup>60</sup> и пр.,

и пр. Нужна же какая-нибудь руководящая нить, а с нею вместе поднимается и все, по-видимому, порешенное. Гр. Толстой и сам чувствует, что знания не составляют нужной ему нейтральной почвы и что для того, чтобы найти ее, надо сделать уступку учителю, его идеалам. В много раз упомянутой статье «Воспитание и образование» он говорит: «Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать это стремление невозможно, и я об этом никогда не думал; существование его только сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель считает лучшим при изучении математики или естественных наук: напротив, это предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то решено, что такой-то предмет действует воспитательно и одним предписано читать, а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, то есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука носит в себе воспитательный элемент (*erziehliches Element*),— это справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученикам. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее,*

*и ученики полюбят и тебя и науку, и ты воспитаешь их, но сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния.* (Курсив гр. Толстого.) И тут опять одно мерило, одно спасенье, опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать его воспитательное влияние, то есть им одним решать, знает ли он и любит ли свою науку» (IV, 167). Последние слова справедливы относительно высшего образования. Университеты, как настаивает на этом гр. Толстой, действительно могут быть устроены так, что студенты будут иметь право слушать того или другого профессора, ту или другую науку в том или другом объеме, причем университеты будут уже, разумеется, не тем, что они ныне. Но как применить этот принцип к народному образованию? Допустив полнейшее самоуправление в этом деле, вы дадите решающий голос все-таки не ученикам, не Федьке, Семке и Проньке, а их отцам, тем самым отцам, которых ребята встретили после прогулки в лесу. По чисто практическим соображениям требования этих отцов до известной степени непременно должны быть уважены, тем более что на деле, разумеется, не может быть большого разногласия между поколениями отцов и детей в крестьянском быту, они живут медленнее нас. Но при определении границы удовлетворения этих требований, согласно определению педагогики, должна быть выслушана и другая заинтересованная сторона. Любовь учителя к науке и знанию ее, без сомнения, составляют первые и необходимейшие условия совпадения стремлений учителя и ученика. Как же быть, если учитель будет требованиями учеников и их отцов оскорбляем в своем знании и в своей любви к науке? У него опустятся руки, и из хорошего, знающего и преданного делу учителя выйдет небрежный и озлобленный. Я полагаю, что предел законных требований может быть выражен так: никакие отцы, никакие учителя, никакие учреждения не имеют права ограничивать образование молодых поколений своими личными целями, делать из них, как выражается гр. Толстой, себе потворщиков, помощников и слуг. Так, например, требования того барышника, который не хотел отдавать сына в школу, а хотел сделать его приказчиком, преданным его, барышника, интересам, требования эти удовлетворению ни в каком случае не подлежат (отсюда одна из причин законности обязательного обучения). Это со-

вершенно соответствует определению педагогики, данному гр. Толстым, равно как и другим его воззрениям. В народе он ценит не его грубость, невежество и предвзятости, а незапятнанную грехом «десяти не забытых работ» совесть и способность самому удовлетворять всем своим нуждам, то есть способность не иметь слуг и не быть ничьим слугой. В «обществе» он ценит не инстинктивное или сознательное стремление обратить народ в своего слугу, а те подлежащие научной проверке знания и комбинации знаний, которые даны ему вековым досугом. Я думаю, что программа элементарных народных училищ, предложенная гр. Толстым, за ничтожными исключениями, может удовлетворить законным требованиям и учителей, и учеников с их отцами. Огромное большинство великороссов (о других не берусь судить), как должно быть известно каждому, по разным причинам ценит именно русскую, славянскую грамоту и арифметику. Думаю, что некоторую пользу могут принести тут и много осмеянные дьячки, и отставные солдаты. С этой программой должны быть сообразованы и учительские семинарии, и другие рассадники народных учителей, но именно только сообразованы. Для выбора материала для русского чтения нужно несколько больше знаний, чем какими обладают дьячки, священнослужители, отставные солдаты и проч., хотя все эти учителя неоспоримо хороши тем, что дешевы и находятся под рукой. Смущенный трудами наших педагогов и квазинаучным характером их деятельности, гр. Толстой отрицает возможность знать, какие сведения и в каком порядке должны сообщаться ученикам, какие приемы при этом должны употребляться, какое действие должно произвести на ученика то или другое педагогическое явление, словом опять-таки отрицает педагогию. Что Шольцы, Шмальцы и Фибли никому не нужны и менее всего народным учителям — это верно. Что наши известные и известнейшие педагоги в деятельности своей движутся ошупью, наобум, не руководствуясь какими бы то ни было законами педагогических явлений, хотя и много говорят о науке, — это тоже верно. Но верно и то, что законы педагогических явлений уловимы. Сошлюсь на самого гр. Толстого. В своих педагогических статьях он, ссылаясь на опыт и наблюдение, доказывает, что в детях исторический интерес является после художественного и что исторический интерес возбуждается прежде всего

познаниями по новой, а не по древней истории (353, 354); что интерес географический возбуждается познаниями естественно-научными и путешествиями (372); что старые воззрения на мир разрушаются прежде всего законами физики и механики, тогда как нас учат сначала физической географии, которая отскакивает как от стены горох (365), и проч., и проч., и проч. Выработка и проверка подобных законов педагогических явлений (ими занят не один гр. Толстой, их изучают и европейские психологи) должны составить предмет науки педагогики и определять порядок материала для чтения в народных школах. Они именно указывают на условия совпадения стремлений ученика и учителя и, следовательно, вполне укладываются в то определение педагогики, которое дал гр. Толстой.

Проект организации школьного дела, предложенный гр. Толстым, я защищать не буду.

Ну что, читатель? Положа руку на сердце, знали вы гр. Толстого, своего любимого писателя? Не прав ли я был, говоря, что, несмотря на всю свою известность, он совершенно неизвестен? Будущий историк русской литературы разберет, в чем тут дело, а дело-то любопытное, будет над чем поработать. В ожидании этого историка я только хотел привлечь внимание читателя на те стороны литературной деятельности гр. Толстого, которые доселе оставались «явлением, пропущенным нашей критикой».



## ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского.  
Томы II и III. СПб. 1882

Человек — деспот от природы  
и любит быть мучителем.

*Достоевский («Игрок»)*

Тирания есть привычка, обра-  
щающаяся в потребность

*Достоевский («Дядюшкин сон»)*

Я до того дошел, что иногда те-  
перь думаю, что любовь-то и за-  
ключается в добровольно даро-  
ванном от любимого предмета  
праве над ним тиранствовать

*Достоевский («Записки  
из подполья»)*

Странная вещь, эта дружба!  
Положительно могу сказать, что  
я на девять десятых стал с ним  
друзен из злобы

*Достоевский («Крокодил»)*

### I

Опять Достоевский\*.

Да, опять Достоевский, и, может быть, это повто-  
рится еще не раз. Не то чтобы Достоевский представ-  
лял собою один из тех центров русской умственной  
жизни, к которым критика должна волей-неволей часто  
возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса.  
Есть люди, которые желали бы сделать из него нечто  
подобное; но, несмотря на старательность этих людей,  
принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего  
как-то из их усилий не выходит. Один г. Орест Миллер<sup>2</sup>

---

\* См ниже, гл II «Записок современника»<sup>1</sup>.

чего стоит! Он именно подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях — им же несть меры и числа — восхваляет Достоевского, воздаёт хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский! Правда, этими склонениями и ограничивается роль г. О. Миллера как пропагандиста и комментатора, но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда! А где результат? Более стремительный Владимир Соловьев действует наскоком. Мне попала как-то литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда, в конце концов, один человек; то же самое и в мире нравственном: здесь всегда есть один духовный вождь своего народа; этим единым вождем был для России Достоевский; Достоевский был пророк божий! Я ручаюсь за слова «пророк божий» и за конструкцию этих размышлений, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки с одной жердочки на другую без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и связать. Во всяком случае, переправа выполнена, г. Соловьев на том берегу и торжественно и победоносно кричит: вот пророк божий!<sup>3</sup> Где же результат? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем другие люди занимают сцену, а «пророка божия» не поминают в своих молитвах даже те, кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе память его с шумом. Шуму было много, это правда, но, в сущности, шумом все и кончилось. Шум составил из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики — люди, особенно умиленно настроенные или настраивающие себя, которые, вместо того чтобы серьезно и трезво отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазаный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покойник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительною точностью дать себе отчет, а не разбрасывать сокровища своего умиления, что называется зря. А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по



случаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением, а чем и как умиляться — это им безразлично; кроме, говорю, этих, есть еще разные более или менее тонкие политиканы. Такие не зря умиляются, а примазываются к умилению, и тоже в грудь себя колотят, и тоже ризы свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы «поймать момент». А прошел момент, прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-то оплот официальной мощи православного русского государства в связи (не совсем ясной и едва ли самому Достоевскому понятной) с некоторым мистически-народным элементом. Ну, кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и где же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иных следы их стенаний и разодранных на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они виноваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны («пророка божия»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведет их, то это вполне натурально.

Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер генерал Скобелев. Умер внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумеется, явились плакальщики (впереди всех, как водится, г. Гайдебуров в должности церемониймейстера) и политиканы (впереди всех г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву<sup>4</sup> поближе к траурному катафалку Скобелева). Пройдет несколько времени, и если нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят «белого генерала», даже те, кто по справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты<sup>5</sup>: дескать, вот бы тут Скобелева нужно! Или: был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то! Конечно, будь белый генерал жив, может быть ему и счастье изменило бы, и разное другое могло случиться, но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Укажите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и поли-

тиканы, не говоря о простых смертных, вспомнили как бы с верою и надеждою о Достоевском: он бы выручил, он бы научил, показал свет! Ничего подобного не было, а со смерти Достоевского прошло полтора года или, пожалуй, *уже* полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть духовного вождя и божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А припомните-ка, какие это были полтора года — волосы на голове дыбом встанут! <sup>6</sup>

Но бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровержением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы и будем.

Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику <sup>7</sup> литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более подробному развитию некоторых частных. Между прочим, было упомянуто, что к тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины: уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и *жестокость таланта*. Этой последней чертой мы и предлагаем читателю теперь заняться. Второй и третий томы полного собрания сочинений Достоевского <sup>8</sup> представляют для этого прекрасный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского представляют огромный интерес. Во второй том вошли: «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Маленький герой»; в третий том — «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил, или Необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма различной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных

людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали. И по всей справедливости не читали: рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов, картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей степени интересно совершить эту операцию вполне, от начала до конца, то есть проследить всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи: жестокий талант.

Прежде всего надо заметить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия. По этой части в его мелких повестях и рассказах рассыпано множество иногда чрезвычайно тонких замечаний. Примеры их приведены у нас в эпиграфе. Простая выписка их могла бы наполнить целые страницы; особенно если заимствовать их не из старых только мелочей Достоевского, а и из его позднейших вещей, когда в его творческой фантазии мелькал образ Ставрогина («Бесы»), который «уверял, что не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвою жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадения красоты, одинаковость наслаждения»<sup>9</sup>. Впрочем, и ниже, вовсе не касаясь последних и крупных произведений Достоевского, мы увидим великолепные образчики того понимания и того интереса, которые он вкладывал в свои изображения мучительных поступков и жестоких чувств. Конечно, художник на то и художник, чтобы интересоваться и понимать: ему «звездная книга ясна», с ним «говорит морская волна»<sup>10</sup>. И хотя в звездной книге едва ли что-нибудь написано о жестокости, мучительстве, злости, да и морская волна о них не говорит, но раз эти вещи существуют и играют важную роль в человеческой жизни, художник должен интересоваться ими и понимать их.

*Должен* — это, впрочем, немножко сильно сказано. Платон изгнал из своей идеальной республики поэта, «особенно искусного в подражании и способного принимать множество различных форм». Платон понимал величие такого художника<sup>11</sup> и предлагал украсить его венками и облить благовониями, но вопреки прославленной многосторонности античного духа все-таки выпроваживал его из республики на основании «несовместности нескольких занятий в одном лице». Мы, конечно, не потребуем такой узкости и специализации поэтического творчества. Напротив, чем шире художник, чем больше струн души человеческой он затрагивает, тем он нам дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэт с одинаковою силою и правдою изобразил ощущения волка, пожирающего овцу, и овцы, пожираемой волком. Которое-нибудь из этих двух положений ему ближе, интереснее для него, что и должно отозваться на его работе.

Мне попался очень удобный по наглядности пример, и я думаю, что никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью, глубиною, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский, если только можно в самом деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорта волчьих чувств, простой голод например. Нет, он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные — не простое удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Достоевского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить. Несмотря, однако, на то, что Достоевский дал в сфере этой своей специальности много крупных и ценных вещей, он как бы несколько противоречит другой, обыкновенно усваиваемой деятельности Достоевского черте. Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напротив, с особенною тщательностью занимался исследованием чувств овцы, пожираемой волком: он ведь автор «Мертвого дома», он певец «Униженных и оскорбленных», он так умел разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существования никто даже не подозревал. Все это справедливо и было еще более справедливо много лет тому назад, когда оценка Достоевского впервые отлилась в ту форму, которая и донныне господствует. Но, принимая в со-

ображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти к заключению, что он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк. Однако тут не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение интересов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане, выступило на первый, и наоборот. Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта Достоевского и о «гуманическом» направлении его художественного чутья<sup>12</sup>. Однако и тогда уже были крупные задатки того большого, но жестокого таланта, который так пышно развернулся впоследствии. Второй и третий томы сочинений Достоевского как нельзя лучше свидетельствуют об этом.

Это целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных пород, владелец которого даже почти не щеголяет своей богатой коллекцией, а тем паче не думает об извлечении из нее прямой выгоды; он так тонко знает свое дело и так любит его, что изучение волчьей природы представляет для него нечто самодовлеющее; он нарочно дразнит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность из злобы и жестокости — самому посмотреть и, разумеется, публике показать.

## II

Начнем с того отделения зверинца, которое называется «Записки из подполья».

Подпольный человек (будем для краткости так называть неизвестное лицо, от имени которого ведутся «Записки из подполья») начинает свои записки некоторыми философскими размышлениями. При этом среди безразличных для нас в настоящую минуту, но не лишенных блеска и оригинальности мыслей он выматывает из себя перед читателем душу, стараясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике «все из-

гибы сладострастия» злобы. Это уже само по себе производит впечатление чего-то душного, смрадного, затхлого; истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки со своих гноящихся, вонючих язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет рассказ о некоторых подвигах героя.

Разные мелочные и вздорные обстоятельства, среди которых он не перестает злиться и искать новых и новых поводов для злобы, приводят подпольного человека в веселый дом и оставляют его там ночевать. Здесь он заводит со своей случайной, минутной подружкой длинный и мучительный для нее разговор со специальной целью ее поучать. Он ее в первый раз в жизни видит, ничего, собственно говоря, против нее не имеет и иметь не может. Но в нем заговорили волчьи инстинкты. *«Более всего меня увлекала игра»*, — вспоминает он. Дело удается не сразу. Волк пробует подойти к намеченной жертве то с той, то с другой стороны, чтобы вернее вознзить зубы. *«В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, сантиментальностью-то не много возьмешь»*, *«пожалуй, и не понимает, — думал я, — да и смешно — мораль»*, *«картинками, вот этими картинками-то тебя надо! — подумал я про себя»*. Так поощрял себя подпольный специалист жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Он начал с рассказа о виденных им похоронах публичной женщины, похоронах печальных, бедных, жалких, какие, дескать, и тебе предстоят; потом заговорил о судьбе публичных женщин вообще, злорадно тыкая в большие места и ища каких-нибудь уже готовых ран, которые было бы удобно беречь. Потом пошли картинки противоположного свойства, розовые картинки семейного счастья, которого слушательница лишена. Между прочим, система мучительства и жестокости вкладывают сюда еще одну лепту, разумеется в соответственной случаю окраске. *«В первое-то время, — говорит подпольный человек, — даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую: «так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй»*. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее, видимо, проникают, и под-

польный человек так и сыплет ими, точно хлыстом хлещет ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ее мрачную будущность, и болезнь, и смерть, и похороны, и все это выходит так безотрадно, так мучительно. Жертва пробует сопротивляться, оттолкнуть от себя эти назойливые, непрошенные видения недоступного счастья и неизбежного несчастья. Но подпольный человек увлечен «игрой» и умеет вести ее. Однако так как он только играет в волки и овцы, даже в помышлении не имея «из мрака заблужденья горячим словом убежденья» и т. д., то... Но пусть он сам рассказывает.

«Теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиися в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке; ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хотя одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распустившиеся косы, так и замирала в усилки, сдерживая дыхание и стискивая зубы».

Этого подпольный человек не ожидал и растерялся, а растерявшись, ни с того ни с сего дал Лизе (так звали публичную женщину) свой адрес и пригласил ее к себе. Понятное дело, что на другой же день подпольный человек стал злиться и на себя, и на Лизу. Не за то, что без нужды и цели, а, собственно, ради «игры» измучил ее, а за то, что пригласил к себе. Он утешал себя тем, что, может быть, она и не придет, что ее, «мерзавку», не пустят. Иногда ему приходило в голову самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить. «Но тут, при этой мысли, во мне поднималась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!» Прошел день, прошел другой. Лиза не шла. Подпольный человек начал было уже успокаиваться, как вдруг на третий день Лиза является и вдобавок застает нашего героя в самой неприглядной обстановке и в ссоре, чуть не в драке с лакеем. Он «стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, ка-

жется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами своего лохматого ватного халатишка». После некоторых истерических прелюдий, ломаний и вывертов подпольный человек предложил Лизе чаю, и вот как он об этом вспоминает:

« — Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», — думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе, мы до него не дотрагивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отяготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя».

А затем пошли в ход уже настоящие волчьи клыки. Подпольный человек разразился длинным монологом, прямо рассчитанным на то, чтобы вконец заколотить званую, но не желанную гостью; в ту памятную для нее ночь он врал, смеялся над ней, издевался; он приехал, чтобы отомстить одному человеку, а так как этого человека налицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нее никакого дела не было и нет и т. д., и т. д. Но расчеты подпольного человека оказались неверными, или по крайней мере эффект его монолога оказался совершенно для него неожиданным. Из всей его злобной речи Лиза поняла только, что он несчастлив, бросилась к нему, обняла и зарыдала. Подпольный человек на минуту смутился, но тотчас же в сердце его «вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство — чувство господства и обладания». Подпольный человек поступил со своей гостьей, как с публичной женщиной, грубо, оскорбительно, так что она ощутила оскорбление, и сунул ей на прощание в руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла — оставила на столе). Он прибавляет в этом месте своего рассказа, что сделал эту жестокость, то есть сунул бумажку, «со злости». Девушка ушла, и тем «Записки из подполья», собственно говоря, и кончаются.



Я очень бегло изложил содержание этой повести, минуя множество чрезвычайно тонких подробностей. Вся повесть представляет какое-то психологическое кружево. Но я думаю, что и из тех грубых очертаний, которыми передана повесть у меня, видно, как глубоко интересовался Достоевский явлениями жестокости, тиранства, мучительства и как пристально он к ним приглядывался. Может быть, самое интересное в «Записках из подполья» — это беспричинность озлобления подпольного человека против Лизы. Вы не видите причин его озлобленности вообще. Человек является на сцену сорокалетним мужчиной, вполне готовым, и что в его жизни так изломало его — остается, говоря слогом Кайданова<sup>13</sup>, покрыто мраком неизвестности. Точно вся его гнусность каким-то самозарождением должна объясняться или даже никакого объяснения не требует. На этот счет в повести есть только общие фразы, лишенные определенного содержания, вроде того, например, что подпольный человек отвык от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Но положим, что автор просто так и хотел готового злоца и мучителя изобразить, и во всяком случае это его, автора дело, а не черта характера подпольного человека. Гораздо любопытнее то обстоятельство, что подпольный человек начинает мучить Лизу в самом деле решительно ни с того ни с сего: просто она под руку подвернулась. Ни причин для злости против нее нет, ни результатов никаких подпольный человек от своего мучительства не предвидит. Он предается своему занятию единственно из любви к искусству, для «игры». С этою ненужною жестокостью мы еще встретимся. А теперь заметим только, что самая постановка картин жестокости в рамки ненужности свидетельствует о цене, которую давал Достоевский этому сюжету. Герой мог бы мучить Лизу с благою целью наведения ее на путь истины; мог бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмешку и т. п. Картина потрясенной души во всех этих случаях была бы налицо. Но Достоевский отверг все внешние, посторонние мотивы: герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость *an und für sich* \*, и она-то интересна.

---

\* В себе и для себя, то есть самодовлеющее (нем.). — *Ред.*

По этой или по какой другой причине, но довольно трудно сказать, как относится Достоевский к своему герою. В двух-трех заключительных строках он называет его от себя безразличным в нравственном отношении именем «парадоксалиста». Что касается умственного багажа подпольного человека, то здесь можно найти очень различные вещи; между прочим, и такие философские размышления (например, о свободе воли), которые не имеют ровно никакого отношения к жестокости, а также такие, которые очень родственны самому Достоевскому. В «Записках из подполья», например, впервые еще в неясной и вопросительной форме является одна из излюбленных мыслей последних лет деятельности Достоевского. Подпольный человек пишет: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти — это факт». Если читатель припомнит, как впоследствии Достоевский страстно проповедовал страдание, как он видел в страдании интимнейшее требование духа русского народа, как он возводил в перл создания острог и каторгу,— если читатель припомнит все это, то может быть, удивится, встретив ту же мысль в записках жестокого зверя. Но в том-то и вопрос — зверь ли еще подпольный человек с точки зрения Достоевского. Мнения подпольного человека о самом себе на первый взгляд поражают беспощадностью: всякую, по-видимому, мерзость человек готов рассказать. Но, всматриваясь в эту странную исповедь несколько ближе, вы видите, что подпольный человек очень не прочь не только порисоваться своей беспощадностью к самому себе, а и оправдаться до известной степени. Прежде всего он вовсе не считает себя уродом, человеком исключительным по существу. Он, правда, полагает себя действительно исключительным человеком, но только по смелости мысли и ясности сознания. Он говорит, например: «Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благо-

разумие и тем утешались, обманывая сами себя». В другом месте, пространно толкуя о «наслаждении в зубной боли», подпольный человек утверждает, что *всякий* «образованный человек девятнадцатого столетия» на второй, на третий день зубной боли стонет уже, собственно, не от боли, а от злости. «Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжают по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стопами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрыгает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так, со злости, с ехидства балуется. Дескать, „я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну, так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну, так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...“» Не понимаете и теперь, господа? Нет, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия!

Таким образом, разница между подпольным человеком и большинством образованных людей девятнадцатого столетия состоит только в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются-то этим наслаждением все. Такое обобщение значительно смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже, значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что смелее и умнее их. Пусть же кто-нибудь из «образованных людей девятнадцатого столетия» попробует бросить в него камнем.

Кроме этого смягчающего или даже возвышающего обстоятельства, подпольный человек решил бы, может быть, выставить еще одно. Читатель видел, что в числе розовых картин, которыми подпольный человек мучительно ущемлял душу Лизы, был абрис женщины, мучающей своего мужа из любви. А затем следовало обобщение «знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» О себе же подпольный человек прямо

говорит: «Любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходить. Я всю жизнь не мог даже себе представить иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог: что делать с покоренным предметом?» Если разумеешь дело так, что вот, дескать, урод, даже любви никогда не ощущавший, то, конечно, нужно много смелости и искренности, чтобы сделать такое заявление. Любовь, кажется, чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной высоты, и, должно быть, в самом деле жалкий, скудный урод тот, на языке которого любовь и тиранство однозначны или по крайней мере всегда сопутствуют друг другу. Это так. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувств — совсем не уродство, а только глубина «проникновения» в душу человеческую? Что, если душа, ну, положим, хоть не человека вообще, а только образованного человека девятнадцатого столетия так уж устроена, что любовь и тиранство в ней неизбежно цветут рядом? Простому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любит на красоту красивого лица, а ученый человек подойдет с микроскопом, да и увидит в этом красивом лице целую сеть очень некрасивых морщин, рытвин и пр. Так же и тут. Тонкие психологи, вроде подпольного человека и самого Достоевского, могут находить в душе такие вещи и такие сочетания вещей, которые нам, простым смертным, совершенно недоступны. И если в самом деле любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг в друга; если это некоторым образом закон природы, то опять-таки кто из образованных людей девятнадцатого столетия посмеет бросить камнем в подпольного человека? Камень неизбежно отскочит от него, как от стены горох, и поразит самого метальщика. И, значит, подпольный человек опять оправдан и даже возвеличен. Ведь уж не о себе лично, а в виде общего наблюдения он говорит: «Знаешь ли, что можно из любви нарочно мучить человека?»

Такое скептическое отношение к лучшим или вообще благожелательным чувствам едва ли ограничивается в подпольном человеке одной любовью. Эпиграфом к рассказу о встрече с Лизой (он имеет отдельное заглавие «По поводу мокрого снега») взяты стихи Некрасова: «Когда из мрака заблужденья горячим словом убежденья я душу падшую извлек» и т. д. В устах подпольного человека эти слова — чистейшая ирония, потому что хотя Лиза действительно «стыдом и ужасом полна», «разрешилася слезами, возмущена, потрясена», но этого результата подпольный человек вовсе не имел в виду и, как мы видели, занимался просто «игрой» в волки и овцы. Но недаром же поставлен такой эпиграф, и от скептического ехидства подпольного человека можно ожидать самых обобщенных киваний на Петра: дескать, если бы такой казус с кем-нибудь из вас, господа, произошел, так вы не преминули бы продекламировать стихи Некрасова и иметь при этом чрезвычайно душеспасительный и даже геройский вид, ну, а я знаю, как эти дела делаются, знаю, что если даже действительно вы о спасении падшей души думали, то все-таки тут примешивалось много желания помучить человека, потерзать его; я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокие чувства прячетесь...

Справедливо это объяснение или нет, но достоверно, что в подпольном человеке каждое проявление жизни осложняется жестокостью и стремлением к мучительству. И не случайное это, конечно, совпадение, что сам Достоевский всегда и везде тщательно разглядывал примесь жестокости и злобы к разным чувствам, на первый взгляд не имеющим с ними ничего общего. В мелких повестях, собранных во втором и третьем томах сочинений Достоевского, рассыпаны зародыши этих противоестественных сочетаний, зародыши, получившие впоследствии дальнейшее развитие.

В «Крокодиле» намечено сочетание дружбы со злобой («странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы»). Ниже мы встретимся с чрезвычайно своеобразным выражением этого сочетания в «Вечном муже».

В «Игроке» есть некая Полина — странный тип властной до жестокости, взбалмошной, но обаятельной женщины, повторяющийся в Настасье Филипповне — в «Идиоте» — и в Грушеньке — в «Братьях Карамазо-

вых». Этот женский тип очень занимал Достоевского, но в разработке его он всю жизнь ни на шаг не подвинулся вперед. Пожалуй, даже первый абрис — Полина — яснее последнего — Грушеньки. Но и Полина напоминает собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться в вполне определенную форму, вытягивающееся то в одну, то в другую сторону. Между этой Полиной и героем «Игрока» существуют чрезвычайно странные отношения. Она его любит, как оказывается, впрочем уже очень поздно, а между тем третирует, как лакея, и даже хуже, чем лакея. В каждой подробности ее отношений к «Игроку» сквозит «что-то презрительное и ненавистное». Игрок ее тоже любит, и она знает об этом и именно поэтому всячески издевается над ним, приказывает делать разные глупости, мучит намеренною циничностью и пошлостью своих разговоров. Правда, что в ней это, кажется, фатально. По крайней мере в отношении ее наружности встречается одна очень курьезная и характерная черта: «следок ноги у нее узенький и длинный — *мучительный, именно мучительный*». Что же тут поделаешь, коли следок ноги мучительный! В свою очередь и героиня хорошенько не знает, действительно ли он любит Полину или, напротив, ненавидит. По одному случаю он записывает: «И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением».

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичок Ежевикин, играющий роль шута, на вид очень добродушный и всем желающий угодить, а в сущности очень ядовитый — прототип целого ряда старых шутов в последующих произведениях Достоевского. Дочь Ежевикина, бедная гувернантка, находящаяся в особенно трудном положении, полагает, что отец представляет из себя шута *для нее*. По ходу повести это предположение очень вероподобно, но сам

Достоевский решительно его отрицает. Он говорит, что Ежевикин «корчил из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход накопившейся злости...»

Впрочем, в «Селе Степанчикове» есть лица гораздо более интересные, чем злобный старый шут Ежевикин.

### III

Владелец села Степанчиково, Егор Ильич Ростанев, отставной гусарский полковник, есть настоящая овца, смиренная и благодушная до глупости. Всякий охочий человек может на нем ездить сколько душе угодно, оскорблять его, тиранить, и он же будет считать себя виноватым перед своим тираном и просить у него прощения. Таковы именно его отношения к матери, вдове генеральше, несноснейшей по глупости и наглости женщине, которая, живя на шее у сына и терзая его на всякие манеры, все находит, что он эгоист и недостаточно к ней внимателен. Но тиранство матери совершенно бледнеет перед тем, что терпит полковник Ростанев, да и все обитатели села Степанчиково, от некоего Фомы Фомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляр волчьей породы. Объявился он сначала в доме покойника мужа генеральши «в качестве чтеца и мученика», попросту приживальщика, много терпевшего от генеральского издевательства. Но на дамской половине генеральского дома он разыгрывал совершенно другую роль. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, которое он поддерживал душеспасительными беседами, снотолкованиями, прорицаниями, хождением к обедне и заутрене и проч. А когда генерал умер и генеральша перебралась к сыну, Фома Опискин стал решительно первым человеком в доме. Из прошлого Фомы с достоверностью известно только, что он потерпел неудачу на литературном поприще и потом множество обид от своего генерала. И он, значит, был овцой, по всей вероятности злобной, паршивой и вообще скверной, но во всяком случае униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положению. А теперь вдруг получилась возможность разыграть его волчьим инстинктам. «Теперь представьте же себе,— говорит Достоевский,— что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого

и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу, возлеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и оболыщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований?»

Действительно, можно себе представить, какая обер-каналья должна была получиться при таких условиях! А впрочем, если читателю покажется, что подобную каналью представить себе очень уже легко, то он ошибется. Легко-то легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно проницательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй воле во все извилины мрачных лабиринтов пакостной человеческой души. Легко — знатоку и любителю, каков Достоевский. Достоевский, однако, пожелал почему-то на этот раз предъявить своего зверя в несколько комическом освещении — каприз художника, который может всегда вернуться опять и опять к своему сюжету и перепробовать на нем всевозможные освещения. Тем более что комический колорит при этом только сдобривает впечатление, заставляя вас время от времени улыбнуться; но, спустив улыбку с губ, вы тотчас же понимаете, что перед вами во всяком случае злобный тиран и мучитель.

Вот образчик мучительства Фомы Опискина.

«— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух.— На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Ответьте: заронил я в вас искру или нет?»

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди (полковника Ростанева) тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Ответьте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жметя и не знает, что предпринять.



— Позвольте вам заметить, что я жду,— замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc \*, Егорушка,— подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит в вас эта искра или нет?— снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома,— отвечает наконец дядя, с отчаянием во взорах.— Должно быть, что-нибудь есть в этом роде, и, право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа. Вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так, пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу...

— Mais, mon fils \*\* — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! Маменька!— восклицает дядя в отчаянии.— Ей-богу же, я не виноват! Так разве, нечаянно, с языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп, сам чувствую, что глуп».

И т. д. Конечно, Фома смешон, мелок и глуп со своими приставаниями; но, чтобы быть жестоким тираном, вовсе не требуется величавой и трагической физиономии. Вообще, мучителям делают слишком много чести, представляя их себе непременно какими-то гигантами. Напротив, при кровопийственном комарином жале они обладают большей частью и комариным ростом. Пример — Фома Опискин, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако, может отравить жизнь слишком деликатным или слабым людям своим мелочным, но назойливым и наглым жужжанием. Взвесьте муки, доставляемые каким-нибудь сильным, острым страданием, и сравните их с теми мелочами, что хронически терпят

---

\* Но отвечай же (фр.).— *Ред.*

\*\* Но, сын мой (фр.).— *Ред.*

человек, осужденный на сожительство с Фомой Опискиным, и еще неизвестно, которая чашка весов перетянет. Вы видите, что несчастная овца-полковник совершенно забит, запуган тою деревянною пилою, которою Фома пилит его изо дня в день. Полковник готов дать своему мучителю какой угодно выкуп, унижить себя, назвать дураком, провалиться сквозь землю, вывернуться наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиление. Но Фоме Опискину никакого выкупа не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алкание ненасытно: пусть полковник еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и когда мучитель наконец устанет, он оставит свою жертву до следующего раза. Только усталость и может положить конец подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здесь сытости и быть не может. На какие бы уступки жертва ни шла, каждый ее шаг дает только новый повод для терзаний; все равно как каждое движение рыбы на удочке неизбежно терзает ее внутренности. Фома не добивается никакого определенного результата, достижение которого положило бы конец его операции; для него самый процесс мучительства важен, процесс самодовлеющий и, следовательно, сам по себе безостановочный.

Раз полковник предложил Фоме пятнадцать тысяч, чтобы он только убрался тихим манером из дому. Фома разыграл трагическую сцену с этими, как он выразился, «миллионами», расшвырял деньги по комнате, надругался над полковником всласть, заставил его просить у себя прощения и в конце концов не взял денег, но и из дому не ушел. Некто Мизинчиков отзывается об этом случае так: «Отказался от пятнадцати тысяч, чтобы взять потом тридцать. Впрочем, знаете что: я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Этот человек непрактический, это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться». Впоследствии, когда по одному, совершенно особенному случаю полковник наконец поступил со своим мучителем физически и буквально вышвырнул его за дверь, Фома смирился. Он даже устроил счастье полковника, конечно со всякими вывертами и ломаниями. Но тем не менее Мизинчиков прав: Фома человек непрактический — ему нужно ненужное.

Трудно, разумеется, положить границу между нужным и ненужным. То, что вовсе не нужно, например, русскому мужику, может быть необходимо английскому лорду, а по прошествии некоторого времени и русский мужик потребует вещей по-теперешнему ненужных. Вообще, кроме прямого удовлетворения самых элементарных потребностей в воздухе, пище, крове, одежде, все теперь нужное было когда-то совсем ненужно. Бывает и наоборот, что потребности упраздняются, нужное отходит в область ненужного. Иногда это дело изменчивой моды, иногда — коренного изменения условий жизни. Но если, таким образом, между нужным и ненужным нельзя установить безусловную границу, то в известном обществе, стоящем на известном уровне, уловить границу условную вовсе уж не так трудно. Запутанность подробностей или пристрастие исследователя могут, конечно, затемнить дело и поставить под сомнение даже такой, например, вопрос, как нужна ли свобода русской печати или это ненужная роскошь? Но в принципе тут все-таки никакой трудности нет. Тем более что в крупных по крайней мере вещах условная, историческая граница между нужным и ненужным отмечается обыкновенно или большими общественными непорядками, или присутствием крупных, выдающихся личностей, новаторов, которые ищут чего-то, по общему мнению, ненужного, но долженствующего стать, может быть, завтра же нужным. Не будем спорить о самой механике процесса; не будем говорить о том, отдельные ли выдающиеся личности создают новую потребность или упраздняют старую или, наоборот, они своею деятельностью только подводят итог разрозненным и непродуманным стремлениям массы. Для нас этот вопрос безразличный, который притом же отвлек бы нас далеко в сторону. Так ли, сяк ли, но достоверно, что в больших и в малых делах, в области отвлеченной теории и житейской практики от времени до времени являются особенно требовательные люди, которые не довольствуются нужным, которым нужно даже противно, а дорого и важно ненужное. Для них томительна приевшаяся сфера нужного, того, что всем требуется и без чего никто уже не может жить. Они требуют от жизни если не неизведанного и еще загадочного нового по существу, то по крайней мере какой-нибудь приправы к пресному нужному...

Вы ждете, конечно, разговора о тех представителях человечества, которые ищут новых истин, новых форм справедливости и ценою страшных усилий, страданий, а иногда самой жизни своей переводят их из области ненужного в область нужного, обращают во всеобщую потребность; о тех людях, про которых сказано, что никто в своей земле пророком не бывал<sup>14</sup>, о тех, кого соотечественники и современники далеко не всегда встречают с распростертыми объятиями, а напротив, слишком часто гонят, чтобы потом, через много лет, потомки задали себе безудержно повторяющийся в истории вопрос: как это можно было гнать и распинать тех людей? И как можно было считать ненужным то, чего они добивались?

Да, эти люди сюда относятся. Но не о них пойдет у нас разговор, потому что нас ждет Фома Опискин, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этим сопоставлением «пальца от ноги», по выражению Менения Агриппы<sup>15</sup>, с красотой и гордостью людского рода. Оно только на первый взгляд кажется оскорбительным для человеческого достоинства. Дело в том, что двери ненужного очень широки и через них входят в жизнь и добро, и зло. Римская чернь времен упадка Рима орала: «Хлеба и зрелищ!» Но не всегда же «зрелища» были так же нужны, как хлеб, а тем паче те жестокие, кровавые зрелища, которыми наслаждались выродившиеся римляне. Кто-то когда-то сделал эти зрелища равными насущному хлебу. Кто сделал — сильные ли своим нравственным влиянием или официальною мощью личности или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь — это опять-таки для нас в настоящую минуту безразлично. Но достоверно, что особенное раздражение нервов, даваемое кровавыми зрелищами, прежде ненужное, стало потребностью и что первые, кто ощутил эту потребность, вводили в жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, не довольствующимися нужным хлебом. Таким образом, не совсем прав король Лир, говоря: «Дай человеку то лишь, без чего не может жить он, — ты его сравнишь с животным». Это правда, но неполная правда, полправды. Другая же половина правды состоит в том, что и ненужное, без чего жить очень и очень можно, обращаясь в нужное, равняет иногда человека с животным. Все дело в свойствах того ненужного, к которому стремятся требовательные натуры, и в сте-

пени их влияния на своих соотечественников и современников. Ненужное может быть возвышенно и даже превышать человеческие силы и способности; но оно может быть и низменно до скотства. И в том, и в другом случае его может усиливаться ввести в жизнь слабо-сильное ничтожество и действительно крупная сила. Понятно, какие различные комбинации могут выходить из этих четырех данных.

Возвращаясь к Фоме Опискину, надо будет признать, что он слишком мелок, чтобы положить печать своего образа и подобия на сколько-нибудь значительный круг людей. Но представьте себе, что он обладает какою-нибудь внутреннюю силою; представьте себе, например, что он не неудачник-литератор, а обладает, напротив того, большим и оригинальным дарованием, оставаясь в то же время Фомой Опискиным по натуре.

Впрочем, покончим сначала с портретом Фомы, тогда дело будет виднее.

По теперешним условиям нашей жизни курицу к обеду зарезать или быка убить нужно, но мучить при этом быка и курицу, растягивать их агонию, отрубать им предварительно ноги, колесовать — не нужно. Это зрелище, уж конечно, не скрасит вашего обеда, а разве испортит его. Фоме, напротив, важно как раз именно это ненужное. Он нарочно протянет убийство курицы, чтобы опоздать с обедом, все время злиться и с удвоенною жестокостью следить за судорожными вздрагиваниями жертвы. Это стремление к ненужному доходит в Фоме до совершенной глупости, которая была бы сама по себе смешна, если бы от нее не страдали люди. Был, например, в селе Степанчикове дворовый мальчик Фалалей, очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщий баловень, а этого последнего было совершенно достаточно, чтобы Фалалей стал предметом завистливой злобы Фомы. Но главным покровителем Фалалея была сама генеральша, которая наряжала его, как куклу, да и любила, как хорошенькую куклу. Этого препятствия Фома не мог преодолеть напролом, а потому избрал окольный, но верный путь. Он сам пожелал быть благодетелем Фалалея и начал свои благодеяния с обучения мальчугана «нравственности, хорошим манерам и французскому языку». «Как! — говорил Фома. — Он всегда вверху, при своей госпоже, вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему,

например: донне муа мон мушуар \* — он должен и тут найтись и тут услужить!» Но Фалалей оказался глуп на всех диалектах, к книжному же обучению, тем паче французскому, совсем неспособен. Отсюда источник его мучений. Допекал его Фома, допекала и дворня прозвищем «француза». Вдруг Фома узнает, что камердинер полковника, старик Гаврила, осмелился выразить сомнение в пользе французской грамоты. А Фома тому и рад, рад тою злобною радостью, которая хватается за всякий случай приложить к делу особливо ненужное, виртуозное надругательство: в наказание он засадил за французский язык самого Гаврилу. А затем происходит такая, например, сцена. В присутствии целого общества он обращается к старику камердинеру:

— Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвигнуться поближе, Гаврила Игнатъич! Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. Ну, француз мусью шематон — *терпеть не может, когда говорят ему: мусье шематон*, знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал, повесив голову, Гаврила.

— А парлэ-ву-франсе? \*\*

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе... \*\*\*

Разумеется, всеобщий хохот веселой компании; старик обижается; поднимается страшный скандал, за которым мы уж следить не будем. Нас еще несчастный Фалалей ждет. Обратите только внимание на эту злостную черту: Фома, издеваясь над Гаврилой вообще, не упускает случая всадить ему еще специальную шпильку мусью шематона, чего тот *терпеть не может*. Этого-то Фоме и нужно. Он тщательно изучает, по мере своих сил и способностей, что кому не нравится, именно затем, чтобы, при случае, отточить из собранных материалов ядовитую шпильку.

Так как Фома обучает Фалалея, кроме французского языка, еще нравственности и хорошим манерам, то однажды предъявляет его публике под таким соусом:

— Поди сюда, поди сюда, нелепая душа; поди сюда, идиот, румяная ты рожа!

Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза.

---

\* Подай мне платок (фр.). — *Ред.*

\*\* Вы говорите по-французски? (фр.). — *Ред.*

\*\*\* Да, сударь, говорю немного (фр.). — *Ред.*

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!»— Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, а тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

— Сказал!— подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю,— пристаёт Фома,— кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век,— отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? Чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать — чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

На другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей как ни в чем не бывало, подавая утром Фоме чай, рассказал ему, что видел сон «про белого быка». Фома пришел в ужас, распушил полковника, а Фалалея подверг, кроме того, наказанию — стоянию в углу на коленях. Причину же такого гнева можно усмотреть из следующего реприманда: «Разве ты не можешь,— говорил Фома Фалалею,— разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, благородное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающих в прекрасном саду?» Фому белый бык возмущал как доказательство «грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея». Фалалей обещал исправиться, но — увы! — и на следующую

щий, и на третий день, и подряд целую неделю видел во сне все того же белого быка, хотя даже молился на ночь, чтобы его не видеть. Соврать же он по глупости и правдивости своей не догадывался. Все в доме трепетало от ярости Фомы, Фалалей даже исхудал, и сердобольные бабы уже sprыснули его с уголька, как вдруг история кончилась сама собой, измором, потому что Фома был отвлечен другими делами.

Довольно, кажется. Мы можем пренебречь другими подвигами Фомы, которых еще много, и все они в том же роде. Фома есть один из любопытнейших экземпляров волчьей породы, в этом не может, конечно, быть никакого сомнения — все его действия и даже слова запечатлены самою свирепою жестокостью. Но вместе с тем он, по верному определению Мизинчикова, непрактический человек и, пожалуй, «в своем роде какой-то поэт» — все его вышеизложенные поступки поражают своею ненужностью. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин. Он никакой выгоды из своей жестокости не извлекает, он предается мучительству по непосредственному требованию своей волчьей природы, что называется, так. Он — чистый художник, поэт злости и тиранства без малейшей утилитарной подкладки. И чем вычурнее, необыкновеннее осенивший его голову проект мучительства, тем для него приятнее. Дайте Фоме Опискину внешнюю силу Ивана Грозного или Нерона, и он им не уступит ни на один волос, «удивит мир злодейством». Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу, произойдут вещи, в некоторых отношениях еще более любопытные.

Представьте себе, как уже выше было сказано, что Фома Опискин не бездарность, потерпевшая фиаско на литературном поприще, а, напротив, большой талант. Прежде всего большой талант, конечно, смягчит в Фоме Опискине карикатурно грубые черты физиономии. «Гений и злодейство несовместны», — говорит Пушкин устами своего Моцарта. Это неправда — очень совместны. Но все-таки с крупным талантом несовместны такие дурацкие формы, в какие облекается тиранство Фомы: талант придаст им известное изящество, красоту, привлекательность, так что даже далеко не всякий догадается, что имеет дело с мучителем по призванию



натуры. Затем, так как перед нами литературный деятель, то мы должны иметь в виду главным образом именно эту его деятельность, а до частной его жизни нам, пожалуй, и никакого дела нет. О подлинном Фоме Опискине, то есть о том, который показывается в зверинце Достоевского, одни полагали, что он высокой и святой жизни человек, другие были совершенно противного мнения. Относительно *нашего* Фомы не может быть даже и разговора на этот счет. Нам только интересно знать, как отразится в крупном литературном таланте ненужная жестокость, освободившись от глупости, грязи и ничтожества Фомы Опискина.

#### IV

Жестокий талант, который при этом получится, выберет преимущественно темой для своих произведений страдание и будет заставлять страдать и своих действующих лиц, и своих читателей. Конечно, это может сделать и самый мягкий, даже приторный талант. Совершенно натурально, что на теме страдания построено многое множество литературных произведений, потому что литература есть только отражение жизни, а в жизни страдания слишком довольно. А раз за обработку этой темы берется настоящий талант, то опять-таки натурально, что он вызовет у читателя слезы сочувствия или негодования, вообще заставит его перестрадать известное страдательное положение. Но отличительным свойством нашего жестокого таланта будет ненужность причиняемого им страдания, беспричинность его и бесцельность. Наш жестокий талант будет именно вышеупомянутой требовательной натурой, которой совсем ненужно, для которой нужное слишком пресно. Формальным образом на архитектуре романа или повести это отразится непомерными и совершенно нехудожественными длиннотами, вводными сценами, отступлениями во всех тех случаях, когда будет соблазн мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздействию кого-нибудь из персонажей. При этом внутренняя сторона всех этих отступлений и вводных картин не будет вызываться течением романа, не будет соответствовать жизненной правде, не будет иметь нравственного смысла, не будет шевелить у читателя мысль. Все это условия или требования

нужного, и все это жестокий талант презрит и повернет к подножию ненужного страдания. Просто для того, чтобы помучить какого-нибудь, им самим созданного Сидорова или Петрова (а вместе с ним и читателя), он навалит на него невероятную гору несчастий, заставит совершить самые вычурные преступления и терпеть за них соответственные угрызения совести, проволочит сквозь тысячи бед и оскорблений, самых фантастических, самых невозможных. Житейское, обыденное, нужное он оставит без внимания или уделит ему такое в самом ничтожном размере. Зато каждый мельчайший штрих, каждую микроскопическую подробность ненужного страдания разовьет с тщательностью виртуоза. Понятное дело, что если бы такую работу представила жестокая бездарность, то, конечно, ничего, кроме насмешки, в вознаграждение не получила бы, потому что тут нарушены все общепризнанные, и основательно общепризнанные, условия литературного творчества. Но ведь мы имеем дело с талантом, а талант имеет привилегию влагать душу живу во все, за что он принимается. Он так предъявит вам свое ненужное, невозможное, невероятное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до насмешки вам будет, потому что вы действительно перестрадаете предъявленное вам страдание. Он отуманит вам голову своими образами и картинами, заставит усиленно биться сердце, и разве в те *lucida intervalla* \*, когда во время самого чтения найдет на вас трезвость, вы спросите себя: и за что он этого Сидорова или Петрова так мучит? За что и меня вместе с ним так мучительно щекочет? За что и зачем? Совсем ведь это не нужно. Ни в каком смысле не нужно. Это какой-то испанский бой быков происходит. Следя с напряженным вниманием за перипетиями этого отвратительного зрелища, я вместе со всеми зрителями ощущаю прилив и отлив различных чувств, я увлечен, я весь превратился в зрение и слух. Но разве нужно, чтобы бык распорол брюхо лошади, посадил на рога пикадора и получил ловкий смертельный удар от матадора?

Разве нужно? В том-то и дело, что нужно, если целая масса людей любит на эти мерзости; нужно в смысле ощущений, ставших потребностью, хотя никаких иных оправданий они, разумеется, за себя предста-

---

\* Светлые промежутки (*лат*) — *Ред.*

вить не могут. Вернее будет, однако, сказать, что *было* нужно, потому что испанцы, кажется, начинают отставать от этого, как говорится на нашем политическом жаргоне, самобытного развлечения. Но, во всяком случае сравнительно еще очень недавно, все путешественники по Испании описывали восторг и увлечение, с которым публика, со включением прекрасного слабого, нежного пола, аплодировала быку, сажающему на рога пикадора, и матадору, вонзающему шпагу в быка. Было, однако, и в поэтической Испании время, когда бой быков был вещью ненужною, когда он просто даже совсем не значился в числе самобытных испанских удовольствий. Эта потребность привилась не вдруг, как не вдруг теперь упраздняется. Можно поэтому думать, что раздумье, в которое впадают по временам читатели и почитатели жестокого таланта, с течением времени будет постепенно ослабевать и ослабевать, пока наконец возбуждение, определяемое ненужною жестокостью автора, станет потребностью, столь же сильною, как испанская потребность в бое быков и римская потребность в зрелищах. Конечно, для такого результата нужно совпадение довольно сложных обстоятельств. Первым делом жестокий талант должен быть действительно большим и оригинальным талантом, способным «глаголом жечь сердца людей». Но и за всем тем он может промелькнуть падучей звездой, если в окружающей и читающей его среде не будет налицо подходящих условий. Если, например, общество будет иметь перед собою какую-нибудь широкую задачу или целый ряд задач, достаточных для поглощения его внимания, то жестокий талант просуществует бесследно, хотя его, разумеется, будут читать. Может быть, спустя долгое время, при совершенно иных условиях жизни, его вспомнят и упьются им до опьянения, особенно если явятся подходящие продолжатели, подражатели, толкователи. Так не раз случалось в истории мысли и творчества. Какой-нибудь Шопенгауэр, например, ум гениальный, в свое время не произвел впечатления, какого заслуживал, а через несколько десятков лет воскрес в Гартмане, мыслителе очень ловком, но разве достойном только развязать ремень у сапога Шопенгауэра. Понятное дело, что если читающий люд окажется на мели, то есть будет сидеть без дела, без настоящего, увлекающего дела, и только заниматься делами да обделывать дела, то жестокий талант примется с рас-

простертыми объятиями: от безделья и то рукоделье. Тут надо, впрочем, оговориться. Дела у людей, собственно говоря, всегда довольно, слишком довольно, и нет такого ни времени, ни племени, перед которыми не стояли бы задачи достаточно широкие, чтобы заниматься ими, а не упиваться боем быков. Для признания такого простого положения совсем не требуется быть узким ригористом и считать, что «печной горшок всего дороже» на свете, ибо «в нем пищу мы себе варим»<sup>17</sup>. Нет, есть вещи несравненно более дорогие, чем печной горшок, но уж наверное это не бой быков. И, однако, несмотря на это постоянное присутствие задач, достойных всецелого внимания общества и даже как раз в пору их особенной настоятельности, жестокий талант может стать героем своего времени, прибежищем для общественного внимания, ищущего куда бы ему прийтись. Это тогда может случиться, когда общество поставлено к лежащему перед ним делу в такое же отношение, в каком лисица стоит к винограду в басне Крылова. Если дело есть и для всех это ясно, потому что дело выросло из самых недр истории, но посторонние обстоятельства не позволяют его делать, то возбужденная энергия, не находя себе правильного исхода, обращается к разным низменным ненужностям наркотического свойства. В числе их могут быть и те ощущения, которые даются произведениями жестокого таланта. При таких условиях читатель покорно, даже с некоторым восторгом пойдет на те ненужные мучения, каким подвергает его вместе со своим Сидоровым или Петровым жестокий талант. Выдуманная и не только выдуманная, а прямо-таки совсем ненужная мука станет потребностью, для удовлетворения которой явится целая фаланга подражателей и продолжателей нашего жестокого таланта. Понятно, что и в самой жизни, в «живой жизни», говоря словами подпольного человека, эта потребность в ненужных мучениях и эта привычка к ним должны отразиться различными трудно определимыми, но, уж разумеется, не хорошими последствиями. Надо помнить, что мучения эти имеют отраженный характер. Не то чтобы в самом деле читателя в три кнута били. Нет, бьют на его глазах Сидорова или Петрова, бьют ни с того ни с сего человека ни в чем не повинного, но бьют вместе с тем так художественно, что читателю становится любо смотреть на это отворачи-

тельное зрелище; просто люблю, без малейшего участия других чувств и мысли.

Все это я говорю в том предположении, что жестокий талант есть поэт, беллетрист. И, кажется, все это само собой естественно вытекает из основной характеристической черты нашего очищенного и преображенного Фомы Опискина — ненужной жестокости. Гораздо труднее вывести все последствия ненужной жестокости, если формой литературной деятельности ее носителя будет публицистика. Оно, пожалуй, на первый взгляд даже и нетрудно, особенно нам, русским, имеющим в букете своей публицистики такую благоуханную розу, как Катков. В самом деле, что такое классическое детоубийство, столь назойливо проповедуемое на Страстном бульваре в Москве<sup>18</sup>, как не точный сколок с водворения французского языка Фомой Опискиным в селе Степанчикове: вуй, мусью, же ле парль эн-пе — и от этих магических слов нравы смягчаются. Очень похоже, это правда, но все-таки это только родственная черта, а не черта тождественности. Родственных черт можно найти еще довольно много, потому что жестокость Каткова и его склонность к насилию совершенно чрезвычайны. Но в качестве публициста он преследует все-таки известные практические задачи, добивается известных результатов. Мотивы его деятельности, вероятно, очень разнообразны. Тут, надо думать, есть и действительное убеждение, и упрямство, и самодурство, и растерянность публициста, много лет пользовавшегося небывалым у нас влиянием и видящего в конце концов, что ничего путного он из своего влияния не сделал. Но так или иначе, по тем или другим побуждениям, а Каткову нужно, например, как Марату, сто тысяч голов<sup>19</sup> — он их и требует; нужно, чтобы, кроме него, в печати никто не смел слова пикнуть — он этого и добивается; нужно, чтобы все читали Гомера и Виргилия в подлиннике — он и пропагандирует. Фоме Опискину никаких таких результатов не надо. Он, вероятно, подал бы руку Каткову и почтил бы его деятельность своим сочувствием и уважением, но ему лично нужен только самый процесс мучительства. Он, например, был бы очень счастлив, если бы имел возможность пилить своей словесной пилой сто тысяч человек изо дня в день, но не до умерщвления, а так, чтобы они неустанно корчились от душевной боли, а он бы их все попиливал, да потыкивал, да поджаривал. Спрашивается: как же вместить эту бес-

причинность и безрезультатность мучительства в публицистику, имеющую непременно дело с причинами и результатами? Очень трудно вместить, и придется, пожалуй, решить дело так, что чистым публицистом наш жестокий талант совсем и быть не может. Он может по временам делать экскурсии в эту область, но центр тяжести его деятельности должен непременно лежать в художественной сфере, где у поэта, как говорится, своя рука владыка. Вызвал из мрака небытия Сидорова, и тешься над ним сколько душе угодно: художник ведь не обязан предъявлять доводы и аргументы, почему, зачем, за что пьет Сидоров такую горькую чашу. Наконец, область искусства допускает один прием, представляющий переход к публицистике. Стоит только автору вложить одному из действующих лиц свои собственные мысли. И можно, кажется, предвидеть, что жестокий талант будет прибегать к этому приему довольно часто, растягивая притом монологи своего подставного я до совершенно нехудожественной длинноты.оборот для жестокого таланта очень удобный. Темой для его рассуждений в публицистической форме должно остаться все то же ненужное, беспричинное и безрезультатное страдание. Но здесь она должна получить вид уже не безнужно страдающих образов, а вид практического требования. Ну, а как же так-таки прямо от своего имени требовать мучений для людей? Гораздо удобнее вложить это требование в уста какого-нибудь «парадоксалиста», какого-нибудь эксцентрического человека. А впрочем, мы сейчас увидим, что жестокий талант может в конце концов придумать форму для прямого требования страдания от своего собственного лица, обставляя, разумеется, дело разными кариатидами и другими якобы поддерживающими здание украшениями.

Но читатель, пожалуй, усомнится в самой возможности таких безнужно жестоких людей. Он слышал, что люди мучают людей из мести, корысти и т. п. И когда страсть отуманит голову, жестокость если не извинительна, то по крайней мере понятна в пылу одури. Но так мучить, ради одной игры фантазии, ради одного художественного созерцания мучений — бывает ли это? К сожалению, несомненно бывает. Об этом свидетельствует история, знающая Ивана Грозного, Нерона и других жрецов чистейшего и утонченнейшего искусства мучительства. Об этом свидетельствует истори-

ческий же факт удовольствия, которое иногда в течение целых длинных периодов доставляют людям зверские зрелища. О том же свидетельствуют разные житейские мелочи, если вы захотите к ним приглядеться. Об этом же свидетельствует психологическая наблюдательность такого крупного художника, как Достоевский, который, не говоря о последующих его произведениях, создал хотя бы только подпольного человека и Фому Опискина. Достоевский удостоверяет, что «человек — деспот от природы и любит быть мучителем»; что есть люди, находящиеся в мучительстве сильнейшее и напряженнейшее наслаждение — сладострастие; что можно с наслаждением мучить не только ненавистного, а и любимого человека. И как же нам не поверить, наконец, этому, ну хоть не пророку божию — это уж г. Соловьев в забвении чувств хватил, — но, во всяком случае, чрезвычайно тонкому наблюдателю? Тем более что, независимо от представленных им поэтических образцов ненужной жестокости, Достоевский сам был одним из любопытнейших ее живых образцов. Он был именно тот жестокий талант, о котором сейчас шла речь...

Если бы картонные мечи умиленных плакальщиков, хитроумных политиканов и так себе пустопорожных людей, уже давно полуизвлеченные из ножен, могли рубить и колоть, то, конечно, я был бы в эту минуту повержен множеством ударов. Как! Достоевский — звезда русской литературы и едва ли не правило веры и образа кротости уличается в жестокости, да еще совершенно ненужной, сравнивается с таким дрянным ничтожеством, как Фома Опискин! Только узкое пристрастие лагеря, партии может довести до такой дерзости!

В таком роде что-нибудь скажут умиленные плакальщики, хитроумные политиканы и так себе пустопорожные люди, а не скажут, так подумают, с прибавкой, конечно, еще многих и разнообразных нелестных для меня вещей. До этих господ мне решительно никакого дела нет. Но я боюсь, чтобы кто-нибудь из благомыслящих читателей, сбитый с толку елейной репутацией Достоевского, не предъявил не то что этих возражений, — потому что какие же это возражения? — а этих попреков. Это было бы огорчительно. Дело в том, что лагерное, партийное отношение к Достоевскому невозможно. Ни к какой определенной партии он не принадлежал, а тем паче не оставил после себя школы. Можно только

сказать, что в чисто литературном отношении некоторые наши молодые беллетристы, к сожалению, соблазнились примером Достоевского<sup>20</sup> и пытаются заниматься безнужным мучительством, предполагая, вероятно, что в этом, и только в этом, состоит психологический анализ. Затем, к различным наметившимся у нас политическим партиям Достоевский был одними сторонами ближе, другими дальше и просто не обладал тем, что можно назвать политическим темпераментом. Он был прежде всего художник, радующийся процессу творчества, и потом проповедник, имеющий дело исключительно с личностью и ее судьбами. Политическую же жизнь и ее формы он не то что понимал правильно или неправильно — это бы еще подлежало обсуждению, — а просто не интересовался ими. Совсем они были чужие ему, всеми своими вкусами влекомому к разбирательству интимнейших личных дел и делишек. Оттого, когда под конец разные случайные обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случалось проговариваться нелепостями, которые казались бы колоссальными, если бы они не были так комичны. То вдруг брякнет, что крепостное право само по себе несколько не мешает идеально-нравственным отношениям между господами и крепостными<sup>21</sup>. То изречет пророчества, что мы возьмем в самом скором времени Константинополь, а турки пойдут торговать халатами и мылом, как будто бы было с татарами после взятия Казани<sup>22</sup>. Понятное дело, что политиканы, мечтающие о возрождении крепостного права в обновленной и юридически совершенно правильной форме, а также пустопорожние люди, желающие прибить свой щит к воротам Цареграда, были рады этой косвенной поддержке со стороны крупного литературного таланта. Понятно также, что люди, имеющие нечто против крепостного права, даже чрезвычайно и по новейшей моде разукрашенного, и полагающие, что мы можем пока обойтись и без Константинополя, не могли с радостным чувством слышать эти пустяки из уст писателя, который пользовался обширную и заслуженную известностью, хотя и совсем по другой части. Изволь еще там разбирай, по какой части: *Достоевский* говорит, и это уже очень и очень важно для многих. Отсюда радость одних и огорчение других. Но никогда ни одни, ни другие не считали маломальски серьезно Достоевского политическим деятелем или опорой партии. А потому, повторяю, партийное



пристрастие не имеет по отношению к Достоевскому никакого *raison d'être* \*, особенно теперь, после его смерти.

Вся политика и публицистика Достоевского представляет сплошное шатание и сумбур, в котором есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, беспричинная, безрезультатная жестокость. И если я сопоставлю Достоевского с его же созданием, Фомой Опискиным, то, конечно, очень хорошо понимаю, что первый умен и талантлив, а второй глуп и бездарен. О житейских отношениях Достоевского нам ничего не известно, да, пожалуй, и не надобно знать, ибо мы хотим только видеть, как житейская ненужная жестокость Фомы Опискина отражается в *литературной* деятельности Достоевского.

Начнем с конца, то есть с публицистики, потому что тут дело стоит проще и яснее всего, хотя довольно и трудно, едва ли даже возможно говорить о публицистике Достоевского, не касаясь его беллетристики.

Катков негодует на слабость приговоров суда присяжных и требует «строгих наказаний, острога и каторги»<sup>23</sup>. Достоевский тоже негодовал на слабость приговоров суда присяжных и требовал строгих наказаний, острога и каторги. Но разница вот в чем. Негодование и требование Каткова стоят на чисто утилитарной почве: он ратует за расшатанную «дисциплину», требует, чтобы вообще обитатели земли русской, недостаточно «подтянутые», были наконец подтянуты в удовлетворительной степени. Достоевский стоял в своем требовании вне всяких утилитарных соображений. Самый вопрос: зачем строгие наказания, острог и каторга?— не существовал для него, хотя ему поневоле приходилось в публицистической своей деятельности вертеться около этого вопроса. Однако и тут он больше сворачивал на другой, собственно говоря, необыкновенно странный вопрос: кто хочет строгих наказаний и проч.? Кто хочет страдания вообще? Понятно, что такая постановка чрезвычайно удобна для человека, не умеющего, не желающего мотивировать свое требование, принужденного почему-нибудь скрывать свои истинные мотивы или, наконец, просто плохо сознающего их. (Последнее случается гораздо чаще, чем, может быть, думает читатель: сплошь и рядом человек всю жизнь не отдает себе

---

\* Основания (фр.).— Ред.

отчета в истинных мотивах своей деятельности.) Чрезвычайно удобно вместо всякой аргументации по самому существу дела сослаться на какой-нибудь могущественный в данном случае авторитет: дескать, он, авторитет, хочет. Ну, а авторитету этому можно и собственное хотение подsunуть. Достоевский перепробовал, кажется, все подобные авторитеты. Мы видели, что уже подпольный человек говорит о желании людей страдать, о том, что они «любят до страсти» страдание. Затем, в последующих своих беллетристических произведениях, Достоевский с особенною любовью останавливался на тех отдельных случаях, когда человек в самом деле ищет страдания, пожалуй именно любит его, в искупление когда-то совершенного им греха. С этою целью он заставляет своих действующих лиц совершать вычурные, фантастические преступления или по крайней мере питать того же сорта мысли, чтобы потом они могли страдать, страдать, страдать. Достойно внимания, что человек иногда бывает готов идти на страдание по совершенно иным мотивам, но Достоевский не признавал их законными и если вводил в свои произведения, то непременно в язвительном тоне. Сейчас мы увидим, в чем тут дело. Во всяком случае, человек сам хочет и любит страдать, а это авторитет в данном случае достаточно высокий; уж если сам хочет страдать, так не зачем и рассуждать о причинах и целях страдания — пусть себе страдает. Но Достоевский не удовольствовался этим авторитетом, основательно, может быть, соображая, что не всякий поверит такой любви человека к страданию. С течением времени он прибавил авторитет самого бога, а затем авторитет русского народа, и около этого последнего столба, собственно, и вертелась вся его политика и публицистика, излагавшаяся от его собственного имени в «Дневнике писателя» и от имени действующих лиц романов «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». При ближайшем рассмотрении открылось, видите ли, что не человек вообще любит и хочет страдать, а именно русский человек. Французский, немецкий, турецкий и всякий другой иностранный человек остается по этому пункту даже как бы в сильном подозрении. Коренная же черта русского человека, особенно сохранившаяся в народе, состоит в неудержимом стремлении к страданию. Из этого центра идут в разные стороны радиусы в виде весьма, впрочем, немногочисленных теоретических и практических выво-

дов. Типическим образчиком едва ли не всех их в совокупности может служить такое рассуждение. Адвокаты, прокуроры, судьи и, под влиянием их, присяжные заседатели (а если присяжные принадлежат к так называемой интеллигенции, то и совершенно самостоятельно) в качестве людей, оторвавшихся от национальной почвы, не понимают потребности русского народа в страдании; они оправдывают преступника мужика, тогда как он сам хотел бы попасть на каторгу и даже преступление-то совершил именно, может быть, затем, чтобы потом пострадать от угрызений совести или в остроге, или на каторге.

Странные, дикие, невозможные размышления, но Достоевский их высказал целиком. И, конечно, одною жестокостью их объяснить нельзя. К жестокости таланта, которою мы теперь заняты и которая, натурально, должна прорезываться главным образом в беллетристике, в настоящем случае прибавлялись еще другие элементы, упомянутые в заметке по поводу смерти Достоевского: уважение к существующему общему порядку и склонность к личной проповеди, вообще к постановке всех вопросов на личную почву. Этих элементов мы теперь касаться не будем и отметим только следующее обстоятельство.

«Человек — деспот от природы и любит быть мучителем», — говорит Достоевский устами «Игрока». «Человек до страсти любит страдание», — говорит тот же Достоевский устами подпольного человека. Мучить или мучиться или и мучить, и мучиться вместе — вот, значит, не только судьба человека, а и глубокое требование его природы. Как в экономии природы существуют волки и овцы, так в экономии взаимных людских отношений существуют и должны существовать мучители и мученики. Спрашивается, как же с мучителями-то быть? Как к ним относиться? Вы скажете, может быть, что поступать с ними надо так же, как с волками, то есть просто гнать и бить их. Отнюдь нет. Волки человеку неуютны и неудобны, оттого он их и бьет, а тут сам человек любит быть мучителем и сам же любит страдать — двойное оправдание для существования мучителей. Поэтому общий порядок вещей, создающий мучителей и мучеников, представляет собою нечто священное и неприкосновенное, и Достоевский на разнообразные манеры преследовал всех, кто словом, делом или помышлением посягал на этот неприкосновенный

общий порядок. Только в своей речи на пушкинском торжестве<sup>24</sup> Достоевский согласился признать их право на имя русских людей.

Но если общий порядок вещей неприкосновенен, то из этого отнюдь не следует, разумеется, что столь же неприкосновенны отдельные личности мучителей. Нет, тут надо разбирать. Есть формы мучительства грубые, аляповатые, какими, например, пробавляется Фома Опискин. Такое мучительство заслуживает всяческого посмеяния и всяческой кары. Оно и понятно: мало-мальски тонко развитый художник или даже просто человек, обладающий некоторым художественным чутьем, будет, конечно, неприятно оттолкнут подобным безобразием. Но есть и другие формы мучительства, более изящные, более интересные, которыми при случае можно даже пококетничать, открыто заявляя, что я, дескать, люблю помучить людей, но посмотрите-ка, насколько я, в самооплевании и самоунижении своем, все-таки выше простых смертных. О! такого интересного и красивого мучителя можно взять под свое покровительство; можно назвать его не каким-нибудь бранным словом, которого он вполне заслуживает, а мягким и интересным именем «парадоксалиста»; можно вложить ему собственные мысли и, следовательно, как бы даже отождествить его с собой... По крайней мере так любезно поступил Достоевский с подпольным человеком.

## V

Пора, однако, нам заглянуть в другие повести и рассказы, вошедшие во второй и третий томы сочинений Достоевского. До сих пор мы наглядно убедились только в том, что Достоевский чрезвычайно интересовался различными проявлениями жестокостей и необыкновенно тонко понимал то странное, дикое, но, несомненно, сильное наслаждение, которое некоторые люди находят в ненужном мучительстве. Собственно же образчиков жестокости его таланта еще не видали.

Вот повесть или «петербургская поэма», как она по-чему-то называется, — «Двойник».

Жил-был титулярный советник Яков Петрович Голлядкин. Обыкновеннейший был человек неопределенной масти и если чем отличался от многих других регистра-

торов, секретарей и советников, так разве только полным отсутствием каких бы то ни было мажорных качеств и необыкновенным обилием качеств минорных — трусости, мнительности, уступчивости и т. п. На первых же страницах «петербургской поэмы» Голядкин, поднимаясь по лестнице к доктору за медицинским советом, должен «переводить дух и сдерживать биение сердца, имеющего у него привычку биться на всех чужих лестницах». Кроме этой запуганности, с первых же опять-таки страниц повести обнаруживается значительный непорядок в голове Голядкина, так что даже необыкновенное обилие минорных качеств находится, по-видимому, в прямой зависимости от этого непорядка. Повесть оканчивается тем, что Голядкин окончательно свихивается и его увозят в сумасшедший дом. Слабость воли полупомешанного человека прослежена с замечательною тщательностью на множестве мелочей, которые даже утомляют читателя своею скученностью. И утомление это несколько не смягчается юмористическим тоном, которого автор держится в рассказе о похождениях своего героя. Напротив, он под конец прибавляет к утомлению еще некоторое изумление. В самом деле, что же тут достойного насмешки, что какой-то несчастный титулярный советник сходит с ума? Положим, он птица не важная, но, по человечеству, все-таки скорее пожалеть можно «господина Голядкина», как неизменно называет его автор. А еще лучше, пожалуй, было бы совсем оставить господина Голядкина в покое. Простой фотограф и тот, работая не по заказу, а по собственному выбору, снимая, например, виды, выбирает местности почему-нибудь характерные, или очень красивые, или в других отношениях замечательные. А тут талантливый художник берет какую-то нимало не интересную букашку — Голядкина, сводит его с ума да еще при этом издевается над ним.

Но читатель, пожалуй, заметит, что автор совсем не сводит с ума господина Голядкина, господин Голядкин сам сходит с ума под влиянием разных обстоятельств, автор же только рассказывает, каким образом этот процесс дошел до своего апогея.

Нет, это не совсем так и даже совсем не так. История застаёт господина Голядкина уже в расстроенном виде, благодаря которому он терпит весьма достаточное количество воображаемых оскорблений и огорчений и действительных неприятностей. И те и другие совер-

шенно естественны в жизни человека, страдающего психологической болезнью. Но Достоевскому показалось мало этих неприятностей и оскорблений, вызываемых обыкновенным течением болезни. Он устроил для «господина Голядкина» следующий, совершенно необыкновенный и невероятный сюрприз. После одной неприятности, особенно огорчившей Голядкина, он, возвращаясь ночью домой, встретил своего двойника, который даже вместе с ним к нему на квартиру вошел и на его кровати расположился. Все это пока еще очень просто. Но на другой день, проснувшись, успокоившись, Голядкин отправился на службу и там, к величайшему ужасу своему, встретил уже настоящего, реального своего двойника в виде новичка-чиновника. Этого только что поступившего чиновника звали, как и нашего героя, Яковом Петровичем Голядкиным; как и герой, он был титулярный советник и по внешности своей как две капли воды походил на героя; вдобавок начальство посадило его за одним столом с героем, как раз против него! Отсюда новый обильный источник обид, огорчений, неприятностей для господина Голядкина, и без того несчастного, и без того богом убитого. Эти неприятности совсем не входят в бюджет обыкновенного умственного расстройства. Они введены автором искусственно, и спрашивается, зачем? Правде вещей они не соответствуют, потому что обуславливаются таким странным совпадением обстоятельств, которое хотя и удобно для водевиля с переодеванием, но в действительной жизни невероятно. Художественными требованиями их оправдать нельзя, потому что эти два титулярных советника — две капли воды, два Якова Петровича Голядкина, сидящие друг против друга, — грубая пошлость. Нравственного смысла в страданиях господина Голядкина тоже нет никакого. Зачем же понадобился второй господин Голядкин? Единственно затем, чтобы построить для Голядкина второй этаж мучений, вычурных, фантастических, невозможных, и мучительно пощекотать ими нервы читателя. Единственно ради игры фантазии. Единственно по жестокости таланта Достоевского. Как подпольный человек единственно для «игры» и по ненужной жестокости мучит Лизу; как Фома Опискин совершенно бескорыстно, только в силу потребности видеть мучения, терзает все село Степанчиково, так и Достоевский без всякой нужды надбавил господину Голядкину второго Голядкина и вместе с тем

высыпал на него целый рог изобилия беспричинных и безрезультатных страданий. В своем роде этот второй Голядкин такое же фантастическое и дикое орудие пытки для «господина» Голядкина первого, какие французские вокабулы составляют для старого Гаврилы и малого Фалалея. Что будете делать: «человек — деспот от природы и любит быть мучителем»? А с другой стороны, человек «до страсти любит страдание». Отчего же титулярному советнику Голядкину не получить лишнюю, сверхсметную порцию страданий?

Вы скажете, может быть, что это невероятное объяснение, потому что у кого же поднимется рука на такую жалкую козявку, как Голядкин? Но в том-то и вопрос, почему выдумываются фантастические терзания для козявки, и без того истерзанной действительным течением жизни. Это во-первых. А во-вторых, не один Голядкин подвергается ненужным терзаниям. Подвергаются им и читатели, или по крайней мере есть расчет на эти отраженные терзания читателей, долженствующих пережить муки господина Голядкина. А читатели — это целый легион. В-третьих, наконец, что ж такое, что козявка? Алексей Петрович («Игрок») замечает: «удовольствие всегда полезно, а дикая беспредельная власть, *хоть над мухой*, ведь это тоже своего рода наслаждение». Вот ради этого-то наслаждения Достоевский своим Голядкиным № 2 и поправил истину, красоту и справедливость, ту знаменитую троицу — *le vrai, le beau et le juste* \*, — с которой носились тридцатые и сороковые годы — годы, между прочим, и Достоевского...

Пойдем дальше и употребим на этот раз прием сравнительный.

Обидно ли будет для памяти Достоевского сравнение с Шекспиром? Я думаю, нет. Оно было бы обидною насмешкою для какой-нибудь бездарности. Но талант такого роста, как Достоевский, не допускает возможности подобной насмешки. Он не Шекспир, конечно, и я не думаю мерить его с Шекспиром. Я хочу только сравнить некоторые художественные приемы того и другого при разработке одной и той же темы.

Вы помните «Отелло». Психологическая драма, образная разработка личной страсти — ревности — не может идти дальше. И если искать тайну этой необыкновенной глубины, то придется увидеть ее именно в от-

---

\* Правда, красота и справедливость (фр.). — Ред.

сутствии ненужного мучительства, несмотря на мучительность темы. Раз дан характер и положение Отелло — все остальное, все мельчайшие подробности его страданий вытекают сами собой. На две стороны драмы желал бы я обратить особое ваше внимание. Во-первых, фабула чрезвычайно проста: под влиянием наговоров Яго рождается и растет ревность, «чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитой над тем, что пищею ей служит». Дойдя до известного предела, ревность завершается убийством, и так как Дездемона оказывается невинною, то измученный, разбитый Отелло, своими руками разбивший свое счастье, не хочет жить и закалывается. Вот и все. Затем Отелло почти глуп, когда доверяется Яго; Отелло груб, когда ругает и даже бьет Дездемону; Отелло, наконец, безумный убийца, и никто ему не поверит, что он все сделал «из чести» и ничего «из злобы». И, несмотря на все это, вы нигде, на всем протяжении драмы, не заметите руки автора, желающей унижить, придавить героя, доставить ему какую-нибудь скорбь или унижение сверхъестественной в его положении сметы.

Теперь посмотрите, что сделал с этой же темой Достоевский. На мотив «чудовище с зелеными глазами» у него есть две вещи: одна шуточная и очень плохая — «Чужая жена и муж под кроватью», другая — серьезно задуманная, в своем роде превосходно выполненная и для таланта Достоевского в высшей степени характерная — «Вечный муж»\*.

Шутка решительно не удавалась Достоевскому. Он был для нее именно слишком жесток, или, если кому это выражение не нравится, в его таланте преобладала трагическая нота. Шуточные вещи он пробовал писать не раз. Но или шутил над тем, что ни в каком смысле шутки не заслуживает («Двойник»), или же шутка напоминала — да позволено мне будет это сравнение — кошачью игру: кошка совершенно незаметно раздражается процессом игры и переходит с него на действительное, злобное царапанье и кусанье. Разница, однако, в том, что Достоевскому не доставало грации кошки: он сплошь и рядом вводил в свои шутки грубейшие и отнюдь не грациозные эффекты («Дядюшкин сон», «Кро-

---

\* «Вечный муж» не вошел ни во второй, ни в третий томы сочинений Достоевского, но, если не ошибаюсь, вышел недавно отдельно новым изданием



кодил» и др.). «Чужая жена и муж под кроватью» — «происшествие необыкновенное» — принадлежит именно к разряду этих грубых и вовсе не грациозных шуток.

Действие открывается тем, что пожилой «господин в енотах» останавливается на улице вечером молодого «господина в бекеше» расспросами о какой-то даме, которая должна быть где-то поблизости; так не видал ли ее молодой господин в бекеше? Из дальнейшего объяснения оказывается, что господин в енотах ищет свою жену, подозреваемую им в неверности. Но он конфузится сказать это откровенно и плетет какую-то чепуху насчет «чужой жены». Он чрезвычайно взволнован и все говорит о своем «унижении». Еще дальше, и оказывается, что молодой человек есть как раз любовник этой самой «чужой жены», которая, однако, и его надувает, что и обнаруживается. Обнаруживается с такой ясностью, что для мужа не может быть никаких сомнений. Но он все еще хочет «ловить». Случай представляется на другой же день. И муж, и жена были в опере. Муж сидел в креслах, жена в ложе с знакомой семьей и какими-то молодыми людьми. Вдруг «на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреича слетел такой безнравственный предмет, как любовная раздушенная записочка». Иван Андреич тотчас сообразил, что автор этой записочки его жена, а так как в цидулке было назначено свидание тотчас после спектакля, то он и помчался по указанному адресу прямо из театра. Но уже на месте, на самой лестнице, Ивана Андреича обогнал какой-то франт и, как показалось оскорбленному мужу, вбежал в ту самую дверь, которая была обозначена в записочке. Иван Андреич за ним. «Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумать свой шаг, поробеть немного и потом уже решиться на что-нибудь очень решительное». Но в эту минуту загремела подъехавшая к подъезду карета, на лестнице послышались чьи-то тяжелые шаги, Иван Андреич инстинктивно ворвался в дверь, пробежал две темные комнаты и очутился в спальне молодой прекрасной дамы, совершенно ему незнакомой. А тяжелые шаги, поднявшись по лестнице, все раздавались следом за Иваном Андреичем. «Боже! Это мой муж! — воскликнула дама, всплеснув руками и побледнев блее своего пеньюара». Испуганный Иван Андреич полез под кровать. Но там его ждало новое приключение: там уже

сидел какой-то человек, разумеется встретивший его недружелюбно. И вот между прекрасной незнакомкой и ее только что прибывшим мужем начинается семейная беседа, а под кроватью идет усиленная возня, напряженный шепот, взаимные пререкания. Оказывается, что Иван Андреич и его подкроватный сосед оба ошиблись дверью, что им обоим надлежало быть этажом выше, вследствие чего Иван Андреич догадывается, что подкроватный сосед есть любовник его жены: новые вздохи — «за что я так наказан?» Долго бы еще возились под кроватью муж и любовник, но у прекрасной незнакомки, кроме дряхлого мужа, была еще задорная собачонка Амишка. Заслышав возню под кроватью, Амишка бросилась туда с лаем, Иван Андреич из самохранения задушил ее, прекрасная незнакомка упала в обморок, подкроватный сосед воспользовался минутой смятения и убежал, а Иван Андреич, быв вытаснен из-под кровати, очутился один перед разгневанной незнакомкой и ее не менее разгневанным мужем. Ценою разных унижительных объяснений, просьб, обещаний Ивану Андреичу удалось кое-как успокоить гневных хозяев и получить свободу. Он бежит домой, а там жена, давно приехавшая из театра, встречает его градом упреков за отсутствие и подозрительность. Смущенный Иван Андреич полез было в карман за платком, «затем, что недоставало ни слов, ни мысли, ни духа». И вдруг вытаскивает, вместо платка, труп Амишки, который, в порыве отчаяния, затолкал себе в чужой квартире в карман! Супруга накидывается на него по этому поводу с новыми допросами и упреками...

Я нарочно рассказал подробно эту пустяковину, чтобы читатель мог лучше оценить всю ненужность этого обилия злоключений Ивана Андреича. В два дня столько событий, столкновений, встреч, и все унижительных и мучительных! Но Достоевскому все еще было мало. Он заканчивает рассказ следующими словами: «Здесь мы оставим нашего героя до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже несчастье!»

Неужели для этого вывода стоило так бить глупого Ивана Андреича, так таскать его за волосы и плевать на него? Неужели это не бой быков, предпринятый

единственно из ненужной жестокости? Допустим, что Иван Андреич — бык очень смешной, но тем неуместнее весь этот арсенал направленных против него бед, весь этот персонал раздражающих, колющих и убивающих его бандильеросов, пикадоров и матадоров. (Надо еще заметить, что мучительные для Ивана Андреича разговоры на улице и под кроватью необыкновенно растянуты.) Помните опять-таки «Отелло» с немногосложностью его фактического содержания и строгою умеренностью количества унижающих и оскорбляющих героя обстоятельств...

Но что же и сравнивать простую шутку, положим и грубую и неудачную, со звездой первой величины?

Повторяю, что я вовсе не думаю мерить Достоевского с Шекспиром, а хочу отметить приемы ненужной жестокости Достоевского. Весьма любопытно, что эти приемы господствуют и в шутке, которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль бездарнейшего поставщика этого рода произведений, если бы не эта растянутость мучений героя и не эта заключительная перспектива дальнейших терзаний Ивана Андреича. водевиль благодушен и кончается всегда всеобщим успокоением...

Обратимся к «Вечному мужу».

Павел Павлович Трусоцкий, разбирая после смерти горячо любимой жены ее переписку, открывает, что она много лет надувала его, развратничая с разными любовниками, и что единственная его дочь, Лиза, — не его дочь. Жена Трусоцкого была, по отзыву одного из ее любовников, «тип страстный, жестокий и чувственный». «Она любила мучить любовника», но с мужем обращалась внешним образом хорошо, заботилась о нем, только под башмаком держала. После ее смерти Трусоцкий, обогащенный сведениями насчет своего рогатого положения, поехал в Петербург, забрав с собою Лизу. Поехал он хлопотать о перемещении в другую губернию, но сам свое дело затягивал, потому что интимною целью его поездки в Петербург было, по всем видимостям, посмотреть на двух проживающих там любовников жены — Багаутова и Вельчанинова. На них посмотреть и себя им показать, их помучить и самому, глядя на них, помучиться. Надо заметить, что с обоими ими Трусоцкий находился в наилучших приятельских отношениях, а к Вельчанинову питал даже не совсем обыкновенную любовь и уважение. Другой на его месте,

правда очень трудном и скверном, подрался бы со своими оскорбителями, выругался, вызвал на дуэль, отомстил как-нибудь или же, посмотрев на дело более философским взглядом, мог бы оставить свои мучения при себе, постараться всю эту историю забыть и даже, может быть, никогда с теми господами не видаться; вообще, так или иначе, кровавым, как Отелло, или бескровным путем, но поскорее кончить. Но создания Достоевского так просто не поступают, им конец-то, результат-то именно и не нужен, им нужен процесс. Они должны придумать что-нибудь более утонченное, жестокое, вычурное, чем простая месть. А какой процесс им нужен — это явствует из двух основных свойств человеческой природы: 1) человек — деспот от природы и любит быть мучителем, 2) человек до страсти любит страдание. И вот на этих двух клавишах Труссоцкий и разыгрывает свою пьесу: оскорбителей своих мучит и сам мучится. Впрочем, он ничего в этом смысле не *придумывает*, он просто следует инстинктивным требованиям своей (или вообще человеческой?) души. С Багаутовым он поступает так. В течение трех недель он каждый день заходит к нему, но его там не принимают, потому что Багаутов болен. Наконец приняли, но приняли уже к покойному — Багаутов умер. Труссоцкий страшно озлоблен. И когда другой любовник его жены, Вельчанинов, спрашивает его, что с ним случилось, завязывается такой разговор:

— Да вот-с, все наш Степан Михайлович чудесит... Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек-с, высшего общества-с.

— Не приняли вас опять, что ли?

— Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с и черты созерцал... только у покойника!..

— Что-о-о! Багаутов умер?— ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивляться.

— Он-с. Неизменный и шестилетний друг. Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда навеститься о здоровье. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой... от нервной горячки помер-с... Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что

ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг,— я вас спрашиваю? *Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал!*

— Да за что же вы на него-то сердитесь?— засмеялся Вельчанинов.— Ведь он не нарочно же умер!

— Да ведь и я сожалея говорю: друг-то драгоценный: ведь он вот что для меня значил-с.

И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел, как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.

— Это что же такое означало?— спросил он небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-с,— отрезал Павел Павлович, отнимая наконец свои пальцы от лба.

— То есть... ваши рога?

— Мои собственные, благоприобретенные!— ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.

• • • • •  
(Труссоцкий предлагает выпить шампанского.)

— На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки,— ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович.— Теперь вы, и один уже только вы, у меня остались истинным другом-с! Нет Степана Михайлыча Багаутова...

— Вы мне вот что скажите: если вы так прямо обвиняете Степана Михайлыча, то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер: чего ж вы злитесь?

— Какая же радость-с? Почему же радость?

— Я по вашим чувствам сужу.

— Хе, хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца, *«хорош враг мертвый, но еще лучше живой»*, хи-хи.

• • • • •  
— Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважить вашу досаду, но...

— А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению?

— Это ваше дело.

— Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с...

— На какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?

— Да хоть бы *только поглядеть на дружка-с...* Вот бы взяли с ним бутылочку да и выпили вместе.

В конце концов для вящего мучительного самоуслаждения Трусоцкий едет на похороны Багаутова и провожает его труп до могилы. Как видите, человек до страсти любит страдание. Но заметьте, сколько шипящей злобы в добровольческом страдании Трусоцкого; сколько тут искреннего озлобления на Багаутова, свою смерть поставившего точку к мучительному процессу мучительства! Дело в том, что человек не только любит страдание, а любит и других заставлять страдать, любит быть мучителем. Поэтому за оставшихся жить Лизу и Вельчанинова Трусоцкий принимается с удвоенною энергией. Лизу он мучит сравнительно просто — «щиплет». Но и для нее имеется гастрономия потоньше: Трусоцкий грозит при ней повеситься и объясняет, что повесится «от нее»; ругает ее позорным именем; приводит к себе на ночь, при ней, публичную женщину.

Что касается Вельчанинова, то о характере отношений к нему Трусоцкого можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Багаутове. Павел Павлович все время терзает Вельчанинова разными намеками и прямым рассказом о том, как он узнал о своем рога-том положении; то щекочет его ревность воспоминаниями о других любовниках жены, то будит его совесть соображениями об их старинной дружбе, то держит в напряженном состоянии, намекая, что ему известны отношения Вельчанинова к жене, то отпускает эти вожжи, притворяясь ничего не знающим. Вельчанинов, человек желчный и раздражительный, поддается на все эти удочки и волнуется, смущается, злится. С особенною же стремительностью лезет он на следующую удочку. Трусоцкий, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающим, намекает, что Лиза — дочь Вельчанинова. Тот, в страшном волнении, хватается за эту мысль, берет на себя заботы о Лизе; но когда потом бедная девочка умерла, Павел Павлович прямо, и уже без всяких подвохов, объясняет, что отец Лизы не он, Вельчанинов, а хорошо им обоим известный «артиллерии прапорщик»...

В известном лагере, охотно причисляющем Достоевского к «своим», часто раздаются сетования на так называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисует все только мрачные картины и тем обнаруживает свое неуважение к родине, в которой ведь и светло-розового и небесно-голубого очень много. Не будем останавливаться на этой песне, которая еще со времен Гоголя поется глупцами и лицемерами. Но, спрашивается, что же сказать о писателе, берущем чисто индивидуального человека, без внимания к каким бы то ни было общественным изъянам, и в нем, в душе человеческой вообще водружающем такие два знамени, как: 1) человек любит быть мучителем, 2) человек до страсти любит страдание? Не подкоп ли это подо все, что только есть на свете светло-розового и небесно-голубого? Не подкоп ли это под все лучшие воспоминания и под все надежды на лучшее будущее? Пусть об этом хорошенько подумают лицемеры и глупцы, а мы пока посмотрим на историю Трусоцкого как на частный случай, по тем или другим причинам заинтересовавший художника.

Если отрешиться от мысли об общих законах человеческой природы с двух противоположных сторон, требующих для человека мучений, если посмотреть на поведение Трусоцкого, напротив, как на исключительный случай, даже как на уродство, то нельзя не признать «Вечного мужа» произведением чрезвычайно замечательным. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громким криком, ни решительным действием, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это, бесспорно, одна из лучших вещей Достоевского. Однако только до того момента, до которого мы довели свой пересказ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этом моменте, то есть на смерти Лизы и «артиллерии прапорщике». Тип Трусоцкого ясен, в утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имели дело с человеком вроде Отелло, то есть с человеком, желающим так или иначе свалить бремя со своей души и чем-нибудь кончить, то этот искомый им конец был бы вместе с тем и концом драмы. Трусоцкому никакого конца не нужно, он хотел бы целую вечность поджаривать на медленном огне и Багаутова, и Лизу, и Вельчанинова. Но ведь если идти в этом направлении за Трусоцким, так и повести не пришлось бы

никогда кончить. Нельзя же в самом деле без конца тянуть визиты Трусоцкого к Вельчанинову и эти поджаривающие, ядовитые разговоры. Смерть Лизы, в связи с «артиллерии прапорщиком», просто даже в техническом отношении выводит автора из затруднения.

Но, как и всегда, Достоевскому мало тех мучительных сцен, которые определяются естественным ходом вещей и условиями техники искусства. А кроме того, для него слишком еще просты чувства Павла Павловича Трусоцкого. До сих пор мы видели только, что когда-то Вельчанинов был предметом любви и уважения для Трусоцкого. Когда-то ведь и Багаутов был его приятелем, а теперь он только потому жалеет о смерти бывшего приятеля, что эта смерть вырвала у него из рук жертву его своеобразной мести. Можно бы было думать, что таковы же его отношения и к Вельчанинову. Рассказывая Вельчанинову о смерти Багаутова, Трусоцкий со страстным порывом говорит, что ведь теперь только он, Вельчанинов, остался для него один на свете. Потом в другом подобном же рассказе он в еще более страстном порыве целует руки у Вельчанинова. Все это, конечно, вариации на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любит предмет своей ненависти, как точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетание, этот, если позволено будет так выразиться, гермафродитизм чувства Достоевский пожелал довести до высшей возможной точки напряжения

Павел Павлович задумал опять жениться. Случилось это очень скоро после смерти Лизы и всего три месяца после смерти его жены: Достоевский вообще всегда очень торопил своих действующих лиц и любил толкотню событий, загоня их в невероятном количестве в самые короткие сроки. Задумал Павел Павлович жениться на пятнадцатилетней девочке, еще посещающей гимназию. Свадьба, впрочем, предполагалась через девять месяцев, чтобы вышел годовой срок траура, да и невеста чтобы подросла. В один прекрасный день Трусоцкий неожиданно сообщает об этом своем решении Вельчанинову и, кроме того, просит его ехать немедленно, сейчас же вместе с ним в семейство невесты. Вельчанинов, разумеется, поражен этой просьбой, отказывается с отвращением, но Трусоцкий настаивает, умоляет, с величайшим жаром объясняется в любви, и Вельчанинов наконец уступает. Не будет следить за тем, что произошло у Захлебниных (фамилия не-



весты). Скажем кратко, что невеста терпеть не могла Павла Павловича и что Вельчанинов совершенно нечаянно поспособствовал окончательному разрушению мечты «вечного мужа» о новом семейном очаге. Возникает вопрос: зачем Трусоцкий возил с собой Вельчанинова к невесте? Сам Павел Павлович сначала объясняет, что возил просто как друга, но потом открывает, что хотел «испытать» невесту некоторыми блестящими качествами Вельчанинова. Вельчанинов же приходит в конце концов к тому заключению, что Трусоцкий возил его ради хвастовства и вызова: дескать, ты был любовником моей жены, так вот же тебе, смотри, я опять буду счастлив, и ничего ты тут уж не испортишь! Вельчанинов, однако, испортил, хотя и совсем нечаянно. Понятно, что злобные чувства к нему Павла Павловича должны усилиться. К удивлению, однако, Павел Павлович в ту же ночь, когда они вернулись от Захлебниных, обнаруживает необыкновенную нежность к Вельчанинову. Тот заболел, и Павел Павлович ухаживал за ним как за родным братом, так что даже растрогал Вельчанинова. Но, успокоив боль Вельчанинова разными припарками, за которыми бегал сам на кухню, Павел Павлович в ту же самую ночь бросился на спящего Вельчанинова с бритвой... Вельчанинов спасся только случаем — вовремя проснулся.

Вельчанинов на другой день размышляет: «Неужели, неужели правда была все то, что этот... сумасшедший натолковал мне вчера о своей любви ко мне, когда задрожал у него подбородок и он стучал в грудь кулаками? Совершенная правда!.. Он слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет *ничего* не приметил! Он уважал меня девять лет, чтит память мою и мои «изречения» запомнил — господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Не любил ли он меня вчера, когда изъяснился в любви и сказал: «покуिताетесь»? Да, *со злобы* любил, эта любовь самая сильная...»

В заключение Павел Павлович доставил Вельчанинову письмо, из которого явствовало, что Лиза действительно его, Вельчанинова, дочь, а вовсе не артиллерии прапорщика...

Кажется, теперь-то уж конец, самый окончательный конец? Отнюдь нет. Чрез два года Вельчанинов сталкивается на железной дороге с Павлом Павловичем, ко-

торый опять женат, ужасно боится, чтобы Вельчанинов к нему не зашел в гости и не испортил его семейного счастья, а между тем состоит под башмаком у жены и не замечает, что уланский офицерик, с которым они разъезжают втроем, есть любовник его жены...

## VI

Если бы мы разрешили себе пользоваться для предлагаемой статьи *всеми* сочинениями Достоевского, то задача наша количественно была бы, конечно, труднее. Потребовалось бы гораздо больше времени и места, чтобы пересмотреть и предъявить читателю хотя бы только крупнейшие из образцов ненужной жестокости в позднейших произведениях Достоевского. Эти позднейшие произведения, начиная с «Преступления и наказания», и особенно самые последние — «Бесы», «Братья Карамазовы» — переполнены ненужною жестокостью через край. Но именно поэтому критическая задача была бы много легче в качественном отношении. В тех старых произведениях Достоевского, с которыми мы имеем дело, по крайней мере во многих из них, еще сильно пробивается струя «гуманического» направления, как назвал его Добролюбов в известной статье «Забитые люди». Теперь мы должны с этой струей считаться, тогда как в позднейших сочинениях Достоевского она постепенно убывает и под конец совершенно иссякает в пустыне слащавых и худосочных сентенций о любви к ближнему. Понятное дело, что подобные сентенции стоят очень дешево — их и Фома Опискин в большом количестве произносил — и выделить их из живой массы художественных образов и картин не представило бы никакого труда. Теперь же нам предстоит операция несколько более сложная.

Кроме того, мы должны еще взглянуть на внешнюю сторону литературной карьеры Достоевского. Говоря о жестоком таланте, который мог бы выработаться из Фомы Опискина, если бы он не был так глуп и груб, мы видели, что степень его успеха и влияния зависит, во-первых, от размера дарования, а во-вторых, от условий среды, а именно главным образом от того, есть у этой среды настоящее насущное дело или нет. Эти два пункта нам и нужно теперь обсудить по отношению к Достоевскому.

В конце концов мы должны обратиться к статье Добролюбова. В этой статье с величайшею тщательностью разработано «гуманическое» направление Достоевского, а кроме того — она надолго определила тон и характер ходячих суждений о певце «униженных и оскорбленных» и, следовательно, может служить как бы показателем степени влияния Достоевского на современников.

«В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком, настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку» — вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условий и парциальных воззрений, по-видимому даже помимо его собственной воли и сознания, как-то *à priori*, как что-то составляющее часть его собственной натуры». Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку он занимается собственно Достоевским, а не «забытыми людьми». Надо еще только прибавить оценку художественного дарования Достоевского. В этом отношении Добролюбов ценил его чрезвычайно низко: он прямо объявил его «ниже эстетической критики», находил у него «бедность и неопределенность образов», «необходимость повторять самого себя», «неуменье обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения», и т. д., и т. д. Читатель видит, что эта оценка диаметрально противоположна нашей. Мы, напротив, признаем за Достоевским огромное художественное дарование и вместе с тем не только не видим в нем «боли» за оскорбленного и униженного человека, а, напротив, видим какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оценки исходили из двух противоположных литературных лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дело на пристрастие, недобросовестность. Вот, например, я помню в «Русском вестнике» чрезвычайно занимательную статью г. Страхова, в которой доказывалось со свойственной этому критику обстоятельностью, что г. Стахеев есть настоящий и большой художник, а Некрасов и Щедрин — так себе, пустопорожнее место. Ну, а если бы мне пришлось проводить такую странную

параллель, то... то я бы никогда не стал ее проводить — до такой степени для меня безапелляционно ясно, где именно находится пустопорожнее место<sup>25</sup>. И весьма вероятно, что кто-нибудь из нас, то есть либо г. Страхов, либо я, руководствуемся недобросовестным пристрастием. Но в настоящем случае ничего подобного сказать нельзя, и спрашивается: откуда же эта резкая разница в суждениях о писателе, несомненно ярком?

Дело объясняется очень просто. На первый взгляд даже слишком просто. Статья Добролюбова написана в 1861 году, а у нас теперь 1882 на исходе. Из этого на первый взгляд еще ровно ничего достойного внимания не проистекает, потому что не обязательно же для нас каждые двадцать лет выворачивать наизнанку свои мнения о крупных представителях русской литературы. Напротив, оценка, сделанная рукою такого мастера, как Добролюбов, должна бы, кажется, пережить не двадцать, а хоть двести лет. Это так, конечно. Но дело-то в том, что никакого выворачивания мнений наизнанку тут нет, а есть вот что. «Униженные и оскорбленные» — последнее из произведений Достоевского, бывших в руках у Добролюбова. Не только «Бесы» или «Братья Карамазовы», а и, например, «Записки из подполья», «Вечный муж» были ему неизвестны. Мы же хотя и не касаемся теперь самых крупных из произведений Достоевского, но все-таки знаем их. Знаем, следовательно, что со времени «Униженных и оскорбленных» талант Достоевского вырос необычайно. Он, правда, до конца дней своих не отделался вполне от указанных Добролюбовым недостатков; некоторые из них с течением времени даже еще более определились, как, например, архитектурное бессилие, неспособность обойтись без длинных отступлений, нарушающих гармонию целого. Несмотря на это, талант Достоевского, если можно так выразиться, отточился, получил блеск и остроту, каких и в помине нет в «Бедных людях» или «Униженных и оскорбленных». Отточился и — ожесточился. Или, может быть, наоборот: ожесточился и отточился. Во всяком случае, с нашей точки зрения, процесс был двойственный, развитие таланта шло рядом с его ожесточением. Дело могло происходить так, что, сознав свою специальную силу художественного мучительства, Достоевский увлекся «игрой», как увлекся ею подпольный человек в эпизоде с Лизой, и чем дальше, тем искуснее стал ущемлять сердца своих героев и чи-

тателей. А может быть и так, что жестокий по натуре или по условиям своего воспитания талант, перепробовав себя на разные манеры, попал наконец — случайно или руководимый инстинктом — в свою настоящую сферу, где и развернулся со всем блеском, на какой только был способен. Предлагаю следующий опыт. Возьмите первую повесть Достоевского — «Бедные люди», которая так восторженно была встречена Белинским и к которой, впрочем, уже Добролюбов отнесся несравненно сдержаннее, и сравните с последним романом — «Братья Карамазовы», далеко не лучшим из произведений второго периода. «Бедные люди» проникнуты «гуманическим» направлением; но, читая их теперь, после всего того, что мы получили от Достоевского, после всего, что мы вообще за последние годы пережили, — вы не найдете в них ни одной высокохудожественной страницы, а местами так даже получите такое приблизительно впечатление, будто вас насильно манной кашей кормят: кушанье, очень любимое детьми, но редко нравящееся взрослым. В «Братьях Карамазовых», напротив, несмотря на инквизиторский характер основной тенденции, несмотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов, несмотря даже на томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алеше, — вы найдете отдельные места необыкновенной яркости и силы. И напрасно я так говорю: *несмотря* на инквизиторский характер, *несмотря* на ненужную жестокость. Скорее напротив — *благодаря* жестокости, потому что именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих читателей.

Таким образом, с памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишком низкой оценки таланта Достоевского. Для своего времени эта оценка была очень верна, и если мы теперь видим некоторую ее ошибочность или даже, собственно говоря, неполноту, так только потому, что мы знаем «Вечного мужа», «Преступление и наказание» и проч., которых Добролюбов не знал. Знаем мы и еще кое-что, чего Добролюбов не знал и не мог знать — в двадцать лет много воды утекло, и пусть бы в это время только вода текла!..

Кажется, все это очень просто. Но есть сторона вопроса более сложная и более любопытная. Сказано было, что и в ранних произведениях Достоевского были уже крупные задатки жестокого таланта, и мы видели их образчики. Мы видели также, что «человек — деспот от природы и любит быть мучителем» и что «человек до страсти любит страдание». Как же это Добролюбов не только не заметил этого, а еще утверждал, будто «человек должен быть человеком и относиться к другому как человек к человеку»? Мы в прошлый раз на каждом шагу встречали у героев Достоевского волчи инстинкты: злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную, в сочетании с любовью, с дружбой. У Добролюбова же во всей статье есть только два замечания об этом предмете. Во-первых, его поразила обработка характера князя Валковского (в «Униженных и оскорбленных»). «Всматриваясь в изображение этого характера,— говорит Добролюбов,— вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица. Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости,— этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее тою высшею ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя... Нет ничего, ни попытки, ни намека... Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если душа у него совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот процесс?» Затем, говоря о том, что фигурирующие в повестях Достоевского оскорбленные и униженные люди являются в двух типах — кротком и ожесточенном, Добролюбов замечает о последнем: «Видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли,— попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попро-

силь и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдерживать характер, и оттого они вечно недовольны собой, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.»

Вот и все. Как будто Достоевский совсем не тот тонкий знаток и аналитик злобы, мучительства, каким мы его знаем! О собственных же мучительских опытах Достоевского над своими героями и читателями у Добролюбова нет буквально ни одного слова. И едва ли есть возможность объяснить эти пробелы незнакомством критика с позднейшими, характернейшими образчиками творчества Достоевского. Добролюбов, во всяком случае, знал «Село Степанчиково» и «Двойника». И вот что, между прочим, мимоходом говорит он о героях этих двух повестей: у Достоевского «есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, Фому Фомича». Таким образом, Фома Фомич, терроризирующий обитателей села Степанчикова, и Голядкин, безнужно истерзанный самим Достоевским, оказываются стоящими под одной рубрикой. Спора нет, что оба они могут под эту рубрику уместиться, потому что у обоих действительно до болезненности развиты самолюбие и подозрительность. Но не гораздо ли важнее этого сходства то различие, что один — мучитель, а другой — мученик? Как же это критик отметил такую уж слишком общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрел такую специальную, резкую, яркую разницу?

В высшей степени любопытно объяснение, придуманное Добролюбовым для «идеи» «Двойника». Голядкин, видите ли, мучается и сходит с ума «вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Его оскорбляют, и он к этому уже привык, сам себя готов считать за букашку, но вместе с тем в нем еще копошатся какие-то обрывки мыслей о «правах» и о человеческом достоинстве. «И затем его мысли совершенно расстраиваются: он уже не знает, что же он — вправе или не вправе... Он чувствует только одно, что тут что-то не так, неладно. Хочет он объясниться со всеми врагами и недругами — все не удается, характера не хва-

тает. И приходит он к *idée fixe* \*, к пункту своего помешательства: что жить на свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает. И вот у него является решимость тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать. Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приготовлен, характер у него не такой... И господин Голядкин, вообще склонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к несвойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне... Он группирует все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остатки где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему «двойника». Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, в разъяснения ее не хотел забираться далее того, что «герой романа — сумасшедший». Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах тем более, то всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собой сложилось у меня в голове при *перелистывании* этой повести (*всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог*) \*\*.

Все это чрезвычайно тонко и умно; но если бы Добролюбов имел терпение не перелистывать, а читать «Двойника», то, конечно, отказался бы от своего объяснения. Дело в том, что Голядкин № 2, «двойник», не есть только плод расстроенного воображения Голядкина № 1. Если бы это было так, то объяснение Добролюбова было бы не только умно, а и верно или по крайней мере вероятно, мы имели бы дело просто с особым и чрезвычайно интересным видом умопомешательства. Но Голядкин № 2 есть не только галлюцинация, а и реальное действующее лицо повести. Правда, галлюцинация и реальное лицо в течение повести сплетаются и расплетаются, так что местами даже разобрать не-

---

\* Навязчивой идее (*фр.*).— *Ред.*

\*\* Курсив Н. К. Михайловского.— *Ред.*



льзя, кто перед вами: живой человек с плотью и кровью или же только создание фантазии больного человека. Однако в повести есть прямые указания на действительное существование Голядкина № 2. Так, например, один из сослуживцев героя, разговаривая с ним, удивляется поразительному сходству двух титулярных советников Яковов Петровичей Голядкиных, сидящих друг против друга за одним столом.

Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игре природы, и позволительно даже сомневаться, чтобы это природа играла. Положим, что она бывает иногда очень игрива и, играючи, выпускает из своих недр разные диковинки, но только в пределах своей компетенции, в пределах естества. Табель о рангах не ее дело, и титулярных советников не она создает. Историю тоже нельзя обвинять во всех злоключениях «господина Голядкина». История создала табель о рангах и весь тот общий порядок, горячий протест против которого представляет вся статья Добролюбова. Поэтому вините историю, поскольку злоключения Голядкина в самом деле происходят от «неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Пусть из этого разлада проистекает главная струя психического расстройства Голядкина со включением фантастического представления двойника, как это изображено у Добролюбова. Но в живом, реальном двойнике Голядкина, появление которого безмерно увеличило мучения несчастного титулярного советника, не виноваты ни природа, ни история, а виноват исключительно автор. Допустим, что все остальное в повести «Двойник» жизненно и правдиво, что так именно идут дела на грешной земле. Оно, пожалуй, и в самом деле так, в общем, конечно, а не в многочисленных подробностях, полных виртуозной игры на нервах читателя. Пусть же история Голядкина есть история типическая, характерная для большого круга явлений русской ли жизни в частности или духовной жизни человека вообще. Но согласитесь с тем, что в двух титулярных советниках, которых обоих зовут одними и теми же именами, отчествами и фамилиями, которые как две капли воды друг на друга похожи, которых, наконец, канцелярский фатум усадил друг против друга за одним столом,— согласитесь, что во всем этом нет уже ровно ничего типического. А между тем обстоятельство это играет чрезвычайно важную роль в по-

вести. И ответственность за причитающуюся долю мучений «господина» Голядкина нельзя валить на жизнь, едва ли когда-нибудь создававшую такую комбинацию. Отвечать должен автор, жестокая фантазия которого сделала из до невозможности исключительного случая источник мучений для человека, без того несчастного. И спрашивается, зачем же второй Голядкин понадобился? Я думаю, что этот вопрос совершенно законен, а это уже плохой знак для художественного произведения. Самая возможность его показывает, что тут есть какой-то изъян по части жизненной правды. Художник может и должен иметь свои цели, может и должен их преследовать путем искусства, но вместе с тем его отношения к читателю должны допускать только один вопрос относительно той или другой подробности произведения, именно вопрос — почему? Например: почему господин Голядкин сошел с ума? Потому-то и потому-то, читайте повесть «Двойник» — и получите полные ответы. Но если в уме читателя возникнет вопрос: зачем? — например, зачем явился Голядкин № 2? — так это значит, что для появления этого лица нет никаких удовлетворительных резонов в том уголке жизни, которую повесть «Двойник» изображает. Оно введено автором насильственно, вопреки жизненной правде. Но это еще не беда была бы, а только полбеда, потому что нельзя же требовать от художественного произведения совершенства. Многое пишется наскоро, второпях, а известно, что Достоевский именно всегда так писал, где же тут каждое лыко в строку ставить! Наконец, область искусства допускает, даже в величайших своих созданиях, множество условностей и, следовательно, искусственности. Если, например, иметь в виду только требования жизненной правды во всей их полноте и немумолимости, то видимая зрителями тень отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить все подобные условности, и во всех отраслях искусства камня на камне не останется. Очень забавны те новаторы «реалисты» и «натуралисты» разных мастей, которые требуют, чтобы художник — поэт, беллетрист, музыкант, живописец — копировал природу; чтобы, например, беллетрист с точностью рассказал, сколько раз в день его герой высморкался; чтобы оперный оркестр гнущимися звуками изображал гнусный характер поющего на сцене злодея и т. п. Как будто это возможно! У нас, например, одно время музыкальные

новаторы, во имя жизненной правды, гнали собственно пение и возводили на пьедестал речитатив<sup>26</sup>. Оно, конечно, в жизни так не бывает, чтобы умирающий человек пел сладкозвучным голосом или чтобы какие-нибудь три заговорщика в самую важную для их дела минуту занимались пением, и притом непременно один басом, другой баритоном, третий тенором. Этого не бывает, но ведь и речитативом тоже никто не говорит в жизни...

Итак, некоторая искусственность или насильственность со стороны автора, в ущерб жизненной правде, может быть допущена. Но если уже она есть, если в уме читателя возник вопрос — зачем, то необходимо приискать ответ и затем судить произведение, а может быть, и автора, с точки зрения этого ответа. Зачем тень отца Гамлета, будучи галлюцинацией наследника датского престола, разгуливает по сцене, разговаривает, как живое, реальное лицо? Затем, чтобы эта галлюцинация датского принца стала как бы коллективной галлюцинацией зрителей (коллективные галлюцинации — достоверный психический факт), проникнутых сочувствием к несчастному положению принца. Зачем двойник, галлюцинация господина Голядкина, находит себе точную копию в жизни, в лице настоящего, живого Якова Петровича Голядкина № 2? — не знаю, и читатель тоже не знает... Однако благодаря Достоевскому, благодаря его «проникновению» в разные мрачные глубины человеческого духа мы с читателем можем догадываться: Голядкин № 2 насильственно введен в повесть затем же, зачем Фома Опискин вводит французский язык в село Степанчиково, зачем он зовет Гаврилу «мусью шематоном», зачем подпольный человек рисует Лизе мучительно раздражающие «картинки», зачем Трусоцкий сверлит Вельчанинова — для «игры», для жестокой игры на нервах. Если Достоевский не разъяснил нам окончательно эту мрачную сторону человеческой души, вполне достойную и научного исследования и художественного изображения, то все-таки очень много сделал для нашего в этом отношении просвещения. Он дал нам такие живые образчики этого дикого чувства, такие яркие портреты носителей его, что по крайней мере в самом факте специальной мучительской склонности не может уже быть никакого сомнения. Достоверно, что есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, чтобы те люди им как-

нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и в искусстве, в жестоких талантах, каков сам Достоевский.

Возвращаясь к статье Добролюбова, надо будет все-таки сказать, что одним недосмотром нельзя объяснить ее неполноту или ошибочность. Положим, что он просмотрел истинную роль Голядкина № 2 в повести «Двойник». Но такой пронизательный критик мог бы и при этом условии, касающемся, собственно, частности, хотя и очень характерной, уловить тот общий дух мучительства, которым дышит творчество Достоевского. А между тем он ее не только не уловил, а еще усвоил Достоевскому «гуманическое» направление. Мало того, не заметил или по крайней мере не отметил разницы между мучителем Опискиным и мучеником Голядкиным. И того мало, Добролюбов так скомбинировал картины, сцены, характеристики, образы Достоевского, что из всего этого вышло какое-то не совсем определенное, но во всяком случае отрицательное отношение к тому общему порядку вещей на Руси (тогдашней), который создает униженных и оскорбленных, принижает личность до тупой покорности или какого-то не то жалкого писка, не то безумного бреда, исправляющего должность протеста. В этом, собственно, состоит весь смысл статьи Добролюбова. А между тем уже в «Идиоте» (1868) Достоевский устами одного из действующих лиц резко и определенно выразил одну из своих заветных мыслей, впоследствии много раз им развитую, а именно: кто у нас нападает «на существующие порядки вещей»<sup>27</sup>, тот нападает «на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию».

По-видимому, одно из двух: или Добролюбов грубо ошибался, или Достоевский с течением времени резко изменился. В сущности, однако, не было ни того, ни другого: ни *грубой* ошибки, с одной стороны, ни *резкой* перемены, с другой.

## VII

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский рассказывает:

«Я прочел им (семейству Ихменевых) мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а проси-

дели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то невообразимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное, вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались, и все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять как мы сами говорим... Страшно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немножко надулась, точно чем-то обиделась. «Ну, стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают»— было написано на ее лице. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает,— говорил он,— зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинка стояла в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты».

Известно, что в «Униженных и оскорбленных», в той части походов Ивана Петровича, которая касается его литературных занятий, Достоевским введено несколько автобиографических черт: говорится о критике Б. (Белинском), восторженно встретившем первый роман Ивана Петровича, рассказывается примерно содержание «Бедных людей», сообщается манера писания Ивана Петровича, весьма сходная с манерой самого Достоевского, и проч. И можно думать, что Достоевский и сам переживал нечто вроде тех счастливых ми-

нут, которые достались Ивану Петровичу в только что приведенном рассказе о чтении первого романа в кругу близких и чутких людей. Конечно, тут дело не в подробностях, созданных авторской фантазией в видах завязки и развязки романа, не в своеобразных, например, отношениях Ивана Петровича к семейству Ихменевых вообще и к Наташе в особенности. Но мы знаем, что Достоевскому была лично знакома та гордая радость, которую должен был испытывать Иван Петрович при виде слез Ихменевых и горячего поцелуя Наташи. Если в его жизни и не было совершенно аналогичного эпизода, что, в сущности, и не важно, то эпизод этот образно и вместе с тем как бы схематически изображает прием, оказанный читающим русским людям первому роману Достоевского. В статье Белинского можно найти отражение Наташиного страстного поцелуя и слез сочувствия Ихменевых. Словом, Иван Петрович, Достоевский то ж, на первом же шагу на поприще литературы получил такое трогательное, осязательное и подмывающее одобрение, какое вообще редко достается писателю. Иван Петрович, Достоевский то ж, воочию убедился в мощи своего слова, познал на опыте, что может «глаголом жечь сердца людей». Момент в высшей степени важный в истории всякой не чисто стихийной, а способной к самосознанию силы. В этот момент Достоевский находился в таком же положении, в каком находится женщина, впервые убедившаяся в обаятельной силе своей красоты; в каком находится школяр, в первый раз успешно сразившийся с товарищем и понявший, что он уже не «новичок», который должен терпеть всякие издевательства, а что у него самого кулаки есть; в каком находится трибун после первой речи, которая произвела сильное впечатление; полководец, впервые увидавший, что стройные массы солдат не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налево, а встречают его с искренним, неподдельным восторгом И т. д., и т. д. Я прибавил бы, пожалуй, сравнение с тигренком, впервые после материнского молока лизнувшим крови, но это сравнение идет к делу только в отрицательном смысле. Из тигренка должен вырасти кровожадный тигр по непреложным законам естества, и потому можно любоваться его мощной грацией, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя — суда такого нет; у тигров про меж себя, может быть, и есть подходящий суд, но нам

до него дела нет; по-нашему, тигр просто подлежит смертной казни, без суда и следствия. Иначе стоит дело относительно других вышеприведенных примеров. Девушка, сознавшая силу производимого ею обаяния, может направить ее к той или другой, непостыдной или постыдной цели, сообразно которой и подлежит оценке. Из разных комбинаций, какие тут возможны, для нас особенно интересна та, когда целью становится самое средство, орудие, самая, так сказать, игра мускулов красоты. Простите это несообразное выражение, но, раз оно сорвалось с языка, позвольте уж заодно говорить и о мускулах мысли, о мускулах творчества и т. п. Все это орудия, и напряжение их должно бы представлять только средства для достижения известных целей. Но бывает так, что, по условиям чисто личного свойства или же по условиям обстановки, обладатель силы ставит себе целью самую игру мускулов. В таких случаях из женщины выходит кокетка, беспредметно заигрывающая со всяким мимоходящим и обращающая свою силу в источник мучений; из трибуна и полководца — честолюбцы, способные ради своих прекрасных глаз натворить множество бед и уложить в могилу тысячи людей. Великое дело — первые пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человека, пока он не попробовал власти, да до тех пор и сам он едва ли себя знает. Мало ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо родины или человечества, а потом упивающихся властью для нее самой: дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нет никакого резона утверждать, что в момент своих горячих клятв такой человек был непременно канальей, что он лгал, чтобы расчистить себе путь к тому наслаждению, которое дается властью над так называемыми ближними. Может быть, и лгал, и был канальей, но очень может быть, что он просто не знал самого себя, не предвидел обаятельности того наслаждения, которое дастся ему «дикую, беспредельною властью хоть над мухой»<sup>28</sup>. Конечно, это уж не первый сорт человека, но он мог все-таки быть вполне искренен в начале своей карьеры.

И вот перед нами писатель, впервые убедившийся в своей силе. Он и прежде сознавал ее в себе, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавал смутно, и не раз горькие сомнения чередовались в его душе с гордыми надеждами. Теперь конец всем этим колеба-

ниям: присутствие силы засвидетельствовано произведенным ею впечатлением. Писатель убедился, что он властный человек и может двигать сердца своих читателей или слушателей. Но как и куда двигать? Перед ним, как перед сказочным богатырем, расстилаются три дороги, с тою, однако, разницей, что ни на одной из них он ни коня не потеряет, ни сам не погибнет. Какие тут потери, какая гибель! Нет, молодая, сознавшая себя сила играючи преодолет все препятствия, перелетит через все барьеры и там, где-то в туманной, неведомой дали, водрузит знамя победы! Хорошее время, веселое время...

А дороги-то все-таки предстоят разные, и надо выбирать. Одна из них намечена простодушными восторгами старика Ихменева: «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот, ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то! ...Или вот, например, табакерку дадут...<sup>29</sup> Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может и ко двору попадешь; или нет? или еще рано ко двору-то?.. Камергером, конечно, не сделают за то, что роман написал: об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти, ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут».

Конечно, если бы наш богатырь захотел идти по этой дороге, то разные табакерки, вспоможения, камергерские ключи посыпались бы на него, как из рога изобилия. Но он по этому пути не пойдет. Не те времена уж, когда для писателя табакерки были желанны и возможны. Зато тем желаннее и возможнее иной путь, тот самый, за один шаг по которому Наташа страстно припала к руке Ивана Петровича и облила ее слезами умиления и сочувствия. Одобрение, полученное Иваном Петровичем, кроме трогательной осязательности формы, имело и вполне определенное содержание. Оно давалось за «простоту» рассказа, в связи с его «гуманическим» направлением: «Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой»<sup>30</sup>. Опять и опять так же просто и душевно описывать радости и горести забитого человека; опять



и опять будить в душе читателя струны сочувствия к униженному и оскорбленному; пробрать силою своего творчества не только благодущных стариков Ихменевых, не только страстную и благородную Наташу, а и тех, кто забывает забытых; пробить их толстые кожи и добраться до самого их сердца — вот путь, по которому пойдет Иван Петрович.

Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому только трудный, что есть на свете внешние препятствия и воздействия или так называемые «независящие обстоятельства», категорически побуждающие молчать, когда хочется говорить, и ехать, когда хочется сидеть дома. Это само собою разумеется. Но избранный Иваном Петровичем путь переполнен иными опасностями, из которых главная состоит в близости и соблазнительности третьей дороги — дороги кокетства в обширном смысле слова, игры мускулов творчества и ненужного мучительства. Она в самом деле очень близка и соблазнительна, эта третья дорога.

Хорошо плачет Наташа! Хорошо видеть плачущую эту ясную девушку при сознании, что ведь это я, Иван Петрович, вызвал эти слезы и вызвал не обидой или оскорблением, а тем, что тронул ее сердце болью за болящего, страданием за страждущего. А если припомнить, что в ясной девушке отражаются и критик Б. и все, что есть мыслящего и чуткого в читающей России, так и подавно хорошо. Очень соблазнительно для пушкого эффекта усилить тон, надбавить униженному еще немножко унижения и оскорбленному еще немножко оскорбления: тогда ведь и ясная девушка, и все, что в ней для Ивана Петровича олицетворяется, будут еще больше тронуты. Очень это естественное соображение, а между тем отсюда идет наклонная плоскость в сторону отсутствия «простоты», за которую получено одобрение, и присутствия ненужного мучительства, одобрения отнюдь не заслуживающего. С течением времени Иван Петрович со второй дороги может совсем перебраться на третью; первоначальная цель — возбуждение сочувствия к забитому человеку — может постепенно отойти совсем на задний план и уступить свое место тому, что было сначала только средством — игре мускулами творчества. Может, словом, произойти точное воспроизведение двух первых моментов гегелевской формулы диалектического развития: положение перейдет в свое отрицание, сочувствие в мучительство.

Разные люди при разных обстоятельствах разно покажутся по этой наклонной плоскости. Как это вышло у Ивана Петровича — нам неизвестно, да и не интересно несколько. Что же касается самого Достоевского, то он покатился столь быстро, что уже Белинский, при всей своей востроженности от «Бедных людей», должен был назвать последующие произведения Достоевского «нервической чепухой» («даже сильнее», прибавляет г. Пыпин в известной книге о Белинском)<sup>31</sup>. «Нервическая чепуха» — это ведь именно и значит отсутствие простоты и присутствие ненужного мучительства. Конечно, не так просто, не так вдруг совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба течения довольно долго боролись друг с другом. Одолевало то или другое, смотря по обстоятельствам...

Спрашивается, какие же это обстоятельства, какие условия сдерживают или усиливают раскат по вышеозначенной наклонной плоскости? Прежде всего задерживающие или, напротив того, усиливающие условия могут заключаться в прирожденных личных свойствах писателя: «таланты от бога». Жестокость таланта, как и всякая другая жестокость, может быть результатом несчастного сочетания стихийных сил. Если, например, у Полины, жестоко терзающей «игрока», «следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный», то, значит, ей так на роду написано быть мучительницей. В писателе, однако, прирожденная жестокость таланта может сдерживаться другими, отчасти прирожденными же, стихийными, а отчасти разумными элементами. В художнике на первом плане стоит здесь чувство меры, которое у тонко развитых в художественном отношении натур играет примерно такую же всеконтролирующую роль, как так называемый такт у светских людей. Светский человек, будучи, например, большим негодяем, в силу присущего ему такта не обнаружит своего негодяйства. Тот же такт не позволит светскому человеку сделать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него в душе целый ад кипел. Так и в художнике — чувство меры подавляет и контролирует его личные поползновения. У Достоевского это чувство было чрезвычайно слабо. Талант — чрезвычайно неровный: он то потухал до совершенной бесцветности и томительной скуки, то разгорался сильным и ярким огнем, но никогда не знал меры. За исключением «Мертвого дома» и двух-трех мелких рас-

сказов («Белые ночи», «Маленький герой», «Кроткая»), вполне законченных в смысле гармонии и пропорциональности, все остальное, написанное Достоевским, не поражает нас своею нескладностью, растянутостью, безмерностью (если можно так выразиться) только потому, что мы уж очень привыкли к его манере писания. Мы представили в прошлый раз образчики этой безмерности в виде рога избытка несчастий и обид, обрушивающихся на героев, в виде толкотни событий, которых у него в один день совершается столько, сколько другому хватило бы на целый год, в виде ненужных надстроек, вставок и отступлений. Если в некоторых из этих случаев чувство меры оказывается бессильным для обуздания жестокости таланта, то оно было столь же бессильно и тогда, когда Достоевский изображал благожелательные чувства. «Бедные люди», например, трудно читать без некоторой тошноты от чрезмерного обилия всяких «маточек» и «голубчиков моих». А в «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович столь чрезмерно пылает самоотвержением, что не только безропотно уступает свою Наташу первому встречному шалопаю, а еще играет роль сводни; словом, столь безмерно благороден, что даже гнусен.

Итак, чувство меры, будучи в Достоевском крайне слабо, не могло его сдержать в движении по наклонной плоскости.

Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта могло бы спасти Достоевского от ненужного мучительства, а его читателей и действующих лиц от ненужных мучений. Не помню, кто из героев Эжена Сю<sup>32</sup>, будучи от природы в буквальном смысле слова кровожадным человеком, но, попав под влияние некоторого добродетельного и умного руководителя, становится совершенно несчастным человеком. Стихийные силы природы влекут его к кровопролитию, а влияние добродетельного и умного руководителя не допускает до кровопролития. Наконец, дело разрешается очень просто: добродетельный и умный руководитель поместил кровожадного героя на бойню мясником. Тут герой мог удовлетворять своим жестоким наклонностям, делая вместе с тем общепольное дело. Это, конечно, не более как грубая иллюстрация к теории Фурье<sup>33</sup>, по которой страсти и наклонности, вложенные в человека природой, как бы они ни были по видимому

безобразны, нуждаются только в известном приспособлении, чтобы сослужить обществу полезную службу. Нам здесь нет дела ни до остроумной теории Фурье, ни до грубой иллюстрации Сю. Но она, эта иллюстрация, может быть именно вследствие своей грубости, если не разрешает нашего вопроса, то наглядно рисует возможность его разрешения. В самом деле, пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнут с лица земли, и пусть на их могилах пышным цветом расцветает любовь. Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет. И доколе нет «на земле мира и в человецех благоволения», самый любвеобильный человек допустит, что возможна и даже обязательна «необузданная, дикая, с лютой подлостью вражда»<sup>34</sup>. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответственную его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе, таким образом, определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю. Но у героя этого был добродетельный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что в действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевский, сам человек властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководству. Руководителем для него могло бы стать только что-нибудь бесплотное, идеальное, перед чем самому гордому и властному человеку не стыдно склониться, и вместе с тем такое, чтобы оно не в облаках где-нибудь носилось, а стояло всегда тут, близко, постоянно охватывая собою человека. Люди смиренные и слабые могут довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личным руководством или велениями заоблачных начал. Люди же сильные, властные, сами умеющие так или иначе управлять сердцами людей, не наденут на себя ярма личного руководства. Знакома им (не всем, конечно) и «с небом гордая вражда»<sup>35</sup>. Но властные люди могут — и это не только теоретическое соображение, а и многократный исторический факт — склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которое они вложили частицу самих себя, своей мысли, чувства, воли; а таким началом может быть только определенный общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского,

он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметною игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было...

Говорю не в качестве человека партии. Весьма вероятно, что общественный идеал Достоевского, если бы он у него был, оказался бы чем-нибудь вроде утопии г. Каткова — безотрадной, безбрежной пустыней, где только изредка среди всеобщего безмолвия раздаются крики «Караул!», «Держи!», «Ура!». С моей скромной личной точки зрения, равно как и с точки зрения того великого бога, которому я молюсь, тут нет ровно ничего хорошего и есть очень много скверного. Но, не говоря уже о том, что Достоевский мог быть и счастливее в выборе своем, даже в этом случае он был бы избавлен от беспредметной «игры» на нервах читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь определенного общественного идеала у Достоевского не было. Почему не было? — это вопрос особый и для разрешения довольно трудный. Мы и не будем им заниматься, ввиду отсутствия нужных биографических данных. Нам важен только самый факт. Если же кто в этом факте усомнится или попробует сложить какой-нибудь общественный идеал из тех обломков личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевский, в особенности в последнее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои в язвы гвоздиные.

Рассуждая о некоторой теории общественных отношений (по всем видимостям социалистической), подпольный человек, между прочим, пишет:

«Тогда-то — это все вы говорите — наступят новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, нам нельзя гарантировать (это уже я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые

булавки от скуки втыкаются \*, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что, чего доброго, пожалуй, и золотым булавам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, насколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия: вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

И т. д., и еще несколько страниц такого же затейливого изложения той же незатейливой мысли. Лет за тридцать перед тем как ее изложил подпольный человек (1864), эта мысль, будучи в качестве критики тогдашних социалистических теорий столь же незатейливою, была, однако, до известной степени уместна и даже

---

\* Перед тем шла речь о наслаждении, которое Клеопатра испытывала, втыкая золотые булавки своим невольницам в груди.

справедлива. Только одного не приняли в соображение представители либеральной европейской буржуазии, сделавшие из развиваемой подпольным человеком мысли своего любимого конька,— а именно того, что эта мысль может быть направлена решительно против всякого общественного идеала, в том числе и против либерально-буржуазного. А о других прочих и говорить нечего. Нам здесь не приходится, разумеется, рассуждать о том, как и в какой мере возможно примирение личной самостоятельности с каким-либо общественным порядком. Но дело в том, что возражение подпольного человека может быть предъявлено, собственно говоря, только таким субъектом, у которого у самого нет никакого общественного идеала. Если ссылаться на свойства человеческой природы, то надо помнить, что коли человек создал себе какой-нибудь идеал, самый хотя бы мечтательный и нелепый, так уж его такими пустяками из седла не выбьешь, ибо там, в этом мечтательном идеале, все это уже предусмотрено и разрешено. Взять хоть бы ту же утопию бесконечной равнины, на которой раздаются только крики «Караул!», «Держи!», «Ура!». Кажется, что может быть мечтательнее и нелепее? А попробуйте-ка запугать г. Каткова «джентльменом с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией», который вдруг «упрет руки в боки» и предложит все это благополучие «отправить к черту». Нимало не запугаете, потому что для такого джентльмена в утопии есть место и даже не место, а местá — весьма и не весьма удаленные. В другого рода утопиях джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией тоже предусмотрен. Предполагается именно, что осуществление утопии внесет в жизнь столько света и счастья, что если бы джентльмен и объявился и даже увлек за собой кое-кого, то количество этих увлеченных будет примерно три с половиной человека, которые будут играть роль таких же редкостных уродов, как теперь двухголовые соловьи, очень маленькие карлики и очень большие великаны. Пусть это мечта, но такова уж человеческая природа, что смущаться и других смущать джентльменом с ретроградной и насмешливой физиономией могут только люди, никакого собственного идеала не имеющие. Таков подпольный человек, который в шаблонном либерально-буржуазном возражении сделал только ту странную поправку, что, дескать, не заботьтесь очень

о благополучии-то — человек страдать любит. Точно этого добра мало в жизни! Но подпольный человек не просто подпольный человек, а до известной степени сам Достоевский. По крайней мере в ту часть «Записок из подполья», откуда заимствовано нами рассуждение насчет джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией, Достоевский, несомненно, вложил много своего личного, собственного...

Это не доказательство! — перебьет меня читатель. Конечно, не доказательство, а только соображение, основанное на сходстве некоторых теоретических идей Достоевского и подпольного человека и их практических приемов мучительства. Доказательство же могло бы уже просто в том состоять, что Достоевский никогда своего общественного идеала нам не показывал. Но этого мало. Припомните странную мысль Достоевского — странную, но отнюдь не одиноко стоящую в его писаниях, что Коробочка и ее крепостные, оставаясь в том же социальном положении, могли бы явить миру высокий образец взаимных нравственных отношений, если бы были проникнуты истинно христианским духом<sup>36</sup>. Никто не сомневается в возвышенности христианской морали, но в этой выходке сквозит такое страшное презрение ко всякому общественному идеалу или такая почти непостижимая скудость мысли и чувства в этом направлении, что поневоле вспомнишь джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией. На этот раз фантастический джентльмен должен бы был, «уперев руки в боки», сказать: а давайте-ка, господа, столкнем к черту все, что выработано и выстрадано человечеством по части общественных идеалов: не все ли, собственно говоря, равно — крепостное право, теперешний, завтрашний порядок? Все это чепуха, ибо во всяком положении можно быть высоконравственным человеком...

Слабость художественного чувства меры, которое могло бы контролировать проявление жестокого таланта, отсутствие общественного идеала, который мог бы их регулировать, — вот, значит, условия, способствовавшие или сопутствовавшие движению Достоевского по наклонной плоскости от «простоты» к вычурности, от «гуманического» направления к беспричинному и бесцельному мучительству. Чем дальше, тем ярче объявлялась в нем потребность играть на нервах читателя разными страшными чудовищами и дух захватывающими



диковинками. И, несмотря на всю его по этой части изобретательность, ее все-таки не хватало для удовлетворения его ненасытной потребности: он должен был повторяться. Так, например, в «Вечном муже» Трусоцкий из ненависти к Вельчанинову любовно целует у него руки; искренно, с любовью ухаживает за ним за больным, а два-три часа спустя хочет его зарезать бритвой. Казалось бы, в самом богатом собрании «монстров и раритетов» одного такого чудища было бы достаточно. У Достоевского же, не говоря о бесчисленных вариациях на тему любви — ненависти вообще, этот самый эпизод в частности почти буквально повторяется в «Идиоте»: Рогожин братается с князем Мышкиным, меняется с ним крестами и в тот же день бросается на него с ножом. Изображений простой, обыденной типической жизни, которые так тронули сердце Ихменевых, нет и в помине. Напротив, все вычурно, необыкновенно, случайно, чудно. Достоевский и сам, наконец, обратил на это внимание. По крайней мере в предисловии к «Братьям Карамазовым» есть, между прочим, следующие строки: «Не только чудаки, не всегда частность и обособление, а напротив — бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи, все, каким-нибудь наплывом ветром на время почему-то от него оторвались». Это — попытка оправдаться в выборе чудных, особенных, редкостных людей, положений, чувств. Сказаны эти слова по адресу Алексея Карамазова, который, может быть, и оказался бы таким «сердцевинным» чудакком. Но беда в том, что Алексей Карамазов своей сердцевинности в романе не обнаруживает и сам тонет в целом океане разных необыкновенных людей и положений, которых и сам автор не решается выдавать за сердцевинные. Тут старик Карамазов, развратный до того, что находит наслаждение в любовном сношении с грязной идиоткой Лизаветой Смердящей. Тут Дмитрий Карамазов с целым рядом необыкновенных походов. Тут мятущаяся, фантастическая Грушенька, эпилептики, отцеубийцы, юродивые, святые — словом, целая кунсткамера. «Чудаки» Алеша оказывается самым обыкновенным человеком в этой коллекции чудищ. А читатель знает, что «Братья Карамазовы» отнюдь не составляют в этом смысле исключения. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» переполнены всякого рода редкостями, исключительными явлениями, чудид-

щами И если сердца читателей все-таки трогаются и даже в своем роде, может быть, сильнее трогаются, чем в свое время сердца Ихменевых, то во всяком случае на совершенно другой манер; сочувствие к забитым, униженным, оскорбленным заменяется совсем другим отношением к ним. Взять хоть бы тех же рогоносцев Ивана Андреевича и Трусоцкого. Это — истинно несчастные люди, которых жестокая судьба унижает и оскорбляет жестокими руками Достоевского свыше всякой меры и безо всякой с их стороны вины: ничем они не виноваты ни перед женами своими, ни перед их любовниками. Напротив, по крайней мере один из них, Трусоцкий, был весь внимательность и любовь. И тем не менее никакого сочувствия к этим субъектам в читателе родиться не может: один смешон и глуп как пробка, другой низок и отвратительно зол. Тут уж никак нельзя повторить слова старика Ихменева: познается, что самый забитый человек есть тоже человек и называется брат мой. Весь психический процесс, происходящий в душе читателя, сводится к какому-то неопределенному трепетанию нервов, совершенно безучастному и к оскорбленной, и к оскорбляющей стороне, но настолько все-таки благодаря таланту автора сильному, чтобы читатель втянулся и некоторое время жил этим беспредметным мучительным трепетанием.

## VIII

Ничего этого Добролюбов не застал. Если же и в самых ранних произведениях Достоевского задатки мучительских наклонностей были уже налицо, то, во-первых, это были все-таки только задатки, нечто, относительно говоря, слабое, невыяснившееся. А во-вторых, дух времени, когда довелось работать Добролюбову...

Впрочем, позвольте сначала маленькое отступление.

В «Записках из подполья» есть одна фраза, которая в устах подпольного человека играет роль просто фразы, общего места, но в которую может быть, однако, вложено чрезвычайно важное и обширное содержание. Подпольный человек говорит именно, что он оторвался от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Что это такое значит? Возьмем не мрачного «парадоксалиста», кокетничающего своею мерзостью, а настоящего «книжного» и притом хорошего человека. Пред-

ставьте себе прекрасного юношу, одолеваемого жаждою научных знаний и мечтающего приложить эти добытые усиленным трудом знания к практической жизни на благо родины. Представьте себе далее, что эта святая для него родина предоставляет ему мирно и безмятежно приобретать знания, а затем настежь отворяет перед ним двери практической жизни: иди и работай. И родина в барышах — у нее лишний работник, имеющий прекрасную цель и владеющий средствами для приближения к ней; и личная судьба юноши устраивается превосходно, «струны натянуты, звени на весь мир», как говорит тургеневский Шубин в «Накануне». К сожалению, это случай очень простой в теории, но довольно редкий на практике. Бывает так, что родина, ослепленная разными тяжелыми обстоятельствами и мутной водой, в которой ловкие люди ловят рыбу, встречает юношу, самое, может быть, дорогое свое дитище, с недоверием. Допустим, что она не мешает ему приобретать знания, какие ему угодно и сколько ему угодно (а бывает ведь так, что и этого не бывает). Но предоставляя нашему прекрасному юноше учиться, ослепленная родина оставляет ему только ничтожную щелку для прохода в «живую жизнь» и приложения знаний. Юноша об этом уже на школьной скамье слышит, а затем и воочию самолично убеждается, что его золотые мечты, розовые надежды, голубые идеалы, все эти яркие, блистающие цветы жизни должны «не расцвести и отцвести в утре пасмурных дней»<sup>37</sup>. Если эта натура кипучая, которой практическая деятельность в «живой жизни» нужна как рыбе вода, то его ждут многие и разнообразные приключения, во всяком случае, невеселого свойства, до которых, однако, нам здесь дела нет. Если же это натура, могущая довольствоваться теоретическими сферами, то из него легко может выйти виртуоз в той отрасли знания, которою он занимается. Для этого нужно только, чтобы взамен отрубленной обстоятельствами цели, блага родины, на первый план выступило средство — знание. В самом деле, он занимался, например, философией и с наивностью, свойственной юношам, особенно хорошим, мечтал благодетельствовать родину теми этическими и социологическими выводами, которые он добудет упорным занятием философией. Оказывается, что его

родине не нужны его этика и социология; у нее есть свой отверделый кодекс морали, свои отверделые понятия об общественных отношениях, и она ревниво отстраняет все, что может эту отверделость потревожить. Юноша, побившись некоторое время как рыба об лед, прощается со своими практическими идеалами и удаляется в область логических, онтологических, диалектических и метафизических тонкостей. Здесь он может свободно строить хотя бы вавилонскую башню, никому не нужную, ни для кого не опасную, никого не радующую. Юноша занимается историей. Он думает вывести собственные оригинальные или проверить чужие исторические законы, с тем чтобы приложить их к судьбам родины и доказать с математической точностью и ясностью, что в настоящую минуту для родины нужно то-то и то-то. Нет, ослепленная родина не хочет даже и слышать об этих «то-то и то-то», она налагает печать молчания на уста юного историка, и он зарывается в архивы отечественные, а может быть, и иностранные, чтобы добывать там мелкие факты и фактики, упиваться этим познанием исторического сора и навсегда оторваться от «живой жизни»... И т. д. Биолог утонет в безбрежном море видов каких-нибудь насекомых; статистик кинется в омут познания всякого рода чисел. Все это будут виртуозы, оторванные от «живой жизни» или, лучше сказать, отброшенные ею. Одни пустятся в эту виртуозность, в эту игру мускулами мысли после некоторой борьбы и с болью, с душевным надрывом; другие втянутся в нее незаметно, постепенно, может быть с некоторым весельем и чрезвычайно высоким мнением о себе и своей деятельности.

Да не подумает читатель, что я с насмешкою, презрением или другим каким-нибудь видом отрицания отношусь ко всем упомянутым почтенным специальностям. Напротив. Бесспорно, что всякий виртуоз плодит много таких ненужностей, которые во веки веков останутся ненужностями. Но если кто-нибудь хочет познавать всякого рода числа или считать «пески морей, лучи планет»<sup>38</sup>, так пусть его. Мне только жаль тех прекрасных юношей, которые совсем не того хотели, вступая в жизнь, и принялись за всякого рода числа и погреблись в архивах только потому, что живая жизнь их от себя оттолкнула. Простительное сожаление

ние, я надеюсь. А ведь это еще все лучшие случаи оторванности от жизни. Бывает много хуже. Бывает так, как, может быть, было с подпольным человеком. Кто его знает! Может быть, сознав свои выдающиеся способности вообще и специальную силу «донимать» людей «картинками», он думал великие дела обломать, мечтал горами ворочать и «донять» дорогую родину такими «картинками», чтобы она содрогнулась и от всей своей скверны очистилась. Но ослепленная родина не пожелала его услуг, живая жизнь оттолкнула его; может быть, крайне грубо, больно, оскорбительно и бесповоротно оттолкнула. И вот то, что было лишь средством для достижения высокой цели — донимающие картинки, — стало самою целью подпольного человека. Сила-то ведь осталась, она только потеряла первоначально предположенную точку приложения и разбрасывается поэтому зря, без смысла. Увидел подпольный человек несчастную Лизу и давай ее донимать картинками, то есть мучить без причины, без цели, без нужды.

Что касается средств, которые «живая жизнь» пускает в ход, чтобы оторвать от себя работников, то, я полагаю, распространяться о них нечего. Читатель знает, что средств этих много и что они разнообразны. Достоевский испытал на себе самые страшные из них. За невиннейшее участие в деле Петрашевского он испытал все ужасы и весь позор каторги и солдатской лямки. Его били, секли... его, испытавшего уже наслаждение высшей власти, какая только может быть на земле, — власти над сердцами людей...

Теперь можно, кажется, обратиться и к «духу времени».

Дух времени в значительной степени характеризуется количеством отверженных и не отверженных живую жизнью работников. Не одни вершины, не только сильные, большие, властные, а и слабые, малые, смиренные хотят участвовать в живой жизни, справедливо рассуждая, что тут всем найдется вдоволь работы; и они, а значит, все общество может оказаться отверженным живую жизнью или припущенным к ней. Понятное дело, что дух времени будет в первом случае совсем не тот, что во втором, — иные интересы будут у людей, иначе будут они на вещи смотреть. Во времена Добролюбова у нас на этот счет в некотором роде весна

была: лед таял, цветы расцветали, весенние птицы весенние песни пели. Говоря без метафор, общество после томительно долгого бездействия получило наконец некоторую возможность принять участие в живой жизни. Добролюбов был слишком умен и требователен, чтобы приходить в телячий восторг (как приходили тогда многие) от этого, во всяком случае, первого, неуверенного, колеблющегося шага. Но и на нем сказался дух времени. Так, например, хоть в той же статье о забытых людях, несмотря на ее общий грустный и протестующий тон, пробивается оптимистическая струйка, совершенно, конечно, оправдываемая тогдашними обстоятельствами. Кто же в самом деле мог тогда предвидеть, что мрак и хаос наступят так быстро, после того как «солнце встало» и «горячим светом по листьям затрепетало»!<sup>39</sup> Тот же оптимизм побуждал часто Добролюбова, как и других, считать побежденным то, что, в сущности, было вовсе не побеждено, а только съежилось и пригнуло голову. Между прочим, именно как к побежденным Добролюбов относился к формулам виртуозности: наука для науки, искусство для искусства. Оно и понятно. Живая жизнь, настоящее дело настолько стали общедоступными, а в недалеком будущем разворачивались такие широкие перспективы, что казалось, кому же придет охота променять настоящую жизнь на ее отражение, цель на средство; наука и искусство, конечно, сами пойдут на службу к живой жизни. Так оно и было в общем тоне, но вовсе не так в подробностях. Наделяя при случае, мимоходом, пресловутое искусство для искусства каким-нибудь презрительным толчком, Добролюбов относился ко всем разбираемым им крупным явлениям литературы так, как будто и сомнения не могло быть в том, что это продукты сознательного служения живой жизни. Ему и в голову не приходило, что то или другое крупное литературное явление родилось *так*, спроста, как роза цветет, как соловей поет. По этой части происходили даже не лишённые пикантности анекдоты. Так, например, в статье «Когда же настанет настоящий день?»<sup>40</sup> Добролюбов написал несколько прекрасных страниц в ответ на вопрос, почему Инсаров болгарин, а не русский, и почему русский не мог увлечь Елену. При этом предполагалось, что Тургенев намеренно выбрал такого героя, именно в таких-то и та-

ких-то видах. А по прошествии некоторого времени Тургенев откровенно разъяснил<sup>41</sup>, что никаких таких видов у него не было, а что он просто воспроизвел действительное происшествие, героем которого был именно болгарин. Точно так же и относительно Достоевского. Добролюбов и представить себе не мог, чтобы можно было мучить, например, «господина Голядкина» *так*, ни с того ни с сего, ради «игры». Не то чтобы у него для этого не хватало пронизательности или критического таланта. Нет, самая возможность такого дикого явления была далека от его мысли. И вот он придумывает для злоключений Голядкина жизненное объяснение, тонкое и умное, которое, однако, никуда не годится. Само собою разумеется, что это нимало не отнимает цены у статьи Добролюбова, потому что и посвящена она, собственно говоря, не столько Достоевскому, сколько забитым людям, а забитые люди будут, конечно, поважнее Достоевского...

И в этом отношении, как и во многих других, Добролюбов был настоящим выразителем духа времени. Все читающее общество было как-то бессознательно уверено в невозможности литературы *так*. Оно допускало, разумеется, исключения для разной мелочи и шелухи, но крупный талант представлялся в ту весеннюю пору непременно работником живой жизни, и читатель именно в этом направлении искал объяснения произведениям Тургенева, Островского, Гончарова, Достоевского.

Понятное дело, что при таких условиях Достоевский со своими мучительскими наклонностями и не окрепшим еще талантом не мог играть видной роли. Независимо от относительной слабости дарования аудитория была просто неподходящая. Тогдашний читатель, все равно умный или глупый, эстетически развитый или неразвитый, был подобен той пчеле, о которой в немецкой басне рассказывается, будто она высасывает из цветов только сладость, а яд оставляет. Слишком он был занят живою жизнью, чтобы находить наслаждение в беспредметном трепетании нервов, и просто не замечал мучительской стороны огромного дарования Достоевского, пропуская ее мимо ушей.

Совсем другое дело в последний период деятельности Достоевского, особенно под самый конец его

жизни. Все сложилось для того, чтобы поднять его популярность до необыкновенной высоты. Правда, он пустился в публицистику и как публицист был просто путаница, которую все так и признали бы путаницей, если бы не политиканство одних и не холопское умиление других. Но зато беллетристический талант его отточился до блеска и остроты ножа. Да и читатель был уже не тот. Не то чтобы сам читатель изменился, а его обстановка — он был оторван от живой жизни. Там, в живой жизни, происходили события огромной важности, небывалых размеров и почти сказочного характера. Но читатель был тут ни при чем. Он был зритель и только и мог что трепетать нервами.

Ну вот что, читатель. Мы с вами так истрепетались нервами за это тяжелое, страшное время, что о нем надо либо начистоту, по душе говорить, либо совсем не говорить. А чтобы по душе говорить, надо *весны* подождать, чтобы опять лед таял, цветы расцветали, весенние птицы весенние песни пели...





## О ТУРГЕНЕВЕ

Литературной критики нет!..<sup>1</sup> Нет литературной критики!.. Со времен Белинского русская беллетристика осталась без критического руководства... Критика умерла с Добролюбовым... Последний выдающийся русский критик был Писарев...

Вот сетования, постоянно встречающиеся в разных «литературных обозрениях» и «критических очерках». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно авторы критических обозрений, люди, так сказать, специально приставленные к этому самому делу, жалуются на отсутствие критики, относя момент ее исчезновения более или менее далеко, смотря по образу мыслей обозревателя: один не хочет знать Добролюбова и останавливается на Белинском, другой стоит за Добролюбова, третий вспоминает о Писареве; попадаются и такие чудачки, которые считают последним критиком Аполлона Григорьева<sup>2</sup>. Во всяком случае, сами себя эти разные обозреватели и авторы критических очерков в счет не ставят. И, разумеется, очень умно и добросовестно поступают, потому что какие же они, в самом деле, критики? Если бы они ими действительно были, так незачем бы им было жаловаться на те или другие недостатки современной критики, а тем паче на отсутствие ее, а просто взять да и явить миру образцы истинной критики. Белинский — беру имя, не подлежащее ныне никаким сомнениям, — был ведь в свое время один и не тратил, однако, много времени на печали об том, что он один, а прямо и просто делал свое дело. Ну, и ныне был бы один, например, г. Чуйко — беру первого попавшегося из толпы обозревателей, потому что ведь все они приблизительно одинакового роста.

Если, однако, даже сами критики говорят, что критики нет, так, значит, ее действительно нет. Почему нет?

Этого я не знаю. Может быть, просто потому, что такая уж неурожайная полоса настала, неурожай на людей, способных всесторонне оценить и выяснить беллетристическое произведение. Мудреного ничего нет. Неурожай всякие бывают. Возьмите хоть того же Белинского и сообразите, что он у нас был один на несколько десятков лет. А может быть, критические таланты и рождаются в изобилии, да течение судьбы отвлекает их к другим делам. Может быть, наконец, критики нет потому, что нет на нее спроса со стороны самой беллетристики. Перед Белинским были — легко сказать! — Пушкин, Гоголь, Лермонтов; перед Добролюбовым — Тургенев, Островский, Достоевский. А над чем развернуть свои, может быть, необычайно мощные крылья г. Чуйке<sup>3</sup> или кому другому из обозревателей и авторов критических очерков? Согласитесь, что гг. Авсеенки да Маркевичи, Боборыкины да Летневы<sup>4</sup> едва ли способны дать критической мысли достаточное возбуждение. Говорить об них, конечно, можно, пожалуй даже должно. Но ножу критического анализа тут не над чем отточиться, и очень простительно, если ленивый зевон переставляет работу несчастного обозревателя и рука его еле водит пером по бумаге или если он отвлекается от прямого своего дела в разные стороны. Жестокие люди эти господа обозреватели, но надо тоже и их судить по человечеству...

Это я, впрочем, может быть, из эгоизма, милостивые государи, прошу вас судить обозревателей по человечеству. Дело в том, что я сам хочу записаться в этот цех и, прося у вас гостеприимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не помышлял о роли критика, и если случалось иногда писать о том или другом явлении в области беллетристики, так только мимоходом и ввиду разных сторонних соображений. Теперь я желал бы заняться этим делом несколько пристальнее, не выходя, однако, из скромной роли обозревателя. Я не буду вам надоедать жалобами на отсутствие литературной критики или на те или другие ее оплошности и недостатки, но не обещаю и критики в широком значении этого слова. Я буду просто обращать ваше внимание на любопытные явления в области литературного творчества и, по мере сил и способностей, комментировать их. Вот и все.

К сожалению, мне приходится начинать свою летопись отметкой скорбного факта: Тургенев умер...

Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться в газетах известия о тяжелых страданиях маститого художника. Но, никого не поразив, весть о смерти Тургенева всех огорчила, и едва ли найдется хоть один образованный, «интеллигентный» русский человек, который при получении скорбной вести не помянул бы покойника добром за полученные от него художественные наслаждения и толчки работе мысли. Тургенев умер не внезапно — известия о его смерти ждали чуть не со дня на день. Он умер в таком возрасте, в котором европейские писатели и вообще деятели еще ухитряются быть молодыми духом и телом, но до которого редко доживают крупные русские люди, почему-то гораздо скорее изнашивающиеся. Тургенев дал русской литературе все, что мог дать, и какова бы ни была художественная красота его последних произведений, но никто уже не ждал от него чего-нибудь приблизительно равного по значению его старым вещам. Таким образом, все, кажется, сложилось так, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей сглаженные, не режущие и не колющие контуры. И все-таки больно... Слишком многим обязано русское общество этому человеку, чтобы с простою объективностью отнестись к его смерти, какие бы смягчающие обстоятельства ни предъявляли в свое оправдание судьба и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только в прошлом. Он был нужен и в настоящем, в нашем скудном настоящем.

Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда Тургенев начинал свою литературную деятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только по преданию знающие это время, имеем, однако, печальную возможность судить о нем с полной, так сказать, наглядностью. Как иногда вся жизнь умирающего сосредоточивается в его глазах, так все, что только заслуживает названия человеческой жизни, сосредоточивалось тогда в количественно ничтожной горсти людей мысли. И в числе их был Тургенев. В разные стороны разбрелась потом эта горсточка, и некоторые из ее представителей, дожив до того времени, когда опять стало тяжело на русской земле, играли и играют далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточке. Кто устал, кто озлобился и даже рассвирепел, кто ударился в мистицизм и юродство, кто просто не понял истинного смысла событий чрезвычайной исторической важности,

совершавшихся на Руси с сороковых годов. И Тургеневу случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и самому делаться их жертвою, как он сам с горечью печатно рассказывал, вспоминая литературно-политический эпизод с «Отцами и детьми». Но это были именно недоразумения, и Тургенев сам говорит о том удивлении и отвращении, с которым он, по приезде после «Отцов и детей» из-за границы, встречал любезности разных мракобесов<sup>5</sup>. Недоразумения порождались личными слабостями покойника, которые могут быть тому или другому более или менее досадны и неприятны, но не должны и просто даже не могут заслонить собою его громадные заслуги. Тургенев никогда не был Савлом<sup>6</sup>. Его никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей света, этой когорты палачей, поигрывающих плетью, шутов, позванивающих бубенчиками дурацкого колпака, и юродивых, самодовольно, напоказ бренчащих веригами. Он всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просвещения, с которыми выступил на литературное поприще. Мимоходом сказать, этой неопределенности и вместе светозарности идеалов Тургенева вполне соответствовали некоторые особенности его несравненного таланта. Это был талант (независимо, конечно, от других его свойств), так сказать, музыкальный, а музыка, как известно, вызывает неопределенные, но хорошие, приятные, светлые волнения. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться в мелких вещах, где она не заслонялась для читателя возбуждениями умственного и нравственного характера. Любопытно, что в передаче музыкальных ощущений Тургенев решительно не имеет соперников: состязание «певцов» в «Записках охотника», игра Лемма в «Дворянском гнезде», игра волшебной скрипки в «Песни торжествующей любви» — в своем роде шедевры. Дело тут не в слоге, не в «стиле», по крайней мере не в нем одном, а в специальной черте самого характера творчества, а эта специальная черта находилась в свою очередь в тесной связи со всем душевным обликом художника, неопределенным, но светлым.

Не принимая активного участия в борьбе со свинцовым мраком, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого определенного места в литературе в этом отношении, Тургенев служил идеалам свободы

и просвещения самым, так сказать, фактом своего существования, наличностью своего первостепенного таланта и своей не русской только, а европейской славой. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатии этой красы и гордости русской литературы, и из змеиных и жабьих нор не раз раздавались за это зловещие шипения по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойник был «западник» (он сам себя так называл)<sup>7</sup>, но это не мешало ему быть гордостью русской литературы. И вот почему Тургенев был дорог, хотя бы даже ничего более не писал. Вот почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вместо того он, по странному русскому выражению, сам приказал нам долго жить...

Будем жить...

Вы не ждете от меня, конечно, какой-нибудь оценки или переоценки Тургенева или даже просто какого-нибудь итога в этом смысле. Но вы позволите мне несколько беглых замечаний.

В числе проектов памятника Пушкину был один, если не ошибаюсь Антокольского, такого рода: Пушкин сидит в задумчивой позе на скале, а к нему снизу вереницей поднимаются созданные им образы: Онегин, Татьяна, Мазепа и т. д. Мысль несколько вычурная и для скульптуры не совсем подходящая. Но когда не статую лепишь, а просто думаешь об умершем писателе вроде Тургенева, жизнь которого так бедна внешними событиями и вся наполнена созданием художественных образов, то поневоле рисуется именно такая картина: почивший художник и его создания, больше ничего кругом нет; художник делает смотр своим творениям. Может быть, нечто подобное этому смотру происходило и в действительности, когда умирающий, зная, что смерть уж тут, возле кровати, в минуты отдыха от болей, исповедовался сам себе, сам себе давал отчет в своей деятельности. Во всяком случае, перед нами-то, при воспоминании о Тургеневе, естественно поднимается вереница всех этих Хорей и Калинычей, Чертопхановых, Недопюскиных, «бурмистров», «певцов», Лаврецких, Рудиных, Инсаровых, Базаровых и т. п. И мы столь же естественно ищем в них отражения духа их создавшего.

Оставим совсем в стороне «Записки охотника», эти маленькие, тонко выписанные акварельные картинки, имеющие свое специальное значение. Надо, однако, за-

метить, что это специальное значение протеста против крепостного права было впоследствии преувеличено. Многие из этих акварельных картинок (и отнюдь не слабейшие: «Певцы», «Чертопханов и Недопюскин», «Лебедянь», «Свидание» и проч.) вовсе не имеют такого специального характера. Как бы то ни было, но от «Записок охотника» в общем (а их и надо ценить в общем, как цельную картинную галерею) действительно веет протестом не то чтобы именно против крепостного права, а против всей болотности тогдашнего склада помещичьей жизни; протестом, смягченным кровными связями автора с этим бытом и акварельною манерою писания. (В этом последнем отношении любопытно сравнить «Записки охотника» с грубыми красками и топорной работой, но зато и большею выпуклостью «Антон-горемыки» г. Григоровича.) Обратите, пожалуйста, внимание на приемы, которыми выразилась эта отзывчивость Тургенева к болям тогдашнего времени: в «Записках охотника» нет ни одного «нового человека» — ни бурно, хотя и беспредметно протестующего Рудина, ни засосанного болотом, но надрывающегося от внутренней боли «Лишнего человека», ни одного, словом, из представителей нового, по-тогдашнему, наслоения чувств и мыслей. Я потому обращаю на это ваше внимание, что впоследствии за Тургеневым утвердилась репутация какого-то специалиста по части «уловления момента», и именно не просто чуткого художника, а изобразителя «новых людей».

Едва ли существует ходячее мнение о том или другом крупном писателе, которое было бы так распространено и вместе с тем так неверно. Тургенев был и больше этого, и меньше — как посмотреть на дело. Он был не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет, например, Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так близок и родственен, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские типы — общечеловеческие, пожалуй, абстрактно-психологические. Конечно, люди везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и горя их посещают. Но когда Гоголь рисовал свои образы, он их, так сказать, вырывал с корнем из русской жизни и так их и предъявлял читателю. Тургенев давал своим образам только обстановку русскую и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной интерес: тон-

ко разработанный, знакомый, общечеловеческий тип на фоне чужой, своеобразной обстановки. Обстановку эту Тургенев постоянно обновлял, действительно часто занимствуя ее из текущей русской действительности, из «момента» новых наслоений. Отсюда, конечно, и идет странная репутация «ловца момента» и соответственные ожидания и требования, которые никому, кроме Тургенева, не предъявлялись; ни даже, например, Достоевскому в ту последнюю пору, когда некоторые *en toutes lettres* \* называли его «пророком Божиим»<sup>8</sup> и провозвестником «нового слова». Весьма естественно, если русское общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждет, чтобы умный и талантливый человек, и притом старинный любимец, как-нибудь откликнулся на эти тревоги, подал свой авторитетный голос. Поклонники Достоевского и находили такое удовлетворение хоть бы в «Братьях Карамазовых», в которых, однако, «новых людей» нет, а именно они-то и требовались всегда от Тургенева. Не знаю, что именно нашли поклонники Достоевского в «Братьях Карамазовых», но знаю, что художник может откликнуться на тревоги минуты (которая — увы! — может иногда растянуться в целые годы), пальцем не касаясь «новых людей». Порукой в том сам Тургенев в «Записках охотника», не говоря о множестве других примеров. Одно дело скорбеть скорбями родины, тревожиться ее тревогами, пронизывать, пропитывать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсем другое дело изображать «новых людей», то есть типичных представителей новых наслоений. Первое достижимо без второго, второе возможно без первого. Конечно, возможно и сочетание этих двух оттенков творчества, но создавать из «новых людей» специальность для художника и притом требовать, чтобы он в течение нескольких десятков лет изображал все «новых» и опять «новых» — это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургенев вопреки распространенному мнению никогда не удовлетворял этому требованию, хоть, может быть, в глубине души и хотел бы ему удовлетворить.

Чтобы наглядно убедиться в этом, стоит только сравнить, например, «Лишнего человека» и героя «Нови» — Нежданова. Если вы не будете смешивать рамку с самою картиною, костюм с характером лица, в него

---

\* Буквально (фр.) — *Ред*

одетого, обстановку, в которой действует известный тип, с самым этим типом (а такое смешение — последнее дело), то без труда увидите, что «Лишний человек» и Нежданов одно и то же лицо, один и тот же, и притом общечеловеческий, абстрактно-психологический, тип. Самое свое задушевное они выражают даже почти одними и теми же словами. А между тем появление «Лишнего человека» отделяется от появления Нежданова тремя десятками лет, и являются они в совершенно различных обстановках. Эта разница в обстановке и дает повод думать или по крайней мере говорить, что как «Лишний человек» был новым человеком для своего времени, так и Нежданов новый человек для своего. Между тем это один и тот же тип слабого, раздвоенного «гамлетика, самоеда», как его назвал сам Тургенев; тип общечеловеческий, блестяще развитой в европейской литературе. Вставьте «Лишнего человека» в обстановку русской революции, и получится Нежданов; придайте ему глубины и высоты и вдвиньте в обстановку средневекового искреннего ученого — получится Фауст; сохраняя ту глубину и высоту, поставьте перед ним практическую задачу кровной мести — выйдет Гамлет. Вы не припишете мне, конечно, нелепой мысли, что все эти «вставьте», «поставьте» очень легко выполнить. Напротив, очень трудно. Надо быть чрезвычайно большим художником, чтобы с таким блеском, как это сделал Тургенев, написать несколько новых вариаций на тему, эксплуатированную гигантами творчества.

Тургенев был совершенно из ряда вон выходящий мастер в деле индивидуализации образов. Мало того, что его фигуры стоят перед нами как живые, со всеми мельчайшими особенностями своих личных физиономий. Это мы получаем от каждого крупного художника. Но Тургенев устраивал иногда настоящие состязания между своими действующими лицами, ставя их в одно и то же положение по отношению к какому-нибудь частному предмету, как бы загоня их в одно и то же положение и все-таки сохраняя их индивидуальность до мельчайшей черты. Так поступил он, например, в «Первой любви», точно очертив около княжны круг из пяти или шести мужчин, из которых каждый любит по-своему и к каждому из которых и княжна имеет особенный оттенок отношений. Такой же *tour de force* \* устроил он

---

\* Трудный ход (фр.) — Ред.



в «Накануне», разместив вокруг Елены Берсенева, Шубина, Инсарова и Курнатовского. Художник меньшего дарования и даже, пожалуй, не меньшего, а не тургеневского, с его тонкостью и кружевной отделкой письма, едва ли вышел бы победителем из этой трудности, да, может быть, и не решился бы на нее покуситься. Если поэт, гусар, доктор и польский граф из окружающих княжну в «Первой любви» несколько отзываются ходячими шаблонами поэта, гусара и т. д., то Берсенов, Шубин, Инсаров, Курнатовский уже несомненно портреты редкого мастерства: портреты, то есть нечто вполне индивидуализированное.

Тем не менее, если оставить в стороне многочисленные второстепенные действующие лица рассказов, повестей и романов Тургенева и сосредоточиться на их «героях», центральных фигурах, то увидите, что, собственно, только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно им разрабатывались. В его отношениях к этим типам, в разнице этих отношений сказываются все особенности художественной природы Тургенева и весь его душевный облик.

В известной статье «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев, очевидно, гораздо более симпатизирует пламенному, хотя и смешному ламанчскому герою, чем сумрачному датскому принцу. Однако обобщать эту симпатию и антипатию можно только с большою осторожностью. Было бы, например, большою ошибкою сказать, что вообще деятельный, решительный, смело берущий на себя ответственность тип (каков Дон-Кихот) дороже и ближе Тургеневу, чем тип колеблющийся, рефлектирующий, не смеющий сделать то, что, по совести, обязан сделать (каков Гамлет). Совсем не эти стороны того и другого были важны для Тургенева, не их он имел в виду, когда проводил свою параллель между Гамлетом и Дон-Кихотом. Страдания Гамлета и его хромоногая рефлексия были, напротив, очень близки и дороги Тургеневу, но мрачность скептицизма и холод эгоизма убийцы Офелии, Полония и Лаэрта отталкивали добродушного поэта, вскормленного неопределенными, но светлыми идеалами. В Дон-Кихоте же его прельщала отнюдь не цельная твердость характера и готовность действовать на свой страх, а поэтический порыв, стремление куда-то к свету и беззаветная любовь к людям. Если же (что было бы, конечно, крайне односторонне) разуместь под Дон-Кихотом деятельную, реши-

тельную натуру, а под Гамлетом созерцательную, колеблющуюся, то отношения Тургенева к обоим этим типам будет как раз обратное тому, которое мы видим в его параллели.

Тургенев был меньше всего родственен решительным, берущим на себя ответственность натурам, но они занимали его, он рисовал их, поневоле отражая в рисунке свою им чуждость. Конечно, он был слишком умен и чуток к художественной правде, чтобы делать из этих антипатичных ему фигур сплошных злодеев, извергов рода человеческого или дураков, точно так же как и любимцев своих он не обращал в рыцарей без пятна и порока. Напротив, он ставил иногда их в унижительнейшие положения, а чужим, неприятным людям предоставлял даже истинный героизм. Но интимные отношения автора к своим созданиям все-таки чувствуются, и не просто чувствуются, а могут быть указаны и анализированы.

Когда капризно-поэтический, ребячески милый Шубин делает статуэтку стоящего на задних ногах и готового бодаться барана, удивительно вместе с тем похожего на Инсарова, то в этом выразилось, конечно в преувеличенном, карикатурном виде, собственное отношение Тургенева к герою «Накануне». Несмотря на свою силу, даваемую определенностью жизненной задачи и верою в нее, Инсаров узок, сух, жесток, даже туп, и сама Елена находит в нем много общего с чиновником Курнатовским. Заметьте, что в качестве деятельного участника освобождения болгар Инсаров вовсе не необходимо должен быть таким, каким он вышел из-под пера Тургенева. Он мог бы быть и пламенным, экспансивным энтузиастом, с глубоким поэтическим чутьем, с широкими политическими планами, красноречивым оратором, как колокол будящим своих поработанных единоплеменников, и т. п. Но Тургенев пожелал лишить болгарского агитатора всех ярких красок, не дал ему ни одного цветка жизни из своего богатого поэтического букета. Нельзя, разумеется, приставать к художнику с запросами, почему он сделал своего героя таким, а не таким. Но если мы видим, что у нашего художника решительные люди, смеющие брать на себя ответственность, *всегда* таковы, то это указывает на известную складку в самом художнике. А среди духовных детищ Тургенева Инсаров далеко не одинок в своей прозаической сухости непреклонного, негнувшегося человека.

Таков и Базаров. Антипатия Тургенева к этому своему созданию слишком очевидна, чтобы стоило ее доказывать теперь, когда острый полемический момент оценки «Отцов и детей» прошел. Но оставим совсем в стороне всякие догадки о личных симпатиях и антипатиях покойного. Посмотрим на Базарова просто, как он есть сам. Это, во-первых, человек, идущий напролом, без малейших сомнений и колебаний, смело, даже дерзко берущий на себя ответственность за презрение ко многому, по мнению окружающих святому и неприкосновенному, и за все свое «отрицание»; он не боится ни смерти, ни жизни, ни дуэли, которая теоретически в его глазах смешна, ни приступа к неприступной Одинцовой. Это одна сторона фигуры Базарова. Другая состоит в том, что он опять-таки жесток, сух, черств, узок, хотя и умен. Узок он до того, что, например, для него не существует *наука*, а есть только *науки*, то есть специальности; сух до того, что лишен самонаименованной искры поэтического чувства. Словом, опять ни одной яркой краски, ни одного жизненного цветка в этой сильной, но скудной, пустынной натуре. Не про него эти жизненные цветки. Он не только не тяготится их отсутствием, а, может быть, даже когда-нибудь в прошедшем насильственно вырывал их из своей души, чтобы не развлекаться по сторонам, чтобы свободно и решительно идти своей дорогой. А уж тем паче презирает он те цветки, которые ему случайно, по дороге в других попадают: он их топчет с презрением и насмешкой. Базаров в этом отношении вольный или невольный аскет. Вольный, если он намеренно, систематически стер с себя всякие яркие краски, невольный — если уже он такой уродился.

Милостивые государи, вы позволите мне не распространяться о том, что именно на этом пункте выросли те недоразумения по поводу «Отцов и детей», о которых потом с такою горечью вспоминал Тургенев и которых он своими разъяснениями нимало не разъяснил. Он говорил, например, что он почти разделяет убеждения Базарова, за исключением его взглядов на искусство. Но, чтобы недалеко ходить, ссылаюсь для образчика на вышеупомянутое мнение Базарова, что *наука* это вздор, а есть только *науки*. Уж конечно, широкому, синтетическому уму Тургенева этот взгляд не мог быть симпатичен. Но, повторяю, я не хочу об этом распространяться. Я предлагаю вам статью на совсем другую

точку зрения. Дело в том, что совершенно независимо от обстановки, заимствованной из момента борьбы поколений, Базаров есть психологический тип, родственный и Инсарову, и некоторым другим персонажам Тургенева в том смысле, что все это люди неколеблящиеся, идущие напролом, берущие на себя ответственность. Рисуя этот сорт людей, Тургенев направлял их деятельность к очень разнообразным целям: то заставлял освобождать угнетенных соплеменников от иноземного ига, как Инсарова в «Накануне», то предоставлял им сферу теоретического отрицания, как Базарову в «Отцах и детях», то пускал в волны русской революции, как Маркелова, Остродумова и прочую «безыменную Русь» в «Нови», то замыкал в сферу любовной фабулы, как Лучинова в «Трех портретах», как Лучкова в «Бретере», то надевал на них мундир чиновника, как на Курнатовского в «Накануне», и еще кое на каких, менее достопримечательных. Как общественному деятелю или просто как человеку известного образа мыслей, эти различные жизненные цели, эти разнообразные направления деятельности решительных героев могли быть симпатичны или антипатичны Тургеневу. Но ему чужд и не люб был самый тип, сама душевная механика этих людей, какие бы цели они ни преследовали. Замечательный, в самом деле, факт. Казалось бы, для художника как художника должно быть очень соблазнительно расцветить возможно ярко человека неколеблящегося, твердого умом, чувством и волей. Хотя бы уже потому соблазнительно, что этот прием предоставляет писателю ряд совершенно особых художественных эффектов. Кто говорит! на этом пути легко уклониться от реальной правды жизни и впасть в фальшивую идеализацию, что обыкновенно и случается с мелкими художниками, но Тургенев был художественная звезда первой величины; а между тем во всей богатой коллекции его образов вы не найдете ни одного, который, при стойкости и решительности, обладал бы известною долей других цветных достоинств. Все это серо, сухо, неколоритно, как Инсаров и Базаров; подчас просто даже глупо, как «безыменная Русь», подчас грубо и злобно, как Лучков, или, самое большое, красиво злобно, как Лучинов.

Вы, может быть, удивитесь, что грубого бретера Лучкова и бессердечного наглеца Лучинова я ставлю рядом с Инсаровым, Базаровым, Остродумовым, Мар-

келовым, Курнатовским. Но минута размышления — и вы согласитесь, что это один и тот же абстрактно-психологический тип, вдвинутый в различные обстановки. Лучков убивает неповинного приятеля, а Лучинов еще более невинного и притом совершенно жалкого человека, не моргнувши глазом. Цели, для которых приносятся эти кровавые жертвы, будучи чисто личного характера, и принципы, во имя которых происходят жертвоприношения, мелки, дрянны, низменны. Затем между Лучковым и Лучиновым нет, по-видимому, ничего общего, хотя они оба дуэлисты: один туп и груб, как бревно, другой — блестящий «кавалер». Но характерная черта психологического типа состоит не в этих случайных подробностях, определяемых условиями рождения, воспитания, влияний среды, и не в целях деятельности, столь же изменчивых, а в готовности перешагнуть через какое бы то ни было препятствие; в такой вере в свою правоту, которая не допускает даже и тени сомнений и колебаний. Замените теперь эти дрянные цели чистыми и низменные принципы возвышенными, и вы можете получить нечто вроде Инсарова. Что человек при этом остается тот же в своей душевной механике, хотя изменяется в направлении своей деятельности, это видно, например, из известной сцены ратоборства Инсарова с пьяным немцем. Этот пьяный немец ведь не турок, которого надо выгнать из Болгарии, и цели и принципы деятельности Инсарова тут ни при чем. Однако искаженное лицо Инсарова и холодная решительность, с которой он ввергает немца в воду, свидетельствуют, что он смело взял бы на себя ответственность за увечье и даже смерть этого пьяного немца. По мнению столь компетентного ценителя, как героиня «Накануне» Елена, в Курнатовском и Инсарове есть нечто общее. А вы помните, как взволновала Елену холодная решительность, с которой Курнатовский настаивал на необходимости «раздавить» какую-то группу людей<sup>9</sup>, со включением и невинных ее членов (если не ошибаюсь, разговор шел о взяточниках; вообще, извините, я пишу на память, не имея под рукой сочинений Тургенева). Базаров, обреченный на проживание в теоретических сферах, производит там операцию совершенно параллельную: он всегда готов, без колебаний и сомнений, «раздавить» установившуюся идею, предрассудок, поэтический порыв, не щадя при этом людей. О «безыменной Руси» и говорить нечего.

Тургеневу случалось вводить в портреты этого сорта людей очень некрасивые черты, но, повторяю, он был слишком умен и слишком большой художник, чтобы делать из них всегда и непременно сплошных глупцов или негодяев, как это делают мелкотравчатые живописатели с своими духовными пасынками. Но это были все-таки пасынки Тургенева, и он карал их, как только может карать умный и талантливый художник: в большей или меньшей степени наделял сухостью, черствостью ума или чувства, лишал поэтического ореола. Вас отнюдь не должна смущать в этом отношении якобы поэтическая фигура Инсарова: на него лишь падает отблеск грандиозной задачи освобождения Болгарии; сам же по себе он так же тускл, как те свинцовые пули, которыми он хотел бы осыпать турок.

Вообще, скудость, сухость, обделенность дарами природы точно представлялись Тургеневу необходимыми спутниками или даже условиями непреклонной личной силы. И это станет еще явственнее, если мы обратим внимание на его разработку противоположного типа — мягкого, колеблющегося, сомневающегося, несмеющего, не управляющего событиями, а управляемого ими. Тургенев очень много занимался этим типом и создал целую коллекцию его вариантов. В первую пору своей литературной деятельности он изображал этих слабых, раздвоенных людей вне всякой деятельности, только мучительно копающимися в своей душе («Гамлет Щигровского уезда», «Лишний человек»). В первый раз показал он их в действии в «Рудине», едва ли не лучшим своим и, во всяком случае, необыкновенно прекрасном произведении. В Рудине есть много непривлекательных мелких черт (охотно живет на чужой счет, берет деньги взаймы без отдачи), но все они тонут в общей слабости — бесхарактерности, которая ставит Рудина в целый ряд неловких и даже позорных положений. Слово и дело для него совсем разные вещи, он не способен на какой бы то ни было твердый, решительный, определенный шаг и совершенно посрамляется не только Натальей, а и людьми гораздо меньшего калибра. И несмотря на все это, Рудин истинно блестящий образ. Одно время, с легкой руки некоторых критиков, у нас принято было презрительно относиться к «болтовне» Рудина: дескать, дела не делает, а только болтает. Рассуждающие таким образом упускают из виду, что в те печальные времена, когда жил Рудин, не было

особенного богатства в выборе «дела» для человека его образа мыслей. Забывают они также, что слово само по себе может быть делом, и как ни велико расстояние между словом и делом для самого Рудина, но по отношению к другим его мощное слово могло быть и действительно было делом. Недаром, наслушавшись его красноречия, Наталья ощутила в себе силы, оказавшись не по плечу самому Рудину; недаром перед юным Басистовым разверзались от этого красноречия какие-то неопределенные, но светлые и широкие горизонты. Конечно, если бы этот роскошный дар природы в другие руки, например Инсарову или Базарову, так они не такие дела обделали бы. Но наш художник позаботился, как гласит немецкое изречение, чтобы деревья не доросли до неба. Сильным людям он не дал талантов и вообще блеску, а слабому дал и таланты, и поэтический ореол. Смерть Рудина, усугубляя эффектность его фигуры, искупает и разные его слабости. И не только смерть, а уже скорбный рассказ старому приятелю об том, по каким он дорогам мыкался и какие бывают дороги грязные. Много мягкости душевной и теплоты внес сюда наш знаменитый романист, и именно по таким страницам надо ценить глубокую гуманность его натуры.

Замечательно, однако, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полноте только при обрисовке слабых характеров, не влекущих, а влекомых, не управляющих, а управляемых. Таких Тургенев умел обливать мягким, ласкающим светом, даже не прибегая к роскоши даров природы. Вот, например, герой «Вешних вод» Санин. Это самый обыкновенный молодой человек, только молодостью и блистающий. На нем нет, правда, ни мрачных теней, ни свинцовой тусклости, но не числятся за ним и какие-нибудь положительные личные достоинства; ни глубоких дум, ни особенных дарований. Вместе с тем он просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда не кончают, все ждут, чтобы кончилось, замечает Тургенев, рассказывая романическую историю Санина. Но Санин ничего и не начинает, и не продолжает, у него все как-то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его переходит даже в гнусность, в которой, как ему самому кажется, его уличает даже собака Тарталья, и он с тоской вспоминает о той позорной роли, которую, оставив Джемму, играл при госпоже Полозовой. Но и события в конце

концов так располагаются, и таким рыцарем ведет себя по временам Санин, и так много свету и тепла пустил во всю эту обыкновенную историю мастер-художник, что Санин отнюдь не противен, а просто вам его жалко...

Я слишком долго не кончил бы, если бы захотел перебрать все созданные Тургеневым образы слабых людей, и потому вы позволите мне остановиться только на одном еще, на Нежданове. Гамлет Шигровского уезда назвал бы этого юношу своим младшим братом, примеряющим костюм революционера, Шубин назвал бы его «грызуном, гамлетиком, самоедом», Паклин называет его «российским Гамлетом». Гамлетик-Нежданов не только раздвоен, а растроен между любовью к Марианне, стремлением в художественные сферы и избранною им революционною деятельностью. Сочувствие как-нибудь все это в одно целое он не может, и все это у него не настоящее, потому что ничему не умеет он отдаться вполне, без мучительно скептического копания в своей душе. Ему естественно кончить самоубийством, потому что порядочному человеку надо или сбросить это бремя, или перестать жить. Только совершенная дрянь может без конца носиться с этой душевной сумятицей и, пожалуй, даже кокетничать ею, что обыкновенно и делают «гамлетизированные поросята», из которых, по законам естества, с течением времени вырастают свиньи. Но Гамлетик-Нежданов больше чем порядочный человек. Он чист в порывах своей натуры и искренен в своем скептицизме. Притом же, за исключением Марианны, о которой сейчас, Нежданов выше всех видимых окружающих. Говорю «видимых», потому что есть и невидимые, и в этом состоит особенный интерес всей концепции «Нови». Тургеневу по каким-то особым внутренним требованиям его творчества *нужно* было поставить в центре романа именно Нежданова, с его надломленностью, и расположить всех остальных действующих лиц в тени, так, чтобы на него падало как можно больше света. Достигается это двумя способами. Около Нежданова группируется кучка людей сильных волею и цельных верою, но зато необыкновенно скудных в умственном отношении, узких, тусклых, просто даже глупых. На этом сером фоне Нежданов выделяется ярким, красивым пятном. Затем вдали помещается Соломин, рекомендуемый чем-то покрупнее всех этих Маркеловых, Остроумовых, Машуриных, но настолько вдали, что он оказывается как бы в тумане



и никоим образом не может заслонить собою Нежданова. Еще дальше, уже вне рамок картины, помещается какой-то Василий Николаевич, вожак, заправляющий всей «безыменной Русью». Он даже не показывается в романе, об нем только говорят. Может быть, он и очень большая величина, может быть даже соединяет личную непреклонность и небоязнь ответственности с выдающимися дарованиями и поэтическим блеском, но ревнивый к своему любимцу Нежданову художник не допускает их до состязания в симпатиях и заинтересованности читателя. Он не хочет рисковать поэтическим ореолом Нежданова. На нем, на этой колеблющейся, не смеющей, не умеющей определиться фигуре хочет он сосредоточить участие и интерес читателя.

Есть, однако, одно лицо, перед которым Тургенев охотно пригибает Нежданова. Это — Марианна. Мужчина, пасующий перед женщиной, оказывающийся ниже ее, один из любимейших мотивов Тургенева. Он его эксплуатировал в «Асе», в «Рудине», в «Дыме», в «Вешних водах», в «Затишье», в «Конце Чертопханова». И если — например, в упомянутом художественном *tour de force*, в «Первой любви», — буйная княжна Зинаида совершенно преклоняется перед одним из пяти или шести мужчин, претендующих на ее благосклонность (перед отцом лица, от имени которого ведется рассказ), преклоняется до унижения, до поцелуя рубца от удара его хлыста, то остальная-то коллекция вся у ее ног. Да и этот один, стоящий выше ее, почти не показывается читателю. Остается совершенно неизвестным, какими чарами околдовал он буйную княжну. Художник как бы признает свое бессилие изобразить такое редкостное явление. В «Нови» Соломин, выражая одну из самых задушевных мыслей автора, говорит, что *«все русские женщины дельнее и выше нас, мужчин»*. *Все* — это, конечно, уж через край, сильно сказано, но почти справедливо относительно женских типов, созданных Тургеневым. Он их рисовал с необыкновенною любовью и, так сказать, рыцарскою деликатностью. Даже такая грубо чувственная и хищная натура, как т-те Полозова в «Вешних водах», оказывается, во-первых, сильною, а во-вторых, во многих отношениях симпатичною. Даже такая последняя дрянь, как т-те Лаврецкая в «Дворянском гнезде», сдабривается красотой, умом, талантами и не получает от автора ни одного грубого, хотя и вполне заслуженного ею пинка. Об остальных, или по

крайней мере о большинстве остальных, и говорить нечего, это чистейшие, идеальные создания. Пропустите только у себя в памяти героиню «Фауста», Асю, Машу в «Затишье», Лизу в «Дворянском гнезде», Наталью в «Рудине», Елену в «Накануне», Джемму в «Вешних водах», Таню в «Дыме», Одинцову и Катю в «Отцах и детях», Марианну в «Нови»...

Если, однако, репутация Тургенева как ловца моментов русского общественного развития несправедлива вообще, то еще менее справедлива она относительно русских женщин. Я уже не говорю об том, что итальянка Джемма могла бы быть заменена русской или собой заменить русскую без малейшей перемены во внутренней, душевной жизни. Но относительно женщин Тургенев не прибегал даже к заимствованиям «новых» обстановок из текущей русской действительности (исключения составляют Кукшина в «Отцах и детях», Марианна и Машурина в «Нови»). Припомните, сколько различных «моментов» пережила русская женщина с тех пор, как звезда Тургенева сразу ярко загорелась на горизонте русской литературы. В сороковых годах, под влиянием Жорж Занд, у нас были так называемые «эмансипированные» женщины. Явление это было, правда, не особенно распространенное и, в общем, довольно безобразное, как оно и естественно при миллионах не эмансипированных крестьян. Но в отдельных случаях оно могло быть чистым, искренним и вполне заслуживающим поэтического воспроизведения. И если мужчины могли задумываться о гнусности крепостного права и гореть от стыда за него, то почему не могли того же делать женщины, особливо если все русские женщины выше и дельнее нас, мужчин? Но об этом мы ровно ничего не узнаем от Тургенева. Может быть, однако, это вовсе не «момент», то есть недостаточно широкое общественное явление, чтобы стоило крупному художнику его отмечать? Очень может быть. Но вот в шестидесятых годах в среде русских женщин происходит довольно, кажется, широкое и довольно определенное движение, беллетристически изображенное много раз, но все более или менее слабыми, неумелыми руками или даже прямо грязными. Казалось бы, Тургеневу, с его широкими симпатиями, с его чуткостью ко всему, что шевелится в женском сердце, представлялась

тут богатейшая жатва. А между тем на все это женское движение он откликнулся одним образом, да и этот образ — Евдокия Кукшина. Не будем говорить, хороша или дурна Кукшина, может ли она быть признана олицетворением общего явления или это частное уродство, но во всяком случае одна ласточка весны не делает. Единственность этой ласточки свидетельствует, что Тургенева занимало тогда совсем не специальное движение русских женщин, не «женский труд», или «женский вопрос», или высшее образование женщин. Он понимал, конечно, все это и, так или иначе, принимал близко к сердцу, но именно *близко* к сердцу, а не настолько, чтобы, переварив в своем сердце и уме, переработать творческим процессом и предъявить в виде поэтических образов. Его другое занимало — мотив психологический и общечеловеческий, если хотите, общеженский. Его занимало тогда, как и прежде и потом, момент возникновения сердечного романа девушки; момент, им до высшей степени облагороженный совершенно особенным, чисто тургеневским способом.

Тургенева часто называют «истинным реалистом», основателем или главою реальной школы в беллетристике и т. п. Все эти реализмы, идеализмы и прочие «измы» ужасно захватаны и сплошь и рядом люди, о них препирающиеся, разумеют под ними совсем разные вещи. Я не думаю, чтобы поэзия Тургенева исчерпывалась словом реализм. Если разуместь под реализмом стремление изображать правду жизни, как она есть, так, конечно, Тургенев был реалист. Но дело в том, что жизнь пестра, низкое в ней чередуется с возвышенным, грязное с чистым. Художник может, оставаясь вполне верен правде жизни, выбирать для художественной эксплуатации одни низкие и грязные ее полосы, но точно так же и одни возвышенные и чистые. В последнем случае его назовут, пожалуй, идеалистом и, пожалуй, будут правы. Что касается женщин, Тургенев был именно таким идеалистом: он выбирал свои темы из идеальных полос реальной жизни. Все мы очень хорошо знаем, что есть женщины, способные своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящий ад для своих близких, что есть женщины и в разных других смыслах вполне дрянные, но их нет в галерее женских типов Тургенева. Он этих сторон реальной

правды жизни не трогал или почти не трогал. Девушка полюбила — вот любимейшая и постоянная тема Тургенева. Спокон века эксплуатируется эта тема бесчисленным множеством поэтов, романистов, драматургов. Но Тургенев с своей разработкой ее стоит совершенно особо. Любовь не только не кладет на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, как это часто случается в романах и в жизни, но как бы расширяет ее душу, открывает ей новые, далекие и светлые перспективы. Любимый человек для нее не просто будущий муж или любовник, с которым ее ждет упоение личного счастья, — нет, за ним стоит что-то большое и светлое (она хорошенько не знает что), призывающее к деятельности, к жертве; ей так сладко мечтать об этой жертве, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, так хотелось бы на весь мир прозвенеть какими-то новыми, до сих пор не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенеть, а там, пожалуй, пусть струны и оборвутся от полноты напряжения. И оттого-то так безвыходно-горько разочарование, например, Маши в «Затишье» или Натальи в «Рудине». В разработку этих переливов приподнятого строя женской души, расширенной и очеловеченной любовью, Тургенев клал все свое редкое мастерство. Он сам был, можно сказать, влюблен в эти свои чудные создания.

Замечательно, однако, что необходимым условием этой влюбленности была именно неопределенная светозарность или светозарная неопределенность идеалов женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудом любви, она находится в состоянии страстного тяготения к чему-то великому и светлому, но неопределенному, далекому, туманному. Как только этот туман рассеивается, как только женщина выбирает определенный путь, так она или перестает совсем интересоваться нашего художника, или даже становится для него неприятною. Вот почему он «уловил момент» движения среди русских женщин только одним образом Евдокии Кукшиной. Может быть, рисуя эту безобразницу, он и не погрешил против правды жизни, может быть, такие безобразницы и бывали, но, во всяком случае, здесь Тургенев, даже просто как художник, далеко не тот, что в изображении женщин, не тронутых определенным общественным движением. Там

он выбирал исключительно светлые и возвышенные полосы реальной правды жизни, здесь, напротив, исключительно темные и низменные. То же самое видите вы и в «Нови» (мимоходом сказать, одном из самых слабых произведений Тургенева), где он, после долгого перерыва, опять дал героям обстановку «новую», заимствованную из текущей русской действительности, из «момента», в котором, как известно, женщины играли очень видную роль. На этот раз Тургенев дал два женских типа, Марианну и Машурину. Но Марианна — это блистающий яркими красками благоуханный цветок, раскрывшийся под влиянием весеннего тепла и света. Эта та же по-тургеновски полюбившая девушка, со всеми обычными, смутно-возвышенными, неопределенно-светлыми атрибутами. Правда, она пытается сделать совершенно определенный шаг по определенному пути «опрощения», но, благодушно-комически осветив этот шаг, Тургенев бережно сводит Марианну с определенного пути и удаляет ее куда-то в туман вместе с бледным Соломиным. Совсем иное дело Машурин. Эта уже закоснела в своей определенности, ее не волнуют никакие сомнения и колебания, ничто не может своротить с намеченного пути; она готова принять на себя ответственность за самые решительные действия. Но зато же она и лишена всякого поэтического ореола. Несмотря на все свои добродетели, которые автор подчеркивает даже с излишнею торопливостью, Машурин тускл, даже просто глупа и вдобавок безобразна...

Думали ли вы когда-нибудь об том, что во всей портретной галерее рыцарски деликатного относительно женщин Тургенева только и есть две безобразные женщины: Кукшина да Машурин? Мелочь это, конечно, но очень характерная...

Вы скажете, пожалуй, что я трогаю больные места, которых по отношению к такому покойнику, как Тургенев, не следует трогать; те больные места, которые при его жизни возбуждали более или менее острую полемику и вызывали упреки художнику в дурных намерениях. Нет, милостивые государи, я мог бы говорить об ошибках и слабостях Тургенева, но прежде всего не допускаю мысли об его злонамеренности. Я, напротив, предлагаю вам статью на такую точку зрения, которая объясняет всю литературную деятельность покойного

самым характером его творчества и всем его душевным складом. Этому складу была *художественно* враждебна и чужда всякая резкая определенность в образе мыслей, всякая бесповоротная решительность в образе действия. Я подчеркиваю: *художественно* враждебна. Это не значит, что тот образ мыслей или действий были ему враждебны как мыслителю или деятелю; это могло быть, могло и не быть. Но в оригинальном процессе его творчества, тайны которого не разгаданы пока ни психологией, ни физиологией, резкая определенность и неуклонная личная сила ассоциировались всегда и непременно с бесцветностью, с большею или меньшею скудостью природы. Он *не мог* творить иначе, и его так же мало можно судить за это, как больного дальтонизмом за то, что он не умеет различать красный и зеленый цвета. От него можно было только требовать, чтобы, сознав особенный характер своего творчества, он не брался за задачи, при выполнении которых упомянутая ассоциация может привести к тяжелым и неприятным общественным последствиям. Все равно как от больного дальтонизмом можно требовать, чтобы он не служил на железной дороге, где смешение зеленого и красного сигналов ведет к гибели многих жизней...

Столь же фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебательность, неопределенность были художественно симпатичны Тургеневу. Здесь, впрочем, играл важную роль и другой житейский мотив. Все, лично знавшие Тургенева, хоронят теперь не только одно из лучших украшений русской литературы, а и чрезвычайно доброго человека. Это личное качество отражалось и в его литературной деятельности. Он не мучил своих мучеников-гамлетиков и других слабых, надломленных людей сверх той меры, которая определялась требованиями правды изображения и желанием привлечь к ним участие читателя. Надо также заметить, что хотя он и поэтизировал слабость и неопределенность, но никогда не воздвигал на пьедестал, не заставлял читателя перед ними преклоняться. Напротив, устами Шубина он сказал, что «чуткой душе», Елене, естественно было уйти на чужую сторону с тусклым и непоэтическим болгаринном, потому что, дескать, что же она могла найти в наших «гамлетиках, самоедах, грызунах»! И если он заставляет нас восхищаться неопределен-

ностью, то только тогда, когда она, как в его любивших девушках, выражается в страстном порыве к деятельности. Вне этого он только художественно-властно требует у читателя снисхождения и жалости к своим детищам — слабым, колеблющимся людям. Но и то при условии их чистоты. Его любимцы, те, к поэтизированию которых его неудержимо влек оригинальный характер творчества, борются сами с собой, мучаются, изнемогают, падают в этой борьбе, сомневаются, колеблются, но никогда не борются с теми светлыми идеалами, которые сам Тургенев пронес неприкосновенными от юности до могилы. Напротив, они, даже истерзавшись сомнениями, иногда и умирают за эти идеалы или из-за них, как умер Рудин, как умер, пожалуй, и Нежданов...

Милостивые государи, позвольте мне кончить следующим замечанием. Все это довольно длинное послание я написал, ни разу не заглянув в сочинения Тургенева, которых, как я уже упоминал, у меня нет под руками. Я мог беседовать с вами о многочисленных героях и героинях Тургенева, как об хороших общих знакомых, очень близких людях, которых мы видели на прошлой неделе или вчера и опять увидим завтра или на будущей неделе. И если бы нужно было свидетельство изобразительной силы Тургенева, так оно состоит просто в том, что каждый образованный русский человек, на минуту сосредоточившись, может вызвать всю вереницу его героев и героинь, и они пройдут как живые, как в том проекте памятника Пушкину...

В эту минуту, впрочем, мне несколько иначе, не так, как в начале письма, представляется этот фантастический смотр, делаемый поэтом своим созданиям. Не он им делает смотр, а они пришли поклониться его праху. Вот группа любивших девушек с рыданиями целует мертвые руки, изобразившие их такими возвышенными чертами. К ним пристроилась и Машурина. Она не целует рук, но она пришла сюда: покойник признал за ней и честность, и готовность жертвовать собой, а что до поэтического ореола, а тем более красоты, так ведь она меньше всего об этом думает. Гамлетик-Нежданов, безвольный Санин и другие с стыдливой грустью смотрят на труп того, кто призвал на их несчастные головы столько участия и жалости. Шубин, косясь на сурового и тусклого Инсарова, с нервно подергивающимися от

приступа слез губами, дрожащими руками готовит материал для маски, которую он сейчас будет снимать с покойника. В стороне стоит Базаров, с презрительно-жесткой миной поглядывающий на всех. Для него безразлично, какого об нем мнения был покойник, любил он его или нет, он сделал свое дело, стараясь до последней возможности поддержать жизнь в этом теле. И сановные люди «Дыма» и «Нови» пришли: им пояснили, что нельзя не прийти, что того требует приличие, что хоронят общепризнанную русскую и даже европейскую славу. Их шокирует, что тут же вертится какой-то Паклин, что какой-то Остродумов наследил на полу тяжелыми, грязными сапогами, что какой-то Веретьев с очевидными признаками перепоя протискался к самому гробу, но нельзя... И Рудин говорит немножко туманную, но пламенную речь, от музыки которой в юных сердцах Натальи и Басистова загорается огонь любви к правде и свету...





Н. К. Михайловский. Фотография. Начало 1850-х гг.



Н. К. Михайловский. Фотография. Начало 1860-х гг.



Н. Д. Ножин. Фотография. Конец 1860-х гг.





М. Е. Салтыков-Щедрин. Фотография. Середина 1860-х гг.

Н. А. Некрасов. Фотография. 1865 г.

Г. З. Елисеев. Фотография. Конец 1860-х гг.



Л. Н. Михайловская (жена Н. К. Михайловского) с сыновьями  
Николаем и Марком. 1870-е гг.



Н. К. Михайловский. Фотография. 1870-е гг.



«Н. К. Михайловский, вышедший в запас барабанщик русской литературной армии». Карикатура М. М. Далькевича на обложке журнала «Осколки» (1891, 26 янв.).







Н. К. Михайловский. Фотография. 1880 г.



Д. С. Мережковский. Фотография. Начало 1900-х гг.



А. М. Горький. Фотография. 1901 г.

Л. Н. Андреев. Фотография. Конец 1890-х гг.

А. П. Чехов. Фотография. 1895 г.





Н. К. Михайловский. Фотография. Конец 1890-х гг



Н. К. Михайловский в деревне Селище Костромской губернии. Конец 1890-х гг.



Похороны Н. К. Михайловского в Петербурге в 1904 г. Фотография.





## О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

В одном из своих писем, относящихся к 1868 году, Тургенев мимоходом говорит <sup>1</sup> о некоторых, в то время еще молодых, наших беллетристах. Он не отрицает их талантливости, но с укором и сожалением спрашивает: «Где же вымысел, сила, воображение, *выдумка* где? Они ничего выдумать не могут и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде».

Да, с выдумкой было слабо в ту пору, когда Тургенев писал эти слова, а с той поры стало еще слабее. Около того времени молодые беллетристы еще пробовали себя в «выдумке». Г-н Гирс замахнулся «Старой и юной Россией» <sup>2</sup>, но, впрочем, так и остался с замахнувшейся рукой, не кончил романа, не довел своей выдумки до конца. Покойный Кушевский написал «Николая Негорева» <sup>3</sup>, но больше уж ничего не выдумал. Г-жа Смирнова напечатала несколько романов <sup>4</sup>. А теперь...

Облетели цветы,  
Догорели огни <sup>5</sup>

Будто, однако, в самом деле цветы облетели и огни догорели? «Отжившим и не жившим» не трудно признать этот печальный факт, даже примириться с ним, даже, пожалуй, при известных обстоятельствах, не без некоторого злорадного торжества к нему относиться или по крайней мере подыскивать ему безапелляционные объяснения. В другом письме, позднейшем (1874), Тургенев писал одной даме <sup>6</sup>: «Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума, ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение... Теперь смешно толковать о *героях* или *художниках* труда. Блестящих натур в литературе,

вероятно, не проявится». Когда Тургенев писал эти пессимистические строки, он, несомненно, уже «отживал» и сам понимал это, но понимал также и тут же прибавлял, что «примириться с этим фактом, с этой серенькой средой, с этой скромною решительностью многие не могут сразу». Еще бы! Если и в маленьких житейских делишках надо семь раз примерить, прежде чем один раз отрезать, так как же возможно в таком огромном деле отрезать «сразу»? Конечно, подумаешь, да и подумаешь прежде, чем признать обязательность такого серенького мрака впереди. И пусть бы еще в других областях деятельности, а как же в беллетристике, в поэзии-то «цветов и огней»? Ведь это значит, что ее совсем не будет или уже теперь нет. Конечно, если факт будет бесповоротно доказан, то придется его признать хотя бы с болью в сердце. Но надо помнить, что подлежащий доказательству факт не только обиден, но и чрезвычайно сложен и обширен, так что справиться с ним при помощи одних голословных утверждений или пророчаний довольно мудрено.

Несомненно то, что с выдумкой стало слабо. Слово «выдумка» имеет здесь, конечно, чисто условное, почти техническое значение. Выдумка в данном случае не значит ложь — об отсутствии лжи Тургенев не сетовал бы. Под выдумкой он понимает создание фабулы, внешних событий; и действительно, именно по этой части слаба нынешняя беллетристика. Но, спрашивается, разве выдумка такое уж трудное дело? Бывают писатели совершенно исключительные специалисты по этой части, за которыми не угоняется никакой талант, никакой гений. Таков был, например, Дюма-отец. У него «вымысел», «выдумка» достигали колоссальных размеров. Но, за вычетом подобных исключительных способностей, выдумка есть вещь довольно общедоступная. Мы и в теперешней нашей беллетристике имеем писателей далеко не крупной художественной силы, которые, однако, очень горазды на выдумку. Недавно было заявлено в газетах о предстоящем выходе в свет *двенадцати* томов сочинений покойного Болеслава Маркевича. Этот человек с успехом выдумывал до самой той роковой минуты, когда лег в могилу. Г-н Авсеенко соперничал с ним в деле выдумки до тех пор, пока не улегся в «С.-Петербургские ведомости». Г-н Боборыкин и сейчас выдумывает сверх всякой меры. Значит, выдумка не такое уже хитрое дело; значит, если целый ряд

писателей, между которыми есть таланты, далеко превосходящие гг. Маркевича, Авсеенку, Боборыкина<sup>7</sup>, уклоняющиеся от выдумки, то надо думать, что эти люди действительно уклоняются, а не то что «ничего выдумать *не могут*». Или если уж непременно нужно это выражение, так не в том смысле, что у них не хватает «силы» — потому что никакой особенной силы тут и не требуется, — а надо понимать дело так, что нечто в них самих или вне их лежащее отодвигает от них выдумку, заставляет их *не хотеть* выдумывать. Это опять же сам Тургенев как будто отчасти понимал, потому что, заявив, что «они ничего выдумать не могут», он прибавляет: «и, пожалуй, даже радуются тому». Бессилию своему никто не радуется.

Беллетристы наши мне ни сватья, ни братья; сам я тоже не беллетрист, и никакое личное чувство мною в данном случае не руководит. Я просто в качестве читателя говорю. Правда, у нас, читателей, есть свои любимцы между писателями, но ведь мы их любим не тою личною любовью, которая сама себе довлеет и не дает и не может давать никому отчета. *Он* любит *ее*, *она* любит *его*, и никому, ни же им самим, не известно за что. Тут даже самый вопрос «за что» не имеет смысла, потому что сатана может полюбиться пуще ясна сокола. Но писателя, общественного деятеля вообще любят иначе, и именно непременно за что-нибудь. Безотчетное личное чувство играет тут ничтожную роль, если только играет какую-нибудь.

Один из наших любимцев, г. Гаршин, собрал недавно все им написанное и издал в двух маленьких «книжках рассказов»<sup>8</sup>. Воспользуемся этим случаем и постараемся дать себе отчет, за что мы его полюбили.

До какой степени г. Гаршин бывает иногда слаб по части выдумки, видно из следующего мелкого, но характерного обстоятельства. Герой первого его рассказа «Четыре дня» носит фамилию Иванов. Герой рассказа «Из воспоминаний рядового» тоже Иванов. В рассказе «Денщик и офицер» денщика зовут Никитой Ивановым. Герой «Происшествия» называется Иван Иванович Никитин. Довольно-таки неизобретателен г. Гаршин на имена! Точно та пренебрегающая кулинарной «выдумкой» хозяйка, которая заказывает обед на целую неделю зараз: чтобы всю, мол, неделю были щи и котлеты. Именно щи и котлеты: Никита Иванов да Иван Никитин. Правда, попадаются у г. Гаршина и другие имена.

Есть еще, например, Стебельков, но фамилия эта повторяется в двух рассказах («Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова»). Имя Василий Петрович (довольно тоже, кажется, нехитрое имя) фигурирует тоже в двух рассказах — «Трус» и «Встреча»; Надежда Николаевна тоже является два раза — в «Происшествии» и в большом рассказе, для которого автор и заглавия не мог придумать иного, как «Надежда Николаевна». Очень, очень неизобретательно. То ли дело г. Боборыкин, например, который в одну даже какую-нибудь свою повесть может вдвинуть целые святцы от Аввакума до Фомы и от Агапии до Фомаиды. Г-н Гаршин не заглядывает, должно быть, в святцы.

Но «что имя? звук пустой!»<sup>9</sup>. Посмотрим на содержание произведений г. Гаршина. Впрочем, отметим сначала еще одну внешнюю черту его писаний, а именно: некоторый художественный прием, не то чтобы ему одному свойственный, но я не помню, чтобы кто-нибудь другой прибегал к нему так часто. И любопытно, что в приеме этом г. Гаршин все утверждает, как бы постепенно, но решительно приходя к убеждению в его правильности и целесообразности, и достигает в нем все большей определенности и силы.

Рассказ «Происшествие» написан в форме двух чередующихся дневников или записок некоей Надежды Николаевны и влюбленного в нее Ивана Ивановича. Надежда Николаевна записывает в дневник разные свои мысли и впечатления и главным образом обстоятельства встреч с Иваном Ивановичем, а тот, в свою очередь, ведет дневник своих отношений к Надежде Николаевне. Выходит нечто вроде диалога, с тою разницей, что собеседники не непосредственно обмениваются мыслями и наблюдениями, а записывают все ими пережитое в тетрадки. Но в «Происшествии» прием этот далеко не выдержан во всей своей чистоте, автор постоянно вынужден дополнять собственным рассказом показания действующих лиц. Рассказ «Художники», появившийся позже, написан в той же quasi\*-диалогической форме двух дневников Рябинина и Дедова, но от себя автор прибавляет уже гораздо меньше. Наконец, в «Надежде Николаевне» автор самолично нигде не показывается, и весь рассказ (может быть, слишком большой и сложный для того, чтобы называться рас-

---

\* Мнимо (лат.). — Ред.

сказом) ведется исключительно при помощи параллельных, чередующихся дневников Лопатина и Бессонова. Прием этот, сам по себе вовсе неудобный, искусственный и довольно скучный, г. Гаршину удается, и если «Надежда Николаевна» не может быть названа удачным произведением, так отнюдь не потому, что написана в форме двух чередующихся дневников. Но почему г. Гаршину так полюбился этот неудобный прием? Я думаю, что дело здесь опять-таки в том же уклонении от выдумки. Правда, «Надежда Николаевна», в которой упомянутый прием проведен всего последовательнее и определеннее, вместе с тем есть наиболее «выдуманное» из произведений г. Гаршина, но выдумки потребовалось бы еще больше, если бы не эта форма параллельных дневников. Представьте себе, что вы хотите рассказать ну хоть «Происшествие» г. Гаршина, то есть то происшествие, которое составляет фабулу этого рассказа, — столкновение падшей женщины и маленького чиновника, оканчивающееся самоубийством последнего. Вы хотите передать происшествие во всех его существенных подробностях, обнять факт со всех сторон или по крайней мере с тех двух сторон, представителями которых являются герой и героиня. И понятно, что, распределяя изложение по дневникам или запискам этих двух сторон, вы облегчаете себе по крайней мере изложение выдумки, избегаете всей той доли вымысла или выдумки, которая потребовалась бы, если бы вы объектировали взаимные отношения героя и героини, если бы вы их непосредственно перед глазами заставили сталкиваться. Пусть вы вложили некоторую выдумку в эти дневники, но это все-таки только дневники, полусырой материал, и нужна бы еще высшая выдумка для окончательной художественной обработки этого материала, но вы для этого, может быть, слишком робки, может быть просто не любите выдумки. Для сравнения возьмите опять хоть г. Боборыкина. Может быть, и ему случалось прибегать к дневникам (я не помню), но в огромном большинстве случаев он поступает с действующими лицами как хороший маркер с бильярдными шарами: отвернет рукав, помелит руку, поерзает кием, и — бац! — шар шаром желтого в среднюю лузу! Он именно так же у себя в области выдумки, как маркер на бильярде. Сценарий, завязка, интрига, развязка до такой степени всегда к его услугам, что ему нет никакой надобности прибегать к окольным путям и к роб-

кому предъявлению полусырого материала. Хорошо ли он претворит его в высшую форму творческой выдумки, это другой вопрос, но претворит наверное и желтого в среднюю сделает...

Но не за то же мы полюбили г. Гаршина, что он потчует нас полусырьем и в изобретательности своей с трудом поднимается выше Никиты Иванова и Ивана Никитина; не за то же, что он хуже гг. Боборыкина, Авсеенки, Маркевича. Конечно, не за это, а, должно быть, за то, что он лучше этих господ. Надо заметить, что г. Гаршин не всегда обходится без «выдумки», то есть без изобретения более или менее сложной фабулы, более или менее сложной сети событий, в которых приходится принимать участие его действующим лицам. Напротив, он в этом направлении обнаружил недюжинную силу воображения, но достойно внимания, что лучшие его вещи те, в которых выдумки совсем нет или почти нет.

Мы полюбили г. Гаршина сразу, за первый же его рассказ «Четыре дня», напечатанный в «Отечественных записках», в 1877 году. Помните, с каким огромным интересом прочли мы этот маленький рассказ, в котором раненый человек лежит в поле четыре дня, пока его не нашли санитары, и в котором с раненым за все четыре дня буквально ничего не случается; он даже никого не видал за все это время, кроме трупа турка, им же убитого. И несмотря на эту скудость и даже просто отсутствие фабулы, автор сумел привлечь к себе все симпатии читателей. Наоборот, в последнем произведении г. Гаршина, в «Надежде Николаевне», фабула чрезвычайно сложна: тут и неожиданные встречи, и возрождение падшей женщины, и образ Шарлотты Корде<sup>10</sup>, и два убийства и проч. А между тем мы с некоторым не совсем приятным недоумением остановились перед этой повестью, несмотря на то, что в ней есть прекрасно написанные фигуры второстепенных действующих лиц (художник Гельфрейх, рисующий только кошек, но достигший в этом роде совершенства, капитан Грум-Скребицкий, выдающий себя за «бойца Мехова и Опатова»). Нельзя назвать удачными и другие вторжения г. Гаршина в область выдумки, несмотря на их оригинальность. Таковы его сказки, кроме «Красного цветка», о котором будет речь особо. Одним словом, уж никак не за выдумку полюбился нам г. Гаршин.

Не раз уже было отмечено влияние гр. Л. Н. Толстого на всю нынешнюю военную беллетристику. Не избежал, да и не мог избежать этого влияния и г. Гаршин. В его трех-четырёх военных рассказах можно найти прямые, непосредственные отражения отдельных сцен и фигур из «Войны и мира» и сева­стопольских и кав­казских рассказов. Такова, например, в «Воспоминаниях рядового» сцена прохождения войск перед государем, весьма близкая к подобной же сцене в «Войне и мире». Такова также фигура зверски жестокого офицера Венцеля, неожиданно заливающегося слезами, как будто вовсе к нему не идущими; фигура, несомненно, навеянная образом наглого и жестокого Долохова, тоже совсем неожиданно плачущего. Подобные невольные подражания неизбежны, когда перед глазами стоит такой образец, как Толстой, и можно наверное сказать, что они будут встречаться у всякого нравоописателя военного быта. Те или другие сцены, те или другие фигуры Толстого невольно, так сказать, всасываются творческим аппаратом всякого, кого коснулся дух простоты и правдивости, установленный для военной беллетристики камертоном автора «Войны и мира». Но это несколько не мешает индивидуальности г. Гаршина. Он вносит нечто свое в свои военные рассказы, и это свое нам, может быть, особенно дорого.

Вещи познаются в сравнении.

Недавно вышла книга А. В. Верещагина «Дома и на войне»<sup>11</sup>, большую часть которой занимают военные воспоминания. Г-н Верещагин прост и правдив на редкость. Он не пытается скрыть ни одного своего ощущения, ни одной мысли, ни одного поступка, хотя бы они заведомо не заслуживали Монтионовской премии за добродетель<sup>12</sup>. Случится ли ему струсить или прихвастнуть, мелькнет ли у него мелочно-честолюбивая мысль о «крестишке иль местечке», случится ли ему просто-напросто взять в мирном турецко-болгарском селении лучших лошадей и потом которую подарить, которую продать — все это он рассказывает с величайшей, почти наивною простотою и правдивостью. Но этим не ограничивается ценность его военных воспоминаний. Он необыкновенный живописец, и, читая его книгу, поневоле часто вспоминаешь его знаменитого брата. Краски у г. Верещагина чрезвычайно яркие,

кисть широкая, смелая. Это поистине «блестящий» писатель. И тем не менее если я сейчас сделаю кое-какие параллельные выписки из гг. Верещагина и Гаршина, так единственно затем, чтобы лучше оттенить путем контраста то именно, чем нам, читателям, г. Гаршин люб.

Г-н Верещагин отправляется на войну. Он рассказывает об этом так.

«В ту минуту я как-то не сознавал того страшно тяжелого чувства, которое причинял отцу своим отъездом, хотя желание мое участвовать в военных действиях было совершенно естественно. В то время я и не мог очень грустить: новый синий бешмет, черная черкеска с серебряными гозырями, кинжал, шашка, надетые на мне и так сильно обращавшие на себя внимание публики, кроме того, рисовавшиеся в воображении моем военные отличия,— все это сильно развлекало меня и уменьшало горечь разлуки. Прижался я в угол вагона и собрал все силы, чтобы не расплакаться. Слез я стыдился в эту минуту больше всего. «Как! Казак, с виду такой воинственный, в такой страшной шапке, и вдруг расплачется? Что подумают обо мне соседи? Все они так удивленно на меня смотрят и с любопытством разглядывают мою форму!» Невольно отвернулся я к окошку и задумался. Но вот первый свисток, подъезжаем к станции, выхожу — и грусть начинает понемногу рассеиваться. Жандарм на платформе вытягивается передо мной, барыни и барышни с интересом смотрят на меня, все это легонько щекотит мое самолюбие, на сердце становится легче».

Не мешает заметить, что, отправляясь на войну, г. Верещагин не был зеленым юношей, только что соскочившим со школьной скамейки и радующимся мундиру, как красивой штуке, во-первых, и как символу новой, самостоятельной жизни, во-вторых. Нет, он уже служил перед тем, был в отставке и уже отставным поручиком вновь поступил на службу.

На ту же самую войну отправляется один из героев г. Гаршина.

«Вот, наконец, и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне свет провести последнюю ночь дома, и я сижу в своей комнате один в последний раз. В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз ра-



зошла семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончить ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному, неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

...ты, палец от ноги?!»<sup>13</sup>

Рассказ, из которого я выписываю эти строки, называется «Трус». Но это название ироническое; человек, так неохотно идущий на войну, оказывается вовсе не трусом и умирает на поле битвы в числе прочих храбрецов.

Раз человек волей или неволей попал на войну, ему приходится не только щеголять синим бешметом и не только умирать. Приходится и других убивать. Случилось это и с г. Верещагиным, и вот как он рассказывает о своем первом убийстве.

«Увидав турка, в первое мгновение я как будто оцепенел от неожиданности и до того забылся, что как сумасшедший начал кричать: «Здесь, здесь, вот он где!» В то же время замахиваюсь на него плетью вместо шашки. Затем, когда уже опомнился, вынул шашку и нанес удар по плечу. А так как рубить человека мне пришлось в первый раз в жизни, к тому же ветви дерева не давали размахнуться, то удар мой вышел слабый, неумелый и едва-едва прорубил на неприятеле толстую синюю куртку. Турок продолжал тяжело дышать и целиться из пистолета, который, вероятно, уже был разряжен. Странное чувство испытывал я, когда наносил удар. Совесть шептала мне: «Брось, оставь, не руби, возьми лучше в плен, срам рубить лежащего». Но другое чувство, более черствое, старалось заглушить первое. Пока я рубил турка, слышу позади себя крики: «Ваше благородие, пожалуйста вперед, мы с ним уж тут разделаемся!» Смотрю, подсказывают донцы. Я предо-

ставил им распорядиться с турком, а сам поскакал дальше».

Принимал г. Верещагин участие и в текинской экспедиции Скобелева. Перед самым штурмом Геок-Тепе он получил временно самостоятельное назначение — начальника небольшого укрепления, «калы». Вдруг показались текинцы, всего-то, впрочем, пять человек. Поднялась тревога. Дальше пусть рассказывает сам г. Верещагин: «Когда я прибежал на свое место, то уже текинцы скакали в разные стороны; тот же, что был на серой лошади, карьером несся мимо калы, пригнувшись к седлу. Я высовываюсь из-за стены, целю ему в спину, стреляю — текинец свертывается набок, но затем понемногу опять взбирается на седло и, испуганно озираясь в нашу сторону, продолжает скакать в таком положении, пока не скрылся за дальними деревьями сада. Лицо этого текинца как сейчас у меня перед глазами: бронзового цвета, с черной бородой и блестящими черными глазами. Очень хорошо помню, что, когда увидел я приближающихся текинцев, в особенности когда они подъехали к ручью и стали поить лошадей, сердце мое так сильно запрыгало, так застучало от радости, что я невольно схватился за бок, боясь, что оно выскочит; когда же они у нас ускакали из-под носу, то мною овладела такая тоска, апатия, что я пошел к себе в шалашник, устроенный под фургоном, лег и с горя заснул». Между тем Скобелев возвращался из рекогносцировки, на время которой г. Верещагин назначен был защитником укрепления, и дорогой говорил: «Ну, ежели у Верещагина есть убитые или раненые, то его надо немедленно представить к георгиевскому кресту». «Когда я услышал это, — рассказывает г. Верещагин, — мне еще более стало досадно за тех пятерых текинцев, которые ускакали у нас из-под носу...»

Еще одна выписка из г. Верещагина, последняя, *voir la bonne bouche*\*. Встречается г. Верещагину фельдфебель охотничьей команды и рассказывает, что он сейчас застрелил текинца. «При этих словах фельдфебель, очень довольный, улыбается, лезет к себе в правый карман шинели и вытаскивает *отрубленное ухо текинца* (курсив мой: у г. Верещагина это напечатано тем же шрифтом, как и все прочее). Оно было еще совсем мягкое, но уже бледное, холодное. Я никак не

---

\* На закуску (фр.). — Ред.

ожидал такого наглядного доказательства: *взял в руки ухо, осмотрел его, возвратил назад, похвалил фельдфебеля* (опять же мой курсив) и обещал при первой встрече с генералом доложить о нем. Фельдфебель, радостный, пошел к себе в землянку...»

По приведенным выпискам вы не должны судить о той яркости красок и искусной живописи г. Верещагина, о которой я говорил выше. На этот счет поверьте мне на слово или сами посмотрите. Я выбирал цитаты с другою целью, затем именно, чтобы показать ту наивно грубую точность, с которою г. Верещагин рассказывает вещи поистине ужасные и возмутительные. Конечно, назвался груздем, так и полезай в кузов, пошел на войну, так дерись и убивай. Но рубить неприятельские уши это уж, кажется, роскошь; это, сколько я понимаю, даже с специально военной точки зрения есть действие постыдное и ненужно жестокое, так что фельдфебеля решительно не за что было хвалить. Внутренний смысл этого возмутительного деяния, очевидно, совершенно исчезает для г. Верещагина; зато обратите внимание на холодную точность, с которою он описывает внешнюю сторону этого эпизода: солдат вынул ухо из *правого* кармана... ухо было еще мягкое, но уже бледное и холодное... я взял его в руки, осмотрел, отдал назад...

Полюбуйтесь еще немножко на это страшное, мягкое, но холодное и бледное текинское ухо, вынутое из правого кармана, а потом постарайтесь отодвинуть его от своего воображения настолько, чтобы оно не заслоняло того турка, которого г. Верещагин рубил под деревом. В изображении этого эпизода г. Верещагин тоже не вдаётся в анализ внутренней, духовной стороны дела, только отмечает борьбу совести с другим, «более черствым голосом», но зато какая опять удивительная точность внешнего описания: так как я рубил человека в первый раз в жизни... притом же ветви мешали... удар пришелся по плечу...

Один из героев г. Гаршина («Четыре дня») тоже убил турка. Это не блестящий брат своего еще более блестящего брата, имеющий золотую саблю за храбрость и состоящий в коротких отношениях со Скобелевым. Это просто какой-то Иванов, «барин Иванов», как его называют солдаты. Но подобно г. Верещагину и он вдруг увидал турка.

«Он был огромный, толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то,

как мне показалось, огромное, пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», — подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше...» Но недалеко побежал Иванов. Он сейчас же и упал, он был ранен. А перед ним лежал убитый им турок. «За что я его убил? — размышляет раненый. — Он лежит здесь, мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец. А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от раны, ни смертельной тоски, ни жажды. Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра: вокруг нее кровь. *Это сделал я* (курсив г. Гаршина), я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил».

Довольно слагаемых, надо подводить итоги. Вы, впрочем, я думаю, и сами уже их подвели. Я обнаружил бы слишком дурное об вас мнение, да и сам унизился бы в собственных глазах, если бы долго распространялся о разнице между г. Верещагиным и Гаршиным. Притом же если г. Гаршин (пусть уж он удобства ради самолично отвечает за всех своих «Ивановых») не жалеет, что у него «нет убитых и раненых», потому что иначе он получил бы георгиевский крест, если не ошупывает текинского уха, так это еще не бог знает какая заслуга и не бог знает какое право на нашу симпатию. Г-н Верещагин хорошо оттеняет г. Гаршина, но, получив от него что нам требуется, мы можем оставить его в покое и остаться наедине с г. Гаршиным.

Может показаться, что г. Гаршин, то есть сумма разных Ивановых, есть просто слезливый человек, который не видит ничего дальше своего маленького, спокойного семейного уголка, где старушка мать сидит

и маленькая лампа на маленьком столике горит, и не способен подняться на высоту общественных, пожалуй, мировых событий, какова война. Это, конечно, не так. Один из Ивановых не хочет идти на войну, вследствие чего неосновательно заподозривается, да и сам себя заподозривает в трусости. Но другой Иванов («Четыре дня») идет на войну по собственной охоте, у него связывается с этой войной «идея», и тем не менее, убив турка, он с испуганным недоумением спрашивает себя: «За что я его убил?» Третий Иванов («Из воспоминаний рядового») рассказывает о походе: «Нас влекла невидимая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому невидимому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню, самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий». Но тот же Иванов свидетельствует: «Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды (невзгоды похода) и шел под пули убивать людей. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду».

Изо всего этого следуют, мне кажется, такие выводы. Война — дело всегда страшное, но пока неизбежное. Как всякое страшное, но неизбежное дело, оно чревато противоречиями. Люди могут с чистою совестью идти на войну во имя идеи, разбуженной войной или возбудившей войну. Но если они не деревянные люди или пока они не одеревенели от практики и зрелища убийства, они все-таки не могут видеть убитого человека без упрека совести. Однако в огромном большинстве случаев люди идут под пули, убивают людей просто потому, что они «пальцы от ноги», части некоторого огромного целого, которому захотелось «отрезать их и бросить». Тогда страшный вопрос «за что я его убил?» становится еще страшнее, потому что ведь и этот убитый «неприятель», которого я в глаза никогда не видал и которому до меня никакого дела нет, есть тоже «палец от ноги», его также вышвырнуло огромное целое и с непреодолимой силой втянуло в общий поток.

Мы сейчас увидим, какое большое значение для характеристики писаний г. Гаршина имеет цитируемое

одним из Ивановых шекспировское выражение: «Ты — палец от ноги». Я прошу вас запомнить его.

Все военные рассказы г. Гаршина кончаются печально: увечьем или смертью, не украшенною ни георгиевскими крестами, ни золотым оружием, ни даже просто каким-нибудь очень большим подвигом. В этом еще нет ничего удивительного. Не всем же подвиги совершать, не всем георгиевские кресты получать, а что касается увечья, печали, воздыхания, равно как и переселения в ту страну, иде же ничего этого нет, то *à la guerre comme à la guerre* \*, и опять же, коли назвался груздем, так полезай в кузов. Но и все другие произведения г. Гаршина оканчиваются более или менее глубоко скорбно: если не смертью, то по крайней мере воздыханием. Правда, нынешняя беллетристика и вообще не склонна к украшению финала розами и лазурью. Благополучное соединение двух любящих сердец, достижение долго преследуемой цели, торжество добродетели и казнь порока, лавры славному и позор бесславному — все это довольно редкие мотивы в теперешней русской беллетристике, и (это стоит отметить) мы встречаемся с ними почти исключительно в переводных романах и повестях. И не то чтобы непременно какой-нибудь злобный дух, летающий над нашей грешною землей, диктовал нашим писателям печальные финалы. Если бы понадобилось разительное опровержение такого предположения, то оно может быть почерпнуто в произведениях того же г. Гаршина. Это писатель необыкновенно мягкий, беззлобный, преисполненный добрых чувств и только с печальным раздумьем, а отнюдь не с бурным негодованием останавливающийся перед злом. Мало того, по мягкости своей он стремится, и, благодаря его таланту, ему удается призывать иногда симпатию читателей к несчастьям и горестям такого рода, которые едва ли заслуживают столько теплого участия. Таков его рассказ «Медведи». Фабула рассказа очень проста, ее даже, можно сказать, нет. Вышло известное распоряжение, которым воспрещалось водить так называемых «ученых» медведей, которые показывают, как старые бабы ходят, как мальчишки горох воруют и проч. Через пять лет после издания этого закона поводыри медведей, преимущественно цыгане, должны были явиться в определенные сборные пункты вместе со своими зве-

---

\* На войне как на войне (фр.).— Ред.

рями и собственноручно перебить их. Этот-то день расстреливания медведей и занимает г. Гаршина. По его мнению, сквозящему во всем рассказе, цыгане, лишившиеся вместе со своими медведями хорошего привычного заработка, должны обратиться для возмещения этой прорехи в бюджете к конокрадству. Можно сомневаться, чтобы это было соображение вполне основательное, но мнение мнением, а дело в том, что г. Гаршин пустил уже слишком поэтическое и слишком жалостное освещение на цыган, на медведей и на весь этот промысел. Рассказ так хорош в художественном отношении и так много вложено в него автором добрых чувств, что увлеченный читатель может, пожалуй, забыть, что ученые медведи представляли грубейшую и жестокую забаву и что в сей юдоли плача есть вещи несравненно более достойные слез, чем расстреливание медведей.

Мне вообще иногда кажется, что г. Гаршин не стальным пером пишет, а каким-то другим, мягким, нежным, ласкающим, — сталь слишком грубый и твердый материал. Но тем интереснее, что такое мягкое, нежное, ласкающее перо каждый рассказ неизменно заканчивает горем, скорбью, смертью или целую философскую перспективу безнадежности. Последнее особенно любопытно и веско. Если с Иваном Никитиным или Никитой Ивановым случилось даже величайшее из несчастий, так ведь это, может быть, именно только *случилось* в том смысле, что это нечто единичное, обставленное такими и такими-то частными условиями. Г-н Гаршин, мягкий и беззлобный, почему-то не находит ничего такого, на чем можно было бы отдохнуть душой. Давайте пересмотрим эти не то что мрачные — к писаниям г. Гаршина это слово не идет, — а безнадежно печальные, безысходно грустные рассказы. Военные оставим в стороне, мы их уже видели.

«Происшествие» — рассказ об том, как влюбился и самоубился Иван Иванович. Влюбился он в Надежду Николаевну, уличную женщину, когда-то знавшую лучшие времена, учившуюся, державшую экзамены, помнящую Пушкина и Лермонтова и проч. Несчастье толкнуло ее на грязную дорогу, и она завязла в грязи. Иван Иванович предлагает ей свою любовь, свой дом, свою жизнь, но она боится наложить на себя эти правильные узы, ей кажется, что Иван Иванович, несмотря на всю свою любовь, не забудет ее страшного прошлого и что ей нет возврата. Иван Иванович после некоторых,

слишком, однако, слабых, попыток разубедить ее как будто соглашается с нею, потому что застреливается.

Этот же самый мотив, только в гораздо более сложной и запутанной фабуле, повторяется в «Надежде Николаевне». Эта Надежда Николаевна, как и первая, что фигурирует в «Происшествии», есть кокотка. Ей тоже встречается свежая, искренняя любовь, ее одолевают те же сомнения и колебания, но она уже склоняется к полному возрождению, когда пуля ревнивого бывшего любовника и какое-то особенное оружие того, кто зовет ее к новой жизни, обрывают весь этот роман двумя смертями.

«Встреча». Старые товарищи Василий Петрович и Николай Константинович, давно упустившие друг друга из виду, неожиданно встречаются. Василий Петрович когда-то мечтал «о профессуре, о публицистике, о громком имени», но на все это его не хватило, и он мирится с ролью учителя гимназии. Мирится, но относится к предстоящему ему новому амплу как безукоризненно честный человек: он будет образцовым учителем, будет сеять семена добра и правды, в надежде что когда-нибудь под старость увидит в своих учениках воплощение собственных юношеских мечтаний. Но тут он встречается с старым товарищем Николаем Константиновичем. Это совсем другого полета птица. Он строит какой-то мол и около этой постройки так искусно греет руки, что при пустом жалованье живет в роскоши даже маловероятной (у него в квартире есть аквариум, в некоторых отношениях соперничающий с берлинским). Он нисколько не скрывает своей гадости. Напротив, открывает все свои карты и с наглостью человека, теоретически убежденного в правомерности свинства, старается и Василия Петровича обратить в свою веру. Нельзя сказать, чтобы его аргументация отличалась непреодолимой силой, но Василий Петрович парирует его доводы еще слабее. Так что в конце концов хотя и вполне обнаруживается свинство Николая Константиновича, но в сознании читателя в то же время твердо запечатлевается его бесстыдное и безотрадное пророчество: «Три четверти из твоих воспитанников выйдут такими же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней».

«Художники». Художник Дедов есть представитель чистого искусства. Он любит искусство ради него самого и думает, что вводить в него жгучие житейские мо-



тивы, нарушающие спокойствие духа, значит волочить искусство по грязи. Он думает (странная мысль!), что как в музыке непозволительны диссонансы, режущие ухо, неприятные звуки, так и в живописи, в искусстве вообще нет места неприятным сюжетам. Но он даровит и идет благополучно к дверям, ведущим в храм славы, заказов и олимпийского душевного равновесия. Художник Рябинин не таков. Он, по-видимому, даровитее Дедова, но он не сотворил себе кумира из чистого искусства, его занимают и другие вещи. Натолкнувшись почти случайно на одну сцену из быта заводских рабочих или, вернее, даже на одну фигуру только, он стал ее писать и так много пережил во время этой работы, так вошел в положение своего сюжета, что перестал заниматься живописью, когда кончил картину. Его куда-то в другие места, на другую работу потянуло с непреодолимой силою. На первый раз он поступил в учительскую семинарию. Что с ним дальше было, неизвестно, но автор удостоверяет, что Рябинин «не преуспел»...

Как видите, целый ряд несчастий и целых перспектив безнадежности: добрые намерения остаются намерениями, и то, чему автор по всем видимостям симпатизирует, остается за флагом:

Нет великого Патрокла,  
Жив презрительный Терсит!<sup>14</sup>

«Великого», впрочем, г. Гаршин не касается, он берет людей среднего, а иногда даже малого роста — Иванов Ивановичей и Василиев Петровичей, и тем еще раз любопытнее его пессимистическое настроение. «Великому» бывает довольно часто тесно в жизни, и жизнь кладет его на прокрустово ложе и рубит ему ноги в меру длины этого ложа. «Великое» hat man von je gekreuzigt und verbrannt \*<sup>15</sup>, хотя, конечно, великому случается и побеждать. Но среднего роста хорошие люди — отчего бы им-то, с их сравнительно малым размахом и малыми требованиями, не жить, ну хоть не в полное свое удовольствие, но с верою и надеждою? Г-н Гаршин не допускает этого или по крайней мере не интересуется случаями благополучного устройства судьбы хороших людей и их победы над злом. Даже поднимаясь в сферы сказочного творчества, он не может или не хочет дать своей фантазии волю работать в эту лазурно-розовую

---

\* Издавна распинали на кресте и сжигали (нем.).— Ред.

сторону. В сказке «Attalea princeps» гордой и прекрасной пальме удается ее честолюбивая и вольнолюбивая мечта — пробить своей собственной вершиной крышу оранжереи, но зато она замерзла, и ее срубили и выкинули. В сказке «То, чего не было» (единственный опыт, так сказать, иронического творчества г. Гаршина) собеседники гибнут под сапожищем кучера Антона. В «Сказке о жабе и розе» роза спасается от злобной и безобразной жабы, но спасается тем, что ее срезают для утешения умирающего мальчика, и когда мальчик умер, то ее поцеловала молодая девушка, сестра мальчика; «маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы...»

Но ведь это ужасно! Лучшим происшествием в жизни розы оказывается все-таки то, что ее срезали, хотя бы руками прекрасной девушки для бедного умирающего мальчика! Да ведь жила же роза сама для себя, за свой собственный счет, ведь цвела же она, ведь пел же ей, как гласит маловероятное старинное поэтическое предание, свои песни соловей? И заметьте, что в сказках г. Гаршин покушается уже на «великое»: роза прекрасна, она «царица цветов»; Attalea princeps была сильна и величава. И все-таки скорбь, смерть, конец...

Еще ярче этот пессимизм в сказке «Красный цветок». По форме это, собственно говоря, не сказка, а вполне реальный и даже поражающий своею реальною правдивостью рассказ — рассказ об том, как один душевнобольной рвал цветы мака; он думал, что в этом «красном цветке» сконцентрировалось все зло, какое только есть в мире, что его непременно надо сорвать и уничтожить, но при этом самому насытиться его ядовитым дыханием и тоже умереть: «он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира». Он сорвал цветок и умер. «Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок, но рука заочене-ла, и он унес свой трофей в могилу».

С этим удивительным рассказом вышло не совсем обыкновенное в нашей литературе происшествие: на него обратили внимание специалисты науки. В «Вестнике клинической и судебной психиатрии и невропатологии» профессора Мержеевского г. Сикорский напечатал заметку<sup>16</sup>, в которой признал «Красный цветок»

образцовым произведением в смысле необыкновенной точности и верности изображения развития душевной болезни. Мы, читатели, были, конечно, обрадованы и даже как будто польщены таким отзывом специалиста об одном из наших любимцев, тем более что и до него, то есть до отзыва г. Сикорского, чувствовали глубокую правдивость рассказа. Но мы не специалисты, для нас «Красный цветок» не только психиатрический этюд, а вместе с тем все-таки беллетристика и именно сказка, то есть нечто такое, в чем надо искать аллегории, подкладки чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки. Ну, и каков же житейский субстрат «Красного цветка»? Здесь опять г. Гаршин покусился на «великое». Правда, он вставил его в рамку безумной мечты, но на это была его добрая воля, и мы опять отброшены к своей исходной точке: отчего так печально, так безнадежно и безотрадно заканчиваются произведения г. Гаршина?

Вы понимаете истинный смысл и объем этого вопроса. Мы не вправе требовать от художника насилия над своей природой. Пусть он выбирает для поэтического воспроизведения те полосы жизни, которые его больше занимают, потому ли, что они в его глазах значительнее других, или потому, что они как-нибудь родственны самому характеру его творчества. Но если мы заинтересовались самим художником, а тем паче если мы его полюбили, как полюбили г. Гаршина, то с нашей стороны весьма естественно желание добраться до той характерной, лично ему принадлежащей черты его творчества, которая сосредоточивает его художественное внимание на такой-то именно полосе жизни, а не на другой какой-нибудь. И вот, я думаю, мы теперь подошли очень близко к разрешению этого вопроса относительно г. Гаршина. Нам остается перечитать только один еще его рассказ — «Ночь».

Это очень недолгая история — всего одна «ночь», гораздо даже, значит, меньше, чем «четыре дня», но это ночь самоубийства. Какой-то Алексей Петрович, решившись покончить с жизнью, полную лжи и притворства, целую ночь терзает себя мучительным раскапыванием своей души, ища и подчеркивая в ней ложь даже в страшный канун самоубийства. Вдруг раздаются звуки колокола, звонят к заутрене. Ассоциация идей навела на воспоминание об одной сцене из детства. И —

«Колокол сделал свое дело: он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка, который его измучил и довел до самоубийства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминания, отрывочные, бессвязные и все как будто совершенно новые для него. В эту ночь он многое уже передумал и многое вспомнил, и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно видел самого себя. Теперь он почувствовал, что в нем есть другая сторона». Ему «захотелось той чистой и простой любви, которую знают только дети да разве очень уж чистые, нетронутые натуры из взрослых... Господи! хоть бы какого-нибудь настоящего, неподдельного чувства, не умирающего внутри моего я! Ведь есть же мир!..» Надо «вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом; это отвратительное Я, которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел. Все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся тебе; хоть ненавидел тебя, а все-таки поклонялся, принося тебе в жертву все хорошее, что мне было дано». «Он почувствовал теперь, что не все еще пожрано идолом, которому он столько лет поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотвержение, что стоит жить для того, чтобы излить этот остаток. Куда, на какое дело — он не знал, да в ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее, житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир».

Но недолго был этот переворот в Алексее Петровиче: еще один психический толчок, и он все-таки покончил с собой...

Проповедь любви к ближнему и презрения к узкому эгоизму есть проповедь очень старая по времени и хотя не стареющая по результатам, то есть по слабости результатов, но все-таки очень элементарная. Не ради нее сделал я выписку из «Ночи», а ради некоторого оттенка ее, не совсем заурядного. Алексей Петрович сознает не только свой грех, мелочность и дрянность своей жизни,

ее греховную мерзость. Этого было бы слишком мало, ибо это азбучно. Он сознает свое *несчастье*; он сознает, что его «узкий мир» его измучил, что, говоря вульгарным языком, *выгоднее* мучиться общим горем, чем «в одиночку». Это уже несколько оригинальнее, чем простая мораль любви к ближнему. Но героям г. Гаршина доступна и еще высшая оригинальность. Что это такое значит «в одиночку»? Разве у каждого из нас нет или не может быть близких людей, чьи интересы близки нашим, нет семьи, товарищей по профессии, соотечественников и проч.? Все это есть, вероятно, и у Алексея Петровича, и, однако, он находит, что он никого настояще, неподдельно не любит, что те узы, которые его связывают с людьми, ничего не стоят, они ложь, фальшь, он одинок. Художник Рябинин тоже говорит о себе, что он «ходит одинокий среди толпы», что и искусство не налагает никаких таких уз, которые он признал бы правильными. Узы искусства, по-видимому должны связывать художника со всем миром, оставляют его одиноким, мало того, «одиноким в толпе», и ложатся на него только тяжким, ненавистным бременем. Он говорит: «Как локомотиву с открытою паропроводною трубой предстоит одно из двух: катиться по рельсам, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груды обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с ним, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь».

Такой взгляд на художественную деятельность уже и сам по себе может показаться странным, а тем более когда высказывается художником или даже двумя художниками: самим Рябининым и его поэтическим отцом, г. Гаршиным. Мы так привыкли смотреть на работу художника, как на деятельность свободную по преимуществу. А между тем в словах Рябинина заключается глубокий смысл. Антитеза Рябинина, художник Дедов, не чувствует себя одиноким в толпе и совершенно удовлетворен своею деятельностью. Он, как говорится, приспособился; он рисует ходкий товар, такие именно картины, которые в спросе; он — машина для

изготовления живописных произведений; он как будто служит «чистому искусству», и может быть, и сам этому искренно верит на том основании, что ему нравятся красивые сочетания линий и красок. Но на самом-то деле он служит какому-то огромному целому, в состав которого входят люди, делающие ему выраженные или невыраженные заказы. Употребляя метафору Рябинина, можно сказать, что Дедов действительно локомотив с открытой паропроводной трубой и катится по рельсам и докатится по этому, не им сделанному, прямолинейному узкому железному пути до станции, то есть до храма славы и вящих заказов. Рябинину эта самая станция представляется «какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь». Для него жизнь шире и выше искусства. Он не одни красивые комбинации красок и линий любит и потому, натурально, не может сообразоваться в своей деятельности с заказами; ему не все равно как, на какую тему комбинировать линии и краски, для него оскорбительна и ужасна мысль оказаться во власти того подавляющего своей громадностью и сложностью целого, которое осыпает или осыплет его товарища Дедова славой и деньгами, лишь бы он служил ему. Рябинин готов служить, то есть работать, но не этой сложной громаде, в которой «глухарь» (сюжет последней картины Рябинина) должен надрываться и разбивать себе грудь, чтобы наделать чудовищных котлов, а котлы эти создадут средства, на которые, между прочим, будут покупаться картины на «невинные сюжеты»: «полдни», «закаты», «девочка с кошкой» и проч. Рябинин с ужасом отступает перед этим сложным клубком отношений и интересов, раз запутавшись в котором он должен оказаться безвольным исполнителем заказов. Та специальная форма общения с людьми, в которой Дедов чувствует себя как рыба в воде, претит Рябинину, он «одинок в толпе». Он перестает писать. И вот «облетели цветы, догорели огни», поскольку это зависит от Рябинина...

Не кажется ли вам, что в маленький рассказ «Художники» вложено отражение мыслей и чувств не только самого г. Гаршина, но и других наших молодых беллетристов! Ведь и у Рябинина пропала охота к «выдумке», а вот Дедов, так тот, подобно гг. Авсеенке, Боборыкину, Маркевичу, фабрикует, фабрикует и опять

фабрикует «что прикажете». И если такова действительно причина ослабления выдумки, то не кажется ли вам, что надо говорить: «зацветут цветы, загорятся огни»?

Мысль об «одинокое в толпе», о безвольном орудии некоторого огромного сложного целого постоянно преследует г. Гаршина и, несомненно, составляет источник всего его пессимизма. Несчастье и скорби его героев зависят от того, что все они ищут ближнего, жаждут любви, ищут такой формы общения с людьми, к которой они могли бы прилепиться всей душой без остатка, *всей* душой, а не одной только какой-нибудь стороной души вроде художественного творчества; *всей* душой и, значит, не в качестве специального орудия или инструмента, а в качестве человека, с сохранением всего человеческого достоинства. Все они не находят этих уз и оказываются в положении «пальцев от ноги». Я просил вас запомнить эту метафору шекспировского Менения Агриппы, влагаемую г. Гаршиным в уста «Труса». Она очень характерна. Вы помните, что «Трус» вовсе не трус. Он не опасности или смерти боится, его гнетет мысль, что он «палец от ноги», что нечто, вне его лежащее, наметило ему цель, дало ему соседа справа, соседа слева и вдвинуло в огромный, чуждый ему поток.

Для выражения своей основной мысли г. Гаршин прибегает еще к одной, очень характерной тоже, метафоре. Героиня «Происшествия», Надежда Николаевна, публичная женщина, знавшая когда-то лучшие дни, вспоминает в своем дневнике одного из «гостей». Это был болтливый юноша, который прочитал ей наизусть страницу из какой-то философской книжки; там говорилось, что она и ей подобные несчастные создания суть «клапаны общественных страстей». Надежда Николаевна в качестве уличной женщины, конечно, всякие виды видала, но «клапанами» она оскорбилась. «Слова гадкие,— говорит она,— и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти „клапаны“». Но она тут же должна признаться сама себе, что гадкие слова фактически справедливы, что скверный философ и сквернейший мальчишка совершенно правы — она, «общественное животное»<sup>17</sup>, как назвал человека еще Аристотель, есть только «клапан общественных страстей», орудие, инструмент. Иван

Иванович предлагает ей выйти из этого положения, но она уже так плотно обхвачена, что не видит выхода. Та же история, только в более сложном виде, повторяется с другой Надеждой Николаевной

Доставьте себе удовольствие, перечтите все рассказы Гаршина, и везде или почти везде вы найдете, может быть не так ясно подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о том специальном и высшем оскорблении, которое наносится человеческому достоинству превращением человека в те или другие клапаны, в «пальцы от ноги». Вот за эту-то память о человеческом достоинстве и за эту оригинальную, лично Гаршину принадлежащую скорбь мы его и полюбили. Мы хотели бы только видеть его более бодрым, хотели бы устранить преследующие его безнадежные перспективы. И наша, читательская любовь чего-нибудь да стоит в этом отношении. Мы ведь не безотчетную личную любовью любим: из нашей любви г. Гаршин должен черпнуть веру и надежду...





## ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ

Я должен вернуться на минуту к г. Гаршину. Он обратил мое внимание на одну ошибку, в которую я впал в прошлом (декабрьском) дневнике, говоря о его рассказе «Ночь». Передавая содержание этого маленького рассказа, я писал, что герой, решившийся на самоубийство, но остановленный на некоторое время напором жизнерадостных чувств, в конце концов, однако, все-таки застрелился. В. М. Гаршин пояснил мне, что я ошибся: Алексей Петрович (герой «Ночи») не застрелился; он умер от бурного прилива нового чувства, физически выразившегося разрывом сердца. Разница, конечно, большая. Я думаю, однако, что не один я ошибался на этот счет, и потому вдвойне спешу поправить свою ошибку. Но постараюсь также несколько оправдаться.

Алексей Петрович, измученный ложью, не только окружающею его со всех сторон, но и в его собственной душе, как он думает, свившею себе прочное пожизненное гнездо, решает покончить с собой и делает все нужные приготовления: достает у приятеля обманном образом револьвер, заряжает его, взводит курок. Перед смертью он оглядывается назад, на свое прошлое, и вспоминает детские годы, когда лжи в его жизни не было. Отчего же не было и чем положительным выражалось это отсутствие лжи? Алексей Петрович добирается до ответа на этот вопрос: была настоящая, подлинная связь с людьми, хоть бы с нищими. И потом опять отрицательные результаты: не было «одиночества в толпе», не сложился еще тот узкий личный мирок, то всепожирающее и в то же время сиротливое Я, в котором он потом погряз. Но не может ли он и теперь расширить свое личное существование, связать себя с общею жизнью, установить

прочные и настоящие, не лживые связи с людьми? Два голоса борются в душе Алексея Петровича. Один говорит, что это не нужно и невозможно, другой обнадеживает и зовет к жизни. Алексей Петрович раздумывает:

Нужно «отвергнуть себя», убить свое я, бросить на дорогу

— Какая же польза тебе, безумный? — шептал голос

Но другой, когда-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ

— Молчи! Какая же польза будет ему, если он растерзает себя?

Алексей Петрович вскочил на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мгновение согрел и оживил закованное несчастьем существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло.

.....

Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее и тусклее и наконец совсем погасла. Но в комнате уже не было темно, начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди комнаты — человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице.

Я сделал полную и точную выписку конца «Ночи»: строка точек имеется и в подлиннике, и в ней-то я и прочел новый психический толчок и затем треск и блеск револьвера, момент выстрела. Правда, серый свет утра освещает «заряженное» оружие, но этот единственный намек на то, что выстрела не было, я, каюсь, просмотрел, как, смею думать, большинство читателей г. Гаршина.

Смею думать также, что ошибка моя несколько колеблет тех выводов, к которым я пришел относительно писаний г. Гаршина вообще.

Алексей Петрович мог бы сказать о себе, как Фауст: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» \*<sup>1</sup>. Два голоса явственно полемизируют в нем. Один, не только ласковый и любящий, но и разумный, удостоверяет, что не все потеряно, что возможна новая жизнь, светлая, широкая, не из-под палки какой-нибудь, а свободно сливающаяся с жизнью других людей. Это потому голос, не только любящий, а и разумный, что удостоверяет

---

\* Две души живут в моей груди (нем) — Ред.

ет, что и «пользы», выгоды нет жить так, как жил Алексей Петрович до сих пор. Другой голос, злой и глупый, утверждает, что все это вздор. Это злой голос, потому что, соблазняя человека, он обрекает его на муки, которых тот и без того принял сверх всякой меры; но вместе с тем это и глупый голос, потому что для Алексея Петровича все равно нет возврата на ту дорогу себялюбивого и сиротливого существования, которую он пробежал всю, вплоть до ее естественного конца — самоубийства. Победа злого и глупого голоса только и могла выразиться самоубийством, и я прочитал эту победу в строке точек г. Гаршина. Оказывается, что я ошибся, победил голос жизни и любви. Казалось бы, тем лучше. Но какую цену одержана эта победа? Так сильно охвачен Алексей Петрович порывом жизнерадостного чувства, что не выдерживает и умирает. Значит, в конце концов все-таки смерть, и с известной точки зрения такой финал еще безотраднее простого самоубийства.

Все или почти все произведения г. Гаршина представляют художественный комментарий к великому в своей простоте: «не добро быть человеку одному». Я бы не сказал, что это корень его пессимизма, но это почва, из которой корень берет нужные ему элементы. Не вообще страданиями занят наш автор; с его точки зрения, отчего бы и не пострадать, но на людях и с людьми, а не в одиночку. Однако и не буквально одиноких ставит перед нами г. Гаршин. Напротив, его одинокие окружены толпой, и все-таки они одиноки, потому что узы, связывающие их с людьми, насильственны, лживы, и они вполне сознают эту лживость и оттого мучатся. Они ищут выхода, то есть таких форм общения с людьми, которые не налагали бы на них ненавистного ярма, не делали бы их «пальцами от ноги», «клапанами», безвольными орудиями сложного целого, все большему дифференцированию которого так радуются разные спенсеровы дети<sup>2</sup>. В этом процессе дифференцирования, или, что то же, превращения человека в орган, орудие, многие чувствуют себя прекрасно. Их не смущает то униженное положение, в котором они находятся, их не тревожит лживость отношений к «ближним», они не чувствуют своего уродства. Г-н Гаршин представил несколько экземпляров и этой породы «приспо-

сбившихся», живущих в полное свое удовольствие для своего «я», но это «я» не человека, а «клапана». Таков Дедов в «Художниках», таков инженер Кудряшев во «Встрече». Но положение других героев г. Гаршина совсем иное. Они понимают, в какую пропасть влечет или уже вовлек их стихийный процесс, но все либо беспомощно бьются в той клетке, в которую их загнала судьба, и в конце концов погибают; либо же, как и Надежда Николаевна (в повести, озаглавленной этим именем), и Алексей Петрович, герой «Ночи», видят исход, рвутся к нему, стоят уже на самом корне новой жизни и счастья и все-таки погибают, хотя и от посторонних причин; одна под выстрелом ревнивца, другой от разрыва сердца. Мало того, значит, что люди изнемогают, стоя лицом к лицу с давящею их силою; мало того, что они, бессильно топорщась, все-таки втягиваются зубцами и колесами огромной машины и в ней перемалываются,— нет, даже в тех случаях, когда голос крови и разума заглушает собою голос глупый и злой, когда человеческое достоинство готово праздновать победу, посторонние делу обстоятельства точно заговор устраивают, и победы все-таки нет.

Я надеюсь, что г. Гаршин когда-нибудь разрушит эту коалицию стихийного процесса, выражаемого глупыми и злыми голосами, и посторонних делу обстоятельств; что он предъявит нам наконец победу истинно человеческого достоинства, хотя бы в возможности, в перспективе. Не потому мне этого хочется, что человеческое достоинство часто торжествует в сей юдоли плача и беззакония, вследствие чего торжество это должно найти себе отражение и в искусстве. Нет, вообще говоря — это торжество пока слишком редкое, но пусть же эта редкость блеснет в творческой фантазии г. Гаршина, хотя бы только как возможность, и разгонит мрачные тучи безнадежности, заволакивающие его горизонт.

Мы вправе ожидать от г. Гаршина многого, потому что в том немногом, что он до сих пор написал, он, как говорят немцы, хватает быка за рога, сознательно выбирает центром своих картин и образов действительный центр действительной жизни. От преследующей его скорби об человеке, превращенном в «палец от ноги» или в «клапан», могут быть проведены радиусы реши-

тельно во все сферы жизни. И если это необыкновенно выгодное и в то же время смелое положение, занятое г. Гаршиным, осталось до сих пор неоцененным по достоинству, так на это есть две причины. Во-первых, слишком тонкая, я бы сказал, кружевная работа г. Гаршина. Я своевременно читал все, что г. Гаршин печатал, а принимаясь в прошлый раз писать об нем, все вновь перечитал с особенною, специальною тщательностью и, однако, впал в вышеприведенную ошибку, потому что просмотрел буквально *одно* слово. Что же мудреного, если читатели, не обязанные читать с такою специальною внимательностью, чувствуют себя охваченными чем-то необыкновенно симпатично-скорбным, но не могут разобраться в произведениях г. Гаршина как следует.

Другая причина некоторой неясности положения г. Гаршина в литературе заключается в обширности руководящей им идеи. Не в том только дело, что он сознательно приложил ее к таким разнообразным и, по-видимому, трудно суммируемым общественным положениям, каковы положения солдата, художника, публичной женщины и проч. Нет, так неотступно преследующий его вопрос — кто победит: человеческое достоинство или стихийный процесс, превращающий человека в клапан,— это всем вопросам вопрос. Все наши маленькие житейские драмы, а пожалуй, и водевили, все крупнейшие исторические события укладываются в рамки этого огромного и рокового вопроса. Но именно потому, что этот вопрос до такой степени всеобъемлющ, он, будучи заключен в абстрактную формулу, кажется чем-то холодным и далеким: пролившиеся из-за него в течение веков и теперь льющиеся на севере, юге, востоке и западе слезы и кровь абстрагируются, совлекаются, и в сфере мысли остается только своего рода «красный цветок», который, помните, тоже впитал в себя всю скорбь человечества. Но «красный цветок» — яркий бред безумца, а перед нами краткая, ясная, сухая формула. Воплощаясь в жизни, наряжаясь в разнообразнейшие сложные одежды, отражаясь в близких нам житейских делах и делишках, она бывает подчас трудно узнаваема. И вот почему, между прочим, г. Гаршин редко причисляется к беллетристике с резко определенной тенденцией, к «направленцам», как выразился недавно некто, не имеющий царя в голове. С другой стороны, однако, старательные классификаторы не

относят г. Гаршина и к представителям чистого искусства, которые *singen wie der Vogel singt* \*<sup>3</sup>, кто соловьем, а кто сорокой, кого каким бог голосом наделил. Еще бы!

Я очень благодарен г. Гаршину за то, что, указав мне мою ошибку, он дал вместе с тем повод написать эти слова, хотя я все равно написал бы их по другому поводу. Я отнюдь не хочу преувеличивать значение г. Гаршина — перед ним все еще впереди. Я говорю лишь о величии и обширности идеи, на которую намекал в первой же тетради этого дневника, говоря о жалкой породе спенсеровых детей. Если моему скромному дневнику суждено будет продолжаться, мы увидим, что к этой идее в конце концов как к высшей инстанции сводятся все занимающие нас житейские вопросы...

---

\* Поют, как поет птица (нем.).— Ред.



## Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

### I

Глеб Успенский — один из любимейших русских писателей. Кроме огромного и вполне оригинального таланта, который общепризнан, он мил и дорог своему читателю еще чем-то другим, что труднее уловить и указать, чем талант.

Успенский появился на так называемом литературном поприще в шестидесятых годах вместе с некоторыми другими талантливыми молодыми писателями<sup>1</sup>. Явились они как-то вдруг, целым гнездом, и сначала не легко было строго определить индивидуальные особенности каждого из них. Их до известной степени объединяли и содержание их писаний и манера изложения.

Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не привлекали к себе творческого внимания беллетристов предыдущего поколения: мужик, рабочий, дьячок, мещанин, мелкий чиновник — вот кто их почти исключительно занимал. Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желанья прикрасить его и поставить выше излюбленных персонажей предыдущего периода беллетристики не было. Напротив, в такую намеренную идеализацию часто впадали старые беллетристы в тех редких случаях, когда брали свои сюжеты из среды мелкого серого люда. Молодые же беллетристы, о которых идет речь, нередко грешили противоположною крайностью. Вообще же они желали писать просто правду, какую она им в данную минуту представлялась, не руководствуясь никакими посторонними соображениями. Определенная тенденция всей группы состояла только в том, чтобы привлечь внимание общества к таким сферам, которые дотоле едва смели показаться в литературе. Это было как раз вовремя, ввиду результатов Крымской войны и последовавших за ней реформ,

долженствовавших коренным образом обновить весь наш общественный строй. Не мудрено, что упомянутая группа беллетристов имела большой успех — она вполне соответствовала житейскому моменту, была костью от кости и плотью от плоти его. Не мудрено также, что общество прощало этой литературе разные ее изъяды. А прощать было что! Во-первых, эта молодежь наносила оскорбление действием всем традиционным, привычным формам беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенные сценки, начала без конца и концы без начала, беглые отметки, еле очерченные лица, отсутствие «выдумки», как говорил Тургенев <sup>2</sup>, то есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. Это было большою дерзостью, о которой мы по теперешнему времени даже судить не можем, ибо тогдашнее старшее поколение беллетристов, в лице Тургенева, Гончарова, Островского, давало высокие образцы вполне правильного в архитектурном смысле и вполне законченного творчества. Но дерзость литературной молодежи на этом не останавливалась. Уже то могло казаться дерзостью, что центр тяжести литературных интересов передвигался из помещичьих усадеб с аллеями густолиственных кленов, где так поэтически гуляли влюбленные пары при лунном свете; из гостиных, заваленных кипсеками <sup>3</sup> и альбомами, где происходили такие изящные разговоры; из бальных зал, сверкающих обнаженными дамскими плечами, брильянтами, мундирами, — в одноглазые мещанские домишки, в кабаки, мужицкие избы, постоянные дворы, комнаты «с небилью» <sup>4</sup>. Но все это было еще, пожалуй, что называется, в духе времени, ибо период реформ открывал, казалось, двери новой жизни, и натурально, что в них хлынул разный серый мелкий люд, давая свою окраску и литературе. Но дерзость литературной молодежи не останавливалась и перед оскорблениями самого этого духа времени. Только что освобожденный, только что признанный созревшим для усвоения гражданских прав мужик вдруг являлся в каком-нибудь очерке Николая Успенского или Слепцова совершенным дубиной, стоящим чуть не на уровне какого-нибудь папуаса. Только что введенная судебная реформа вызывала у Гл. Успенского сцену в окружном суде (в «Разоренье»), которая оканчивалась бессмысленным, хотя невольным издевательством представителей правосудия над несчастной старухой. И все это прощалось, потому что подо всем этим был дух жизни



и правды. В воздухе носились радужные надежды и ликования, даже до приторности, и самая эта приторность должна была внушать подозрения и опасения людям пронизательным или просто чутким...

Изю всей этой шумной группы молодых беллетристов, начавших свою литературную деятельность в шестидесятых годах, больше всех держался Глеб Успенский. Кое-кто умер на полпути, кое-кто засох живой, кое-кто, наконец, утратил типические черты той группы. И вот что замечательно. Десятки лет работал Успенский, работал в настоящем высоком и вместе тяжелом смысле этого слова, работал под грозой собственной усталости и не менее страшной грозой появления новых читателей, иными условиями воспитанных и потому чужих ему по духу. При этом сам он не только не поступался ни единою из тех типических черт, с которыми пришел в литературу, но еще усугублял их. Прежде он занимался разным мелким городским людом — потом спустился еще ниже, в мужицкую избу, почти не выходил оттуда и подчас бранчиво отстаивал свою позицию. Прежде он писал оборванные, но по крайней мере цельно задуманные очерки, а потом не только продолжал это оскорбление беллетристики действием, но еще допускал в свои писания широкую струю прямо публицистики. Прежде он во имя духа жизни и правды говорил дерзости духу времени, а потом доходил в этом отношении до того, что вызывал грозные окрики: «До чего договорился Глеб Успенский!»<sup>5</sup> И несмотря на эти окрики, впрочем не из тучи гремевшие и все затихавшие, несмотря на очевидные и несомненные изъяны в его литературной манере, симпатии к нему читателей все росли. Из «подающего надежды» он стал ярким, характерным фактом истории русской литературы, навсегда занявшим в ней оригинальное и почетное место.

Бывают совершенно неправильные физиономии, которые, однако, вам больше нравятся, чем писанные красавцы. Бывает и так, что какая-нибудь заведомая неправильность в лице любимого человека, какой-нибудь очевидный изъян в нем становится особенно дорогим вам именно потому, что это — особенность любимого человека, одна из черт, которые отличают его, дорогого, от всех прочих безразличных или неприятных. Вы отлично понимаете, что это изъян, и на другом лице этот изъян произведет на вас, может быть, даже прямо отталкивающее впечатление, но тут он как-то у места,

и объяснение этой уместности лежит частью в вас самих, который любит, частью в общем выражении любимого лица, в котором отразилось то, что вас заставило полюбить.

Тем не менее изъяны остаются изъянами, и, говоря об Успенском, мне с них именно приходится начинать.

Успенский начал свою литературную деятельность отрывками и обрывками и не только не отделался от этой юношеской манеры, но с течением времени точно укрепился в сознании законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти земли» он, между прочим, с такими словами обращается к читателю: «Вы вот все жалуетесь, что нет изящной словесности, все только о мужике пишут. Во-первых, это неправда: вы имеете ежемесячную массу литературных произведений, написанных вовсе не о мужике, и притом весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и, главное, зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление и там сказано: «заметки», «отрывки»... Какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, надобно покуда повременить».

Таким образом, для Успенского обрывочность его писаний как-то логически связывалась с характером их темы. Но такой логической связи, очевидно, нет. При чем тут, собственно, «мужик», это мы увидим впоследствии. А теперь заметим только, что сам по себе мужик, может быть, и во всех литературах, в том числе и в нашей, действительно бывал предметом воспроизведения в драме, романе, повести, вообще «изящной словесности» в ее законченных формах. Как бы кто ни смотрел на роман Зола «La terre» \* или на драму Толстого «Власть тьмы», но ведь это во всяком случае не отрывки и очерки. Да и почему бы в самом деле драма, роман, повесть из мужицкого быта невозможны? Очевидно, дело в этом случае отнюдь не в мужике, а в самом Успенском. И надо же себе объяснить, почему это так выходит, почему человек такого большого таланта и такой искренней вдумчивости не овладел законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсем уж пустое дело при наличии художественного дарования. Посмотрите кругом — и вы увидите, что люди,

---

\* «Земля» (фр.). — Ред.

в которых есть только микроскопические крупинцы таланта, а иной раз и тех нет, десятки раз прекрасно справляются сначала с первой главой первой части, потом пишут вторую главу и т. д. и наконец твердою рукою подписывают: «Конец такой-то и последней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся человек, отрицающий талант Успенского; но возьмем самого в этом отношении строгого и придирчивого судью, какого вы только себе представить можете. Все-таки же он не уравнивает его с авторами бесчисленных, вполне законченных романов и повестей, сотнями появляющихся в литературе и тем же числом немедленно погружающихся в море забвения. И, однако, эти автору могут написать законченное произведение, а Успенский не мог. Любопытно ведь это.

Далее, с какой стати высокодаровитый беллетрист занимается публицистикой? Дело здесь не в формальных подразделениях литературы, не в департаментах каких-нибудь или министерствах, с присвоенными каждому из них особыми мундирами, а в экономии и естественном распределении литературных сил. Публицистикой можем заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы каждый публицист обладал и поэтической силой, которая была бы подспорным средством высокой важности, а каждый художник, я думаю, даже должен быть публицистом в душе. Вообще, чем богаче и разностороннее внутренняя природа писателя и его средства воздействия на общество, тем, разумеется, лучше. Пусть писатель будет одинаково богат и творческою силою, и силою логического анализа, пусть он даже предъявляет плоды той или другой силы на бумаге. Мильтон написал «Потерянный рай», но он же написал и «Защиту английского народа»<sup>6</sup>; в нашей литературе автор романа «Кто виноват?» был публицистом и т. д. Подобных примеров можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смешение публицистики с беллетристикой в тех пропорциях, какие усвоил себе Успенский, то читатель, можно наверное сказать, находится в относительном проигрыше. Назначение логического анализа — разрезать, расчленять живые явления; назначение поэтического творчества, напротив, — воссоздавать их именно в их живой цельности. Оба эти процесса могут иметь место в голове одного и того же богато одаренного писателя, но в испол-

нении на бумаге в одном и том же произведении им очень трудно ужиться рядом, не нанося друг другу ущерба. Последние произведения Успенского имеют, бесспорно, большую цену, что уже видно из того обилия разговоров, которые вызывала почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не пожалеть, что он не давал простора своей огромной художественной способности.

Я вовсе не думаю читать наставления, да наставлениями ничего и не поделаешь. Когда писатель намеренно употребляет тот или другой невыгодный для него самого и для читателя прием, то, конечно, можно попытаться убедить его. Но в данном случае никакой намеренности не было, разумеется; просто так выходило, так писалось, полоса такая нашла. Но если бы можно было добраться до подкладки этой полосы, подкладки, может быть, неясной самому писателю, то мы имели бы по крайней мере разъясненное явление, а это вовсе не мало.

В предисловиях к первым двум томам первого издания своих сочинений Успенский рассказывает историю своих писаний. Она очень поучительна и многое объясняет как в этих томах, так и во всей последующей литературной деятельности этого писателя.

«Нравы Растеряевой улицы», занимающие значительную часть первого тома, начали печататься в «Современнике» 1866 года. Но «Современник» был как раз в этом году закрыт, и продолжение «Нравов», приготовленное для этого журнала, автор перенес в «Луч» — сборник, изданный редакцией «Русского слова». Дальше пусть рассказывает сам автор: «При этом все, что имело «связь» с очерками, напечатанными в «Современнике», надо было уничтожить, обрезать, выкинуть, для того чтобы «продолжение» имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им «сделана» другая обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале «Женский вестник», так как тогда (1866) почти совершенно не было других литературных журналов. Судите поэтому, что должна была претерпеть «Растеряева улица» с своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь в журнале, посвященном *женскому* развитию, *женскому вопросу*. При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои

вели себя в дамском обществе поприличнее, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше. Наконец, очень много материала, приготовленного для «Растеряевой улицы», было разбросано в виде очерков и сенок по всевозможным газетам и листкам».

Примерно то же самое читаем и в предисловии ко второму тому относительно другого, широко задуманного, но разбитого на клочки произведения — «Разорения». Но это только внешняя сторона дела: «обстоятельства чисто личного характера» и неприглядные случайности судьбы. Ими не ограничивается история писания Успенского. Многие «очерки и сценки» из числа тех дребезгов, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли в последующие издания. Автор их отверг, презрел, и вот на каком основании: «Все это было продуктом тогдашней литературной бесприютности. Сплоченных литературных кружков, к которым могли бы пристать начинающие писатели, — ничего тогда налицо не было. Все удручало вас и делало одиноким. А между тем общество, вступившее в совершенно новый период жизни, требовало от литературы — и имело на это право — многосложной и внимательной работы. Таким образом, как отсутствие «школы», так и глубокое внутреннее сознание, что «теперь» обновляющая жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, делали то, что незначительная способность написать «рассказец» или «очерк» ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. «Все это не то!» — думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, кой-как, появляясь в виде отрывков без начала и конца».

По-видимому, это объяснение отрывочности и оборванности не мирится с приведенными выше из «Власти земли» словами, как бы узаконяющими эту отрывочность в связи с самой темой писаний Успенского. Избрав своим сюжетом мужика, он уверен, что худо ли, хорошо ли, но он делает настоящее дело, то именно, которое особенно нужно обществу, и во многих местах горячо и прочувствованно доказывает это; *именно поэтому*, думает он, он пишет очерки и отрывки, а не «произведения изящной словесности». В начале своей литературной деятельности он, напротив, сомневался в пользе и надобности того, что он делает, и *именно поэтому* вы-

ходили очерки и отрывки. Нет ничего удивительного в том, что писатель теряется в объяснениях причин, по которым деятельность его приняла те или другие формы. Со стороны дело виднее.

Успенский начал писать очень рано<sup>7</sup>, в том почти юношеском возрасте, когда внешние влияния особенно сильно действуют на не окрепшую еще манеру писания и надолго, а иной раз и навсегда, кладут на нее свою печать. Если бы те печальные обстоятельства, о которых рассказывает наш автор в предисловиях, постигли его позже, несколько лет спустя после его выхода на литературное поприще, мы, может быть, имели бы не такого Успенского, не до такой степени отрывочного и незаконченного. Я вовсе не думаю все свалить на внешние условия. Я говорю только, что они сыграли тут важную роль и до известной степени просто *принудили* Успенского выработать прием разбивания некоторого художественного целого вдребезги. Сначала ему было, вероятно, очень трудно совершать эти операции, но затем они вошли в привычку, которая укреплялась и другими «обстоятельствами чисто личного характера». Время появления Успенского в литературе было вообще необыкновенно тяжелое. С него начинался тот скорбный лист русской литературы, который и до сих пор не завершался ни окончательной смертью, ни окончательным выздоровлением. Правда, и до этого времени литературе случалось выносить многие и многие тяжести, не помешавшие, однако, образованию так называемой «плеяды», группы блестящих талантов сороковых годов, давших длинный ряд цельных художественных произведений. Но как бы ни были мрачны те времена в целом, а позднее наступили времена в некоторых отношениях еще более тяжкие. Литературные труженики сороковых годов никак уже не страдали тем «одиночеством», на которое жалуется Успенский. Это была целая группа, тесно сплоченная общностью интересов, одинаковостью возраста, развития, общественного положения и т. д. Каждый из них опирался на всех остальных и в живом общении с ними находил поддержку в трудные минуты сомнений, колебаний, душевной немощи. Если на людях и смерть красна, так жизнь, хотя бы и очень тяжелая, и подавно. Притом же те блестящие беллетристы, за немногими исключениями, вовсе не были литературными тружениками, работниками в настоящем смысле слова. Тогда мог серьезно

приниматься к сведению и, вероятно, к исполнению фантастический по нынешнему времени совет Гоголя переписывать «сочинение» семь-восемь раз с значительными промежутками. Литературная профессия, строго говоря, почти не существовала: занимавшиеся литературой «господа», за некоторыми исключениями, имели достаточно досуга, чтобы, набросав свое произведение, поехать по Европе, послушать лекции в германских университетах, искупаться в волнах Гвадалквивира, а потом, с новым запасом сил и обновленными горизонтами, вернуться к произведению для окончательной его отделки или предварительной переделки. Литература как профессия, со всеми розами и шипами профессии, явилась позже, когда всколыхнувшаяся после Крымской войны Россия выдвинула из себя новые, уже чисто литературные силы. Вторгнулись эти новые силы с большим шумом, с светлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоуверенностью. Но недолго тянулся этот праздник, и к тому времени, когда юноша Успенский окончил свои «Нравы Растеряевой улицы», от праздника оставалось уже разве только похмелье, а там и великий пост приспел. Тяжесть, особенная, специальная тяжесть положения, состояла в том, что были выдвинуты новые силы, а точки приложения для них были убраны прочь; был накрыт стол, блестящий белизною скатерти и сверканием новой посуды, был возбужден аппетит, а обед-то вдруг куда-то совсем в другое место унесли. Я знаю, что не о едином хлебе живет человек, и не о хлебе говорю. Однако и хлеб — дело не последнее, если его надо зарабатывать и нет возможности не то что семь раз переписать повесть, а даже иной раз просто перечитать написанное или же нет возможности пристроить задуманную вещь, и приходится делать те вивисекции, которые производил над своими литературными чадами Успенский. Притом же хлеб, в самом прямом и жестком смысле этого страшного слова, в этом случае тесным образом связывался с духовным хлебом, с идеей Хлеб, заработанный литературным служением обществу, был именно новой и заманчивой идеей. И не в том только было дело, что тот или другой даровитый юноша голодал на литературном поприще. Нет, в нем была разбужена духовная жажда, и, казалось, все обещало удовлетворение этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная к губам и дразнящая своею близостью, вдруг и прошла

мимо. Такое мучительное ощущение едва ли было знакомо писателям сороковых годов, которые были для этого слишком равномерно и беспросветно отягощены. Например, рассказываемый Успенским трагикомический (я не могу назвать его просто комическим, об этом скажу еще подробнее) эпизод с «Женским вестником» никаким образом не мог иметь места в сороковых годах, потому что и самый «Женский вестник»<sup>8</sup> был тогда немислим. Специальный орган «женского движения» или «женского вопроса», каким был по задаче этот журнал, сам был продуктом и вместе выражением пробуждения новых сил и розовых надежд. Он не удовлетворял, правда, своему назначению и был вообще плох, но это уже другое дело. Может быть, и плох-то он был потому, что явился, когда розовым мечтаниям «женского движения» пришел конец. Но капризную волею судьбы этот журнал обращается вместе с тем в единственное пристанище для начинающего талантливую юности, который, однако, для входа в это пристанище должен «умыть и приодеть» своих немых героев. Из всего этого выходит целая сеть недоразумений, неудобств, основной элемент которой может быть выражен в трех-четырех словах: потребность разбужена, а средства для удовлетворения ее сокращены или совсем удалены. На попытки приспособления к такому непереносному положению вещей и ушла значительная часть деятельности Успенского в ту молодую пору, когда его талант еще складывался, еще не отлился в прочные, неподатливые формы.

Повторяю, я не хочу объяснять всю историю развития какого-нибудь писателя одними внешними условиями. Думаю, что необходимость разбивать широко задуманную вещь вдребезги и потом искусственно придавать им внешний вид законченности должна была самым решительным образом повлиять на манеру писания; но отнюдь не думаю, чтобы дело вполне объяснялось так чисто механически. Тем более что сами эти вивисекции не были простой механической операцией: сам автор указывает на сопровождавшие ее психические моменты — гнетущее чувство нравственного одиночества и неуверенность в своих силах. О, если бы это была простая механика, так мне незачем было бы писать настоящую статью, потому что тогда и Успенский не был бы Успенским. Спрос на законченные формы беллетристики, то есть на роман, повесть, драму, так



велик (и это вполне естественно), что мог бы, пожалуй, с течением времени сыграть такую же принудительную роль. А раз это не только механика, нельзя и в объяснении ее довольствоваться механикой. Нужно не только отметить внешнюю манеру письма, но и заглянуть в душу писателя, насколько это возможно.

Читая любую страницу Успенского, вы прежде всего заметите ее содержательность. Тут много недоделанного, недоговоренного, оборванного, много, может быть, с вашей точки зрения неверного, но нет ничего лишнего. Ни длиннейших описаний природы или внешней обстановки, которыми беллетристы часто разбавают свои произведения, подобно тому как расчетливые или бедные хозяйки разбавают и без того жидкий чай кипятком; ни непомерного размазывания психологических тонкостей, которыми иногда страдают даже высокоталантливые художники, ни множества вводных и для хода рассказа совершенно излишних лиц, которые толкуются на страницах иных беллетристов совершенно неизвестно для чего. Рассказ Успенского всегда сжат, даже чересчур сжат, почти схематичен; мысли автора, когда он говорит от себя, опять-таки изложены скорей слишком кратко, чем слишком пространно. Это, если позволено будет кулинарное сравнение, очень крепкий бульон, который может приходиться по вкусу одним и не нравиться другим, но уж наверное не разбавлен водой. Успенский есть художник-аскет, отвергнувший всякую роскошь, все не ведущее прямо к намеченной цели.

Очень любопытно, что у Успенского, можно сказать, совсем отсутствует пейзаж. Отсутствует он, например, и у Достоевского; но там ему нет места не только по нерасположению автора к этого рода живописи, а и по чисто техническим соображениям: действие происходит у Достоевского обыкновенно в городе, в комнате и много что на улице. Совсем иначе у Успенского, который имеет дело главным образом с деревней и с дорожными впечатлениями. Казалось бы, здесь на каждом шагу неизбежны описания того, как «от лунного света зардел небосклон», как «волнуется желтеющая нива»<sup>9</sup>, как дождь моросит, гром гремит, стволы берез белеют и т. п. И, однако, Успенский необыкновенно скуден по этой части. Это не значит, чтобы он не чуял природы, не понимал ее красот. Но он аскетически строг в своих требованиях от пейзажа. В «Поэзии земледельческого

труда» вкраплен маленький, но очень остроумный разбор известного стихотворения Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива». Успенскому не нравится это стихотворение, потому что поэт является в нем «случайным знакомцем природы, с которою у него нет кровной связи». Наш автор оскорблен тою изысканностью, с которою в стихотворении собраны и размещены разные лучшие дары природы, и считает себя вправе заподозрить искренность поэта: если бы поэт, приходя в общение с природой, действительно «в небесах видел бога» и «постигал, что такое счастье», то он не стал бы искать в природе непременно «отборных фруктов», вроде «малиновых слив», и т. п., а довольствовался бы более простым, не сочиненным пейзажем. Успенский противопоставляет в этом отношении Лермонтову Кольцова, у которого «и природа, и мирозерцание человека, стоящего к ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое». Пейзаж сам по себе, отдельно взятый, как бы он ни был красив, не имеет цены для Успенского: в него должна быть вложена душа художника, его подлинное «мирозерцание», то, что его действительно в данную минуту занимает вообще и в житейских делах в частности. Вот для образца одно из крайне редких у Успенского описаний природы в «Письмах с дороги»: «Кавказский хребет, подходя к Черному морю, как будто смиряется и затихает в своем бунтовстве: довольно он намудрил и напугал человека там, в глубине Кавказа; довольно он там намучил его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высывающимися из облаков, ревущими реками и пропастями бездонными. Довольно он надивил, настрашал и навосхищал вас там, «в своих местах», теперь — будет! Там, в своих-то местах, он широко развернулся, самому небу доказал, на какие он способен чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь к Черному морю, точно к дому, откуда ушел гулять по белу свету, он как будто отдыхает от своих чудовищных подвигов; идет он ровным шагом и тихо улыбается вам, встречному прохожему, мягкими живописными очертаниями ничем не пугающих гор, живописных долин» и т. д. И сейчас же, непосредственно за этой попыткой нарисовать пейзаж, является «греховодник капитал» в виде нефтепровода, который всю эту очень, впрочем, слегка намеченную красоту разными способами испакостит.

Успенский понимает или, пожалуй, чувствует, что такого единения с кавказской природой, какое он видит и ценит у Кольцова по отношению к нашей северной природе, у него, Успенского, быть не может. Он — «случайный знакомец этой природы, с которой у него нет кровной связи». Для него вон и самое-то слово «ущелье» — «какое скучное!» А ведь там, на месте-то, конечно, есть люди, которые так же цельно и проникновенно стоят лицом к лицу с этой природой, как у нас Кольцов с своей. Они и пишут ее вполне искренно, без фальшивого набора красок, со вложением души, «миросозерцания». Успенский этого не может, а между тем с его точки зрения это единственный законный фон или рамка — ненужная роскошь, пустяки, которыми не стоит, да и некогда заниматься. И вот если уж поразило его в природе что-нибудь до такой степени, что надо, необходимо надо занести это впечатление на бумагу, так запись выходит, во-первых, очень короткая, беглая, а во-вторых, природа в ней прямо и просто очеловечивается: Кавказский хребет оказывается ни больше ни меньше как огромным и чудовищно сильным человеком, который вышел погулять да и натворил на гулянье черт знает что, но, возвращаясь домой, отдыхает, успокаивается и тихо улыбается. Однако — и в этом особенная особенность — дома-то его ждет что-то неладное: «греховодник» уже строит свои каверзы. И тут же пейзаж не то что обрывается, а прямо переходит в действие, сливается с картинами каверз греховодника и размышлениями об них.

Я назвал этот прием или эту черту «особенною особенностью» Успенского. Это не *lapsus* \*. Собственно, очеловечение природы — полное очеловечение, а не только отдельные живописные метафоры, заимствованные из человеческой жизни, встречаются изредка у разных писателей. Не выходя из пределов Кавказа, мы можем припомнить великолепный лермонтовский «Спор», где очеловечены Эльбрус и Казбек. Но там вы имеете ряд картин, поражающих блеском и роскошью красок и связанных чисто художественно представлением огромности Казбека. С высоты своих шестнадцати-семнадцати тысяч футов Казбек видит и сонного грузина, льющего в тени чинары пену сладких вин на узорные шальвары, и богом сожженную, безглаголь-

---

\* Ошибка (лат.) — *Ред.*

ную, недвижимую страну у ног Иерусалима, и вечно чуждый тени желтый Нил, моющий раскаленные ступени царственных могил, и цветные шатры бедуинов, и проч., и проч. Могучая фантазия поэта взлетела на высоту шестнадцати тысяч футов, осмотрела и нам показала, что оттуда видно; и в этом созерцании обширного кругозора, переполненного яркими и пестрыми картинками, нашла себе удовлетворение. Такой изумительной роскоши пейзажа мало найдется во всех литературах всех времен и народов, и потому не было бы ничего достойного примечания в том, что ее нет у Успенского. Можно, наоборот, спросить: у кого она есть? Два-три штриха — и перед нами вид Палестины; еще два-три — Египет... И, однако, силач Лермонтов делает здесь, в сущности, то же самое, что обыкновенно делают люди гораздо менее сильные и даже совсем бессильные Из-под яркости и пестроты картин, открывающихся с вершины Казбека, вы еле различаете ту мысль, которую в начале стихотворения Эльбрус пугает своего собрата и которая, пожалуй, очень сродни каверзам «греховодника»: «железная лопата в каменную грудь, добывая медь и золото, врежет страшный путь». У других беллетристов и поэтов пейзаж не поглощает, не заслоняет до такой степени мысль произведения, потому что они лишены такой страшной, всеувлекающей фантазии и не имеют в своем распоряжении таких могучих красок. Но припомните, например, пейзажи Тургенева (над которыми, мимоходом сказать, так злобно и ядовито насмеялся в «Бесах» чуждый пейзажу Достоевский<sup>10</sup>), и вы увидите, что они стоят совсем отдельно, сами по себе, производят и в намерении автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатление. Вы можете оторвать, например, длинное «пейзажное» вступление к «Бежину лугу» и увидите, что художник так долго держал вас на лоне природы (буквально с самого раннего утра и до поздней ночи) не потому, что это в каком-нибудь смысле нужно для приготовления читателя к ночной встрече с ребятами — что, собственно, составляет содержание рассказа, — а просто потому, что ему нравится писать пейзаж независимо от всего прочего. И так у всех беллетристов, даже в тех случаях, когда пейзаж находится в гораздо более органической связи с содержанием рассказа, чем вступление к «Бежину лугу» с самым «Бежиным лугом». Более или менее пейзаж везде играет самостоя-

тельную роль, хотя бы в качестве аксессуара или обстановки. У Успенского этого нет ни более, ни менее. Строго говоря, у него нет пейзажа даже в тех случаях, когда он есть, потому что нельзя же назвать пейзажем набросок Кавказского хребта, которому не предоставляется ни места, ни фона, ни рамки, ни аксессуара и который прямо вводится в рассказ в качестве действующего лица.

Таково отношение Успенского не только к пейзажу, но и ко всему, что может урвать часть его внимания и внимания читателей и отклонить его куда-нибудь в сторону от единственного пункта, признаваемого в данную минуту важным и значительным. Возьмите, например, рассказ «Неизлечимый», очень невыдержанный в техническом отношении, но в котором, особенно в начале, есть поистине превосходные страницы. Суть его состоит в непереносных душевных муках некоего дьякона, к которым прикосновенны две женщины — жена дьякона и учительница. Самое содержание рассказа очень характерно для Успенского, но нам пока до него дела нет. Главная задача автора состоит в изображении душевного состояния героя и взаимных отношений его и обеих женщин. Эта задача так всецело овладевает мыслью Успенского, что он не утруждает себя описанием наружности тех женщин. Мы узнаем только, что когда дьякон порешил жениться, то «не понравилось ему у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистые плечи, шея, белая и толстая». Об учительнице узнаем из рассказа дьякона, что она была «фигурка из себя довольно поджарая, хлябковатая» — и только. Этих скудных данных совершенно достаточно для характеристики животного отношения жениха к невесте и к женщинам вообще, а больше Успенскому ничего не нужно. Голубые или черные глаза были у невесты, белолицая она была или смуглая, курносая или горбоносая, даже вообще красивая или некрасивая — это безразлично: главное в том, что глаза и лицо дьякону не понравились, а понравились мясистые плечи и белая жирная шея. Все безразличное, не имеющее непосредственного отношения к делу представляется Успенскому уже лишним, да и не то что представляется лишним, а просто он ничего этого не видит, потому что никуда по сторонам не смотрит. Наметив себе какую-нибудь цель, он торопливо идет к ней, пропуская мимо ушей всякие «звуки сладкие»<sup>11</sup>, которые мог бы услы-

шать по дороге, закрывая глаза на всякие пейзажи, и т. п.

Понятно, что это сосредоточение внимания на главном и существенном должно придавать известную силу образам Успенского, но понятно также, что художественная воздержанность, доведенная до степени аскетизма, должна играть немаловажную роль в отрывочности и незаконченности его писаний. В рассказ «Неизлечимый» втиснут богатейший материал для драмы, романа, повести, вообще произведения «изящной словесности». Но ничего подобного не вышло, потому что всякую архитектурную стройность Успенский всегда готов заклать на алтаре занимающей его мысли. Ему не дорога никакая художественная подробность, если она не ведет прямо к цели; он без всякой жалости на нее наступит, смажет ее и сделает это таким приемом, какой попадется под руку: просто умолчит или обойдет словами «от себя» публицистической экскурсией. Сколько мастерства потратил бы другой художник на полное объективирование хотя бы тех же двух женских фигур в «Неизлечимом» и какое действительно мастерство мог бы он при этом обнаружить и сколько эстетического наслаждения доставить читателю. Успенский даже не замахивается на что-нибудь в этом роде. Подобно неофиту в известной бегунской <sup>12</sup> песне, удаляющемуся в пустыню, он отвергает «цветное платье и светлую палату», черная схима ему дороже цветного платья. Расход красок и линий он сокращает до последнего *minimum*'а, довольствуясь если не схимой, так схемой (простите невольный каламбур), ибо все остальное — лишняя роскошь...

Мы видели, что в предисловии к первому изданию своих сочинений <sup>13</sup> Успенский объясняет необработанность и отрывочность своих писаний неуверенностью в серьезной надобности того дела, которое он делал, — дескать, «все это не то!». А во «Власти земли» он, напротив, вполне уверен, что делает настоящее дело, и, однако, именно из этой уверенности почерпает некоторое презрение к форме и потому остается при той же необработанности и отрывочности. Досужий человек легко может найти не одно такое противоречие в многочисленных писаниях Успенского. Может он также выхватить из них какую-нибудь страницу и на ней построить собственную вавилонскую башню, за которую, однако, сам Успенский никак не будет ответствен. Но

читатель, вдумчивый и отзывчивый, не будет заниматься подобными кляузными делами. Такой читатель увидит и оценит в собрании сочинений Успенского не собрание слов и фраз и даже не только результат тридцатилетней работы, а и самый процесс ее. Работа писателя измеряется не только количеством листов исписанной им бумаги, а и теми «кровью сердца и соком нервов», по выражению Бёрне<sup>14</sup>, которые он тратит, влагая их в свой труд. И едва ли найдется много писателей, которые при такой плодовитости расходовали бы столько крови сердца, как Успенский. Он не пишет, не «сочиняет», а живет с пером в руках. Читатель воочию видит, как писатель ищет чего-то — сегодня в русском мужике, завтра в Венере Милосской, сегодня в Сербии, завтра в Новгородской, в Самарской губернии, в Париже, в Лондоне, в Сибири, сегодня в только что прочитанной книге, завтра на крестьянской свадьбе, — ищет, надеется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищет, тут же делясь с вами теми житейскими впечатлениями, под которыми сложились его образы, картинки, размышления. И эта наглядная, сквозящая жизненность работы не умалется с течением времени, а едва ли даже не усиливается. Много раз приходилось мне слышать от Успенского рассказы о том или другом поразившем его случае, о полученном им впечатлении, о навеянной на него мысли, которые тут же, чуть не в тот же самый день записывались на бумагу, а исписанная бумага отправлялась в типографию клочками, по мере того как работа подвигалась вперед. И никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлению улечься, отойти от него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться в законченный образ, картину. Я знал, что это было бы совершенно бесполезно, потому что не может он, органически не может, что называется, «вынашивать» свои произведения и «обстаивать» их. Они льются из него, как жидкость из переполненного сосуда. Льются необработанные, но с явственными следами породившей их жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только, что так есть. И в этом заключается последняя и, может быть, самая важная причина своеобразной формы писаний Успенского, всех этих отрывков, вдоль и поперек изрезанных публицистикой. Несчастные условия литературы, в которых началась его деятельность и в которых он как бы воспитался, в связи с «обстоятельствами личного характера» имели,

конечно, очень большое значение: но сами по себе они едва ли осилили бы из ряду вон выходящую изобразительную способность Успенского и соответственные призывы к творчеству. Да и, наконец, если бы неблагоприятные внешние условия осилили его талант, так он просто погиб бы и, во всяком случае, не мог бы стать так дорог и близок читателю. Он приучил нас к выработанной им форме полубеллетристических, полупублицистических очерков и отрывков, конечно, не потому, что это форма нескладная, убыточная, а потому, что в ней есть нечто само по себе по крайней мере недурное. И эта сторона нескладной, убыточной формы его писаний определяется не внешними влияниями, а некоторыми коренными свойствами его таланта и даже всего его духовного склада. Таков, во-первых, его художественный аскетизм, возбуждающий его расходовать как можно меньше красок и линий и довольствоваться схимой-схемой вместо приличествующего художнику «цветного платья». Такова, во-вторых, его чрезмерная отзывчивость и связанная с нею лихорадочная торопливость в передаче читателю своих впечатлений и их комбинаций. «Волнуюсь и спеша», как выразился Некрасов о Белинском<sup>15</sup>, нельзя даже при полном желании отойти от «людей и нравов» (одно из заглавий Успенского)<sup>16</sup> на такое расстояние, чтобы они отлились в законченную художественную форму без явственных следов крови сердца писателя. Брызги крови разве только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могут расположиться симметрично или вообще с тою правильностью, какая нужна для законченности формы...

Спрашивается, из-за чего же льется кровь сердца? Из-за чего волнуется этот человек и то мыкается по всему белому свету, то забирается чуть не в пустыню? Какое это такое дело, ради которого он надел вериги аскета, безжалостно давит в себе все цветное, яркое и не дает воли своему огромному художественному дарованию?

Я, может быть, удивлю вас ответом. Общий принцип, к которому могут быть сведены все волнения Успенского, есть принцип гармонии, равновесия. Я знаю, что это звучит парадоксом: столько тревоги и волнения из-за какого-то отвлеченного начала, холодного и далекого, как всякое отвлечение; столько аскетических подвигов и жертвоприношений на алтарь метафизи-



ческого принципа! Да еще у Успенского, во-первых, наименее уравновешенного из всех крупных русских писателей, а во-вторых, человека, пустившего такие глубокие корни в живую жизнь, жизнь впечатлений, что его оттуда и выдернуть нет никакой возможности! Однако это так. Но понятно, что отвлечение принадлежит мне, критику, а не критикуемому писателю.

## II

Несмотря на весь свой аскетизм, на самое щепетильное оберегание себя и читателя от всего лишнего, Успенский все-таки нашел у себя самого кое-что лишнее. Просматривая его сочинения, я не находил в них то отдельной фразы или яркого слова, которое хорошо помню, а то и целой картинки. Эти пропуски интересны. Вычеркнуты главным образом «смешные» вещи<sup>17</sup>. Признаюсь, некоторых из них мне было жалко, потому что они не просто «смешны», а в разных смыслах очень удачны. Но дело не в этом, а в том, что сам автор пожелал для отдельного издания еще более сжаться в своем художественном аскетизме. Я не буду пытаться реставрировать эти пропуски, но мы и без них можем выяснить себе характер «смешного» в Успенском.

Я прошу вас перевернуть несколько страниц назад и перечитать вышеприведенный рассказ о том, как «Нравы Растеряевой улицы» урезывались и прикрашивались для «Женского вестника». Читая эти строки, вы, вероятно, улыбнетесь и, во всяком случае, усмотрите улыбку на лице самого автора. Между тем в существе вещей вам предъявлена серьезнейшая, глубокая драма. В самом деле, всякому свое дорого, и не трудно себе представить, какие скорбные чувства одолевали молодого писателя, когда он, под напором разных надвигавшихся на него житейских случайностей, приделывал голову и хвост к своему обрывку и умывал своих неумытых героев. Он и теперь с понятною горечью вспоминает, что от этой операции герои «стали только хуже, а правды в них меньше»<sup>18</sup>. Нашему брату писателю это драматическое положение автора, конечно, ближе и понятнее, чем читателю; но и он, надо думать, без особенного напряжения фантазии может себе представить, чего стоит отцу калечить свое детище в видах жертвоприношения какому-то нелепому идолу житейских слу-

чайностей. И если о себе самом, о своей собственной скорби писатель рассказывает с улыбкой, так улыбка эта получает совсем особенное значение: она должна быть чем-то определяющим, характерным вообще для внутренних отношений писателя.

Действительно. Возьмем для образчика рассказ «Нужда песенки поет» и остановимся на нем немного подольше.

К автору является неизвестный человек и предъявляет бумагу, в которой изложено следующее: «Господин Иванов пиро- и гидротехник, на короткое время прибывший в г. N, честь имеет доложить высокопочтеннейшей публике, что имея искусство в египетской, арабской, эфиопской, индейской, халдейской и других магиях и состоящей из новых фантастических опытов и призраков тайной и натуральной увеселительной магии, что давая оные представления в высокоблагородных домах, по весьма умеренным ценам, с аппаратами и без аппаратов, попури из мира чудес, кабалистика и чревоувещание по весьма сходным ценам: также индийское эскамотирование, гирлянда роз, невозможность в действии, обезглавление головы, носа и других частей тела и проч., и проч., и проч.». Внизу прибавлено: «льстя себя надеждою»... и красовалась подпись: «Пиро- и гидротехник Капитон Иванов».

Смешно, не правда ли? Смешны все эти «чревоувещания по сходным ценам» и «обезглавления головы, носа и других частей тела»? Но подождите, дальше будет еще смешнее. Господин Иванов, пиро- и гидротехник, рассказывает автору разные эпизоды из своей жизни. Передавать их все было бы слишком долго, но один из них я сообщу. Пришло дело так, что Капитону Иванову надо идти в солдаты; нанять за себя «вольника» не на что — один было попался, да надул. Капитону Иванову, столь искусному в индийском эскамотировании и обезглавлении носа, уж и лоб забрили. А дальше пришло вот что.

«Ревем мы с бабой, как ребята малые: чисто-на-чисто пропадать приходится... И что ж, вы думаете, вышло? На другой день к вечеру, накануне, значит, быть походу, стало мне легче! Ведь вот чудо-то какое! Легче, легче, и совсем повеселели! «Маша,— говорю,— сем я к господину откупщику схожу, фокусов сыграть, и, может быть, между прочим, господь мне поможет?» Дело было на масленице; надеваю я, для забавы, турецкое

челмо и этакий балахон; туркой наряжаюсь. Смотрит на меня супруга и говорит: «Сем, говорит, Иваныч, я и себе челмо надену? Может быть, говорит, господин откупщик сжалятся над нами, когда увидят, что муж и жена одним мастерством живут; может, он и не захочет, говорит, нас разлучить?»—«Матушка моя, говорю, ты в таком теперича положении (она в то время в таком положении была-с), ты, говорю, в таком положении, для чего тебе натруждать себя?»—«Ну, говорит, заодно! Либо, говорит, жизнь, либо смерть!» Надевает она на себя челмо турецкое, шаль (платок этакой ковровой-с), шаль эту через плечо, по-цыгански. Пошли!.. Идем, идем, да как заплачем оба, в челмах-то этих! Идут люди, глядят на нас и говорят: «С чего это два турка плачут?» Приходим к откупщику. «Как об вас доложить?»—«Иванов, говорю, с супругою».—«Принять». Входим мы в залу — гости... Страсть гостей! Откупщика, Родивон Игнатьича, я знал, и он меня тоже знавал. «А, говорит, ну делай!» Начинаю я делать фокусы, сердце так и стучит: завтра в солдаты! Делаю фокусы, господа смеются, довольны. «А это кто же с тобой?» — Родивон-то Игнатьич говорит. «А это-с, говорю, жена моя, супруга».— «Что же, говорит, и она по этой части?» Я молчу. «Можете вы, душенька?» (у жены спрашивает). «Могу-с»,— говорит... (Вижу — белая вся!) «Так пройдитесь, говорит, «По улице мостовой». Маша сейчас голову книзу, руки над головой согнула и поплыла... Да ведь как-с? Откуда что взялось!.. Барышня по фортопьянам ударила, а она-то плывет, извивается... Ах! замерло у меня сердце! Тут зачали господа трепать в ладоши. «Приотлично, кричат, превосходно! еще! еще!» А она и еще того лучше... Не удержался я, как у меня слезы-то полились, полились, кап, кап... Родивон Игнатьич кричит: «Это что? на масленице-то? у меня в доме?» Я — в ноги... Маша, где плясала, тут на колени и повалилась. «Что, что? Как, как?» Рассказали ему: «Одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дети».—«Не робей, говорит. Вот тебе...» И выносит двести серебром! «Поминай на молитве». Чуть я в то время с ума не сошел... Бежим мы по улице ровно угорелые. Люди идут: вот, говорят, турки побежали. Эко у нас, ребята, турок развелось, тьма-тьмущая. Это, говорят, пленные. (А это мы с супругой весь город обегали.) Бежим, земли не

слышим... История было случилась на дороге, в другой раз в полицию бы потащил, а тут только шибче побег».

На вопрос автора: в чем состояла «история», пиротехник и гидротехник рассказал:

«Так-с, свинство, необразованность... Бежим это мы с женой, как я вам докладывал. Попадаются двое пьяных, прямо против нас уставились. Один подходит ко мне: «В каком вы, говорит, праве турецкие челмы носить?» Я ему шуткой в ответ: «А потому, говорю, как мы турецкого наречия». — «А в какой вы, говорит, земле находитесь, в православной или какой?» — «Мы, говорю, здесь пленные». — «А когда, говорит, вы наши пленные, то...» Да с этими словами ка-а-ак вот в эту самую кость! (Гость показал на собственный висок.) Мы с женой во всю мочь! Ну, вот-с и все!»

Дальнейший рассказ пиротехника и гидротехника не менее интересен, но пусть читатель обратится за ним к подлиннику, а с меня достаточно и приведенного. Потому достаточно, что и в этом отрывке с полной ясностью выражается наиболее характерный для Успенского прием художественного творчества. Мне не хочется употреблять избитое, истрепанное, многосмысленное и по тому самому мало говорящее выражение «смех сквозь слезы». Но если эта избитая формула означает способность и склонность с улыбкой рассказать страшную драму, и притом так, что глубина драмы от этого не только не утрачивает своей силы, а, напротив, оттеняется, то я не знаю во всей русской литературе никого, кто бы умел так смеяться сквозь слезы, как Успенский. Нечего говорить, что это не беспредметное зубоскальство, довольствующееся смешными положениями или даже смешными словами: ни одного просто смешного положения вы у Успенского не найдете. Но это и не резкие удары сатирического бича, и не капризные, кокетливо-истерические арабески из грусти и веселья, слез и смеха, какие бывают у чисто художественных натур типа Гейне. Это совсем особенное, оригинальное, лично Успенскому принадлежащее сочетание комического и трагического.

Вы видите ряд комических подробностей: пиротехник и гидротехник с «чревоувещаниями», «обезглавлениями головы и прочих частей тела», «индийскими эскамотированиями» и проч.; потом еще другие подобные смешные мелочи, которые я краткости ради в своем пересказе пропустил; потом «турецкое челмо» и проч. Но

по мере того как эти комические черты скопляются в достаточном количестве, вы чувствуете, что вступаете в круг вещей совсем не смешных и не мелких. Вам становится жутко, вы ощущаете в себе какой-то сложный и все более усложняющийся процесс, достигающий своей предельной точки в тот момент, когда Маша пускается в пляс. В салоне господина откупщика, перед толпой полудиких гостей беременная женщина, наряженная в «турецкое челмо» и в «шаль по-цыгански», пляскую «По улице мостовой» принимает участие в «индийском эскамотировании» для спасения мужа от солдатчины... Необыкновенная сложность этого маленького события особенно замечательна тем, что в нем трагическое положение соткано из комических подробностей. Турецкое челмо очень смешно, возглас «Приотлично!», которым ободряли Машу откупщик и его гости, тоже смешон, но ведь вы не смеялись, когда Маша плясала. Художник сам проделал над вами нечто вроде «опыта тайной натуральной магии», смешил-смешил и под конец из самых этих смешков выстроил нечто такое, от чего вы чуть не заплакали.

Скажут, может быть, что этот эффект мог бы быть достигнут и другим путем: зачем, собственно, эти комические аксессуары трагического положения? Но дело в том, что вопрос «зачем?» бывает часто относительно художественного творчества лишен всякого смысла. Другой большой художник, с иным складом творчества, сумел бы иначе поставить дело, довольствуясь, может быть, одним трагическим элементом. Но у Успенского — и в этом состоит характернейшая его, как художника, черта — все эти «челмы» и «невозможности в действии» не только не излишни, а, напротив, необходимы именно потому, что оттеняют драматизм положения. Не только из них таинственным, «магическим» путем сложилась драма, но благодаря им вы с особенною ясностью видите пошлость и дикость той среды, которую призван развлекать пиро- и гидротехник Капитон Иванов. Чтоб пронять ее, Капитон Иванов неизбежно должен был и сам явиться в шутовском виде, и Маша должна была сделать именно то, что она сделала, и именно так, а не иначе. Перед решением явиться в салоне откупщика пиро- и гидротехник исчерпал все обыкновенные ресурсы: просьбы самые трогательные, хлопоты самые энергические. Ничего не вышло. Не вышло бы ничего и тогда, если бы Маша проявила возвы-

шеннейший героизм без «челмы» и не в составе «индийского эскамотирования». Автор ни одним словом не осудил откупщика и все его общество, он даже предоставил откупщику совершить благодеяние, но при небольшом сосредоточении вы можете поистине в ужас прийти от броненосности и толстокожести жителей города N.

Для полной оценки эпизода в салоне откупщика мне бы хотелось припомнить что-нибудь параллельное у других беллетристов. Но не могу ничего вспомнить, кроме эпизода из одной юношеской или даже мальчишеской повести (без названия) Лермонтова<sup>19</sup>. Там красавица Ольга, приемыш некоторого зверообразного помещика, по требованию его пьяных гостей пляшет «русскую». Ольга-красавица пляшет с изумительной грацией; одета она не в челмо какое-нибудь и цыганскую шаль, а в нарочно сшитый шелковый сарафан; дело происходит во времена пугачевщины, отдаленный грохот которой доносится и до Ольги; сама она исполнена неясных, но возвышенных чувств. Словом, ни одной комической черты в рассказ не введено, кругом все мрачно и страшно или возвышенно и прекрасно. И в конце концов никакого участия в красавице Ольге и никакого раздумья о зверообразности тогдашней помещичьей среды не получается. Получается только то неприятное ощущение, которое всякая фальшь всегда вызывает в мало-мальски чутком человеке. Вы понимаете, что я не Успенского с Лермонтовым сравниваю, да и не великая еще это была бы честь понимать меру вещей лучше, чем ее понимал пятнадцати-шестнадцатилетний мальчик, хотя бы он и назывался Лермонтовым. Но даже мальчишеские произведения таких колоссальных талантов поучительны. Не говорю я также, что комический элемент обязательно нужен для полноты трагического впечатления (хоть это, может быть, до известной степени справедливо). Я только пробую с разных сторон осветить художественные приемы Успенского и проникнуть по возможности в тайну того необыкновенно приятного чувства, которое ощущает читатель в общении с этим писателем. Я совершенно уверен, что если бы Успенский вздумал обставить свой эпизод с Машей на тот манер, как обставлен эпизод с Ольгой у Лермонтова, то вышла бы вещь безобразная, фальшивая, «сочиненная» в зазорном смысле этого слова. Но он этого никогда не сделает и сделать орга-

нически не может. Сплошной напыщенный трагизм для него так же недоступен, как и противоположный полюс — беспредметное зубоскальство.

Доведя скопление комических подробностей до того момента, когда из них сама собой сложилась высокая драма, автор спускает читателя с этой трагической высоты по той же лестнице, по которой ввел его туда. Супруги Ивановы вполне счастливы тем, что ломались не даром. Оно и понятно. Дело не только в том, что беда миновала. Пиро- и гидротехник должен питать, кроме того, острое, нежное чувство к героической Маше, а сама она должна чувствовать некоторую вполне законную гордость. Счастье так велико, так полно и сложно, что супруги уж не гонятся за тычком. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную беседу о турецких пленниках ударом «вот в эту самую кость»; супруги — ничего, только прытче домой побежали. И читатель после того напряжения скорбного чувства, которое он сейчас только испытал, готов разделить это благодушное презрение супругов Ивановых: он тоже не гонится за тычком и не чувствует ни гнева, ни негодования на пьяную скотину, хотя она занимает свое очень определенное место среди «жестоких нравов нашего города». Не только общепринятый кодекс приличий, но и непосредственное нравственное чувство подсказывает, что лежащего не бьют и пленников не обижают. А пьяная скотина говорит: «Коли вы наши пленные, то вот вам в эту самую кость!» Мерзость великая, но в данную минуту она до такой степени тонет в счастливом возбуждении супругов Ивановых, что сами они ее почти не замечают, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь, однако, не забывая, как не забывает и Капитон Иванов, что это — «свинство, необразованность».

Такова еще одна особенность Успенского. Он рассказывает подчас возмутительные, ужасающие вещи, но почти никогда не возбуждает в читателе гнева или негодования. Грустное раздумье — вот наиболее обыкновенный осадок, остающийся на душе читателя сочинений Успенского. Достигается этот результат разными путями, но он почти всегда налицо. И грусть эта опять-таки не беспредметная, а, напротив, с совершенно определенным характером. Иной читатель, может быть, не совсем ясно сознает, отчего это ему показали настоящий фейерверк комических черт и черточек, а ему в конце фейерверка стало грустно; рассказали ему

ужасный случай возмутительного насилия, но он не гневается, а опять-таки грустит.

Причины этого выяснятся, я надеюсь, ниже сами собой. А теперь я прошу читателя взять какой-нибудь рассказ Успенского и прочитать его так, как мы вместе только что прочитали рассказ «Нужда песенки поет», то есть наблюдая за собой, за сменой ощущений и впечатлений, переживаемых при чтении. Почти безразлично, что именно выбрать для этого опыта, но я бы особенно рекомендовал, например, «Неизлечимого», или «Захотел быть умней отца», или «Дохнуть некогда», или «Обстановочку». Эффект будет, я уверен, один и тот же: сначала улыбка, другая, потом смех, иногда почти неудержимый, потом, тотчас вслед за вящим скоплением комических подробностей, более или менее горькое чувство, разрешающееся в конце концов грустным раздумьем. По-видимому, этот результат достигается чисто формальным приемом даровитого художника. Но, принимая в соображение постоянную повторяемость этого приема, принимая в соображение почти неотделимость у Успенского формы и содержания, мы должны предположить, что эта формальная черта имеет свое соответствие в самом мирозерцании автора, во всем его духовном складе. Забегая вперед, укажу другой случай такого соответствия. Аскетическое отношение Успенского к пейзажу, к физиономиям действующих лиц и т. п. есть дело формы, но она вполне соответствует некоторым аскетическим чертам в самом содержании его писаний. Облекаясь в «черную схиму» как художник, он и как публицист и мыслитель нередко зовет нас вроде как в пустыню. Так и тут. На дне каждого рассказа или очерка Успенского лежит глубокая драма. Из этого, в связи с некоторыми дурно понятыми обобщениями его (об них потом), иные считают себя вправе вывести заключение об его пессимизме. Ничего не может быть ошибочнее. Успенский не прячет ни от себя, ни от людей зла, которое видит на каждом шагу. Но пессимизм, как мрачная философия отчаяния, как уверенность в окончательном торжестве зла, ему совершенно чужд уже просто в силу стихийных свойств его таланта, складывающего драму из комических черт. Для безысходно мрачного взгляда на жизнь слишком велик запас смеха, которым он владеет. То особенное сочетание трагического и комического, которое ему свойственно, дает ему как бы две точки опоры в пространстве и одинаково



гарантирует его и против плоского оптимизма, и против ноющего пессимизма. Спрашивается, не есть ли эта счастливая способность видеть вещи одновременно с двух сторон, трагической и комической, эта стихийная гарантия против односторонней роскоши комизма и трагизма — не есть ли она драгоценнейший задаток именно внутренней гармонии, равновесия писателя? Фактический отрицательный ответ, к сожалению, слишком очевиден. Но этим отрицательным ответом нельзя удовлетвориться. Пусть печальные внешние условия помешали гармоническому развитию писателя, пусть этому способствовали некоторые природные его свойства, — сложная штука душа человеческая, и разные, прямо враждебные друг другу течения в ней сталкиваются. Но человек, так счастливо поставленный относительно комического и трагического элементов жизни, должен по крайней мере дорожить гармонией и равновесием, жадно и страстно искать их кругом себя, оскорбляться отсутствием их, радоваться их присутствию. Эта лихорадочная работа будет, может быть, тем интенсивнее, когда в самом-то писателе есть богатые задатки уравновешенности, но при этом он по собственному мучительному опыту знает, как тяжело отсутствие стройного порядка в душе. Можно думать, что такой счастливый и вместе с тем несчастный писатель именно сюда направит все свои силы, именно здесь будет искать и своего идеала, и своей меры добра и зла. Так оно и есть у Успенского.

Старинное деление (Сен-Симона) исторических эпох на органические и критические <sup>20</sup> может и теперь быть защищено. Несомненно, что есть эпохи, в которые все общественные отношения и принципы находятся в органической связи между собой и разные столкновения между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурные, не выходят за известные, более или менее строго определенные рамки, общие для всех их. Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живет в них людям сравнительно покойно. Разумею покой душевный, потому что за жизнь, за кусок хлеба людям всегда приходится беспокоиться. И в органические эпохи люди могут подвергаться величайшим насилиям и оскорблениям или подвергать им своих так называемых ближних, но при этом не шевелится совесть насильников и оскорбителей, не возмущается честь насилуемых и оскорбляемых. Общие принципы эпохи до-

пускают, мало того — освещают такие действия. Припомните для иллюстрации ну хоть, например, «Двух помещиков» Тургенева (в «Записках охотника»). Там один помещик, человек очень добрый и любезный, велит высечь на конюшне буфетчика Васю, который «с такими большими бакенбардами ходит», и потом, попивая чай на балконе в прекрасный летний вечер, прислушивается к звукам ударов и с улыбкой приговаривает в такт: «Чюки-чюки-чук, чюки-чюки-чук». А Вася с большими бакенбардами, в свою очередь после экзекуции, с не меньшим спокойствием гуляет по деревне и грызет подсолнухи. На вопрос о порке он отвечает, что этот барин даром не накажет и что такого барина и днем с огнем не сыщешь. Совершилось безобразное дело, но обе стороны по совести и чести признают его законным. Понятно, что в органические эпохи совершаются не только одни безобразия. Напротив, здесь возможны и высокие подвиги самоотвержения и любви. Мало того, вся жизнь иного человека в такие эпохи может быть сплошным подвигом терпения и преданности, и никто даже этого не заметит, если подвиг не выходит из рамок, определяемых господствующими принципами. Все существующие отношения, в своих общих и коренных частях, находятся в полной гармонии с ходячими нравственными понятиями. Противоречия, существующие в нравственном складе такого общества, могут быть усмотрены со стороны; но для сознания огромного, подавляющего большинства они просто не существуют. Буфетчик Вася с большими бакенбардами подвергается позорному наказанию — уже одно это грамматически правильное предложение заключает в себе, по-видимому, целый ряд непримиримых противоречий: как это можно — пороть человека «с большими бакенбардами?» Как можно пороть человека и в то же время называть его ласкательным и уменьшительным «Вася»? Как можно называть Васей, а то и Васькой, человека с большими бакенбардами, который вам не брат, не друг, не сын? Но этого мало. Если, например, этого обесчещенного позорным наказанием Васю сдадут в солдаты, то потребуют от него военных подвигов и смерти за честь родины, и он действительно предъявит эти подвиги и примет смерть с тем спокойным героизмом, который характеризует русского солдата. Но ни Вася с большими бакенбардами, ни его барин,

и никто другой не замечают этих противоречий и живут с спокойной совестью и невозмущенной честью.

Может быть, я и ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что если бы Успенский получил свое литературное воспитание и начал работать в подобную органическую эпоху, из него вышел бы писатель более спокойный и упорядоченный, и мы имели бы ряд его романов, повестей и проч., и стоял бы он не в стороне от большой дороги беллетристики, а там же, где стоят Тургенев, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшего поколения. Это не значит, конечно, что он примирился бы с тем равновесием, удовлетворился бы тою гармонией фактических отношений и нравственных понятий, какая предъясвляется каждой органической эпохой. Напротив, он занялся бы, может быть, и даже по всей вероятности, раскрытием противоречий, открывающихся в той гармонии для взгляда со стороны. Но именно посторонним-то зрителем ему не довелось быть, и выступать на литературное поприще ему пришлось не в органическую эпоху, а в критическую.

Вот как говорит Успенский о трудных временах 60-х — 70-х годов: «Освобождение крестьян, то есть одно только понятие об освобождении, сразу внесло невозможный для расслабленных семей, но великий идеал жизни — жизни, основанной на честном труде, на признании в мужике брата; вся прошлая жизнь была именно полным, беспощаднейшим и бесцеремоннейшим нарушением этого смысла — и вот настала гибель... И в эту минуту явились люди, воспитанные в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых, разлагающих понятиях, — например, что не думать легче и лучше, чем думать, что не работать лучше, чем работать, что работать должны мужики, а я вырасту большой, женюсь на богатой, поеду за границу и т. д. Этому-то поколению, воспитанному в образцовой школе бессовестности, пришлось лицом к лицу стоять с суровой русской действительностью... Началась с этой минуты на Руси драма; понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы... Послышались и благословения» («На старом пепелище»).

В другом месте, в очерке «Хочешь-не-хочешь», Успенский развивает ту же мысль несколько пространнее, причем выражает уверенность, что «среди такой массы глубоких сердечных страданий, несомненно, должен родиться могучий талант», который все это изобразит.

«Большого художника, с большим, в два обхвата, сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге, и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу; сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскалившихся от злости зубов! И все это рвущееся с пути, разбешенное, немощное — все это рвется с дороги только потому, что это новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может и не хочет помириться с новой мыслью. Словом, все это скопище терзается или радуется и смело идет вперед потому только, что надо всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучающая одних и наполняющая душу других несокрушимой силой».

Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенский считает центральным пунктом русской жизни в 60-е — 70-е годы: «болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести». Но они же хорошо характеризуют и самого писателя — направление его мысли и страстность его отношения к делу. Болезнь сердца, болезнь мысли, болезнь совести — это нарушенное равновесие духа. Успенский не скорбит об этом нарушении, потому что верит в величие и правоту новой мысли, которая его произвела. Но он скорбит о тех мятущихся душах, которые являются жертвами рокового столкновения старого с новым, скорбит именно об том, что они так много и болезненно мнутся, а мнутся они так потому, что душевное равновесие в них нарушено. Надо бы им подняться на высоту новой мысли всем существом своим и там, на этой высоте, достигнуть нового равновесия. Но они этого не могут. Что-то тянет их книзу, как многопудовая гиря. *Le mort saisit le vif* \* — наследие доброго старого времени не уступает своего места новой мысли. летописцем или иллюстратором этой мучительной неуравновешенности стал Успенский. Однако не сразу. В его ранних произведениях еще отсутствует специальная «болезнь сердца», совести. Но уже там намечена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назад, мы без труда увидим, что обособляло

---

\* *Мертвый хватает живого (фр.). — Ред.*

Глеба Успенского среди той группы молодых талантливых беллетристов, которая разом объявилась в шестидесятых годах. Первоначально мы видим только общую всем им склонность к изображению людей и нравов низших общественных слоев, и Глеб Успенский выделяется лишь своею манерою слагать драму из комических подробностей — манерою, только изредка и слабо проявлявшеюся у Николая Успенского и совершенно отсутствовавшею у Левитова, Слепцова, Решетникова. Но уже в «Разоренье» Успенский, сохраняя типические черты всей группы, специализирует и содержание своих писаний. С этих пор его занимает почти исключительно столкновение «новой мысли» с дореформенным порядком. Для примера остановимся на одной фигуре из этого периода его литературной деятельности.

Чиновник Павел Иванович Печкин (в «Наблюдениях Михаила Ивановича») ходил себе на службу, строчил разные бумаги, брал взятки, вытягивался перед советником и проделывал все это «с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами земля, а над головой небо; об этом даже и не думают. Павел Иванович делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого мирозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка — вещь гнусная и что Павел Иванович — подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» — говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то шелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательство честности в беспорочной пряжке<sup>21</sup>. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломилось в умственный мир Павла Ивановича и произвело в нем потрясение... Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды «прейдут», ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь, но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки... Затем пошли новые суды, неповиновение в народе (а в том числе и в кухарке),

и все это вместе внесло в душу Павла Ивановича множество самых непримиримых вещей».

В результате получился нелепейший брюзга, у которого неустанно льется с языка «сердитая чушь». Очень смешная фигура, как помнит или как увидит читатель в подлиннике, но только смешная. Драма, по обыкновению, есть и здесь, но она располагается *около* Павла Ивановича, который своей «сердитой чушью» делает жизнь окружающих непереносною. Сам Павел Иванович только смешон; автор не удостоивает вниманием ту все-таки же драму, которая внутри самого этого нелепого брюзги происходит. Он просто отмечает ее, не уделяя ей ни малейшего сострадания: туда, дескать, этому чучеле и дорога. Молодой автор, очевидно, до известной степени разделял еще не остывшие во время писания «Разоренья» веселые ожидания и розовые надежды русского общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надежд, тому розовому доверию к будущему, которым мы были тогда переполнены. Казалось, историческая дорога лежала перед нами такую ровную, гладкую скатерть, что только посвистывай да вожжами потрагивай. В ненавистном прошлом не было, кажется, уголка, не оплеванного с полнейшею и бесповоротною искренностью. Все весельем, надеждой дышало. И каждый встречный на улице подходил к вам и говорил:

Я пришел к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало 22

Как видно из всего «Разоренья» и в особенности из главной его фигуры — Михаила Ивановича, Успенский отнюдь не был охвачен таким оптимизмом; но все-таки по крайней мере путь к светлому будущему казался настолько ясным, что решительно не стоило придавать серьезное значение каким-нибудь ничтожным мукам ничтожного Печкина, не сумевшего прийти в равновесие с «новой мыслью». Черт с ним!

Позже, в начале семидесятых годов, Успенскому пришлось иначе отнестись к жертвам нарушенного равновесия: пришлось написать вышеприведенные строки о «болезни сердца» Оказалось, что душевное равновесие не так-то легко достигается в житейском море, взбаламученном новою мыслью, и что беспомощ-

но мнутся не одни дряни вроде Павла Ивановича Печкина. В этом удостоверяет вся группа очерков и рассказов, соединенных под общим заглавием «Новые времена, новые заботы».

Мы все еще в провинциальном городе, где имеют место и «Нравы Растеряевой улицы», и «Разоренье», и другие мелкие рассказы первого периода, а не в деревне, куда нас поведет Успенский потом. Но в этом городе нашего автора занимают уж не вообще нравы и люди, а специальная черта болезни совести. Его поражает прежде всего общая физиономия современного губернского города — «нечто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явлений, не имеющих друг с другом никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе». Прежде «гармония была во всем полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. — все это было пригнано и прилажено все к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, *не могло не только поражать ваш глаз, но даже ни на волос не обижало его*. Теперь не то. Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужу грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог», и т. д.

Я не стану выписывать дальнейшие подробности и обращаю внимание читателя только на то, что глаз художника «обижен» зрелищем нарушенной гармонии; ему «досадна» эта «путаница», хотя он знает, что гармония невежества, тряпья и дикости слагается все-таки из дикости, тряпья и невежества, а следовательно, вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно сорвавшееся с пера слово «глаз обижен» очень замечательно. Успенский оскорблен отсутствием гармонии в физиономии губернского города. Тем паче оскорблен он внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, в которой он главною чертою считает «большую совесть», нарушенное новою мыслью равновесие.

Вот, например, порожденный этой жизнью мещанин Б—в (в «Хочешь-не-хочешь»). Он несет «чушь» в своем роде не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не «сердитую» и пустопорожнюю, а покаянную и содержательную. Он вспоминает о блистательности своего положения, когда у него было «панталонов

одних летних шесть пар от Корпуса» и когда ему предлагали место на Невском у Пеструхина с жалованием в семьдесят пять рублей. Но ему «тьфу!» на все это. «Места, панталоны .. Господи, очисти живота от всего от этого». Его тянет куда-то в высоту, об которой, однако, он ничего путного сказать не может, и решает умереть, и действительно застреливается. Несмотря на смешные подробности монолога Б—ва, вы видите здесь настоящую драму, состоящую в том, что какие-то неизвестные обстоятельства ввели в слабую голову Б—ва массу новых мыслей, не уживающихся с прежним ее содержанием. Он рад бы рекой разлиться, весь мир залить своим стоном, и ничего из этих невероятных усилий не выходит: он все вертится около каких-то шести пар летних панталонов от Корпуса, которые сам глубоко презирает. В его мозгу копошится нечто бесконечно высшее, чем все эти летние панталоны и «места», но это нечто бьется, как птица в клетке, ища и не находя выхода, ища и не находя слов для своего выражения. Истинно «тьфу!» все эти панталоны и места. Никто их не презирает в такой степени, как этот самый мещанин Б—в. А между тем они назойливо лезут в голову, нет возможности согнать их с языка, нет возможности добраться сквозь них до того святилища души, где, точно в сказочном ларце за семью печатями, лежит таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей Б — ва из рая душевного равновесия.

Вот Верочка («На старом пепелище»). Она знает «новую мысль» в ее словесных выражениях, знает слова «труд», «равноправность», «независимость», даже ценит их, но соответственные мысли не могут пробить толстую кору, наслоенную на ее сердце наследием прошлого. А когда наконец эти мысли пробились до сердца, Верочка не выдержала и отравилась.

Вот дьякон («Неизлечимый»), спокойно живший с своим «свиным элементом» в душе, пока новая мысль не разрушила этого гармонического существования. Дьякон, вкусив от плода древа познания добра и зла, сознал в себе «свиной элемент», но ничего с ним поделать не может и мучительно раздумывает: «Возможно ли каким-либо манером фундаментально излечить и душу, и тело? Тело, например, восстанавливать медицинскими специями, а душу одновременно чтением?» И проч., и проч.



Это уж не Павлы Ивановичи Печкины, на которых можно было только плюнуть. Этим людям автор уже дарит своим участием и состраданием, признает их мучениками, а не мучителями, видит драму в них самих, а не около них. Но неужели же так-таки нет просвета? Неужели «новая мысль» бессильна создать новую высшую гармонию на место той «свиной», которую она разрушила, а ветхий человек решительно не способен облечься в нового и расстаться с своим «свиным элементом»? Как бы оно там ни было в действительности, но Успенский слишком «обижен» зрелищем дисгармонии, слишком страдает от него, чтобы не искать хоть какого-нибудь успокоения оскорбленному глазу. При всей своей беспорядочности и неуравновешенности он слишком богат *задатками* гармонии, чтобы отказываться от мечты найти ее, гармонию, хоть где-нибудь. И он ищет, ищет, доколе не омрачается его разум, а отчасти и с омраченным уже разумом. И я не знаю ничего трогательнее той лихорадочной страстности, тех порывистых усилий мысли, с которыми он совершает эти поиски. Он с грустью раздумывает о судьбе Б—ва, Верочки, дьякона и прочих, заболевших «сердцем», «совестью»; но, как бы ни были мрачны и безотрадны изображаемые им картины, он никого не ведет к отчаянию, к «складыванию ненужных рук на пустой груди». Должна где-нибудь быть эта так желанная гармония — или в настоящей действительности, или в будущем, которое можно, однако, теперь же определить. Но на беду наш автор очень требователен. В рассказе «Прогулка» фигурирует очень либеральный и образованный акцизный чиновник. Он следит за литературой, говорит, что «Один в поле не воин» Шпильгагена<sup>23</sup> — «превосходная штука», одушевленно ведет благороднейший разговор о необходимости народного образования, близко принимает к сердцу интересы европейской политики, неизменно вежлив с низшими, строго исполняет свои обязанности. Словом, это продукт уже, конечно, не дореформенной эпохи. Но вот этот гуманный и вполне современный человек отправляется производить дознание о беспатентной продаже водки. Дорóгой он прихватывает свидетеля солдата и сговаривается с ним, как им накрыть виновника. Дознание произведено, протокол составлен, и все это устроилось так, что присутствующий при этом посторонний молодой человек размышляет: «Как назвать, как определить эту гуманность, образованность,

которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?.. Вот с измученной совестью сидит на крыльце солдат... Вот вздыхает целая семья, видя перед собою голод... Бабы перестали петь, ушли».—«Да что же это такое?»— спрашивает он чиновника. «Порядок!»— категорически ответил чиновник и продолжал дорогу молча, срывая васильки и собирая из них букет для жены». Не этот «порядок», конечно, может послужить просветом для мечты сердца, жаждущего гармонии. Это даже и не «порядок», несмотря на то, а отчасти, может быть, именно потому, что чиновник соблюдает при составлении протокола все формы вежливости, а соблазнил солдата на предательство, рвет васильки. Или вот рассказ под названием: «Умерла за направление», в котором благодаря огромности и сложности общественного механизма человек, возымевший очень крупные надежды и планы, постепенно их суживает и приходит наконец даже к совершенно неожиданному результату. Рассказчика спрашивают, к чему он это рассказал. Он отвечает: «Как к чему? Да просто так сказал... Потому сказал, что поглядишь, поглядишь и не знаешь — что такое творится на белом свете! Вот почему. Тоска».

Нельзя ли с тоски-то с этой кинуться в мир фантазии и там, на свой собственный страх и риск, создать приятную фигуру «нового человека», который воспринял бы новую мысль во всем ее объеме и всем существом своим, вообще создать образец высокого, честного, сильного, правдивого и не мирящегося с наследием прошлого, но при этом и неуязвленного больною совестью? Можно. Это делали многие беллетристы. В литературе нашей существует целая коллекция романов, в которых фигурируют «новые люди» и которые производили в свое время известную сенсацию, но ныне почти забыты. Успенский посвящает этой литературе любопытную страницу в очерке «На старом пепелище». Он вполне признает ее историческую законность. В том обществе, которому казалось, что оно вдруг разорвало всякую связь с своим прошлым, необходимо должен был явиться запрос на изображение совершенно новой жизни и новых людей, и чтобы все в этих людях было добро зело, как в первые дни творения. Взволнованная Крымской войной, затем освобождением крестьян и другими реформами общественная совесть требовала великого, сильного, честного, в противоположность тому постылому прошлому, от которого она только что

отвернулась. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это так. «Но,— говорит Успенский,— между этими крайностями, то есть между недавним беспримерным нравственным падением и беспримерною жаждою нового и возвышенного, есть третья черта, черта подлинного состояния общественной души, забытая авторами, и старыми, и новыми: эта черта — страдание. Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуждение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собой, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обессиленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным,— автор делал большой промах: он предоставлял измученному представителю толпы биться как рыба об лед и давал полную возможность врагам своих идеалов во все горло хохотать над ошибками, бессилием, недомыслием человека, торопившегося перебраться с одного берега на другой, торопившегося от неправды, бессовестности уйти к совести и правде во всем».

Труден путь общественного обновления. Трудно прилаживаются к новой мысли люди, в течение веков воспитывавшие в себе, по выражению нашего автора, «свиной элемент». Новая мысль «жертв искупительных просит»<sup>24</sup>: она, как женщина, в болезнях родит чад. Даже успехи ее, по крайней мере на первых порах или тотчас после первого розового и не особенно надежного настроения, должны выразиться мучительным сознанием неуравновешенности, больной совести. Чем ярче свет новой мысли, тем, при условии полной искренности, сильнее освещает он потаенные закоулки души, где гнездятся остатки прошлого. Надо вконец истребить в себе эти остатки, и тогда получится новая, высшая гармония взамен разрушенной. Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей, как сказал древний мудрец<sup>25</sup>. Раз увидев свет, никто не захочет вернуться к тьме. Раз заболел совестью, мудрено вернуться к прежнему душевному равновесию, еще не обеспокоенному острыми иглами совести; но эти иглы производят боль, и надо искать выхода.

Герой очерка «Хочешь-не-хочешь», некий Петр Васильевич, нашел выход. Казнокрад, буян, развратник, он уже стариком получил «просияние своего ума», как выражается другой герой Успенского. Получил просия-

ние и «покаялся»: отказался от семьи, от всех выгод и удобств своего положения, ушел из дому и, проживая в своей бывшей деревне тайно от жены, которой некогда наделал много неприятностей, и изредка, тайком же, взглядывая на своего сына, стал, как умел, лечить крестьян и, как мог, учить крестьянских ребятишек. Этим путем он достиг душевного равновесия. Каясь за свое прошлое, он не имел в чем упрекнуть себя в настоящем и спокоен и светел, как дитя. «У меня вот шляпа поярковая,— говорит он,— коровьим составом я ее вымазал, запек в печи — она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах (то есть в «господской» среде), отдай пять да десять... да неведомо сколько другого причендалу потребуется хоть бы к одной к одежде... Не надо этого... Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?»

Так вот как достигается душевное равновесие.

### III

«Болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести» — это у Успенского синонимы. Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящие душу, принимают для него почти исключительно форму совести, то есть сознания виновности и жажды соответственного искупления и покаяния. Но совесть — не единственная сила, способная сверлить душу. Человек, охваченный угрызениями совести, стремится наложить на себя епитимьи и всячески урезать свой жизненный бюджет. Для себя ему ничего не нужно. Напротив, заморить грызущего его червяка он только и может лишениями, и потому он не только готов принять всякие оскорбления, даже до мученического венца, а сам ищет их. Препятствия для этой работы совести могут найтись только в самом субъекте, в его «свином элементе», если такой сохранится, а внешняя обстановка с таким человеком ничего не может сделать: для него лично, пожалуй, даже — чем хуже, тем лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича: чем больше холода и голода на него обрушивается, чем униженнее его положение, тем он светлее душой. Но в таком чистом виде работа совести встречается редко, хотя бывают целые исторические эпохи, ею окрашенные. Обыкновенно же коррективом его является работа чести, которая столь же способна нару-

шать гармонию «свиного элемента», только с другого конца, и точно так же может стать мотивом глубочайшей драмы. Работа совести и работа чести отнюдь не исключают друг друга. Между ними возможно практическое соглашение, они могут уживаться рядом, пополая одна другую. Но они все-таки типически различны. Совесть требует сокращения бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы, убивает ее носителя, если он не в силах принизить, урезать себя до известного предела; честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения переходят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я виноват, я хуже всех, я недостойн; человек возмущенной чести говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин. Работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права. Повторяю, исключительные люди совести, как и исключительные люди чести, составляют большую редкость; обыкновенно мы видим смешение этих двух начал в той или другой пропорции. Но в данную минуту герой драмы может находиться под исключительным влиянием того или другого элемента. И ясно, что болезнь чести имеет полное право стоять рядом с болезнью совести. Ясно, что драма оскорбленной чести может быть столь же сложна, глубока и поучительна, как и драма уязвленной совести.

Успенский, сосредоточив свое внимание на драме совести, почти совсем в стороне оставляет драму чести. Говорю — почти совсем, потому что некоторые намеки в этом направлении у него есть. Самый крупный из них — фигура Михаила Ивановича в «Разоренье». Едет Михаил Иванович в Петербург полный самых радужных надежд, что, добравшись там до сильных людей, он им расскажет, как обижают и притесняют простого человека, который, однако, не хуже других. На железной дороге он приятно поражен в своем настороженном чувстве чести теми «вы», «пожалуйста», «сделайте одолжение», с которыми к нему обращаются. Вместе с случайным дорожным знакомцем, пьяненьким мужиком, они делают разные опыты для удостоверения, что они не хуже других. Все удается: с ними неизменно вежливы, железнодорожные правила применяются к ним со-

вершенно в той же мере, как и к пассажирам «из господ». Но вот на одной из станций Михаил Иванович, обнявшись с мужиком, подходит к буфету с намерением выпить и закусить, подобно прочим.

— Бутенброту!— грозно восклицает мужик, влываясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:

— Дозвольте бутенброту, васкбродие!..

Михаил Иванович обижен таким поведением мужика, и тот сам чувствует свою вину. Это пустяки, конечно, но солнце отражается и в малой капле вод. «Новая мысль» преломилась в головах Михаила Ивановича и его спутника в форме чести, но они не приладились к ней, не привели в равновесие свое прежнее содержание и новую мысль. Отсюда это нелепое «грозное» восклицание мужика и быстро следующая за ним трусость. Этот мотив не разработан в сочинениях Успенского, частью, может быть, по внешним условиям, но частью и по самым свойствам его таланта и его умонастроения. Он часто рисует разных насильников, обидчиков, тиранов, но комические черты в этих рисунках расположены так, что весь этот люд, хотя и много зла делающий, оказывается пустопорожным и ничтожным. Таков, например, Павел Иванович Печкин. Такова в рассказе «Захотел быть умней отца» мрачная фигура злодея отца. По-видимому, это не только мрачная, но и очень большая сила: но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. В сущности, какая же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смешного, и завтра же, может быть, от него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смешного и ничтожного злодея Успенский не счел нужным даже показать нам, а между тем драматическое положение этого сына коренится, конечно, не в уязвленной совести, а в оскорбленной чести, которая, таким образом, и остается за кулисами. Сверх того, к анализу именно больной совести, даже в ущерб всему прочему, Успенского влечет родственность его художественного аскетизма с аскетизмом житейским. Сам он суживает свои права как художника до последней возможной степени и отказывается от всякой роскоши красок, линий, образов. Поэтому и в жизни ему симпатичнее или по крайней мере интереснее то восстановление душевного равновесия, которое достигается со стороны совести, то есть при по-

мощи лишений и отказа от всего яркого и цветного. Как бы то ни было, но это большой пробел в деятельности Успенского. Мы еще встретимся с этим обстоятельством ниже, а теперь, возвращаясь к прерванному разговору о покаявшемся Петре Васильевиче («Хочешь-не-хочешь»), я замечу следующее. Аскетизм Петра Васильевича, на котором отдыхает, наконец, глаз художника, оскорбленный зрелищем неуравновешенности, отнюдь не имеет созерцательного характера. Это не тот аскет, который залезает на столб или удаляется в леса и болота и там, никого не видя, только сокрушается о своих грехах. Он аскет деятельный, постановивший себе задачей служить ближнему делом: он лечит больных и учит ребят. Это важно заметить для дальнейшего.

Как бы ни было успокоительно для глаза, ищущего гармонии, зрелище того душевного равновесия, которого достиг Петр Васильевич, но это во всяком случае исключительное явление. Это, пожалуй, тоже своего рода «новый человек». Правда, указан и назван путь, которым он добрался до своего пьедестала — путь страдания. А все-таки Петр Васильевич на пьедестале стоит, на возвышении, недоступном большинству. Глаз, оскорбляемый неуравновешенностью, может на нем только временно отдохнуть и затем по необходимости должен перейти к явлениям более обыденным и опять оскорбляться и опять искать гармонии.

Успенский отправился с своими поисками в деревню. Это как раз совпало с усиленными литературными толками о народе, в которых Успенский занял совершенно оригинальную позицию. Он ушел в деревню все с той же преследующей его мечтой найти отдых глазу, оскорбленному неурядицей, бестолковостью и противоречивостью явлений жизни. При этом была, очевидно, и надежда, что там, в деревне, где жизнь сравнительно не сложна, где поярковая шляпа, вымазанная коровьим составом, до которой едва дострадался Петр Васильевич, есть вещь вполне обыкновенная; что там легче найти равновесие между нравственными понятиями и фактическим строем жизни, между потребностями и способами их удовлетворения, между словом и делом. Разное, однако, ожидало его там, и он, с свойственной ему нервной торопливостью и искренностью, предавал тиснению все, что он видел, думал, чувствовал. Тут были и разочарования, и радости. Не раз сбегал он из деревни то в Европу, чтобы его там «выпрямила» Венера

Милосская, то в ту же Европу, чтобы посмотреть, как живут люди, хорошо ли, худо ли, но вполне сознательную жизнью, то к далеким кавказским сектантам, то к измученным русскою болезнью совести добровольцам в Сербию, но все-таки возвращался все в ту же деревню, и опять искал там, и мучился, и радовался. Так как одно время литературные толки о народе вызвали было в обществе некоторое движение в направлении к деревне, то Успенский и эти попытки сближения с народом ввел в круг своих наблюдений и размышлений. Люди искренней мысли всегда высоко ценили деревенские впечатления Успенского, ибо они, по своей необыкновенной правдивости, всегда заслуживали по крайней мере быть принятыми к сведению при обсуждении живого дела. Но ко всякому живому делу пристраиваются разные узколобые доктринеры и кляузники, стремящиеся омертвить его и тем низвести до своего уровня. Таким не могла нравиться деятельность Успенского, слишком для них живая и смелая. Они решительно терялись — какой, собственно, ярлык на него навесить, а ярлыков собственного изобретения у них было много: не то «народник», не то только «народолюбец», не то еще какой-то и даже «презрительно и высокомерно относится к народу»<sup>26</sup>. Это не было скромное и естественное «недоумение нулей, к какой пристать им единице»<sup>27</sup>. Нет, нули, круглые нули комически негодовали, что к ним не пристают действительные величины. Успенский оставался, конечно, все тем же Успенским и шел своей мучительно трудной дорогой. Я не буду следить за всеми перипетиями его поисков идеала в деревне и остановлюсь только на нескольких крупных чертах.

Между прочим, Успенский пришел к парадоксальному, по-видимому, выводу, что в народной среде (а может быть, и не в ней одной) улучшение материального положения не только не ведет к действительному благосостоянию, а, напротив, губит людей, опустошая их нравственно, а затем приводя к вящему разоренью. Мысль эта его очень занимает: он развивает ее и в нескольких отдельных очерках (например, «Перестала!», «Взбрело в башку» и проч.), и в единственном своем более или менее законченном произведении «Власть земли», и в статьях «Без своей воли», «Из разговоров с приятелями», составляющих как бы послесловия к «Власти земли». Отсюда, на поверхностный



взгляд, могут быть сделаны некоторые крайне удивительные заключения, отнюдь не мирящиеся с общим характером деятельности Успенского. Но приглядевшись ближе, увидим прежде всего, что Успенскому не до эффектных парадоксов. Он пристально вглядывается в поразившее его явление, ищет его смысла и производит эту операцию не в кабинете, в тиши которого можно расположить свои наблюдения и выводы в стройную систему, а, так сказать, на людях: вы видите не только результаты работы, а и процесс ее. Об этом, впрочем, уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь к этому обстоятельству, так только для того, чтобы иметь право для объяснения истинного смысла вышеприведенного парадоксального вывода по-своему располагать разные отдельные места сочинений Успенского.

В очерке «Без своей воли» записаны разговоры трех приятелей. Один из них, только вернувшийся из какой-то поездки, передает, между прочим, слышанный им рассказ о том, что родился антихрист. Народился он не у нас, а в «каком-то особом царстве». Вот как будто бы было дело.

Нанялся к некоему князю повар и тотчас же начал всячески угождать и делать добро остальной прислуге. Слухи об его доброте стали распространяться и дошли до самого князя, который полюбил его, а эту любовь повар воспользовался опять-таки на благо разных обращавшихся к нему за помощью бедных, простых людей. Со всех сторон валил к нему черный народ с своим горем и нуждой, и все получали помощь, всем он выхлопывал у князя кому что нужно. Так дело и теперь стоит: повар все благодетельствует и помогает простому бедному люду. Но лет примерно через двадцать произойдет следующий случай. Надо заметить, что благодетельный повар никогда не снимает с рук белых перчаток. И вот князь созовет к себе в гости «прочих всех китайских и эфиопских князей», и будет им служить повар в белых перчатках. Гости — «князя и разные султаны» — заинтересуются этим и попросят князя-хозяина, чтобы он приказал повару снять белые перчатки. Князь прикажет, но повар дважды откажется исполнить приказание, и только когда князь в третий раз с гневом прикажет, повар с гневом же сорвет белые перчатки. Тогда все князья и султаны увидят, что повар есть антихрист: на одной руке у него окажется копыто,

на другой — когти. Все князья и султаны в ужасе разбегутся, в том числе и хозяин. Народ, помня благодеяния повара, выберет его князем, но вместо ожидаемых милостей он с первого же дня обнаружит необузданную жестокость. В особенности плохо придется тем, у кого руки окажутся «чистыми, нежными, без мозолей, то есть без этих копыт и когтей». Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть. А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков. Потом начнется пожар земли, воскресение мертвых, страшный суд.

Один из собеседников, выслушав этот рассказ, замечает, что «эту легенду об антихристе он на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд, он ознаменовывает свое пришествие добрыми делами. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь... Почему же зло, гибель, несчастье и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как будут необыкновенно легко исполняться все желания, снимутся все тяготы?»

Признаюсь, я никогда не слышал такой русской легенды об антихристе. Полагаю, что она не коренного русского происхождения. Она невольно напоминает следующее иранское сказание. После тысячелетнего царствования Йема, в течение которого люди были так счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престол вступил нечестный Дахака. Сам Ариман поступил к нему на службу в виде *повара*. Повар этот стал постепенно приучать Дахака к мясной пище. До тех пор люди питались только растительной пищей, а тут стали есть сначала яйца, потом птиц, потом говядину. Дахак был очень доволен гастрономическими нововведениями, но когда однажды повар Ариман поцеловал царя в оба плеча, то из тех мест, куда пришли поцелуи, выросли две змеи, а повар исчез. Змей отрезали, но они опять выросли, и опять, и опять. Тогда повар вновь появился, но уже в виде врача, и посоветовал кормить змей человеческим мозгом. И т. д. История кончается благополучно — низвержением Дахака и торжеством добра.

Я не знаю, родственно ли это сказание с легендой об антихристе, приводимой Успенским, фактически. Но они родственны по содержанию; и не только потому, что там и тут воинствующее злое начало — антихрист и Ариман — принимает обличье повара, а и потому, что там и тут повар является источником удовольствия, наслаждения, которое оказывается, однако, пагубным. Но в иранском сказании двусмысленный характер благодеяний злого начала раскрывается яснее. Дело не в благодеяниях вообще, а специально в предоставлении новых наслаждений, дотоле народу неизвестных, причем, может быть, имеет значение и то, что наслаждения эти низшего порядка — гастрономические. Иранское сказание видит торжество зла не в том, что «будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы», а в том, что водворится роскошь, люди захотят лишнего, того, что прежде было им даже неизвестно. Это гораздо проще и понятнее, но, может быть, та же мысль лежит и в основании легенды об антихристе, только замаскированная. Если бы это последнее могло быть доказано, то стало бы вместе с тем понятно, что постоянно звучащей в Успенском аскетической струне симпатична легенда об антихристе: в ней ведь та же струна звучит. Но, как уж было замечено выше, близкий сердцу Успенского аскетизм отличается деятельным характером. Он сам слишком впечатлителен и деятелен, чтобы другим рекомендовать и себе позволить спокойное созерцание, хотя бы возможность его и была достигнута отрешением от всего «лишнего» и от всякого греха, с этим «лишним» связанного. А это обстоятельство вносит в аскетическую программу такую огромную поправку, что в известном смысле она даже перестает быть аскетической.

В очерке «Перестала!» Михайло говорит, что «нам свою мужицкую силу нельзя по ветру распускать, нам нужна запряжка, *чтобы дохнуть некогда было*». Это Михайло говорит, умудренный горьким опытом и получив «просияние своего ума» от калашницы Артамоновны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вот как допекала Михайлу и его жену: «Глупый ты, безбожный и безрассудный балбес! До чего ты довел свою жену и до чего сам себя произвел? Не дурак ли ты? Хотел прожить с женой весь век за самоваром; думал ты, дурак, что будет она тебе *благодарна, ежели ей только чай с сахаром пить, а ни-*

*какого беспокойства не иметь? Куда ж она силу-то свою денет, подумал ли ты? Ведь у ней, у жены-то твоей, на четырех баб силы-то хватит, а ты думаешь чаем ее отпоить?.. И этакую-то золотую бабу ты, балбес, думал на всю жизнь оставить без затруднения? Почему же ты не делаешь ей в жизни затруднения? Ведь она всего хочет, понимаешь ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваром хочешь отбояриться?»* Жена Михайлы тоже получает от Артамоновны наставление: «А ты-то, балалайка бесструнная, что думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, так и то бы тебе *потрудней* было, *повеселей*. Ах вы глупые, бессовестные! Задумали без крестьянского хомута век вековать!»

Итак, между словами «потрудней» и «повеселей», выражающими, по-видимому, такие резко отличные понятия, может быть поставлен знак равенства. Итак, на человека должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда и только тогда настанет мир в его душе, но не на почве отречения от радостей жизни; напротив, тут-то и достигнется настоящая радость, и человек, который «всего хочет», которому «все нужно», «все» и получит. Михайло и его жена в очерке «Перестала!» не исключительные какие-нибудь явления. Совершенно как у Михайлы, у Ивана Босых во «Власти земли» расстройство материальное, расстройство семейной жизни и всякое другое пошло «от легкой жизни». Так и народ понимает дело, как видно из легенды об антихристе. Нужен труд, ужасно много труда, так чтоб «дохнуть некогда» было, по выражению Михайлы.

Как раз под этим заглавием: «Дохнуть некогда» — у Успенского есть превосходный очерк, одно из лучших его произведений по яркости фантазии, по богатству юмора, по ясности мысли, по редкой для него художественной законченности. В этом очерке усиленный труд, труд почти каторжный и во всяком случае такой, что «дохнуть некогда», представляется уже в совершенно другом освещении. Он является здесь источником не мира душевного, а, напротив, вечной тревоги. Михайло, Иван Босых и другие подходят к самому краю пропасти или ввергаются в нее «от легкой жизни», и спасение их в труде до предела, «дохнуть некогда». Судебный пристав Апельсинский, исправник Арапкин, смотритель маяка и другие, фигурирующие в очерке «Дохнуть некогда», становятся героями мучительных

драм, напротив, именно потому, что заглавие очерка приходится им по шерсти; их гибель именно в *нелегкой* жизни, они уж никак не поставят знака равенства между словами «потрудней» и «повеселей». Значит, есть труд и труд; труд благотворный для трудящегося и труд губительный; труд, прекращающий мучительную драму всяческого расстройств, и труд — источник этой драмы. Постараемся рассмотреть эти два типа драмы отдельно; постараемся, потому что Успенский сам часто их сопоставляет, не легко обойти эти авторские сопоставления.

В деревне происходят разные непорядки. Это ни для кого не тайна. Благонамеренные люди разных оттенков знают и причины этих непорядков, лежащие в экономических условиях. Знает их и Успенский, знает, конечно, лучше многих рассуждающих об этом предмете. Но его интересует главным образом не эта сторона вопроса. *Magenfrage*, как сказал бы немец, поднимается для него до степени *Seelenfrage*, или, как выражается он сам, вопрос «народного брюха» до степени вопроса «народного духа». «Земля» есть не только источник мужицкого пропитания, но и главнейший фактор, определяющий все мирозерцание крестьянина и весь его житейский обиход. «Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные работы и т. д., и т. д.» — все стороны народной жизни проникнуты влияниями земледельческого труда. И эта-то «власть земли» как всеопределяющий фактор устанавливает гармонию в народной жизни, гармонию, до которой нам, разрываемым на части и собственной совестью, и внешними условиями своего существования, как до звезды небесной далеко. Из этого не следует, однако, чтобы все было благополучно в народной среде.

Я видел где-то такую карикатуру: лежит мужик, полураздавленный подобием земного шара («земли»), а Успенский изо всех сил толкает этот шар вперед<sup>28</sup>, на мужика, с очевидною целью окончательно его расплюснуть. Карикатура имеет свои условные права, и в данном случае, может быть, она и не вышла за пределы этих прав. Но надо все-таки понимать, что для Успенского «потрудней» значит «повеселей», по крайней мере в применении к мужику. Не раздавить мужика трудом хочет он, а, напротив, предоставить ему весь простор жизни, который, дескать, наилучше обеспечивается земледельческим трудом. Некоторым из своих действу-

ющих лиц Успенский разрешает говорить на эту тему вещи с известной точки зрения абстрактно справедливые, но фактически несколько рискованные. В очерке «Овца без стада» один «молодой, необыкновенно талантливый мальчик» с азартом утверждает, что мужик есть счастливейший из людей, потому что он благодаря характеру своего труда живет полною и вполне уравновешенною жизнью. «Участь мужика-крестьянина не только не печальна, но решительно отрадна сравнительно с бесчисленными профессиями, на которые раскололся род человеческий». Мужик делает «все сам» и потому «все сам знает, решительно все... просто-таки все знает, да и шабаш!» И т. д., и т. д. Все это говорит «молодой, необыкновенно талантливый мальчик». Собеседники же находят, что это лишь талантливая «иллюстрация к мужику», что мужик тут «хорошо разрисован», хотя признают, что кое-где, изредка и отдельными чертами, эта «иллюстрация» осуществляется и в действительной жизни. В «Разговорах с приятелями» Протасов утверждает уже не так решительно, как упомянутый «мальчик»: «Уравновешенность духовной и физической деятельности, встречающаяся в нашем крестьянстве, в *счастливых случаях*, в полной чистоте и совершенстве, делает его поистине образцом того, к чему должен стремиться так называемый прогресс». А когда Успенскому, как во «Власти земли», приходится говорить лично от себя, то он выражается еще скромнее и трезвее. Он, например, пишет и подчеркивает: «В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненно и особенно пленительна та *правда* (не *справедливость*), которую освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность». Успенский знает и от людей не скрывает, что в народной среде совершаются возмутительные по своей жестокости вещи, но они совершаются с чистою, спокойною совестью: «Все они, с точки зрения мирозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их, чистыми сердцем, как голуби».

Может ли глаз, оскорбленный дисгармоническими явлениями и жаждущий видеть хоть какую-нибудь гармонию, успокоиться на этой, как говорит сам Успенский, «зоологической», «лесной», «звериной» «правде»? Она ведь представляет полную уравновешенность понятий и поступков, в ней нет места «больной совести»

и другим болезненным продуктам нарушенной гармонии? Отдохнуть глаз может, но успокоиться — нет. И вот почему: «Так как этот труд весь в зависимости от законов природы, то и жизнь его (мужика) гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой *своей* мысли. Вынуть из этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заменить своей человеческой волей, своим человеческим умом, а ведь это как трудно, как мучительно!» («Без своей воли»). Значит, уже тем нехорошо зоологическое, лесное равновесие, что оно неустойчиво. Оно может непоколебимо простоять сотни лет, но может и рухнуть в один день, если из него будет вынута хоть капелька, хоть песчинка. А разных случайностей, способных вынуть эту песчинку, не оберешься. Вот, например, история, рассказанная в очерке «Не случись». Просто весна ранняя встала, «никогда старики такой ранней весны не видывали». Вследствие этого и весенние работы необычно рано кончились, и пришлось перед Петровым днем две недели необычного досуга, которого решительно девать некуда. Разыгрались люди, да в игре-то и убил человек нечаянно родного отца, а потом и острог, и обнищание, и сестра от нищеты «гулять» пошла. Целая огромная драма. Есть и другие случайности, которые уже ни в какой связи с явлениями и законами природы не состоят, а между тем благодаря им «народная масса поминутно выделяет из себя массу хищников, кулаков, мироедов» («Из деревенского дневника»). Благодаря частью этим хищникам, а частью бедам стихийным, вроде сибирской язвы, погиб и Иван Босых во «Власти земли». Сунулся было Иван служить на железную дорогу; и отлично, казалось бы, вышло: тридцать пять рублей в месяц жалованья, а работы мало, да и то «легкой». Но эта-то «легкая жизнь» и вынула песчинку из гармонического мужицкого существования. Там работа тяжелая, но в ней душа участвует: человек делает дело ему близкое, надобность которого ему совершенно понятна; он живет в своем труде, а не добывает только при помощи его средства к жизни; он связан с этим трудом всем существом своим. Всей этой полноты и гармонии существования Иван Босых не мог, конечно, найти на железной дороге, где он был лишь одним из колес огромного механизма, до целей и смысла которого ему не было никакого дела. Вследствие этого и его

собственная жизнь потеряла всякий смысл, он стал пьянствовать, безобразничать, и все от «легкой жизни».

Совокупность подобного рода драм от легкой жизни и приводит к легенде об антихристе и к общему тезису, что в мужицком быту облегчение существования ведет к гибели. Тезис, по-видимому, глубоко пессимистический. Но, поставленный в надлежащие рамки, он не заключает в себе решительно ничего пессимистического. Он только ставит перед нами новый вопрос: как сохранить гармонию мужицкого существования, но вместе с тем поднять зоологическую, лесную правду до степени правды человеческой и тем самым создать равновесие устойчивое? Для этого, очевидно, надо отнюдь не «капельки» и «песчинки» вынимать из лесной правды, а сразу поднять ее на высшую ступень, сохраняя ее гармонический строй. В старину это делали святые угодники. Не отрывая человека от земледельческого труда, не нарушая его многосторонних связей с землей, они, проповедуя истины христианской нравственности, старались поднять зоологическую правду на степень божеской справедливости. Ныне эта высокая обязанность лежит на интеллигенции, ибо и святые угодники были интеллигенцией своего времени. Мы должны их взять за образец для своей деятельности. Они, не нарушая коренных основ земледельческого быта, не боялись внести в неприготовленную, по-видимому, среду лучшее, высшее, до чего додумалось и дострадалось человечество — христианскую истину. Они не думали, что людям, которые «звериным обычаем живяху», надо «пережить весь смрад развалившегося мира, прежде чем вкусить христианство», — они знали, что «звериному обычаю незачем переживать всевозможные благообразные изменения этого обычая, раз уж есть нечто лучшее, высшее всего этого звериного благообразия. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человеческое сердце, взяли христианство, и притом в самом строгом, неподслащенном виде». Так и мы должны поступать. Коренные основы земледельческого быта, гармония земледельческого труда должна быть для нас неприкосновенною; но мы должны внести в нее свет разума, свет истины, лучшей, высшей, несомненной, какую мы знаем или можем знать. Но беда в том, что, независимо от недостаточности нашего сходства со святыми угодниками в смысле самоотвержения и преданности идее, мы еще «роемся в каком-то старом на-



циональном и европейском хламе, в европейских и национальных мусорных ямах».

Для пояснения этих последних слов читатель найдет во многих местах сочинений Успенского иллюстрированные размышления о европейской и русской жизни и параллели между ними. Успенский одинаково чужд и национального мистицизма и самохвальства, с одной стороны, и преклонения перед Европой — с другой. Это тоже один из пунктов, перед которым с разными вывертами недоуменно останавливаются узколобые доктринеры и кляузники. Успенский, вместе с многими благомыслящими и любящими свою родину людьми, верит, что в нашей жизни есть задатки великого исторического будущего и великого счастья. Но это только задатки, представляющие случай неустойчивого равновесия и потому требующие оплодотворения сознательной идеей. Предоставленные на волю стихийных исторических сил в качестве «национальных особенностей», они съедят сами себя и разовьются именно в те европейские порядки, которые так презренны и ненавистны мистикам национализма. Это уже и делается теперь, и чем дальше, тем быстрее. Европейские же порядки, полные всякого блеска и красоты, но и глубочайших страданий, должны быть для нас, в смысле руководящих начал, только готовым, даровым резервуаром исторического опыта. Мы имеем полную возможность черпать из этого резервуара без всякого пристрастия в какую бы то ни было сторону, то есть без нелепых восторгов перед всем европейским и без столь же нелепого презрения ко всему европейскому. Нам незачем проделывать весь скорбный и трудный опыт европейской истории, раз уж он там проделан и раз сама европейская мысль, признав ошибки прошлого, додумалась до чего-то лучшего и высшего, чем наличные европейские порядки. Но эту выстраданную Европой мысль мы должны чтить и именно ею оплодотворить те стихийные задатки величия и счастья, какие у нас имеются. «Смотри в оба» — так можно бы было формулировать эту точку зрения, одинаково свободно относящуюся к европейским и русским порядкам. Смотри в обе стороны, ибо там и тут есть нечто ценное, и смотри в оба, ибо в огромной сложности общественной жизни легко затерять это ценное, что должно быть дороже зеницы ока...

Я стараюсь следить за разбросанною по сочинениям Успенского мыслью независимо от разных случайных ее уклонений. Уклонения эти определяются свойствами впечатлений, получаемых автором. Надо помнить, что он своими боками отдувается за каждый свой идейный шаг. Непосредственные впечатления, то радостные, то мрачные, носят его по волнам житейского моря. При его склонности торопливо, тут же на месте теоретизировать эти впечатления, и именно в направлении их гармоничности или негармоничности, конечно, возможны разные ошибки: он иногда радуется тому, что оказывается при ближайшем рассмотрении фикцией или иллюзией, и приходит в отчаяние от того, что вовсе уже не так страшно. Но в общем мысль его всегда удивительно верно направлена к добру и правде. Никогда не впадает он, например, в те заблуждения принципиального характера, которые свойственны многим и многим, бездарным и даровитым, крылатым и бескрылым писателям, уделяющим свое внимание народу. Еще недавно у нас много писалось о народе. До такой степени много, что стали даже раздаваться негодующие голоса, что, дескать, «от мужика в литературе проходу нет». Оценке этого негодования Успенский посвятил очерк «Наконец, нашли виноватого», очень злой и раздраженный. С его точки зрения, народу уделялось не слишком много, а, напротив, слишком мало внимания. Если зарождение и распространение «новой мысли» связано с освобождением крестьян, то понятно, что эта новая мысль повелительно требует нарочитого внимания к судьбам народа. Если многомиллионная масса русского народа несет в себе великие задатки чистой совести и духовной гармонии, то понятно, какой огромный интерес для всякого мыслящего человека лежит в этом пункте. Но, исходя из этих или подобных упований, иные спешили сделать из народа — из конкретного народа, каков он есть сию минуту во всех исторических осложнениях представляемой им идеи — какого-то идола и стучали лбом перед этим идолом. Для умов ленивых и узких это, конечно, легче, чем критически разбираться в сложных явлениях жизни. От такого идолопоклонства Успенский был гарантирован помимо всего прочего уже самую жизненностью своей работы: слишком тяжелы и болезненны были многие вынесенные им из деревни

впечатления и слишком смел и правдив был он сам, чтобы сотворить себе кумира. Давая злую отповедь тем, кто жаловался, что в литературе от мужика проходу не стало, он искал и находил в народе и драгоценное зерно и негодную шелуху. Этого мало. Само по себе идолопоклонство просто глупо, но у нас оно одно время вступило в союз с элементами прямо нравственно безобразными.

Между прочим, под покровом толков о народе происходила самая гнусная, самая возмутительная травля на интеллигенцию, а вместе с нею и на просвещение вообще. Точно стая собак накинулась на этого лежачего, и были тут представители, кажется, всех возможных пород, так что странно даже было их видеть соединенными в одну стаю. Дело шло не об наличном составе нашей интеллигенции, не об уличении ее в таких-то и таких-то недостатках и слабостях, каковое уличение естественно предполагало бы призыв к иной, лучшей деятельности. Нет, предполагалось просто упразднение интеллигенции якобы для того, чтобы очистить место мужику, земледельцу. Это не мешало, конечно, господам упразднителям продолжать издавать газеты, писать статьи и книги, вообще делать то самое дело, упразднение которого оказывалось столь необходимым, и это придавало несколько комический характер позорной травле. Как раз около этого времени Успенский, при всем своем увлечении идеалами земледельческого труда, отводил, как мы видели, интеллигенции высокую миссию, такую высокую, что выше пожалуй что и не выдумаешь.

Значит, не в одном земледельческом труде спасение. Есть и еще какие-то виды деятельности, нужные, полезные, ценные и, быть может, столь же способные установить или восстановить душевное равновесие.

В одном провинциальном издании известный путешественник Потанин сообщил<sup>29</sup>, что в некоторых деревнях Вятской губернии принято за правило в тех семьях, где не родилось мальчиков, а одни девочки, некоторых из этих девочек прямо посвящать с раннего детства мужскому труду, причем даже имена таким женщинам-мужчинам даются мужские: Елизавета превращается в Елисейку. Это сведение привлекло к себе внимание Успенского. «Елисейки — это удивительно красивые существа,— говорит он (в «Мечтаниях»).— Елисейка — ни мужчина, ни женщина и в то же время

женщина и мужчина вместе, в одном лице — это зерно чего-то вполне совершенного». Совершенство, точнее — *зерно* совершенства, состоит в том, что в Елисейках нет или предположительно не должно быть утрированного развития «женственности» и «мужественности», какое мы видим обыкновенно вокруг себя, а специально женские и специально мужские черты гармонически сливаются в них в одно целое, уравнивая друг друга. Принимая в соображение некоторые общие взгляды Успенского, можно бы было думать, что эта гармония мужских и женских качеств окажется исключительно принадлежностью крестьянского, земледельческого быта. Однако это не так.

В «Разговорах с приятелями» идет, между прочим, речь об одной картине. На ней изображена девушка в очень простом платье, в пледе, в мужской шапочке, с подстриженными волосами; она идет по улице, только и всего<sup>30</sup>. Но, по словам рассказчика, в ней необыкновенно привлекательны «чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли... Главное, что особенно светло ложится на душу, это то, что прибавившаяся к обыкновенному женскому типу — не знаю, как сказать — мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками и т. д.) не приклеенная, а органическая... Это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый тип».

В очерке «Выпрямила!» читатель найдет восторженные страницы, посвященные статуе Венеры Милосской. В свое время многие были удивлены этими восторгами. И в самом деле, на первый взгляд они, казалось бы, совсем не идут к Успенскому, так аскетически холодно относящемуся к «искусству», к художественности, ко всякой красоте. Успенский, столь сердито, при случае, настаивающий на водворении мужика в литературе, обыкновеннейшего серого мужика, и вдруг — Венера Милосская! Однако Успенский остается здесь все тем же Успенским и ни на единый волос не изменяет своему всегдашнему, задушевному. Прежде всего он замечает у Венеры Милосской «право, сказать совест-

но, почти мужицкие завитки волос по углам лба». В отличие от всех других Венер, тут же, в Лувре, и в других местах стоящих, Венера Милосская совсем не есть олицетворение «женской прелести». Напротив, художник для создания этой «каменной загадки» «брал то, что для него было нужно, и в мужской, и в женской красоте, не думая о поле, а пожалуй, и о возрасте». Венера Милосская есть «человек», идеал человека в смысле гармонического сочетания отдельных человеческих черт, разбросанных ныне как попало и куда попало. Художник хотел познакомить человека «с ощущением счастья быть *человеком*, показать всем нам и обрадовать нас видимою для всех возможностью быть прекрасными». Достоин внимания, что в памяти Тяпушкина («Выпрямила!» есть «отрывок из записок Тяпушкина») образ Венеры Милосской, виденной им за двенадцать лет перед тем, возник не сразу.

Ему предшествовали два как бы подготовительные воспоминания. Во-первых, вспомнилась ему деревенская баба, которую он когда-то видел во время сенокоса. Баба была самая обыкновенная. Но — вся она, вся ее фигура, с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так жила, а *не работала*, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которыми были слиты и ее тело, и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «Как хорошо!»

Затем вспомнилась Тяпушкину другая фигура — фигура девушки строгого, почти монашеского типа»<sup>31</sup>.

«Глубокая печаль, печаль о *не своем горе*, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну*, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее душу, в ее сердце, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что могло бы «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которую она олицетворяла, — что, при одном взгляде на нее, всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось простым, легким, успокаивающим и вместо слов: «Как страшно!» — заставляло сказать: «Как хорошо! Как славно!»

Мне кажется, что одно это сопоставление Елисейки, девушки в плеле, Венеры Милосской, бабы на сенокосе, девушки строгого, почти монашеского типа, сопоставление, наполовину самим Успенским сделанное, свидетельствует, что его восторги перед Венерой Милосской не представляют чего-нибудь побочного или случайного. Художник огромного дарования, с огромными задатками вполне гармонического творчества, но разорванный частью внешними условиями, частью собственной впечатлительностью, страстным вмешательством в дела сегодняшнего дня, — он жадно ищет глазами чего-нибудь не разорванного, не истощенного болезненными противоречиями, чего-нибудь гармонического. И вот после долгой муки искания — вздох облегчения: «Ах, славно! Ах, хорошо!» Страдания, на которые идет девушка строгого, почти монашеского типа; каторжный труд, на который осуждена Елисейка или баба на сенокосе; лишения и оскорбления, которым может подвергаться девушка в плеле, — все это ничего, все это даже хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, целиком. «Ах, хорошо! Ах, славно!..» Но без страданий, без лишений и такого труда, чтоб было «дохнуть некогда», это высокое душевное равновесие возможно только в далеком будущем или в качестве слабо мерцающего идеала, намек на который дает «каменная загадка» Венеры Милосской. Измученный художник с благодарностью склоняется к подножию «каменной загадки» с «почти мужицкими завитками волос в углах лба...». Наверное, никто, кроме Успенского, так не восторгался Венерой Милосской.

Но хотя у Венеры Милосской и мужицкие завитки волос, а ясно все-таки, что душевное равновесие, гармония жизни достигается не одним земледельческим трудом. Мы уже имели этому примеры в деятельности святых угодников, в роли, отводимой интеллигенции; видим теперь в девушке с пледом и в девушке строгого, почти монашеского типа. Во всех этих светлых образах есть какая-то аскетическая, если не прямо страдальческая черта, соответствующая тому труду «дохнуть некогда», который сдерживает равновесие в мужицкой жизни. Успенский с особенною любовью останавливается на тех подвигах святых угодников, которые сопряжены с лишениями, унижениями, оскорблениями; светлый образ девушки монашеского типа тоже подернут «страданием». Венера Милосская — та не страдает, но

это потому, что она — не живая, а каменная, она — провозвестник и символ будущего, а в настоящем такой нет. В настоящем тернии так или иначе непременно обвивают гармонические явления. Правда, как труд мужика есть не только труд, а и веселье («потрудней — повеселей»), так и страдания девушки монашеского типа не заключают в себе ничего «пугающего», и не «страшно» глядеть на нее, а «хорошо». Но все-таки это страдание...

За последнее время Успенскому случалось, однако, иногда до такой степени воспрянуть духом, что практическое решение «каменной загадки», то есть достижение полной гармонии жизни без единой черты хотя бы и не пугающего страдания, представляется ему совсем не за горами, а где-то очень близко. Замечательно, что эти уже чисто-начисто радостные мысли вызывались в нем не его собственными непосредственными житейскими впечатлениями, а книгами. Так, с почти детской радостью встретил он брошюру г. Энгельмейера «Экономическое значение современной техники»<sup>32</sup>, обещающую экономическую гармонию как результат дальнейшего развития техники. Так, с тою же радостью приветствовал он книгу г. Тимошенко «Борьба с земельным хищничеством». На статье его, вызванной книгой г. Тимошенко, нам надо остановиться. В ней очень много странного, об чем я здесь говорить не буду<sup>33</sup>, но много и ценного и во всяком случае очень для Успенского характерного. Характерно уже самое заглавие статьи: «Трудовая жизнь» и «труженичество». Этими двумя терминами обозначаются те два вида труда, из которых один животворит, а другой губит, один искореняет житейские драмы, другой — нарождает. В фантастическом повествовании г. Тимошенко Успенского прельстило то, что некоторое крестьянское семейство достигло высшей степени материального благосостояния, буквально миллионных богатств, но при этом — удержалось на той же крестьянской трудовой почве и стало сеять кругом себя добро, вместо того чтобы повторить обыкновенную историю «мужика с деньгами», то есть кулака. Как удалось крестьянскому семейству невинность соблюсти и капитал приобрести, это другой вопрос, которого мы касаться не будем. Но, во всяком случае, на миллионных богатствах этого семейства, с точки зрения Успенского, нет печати антихриста в смысле вышеприведенной легенды: не зло, а добро

проистекло из полного материального благосостояния. Понятна страстность, с которою Успенский ухватился за этот случай, раз он в него поверил... Но для нас в этой статье особенно важно отграничение «трудовой жизни» и «труженичества». Это отграничение вполне примыкает к прежним работам Успенского. Но на этот раз, когда в его уме мелькнула мысль о возможности материального благосостояния без антихристовой печати, он решительно вычеркивает из своей программы всякую аскетическую струю. Если он и прежде несколько подрывал эту струю размышлениями о том, что «потрудней — повеселей», то теперь он уже вот как решительно выражается: «В трудовой жизни важен и нужен вовсе не гнет труда, не тяжесть его, не лишения, с ним сопряженные, ни даже «смирение», которое у нас также еще непонятно зачем пристегивают к понятию о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная разнообразнейших впечатлений, жизнь, дающая работу для всей широты требований духовной и физической природы человека. Только поэтому и важна трудовая, народная, земледельческая жизнь и основанный на ней строй народной общественной трудовой жизни, а вовсе не серые щи, не доски вместо постели, не смирение и унижение и вовсе не то только, что выражается словами: «сам своими руками». Швея, фигурирующая в «Песне о рубашке» Томаса Гуда<sup>34</sup>, работает столько же, как и пахарь, фигурирующий в песнях Кольцова, им обоим «дохнуть некогда», но около первой сгустились облака горя, страдания, скорби, а около второго — сколько света, тепла, радости. Он живет «трудовой жизнью», она — «труженица». И этого не надо, то есть труженичества-то, не надо страданий, лишений, скорби, тяготы. Нужна, возможна и уже существует жизнь «вовсю», широкая жизнь, полная наслаждений, хотя и полная труда. Это — жизнь земледельца, «народный быт», которому противопоставляется «культурный быт», где нет настоящей трудовой жизни, а есть только «труженичество»...

А девушка в пледе? а девушка строгого, почти монашеского типа? Разве они земледелием занимаются? А между тем они не «труженицы» в неприятном смысле этого слова, потому что, глядя на них, человек говорит: «Ах, хорошо! Ах, славно!» С другой стороны, хотя земледельческий быт, несомненно, представляет известные гарантии для гармонического сочетания «разнообраз-



нейших впечатлений» и полноты жизни, но разве уж так резко отличается по существу иной батрак земледелец от швеи Томаса Гуда? Кольцовская формула «слуга и хозяин»<sup>35</sup>, как всякому хорошо известно, не есть непрменная принадлежность земледельческого быта, ибо и там возможен «пахарь-слуга», нанятый за деньги совершенно так же, как нанята швея, кормилица, ходатай по делам и т. д.

Все они живут своим трудом, но все делают чужое, лично им не нужное дело, в которое они поэтому не могут вложить душу свою, не могут связать с ним свое духовное существование в одно гармоническое целое, так, чтобы ничему «неподходящему» просто места не было. Ясно, что спасение не в земледелии, что, впрочем, сам Успенский очень хорошо знает, как видно из предыдущего изложения. Пусть мужик остается на земле, и великое преступление совершают те, кто так или иначе, прямо или косвенно гонят его с земли. Пусть садятся на землю те «культурные» люди, которые чувствуют себя для этого призванными и способными. Пусть садятся настояще, вполне или с тою осторожностью, с какою присел на землю граф Л. Толстой (говорю: «с осторожностью», потому что хотя граф и пашет собственноручно, но неурожай, градобитие, скотский падеж, военная повинность, подати и прочие источники разорения настоящего земледельца не подорвут благосостояния и счастья его и его семьи и не внесут в их жизнь никакой драмы) Пусть в более или менее отдаленном будущем прилив культурных людей на землю достигнет огромных размеров. Но, по крайней мере сейчас, первая стадия упорядочения, уравнивания гармонизации жизни культурных людей должна не в этом состоять.

В «Записках маленького человека» автор, приведя несколько разговоров, случайно услышанных им на пароходе, тоскливо замечает: «Все это надоело мне до такой степени, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства, какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует хватать рубли за заговор от червей — словом, какое-нибудь подлинное невежество, лишь бы оно считало себя справедливым».

Как видите, это все тот же вздох по гармонии, по равновесию: пусть глазу предстанет что-нибудь гнусное и возмутительное, но пусть оно по крайней мере само себя считает справедливым, так чтобы не было разлада между мыслью и делом, между понятиями и поступками. Если бы, однако, такое равновесие гнусности действительно предстало, то Успенский, конечно, на нем не успокоился бы, во-первых, потому, что это — гнусность, а во-вторых, потому, что это равновесие неустойчивое: рано или поздно, но «болезнь мысли», «болезнь сердца», «болезнь совести» подточит его. По крайней мере в этом уверен Успенский. И затем должна наступить драма. В очерке «Дохнуть некогда» собрана целая коллекция драм из культурного быта, по обыкновению сложенных из комических подробностей, и я не хочу переизложением или даже только перечислением их ослабить в читателе горькое наслаждение прямого знакомства с этими страницами. Подчеркну только конец пьяной речи следователя, который то называет себя «подлецом», то утверждает, что в нем «бог есть» и что не затем он учился в университете, чтобы делать бессмысленное и жестокое дело. «Позор, стыд, срам!» — восклицает он и в пьяном азарте требует себе «лаптей», вероятно как искупление и залог новой жизни. Если подвести итог всем глубочайшим драмам, собранным в этом очерке, то окажется, что все они коренятся в одолевающем героев сознании, что они делают ненужное, бессмысленное дело. Они, неоспоримо, живут собственным и крайне тяжелым трудом, им действительно «дохнуть некогда». Но в то время как для Михайлы и его жены (в «Перестала!») эта формула является спасительною, здесь, напротив, около нее-то и густится и кристаллизуется драма. Это естественно: там душа вложена в труд, здесь она находится где-то совсем в стороне и оттуда, со стороны-то, праздная, шлет язвительные укоры за свою праздность. Если бы это были люди не трудом живущие, а какими-нибудь доходами с капитала или рентой, они могли бы, может быть, просто купить пропитание для души в виде разного рода развлечений. Но наши герои — «труженики», им «дохнуть некогда», они всю свою жизнь не живут, а только добывают средства к жизни. Это — те же швей Томаса Гуда, которым сказано: шей, шей, шей! Спрашивается, как быть этим подлинно несчастным людям, в драматическом положении которых возможны и ко-

мические, и прямо непривлекательные черты, но несчастье которых подлинно и несомненно? Предложить им всем сейчас же обуться в лапти и пахать было бы и празднословием, и издевательством. Читать им наставления о священных обязанностях, о труде и т. п.— по малой мере бесполезно. Справедливо говорит Успенский, что «в этом труженическом кругу, в его мучениях, в его лишениях, муках, болезнях, психических страданиях, преступлениях и заключается современная драма жизни, которую не разрешить нравоучениями». Они бьются как рыба об лед, они не виноваты. А из этой их невинности следуют два весьма важные заключения. Во-первых, не к ним с укором или наставлением надо обращаться, а к строю жизни, который пристегивает людей к ненавистному, ненужному, чужому им делу и не дает пропитания их душе, разбуженной «новой мыслью». А во-вторых, странно, что эти несчастные «труженики» так упорно заболевают все-таки почти исключительно совестью и почти никогда — честью, в смысле той противоположности между работой совести и чести, об которой говорено выше. Все они перед кем-то виноваты, а перед ними будто бы и никто не виноват. Но перед кем же виновата швея Томаса Гуда?

Иван Босых во «Власти земли» рассказывает, как он на железной дороге «от легкой жизни» дошел до «своевольства» и всякой другой пакости. Наконец, дошло дело до начальства, «да как приехал начальник дистанции, да ка-а-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации надавал мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока — так я, братец ты мой, совершил крестное знамение да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки — домой!» Иван Босых чувствует себя виноватым, его грызет совесть, а больная совесть так или иначе всегда с радостью встречает унижения и оскорбления и в случае отсутствия таковых сама налагает разные епитимьи.

Мы уже видели этому примеры на некоторых героях Успенского. Но ведь случаются и непрошенные, незаслуженные оскорбления, унижения, лишения. Их слишком много на Руси, и, может быть, было бы справедливо взглянуть на драматическое положение Апельсинского и иных именно с этой стороны. Успенский этого не сделал. Может быть, он и взялся бы за эту работу, если бы

ему показалось, что «больная честь» достаточно распространялась, чтобы производить такие же глубокие и многосложные эффекты, какие, по его мнению, производит «больная совесть». Эта новая для него задача вполне подходила бы к его общим стремлениям и к обычным его художественным приемам. Возмущенная честь жаждет гармонии, равновесия, как и заболевшая совесть, и, как и она, допускает свойственные Успенскому блестящие комбинации трагического и комического.

## V

Все только что прочитанное вами, читатель, было написано в 1888 году и напечатано в виде вступительной статьи к Павленковскому изданию сочинений Успенского. При пересмотре этой статьи для настоящего издания мне пришлось только кое-где изменить настоящее время в прошедшее и сделать соответствующие выкидки. По существу мне нечего ни изменять, ни прибавлять в этой характеристике Успенского как писателя, сделанной пятнадцать лет тому назад: с 1888 года его литературная деятельность пошла уже на ущерб и не дала ничего нового, что могло бы изменить мои взгляды, а в 1891 году он заболел психически и более ничего не писал. В марте 1902 года он умер, и смерть эта не только позволяет, а и обязывает докончить характеристику писателя характеристикой человека, тем более что и человек это был не только не заурядный, а совершенно исключительный. Мне придется, однако, вероятно, не раз возвращаться и к его литературной деятельности, так как писатель и человек в нем неразделимы. В составленной им для Ф. Ф. Павленкова, думавшего издать его биографию, автобиографической записке <sup>36</sup> Успенский сам писал: «Вся моя личная биография, примерно до 1871 года, решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я жил лично. *Таким образом, вся моя новая биография, после забвения*

*ния старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет».*

Это и верно, и неверно. Верно, что в «новой биографии» Успенского его личная жизнь почти совсем покрывалась литературной деятельностью; но его «старая биография», «примерно до 1871 года», отнюдь не подлежит забвению, тем более что и она отразилась в его книгах, да и сам он, при всем желании, забыть ее не мог и, как увидим, уже больной, извлек из нее материалы для своей характеристики, которые выразил, по обыкновению, в яркой, образной форме.

К сожалению, чисто фактические данные и «старой», и «новой» биографии Успенского частью не подлежат в настоящую минуту, по разным причинам, опубликованию, а частью очень скудны и смутны. Смутность начинается с момента рождения Глеба Ивановича. В упомянутой автобиографической записке он пишет, что родился 14 ноября 1840 года, так значится и в известной работе А. М. Скабичевского по истории новейшей русской литературы. Но в июньской книжке «Русского богатства» 1894 года была напечатана статья близкого родственника и товарища детства Успенского, озаглавленная: «Глеб Иванович Успенский» и подписанная псевдонимом «Дм. Васин»<sup>37</sup>. В ней находим следующую поправку: «Г. И. Успенский родился в г. Туле 13 октября 1843 года (а не 14 ноября 1840 года, как сказано в «Истории новейшей литературы» А. М. Скабичевского)». Эту статью своего родственника Успенский читал, уже находясь в Колмовской, близ Новгорода, больнице для душевнобольных, которой заведовал тогда Б. Н. Синани. Д-р Синани, знавший Успенского еще до болезни и относившийся к нему с необыкновенною теплотою, вел за время его болезни дневник<sup>38</sup>, который любезно предоставил в мое пользование. В этом высокоинтересном документе, на который мне не раз придется ссылаться, под 5 июля 1894 года читаем: «Относительно дня его рождения, которое, по словам его двоюродного брата, автора заметки, неверно показано у Скабичевского, Гл. Ив. дал следующее объяснение. Родился он действительно не 14 ноября, а 13 октября. Скабичевский введен в ошибку тем, что Гл. Ив. празднует день своего рождения 14 ноября. Стал он это делать ввиду того, что 15 ноября день рождения Михайловского. Он выбрал для себя 14 ноября, чтобы

праздновать его вместе с Михайловским, чтобы празднество шло два дня подряд, как бы без перерыва, слитно. Год рождения 1840, а не 1843»<sup>39</sup>.

Историю с переносом самим Успенским *дня* его рождения могу подтвердить и я, но относительно *года* прав, кажется, автор заметки, напечатанной в «Русском богатстве»: «Глеб Иванович, вопреки его собственному показанию в автобиографической записке и в разговоре с Б. Н. Синани, родился, кажется, в 1843, а не в 1840 году. Это, впрочем, подробность, не имевшая в глазах Успенского никакого значения, как это видно и из автобиографической записки, и из самого факта свободного распоряжения днем рождения. Да это и вообще не важно для биографии, столь бедной внешними событиями и столь богатой внутренним содержанием. Если я, однако, и не собираюсь писать биографию Успенского, то некоторые биографические данные, как убедится читатель ниже, нам установить нужно.

В автобиографической записке Успенский разделяет свою жизнь на несколько периодов, границы которых можно, однако, наметить только приблизительно. Первый период обнимает детство и гимназические годы, до поступления в Московский и потом в Петербургский университеты<sup>40</sup>, примерно до двадцатилетнего возраста. Период этот рисуется в записке очень неопределенными, но очень мрачными красками. «Вся моя личная жизнь,— пишет Успенский,— вся обстановка моей личной жизни лет до 20 обрекала меня на полное затмение ума, полную гибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отделяла от жизни белого света на неизмеримое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте». Что-то самому мальчику неясное, только впоследствии уяснившееся, но глубоко оскорбительное и удручающее было в этом периоде его жизни, и его-то он и старался всю жизнь забыть. Только «опустошив от личной биографии душу», мог он начать жить, как он выражается, «собственными средствами», то есть думать и чувствовать на свой страх, независимо от каких-то тяжелых впечатлений детства и ранней юности. Однако, чтобы «опустошить душу» от этих впечатлений, чтобы «истребить в себе все внедренные ими качества», надо было прежде всего на них сосредоточиться, уяснить их себе и затем, как это всегда и впо-

следствии было у Успенского, немедленно объективировать их в литературной работе. На это ушел второй период, с 1862 по 1868 год. Невесело было и это время. Молодой Успенский, занятый выработкой «собственных средств» или «созиданием собственной своей новой духовной жизни», был совершенно одинок в этом деле. Он свел кое-какие литературные знакомства, но помощи, нравственной поддержки в них не нашел. «Несомненно,— пишет он,— народ это был душевный, добрый и глубокоталантливый; но питейная драма, питейная болезнь, похмелье и вообще расслабленное состояние, известное под названием «после вчерашнего», занимало в их жизни слишком большое место». Притом же «в годы 1863—1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось». В 1868 году основались обновленные «Отечественные записки»<sup>41</sup>, но «первые годы в них тоже было мало уюта». В 1871 году Успенский уехал за границу<sup>42</sup>, потом поселился в деревне.

На этом моменте оканчивается автобиографическая записка (мне неизвестно в точности, когда она написана<sup>43</sup>), и в заключении ее читаем: «Подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику*, то есть к мужику. По несчастью, я попал в такие места, где *источника* видно не было... Деньги привозили в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь в течение 1 1/2 года не знал ни днем ни ночью покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать *источник* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной и развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно *одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа* — именно власть земли».

Чтобы понять ту «подлинную правду жизни», о которой здесь говорит Успенский, надо привести еще несколько слов из автобиографической записки. Говоря о том тяжелом и ненавистном прошлом, которое он старался изгнать из своей памяти, он, между прочим, пишет: «Нужно было еще перетерпеть все то разорение

невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезли со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили,— неправда, и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из *прошлого* нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания». И далее: «в опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде».

Для людей, хорошо знакомых с сочинениями Успенского, все это не так уж туманно, как может показаться на первый взгляд. Некоторые биографические черты окончательно рассеивают этот туман.

Отец Успенского был из духовного звания (сын Ильского дьякона), но, окончив семинарию, поступил на государственную службу. Старший его брат, Никанор, учился в Московской духовной академии и по окончании курса постригся в монахи. Другой брат, Григорий, также учился в духовной академии и был преподавателем греческого языка в Тульской семинарии; он жестоко пьянствовал и рано умер. Третий брат, Василий, был сельским священником, и о нем ничего более не сообщает г. Дм. Васин, у которого я заимствую эти сведения; но сын Василия известный талантливый беллетрист Н. В. Успенский сильно пил и кончил самоубийством. О четвертом дяде Глеба Ивановича с отцовской стороны скажем особо. Мать Успенского была дочерью управляющего тульской палатой государственных имуществ Глеба Фомича Соколова. У него были некоторые художественные наклонности (любил музыку, играл на скрипке), заглушенные чиновничьей службой, но переданные по наследству сыновьям: старший, Владимир, был живописец, второй, Макарий, музыкант и композитор, третий, Дмитрий, тоже музыкант и писатель.

Приведя эти данные, к некоторым подробностям которых мы еще возвратимся, г. Дм. Васин замечает: «С раннего детства Глеб Иванович был окружен любовью и нежными заботами родителей. Несмотря на суровые приемы того времени в деле воспитания, он не



терпел никаких наказаний как дома, так равно впоследствии в гимназии (тульской), где он учился первое время. Благодаря своим способностям, а отчасти прилежанию, он был первым учеником, и имя его всегда красовалось на так называемой золотой доске». А что касается его «генеалогии», то из нее видно, что «со стороны отца Гл. И—ча являются люди науки, и, напротив, родные матери были поклонниками искусства. Эти — наука и искусство — послужили как бы элементами для воссоздания такого писателя, который на самом деле представляет из себя и художника, и глубоко мыслителя».

Можно сомневаться, чтобы семинарское образование, духовная академия, преподавание греческого языка в семинарии составляли элемент науки в точном смысле этого слова. Но перед читателем, при сопоставлении автобиографической записки Успенского с заметкой г. Дм. Васина, естественно должен возникнуть другой, гораздо более важный вопрос: почему же Успенский с таким ужасом оглядывался на свое прошлое? почему он так старался вычеркнуть из памяти свои детские годы, где все было любовь, нежные заботы, наука, искусство? Материалы для ответа на этот вопрос даются отчасти и г. Васиным, но мы сперва послушаем мнение самого Глеба Ивановича о его «генеалогии».

22 сентября 1892 года, на другой же день после поступления Успенского в Колмовскую больницу, в дневнике д-ра Синани записано:

«Утром, сейчас после завтрака, он самым простым и толковым образом, по собственной инициативе, сообщил мне о своем происхождении. Отец его из духовного звания, мать из рода Соколовых. Семья отца обилует сумасшедшими. Один брат был архимандритом и умер сумасшедшим. Другой брат отца кончил самоубийством. Вообще с отцовской стороны много ненормальностей (и, по-видимому, больному несимпатичных). Со стороны матери все народ даровитый: один был живописцем, другой музыкантом, многие писателями и сотрудничали в «Современнике». По-видимому, симпатии его лежат всецело на стороне материнской линии.

Теперь я перейду к разговору вечернему. Изложить его слова в том порядке и в том бессвязном виде, как он проговорил, я не могу. Я позволю себе систематизировать их. Нужно еще отметить то обстоятельство, что его нужно считать личностью совершенно отличною от лю-

дей нашего типа, привыкших думать мыслями. Он производит впечатление такого человека, который только и может мыслить (если можно так выразиться) образами. Эта особенность развита у него в такой степени, что для нас она может казаться почти непонятною и в нормальном его состоянии. Итак, его язык образов я должен буду излагать языком понятий.

С самого его заболевания и до сих пор в его сознании идет борьба между двумя началами: началом справедливости и началом, неясно выражаемым, но противоположным первому. Ему кажется, что его я раздвоенное, состоящее из двух личностей, борющихся друг с другом. Первая личность есть Глеб (Успенский), вторая личность есть Глеб *Иванович* Успенский, и даже проще и выразительнее *Иванович* (NB. Отец матери назывался Глебом, Иванович от Ивана, значит, отца его). Как ни борется Глеб, но ему очень трудно не только уничтожить, убить *Ивановича*, но даже устоять против власти его. Со времени его болезни борьба между ними идет ожесточенная. Случалось, что Глеб как будто отвоевывал свое существование, приобретал свою половину, но это оставалось недолго. *Иванович* снова вторгался в его область, пренебрегая всякими уговорами, всякими условными компромиссами, часто разрушал их и заполнял Глеба. При полном его торжестве больной не только казался себе, но и в действительности являлся в самых несимпатичных, безобразных, отвратительных видах, до буквального образа свиньи, включительно с ее и черепом, и мордою, и хребтом, и ребрами, и даже перестановкой верхних конечностей снаружи внутрь. Так как превращение в свинью является наиболее крайнею формой выражения победы *Ивановича*, то я об этом и буду говорить главным образом. По-видимому, всякий раз как настроение его ухудшалось и соответственно с этим в сознании его начинали преобладать представления мрачного характера, в его самосознании и самоопределении все более и более преобладала личность *Ивановича*. Однажды ночью он наконец отрекся от самого себя, от Глеба, в пользу *Ивановича*. Как только он подписал это отречение «от самого себя в свою же пользу», с ним началось превращение в отрицательном направлении. Утром следующего дня он ощущал, как хребет его и ребра стали твердые, крепкие, окостеневшие (оскотинился?) и т. д. Как он ни боролся, но руки его так и тянулись

к тому, чтобы срастись с грудью и направиться вперед. Он употреблял невероятные усилия вернуть их в нормальное положение, хоть сколько-нибудь перетянуть их назад, но когда это ему не удавалось, то тогда-то, по-видимому, и совершал свои насилия над самим собою: старался разбить себе голову, перерезывал себя пополам вдоль всего тела, перерезывал себе горло, огнем жег себя, чувствовал, как он горит. Иногда ему казалось, что он в большей или меньшей степени достигает цели, что если не внутри, то хотя снаружи слезает с него его отрицательное я. Бывали случаи, когда сквозь мрак заполняющей и заполнившей его отрицательной его личности пробивался светлый луч в образе то действительных лиц, как Короленко, Вольфсон \*, то фантастических образов, как ангел, как монахиня Маргарита. Бывало, они отстоят Глеба, но потом опять все это рухнет, и Иванович вступает в полное владение. Торжество Иванoviча не ограничивалось одним отрицательным превращением его личности в смысле его самооценки, самопонимания, самоопределения. Он совершал чудовищные преступления. Он, например, убил своих детей, свою семью, перетравил их всех до единого стрихнином. Больной прибавляет, что потом каждый раз удивлялся, каким образом он все еще оказывается в живых. При этом припоминает случай, как он у Фрея, при мне (кажется, 1 июля), отнесся к своему сыну, явившемуся к нему на свидание для опровержения его бреда о том, что вся его семья отравлена стрихнином. Он помнит, как он встретил его угрюмо и с неудовольствием по поводу того, что он жив. Вообще замечательно, что в памяти его сохранились все, даже малейшие впечатления из внешнего мира, дошедшие тогда до его сознания. Мало этого, он довольно хорошо помнит свое поведение и даже слова во время самых острых периодов своей болезни. Не совсем ясно припоминает он только детали бредов, отличавшихся крайней сложностью и быстрою сменю представлений, хотя в то время представления эти отличались такой яркою образностью, что при его рассказе они кажутся похожими на сложные галлюцинации, то есть образы эти им объективировались во вне его. По-видимому, каждое представление у него имеет склонность сопровождаться галлюцинациями (или псевдогаллюцинациями) тех

---

\* Женщина-врач, очень уважаемая Успенским.

органов чувств, которые играют роль в образовании этих представлений. Этим должно, я думаю, объяснить одновременно существование в его бредах галлюцинаций и зрения, и слуха, и чувствительности, и общего чувства. Он воочию видит какую-нибудь личность, слышит ее слова и в то же время получает и ощущения осязательные и мышечные, как, например, в следующем случае: стоит перед ним кто-то (кажется, монахиня Маргарита), приказывает ему вытянуть руки ладонями вверх и дать их оплевать. Больной и видит, и чувствует, как ладони его сплошь покрыты толстым слоем плевков. Ему приказывают поднести руки к лицу и обмазать его этой гадостью. Он это исполняет. Подобными путями ему случалось на время воскресить в себе Глеба или совесть, но ненадолго. Вскоре опять вступал в свои права Иванович».

Позже, когда бред Глеба Ивановича принял мистический характер, у д-ра Синани находим такую запись:

«Бред его относительно людей, если его осмыслить, можно изложить следующим образом. Когда говорят: Глеб Иванович Успенский, Александра Васильевна Успенская, Александр Глебович Успенский и т. п., то эти лица являются самыми ординарными субъектами, лицами, ничего не знающими, ничего почти не стоящими, обладающими всевозможными несовершенствами. Назвавши их обычными их именами, отчествами и фамилиями, их лишают всяких высших духовных качеств. Если же их называют только их именами, то они освобождаются от всяких качеств, присущих отдельным индивидуумам, свойственным обыкновенным человеческим существам; тогда они являются носителями высоких духовных качеств, характеризующих тех святых, которые носят эти имена, и не только одного какого-нибудь святого, но и всех вообще великих людей под теми же именами».

О мистическом бреде Успенского у нас еще будет речь. Теперь для нас важно подчеркнуть его отделение личного имени от отчества и его отрицательное отношение к последнему, доходящее до упорной борьбы между светлым Глебом и представителем мрака и зла — Ивановичем. Читатель видит, что весь ужас «генеалогии» или первых глав биографии Успенского, от которого до двадцати лет у него «сердце было не на месте» и который он старался с корнем вырвать из своей памяти, всплыл-таки в нем в мучительных формах бреда. Но

я думаю, что и раньше он был мучеником той «большой совести», которую он изобразил в своих писаниях такими яркими чертами и которая в бреде приняла форму мучительной борьбы Глеба с Ивановичем, лично ему принадлежащего, «собственными средствами» выработанного духовного начала с полученным по наследству.

Как ни фантастична мысль Успенского, но в ее фантастической оболочке заключено зерно истины. Без сомнения, влияние среды и наследственности огромно и непременно должно быть принято во внимание во всякой критико-биографической работе. Но прием, обращающий писателя, как и вообще человека, в какую-то бесплотную математическую точку — центр перекрещивающихся влияний наследственности и среды, — выкуривает из него весь личный аромат, все, чем он отличается от других людей, находящихся под тем же влиянием, и что он часто сознательно противопоставляет этим влияниям. Можно, пожалуй, возразить, что условия наследственности и среды лишь в очень редких, даже исключительных случаях могут быть для разных людей более или менее одинаковы. Уже одна разница в возрасте родителей старших и младших детей создает различные условия зачатия и утробной жизни, а следовательно, и различную наследственность. Условия среды точно так же меняются, и иногда очень резко: родители богатеют или беднеют, переходят из одного общественного слоя в другой и т. д., в зависимости от чего изменяются и условия воспитания детей. Но мы никогда не будем в состоянии проникнуть в эти таинственные узлы сложных комбинаций и свести к ним индивидуальные особенности данного лица. Как бы ни углублялся наш анализ влияний наследственности и среды, всегда останется нечто такое, что мы должны признать личной красотой или безобразием, личной заслугой или грехом человека. И ввиду освещения, данного самим Успенским своей «генеалогии», надо признать, что по наследству он получил вместе с художественным талантом зачатки психической неуравновешенности и «свиного элемента», как выражается дьякон в рассказе «Неизлечимый», что и суммируется отчеством «Иванович»; лично же ему, Глебу, принадлежит упорная борьба с этим свиным элементом и страстная жажда душевного равновесия, гармонии как в себе самом, так и в окружающей жизни. В этих страстных поисках

равновесия и в этой борьбе — будем говорить с «Ивановичем» — состоит, если можно так выразиться, основной фон всей биографии Успенского, начиная с детского или раннего юношеского возраста, когда он «беспрестанно плакал, не зная, отчего это происходит», продолжая всею его литературною деятельностью и кончая тяжелым временем помраченного сознания. Психическая болезнь не прекратила ни этих поисков, ни этой борьбы; она только, как увидим, нарисовала новые и страшные узоры на этом фоне, а исчез он только вместе с жизнью Успенского. Здесь лежит центральная точка и жизни, и писаний, и, уяснив ее себе, нельзя не любоваться удивительною цельностью этой, по-видимому, столь беспорядочной натуры.

Но в чем же ближайшим образом состоят те удручающие и оскорбительные впечатления детства и юности, которые зажгли в Успенском такую ненависть к «Ивановичу»? Уже из непосредственных показаний г. Васина видно, что не все только любовь да заботы, наука да искусство были около впечатлительного мальчика. Но этого мало. Когда Успенский принялся «истреблять в себе все внедренные прошлым качества», он должен был, как уже сказано, сосредоточить на этом прошлом свое внимание и по свойству своей натуры тотчас объективировать его в своих писаниях. И г. Васин сообщает, что многое в разных произведениях Успенского представляет собою именно такое объективирование впечатлений раннего детства.

В очерке «На старом пепелище» есть, между прочим, такое воспоминание: «Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный: я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там (то есть дома) родные уже позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо stanовят мне отличные отметки». Г-н Васин говорит, что это личное воспоминание Успенского, но прибавляет, что оно верно «разве только отчасти»: хорошие отметки получал Успенский просто потому, что хорошо учился. «Подачки же гимназическому начальству, — продолжал он, — давались единственно для того, чтобы к ученику относились справедливо, чего могло и не быть». Далее оказывается, однако, что подачки — пивом, чаем, сахаром, яблоками, деньгами — имели целью не только торжество справедливости, они и от розги спасали: «За единицы

обыкновенно пороли по субботам розгами, но нам, давальщикам приношений, ставили вместо единицы два с минусом и оставляли без обеда, до 6 часов». Маленькому Глебу было, вероятно, просто приятно обходиться без неприятностей, постигавших некоторых его товарищей, и он пользовался созданным родительскими заботами и любовью привилегированным положением «без борьбы, без думы роковой»<sup>44</sup>; и только впоследствии, придя в возраст и оглядываясь на свое прошлое, он и эту черту засчитал этому прошлому в пассиве. Но и тогда было что-то, что заставляло его беспрестанно плакать, как он говорит не только в довольно бессвязной автобиографической записке, а и в превосходной лирической страничке по адресу родных мест в том же очерке «На старом пепелище»:

«Отчего это не сказали вы мне ни одного слова о том, что мне надо идти стоять за вас горой, что мне надо иметь руки железные, сердце лютое и око недреманное? Отчего вы, бедняги мои, старались всегда «укачать» меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски; говорили мне: «не думай!», вместо того чтобы разбудить, сказать: думай, брат, за нас, потому наших сил нету больше!.. Убаюканный вами, я спокойно спал и не знал, что в темные осенние и зимние ночи, когда на дворе хлещет дождь или воеет вьюга, вы поедом ели, ни в чем не повинные, друг друга, и проклинали свою адскую жизнь. Зачем ничего же этого вы мне не сказали?» и т. д.

За любовь и заботы Успенский платил любовью и жалостью, но уже в очень раннем возрасте чужелюбием и над этой любовью и заботой и вообще вокруг себя какую-то «неправду», которая лежала во всем порядке вещей, составляла их общую основу, прорываясь иногда наружу и для ребенка, если не понятными, то, во всяком случае, тяжелыми эпизодами. Вот, например, Семен Иванович Толоконников в «Нравах Растеряевой улицы» (он же Богоборцев в «Делах и знакомствах»). По словам г. Васина, в этом образе «прекрасно обрисован» младший из дядей Успенского с отцовской стороны, Семен. Любопытно, что Успенский старательно отмечает, что Толоконников «каким-то чудом избежал пьянства», что его в этом отношении «спасала любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям». Очевидно, эта черта в его среде более или менее редкая, но зато Толо-

конников такой грубый самодур, способен так издеваться над всеми, кто попадет в зависимость от него, и с такою виртуозностью это проделывает, что сколько-нибудь чуткий юноша должен был больно уколоться о совокупность этих впечатлений. Или вот еще некоторые эпизоды из жизни Птицыных в «Наблюдениях Михаила Ивановича» и Калашниковых в очерке «На старом пепелище», именно некоторые только эпизоды, ибо, как говорит г. Васин, сюда введено многое, не имеющее ничего общего с подлинными семейными воспоминаниями автора. К таковым принадлежат, по-видимому, в «Наблюдениях Михаила Ивановича» смерть Вани — смерть дяди Успенского, Михаила Глебовича, а в «Старом пепелище» портрет главы семейства, деда Соколова. Судя по этому портрету, верность которого в общих чертах подтверждает и г. Васин, Соколов был честнейший и преданнейший своей службе чиновник, в этом отношении редкий для своего времени тип. Но вместе с тем это был деспот, под железной волей которого должно было гнуться все окружающее. Выше всего на свете ставя интересы «казны» и затем свою волю, как верного их служителя, он презирал и топтал всякое проявление личности в своей жене, в детях, во всех, кого достигала его властная рука.

«У ребенка проявляется стремление к живописи, к музыке — чепуха и вздор, который нужно вырвать теперь же с корнем: ребенок этот должен вырасти чиновником, таким же беспримерным и безответным, как и отец, — в этом высшая цель жизни, в этом вся заслуга человека перед богом и перед родиной... Дочь хочет выйти замуж за человека, который ей понравился, но этот человек не служит — и браку этому не бывать! ее сам отец выдаст за того, кого он полюбит за исполнительность и за какие-нибудь другие, тоже выгодные для казенного интереса качества... И так было во всем». Личность была до того подавлена в этой семье, что в поколении внуков \* заметна была даже боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного. Заметно было даже как бы предпочтение ко всему «ненастоящему перед подлинным и правдивым».

Все «подлинное и правдивое» угасло в этой с течением времени непомерно разросшейся семье двумя путями. С одной стороны, в молодых поколениях насиль-

---

\* А Глеб Иванович был одним из этих внуков.



ственно глушились их личные наклонности и способности; они обречены были или на непосильную борьбу (жертвой такой непосильной борьбы и был талантливый дядя Успенского, Михаил, — он же скрипач и композитор Ваня), или на укрывательство, лицемерие. С другой стороны, в родню к лично безупречному служаке, главе семейства, пристраивались и вообще около него ютились люди далеко не первого сорта; для этого им нужно было только искусно носить маску блюстителя «казенного интереса». В конце концов под крылом честного чиновника, кроме разбитых жизней, образовалась стая казнокрадов и взяточников. «Бедный старик, глава семьи, только под конец жизни увидел (и умер от этого), что, кроме зла, он не делал ничего».

«Поколение, которое росло в этой среде, должно было дышать ложью, привыкать лгать на каждом своем движении, помышлении, взгляде, считать уменье поступать не по правде, не по-настоящему за уменье жить, то есть именно за правду, за настоящую задачу жизни». «Нажива, материальное благополучие, в буквальном смысле этого слова, только одно и было действительно настоящее, непритворное жизненное побуждение в этой массе лжи, и поколение внуков непременно должно было по инстинкту угадать эту настоящую черту, всосать ее с молоком матери. Жажда грубых животных наслаждений поэтому ключом кипела в глубине этих притворно-благочестивых семей. Скотские (не соврем, употребив это выражение) побуждения пробуждались в детях рано и в сильнейшей степени. Но под давлением двойного деспотизма — зависимости от власти главы дома и зависимости от необходимости постоянно лицемерить — эти грубые, дикие животные побуждения глубоко таились на дне даже самых юных детских душ этой громадной семьи, разъедая эту душу жаждой, жаждой грубого наслаждения — душу, в которой не было уже почти возможности жаждать правды, любви к ближнему, так как все это было уже запугано в матерях и попрано примером отцов, женившихся из расчета».

Мы уже видели, что произошло от столкновения этой действительности с идеалами, засветившимися в момент освобождения, как благодаря этому столкновению «раздались на Руси проклятия и благословения», как зародилась «болезнь совести». Очевидно, Глеб

Иванович и сам был захвачен этой драмой, пережил ее на самом себе, мало того — переживал ее всю свою жизнь, почти буквально до могилы. Будучи одним из «внуков», он мучительно искал в себе наследственной «неправды», того, что он называл впоследствии «расколотостью между гуманством мыслей и дармоедством поступков» и что еще позже обрело «Глеба» на борьбу с «Ивановичем».

## VI

Старые устои разваливались и развалились; гармония «свиного элемента» дала множество трещин, и совесть настойчиво заговорила о неправой жизни, и этот настойчивый голос больно отзывался в душах. Не все и не сразу находили путь жизни, сколько-нибудь удовлетворяющий требованиям разбуженной совести, не все даже ясно понимали, что творится в их головах и сердцах! В числе их были пьянствующие таланты, о которых говорит Успенский в автобиографической записке и с которыми судьба свела его во второй период его жизни — 1862—1868 годах. С верхами литературы и общественной жизни, где процесс обновления происходит сознательно, он был в то время мало знаком. Из этих талантливых, но беспутных и пьяных людей он поминает в автобиографической записке только Павла Якушкина<sup>45</sup>, как бы для образца. Поминает он его добродушно, шутливо и, самое большее, брюзгливо. Так же поминает он, бывало, в разговорах Левитова и других. Иное дело его двоюродный брат, Николай Успенский. Глеб Иванович иной раз прямо с дрожью говорил мне о своей былой близости с этим утопленным в водке талантом. И когда этот действительно крупный и в начале своей деятельности много обещавший, но нравственно заживо погибший талант покончил в 1889 году самоубийством, Глеб Иванович писал мне: «Сегодня я положительно не мог сомкнуть глаз всю ночь под влиянием самых мрачных воспоминаний о Николае Успенском. Сейчас (10 часов) меня одолевает сон, и если я засну и просплю панихиду — вы на меня не сердитесь. Писать я ничего о нем не буду. Это значило бы вспомнить всю подлость прошлого, которое я всячески боялся вспоминать. Зачем это теперь возобновлять? Я и так едва жив».

Николай Успенский был вдвойне неприятен Глебу Ивановичу — и по воспоминаниям о детских годах, и по воспоминаниям о том времени, когда он был одинок и беспомощен среди пьянствующих талантов. И здесь я должен коснуться одного неприятного и щекотливого пункта.

Тотчас после смерти Успенского в одной газете был рассказан такой анекдот. Крамской написал портрет Успенского. Выставку, на которой появился этот портрет, посетил и Глеб Иванович. Здесь к нему подошел какой-то водочный заводчик С. и, отрекомендовавшись большим почитателем его произведений, заявил, что он только что купил его портрет. Когда Успенский узнал, с кем он имеет дело, он спросил заводчика-мецената, где он в свою очередь может купить его портрет, хотя бы фотографический. Тот удивился: «Что это вам вздумалось?» — «Да я тоже большой почитатель ваших произведений», — отвечал Успенский. Соль этого анекдота заключается в намеке на злоупотребление покойного писателя спиртными напитками. Но сочинитель анекдота, очевидно, не имеет понятия о духовном облике Успенского, если предполагает возможным для него такое пошлое остроумие, да еще в беседе с незнакомым человеком. Притом же обстановка анекдота сплошной вздор: единственный портрет Успенского, бывший на выставке, писан не Крамским, а Ярошенко, и не водочный заводчик С. купил его, а известная харьковская деятельница по народному образованию Х. Д. Алчевская<sup>46</sup>.

Таким образом, анекдот этот есть просто выдумка. Но мне не раз случалось слышать мнение, что Успенский сильно пил и что психическая болезнь его была результатом злоупотребления алкоголем. Я никогда не мог с этим согласиться. Отнюдь и не утверждаю, что он был безгрешен в этом отношении. Не говоря о моральной стороне дела — ибо не знаю, много ли найдется в том кругу, в котором он вращался, людей, имеющих право суда в этом отношении, — я думаю, во-первых, что слухи о его грехе сильно преувеличены (в покаянном настроении он сам способствовал этому преувеличению), а во-вторых, грех этот был не столько причиной, сколько следствием того нервного расстройства, которое окончилось психической болезнью. Вот что писал однажды Успенский г-же N<sup>47</sup>, представившей в мое пользование коллекцию его писем: «Не могу за-

быть, как я безобразно вел себя у вас, — напился! Могло ли это быть прежде, чтобы именно *у вас, у вас-то* я позволил себе это? а теперь вот позволил, стало быть что-то во мне пропало, и, стало быть, я стал пропадать». Выражения «безобразно вел себя» и «напился», несомненно, сильно преувеличены. Из того же письма к г-же N видно, что, будучи у нее в гостях, он «прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удерживать в пределах серьезного интереса», — вести подобные разговоры не значит «вести себя безобразно». «Безобразно» пьяным я не видал Глеба Ивановича никогда. Богатая и блестящая, но от рождения неуравновешенная натура, Успенский мог быть спасен от печального конца только исключительно благоприятными условиями жизни, какие вообще редки и каких не выпало на его долю. Болезнь подкралась к нему с чрезвычайною постепенностью. Можно, конечно, с точностью указать время, когда его пришлось поместить в больницу, но едва ли можно даже с приблизительно такую же точность сказать, когда болезнь началась. Быть может, она давно уже вила себе в нем гнездо, когда мы, близкие к нему люди, видели в нем только человека очень нервного и очень оригинального.

Вот его письмо ко мне от 18 февраля 1891 года: «С великим бы удовольствием поел я блинов, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство: вчера ко мне приехал в 1 час дня д-р Шершевский (кажется, по желанию Манассеина узнать мою болезнь), выстукал, выслушал меня и, словом, докопался до самой сути болезни (мозг!) и начал правильное лечение. До следующего воскресенья никаких блинов не полагается, а в следующее воскресенье он опять приедет и обследует меня... (неразборчиво) но буду повиноваться, потому что дело мое стало совсем скверное. Прочитайте прилагаемое письмо и порадитесь. Я рад, что читатель поступил со мной строго, и это на меня подействовало благотворно. Остаюсь лишенный блинов, печальный Г. У.» (в письме, о котором здесь пишет Успенский, какой-то читатель упрекает его за то, что он напечатал свой рассказ в «Неделе», где в то время «осмеивал лучшие идеалы лучших людей некто, подписавшийся псевдонимом «Единица»<sup>48</sup>). Как видите, письмо самое обыкновенное, а между тем врач уже определил болезнь мозга. Неуравновешенность свою Успенский получил, вероятно,

по наследству, тяжелые условия жизни создали почву для ее расцвета...

Надо, однако, признать, что условия эти были особенно тяжелы именно для такого человека, как Успенский, что многое рисовалось ему в гораздо более мрачном виде, чем было в действительности. В своих литературных воспоминаниях<sup>49</sup> я рассказал о своей первой встрече с Успенским в 1868 году, о той оригинально убогой обстановке, в которой я его застал, а также о его тогдашней заразительной веселости и обаятельной живости его рассказов и вообще его беседы. Он был тогда уже известным писателем, и нет ничего удивительного в том, что молодой человек, полный надежд и сил, вдобавок одинокий — женат он еще не был — и, следовательно, свободный от многих забот, прекрасно чувствует себя в фантастически скудной обстановке и весело смеется и заражает смехом окружающих. Но ведь мы видели, как мрачны воспоминания Успенского о детстве и юношестве, как одинок и беспомощен был он в среде пьянствующих талантов; знаем далее, из предисловий к первым двум изданиям его сочинений, как он страдал от необходимости раздирать на клочки и урезывать свои произведения. Все это как будто не вяжется с ярким смехом и веселым остроумием. Но дело в том, что молодость, конечно, брала свое. Мы не имеем ни права, ни основания не верить настойчивому показанию Успенского о пролитых им в детстве и юности беспредметных, безотчетных слезах, но, разумеется, немало было в ту пору и смеха, и веселья, затертых впоследствии в его воспоминаниях. Да и позже его долго спасал неистощимый, казалось, запас юмора, отпущенный ему природою. Я сравнил бы его с необыкновенно чувствительным термометром, в котором каждое малейшее повышение или понижение температуры немедленно отражается соответственным повышением и понижением уровня ртути. В начале шестидесятих годов, когда он поступил в университет, для него, как и для всех нас, тогдашних молодых людей, было много поводов для радости и подъема духа. Выколачивая из себя «Ивановича», вырабатывая «собственные средства», он благодаря своей впечатлительности должен был, конечно, особенно бодро и весело дышать тем воздухом «правды», который, казалось, составит нашу всегдашнюю атмосферу. Если тяжки и оскорбительны были воспоминания, то надежда сверкала всеми цвета-

ми радуги. Обстоятельства изменились, да и в личной жизни Успенского наступали разные осложнения. Температура еще не раз поднималась и падала, и колебания эти отражались на чутком термометре, но, в общем, веселье, радость, смех шли на убыль. Временами в нем как-то вдруг воскресал тот жизнерадостный молодой человек, каким я его видел в первый раз, но так же вдруг и погасал. Вот, например, одно из его писем к В. М. Соболевскому (редактору «Русских ведомостей»), относящееся к 1886 году.

«Милый В. М. В четыре часа ночи, по дороге в Одессу, остановился пароход в Ялте. Есть у меня тут два дня хороших воспоминаний, и я поехал на берег. Пробегал часа два в сумасшедшем веселье, один. Погода благоприятная, и все славно и хорошо. Купил цветов, посылаю их вам лоскутики (?); плохо я чувствовал себя на Кавказе — теперь как будто лучше. Давно не имею писем и с нетерпением жду Одессы. Ах, дорогой, милый! Теперь ничего не пишу, кроме того, что я рад. Нашлите цветочков Михайловскому. Ваш Г. У.»

В записке этой характерны и эта способность к «сумасшедшему» веселью наедине с природой, и это желание сделать и других участниками своей радости. Однажды я тоже получил от него в конверте несколько «цветочков» — с Кавказа, причем изливались восторги от красот долины Риона и рекомендовалось такому-то отдать один из «цветочков», а такому-то дать только «понюхать». Но это жизнерадостное настроение посещало его все реже и реже, и даже в минуты веселья звенела в нем мрачная струна заботы и тревоги. Но неподражаемым мастером рассказов и вообще обаятельным собеседником он оставался всегда. Трудно выразить словами, что именно обаятельного было в его беседе. Назвать его человеком красноречивым отнюдь нельзя, искрящегося остроумия у него тоже не было. Случалось, что, увлекаясь какою-нибудь мыслью далеко за пределы логической возможности, он говорил вещи, с которыми никаким образом нельзя было согласиться. И тем не менее слушать его было настоящим художественным наслаждением, не говоря уже о поучительности его беседы, благодаря его всегда оригинальной точке зрения.

Боюсь, что, упоминая о мастерстве его рассказов, я навожу читателей на параллель с покойным Горбуновым<sup>50</sup>. Ничего подобного! И мало того: есть и не про-

фессиональные рассказчики, славящиеся разговорным мастерством, способные десятки раз буква в букву, интонация в интонацию повторить один и тот же рассказ, сказать одну и ту же речь, выразить одну и ту же мысль; Успенский был на это решительно неспособен, он просто не мог повторяться. Разница еще в том, что подобные мастера устной беседы любят красоваться своим искусством и говорить в большом обществе. Успенский же развешивался только сам-друг или в среде близких, своих людей, а в большом и незнакомом обществе обыкновенно увядал. Для него было истинным мучением обращать на себя внимание, даже выходить на эстраду на литературных вечерах. Я помню уморительную сцену на литературном вечере в Москве, в доме В. А. Морозовой. Зал вмещал всего каких-нибудь 200—300 человек, и все это были горячие поклонники Глеба Ивановича (вечер имел частный характер). Его встретили градом аплодисментов, а он, претерпев их, раскрыл книгу и постоял несколько секунд молча, потом закрыл книгу и молча же сошел с эстрады. Или, например, вот как он описывал мне в письме из Парижа один литературный вечер, в котором он должен был, по первоначальному плану, принимать участие

«Тут был литературно-музыкальный вечер в «салонах» m-me Вьярдо<sup>51</sup>. Кроткий Николай Степанович (Курочкин) вдруг превратился в льва, когда читал свои стихи. Вот человек, который менее всего может изобразить на лице своем гнев. А надо было изобразить. Я взглянул на него из-за двери, когда он читал,— и ужаснулся. Н. С. ошетинился на общество и кричал что-то очень сердито. Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки», и прочел превосходно. Я не присутствовал на чтении, но присутствовал на приготовлении к чтению. Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что до мельчайших подробностей. Ох и фокусники же эти сороковые годы! У m-me Вьярдо голосу нет, но уметь петь действительно поражает. Публика была блестящая, и посланник Орлов улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тот проклинал в своих стихотворениях человечество.

— Где вы были?— в *необыкновенной* тревоге (все это совершалось с ужасно озабоченным видом и с действительной тревогой) обратился ко мне Иван Сергеевич,— вы имели успех! вас зовет публика! Где вы про-

пали? Я вас хотел вывести! Ведь вас звала публика!  
и т. д.

«Вычеркните это! А то княгиня Т. будет недовольна!»—«А Мерена можно оставить?»—«О, это оставьте».— Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали «неприятное».

Надо заметить, что большое общество, толпу, Глеб Иванович любил, но под условием быть самому в ней незаметным, не обращать на себя внимания. Г-же Н он писал из Перми в 1884 году: «До чего трудно жить на свете, имея «известность»,— просто ужасно: слова не добьешься человеческого, все говорят как с литератором. Чаю нельзя напиться, как хочется: сесть, положивши ноги на стол, сказать вздор — невозможно. Все надо умное, отчего и выходит одна глупость». А с дороги в Пермь он ей же писал: «Не можете ли вы прислать мне в Пермь до востребования телеграмму такого содержания: «С П. можете видеться», если это возможно... Между Екатеринбургом и Тюменью есть одно село в 7 верст, и если мимо этого села идет строящаяся железная дорога, то я у П. попросил бы только записку к кому-нибудь из служащих самого низшего разряда, чтобы мне пожить в этом селе день, два, три. А то все будут пялить глаза».

Глеб Иванович ошибался, думая, что на него «пялят глаза» и ищут общения с ним только потому, что он литератор. Конечно, и это было, особенно ввиду его популярности — мимоходом сказать, он и этой популярностью временной тяготился, вследствие чего, как известно, и подписывался одно время под своими очерками псевдонимом «Г. Иванов». Он привлекал к себе внимание и людей, не знавших, с кем они имеют дело. Как-то мы ехали с ним из Москвы — он до своего Чудова, я до Петербурга. В том же вагоне ехал какой-то пожилой офицер. Он долго прислушивался к нашему разговору, пересаживался все ближе и ближе, улыбался и наконец не выдержал: решительно пересел рядом, вмешавшись в разговор каким-то замечанием. Мы уже подъезжали к Чудову, и незнакомец, узнав, что Успенский сойдет на этой станции, спросил, где же он тут живет. Успенский указал в окно на чуть видную церковь деревни Сябринцы, где он жил, а из дальнейшего разговора оказалось, что семья его теперь в Петербурге и он будет жить некоторое время совсем один. Это поразило незнакомца, он задумался, и когда мы, простив-



шись с Глебом Ивановичем, поехали дальше, в Петербург, сказал мне: «Я все думаю: как этакий человек живет один... все представляю себе занесенный снегом домишко, и в нем этакий человек!» Остальную дорогу мы вяло перекидывались незначительными фразами, и только прощаясь со мной в петербургском вокзале, незнакомец спросил, кто был так поразивший его случайный сосед по вагону. При этом оказалось, что имя писателя Успенского ему незнакомо,— это был человек совершенно чуждый литературе. И не один такой случай я знаю, конечно, не всегда с таким концом. Случалось, что дорожные спутники (а он, как сейчас увидим, постоянно был в разъездах), как-нибудь узнав, с кем они имеют дело, тем восторженнее и любовнее относились к нему. У нас, близких к нему людей, выработалось даже шуточное прозвище для его многочисленных, не дававших ему проходу поклонников и поклонниц: мы называли их «Глеб-гвардией».

Когда Успенский заболел, литературный фонд, не раз и прежде выручавший его из трудного положения, стал высылать на его надобности в больницу, где он находился, известную сумму ежемесячно. Сумма эта была очень невелика, но она шла исключительно на некоторые мелкие личные нужды покойного, на табак и т. п. Материальных забот не он главным образом требовал, а его семья (жена и шестеро малолетних детей), оставшаяся с его болезнью без всяких средств. Честь поддержки этой семьи до того момента, когда дети станут на ноги, взял на себя кружок друзей. С этой целью собран был из единовременных и периодических взносов особый «капитал семьи Успенского», хранившийся в литературном фонде, но совершенно от него независимый, при помощи которого задача и была благополучно выполнена. Первоначально план поддержки был рассчитан на шесть лет, но прилив данников любви и уважения к Успенскому оказался достаточным, чтобы расширить задачу еще на два года; и трогательно было видеть в списке этих добровольных данников, рядом с тысячными вкладчиками, вкладчиков грошовых.

Любопытно также отношение к Успенскому врачей, которым он, естественно, доставлял много беспокойства и неприятностей. Он был в трех больницах: очень недолго у д-ра Фрея в Петербурге, потом в Новгородской Колмовской больнице, которую заведовал д-р Синани, и, наконец, в Новознаменской, находившейся под

управлением д-ра Реформатского. Как бережно и любовно относился к нему Б. Н. Синани, это читатель уже видел и еще увидит из дневника доктора. А д-р Реформатский, перешедший из Новознаменской больницы на другое место незадолго до смерти Успенского, говорил мне, что ему особенно тяжело было расставаться с Глебом Ивановичем, хотя и трудно приходилось иной раз с ним ладить.

Любовь, которую Успенский возбуждал во всех, кто приходил с ним в соприкосновение, осложнялась, с одной стороны, почтением к его блестящему таланту и высоким нравственным качествам, а с другой — чувством жалости. Людям прямолинейным или мало наблюдавшим жизнь может показаться неестественным, невозможным такое сочетание жалости, предполагающей отношение сильного к слабому, здорового к больному, старшего к младшему, вообще отношение сверху вниз — с почтением, предназначающим, наоборот, отношение снизу вверх. Но жизнь много сложнее тех рамок, в которые ее поневоле втискивает наша бедная терминология, и я уверен, что сочетание жалости и почтения знакомо всем, кто имел счастье сколько-нибудь близко знать Успенского. Это было счастье, как всякое общение с богатою натурою, и притом редкое счастье, потому что всякая оригинальность есть редкость, а в Успенском каждый вершок был оригинален, как в короле Лире каждый вершок — король. Оригинален был ход его мысли, оригинальна форма его писаний, оригинален язык, письменный и устный, оригинальны его отношения к людям и весь склад его жизни.

Почтения заслуживала в нем прежде всего эта неустанная и тяжелая борьба «Глеба» с «Ивановичем» и со всем, что в окружающем мире родственно последнему. Об этом мы уже говорили и еще будем говорить. Что же касается жалости, то начать хотя бы с его полной практической беспомощности и беспорядочности. Он был большой искусник в теоретическом построении практических планов — всегда у него было все обдуманно до мельчайших подробностей. Он и другим, в том числе и мне, случалось, давал истинно превосходные советы, как устроить дела в том или другом отношении, но его собственные дела были всегда и во всех отношениях плохи, и превосходно обдуманные планы разбивались при самом приступе к их исполнению: выходила «ахинея» и «чепуха», как он мне однажды писал.

Редакции журналов и газет, в которых он участвовал, всегда высоко ценили его сотрудничество, сочинения его издавались не раз, а между тем, постоянно работая, он постоянно же и нуждался; нуждался всегда, сейчас, сию минуту, не думая о будущем. Этим, конечно, пользовались ловкие люди, как ни старались оберечь его близкие к нему. Вот, например, сохранившаяся в его бумагах записка Некрасова:

«Глеб Иванович, по документам вашим я убедился, что ваши сочинения могут быть выручены от Базунова; то же думает Унковский. Мы уговорились с ним пересмотреть еще вместе эти документы, позвать Базунова, устыдить его и взять от него записку. Но вот в чем дело: вы не так поняли ту роль, которую я могу взять на себя в качестве издателя: я не желаю *покупать* у вас ваши сочинения, я думал издать их на свой счет, выручить свои деньги и затем остальной доход предоставить автору. Если вам это неудобно и вы можете найти для себя условия более подходящие, то не стесняйтесь. Деньгами наличными я в сие время беден».

Очевидно, план практического, но доброжелательного Некрасова был выгоден для Успенского, но результатов этого плана пришлось бы ждать, а деньги нужны сию минуту, чтобы заткнуть глотку какому-нибудь ростовщику; и Успенский предпочел остаться в тисках Базунова, может быть прибавившего благодаря настояниям Некрасова и Унковского грош к тем двум грошам, за которые он купил издание. Не таковы, разумеется, были мотивы его позднейших издателей, И. М. Сибирякова и Ф. Ф. Павленкова. Напротив, в их действиях, насколько они мне известны, видна даже какая-то излишняя опека и заботливость о будущем Успенского и его семьи. Но, не говоря уже о том, что опека эта своей цели не достигла, она была обставлена столь сложно и запутанно, что я никогда не мог понять ее сути, как, впрочем, и вообще финансовых планов Глеба Ивановича. Его письма к редактору-издателю «Русских ведомостей» переполнены тонко и чрезвычайно точно разработанными планами погашения авансов (за эту тонкость и точность Салтыков называл его «министром финансов»), но из тех же писем видно, что едва ли хоть один из них был приведен в исполнение и не отменялся через короткое время другим, столь же обстоятельным и сложным. С деньгами он вообще совершенно не умел обращаться и, когда они у него были,

швырял их во все стороны совершенно, как говорится, зря. Если слова «презренный металл» имели когда-нибудь для кого-нибудь буквальное значение, так это именно для Успенского. В старые годы я собирал для своих детей с педагогическими целями разные коллекции: в том числе была коллекция древних и иностранных монет. Увидев ее у меня однажды, Глеб Иванович даже в ужас пришел: как! деньги детям! Он полагал, что персидские монеты времен Сасанидов или китайские медяки с дырками посередине, представляющие собой все-таки «презренный металл», должны дурно повлиять на детей...

Беспорядочность и практическая беспомощность ставили иногда Успенского в истинно трагические положения, хоть в то же время его блестящие планы выхода из затруднений не могли не производить комического эффекта. Тем более что его беспорядочность проявлялась не только в денежных делах. Так, в своих непрерывных разъездах он то и дело забывал или терял нужные ему вещи, которые, впрочем, тут же оказывались, пожалуй, и совсем ненужными. Прожив однажды с месяц вместе с ним в Кисловодске, я получил потом письмо, в котором было, между прочим, следующее: «Одеяло осталось мое — прошу М. П. взять его к себе, и когда поедет, то пусть возьмет или просто подарит старику (дворнику). А вот папиросник я забыл, кажется, в жестяной коробке. Его вы уж возьмите, пожалуйста, и пусть он будет у вас». Забыв в квартире В. М. Соболевского бумажник, он пишет: «Бумажник мой не бросайте на столе, там есть разные секретцы — нехорошо, если кто прочитает». В Нижнем Новгороде с его багажом приключилась раз какая-то очень сложная история, из которой он выпутывался в письме к В. Г. Короленко так: «Сегодня послал я вам доверенность<sup>52</sup> на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес. Написал: Больничная, д. *Пенской*, а надобно, кажется, Панковой. Посылаю это письмо наудачу, без всякого адреса, а просто в Нижний, вам. Хоботье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет».

Все это смешно, но надо помнить, что все это прodelывает вечно трепещущий, мучающийся и возвышенно настроенный человек.

Чтобы оценить, во что обходилась Успенскому его внутренняя жизнь, надо принять в соображение его «обнаженные нервы» — я не знаю никого, к кому это,

изобретенное кем-то из наших ломающихся декадентов выражение так подходило бы<sup>53</sup>. Одно из самых ранних его писем к жене (1868) содержит в себе, вперемежку с разными ласковыми словами, такие сообщения и восклицания: «Вдруг сию минуту (11 часов ночи) хлынул страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужас, ужас. Я боюсь тушить свечу... Молния! Смерть моя, и гром. Ужас... Ей-богу, я умру!» Он боялся собак, лошадей, крутых спусков с гор, во время купанья кричал, входя в воду, и т. п. Обобщить все это простым словом «трусость», однако, нельзя. Во-первых, он боялся не только за себя. Ездить с ним на извозчике бывало иногда истинным мученьем, пополам со смехом. Опасности чудились ему постоянно, и не только для себя, но и для других: едущий впереди седок, пересекающий конку в добрых трех саженьях от нее, приводил его в волнение: сейчас попадет под конку! Затем, в нем проявлялись иногда черты, которые уж никак не мирятся с трусостью. Один наш общий приятель рассказывал мне, как однажды в Париже, на его глазах и отчасти из-за него, разгневанный грубостью полицейского сержанта Глеб Иванович схватил его за шиворот и уже замахнулся палкой; история кончилась благополучно благодаря вмешательству стоявших поблизости французов, узнавших, что сержант имеет дело с иностранцами. Обыкновенно деликатный и кроткий («зачем я буду будить в человеке свинью?»— говорил он в объяснение своей даже чрезмерной деликатности), он иногда способен был на резкие вспышки, в которых потом всегда каялся. Однажды он буквально выгнал от себя некоего г. П., в котором свинья проснулась уже слишком явственно. Через несколько дней после этого он писал мне: «Кажется, я окончательно скоро исчезну с лица земли. Целые дни не могу встать с постели. Оттого и к вам не иду. П. прислал мне письмо, но я его не читал. Я так болен, что боюсь, если он меня огорчит,— совсем не буду в состоянии работать». Решившись наконец распечатать письмо, он остался доволен его содержанием, и дело кончилось миром. Вообще в применении к нему мудрено говорить о трусости или смелости. Все дело было в обнаженных нервах, которые разное, в ту или другую сторону, но всегда сильно реагировали на впечатления.

После закрытия в 1884 году «Отечественных записок» я некоторое время не работал для печати — никуда не тянуло. Глеб Иванович очень сетовал на меня за это. Однажды, в ответ на его упреки, я сказал: «Я готовлю большой, многотомный труд и скоро напечатаю». Он очень обрадовался: «Ну вот, это превосходно! А о чем?»—«Есть, видите ли, «анекдоты о Суворове», «анекдоты о Петре Великом» и т. п., а я хочу написать „анекдоты о Глебе Успенском“...» Глеб Иванович огорчился...

Разумеется, я шутил и никаких «анекдотов о Глебе Успенском» писать не собирался. Но такое произведение, хоть и не многотомное, вполне возможно и представило бы немалый интерес. Для понимания людей, в такой мере оригинальных, как Успенский, анекдот есть очень важное подспорье, и я приведу здесь кое-что из запаса своей памяти.

Начну со случая, свидетелем которого сам я не был. Рассказал мне его участник происшествия, ныне также уже покойный, Н. В. Максимов, и Глеб Иванович конфузливо подтвердил верность рассказа. И поистине было чего конфузиться... Некто, скажем Z, сошел с ума. Помешался он на том, что он сын и наследник, помнится, шведского короля и должен получить откуда-то миллион. Пришлось, наконец, отправить его в больницу. И вот под предлогом, что ему предстоит получить сейчас шведские миллионы, его посадили в карету в сопровождении Успенского и Максимова. Дорогой Z оживленно развивал свой пунктик и строил разные великолепные планы. Успенский слушал, слушал и наконец не выдержал неправды, которую должен был поддерживать. «Господин!— взволнованно сказал он.— Вас совсем не за наследством везут, а в сумасшедший дом...» Можно себе представить, что после этого не легко было доставить больного в больницу...

Нечто подобное было на моих глазах в одном частном доме, во время опытов известного гипнотизера Фельдмана<sup>54</sup>. Г-н Фельдман привез с собой молодого человека, чрезвычайно легко поддававшегося его внушениям, но никому в собравшемся обществе не известного. Это обстоятельство вызывало некоторое недоверие к блестящему успеху опытов. В числе присутствующих оказался студент, не раз подвергавшийся гипнозу,

и его стали просить принять участие в опытах. Он долго отказывался, но наконец согласился, под условием, однако, чтобы над ним были произведены самые элементарные опыты и держали его в состоянии гипноза недолго. Ему это было обещано, но обещание не было исполнено. Г-н Фельдмана соблазнила мысль составить из него и молодого человека, привезенного им с собой, группу. И мы присутствовали при воспроизведении сказания о Грозном царе и посланце Курбского, Шибанове, затем при совместной борьбе обоих молодых людей с какими-то дикими зверями в Индии. Об участии студента в этих представлениях решено было от него скрыть. Но, по окончании опытов, Глеб Иванович, следивший за ними с большим волнением и, видимо, неприязненно относившийся к гипнотизеру, опять-таки не выдержал и открыл студенту истину. Произошло неприятное объяснение...

Как-то летом мы с Успенским отправились прокатиться по Неве на пароходе. Погода была чудесная, и мы порешили пообедать на Крестовском острове и тем же путем вернуться в город. Но, не доезжая до Крестовского, я вдруг почувствовал себя дурно, со мной случился сердечный припадок, и я попросил Глеба Ивановича выйти на ближайшей пристани, где и прилег на землю. Стоя надо мной и с ужасом глядя на мое, вероятно, очень побледневшее и вообще сильно изменившееся лицо, Успенский вдруг сказал: «Н. К.! вы умрете!» Это было так неожиданно, что несмотря на мучительную боль, я не мог не улыбнуться. Припадок продолжался несколько минут, и мы на следующем же пароходе доехали до Крестовского, весело пообедали и благополучно вернулись домой. Но, будь на моем месте человек мнительный, ему было бы, надо думать, не весело...

Все три рассказанных случая произошли не помню в точности когда именно, но, во всяком случае, задолго до болезни Глеба Ивановича. Все это проделывал обыкновенный, здоровый, нормальный Успенский. Теоретически он, конечно, не хуже каждого из нас понимал, что по малой мере неудобно так-таки прямо в лицо говорить больному человеку, что он сейчас умрет, или сумасшедшему, что его везут не туда, куда он согласился и хочет ехать, а в больницу для душевнобольных. Если бы он знал, что не выдержит принятой на себя относительно Z роли, он и не поехал бы его провожать.

Но, соглашаясь принять участие в невинном и необходимом обмане несчастного Z, он не предвидел того впечатления, которое произведет эта поездка на него самого. А впечатление было таково: несчастного, больного человека обманывают, обманом везут в печальное, мрачное место, может быть, вечного заключения. И впечатление это было столь сильно, что заглушило все соображения, кроме одного: надо открыть этому человеку глаза, надо сказать ему правду. То же и относительно загипнотизированного студента, которого не только обманули, но над которым, по мнению Успенского, произвели еще оскорбительное издевательство. Но, говоря: *надо* сказать правду, *надо* открыть глаза,— я выражаюсь неточно. Слово *надо* предполагает некоторый деятельный, хотя бы и очень короткий процесс логического рассуждения, окончившийся определенным решением. В действительности же правда в обоих этих эпизодах сказала сама собой, неожиданно для самого Успенского, как своего рода рефлекс. Это особенно ясно в случае с моим припадком. Глеб Иванович ошибся в оценке моего состояния, но в данную минуту моя близкая смерть была для него несомненной истиной, и эта истина *выскочила* из него без всякой мысли о том, как подействует она на меня.

Как и всем нам, живущим в сложной сети условностей, Успенскому приходилось, конечно, не раз и не два таить правду про себя или же прямо говорить неправду. Но это всегда его мучило. Я не раз слышал от него и горькие, и гневные сетования по поводу той или другой житейской подробности этого рода. А когда что-нибудь производило на него особенно сильное впечатление, правда рвалась из него с неудержимою силою, помимо всяких сторонних соображений, всяких условностей; он органически не мог удержать ее в себе. Но и это сопровождалось подчас жестокой мукой. Если в рассказанных мною анекдотах он доставил или мог доставить ненужные страдания другим, то и сам в то же время страдал за этого несчастного больного, за этого обманутого студента, за этого якобы умирающего приятеля и, может быть, сильнее, чем они сами. Это делало его человеком не от мира сего, совершенно неприспособленным к практической жизни, и отчасти предопределило его мрачный конец. Но это же его свойство сообщает исключительную ценность его писаниям. Он не то что *не хотел* написать неправду — это слишком ма-



ло,— он *не мог* органически, по коренным свойствам своей природы не мог написать ее.

Успенского часто называли и называют тенденциозным писателем, разумея под тенденциозностью сознательную подгонку явлений жизни под требования той или другой доктрины. Ничего не может быть нелепее этого эпитета в приложении к Успенскому. Никакая доктрина, никакая теория не могла его связать пред лицом правды. Оттого-то его очерки и являлись так часто неожиданными для разных закоренелых доктринеров. В своей автобиографической записке он говорит о той брани, которою были встречены его первые очерки деревенской жизни. «Тогда меня ругали за то,— пишет он,— что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи». На него тогда накинута прямолинейные доктринеры народничества, не оценившие той боли сердца, с которою он писал, и не понявшие условности его выводов. Они даже как будто с ужасом восклицали: «До чего договорился Глеб Успенский!» Затем он нашел во «власти земли», как он выражается, «источник всей неразумной механики народной жизни». И опять прямолинейные доктринеры, на этот раз марксизма,— правда, несколько позже, когда Успенский был уже болен и не мог постоять за себя,— не оценили его страстной жажды «правды» и не поняли условности его выводов. В его изображении «земледельческих идеалов» они нашли «чудовищные тирады», «непостижимый бред», апофез «крепостничества»...<sup>55</sup>

Внимательный читатель — а Успенского надо читать внимательно — без большого труда выяснит себе из самых его произведений всю грубость этих ошибок. Но мы подойдем к этому выяснению ниже попутно — путем пересмотра писем Успенского к разным лицам, предоставившим их в мое пользование, за что я приношу им искреннюю благодарность.

Прежде всего бросается в глаза, если можно так выразиться, географическая пестрота этой в целом обширной корреспонденции. Письма писаны из Петербурга, Константинополя, Перми, Козлова, Одессы, мызы Лядно, Казани, Софии, Москвы, Ялты, Рязани, Чудова, Кисловодска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Калуги, Парижа, Ростова, Липецка, на «самолетском»<sup>56</sup> пароходе «Сильфида». И только случайно имеющиеся у меня письма ограничиваются этими

местами: могли быть еще из Самары и Лондона, из Томска и Белграда. (Я не нашел в своем собственном собрании несколько писем, содержание и даже некоторые характерные выражения которых хорошо помню.) Надо заметить, что многие письма не помечены ни местами, ни временем отправления, но о месте можно узнать из содержания письма, а о времени часто приходится только догадываться по разным сторонним соображениям. Понятно, что при таких условиях нелегко ориентироваться в корреспонденции. Затруднение это было бы еще значительнее, если бы я думал писать биографию Успенского. Но я не берусь за эту задачу и даже, по обстоятельствам, и из писем-то не рассчитываю извлечь все для такой биографии важное.

Уже из простого перечисления мест, откуда писались письма Успенского, видно, что ему почему-то не сиделось на месте. И эта непоседливость, это вечное стремление куда-то все в новые и новые места в высокой степени интересна.

Он писал мне из Парижа: «Господи, что за ахиня идет в моей жизни, что за чепуха! Я пять лет стремился поехать до Дону и пробраться в Соловецкий, а мне надо сидеть в Париже! Нечего сказать, по моим вкусам устроилось все!» Письмо, из которого я беру эти строки, относится еще к середине 70-х годов, а чем дальше, тем сильнее тянуло Успенского с места на место. Но почему «надо» жить в Париже, когда хочется поехать по Дону и побывать в Соловецком?

В. М. Соболевскому он писал откуда-то из-под Одессы: «Как бы хорошо было тут около Одессы — славно в этих местах пожить месяц. Сколько ужасно интересного: меннониты, колонисты, немцы, штундисты<sup>57</sup>, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видел и говорил, а поверите ли, не расстался бы с здешними местами: так много в каждом уголке своего — веры, порядков, взглядов, общественных отношений, типов и т. д. Но надо ехать в Ростов, потом во Владикавказ и там утвердиться на 1 месяц, а затем домой... Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себе печально — интересней думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим».

Опять *надо* ехать в Ростов, когда хочется пожить около Одессы. Почему *надо*?

Вот две его записки ко мне: «Можете представить — приехал в Петербург в 10 часов ночи, переночевал, а на другой день в 2 часа уехал опять домой, никого и ничего не видя! Вот в каком я убийственном душевном состоянии. Не знаю, что делать, ей-богу». (Без даты). «Был на несколько часов в Петербурге, и там меня осенила такая ужасная тоска вдруг, как обухом пришибла, что я не решился зайти к вам, просто боялся омрачить вас, и тотчас опять уехал в Чудово за работу. Страшно-вато что-то мне по временам». (Помечено 31-м августа 1888 г.)

Вот отрывки из писем к В. М. Соболевскому: 1) «Ехать мне оказывается опять делом невозможным — нет денег. Хотел я опять сесть за работу и написать последний большой очерк «Концов», но положительно заело меня глубокое горе. Все дела только что кончились в Петербурге, только что я выбрался из этого кипучего котла со свадьбами, и шахами, и смрадом, и оказывается, что мне нет возможности никуда поехать. Писать я положительно не в состоянии. Ведь нынешний год истиранил меня, и истиранил на много лет. Уехать надобно... Да надо и работать. Сидеть в этом смертельно надоевшем Чудове или в литературных петербургских кружках... положительно мне не вмоготу. Мне надобно вновь внимательно видеть жизнь... Мих[айловский] на днях будет в Москве, Кр[ивенко] уехал в Сибирь, Яр[ошенко] в Париже — я только обречен иссыхать в обстановке, которая только меня пугает, и сам должен производить на всех тяжелое впечатление... Если бы можно было числа до 10 (и то ужасно долго) получить 300 р., я бы немедленно уехал в Череповец, где меня ждут, чтобы рассказать всю историю закрытия земства... Если бы это можно было сделать... я прямо из Петербурга, не заезжая в Чудово, прямо сел бы на шлиссельбургский пароход». (Без даты.) 2) «Не знаю, куда мне ехать: за границу или в Сибирь к переселенцам и с переселенцами? А так «отдыхать», зря — не могу, тоска смертная. В Сибирь любопытно, но мрачно, чертова яма, холод, и вообще я устал от мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голодного и холодного. Больно смотреть, и голова отказывается мучиться об этом, просто утомилась. А за границу тоже не знаю, будет ли толк». (Помечено 17 мая 1888 г.) 3) «Главное, что я необыкновенно утомлен духом моим. Видите, как плетусь? Только

в Казани, но это потому, что устал ужасно; в Нижнем два дня не мог встать с постели. Может быть, и хорошо это. Теперь в Казани я уже мог сесть за работу, а завтра, 9-го, еду в Пермь. Меня пока берет раздумье — ехать ли туда? Соблазнительнейшие вещи прочитал я сегодня в газетах о Семеновском уезде, и меня туда тянет неумолимо. Эта поездка была бы мне по душе более, чем в чертову Сибирь. До чего-нибудь решительного я должен непременно додуматься в самом скором времени и завтра должен решить: куда я еду?..» (Без даты.)

О мотивах поездки в Череповец, о которой упоминается в первом из этих трех отрывков, есть еще иносказательное упоминание в одном из писем к М. И. Петрункевичу, очень для Успенского характерном вообще: «Надобно мне хоть немного побыть с людьми, и вот о чем я прошу вас, милый М. И.: у вас в Твери, несомненно, много таких знакомых чинов и «членов», которые обязаны *разъезжать* по губер. суд. след., статистики, податн. инспект., чинов. Крестьян. банка. Не согласится ли кто-нибудь в которую-нибудь (хоть на 3—4 дня) поездку? Писать я ничего не буду, но, во-первых, буду с людьми — это мне нужно, а во-вторых, у меня лично нет причин и оснований забраться в деревню: кого я там увижу и как отвечу, зачем приехал? Теперь я еду в Череповец с археологической целью «раскопки» того кургана, под которым схоронен труп Черепов. зем. с боевыми доспехами. Туда меня зовут, расскажут и дадут документы по этому делу, но я долго там быть не могу... и, таким образом, к 1-му, даже двумя-тремя днями раньше, я буду уже в Рыбинске. В моем распоряжении еще весь июль — и вот этот-то месяц я бы хотел пошляться *с кем-нибудь*... поехать в какие-нибудь места Тв. Губ. (решительно все равно, хотя с суд. след. я бы поехал с особ. удов.). Известите меня коротенькой записочкой в Рыбинск до востребования, так, чтобы, приехав из Череповца, я знал свою участь. Ни малейшего от меня беспокойства тому, кто будет не прочь взять меня в свою телегу, не будет; я охотно приму обязанности писаря».

А вот отрывок из письма к г-же N, объясняющий, как и чем кончилась, может быть, эта самая поездка (год на письме не показан):

«Чудово. 10 июля. Дорогая N! Вот где я очутился вместо Сибири-то! И вышло это так: в Перми я зани-

мался моими книгами и чувствовал некоторую скуку, но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорится, крепко. Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят или, как в Ленкорани, караван идет с колокольчиками, далеко-далеко. Дальше больше. Выглянул в окно (окно у меня было на 1-м этаже), гляжу — из-под горы идет серая, бесконечная масса арестантов. Скоро все они поравнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу: все знакомые лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все, все наше, из нутра русской земли — человек не менее 1500, — все это валило в Сибирь из этой России. И меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы еще того превосходней. Ведь эти люди — отборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучимся, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем и опять мучимся, — все *эти*, от воров до политических, *не выдержали* этой жизни, их тащат в новые места. И мне *охотой*, а не на цепи захотелось необузданно идти на новые места, мне также не подходит «жить» (а не бороться) с людьми, с которыми (и которым) приходится много лгать, бесплодно, бесцельно, и изживать русский теперешний век — бесцветно, неинтересно, безвкусно и неумно... В Екатеринбурге меня еще больше одолела жажда ехать дальше в новые места. Отчего переселяются только мужики, а интеллигенцию тащат на цепи? И нам надо бросать добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они и были старые, привычные, и искать и мест и людей, с которыми можно чувствовать себя искренней и сильнее. И тут-то вот я и остановился: так много на меня пахнуло нового и светлого, что я совершенно стал забывать мою работу, которую думал делать в дороге; она мне стала казаться ненужной, а между тем не работать было нельзя, — надо устраивать сына в гимназию, платить плотникам (они перестроили дом отлично) и т. д. А писать мое *старое* там тоже нельзя; и вот я решил воротиться тотчас домой, устроить семью на всю зиму, покончить с писанием, изданием и т. д. и в августе, после 15, а может, и раньше, уехать в Сибирь до весны».

Психологическая подкладка постоянных рассказов Успенского, я думаю, уже несколько выясняется этими письмами. Мы видели: ему тяжело «жить с людьми, с которыми и которым *приходится много лгать*» и «*надо* бросать добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они были и старые и привычные, и искать мест и людей, с которыми можно *чувствовать себя искренней и сильней*». И еще: «не тужите, не скачайте, не думайте о себе печально — интересней думать о том, как живут люди, *я всегда исцеляюсь этим*». И вот почему его манит на Дон, в Соловецкий, к новороссийским менонитам, колонистам и проч., в Череповец, где он рассчитывает лично узнать обстоятельства, при которых произошло закрытие земства, в Семеновский уезд, о котором он по дороге узнал «соблазнительнейшие вещи», к переселенцам — вообще на «новые места», и в Париж, и в Сибирь, и в Болгарию, и в Лондон, и в Сербию. И вот почему он часто, уже двинувшись из своего Чудова, не знал — куда ехать? Глаза разбегались...

Но в этом безбрежном житейском море была маленькая горсточка людей, которая требовала особенно его внимания, перед которою он до болезненности чувствовал свою ответственность: семья. Его категорический императив — «*надо*», так часто, к его великому горю, разрешавшийся «ахинеей» и «чепухой», но никогда в нем не замолкавший, в значительной степени обуславливался его отношением к жене и детям. Случаи, когда категорический императив, вытекая из других источников, враждебно сталкивался с тем, что *надо* ради семьи, доставляли ему величайшие мучения. Необыкновенно трогательны его письма из Парижа о сыне-первенце. «Я думаю, — писал он мне, — написать рассказ «Царь в доме» — ребенок. Это народное выражение о первом ребенке, и действительно — только эту власть я и согласен признавать за законную». Его письма этого времени переполнены подробностями о том, как Саша начинает ходить, говорить и т. п. И никогда не забуду той детски счастливой улыбки, с которой он, по возвращении из Парижа, показывая мне фотографическую карточку мальчика, сам любовался на нее. В одну из своих поездок он просил меня: «Пожалуйста, заезжайте на святой неделе в Чудово. Приезжайте туда со всеми вашими гостями, не покидайте их, и ребят привозите. Нельзя же их покидать. Я буду

знать, что у нас дома все-таки праздник, и мне будет легче на душе...»

Но, по другим соображениям или мотивам, все-таки *надо* ехать, ехать и опять ехать, иной раз даже не зная куда. Надо искать место, где можно чувствовать себя искренней и сильней, надо исцеляться интересом к тому, как живут люди. Он очень дорожил этим целительным средством и очень боялся, чтобы оно не утратило для него своих целебных свойств. «Я, кажется, уже при усилении теперь не могу восстановить в себе потребности быть внимательным к людям, а это была потребность», — писал он мне однажды. Но это были напрасные опасения. «Потребность быть внимательным к людям» никогда в нем не угасала, и в том же письме есть следующие характерные строки: «Очень, очень плохо у меня на душе с самого первого дня выезда из Чудова, и вот отчего мне нечего вам написать. Соболевскому, впрочем, я пишу, что мне хорошо, но это единственно чтобы ободрить его, что есть кому-то хорошо на свете, так как ему-то уже что-то очень томно и скучно. И А. В. я пишу иногда в том же роде».

Характерны здесь эти высшие степени внимания к людям — бережное к ним отношение, желание устранить поводы для горьких мыслей. Чужое горе, чужую беду Глеб Иванович всегда принимал близко к сердцу.

Вскоре после закрытия «Отечественных записок» он гневно и вместе с тем трогательно писал мне по поводу одного литературного эпизода, которому я вовсе и не думал придавать значение: «Я прочитал фельетон Б [уренина] <sup>58</sup>. Начинается нечто глубоко подлое. Если принять к сердцу, то надо бить... по щеке. Но избави господи, если вы примете к сердцу эти хитрые замыслы вовлечь вас в беду; какая-то шайка образовалась разбойничья. Совершенно прекратить с ней всякие разговоры — самое лучшее и единственное. Я не хотел вас огорчать и не писал вам об этом фельетоне, но если вы его не прочитаете и будете отвечать хотя бы С [уворину], как все-таки человеку... то будет просто бог знает что и вас расстроит до невозможности. Необходимо просто уйти, плюнув им всем в рыло особой статьей в «Русских ведомостях», и раз навсегда... Это вольные казаки, разбойники — шайка, одним словом. Никакой тут литературы нет. Так именно и надо сказать, что это не писатели. Прочитать надо, но не надо огорчаться; начинается чертово, омутовое дело, шабаш ведьм —

не ходите туда; надо дунуть и плюнуть, и пусть они безобразничают как угодно. Не огорчайтесь же, дорогой Н. К.»

В октябре 1886 года, когда я, участвуя в редакции «Северного вестника», ждал от него из Чудова обещанной рукописи, я получил вместо нее письмо из Рязани: «Нежданно-негаданно пришлось бросить работу и уехать по одному делу Уж, стало быть, что-нибудь есть, больше я не знаю что сказать, и до моего возвращения о моем отъезде не говорите никому и *никого* (буквально) не спрашивайте. Я глубоко огорчен, что надул «Сев. вестник», но я искуплю в ноябре и декабре. Не было возможности даже зайти к вам. Пишу в вокзале в Москве, через час еду дальше. Итак, знайте, пожалуйста, что если бы не серьезное дело, я бы не бросил работы и всех своих дел». Потом я узнал секрет этой неожиданной поездки: Глеб Иванович ездил за тысячу верст для улажения недоразумений, возникших в семье одного ныне уже умершего, горячо любимого им приятеля.

Около этого же времени, несколько раньше, он писал мне из Новороссийска:

«Я хочу сказать о N. Бывает ли она... И допустите ли вы, чтобы она познакомилась с ... . Я бы не допустил, и, пожалуйста, не допустите этого. Вам пришлю кой-какие письма Z, и вы увидите, что это самая канальская и пустопорожняя душа. NN я не знаю, но думаю, что и в ней кой-что есть такое, что имеет не беспорочное зачатие. Так вот, как эта капелла прицепится к N да втянет ее в свой бабий танец, то это будет худо. Я, право, не знаю, но как только... так мне стало страшно за N. Я писал ей, чтобы она боялась ласковых слов.. Работать работай и не покидай нас, но что касается ежели барыни задумают впутать ее в лянтрик (*l'intrigue* \*), так чтобы лупила их наотмашь».

И действительно, он писал по этому поводу г-же N: «Боюсь я этих проклятых баб: очень они ехидны, плутоваты, очень бабы и бесконечно опытны только в одном ехидстве, плутоватости, подвохах, пронырствах и всяких ядовитых каракулях, вращающихся около амура, и только амура, в котором к тому же никто из них ничего не смыслит и вне которого, однако, для них нет ровно ничего святого и даже любопытного. Черт их

---

\* Интрига (*фр*) — *Ред.*



знает что это за порода! Когда я был у вас и прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удержать в пределах серьезного интереса,— я не мог думать, чтобы они были такие ехидные... И вот я прошу вас: будьте мудры, яко змия! Пожалуйста!»

Надо заметить, что если я вовсе не придал значения тому литературному эпизоду, по поводу которого Успенский так взволнованно убеждал меня не огорчаться, то и дамы, от которых он предостерегал г-жу N, отнюдь не были для нее опасны. Но преувеличение опасностей было одною из особенностей, и если стереть в только что приведенных письмах следы этой его личной особенности, то что же удивительного в том, что человек волнуется из-за близких ему людей? Это элементарно. Да, но Успенскому были близки не только собственная семья и кружок приятелей. Ему поистине ничто человеческое не было чуждо. Письма его, рядом с изложением его финансовых и других бедствий и планами их устранения, переполнены заботами и хлопотами о других

Вот, например, несколько строк из письма его ко мне: «Какое ужасное положение!.. Я прошу Павленкова оставить вам мои 250 рублей. Не знаю, кто и когда будет в Петербурге, но кто бы ни был эти дни — из этих моих денег, наверно, устроится сколько-нибудь».

В двух письмах к М. П. Ярошенко он «на коленях просит» ее помочь одному находившемуся временно в затруднении издателю. В письме к М. И. Петрункевичу *убедительно* (подчеркнуто) просит устроить одного больного в больницу для душевнобольных, притом *сейчас, немедленно*. И т. д., и т. д.

А вот ряд его писем к В. М. Соболевскому в несколько ином роде:

«В. М.! Очень мелким шрифтом печатаете о переселенцах и пожертвованиях. Надобно привлекать к этому делу публику. Посмотрите-ка, как поступают К. и С. Поповы, чтобы публика видела слово **чай**, а когда дойдет до переселенцев, то печатается такими бактериями-буквами, что совсем не увидишь (получено 1 р. А. З., от К. Б. 50 коп.). Попов такими буквами не напечатает своего объявления, а то и он пойдет в переселенцы. Уж на что несчастны кухарки и «человек ищет места», а и то публика может сказать, взглянув на объявление: «Эко кухарок-то!» А переселенцы и незаметны совсем. Я вот знаю тысячу докторов от сифилиса, а мне вовсе

их знать не надо. Знаю Кнопа, Бутенопа, Эрдмансдорфера, мыло Тридас, Брокер, знаю, что скончалась Мазуркина, Болванкина и Лоханкина,— а переселенцы? поступило в Р. В. 1 р. 50 коп.»

«Удивляюсь, что о таких вещах, каким посвящена передовая статья 20 октября, так мало уделяется места! Просто поразительно! Сделайте милость для общества всего русского, поручите кому-нибудь составить компиляцию для фельетона о последних английских выборах... Если уж об этаких явлениях можно говорить раз в год в 20 строках, тогда что же есть интересного на белом свете? Если вы не сделаете этого и не составите подробной компиляции фельетона на 3, бог с вами! Не буду я вас тогда любить!»

«Что это вы не сделаете извлечения из письма Карла Маркса, напечатанного в «Юридическом вестнике» в октябре<sup>59</sup>. Это письмо к Михайловскому \*. Маркс выражает обиду, что Михайловский *позволил* себе (курсив, как и ниже, Успенского) заподозрить его в том, что он, Маркс, считает «железные законы развития капитализма» неизбежными для наций, не имеющих ничего похожего в истории с европейскими. Вот что он пишет про себя: *«Чтобы судить со знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился порусски* и затем, в течение долгих лет, изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. *Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 г., то она лишится самого прекрасного случая, какой когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя»*. Ведь это смертный приговор! Положительно необходимо вам перепечатать это в сокращении. Вот тут-то и *было* наше дело — да сплыло. Теперь одни — *самохвалы* — из статистических данных извлекают одни прелести жизни народной, великое будущее, выбрасывая всю мерзость запустения, а другие — *Марксы-карлики* — выбрасывают из этих же данных все, что еще живо оригинальностью, конечно, случайно, и повелевают покоиться всем «перипетиям». А таких слов, великих и простых, какие говорит Маркс и какие требуют

---

\* Письмо это, часто называемое у нас письмом к Михайловскому, адресовано совсем не ко мне; это видно уже из того, что Маркс говорит в нем обо мне в третьем лице. Вероятно, он предполагал напечатать его в «Отечественных записках» в виде письма в редакцию.

огромного дела, мы не говорим и поэтому дела не делаем никакого. Как это письмо меня тронуло!»

Задумывая, очевидно, в это же время новый ряд очерков, Успенский сообщает В. М. Соболевскому, что их будет три. Первый займется вопросом «что будет?» («не «что делать?», не «как жить на свете?»—«этому уже не время»,— прибавляет Успенский в скобках). Второй будет называться «что будет с фабрикой?». Третий — «что будет с бабой?». Во втором «будут собраны все обещания «марксистов» о тех *превосходнейших временах*, до которых *должна* дожить фабрика». В третьем будут представлены доказательства, что баба есть человек, который, «никоим образом не пропадет без мужика и все сделает и просуществует на белом свете одна и с детьми. Как и почему капитализм должен ее (*пока!*) в порошок растереть».

«Я, право, устал. *Но не в этой усталости дело* (курсив везде Успенского): дело в том, что я *теперь* поглощен хорошею мыслью, которая во мне хорошо сложилась, *подобрала и вобрала в себя* множество явлений, которые *сразу* выяснились, улеглись в порядке. Подобно «Власти земли», то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала». Два фельетона, которые вы напечатали, это только образчик того, что меня теперь занимает. Так вот мне и не хочется теперь мучить свою голову, отрываясь от этой *любимой мысли* для нелюбимых, для работы из-за нужды. Если «Власть капитала» — название неподходящее, то я назову «Очерки влияния капитала». Влияния эти определены, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображают цифрами — у меня же будут цифры и дроби превращены в людей... Уверен, что ужасность их (этих явлений) будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей — изуродованных и искалеченных».

План этот остался невыполненным, Успенский только приступил к нему («Живые цифры»). Это с ним не раз случалось не только в последнее время, когда усталость все больше и больше одолевала его, а и гораздо раньше, в молодую пору пробуждения, а затем и расцвета его таланта. В предисловиях к первому и второму томам его сочинений первого издания и к первому тому павленковского издания он сам отчасти рассказал, как

и почему это случалось. Всегда так или иначе дело было в разладе между категорическим императивом *надо* и либо его собственной неуравновешенностью, либо разными внешними обстоятельствами, обрывавшимися «ахинеей» и «чепухой». Между прочим, его в половине семидесятых годов очень занимала мысль о романе или повести, которую он уже принялся было писать, которой и заглавие было придумано («Удалой добрый молодец»), но которой он так и не написал...

Оригинал героя этого романа очень увлекал Успенского. Он писал мне:

«Повесть, которую пишу,— автобиография, не моя личная, а нечто вроде Л[опатина]. Чего только он не видал на своем веку. Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной, к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть...»

Этот Л. был одним из тех явлений, на которых отдыхала душа Успенского<sup>60</sup>,— одним из тех, с которыми он чувствовал себя «искренней и сильней».

Но мутные волны повседневной жизни скоро смывали подобные «выпрямляющие», живительные впечатления, которых так жаждала душа Успенского. А кроме того, случалось ему, конечно, и ошибаться, ожидая найти чистое золото там, где на деле оказывалась грязь. Вот, например, что он писал В. М. Соболевскому после поездки в Болгарию<sup>61</sup>:

«Только несколько дней, когда я чувствую себя немного по-человечески. Болгарская поездка измучила меня нравственно до ужасной степени. Никогда в жизни не был я в таком глубоком отчаянии, положительно не знал — что тут делать, то есть что думать! Всякая русская грязь, подлость... вся ложь полуславянофильства, такая, как теперь в моде,— все это здесь восстало передо мной в подлинном виде, ошеломило меня, все

мне припомнило, всю жизнь, все жертвы, все лганье, которое постепенно вкрадывалось в душу страха ради иудейского, все уступки совести, вплоть до последнего слова непротivления злу. Словом, положительно я задохнулся и изнемог *от этого всего*, что здесь на меня нахлынуло вдруг сразу. Не знаю и не уверен, чтобы вы нашли возможным печатать такие письма, как прилагаемое. Но из него вы можете иметь понятие о красоте и приятности здешних впечатлений. Писать дипломатические письма, из которых ничего не известно, я не могу... Много, много в нас, русских, лжи въелось и вообще *ничего радующего!* Нехорошо, нескладно, неприятно, творится здесь дело *неведомое буквально* и ничего не обещающее в будущем. Хорошие слова — свобода, равенство — нечем наполнить ни нам, ни им. Все это здесь мыльные пузыри, которые когда лопаются, то пахнут гадко. Я стараюсь быть елико возможно беспристрастным, о Болгарии будет на основании болгарской прессы радикального лагеря, и вы увидите, как много уже в ней шарлатанства. Все это не второй, а сто второй сорт. Другое дело — народ. Он-то, его житейбытье и обличитель всей этой скверности... Словом, не знаю, не знаю. Я буду писать, но, кроме глубочайшей скорби, ничего на душе нет от этой работы...»

Измученный подобными впечатлениями и всякого рода житейской «ахинеей» и «чепухой», Глеб Иванович подумывал иногда усесться на месте, поступить на службу — на железную дорогу, в земство и т. п., имея постоянный заработок, работать в литературе спокойно, не разрывая свои произведения на клочки. Но это или совсем не удавалось ему, или удавалось очень ненадолго. Дольше всего, кажется, он *служил* заведующим сельской ссудо-сберегательной кассой в Самарской губернии. По-видимому, он этой службой был доволен — по крайней мере с точки зрения собранного им там материала для литературной обработки. Иначе вышло с другой его пробой служебной деятельности. 11 сентября (все равно какого года) он даже с некоторым торжеством извещал меня: «Сижу в *должности*», а письмо от 1 февраля следующего года начинается словами: «Места у меня больше нет». И вот мотивы, изложенные в письме от 14 марта: «Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые кон-

цессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двухдвугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают не повинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов; если бы мне было хоть мало-мальски покойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому и, понимая, считал бы себя скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами (как в последний приезд в Петербург) достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенною чувствительностью. Место надо было бросать: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье дело (будьте в этом уверены), но все знают, чем оправдать свое положение... а вот зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уже нехорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела».

Так метался этот великомученик правды. Под правдой они разумели не только истину, вследствие чего хотели доподлинно, путем непосредственного наблюдения знать, как живут люди на востоке и западе, на севере и юге, а и отсутствие внутреннего разлада в человеке. Не тиши и глади жаждали они, «ища по свету, где оскорбленному есть чувству уголок»<sup>62</sup>. Его и вид страдания, горя, печали (как в «девушке строгого, почти монашеского типа» в «Записках Тяпушкина») радовал, если их носитель не допускал в свою душу ничего «неподходящего», то есть если его «размышления» и «поступки» находились в полном соответствии. Но не всегда находил он полное удовлетворение в такой гармонии мнений, чувств и поступков. Так, в «Больной совести» он призадумывается, что, собственно, лучше — добродушие ли нашего солдатика Кудиныча, который, несмотря на это добродушие, в войнах с разными народами перебил много, по его собственному сознанию,

«хороших» людей, или, например, свирепая жестокость, с которою версальские войны расправлялись после франко-прусской войны с парижскими коммунарами. Он сначала иронически похваливает Кудиныча и проч., но затем как будто склоняется на сторону свирепых версальских убийц, потому что они поступали по совести, сами считали свои деяния справедливыми, потому что не было в них разлада между размышлениями и поступками. Но *эта* гармония, конечно, не удовлетворяет его, как удовлетворяет гармония всего существа девушки строгого, почти монашеского типа. В «Записках маленького человека» Успенский, наслушавшись разговоров «расколотых надвое» людей, говорит: «Все это надоело мне до такой степени, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства: какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналей, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует хватать рубли за заговор от червей,— словом, какое-нибудь подлинное невежество — *лишь бы оно считало себя справедливым*». Из этого не следует, однако, что старинный становой, подлинный шарлатан и подлинное невежество были для Успенского сами по себе привлекательны.

Успенский питал *условное* почтение ко всякой гармонии и *безусловное* отвращение ко *всякой* «расколотости». Этого-то и не поняла марксистская критика в его изображении «земледельческих идеалов»...

И вот представьте себе этого человека с обнаженными нервами переживающим бред избения всей семьи и всех друзей или собственного превращения в свинью. А между тем все эти ужасы, и еще большие, представляли собою только фантастически комбинированные и преувеличенные волнения, переживавшиеся Успенским и в здоровом состоянии. В корне Глеб Иванович и больной оставался тем же Глебом Ивановичем, каким мы его знали здоровым,— все так же возвышенно настроенным, все так же занятым борьбой со злом и мраком, которая теперь только вся обратилась внутрь его собственной души, наконец даже все так же талантливым, потому что некоторые из его безумных фантазий поражают своей оригинальной красотой.

Дневник д-ра Синани переполнен медицинскими подробностями, между которыми есть и физически нечистоплотные, и в других отношениях неудобоназываемые. И, несмотря на это, читая дневник, вы все время находитесь в некоторой возвышенной сфере, обволакивающей, проникающей собою и преобразующей грязные подробности, — они растворяются в ее чистоте.

Читатель обратил, может быть, внимание на упоминающуюся в дневнике монахиню Маргариту, которая помогала несчастному в борьбе с «Ивановичем». Эта монахиня Маргарита играла вообще большую роль в его бредовых идеях. В дневник занесена, между прочим, следующая его запись: «Выход. Все колокола (сегодня воскресенье) прозвонили мне: Во время оно Глеб Иванович Успенский был вознесен на небеса во вселенную и был он здесь в образе монахини Маргариты в братском союзе с иноком рабом Божиим Глебом. Вселенная в небесах, я видел (дальше неразборчиво). А теперь он сидит за столом совсем...» На этом запись обрывается. Об этой монахине Маргарите он и мне много раз рассказывал, очень картинно описывая ее появление. Она посещала его еще в больнице д-ра Фрея, принося с собой утешение и ободрение. Никакой монахини Маргариты он, кажется, не знал; по крайней мере я раньше никогда не слыхал от него этого имени. Это было чистейшее создание его больной фантазии. Несмотря на живописное изображение ее появления, наружности ее я так и не знаю; знаю только, что в ней были собраны и как-то спаяны все лучшие стороны всех лучших известных ему женщин, причем он перечислял их поименно.

Надо заметить, что в здоровом состоянии Успенский был совершенно равнодушен к религиозным вопросам. Не то чтобы он не верил в бытие божие или в истинность христианских догматов или сомневался в них — просто он не останавливался на этих предметах. Некоторых св. русских угодников он высоко чтит за то, что они «зоологическую правду» народной жизни старались поднять до высоты христианской морали. Особенно ему нравилась народная легенда о св. Николае Чудотворце и св. Касьяне<sup>63</sup>, первый явился к богу в грязной и изорванной одежде, потому что проводил время в труде, и за это бог предоставил ему много праздников



в году; Касьян же предстал в новом и блестящем наряде, и за это ему дан только один праздник в четыре года. Все это не имело никакого отношения к религиозным догматам и обрядам. Но в больнице (в Колмовской уже) его охватило мистически-религиозное настроение, а затем он стал исполнять и церковные обряды. Дело началось на почве все той же внутренней борьбы с «Ивановичем».

Временами Глебу Ивановичу становилось лучше. В дневнике д-ра Синани встречается, например, такая запись: «Продолжает писать. Читает, по-видимому, очень толково. Отзывы о писателях и т. д. отличаются обстоятельностью, уверенностью, знанием дела. Вообще производит впечатление крайне отрадное. Что-то будет? Неужели Глеб Иванович поразит нас и поправится настолько, что будет даже писать по-прежнему? Я боюсь даже мечтать об этом». Но, очевидно, доктор мечтал, и оптимистический взгляд, хотя и очень редко, подсказывался не только объективными данными, а и любовным отношением врача к больному. Как бы то ни было, но больному становилось временами настолько лучше, что он ездил, с провожатыми конечно, в Новгород, посещал там знакомых, бывал на земских собраниях, отпускался к себе в Чудово, откуда делал довольно большие экскурсии, ездил и в Петербург. В большинстве случаев дальние поездки оканчивались худо. Вот несколько записей д-ра Синани:

«24/IV (1893). Глеб Иванович сегодня отправился пешком в Чудово в сопровождении Степанова».

«29/IV. Вернулся со мной обратно».

«5/V. Выписался в Чудово. Сопровождает его Степанов».

«9/VI. Сегодня пришлось привезти его обратно в Колмово. Жизнь в семье оказалась для него крайне неблагоприятною. С первых же дней совместной жизни с женой он разочаровался в одном из сильно занимавших его желаний... Под влиянием отчаяния он 11 мая сильно размозил себе мягкие части темени камнем. Когда я приехал к нему, он сожалел, что он так поступил, объяснил свой поступок кратковременным сумасшествием и при этом, как бы в объяснение мотивов, приведших его в это состояние, проговорил следующую

фразу: «Что же? Писатель я не писатель, отец я не отец — семью мою содержат другие, а не я, муж я не муж; никому я не нужен, а только в тягость». Чем дальше, тем больше было поводов для разочарований. Появились угрюмость, молчаливость, неудовлетворенность, досада на себя и на окружающих, раздражительность. Появились дерганье себя за бороду, бормотанье про себя фраз вроде следующих: «три тысячи в год», «Сашечка приедет», «пошел вон» и т. п., шушуканье, выдыхание вроде свиста, встряхивание головой и т. п. насильственные движения, царапанье раны. Наконец стал себе наносить сильные удары по голове, по вискам, стремление разmozжить себе голову палкою. Несколько дней тому назад еще можно было слышать такие фразы в его бормотанье: «Сашечка приедет», «надо жить», рядом со словами «пошел вон». Раздражительность дошла до того, что он стал покрикивать на окружающих, гнать вон жену и детей. Аффекты гнева все усиливались, бил себя, угрожал убить себя, убить наиболее близких ему членов семьи, раз они чем-нибудь ему противоречили. Сон стал плох, все требовал sulfo-pat, который, однако, мало ему помогал. То и дело угощал себя пощечинами. Уже он не слушался и меня. При мне сделал страшную сцену своей семье, гнал жену вон за то, что она вызвала меня, нагнал ужас на домашних; когда я объявил ему, что я его возьму обратно в Колмово, то он закричал и на меня и наконец стал гнать вон и меня, угрожая убить и меня, и детей, и себя. Само собой разумеется, что себе он наносил при этом отчаянные пощечины. Состояние его дома можно характеризовать в кратких словах таким образом: сознание ясное, бредовых идей незаметно, насильственные представления, насильственные действия, крайняя раздражительность, склонность к аффектам гнева, переходящим сейчас же в нежность, ласку, самообвинение, но на очень короткое время; стремление к самоувечению, самобичеванию, недовольство собою, не исключаяющее досады на других, не исключаяющее протеста против других за неисполнение его желаний, угрозы им и даже готовность оскорбить их не только словами, но и действием. Замечательная память!»

Однако в эту же июньскую поездку, а именно после прогулки из Чудова в Грузино, у него был момент не-

обыкновенного блаженства, который он потом часто вспоминал. Б. Н. Синани записывает:

«Воскресают воспоминания преимущественно тех сцен, которые доставляли ему чувство блаженства, восторга, например Маргарита, но особенно состояние того вечера после Грузина. Вернулся он тогда из Грузина с мрачными мыслями. Но вот ночью он стал испытывать удивительное явление превращения во всем теле. По всему телу стало разливаться, начиная с ног, как электрический ток, что-то хорошее, теплое. Он весь преобразился, он чувствовал себя счастливым, он воскрес, он чувствовал себя так, как никогда за все свои пятьдесят лет. Он был совершенно чист, без пятнышка, совсем святой. Он должен был сохранить это состояние навсегда, *навек*. Он должен был встать и пойти к жене, но он этого почему-то не сделал. Продолжал лежать, и вот он стал чувствовать, как у него то там, то здесь потрескивает череп, настроение ухудшается, в голову забираются мрачные мысли. Трещал-трещал череп и дотрещался до того, что на следующее утро он стал разбивать его. Он не должен был этого делать, не должен был предаваться отчаянию по случаю прохождения того удивительного состояния. Он ошибочно думал, что это состояние исчезло совсем. Оно не исчезло. Оно осталось в нем. Доказательство хоть то, что он вспоминает, и воспоминание вызывает в нем теперь то же состояние. Он верит, что будет испытывать это состояние все чаще и больше и что в конце концов оно в нем укрепитя и он окажется окончательно и навсегда *воскресшим* и как человек, и как писатель. И будет он *чистым, святым*, будет писать».

Кроме постоянного, упорного сосредоточения мысли на необходимости и обязанности «окончательно воскреснуть», Глеб Иванович употреблял и некоторые механические приемы для достижения этой цели. Между прочим, за время болезни у него развилась странная привычка постоянно что-то шептать про себя. Д-ру Синани он однажды объяснил, что при этом он «ведет борьбу с тьмою, не совсем еще исчезнувшей из его головы». «В те моменты, когда он кажется окружающим странным, он ведет борьбу, он содействует упрочению своего воскресения, счастья. Когда другим кажется, что он свистит, дует и т. п., он делает свое дело в пользу ис-

коренения дурного, мрачного, темного (точно определить не может) тем, что шепчет: «Честью и совестью». А когда он вскидывает голову, он как бы отмахивается от мрачного и шепчет: «Счастье». Теперь он убежден, что хорошее в нем не погибло, что оно восторжествует окончательно. «Добросовестность, говорит, никогда не исчезала у меня окончательно». Будет так, что в нем останутся только честь, совесть, любовь, счастье и т. п., и он будет писать. По-видимому, он как бы то и дело производит над собою эксперименты самовнушения». Однако иногда он прибегал и к более грубым средствам: колотил себя по голове с целью выбить оттуда дурные мысли...

А затем его бредовые идеи окрасились мистическим цветом. Вот одно из его писем к жене: «Уверю тебя, дорогая моя, горячая любовь к богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Величайшее счастье жить на белом свете, светлое далекое будущее обрадует всех, кто меня любит, кто возлагает на меня большие надежды. А я люблю всех и воскресаю в любви ко всем страждущим и обремененным» и т. д. Д-ру Синани он говорил в это время, что «воскрес в любви к богу. Бога,— читаем далее в дневнике,— понимает в пантеистическом смысле и примешивает к нему любовь и бесконечность не то как атрибуты, не то как синонимы. Выходит поэтическое, довольно стройное мирозерцание, мало похожее на величавый слабоумный бред паралитика. Говоря о бесконечности, о мирах и т. п., прибавляет, что все это у него в голове, в голове его вселенная со звездами», и т. п. Еще далее он стал «ангелом господним всемогущим», стали ангелами и святыми все близкие к нему, и, даже пылая негодованием на Б. Н. Синани, он писал ему в такой форме: «Ангелу господню Борису. Позвольте просить вас написать мне, какая власть руководит вами надо мной, всемогущим ангелом-хранителем,— по власти господ бога или по вашему своеволию? Ангел господин Глеб».

Надо, однако, иметь в виду следующую оговорку дневника: «Слова «гений», «ангел», даже «бог» и т. п. эпитеты, приписываемые им себе и близким ему лицам, вовсе не должны быть понимаемы как грубый бред вообще и как бред величия в частности. Сегодня, между прочим, он употребил слово «бог» в применении

к крестьянину, причем, по обыкновению, не мог обойтись без того, чтобы не назвать крестьянина по фамилии (Угланов). Общий смысл его фантазии следующий: люди сотворены так, что в них заложены все основания к всестороннему совершенствованию, к высокому развитию их духовных (умственных, нравственных и эстетических) способностей до такой степени, что они могут подняться до степени ангелов и даже выше. Когда люди свободны от влияния насилия, порока земного, они способны быстро развиваться духовно, подниматься все выше и выше к небесам, все больше и больше уподобляться высшим небесным существам, принимать (духовно) все высшие и высшие размеры. В то же время организация их (духовная) становится все сложнее, утонченнее, нежнее, чувствительнее. Для того чтобы удержаться на достигнутой высоте, необходимо, чтобы ничем не нарушалась полнейшая гармония в их организации, необходимо, чтобы их нисколько не касалось влияние земного, порочного, насильственного. Чуть их коснулось что-нибудь низменное, они сразу начинают быстро терять свои небесные качества и принимают грубые формы и размеры земных существ, обыкновенных людей. Называя те или другие лица, приписывая им те или другие эпитеты, он, как видно, имеет в виду не конкретное их состояние в данную минуту, а их потенциальную способность».

В этой мистически расцвеченной фантазии нетрудно усмотреть тот идеал, который манил к себе Глеба Ивановича и в здравом состоянии, приближение к которому он видел в укладе мужицкой жизни, в Венере Миловской, в «девушке почти монашеского типа» и осуществления которого в самом себе он так страстно желал. Оно наступило наконец, это осуществление, но уже в безумной фантазии. Да и то фантазия эта не раз разбивалась о страшные видения, в которых все близкие являлись или злодеями, разбойниками, развратниками, преступниками, или жертвами злодейств и преступлений; и сам он оказывался злодеем, разбойником (под некоторыми записками он так и подписывался: «Разбойник»), который убил или погубил, ограбил и т. п. всю свою семью, «зарезал свой ум, свою душу»...

Но да идут мимо нас эти ужасы, доводившие страдальца до последних пределов отчаяния. Мне хочется вспомнить в заключение Успенского счастливым — на-

сколько может быть счастлив несчастный, то есть в красивой, поднимающей большой дух фантазии.

Это было в один из его приездов из Колмова в Петербург. Он заезжал ко мне почти каждый день, а кроме того, я в этот же приезд видел его дважды в больших собраниях, где он непременно хотел быть, несмотря на убеждения не ездить: на одном студенческом вечере в дворянском собрании и на большом обеде в ресторане (боюсь ошибиться, но, помнится, это был юбилей А. М. Скабичевского). На вечере молодежь, давно не видавшая своего любимца или даже только по писаниям знавшая его, окружила его густой стеной. Всегда застенчивый, тут он был особенно смущен, но вместе с тем приятно взволнован, взволнован так сильно, что его пришлось скоро увести. На обеде или, точнее, после обеда, когда встали из-за стола и разбились по кучкам, волнение его достигло высшей степени, сначала он что-то шептал, а потом стал громко и возбужденно говорить о том, что все присутствующие — ангелы, и опять пришлось увести его. Ко мне он приезжал обыкновенно вечером и долго рассказывал о том, что с ним происходит и что еще будет происходить. Говорил, например, что видит на потолке или сквозь потолок звезды, и когда я спрашивал, отчего же я-то их не вижу, да и никто, кроме него, не видит, он отвечал: «Мне это дано». — «Почему же, Глеб Иванович, вам дано, а мне не дано, и такому-то, и такому-то не дано?» — «Потому что я много пережил, чего никто не переживал, ведь вы знаете, я сумасшедшим был». И затем шел художественный рассказ о монахине Маргарите, которая являлась к нему с утешением и поддержкой. Иногда разговор начинался с какой-нибудь текущей житейской темы или с воспоминания о ком-нибудь или о чем-нибудь, но быстро переходил к тем же звездам, видимым сквозь потолок, или к другим предметам, которые ему «дано» видеть и ощущать. Так, он много раз возвращался к своей способности летать. Он утверждал, что ему «дано» дышать не так, как дышим все мы, легкими: он дышит всем телом, у него и ноги наполнены воздухом, и ему ничего не стоит подняться за облака и «быстро-быстро» долететь до любой звезды. На выражение сомнения он отвечал все тем же «мне дано», и дано именно за пережитые им страдания. Свою способность летать он намерен был пустить в ход на благо всего человечества, и, говоря об этом, он рисовал грандиозную

картину: когда настанет время, он, видимо для всех, поднимется на воздух и облетит вокруг земного шара, и этот подвиг так поразит людей, что все насильники и злодеи устыдятся, а все униженные и оскорбленные воспрянут духом, и на земле наступит царствие божие... В промежутках разговора он что-то шептал, но я не мог разобрать ни одного слова. Прощаясь, он всегда обещал скоро опять приехать, потому что ему еще много надо мне рассказать, но рассказывал опять то же самое с легкими вариациями. У него я избегал бывать, чтобы не попасть как-нибудь не вовремя, а когда случалось, то слышал те же речи или, например, такие: возьмет, бывало, на руки своего младшего сына и предлагает мне убедиться, что в нем нет веса, потому что он — ангел... Ничто земное, низменное для него не существовало, он был весь в высших слоях духовной атмосферы и был счастлив — ненадолго...



## ГЕРОЙ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

### I

1814 года октября 2-го, «в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым. Крещение того же октября 11-го дня. Восприемником был господин коллежский асессор Фома Васильевич Хотяинцев, восприемницей была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева».

Так значит в метрической книге церкви Трех Святителей, что у Красных ворот, в Москве. Справка эта была опубликована лишь в 1873 году Розановым в «Русской старине»<sup>1</sup>. До тех же пор и год, и число месяца, и даже место рождения Лермонтова показывались в разных биографиях различно. Да и после приведенной справки разноречивость показаний не совсем исчезла, так что еще в 1891 году в одной провинциальной газете был поставлен «открытый вопрос нашим библиографам»: когда родился М. Ю. Лермонтов? Это характерно для скудости, сбивчивости и малоизвестности биографических сведений о Лермонтове вообще. За последнее время, впрочем, в наших исторических, а частью и общих журналах, вместе со многими неизданными стихотворениями Лермонтова, появилось довольно много отрывочных биографических данных. Уясняя ту или другую фактическую подробность из жизни поэта, данные эти, однако, мало прибавляют к общим и коренным чертам его духовной физиономии, и в этом отношении главный источник биографии поэта составляет его собственная поэзия. Поэт в высшей степени субъективный, лишь очень редко, хотя и блистательно выступавший в роли созерцателя, Лермонтов на все свои произведения клал резкую печать своей инди-



видуальности, вносил всюду самого себя, свою личность, не хотел или не мог от нее отделиться. Весь процесс его духовного роста, все даже мимолетные его настроения отражались в его поэзии. Еще Боденштедт<sup>2</sup> заметил: «Важнейшее изображение личности Лермонтова все-таки останется нам в его произведениях». Нельзя, однако, вполне согласиться с теми мотивами, которыми немецкий переводчик нашего поэта поддерживает свою очень верную мысль. Он думает, что в своих произведениях Лермонтов «выказывается вполне таким, каким был, тогда как в жизни он был лишь тем, чем хотел казаться». Это и верно, и неверно. Нисколько не сомневаясь в искренности лермонтовской поэзии, признавая ее высокую биографическую ценность, надо все-таки с большою осторожностью черпать из нее биографический материал, именно потому, что в ней отражались даже мимолетные его настроения.

Лермонтов стал поэтом очень рано, тринадцати-четырнадцати лет. Но еще раньше он проявляет свои художественные склонности в других формах. А. П. Шангирей, вспоминая раннее детство поэта, пишет: «Мишель был мастер делать из талого снега человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями и искусством; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воска целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего пришлось нам видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявление же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время; все сочинения по заказу Саре́т (учителя) он писал прозой и нисколько не лучше своих товарищей» («Русское обозрение». 1890. № 8). С течением времени зачаточные таланты живописца и скульптора не то что исчезли — рисовать Лермонтов продолжал (не чужд он был и музыки), — а, так сказать, обогатили собою талант поэта, придав его описаниям необыкновенную яркость и выпуклость. Восхищаясь пейзажами в поэзии Лермонтова, гр. Ростопчина справедливо замечает<sup>3</sup>: «он, сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем» («Русская старина». 1882. № 9). Белинский говорит<sup>4</sup>, между прочим, о «Трех пальмах»: «Пластицизм и рельефность образов, выпуклость форм и яркий блеск восточных красок сливаются в этой пьесе

поэзию с живописью; это картина Брюллова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее». Но прежде чем изобразить предмет, положение, сцену, надо этот предмет или сцену вообразить. И к необыкновенной изобразительной способности Лермонтова, в которой так счастливо и чудно сплелись разнородные таланты, баловница природа прибавила еще дар могучего воображения и быстрой мысли.

В одном детском стихотворении<sup>5</sup> (1828) Лермонтов писал:

Таков поэт: чуть мысль блеснет,  
Как он пером своим прольет  
Всю душу...

Лермонтов был именно таков. Он сам подсмеивался над своею «страстью повсюду оставлять следы своего существования»<sup>6</sup> — писал в особых тетрадях, на клочках бумаги, на стенах. Существует, однако, мнение — немногими, впрочем, кажется, разделяемое, — что он писал трудно. «Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает<sup>7</sup>; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадает тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разных пьесах» (гр. Ростопчина). Последнее совершенно справедливо: Лермонтов без всякой церемонии переносит строфы и целые ряды строф из одного своего произведения в другое и нередко возвращался к темам или даже прямо стихам, уже эксплуатированным раньше. Но в большинстве случаев это отнюдь не результат колебания или неопределенности первоначальной мысли, которые можно заметить лишь в очень немногих, больших произведениях, главным образом в «Демоне». К счастью, мы знаем, по рассказам современников, как были написаны по крайней мере некоторые стихотворения Лермонтова. Знаем, например, как создавалась «Ветка Палестины». Ожидая себе грозы за стихотворение на смерть Пушкина, Лермонтов зашел к А. Н. Муравьеву<sup>8</sup> поговорить по этому делу и не застал его. Дождавшись, он увидел привезенные Муравьевым из Палестины пальмовые ветви и тут же, на клочке бумаги, написал стихотворение, помещаемое ныне во всех хрестоматиях. Сидя по тому же делу под арестом, Лермонтов велел

приносимую ему провизию завертывать в серую бумагу и на этих клочках «с помощью вина, печной сажи и спички» написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, мать Божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко». По свидетельству Хвостовой<sup>9</sup> и других, так же быстро и цельно выливались у Лермонтова стихи и в ранней юности. Это гарантирует их искренность. Поэт, долго обдумывающий и отделяющий свои произведения, может быть, конечно, вполне искренен, но может также настолько отделиться от своего первоначального впечатления или настроения, что передача их уже утратит свою свежесть, явится перед нами с поправками позднейшего анализа. Поэт, может быть, сам не в состоянии будет по совести сказать, так ли он воспринял известное явление, известный момент жизни, как они выразились в его стихах. Не то у Лермонтова: каждое его стихотворение представляет собою, так сказать, фотографию его душевного состояния в данную минуту. Но беда в том, что подобная моментальная фотография может захватить и такие мимолетные душевные состояния, которые вовсе не характерны. Мало ли что пробегает в голове человека, в особенности человека молодого, неустановившегося, а ведь Лермонтов, начав писать стихи тринадцати-четырнадцати лет, и всего-то двадцати семи лет не прожил. За десяток с небольшим годов его творческой деятельности, в ней можно найти немало противоречий, притом таких, которые зависят не оттого, что молодое растет, старое старится и с течением времени и само себя отрицает, не от определенного, правильного роста, а от чисто случайных причин. Грациознейшая в мире женщина может случайно принять очень неграциозную позу, и если моментальная фотография фиксирует ее в этой позе, то это не будет ложь, но не будет и правда в смысле общей характеристики. Если умнейший человек будет записывать все, что промелькнет в его мозгу в течение хотя бы одного дня, в его записях наверное окажется немало глупостей, но это не помешает ему быть умным человеком. Если впечатлительный поэт фиксирует свои даже мимолетные настроения на бумаге, если он вдобавок, как Лермонтов, обладает пылкой и яркою фантазией, которая расцветает не только пережитое, а и вообра-

жаемое, то критика должна очень старательно отличать здесь временное и случайное от постоянного и характерного. Несмотря, однако, на вытекающие отсюда трудности, мне по крайней мере представляется совершенно невозможным даже внешним образом отделить фактическую биографию Лермонтова от его поэтического наследия — они слишком переплетаются, поясняя и дополняя друг друга.

Предок русской фамилии Лермонтовых — Юрий Лермонт вышел из Шотландии сначала в Польшу, а потом, в 1633 году, в Московское государство, где и получил вотчины в Галицком уезде. В числе шотландских предков Лермонтова не безынтересно отметить полупоэтического поэта-пророка XIII века Томаса Лермонта, которым очень интересовался Вальтер Скотт. Предание приписывает этому Томасу Лермонту необыкновенные, сверхъестественные дарования: в юности он пробыл семь лет в царстве фей, где получил дары поэтического творчества и прорицания и куда под конец жизни должен был опять вернуться при чрезвычайно поэтической обстановке. На этот сюжет Вальтер Скотт написал балладу<sup>10</sup>. Мы имеем свидетельства, что Лермонтов очень рано познакомился с поэтическими произведениями Вальтера Скотта, но упомянутой баллады, равно как и положенной в ее основание легенды, очевидно, не знал. Иначе величаво-таинственный образ Томаса Лермонта, конечно, вдохновил бы его. В юности Лермонтов, по-видимому, разделял заблуждение, существующее и до сих пор в некоторых ветвях фамилии Лермонтовых, что они происходят от герцога Лермы, бежавшего в Шотландию. Под некоторыми письмами он подписывался M. Legta и рисовал сначала на стене углем, а потом на полотне масляными красками поясной портрет человека в средневековом испанском костюме, с цепью ордена Золотого Руна на шее — может быть, это был предполагаемый испанский предок. Но это еще вопрос, а что Лермонтов, по крайней мере временами, интересовался в юности именно своим шотландским происхождением, тому есть доказательства в его поэтическом наследии. К 1830 году относится стихотворение «Гроб Оссиана», к 1831 году — стихотворение «Зачем я не птица, не ворон степной». Здесь говорится о «горах Шотландии моей», о желании «задеть

струну шотландской арфы», о замке предков, о висящих на древней стене «наследственным щите и заржавленном мече» и проч. Второе из названных стихотворений кончается так:

Последний потомок отважных бойцов  
Увядает среди чуждых снегов;  
Я здесь был рожден, но не здешний душой...  
О, зачем я не ворон степной!

На самом деле очень сомнительно, чтобы в Лермонтове сохранилось хоть что-нибудь шотландское по крови, наверное, ничего не было специально шотландского по духу, и русские снега, среди которых он будто бы «увядал» в шестнадцать лет, отнюдь не были ему чужды в каком бы то ни было отношении. Упомянутые стихотворения интересны, однако, как свидетельство рано сказавшейся мечтательности и силы фантазии, хватающей за каждый намек, чтобы начать свою красивую работу. На подлиннике стихотворения «Гроб Оссиана» сделана заметка: «узнал от путешественника описание сей могилы». Случайного рассказа какого-то путешественника, в связи с какими-нибудь столь же случайными разговорами о шотландских предках, достаточно было, чтобы пылкая фантазия заработала на подsunутую ей случаем тему, чтобы Шотландия стала отчизной, а Россия чужбиной. Но затем фантастическая шотландская отчизна уже ни разу более не появляется в стихах Лермонтова, да и в том же 1831 году, к которому относится стихотворение «Зачем я не птица, не ворон степной», Лермонтов писал:

Нет, я не Байрон, я другой,  
Еще неведомый избранник,—  
Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русскою душой.

Спрашивается, какое же биографическое значение могут иметь две вспышки шотландского патриотизма? Никакого, кроме свидетельства, что юный Лермонтов умел совершенно проникнуться положением воображаемого «последнего потомка отважных бойцов» Шотландии, перед которым отчетливо рисуются замок предков, их щиты и мечи. Необыкновенная отчетливость всей этой созданной воображением картины так сильно действует на поэта, что он в ту минуту искренно видит в себе «последнего потомка»: он подавлен своим

собственным могучим воображением. А между тем толчок всей этой работе дан чистою случайностью. В ранней молодости, когда мысль еще не направлена жизнью в какое-нибудь определенное русло, подобных случайных толчков должно было, конечно, быть особенно много. Поэтому-то о ранних произведениях Лермонтова так часто и слышатся суровые приговоры не только относительно формы, но и относительно содержания. Заподозревается именно их искренность.

Приведя послесловие к одному из набросков «Демона», Дудышкин говорит: «Человек, который *по шестнадцатому году* (курсив Дудышкина) писал такие стихи о себе, конечно, не мог писать их иначе, как вследствие подражательности. Чтобы видеть в мире одну несправедливость, всякое отсутствие гармонии и потом перенести эту дисгармонию сначала на душу человека, а потом на все общество; сделать из этой идеи — идеал, наконец, этот идеал облечь прелестью презрения ко всему... согласитесь, что до этого сознания Лермонтов не мог достигнуть, будучи 14 лет, а все это уже видно в первом очерке «Демона» («Ученические тетради Лермонтова» // «Отечественные записки». 1859. № 7).

А. П. Шангирей, хорошо знавший поэта, пишет в цитированной выше статье: «Вообще большая часть произведений Лермонтова с 1829 по 1833 г. носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграммам; часто посещал театры, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность?» Шангирей думает<sup>11</sup>, что все это было делом лишь моды и подражания Байрону.

Можно бы было привести и еще подобные же отзывы. Но для нас особенно любопытны показания Шангирея, товарища детства Лермонтова и очевидца его развития. Это ведь, уж кажется, сведущий человек. И однако этот сведущий человек решается утверждать, что «особенно чувствительных утрат Лермонтов не терпел», тогда как мы знаем, что он потерял мать по тре-

тѣму году и отца, будучи уже юношей, способным чувствовать и понимать, как не всякий взрослый. Мы знаем далее, что семейная обстановка, в которой рос Лермонтов, отнюдь не из одних розовых лепестков и лебяжьего пуха состояла, хотя бабушка в нем действительно души не чаяла. Сначала между родителями поэта, а потом, после смерти матери, между отцом и бабкой его происходила какая-то затяжная и тяжелая драма. В чем она состояла, в точности неизвестно, да, пожалуй, не любопытно. Важно только, что она была и тяжело отзывалась на ребенке, а эту тяжесть он, в свою очередь, передавал бумаге пером. В юношеской лирике Лермонтова<sup>12</sup> бабушка не поминается, но мать и отец являются не один раз, и всегда с трагической стороны: «В младенческих летах я мать потерял», «Я сын страданья, мой отец не знал покоя по конец, в слезах угасла мать моя»; «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам на свете был гоним, ты в людях только зло изведаль»; «Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть... Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанною кончиной! Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец того, кто был всех мук твоих причиной! Но ты простишь мне... Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный, от самой колыбели горевший в ней, оправданный Творцом? Однако ж тщетны были их желанья: мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страданья... Не мне судить, виновен ты иль нет, ты светом осужден... А что такое свет?»

В юношеских драмах мать не фигурирует, но зато является на сцену бабушка, и вместе с тем выясняются подробности и мотивы по крайней мере второй половины тяжелой семейной истории, очевидно глубоко волновавшей поэта. Первая половина этой истории — разрыв родителей — может быть, навсегда осталась не вполне ему ясной, как неясна она и для нас. Может быть, он и впоследствии узнал немногим больше того, что он потерял мать «в младенческих летах» и что она «в слезах угасла». Слышал он, вероятно, на этот счет разное и ни на чем определенном не остановился. Распря между отцом и бабушкой была ему гораздо более известна, потому что он мог уже сам и наблюдать, и оценивать. Более известна она и нам.

Мать Лермонтова умерла в феврале 1817 года. Умерла она в пензенском имении своей матери Елиза-

веты Алексеевны Арсеньевой — Тарханах, в присутствии своего мужа. Но вдовец пробыл в Тарханах после ее смерти только девять дней и уехал в другое имение, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки, которая была вместе с тем и крестною матерью его. Вскоре, однако, вдовец потребовал сына к себе. Сохранилось письмо Сперанского<sup>13</sup> от 5 июня того же 1817 года к брату Арсеньевой Аркадию Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Станный и, говорят, худой человек; таков по крайней мере должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление» («Русский архив». 1870 г. Стр. 1136). Об отце Лермонтова мы почти ничего достоверно не знаем, ни хорошего, ни худого, а аттестации Сперанского можем и не верить, так как она основана на «говорят» и вернее всего на показаниях бабки поэта, Е. А. Арсеньевой, в данном случае лицом заинтересованным и едва ли беспристрастным. Как бы то ни было, Арсеньева без ума любила своего внука и не хотела отдавать его отцу, из-за чего между ними происходили ссоры и пререкания. Предание, сообщаемое г. Висковатовым<sup>14</sup>, сохранило следующую любопытную подробность этой распри. Когда Юрий Петрович (отец Лермонтова) приезжал в Тарханы навестить сына, то тотчас же посылались на почтовых гонцы в Саратовскую губернию за братом бабушки, Афанасием Столыпиным, «звать его на помощь для защиты, на случай отнятия» («Русская мысль». 1881 г. № 12). Черта эта, любопытная и сама по себе, становится еще интереснее ввиду того, что она целиком воспроизводится в юношеской драме Лермонтова «Menschen und Leidenschaften»\*:

В а с и л и й М и х а л ы ч. Когда должно твоему отцу приехать, здешние подлые соседки... получили посредством ханжества доверенность Марфы Ивановны; сказали ей, что он приехал отнять тебя у нее... и она поверила... Доходят же люди до такого сумасшествия!

Ю р и й. Отец... хотел отнять сына... отнять... разве он не имел полного права надо мной, разве я не его собственность? Но нет, я вам снова говорю, вы смеетесь надо мною...

В а с и л и й М и х а л ы ч. Доказательство в истине моего рассказа есть то, что бабушка твоя тотчас послала курьера к Павлу Иванычу, и он на другой день прискакал.

---

\* «Люди и страсти» (нем.). — Ред.



Уже одно это частное совпадение ясно говорит об автобиографическом значении драмы «Menschen und Leidenschaften». Главный же узел этой драмы выражен в словах, с которыми ее юный герой, Юрий Волин, обращается к своему другу Заруцкому: «Ты знаешь, что у моей бабки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадет». Это живое реальное ядро драмы обставлено разными искусственными подробностями напыщенно романтического характера, и вообще вся драма представляет собою нечто совершенно детское. Но собственно положение молодого человека между двух огней, между бабушкой и отцом, намечено хорошо и правдиво. Вообще все четыре известные нам юношеские драмы Лермонтова построены на мотивах семейных раздоров, хотя и не везде тех, какие он мог видеть около себя. Затем в той же драме «Menschen und Leidenschaften» очень неискусно выполнена, но живо и правдиво задумана самая фигура бабушки. Эту смесь ханжества, помещицкой жестокости и искренней любви к внуку пятнадцати-шестнадцати-летний мальчик не мог выдумать, как бы ни была мочуца его фантазия, потому что в этой фигуре нет ничего фантастического; не мог и из книг вычитать, потому что таких книг не было. Списал ли он эту бабушку со своей собственной бабки, неизвестно, потому что с этой стороны мы не имеем об его бабке сведений. Роль Марфы Ивановны в семейной драме и некоторые внешние черты сходства (Марфа Ивановна ходит, опираясь на палку,— бабка поэта, по рассказам, тоже опиралась на палку) заставляют думать, что это так. Но она ли или кто другой послужил оригиналом для Марфы Ивановны, а из драмы видно, что юного поэта коробило от пощечин и плетей, раздаваемых крепостной дворне. Тот же мотив находит себе хотя опять-таки неискусное, но сильное выражение в драме «Странный человек»— в жалобах крестьян на зверскую жестокость помещицы.

Таким образом, детство Лермонтова прошло среди впечатлений, несомненно, тяжелых. Конечно, с иного они могли бы сойти, как с гуся вода, но в душе юного поэта они оставляли явственно болезненные следы. Отсюда мрачный характер даже его юношеской поэзии. От Галахова до г. Спасовича целый ряд писателей старался определить влияние на Лермонтова других поэтов, главным образом Байрона<sup>15</sup>. Другой ряд критиков, от Боденштедта до г. Острогорского, не отрицая

слишком очевидного влияния Байрона, находил, однако, что тон поэзии Лермонтова вполне объясним и без этого влияния<sup>16</sup>. «В Лермонтове демонический элемент поэзии объясняется естественнее, нежели в Байроне», — говорит Боденштедт<sup>17</sup>. И я думаю, что он прав. В поэзии Лермонтова, в особенности, конечно, ранней, юношеской, можно найти много напускного, навеянного со стороны какой-нибудь случайностью. Образчиком может служить хоть бы тот же внезапный шотландский патриотизм, который как скоро пришел, так скоро и ушел. Но из этого следует только, что, устанавливая связь между личною жизнью Лермонтова и его произведениями, надо прежде всего определить наиболее постоянные и наиболее часто звучащие аккорды его поэзии.

## II

Не надо быть последователем Карлейля<sup>18</sup> с его культом «героев», чтобы признать факт существования людей, по самой природе своей призванных вести других за собой, стоять впереди других. Это, однако, отнюдь не непременно благодетели человечества (как думал Карлейль), или своей родины, или просто окружающих людей. Они могут быть и таковыми, но точно так же могут представлять собою исходные пункты огромных зол, потому что могут вести за собою толпу на злое дело и быть, по старинному образному выражению, настоящими «бичами Божиими». Став на эту точку зрения, мы должны допустить в прирожденных властных людях или героях возможность значительных умственных и нравственных изъянов: зло, ими распространяемое, очевидно, составляет результат либо ошибочного понимания, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственного недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственного. И действительно, история свидетельствует, что во главе того или иного движения, энергически воздействуя на своих современников, соотечественников, соплеменников, сотрудников, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокие, мелочно самолюбивые, развратные. Обращаясь к самому понятию героя как вожака, как первого в своем роде человека, которому безотчетно повинуются или за которым безотчетно следуют другие, мы увидим, что добродетели

могут его и не украшать, они не составляют необходимой его принадлежности. Быть может, единственное нравственное качество, безусловно необходимое «герою», есть смелость. Но и то, это такое качество, которому не легко точно указать место в ряду добродетелей. Некоторые выдающиеся умственные качества — если не глубокий ум и широкий полет мысли, то по крайней мере быстрота соображения, известный такт в сношениях с людьми, известные таланты — по-видимому, обязательны для прирожденных властных людей. Не говоря, однако, о том, что обязательный минимум их умственных сил может быть, при известных условиях, вовсе незначителен, не трудно видеть, что центр тяжести «героя», во всяком случае, лежит не в области ума. Герой есть прежде всего представитель инициативы, человек почина, первого шага, энергической воли и мгновенной или постоянной решимости. Все остальное, как в его собственной личности, так и в характере предпринятого им дела, есть сцепление побочных обстоятельств: герой может быть ума гениального или посредственного, блистать добродетелями или грязнуть в пороках, равным образом и дело его может быть велико или ничтожно благотворно или вредоносно. Все это, разумеется, может иметь чрезвычайно важное значение с разных других точек зрения; но когда мы хотим выделить основные, типически необходимые черты героя, то на первом месте должна быть поставлена его роль человека, дерзающего совершить то, перед чем другие колеблются, и затем превращающего это колебание в покорность. У героя, с одной стороны, и у следующих за ним или повинующихся ему — с другой, должна быть некоторая общая почва, иначе невозможно было бы их взаимодействие; в состав этой общей почвы могут входить разнообразные умственные и нравственные элементы. Но затем есть нечто, резко отделяющее героя от толпы, резко выдвигающее его вперед. Это нечто состоит в том, что герой дерзает и владеет. Дерзать и владеть есть такая же специфическая внутренняя потребность героя, как потребность творчества в поэте или потребность философского обобщения в мыслителе. В какие бы условия ни был поставлен прирожденный властный человек, он, как паук паутину, бессознательно, инстинктивно плетет сеть для уловления и подчинения себе людских сердец — удачно или неудачно для себя лично, на благо или во вред другим.

Если мы будем искать в лермонтовской поэзии ее основной мотив, ту центральную ее точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и к которой прямо или косвенно сводятся если не все, то большинство его произведений, найдем ее в области героизма. С ранней молодости, можно сказать, с детства и до самой смерти мысль и воображение Лермонтова были направлены на психологию прирожденного властного человека, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную. Следы этого преобладающего и всю поэзию Лермонтова окрашивающего интереса не так заметны в лирике, потому что сюда вторгаются разные мимолетные впечатления, которые, на мгновение всецело овладев поэтом, отступают потом назад, чтобы более уже не повторяться или даже уступить место совершенно противоположным настроениям. Мы уже видели образчик этой переменчивости настроений во внезапной вспышке шотландского патриотизма. Что же касается настоящего русского патриотизма Лермонтова, то достаточно сравнить стихотворения «Опять народные витии» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью»). Резкая разница между этими двумя стихотворениями естественно объясняется лежащим между ними десятилетним промежутком (1831 и 1841 гг.), в течение которого поэт вырос до неузнаваемости. Однако и в лирике, среди этих внезапных, быстро гаснущих вспышек и противоречий, объясняемых естественным ходом развития, вышеуказанный основной мотив дает себя знать постоянно, так что и здесь помимо него трудно подвести итоги лермонтовской поэзии. Но в поэмах, повестях и драмах дело, во всяком случае, яснее.

Нечего и говорить о «Демоне». Этот фантастический образ существа, когда-то дерзнувшего совершить высшее, единственное в своем роде преступление — восстать на самого Творца и который затем в течение веков «не встречал сопротивления» в подвластных ему миллионах людей, этот образ достаточно всем знаком и достаточно ясно говорит сам за себя. Достоинство внимания и упорство, с которым Лермонтов работал над «Демоном», постоянно его исправляя и дополняя. Одновременно с первоначальным очерком «Демона» писалась прозаическая повесть, неоконченная, оставшаяся даже без заглавия. Позднейшие издатели дают ей название «Горбун» или «Горбач Вадим». Герой этой по-

вести есть тот же Демон, только лишенный фантастических атрибутов и притом физически безобразный. Он, как Демон, богохульствует, как Демон, переполнен ненависти и презрения к людям, как Демон, готов отказаться от зла и ненависти, если его полюбит любимая женщина. А главное, Вадим, как Демон, имеет таинственную власть над людьми. Эта черта обрисовывается на первой же странице повести, когда Вадим появляется в толпе нищих у монастырских ворот. «Его товарищи не знали, кто он таков, но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда, они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона, но не человека». Горбач Вадим «должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться». Он был «дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий». Любопытно описание глаз Вадима: «Этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм».

«Горбун» есть совершенно детская вещь, переполненная напыщенными описаниями и невозможными трескучими эффектами, которые особенно бросаются в глаза, благодаря прозаической форме повести; прелесть и сила даже юношеского лермонтовского стиха, конечно, много бы ее скрасили. Но тем поразительнее разбросанные в повести отдельные замечания, наблюдения, сопоставления, которые сделали бы честь и вполне зрелому уму. Что же касается черт прирожденного властного человека, то мы встречаем их и в самом зрелом из крупных произведений Лермонтова — в «Герое нашего времени». Печорин говорит о себе: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути... Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде; ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинить моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувства любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права — не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» Любимая женщина

пишет Печорину: «Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтобы ты был лучше их, о нет! Но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым». Печорин и сам задумывается: «Одно мне было всегда странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? От того ли, что я никогда очень ничем не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?»

В юношеской драме «Испанцы» главное действующее лицо, молодой Фернандо, характеризуется иезуитом Соррини так: «Повеса он большой и пылкий малый, с мечтательной и буйной головой. Такие люди не служить родились, но всем другим приказывать». В «Menschen und Leidenschaften» Заруцкий говорит о герое драмы: «Волин был удалый малый: ни в чем никому не уступал — ни в буйстве, ни в умных делах и мыслях: во всем был первым, и я завидовал ему». Герой неоконченной стихотворной повести «Литвинка» — «повелевать толпе был приучен». Измаил-Бей — «повелитель, герой по взорам и речам». Он принадлежит к числу «детей рока», которые «в море бед, как вихри их ни носят, пособий от рабов не просят, хотят их превзойти в добре и зле, и власти знак на гордом их челе». В «Фаталисте» как только Вулич обнаруживает из ряда вон выходящую решимость, готовясь совершить безумно рискованный шаг, происходит следующая сцена: «Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть».

И т. д. Я мог бы еще увеличить число этих выписок, но и приведенного довольно, чтобы видеть, какое пристальное внимание уделял Лермонтов во все периоды своей жизни той странной власти, которую обнаруживают некоторые люди, «не имея на то никакого положительного права». Но он не просто отмечал факт этой власти. Он с ранней юности анализировал его, взвешивал его значение, делал из него выводы, иногда не-

сколько смутные, а иногда поразительные по глубине мысли. В этом отношении особенно замечательна вышеупомянутая, мало обращающая на себя внимание и, кажется, даже не во все новые издания вошедшая повесть «Горбун». Мне случалось слышать мнение, что это вещь совершенно недостойная Лермонтова, а потому и внимания не стоящая. Это и справедливо, если иметь в виду только художественную форму. Но и по замыслу, и по общему содержанию, и по блескам оригинальной мысли, «Горбун» есть произведение лермонтовское по преимуществу, если можно так выразиться, хотя Лермонтову было всего шестнадцать лет, когда он писал его. Местами слишком недетское содержание, заключенное в совершенно детскую форму изложения, производит даже неприятное впечатление чего-то старообразного. Становится даже как будто жалко автора, который, будучи так явно ребенком, вместе с тем так много передумал и перечувствовал.

Между прочим шестнадцатилетний автор замечает: «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много»<sup>19</sup>. Это скорбное замечание на всю жизнь осталось руководящим для Лермонтова. Им определяются существеннейшая часть содержания его поэм, драм и повестей, характер его лирики и, наконец, бурные волны его собственной жизни. В развитии этой темы он достигал и непревзойденных вершин художественной красоты и, я решаюсь сказать, предчувствия научной точности в постановке соотносящихся вопросов.

Неудивительно, что юное воображение пленяется каким-нибудь Измаил-Беем, красавцем в живописном костюме, скачущим на борзом коне среди грандиозной кавказской природы или врубающимся в ряды неприятелей, привлекающим все женские взоры, мстящим рыцарски — лицом к лицу и при дневном свете. Здесь все красиво, изящно, благородно. Но Вадим — что в нем пленительного? Он — горбатый, уродливый, грязный нищий, он зол и жесток, он, терпеливо выжидая часа мести, холопствует, терпит побои, ругательства. К чему и чем может в нем прилипнуть юная душа, полная образов и картин художественной красоты? А между тем Лермонтов, тщательно отмечая каждую черту физического безобразия Вадима и каждое его злое побуждение, явно находит в себе симпатичные этому злему уроду струны и, не обинуясь, называет его

«великой душой». Полная зрелость мысли и бесповоротная убежденность сказались в той смелости, с которой юный Лермонтов вселил «великую душу» в такое, по-видимому, во всех отношениях неприятное существо, как Вадим. Для этого надо твердо знать, в чем состоит величие души, и твердо верить в свое знание. Мы на каждом шагу видим, что литераторы, набившие себе руку в писании романов и повестей, литераторы чрезвычайно искусные, которые справедливо постыдились бы подписаться под такой детской вещью, как «Горбун», норовят подкупить читателей, да и себя, в пользу своих героев их физической красотой и обилием добродетелей. Шестнадцатилетнему Лермонтову не нужно было этих подкупов и побочных поддержек. Он своим Вадимом точно нарочно хотел показать, что умеет абстрагировать, отвлечь «величие души» от всех посторонних примесей и предъявить его с такою ясностью и силой, что его не заслонят ни горб, ни порок. В чем же полагал юноша Лермонтов «величие души»? В одну особенно трудную минуту, когда Вадим убил по ошибке не того, кого хотел убить, «он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу; но непоколебимая железная воля составляла все существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели».

Таков человек «великой души», он же и «герой» в смысле прирожденного властного человека, каким и является в повести Вадим. Мы увидим те ограничения, которые Лермонтов сам ставил такому беспощадно абстрактному пониманию «героя». А теперь заметим любопытную скептическую черту в изображении благородного красавца Измаил-Бея. Он, как мы видели, «повелитель, герой по взорам и речам». Но одно время, при самом появлении в поэме этого горца, воспитанного в России, автор в нем сомневается: «Горе, горе, если он, храня людей суровых мненья, развратом, ядом просвещения в Европе душной заражен! Старик для чувств и наслажденья, без седины между волос, зачем в страну, где все так живо, так беспокойно, так игриво, он сердце мертвое принес?» Скоро оказывается, однако, что первое же дуновение родины смело налет «разврата, яда просвещения». Нищего и жестокого уроду Вадима «яд просвещения» не коснулся, и юный автор



в нем не сомневается... Арбенин (в «Маскараде») «изнемог под гнетом просвещения» и сам над собой с горечью иронизирует: «Так! в образованном родился я народе: язык и золото — вот наш кинжал и яд!» Печорин излагает нечто в этом же роде. И по лермонтовской лирике там и сям перебегают блестящие искры отрицательного отношения к «глубоким познаниям», к «бремени познания», к «науке бесплодной».

Критика много умствовала по поводу этого странного на первый взгляд протеста против «просвещения», толкуя его вкривь и вкось. Между тем здесь не представляется никакой надобности умствовать, надо только уметь читать. Знаменитая «Дума» есть одно из самых ясных стихотворений Лермонтова, не допускающих двойного толкования. Поэт печально глядит «на наше поколение»: «под бременем познания и сомнения, в *бездействии* состарится оно. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем *без борьбы*; перед опасностью позорно-малодушны и перед властью презренные рабы... Мы иссушили ум наукою *бесплодной*, тая завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей». Еще недавно один критик хотел видеть в «Думе» выражение вековечного, в самой природе человека заложенного, безысходного разлада между разумом и чувством, которые, дескать, никогда и не могут примириться: вечно разум будет разъедать чувство холодом своего анализа, вечно чувство будет протестовать против этого холодного прикосновения. Лермонтов однако ясно указывал исход: он видел его не в разуме и не в чувстве, а в третьем элементе человеческого духа — в воле, которая, комбинируя и разум, и чувство, повелительно требует «действия», «борьбы». Если бы, однако, «Дума» оказалась в этом отношении недостаточно убедительной и ясной, то за подтверждением и развитием указанной мысли дело не станет в других произведениях Лермонтова. Бесспорно, Лермонтову были знакомы муки противоречия между горячностью чувства и холодом разума. Жизнь манила его к себе всею гаммой своих звуков, всем спектром своих цветов, а рано отточившийся нож анализа подрезывал цену всякого наслаждения. Отсюда беспредметная тоска, проникающая некоторые из его стихотворений, тоска, характер которой иногда ему самому не ясен: «под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он,

мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» Иногда «смирятся души его тревога» под влиянием разных мимолетных впечатлений, но отлетают эти впечатления, и опять тоска. Однако среди всех этих колебаний, всех их переживая, держится тоже рано созревшее решение задачи жизни. Теоретически и в одинокой душе самого поэта решение готово: противоречие разума и чувства и все муки этого противоречия зависят от «бездействия», от отсутствия «борьбы». Найдите точку приложения для деятельности, и элементы мятущегося духа перестанут враждовать между собой. Но вопрос в том, возможно ли найти эту желанную и спасительную точку на практике? Возможно ли найти ее, если не для всех людей сразу, то для тех прирожденно властных, для тех «героев», которые потом увлекут за собой и остальных?

Критика уже давно заметила, что Лермонтова тянуло на Кавказ не только потому, что там есть увенчанный снеговыми вершинами Эльбрус, «глубокая теснина Дарьяла», стройные, вечно зеленые кипарисы и развесистые чинары, красавцы черкесы на борзых конях, вообще благодарнейший в живописном отношении материал для поэтических картин. Эта сторона Кавказа еще в детстве произвела неизгладимое впечатление на Лермонтова и много способствовала тому, что непроницаемые люди имеют известное право называть его «певцом Кавказа». Но что-то отвлекало его от окружавшей его жизни не только на Кавказ, а и в более или менее отдаленную глубь русской истории — «Боярин Орша», «Литвинка», «Песня про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и купца Калашникова», «Горбач Вадим». Сверх того, Лермонтов говорил Белинскому о задуманной им романтической трилогии<sup>20</sup>, трех связанных между собою романах из эпох Екатерины II, Александра I и настоящего времени. Уже сам по себе этот проект намекает на то, что не художественный каприз увлекал мысль и воображение Лермонтова к более или менее отдаленным временам, что он там чего-то искал для сравнения с современностью. Для сравнения и в укор, как видно из содержания всех его экскурсий в русскую историю и на Кавказ «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много». Это теперь, но не всегда так было. В старые годы существовали люди, для которых мысль и чувство не глядели врознь, а сли-

вались в дело. Их-то и ищет, на них-то и останавливается Лермонтов с очевидною любовью. Их же ищет, на них же любит он и на нетронутом цивилизацией Кавказе. Злодейские поступки, совершаемые всеми этими Оршами, Вадимами, Хаджи-Абреками, Измаил-Беями, если и пугают Лермонтова своим кровавым блеском, то немедленно же находят себе в его глазах и оправдание, и поэтическую красоту в той цельности настроения, в той бесповоротной решимости, с которою они совершаются. А отсутствие этих черт в окружавшей его жизни в такой же мере оскорбляет его.

В «Фаталисте» Печорин смеется над старинными людьми, верившими, что светила небесные принимают участие «в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права». С нашей теперешней точки зрения смешны эти верования старинных людей. Но, говорит Печорин, зато «какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждения и гордости, без наслаждения и страха... неспособны к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья... не имея надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой».

Если старинные верования, развеянные «ядом просвещения», были так спасительны, то не попытаться ли вернуть их или хоть не притвориться ли верящими, что небесные светила принимают участие в наших делах и делишках? Так и делают трусы, лицемеры и ханжи. Если яд просвещения отравляет нашу деятельную силу, то не заняться ли нам бездельничаньем в красивой позе безысходного разочарования и в эффектном костюме «нарядной печали»? Так и думают кокетничающие гамлетики и гамлетизированные поросята. Но Лермонтов слишком искренно и больно переживал волновавшие его вопросы, чтобы закрывать глаза на их колючие стороны, и слишком жаждал деятельности, чтобы ограничиться нарядной печалью. Бывали и у него минуты слабости, оставившие свой след в его лирике. Но это именно только минуты слабости, за которые совершенно напрасно хватаются ханжи, лицемеры и трусы, с одной стороны, кокетничающие красивой позой — с другой.

Всею своею жизнью и деятельностью Лермонтов самым ярким и резким образом ставит дилемму: или звон во все колокола, жизнь всем существом человека, жизнь мысли и чувства, претворяющихся в дело, или — «пустая и глупая шутка», в которой даже красивого ничего нет. Выбирайте любое. Такая решительная постановка вопроса вытекала из самых недр и цельной, и неделимой души Лермонтова. И он не переставал искать точки опоры для «действия», для «борьбы с людьми или судьбой», ибо в ней видел высший смысл жизни. Но прежде чем перейти к самому поэту, отметим еще одну черту его созданий

Приглядываясь к героям лермонтовских поэм из старой русской жизни и из жизни кавказских горцев, мы увидим, что если не во всех них, то в большинстве резко вибрирует одна и та же струна. То дело, которому они себя почти все посвящают, которому отдают целиком и свою мысль, и свое чувство, и всю жизнь свою, есть дело мести. Боярин Орша, Арсений, Вадим, Хаджи-Абрек, Измаил-Бей, купец Калашников — все это мстители. Хаджи-Абрек поет настоящий гимн блаженству мести: «Блаженство то верней любви... за единый мщенья час, клянусь, я не взял бы вселенной». Орша скорбит в предсмертную минуту: «Но знай, что жизни мне не жаль, а жаль лишь то, что час мой бил, покуда я не отомстил». Арсений хочет «перед врагом предстать с бесчувственным челом, с холодной важностью лица и мстить хоть этим до конца» И т. д., и т. д. Напомню еще только позорный конец, постигший Гаруна («Беглец») за то, что он «не отомстил». Напомню, что «Маскарад» весь построен на мести. Тот же мотив звучит и в лирике. Лермонтов с особенной энергией подчеркивает, что Пушкин умер «с жаждой мести», «с глубокой жаждой мщенья». Великолепное стихотворение «Поэт» кончается словами: «Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк, иль никогда на голос мщенья из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презренья?» Этот особенный интерес Лермонтова к делу мести поддерживался в нем и известными чисто теоретическими соображениями, как видно из следующих, в высшей степени замечательных слов Печорина: «Первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. Идеи — создания органические, сказал

кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует. От этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Много смутного в этих словах, но много и глубокого. Я обращаю пока внимание читателя все на ту же цепкость, с которою Лермонтов хватался за связь между мыслью — «идеей» и делом — «действием», и затем на ту специальную окраску, которую он в приведенных словах дает «действию», — окраску страдания за страдание, окраску мести. Откуда эта злобная нота и неужели на свете нет иного, более благородного дела, чем месть?

### III

С очень раннего возраста Лермонтова манила роль первого в своем роде человека, та власть, которая, не опираясь ни на какое «положительное право», тем не менее дает себя знать самым осязательным образом. Эти-то мечты он и объективировал в героях своих повестей, поэм, драм. Во всех героях повторяется, лишь слегка варьируясь, сам Лермонтов, каким он себя чувствовал или каким хотел бы быть.

Интересно, между прочим, заметить, что Лермонтов получил в юнкерской школе прозвище «Маешка» и, очевидно, охотно носил эту кличку, потому что сам себя так называл в некоторых юнкерских стихотворениях. Прозвище «Маешка» происходило от Маеуих — имени горбатого героя какого-то французского романа, и Лермонтов получил его за свою сутуловатость и вообще нестройность стана. Быть может, этот физический недостаток, не слишком сильный, чтобы упоминание о нем было оскорбительно для самолюбивого юноши, но все-таки выделявший его, обращал на себя внимание и прежде, до поступления в юнкерскую школу. Быть может, он послужил одним из толчков для создания г о р б а ч а Вадима. И если Вадим, при всем «величии души» своей, есть кровожадный злодей, так ведь около того же времени, когда создавалась эта неоконченная повесть, юный поэт писал уже прямо о себе в одном из

очерков «Демона»: «Как демон мой, я зла избранник». И в другом стихотворении: «Настанет день — и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни, гордый, хоть презренный, я кончу жизнь мою, виновный пред людьми, не пред тобою, я твердо жду тот час». И еще в одном стихотворении: «Когда к тебе молвы рассказ мое название принесет и моего рожденья час перед полмиром проклянет, когда мне пищей станет кровь и буду жить среди людей, ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничьей» и т. д. Таким образом, сочиняя своего свирепого горбуна, Лермонтов и сам мысленно готов был совершать какие-то ужасные преступления, упиваться кровью, заслужить проклятия полмира. Весьма возможно, что в стихотворении «Предсказание», навеянном ужасами чумы, с одной стороны, и дуновением июльской революции — с другой, Лермонтов именно о себе говорил: «В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь, и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя: твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем». И в то же время Лермонтов «и Байрона достигнуть бы хотел»<sup>21</sup>. Этому вполне соответствует характеристика «детей рока» в «Измаил-Бее»: они «хотят их («рабов») превзойти в *добре и зле*, и власти знак на гордом их челе».

Конечно, много даже комически-ребяческого в этих мечтах о роли хотя бы и злодея, но великого, первого, властного, и Печорин прав, когда говорит: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают покончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками». Но Лермонтов был не из того материала, из которого делают вечные титулярные советники. Он не в мечтах только, а и в действительности оказался способным «превзойти рабов в добре и зле» и носить «власти знак на гордом челе», хотя и не в тех грандиозных размерах, какие рисовались его юношескому воображению.

В немногочисленных, к сожалению, письмах Лермонтова, сохранившихся для потомства, мы постоянно наталкиваемся то на «мучения тайного сознания, что он кончит жизнь ничтожным человеком»<sup>22</sup>, то на сообщения противоположного свойства, которые он сам готов называть «хвастовством», проявлениями «самого главного его недостатка — суетности и самолюбия»<sup>23</sup>. В одном из писем к М. Лопухиной (1832 г.), извещающем

о переходе из московского университета в юнкерскую школу, вставлено стихотворение личного характера, которое оканчивается так:

Ужасно стариком быть без седин!  
Он равных не находит, за толпою  
Идет, хоть с ней не делится душою  
Он меж людьми ни раб, ни властелин,  
И все, что чувствует,— он чувствует один<sup>24</sup>

Это чрезвычайно характерные строки. Восемнадцатилетний юноша не находит себе равных, а так как затем остаются только положения раба, которым он быть не хочет, и властелина, которым он быть не может, то он становится вне общества в полном одиночестве. Так оно и было с Лермонтовым в университете. Как видно из записок его товарища Вистенгофа<sup>25</sup>, поэт держал себя от всех в стороне, пренебрежительно и заносчиво. Вистенгоф рассказывает, между прочим, как он однажды обратился к Лермонтову с очень простым вопросом и как тот отвечал ему дерзостью. При этом «как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд». О необыкновенных глазах Лермонтова упоминают и другие современники. Так, Панаев вспоминает<sup>26</sup>, что у него были «умные, глубокие, пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом». Читатель благоволит припомнить описание глаз горбача Вадима.

Презрительное отношение Лермонтова к университетским товарищам было совершенно неосновательно, так как это было время пребывания в Московском университете таких людей, как Станкевич, Герцен, Белинский. Надо думать, что Лермонтов, уже тогда считавший себя «океаном», в котором «надежд разбитых груз лежит»<sup>27</sup>, даже не попытался взглянуть в товарищеской сколько-нибудь пристально и не то что предпочел им светское общество, как, по-видимому, думает Вистенгоф, а просто не выходил из этого светского общества, близкого ему по воспитанию и родственным связям. Да и слишком недолго пробыл Лермонтов в университетской среде.

Причины, по которым Лермонтов променял университет на юнкерскую школу, не совсем ясны. По-види-

тому, главный мотив состоял в нетерпеливом желании поскорее покончить с школой вообще, поскорее выйти в открытое море жизни. Во всяком случае, в юнкерской школе оказалось больше простора для осуществления тогдашней, частью бессознательной, а частью и сознательной, программы Лермонтова: всех превзойти в добре и зле и носить власти знак на гордом челе. Здесь товарищи по школе были в большинстве случаев вместе с тем и товарищами в светском смысле, по своему общественному положению, воспитанию, привычкам. Здесь было, следовательно, больше той общей почвы, без которой никакой «герой» не может исполнять свою функцию — дерзать и владеть. И мы видим, действительно, что Лермонтов, державшийся в университете от всех в стороне, поражавший товарищей своей угрюмою сосредоточенностью и серьезностью, в школе с первых же шагов старается стать, так сказать, в одну линию с другими, но по возможности впереди всех. «Старик без седин» становится во главе детских шалостей<sup>28</sup> и слишком недетского разгула, из молодечества скачет на необъезженной лошади и платится за это повреждением ноги, связывает шомпола в узлы, соперничая с первым силачом школы, и, наконец, решительно превосходит всех в сочинении непристойных, цинических стихов вроде «Петергофского праздника» или «Уланши».

Всем этим Лермонтов удовлетворял своей потребности дерзать и владеть, заложенной в него самую природою вместе с поэтическим даром. Были в нем и соответственные этой потребности силы, но какое пошлое и мерзостное приложение получали эти силы! Нельзя без отвращения читать «Уланшу», и, право, ничего не потеряли бы читатели и почитатели Лермонтова, если бы эти мерзости не печатались в изданиях его сочинений даже отрывками. Однажды разгульная компания молодых офицеров, едучи из Царского Села в Петербург, вздумала дать себе шуточные прозвища, именуясь которыми и записалась у городской заставы. Один назвался молдаваном Болванешти, другой — итальянцем Глупини, третий — маркизом Глупиньоном и т. д. Но одному из компании показалось, должно быть, этого мало: он назвался двойной фамилией и записался «российским дворянином Скот-Чурбановым»<sup>29</sup>. Это был Лермонтов...

К счастью, в Лермонтове было еще нечто, кроме потребности и силы всех превзойти, безразлично в добре



ли или зле. Любуясь на непреклонный героизм горбача Вадима, на величие его души, он, однако, замечает: «Какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если бы это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем. Какая слава, если бы, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... А теперь?.. Разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет, и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось, как змея, вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце».

Это презрение к себе было знакомо и самому Лермонтову. В письмах к М. Лопухиной из юнкерской школы он то с напускным цинизмом как бы хвалится своими настоящими и будущими недостойными похождениями, то тут же, рядом, с явным отчаянием, дает этим похождениям ту именно цену, которой они стоят. Так, в июне 1833 года, он пишет: «Я, право, не знаю, каким путем идти мне, путем ли порока или пошлости. Оно конечно, оба эти пути часто приводят к той же цели. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешить меня — было бы напрасно! Я счастливее, чем когда-нибудь, веселее любого пьяницы, распевающего на улице. Вас коробит от этих выражений; но, увы! — скажи, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты таков!» В августе того же года: «Через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! если бы вы знали, какую жизнь я намерен повести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете, но, увы! пора моих мечтаний миновала; нет больше веры, мне нужны чувственные наслаждения». В 1834 году: «Милый друг! что бы ни случилось, я все буду называть вас этим именем: иначе мне придется порвать последние нити, связывающие меня с прошедшим, а этого я не хотел бы ни за что на свете, потому что моя будущность, блистательная, по-видимому, в сущности — пошлая и пустая. Нужно вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет». Произведенный в офицеры, Лермонтов, оглядываясь назад, называет в одном письме<sup>30</sup> время пребывания в юнкерской школе «страшными годами». И действительно, это были

страшные годы, несмотря на их слишком веселый разгул или, вернее, именно вследствие этого разгула. Лермонтов был на волосок от окончательного погружения в омут пошлости, но, отдаваясь этому течению, по-видимому, с легким сердцем, хорошо знал его цену. Кроме писем к Лопухиной, в которых слышится отчаянный и тоскливый стон, мы имеем еще свидетельства его товарищей по школе, что, открыто стремясь к первенству во всех шалостях и пошлостях, он втайне молился какому-то другому богу. Так Меринский рассказывает: «В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения, но только немного и немногим показывал из написанного» («Атеней». 1858 г. № 48. «Воспоминание о Лермонтове»). В воспоминаниях, напечатанных в фельетоне «Русского мира» 1872 года (№ 205), говорится: «По вечерам, после учебных занятий, поэт наш часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться не замеченным товарищами».

Немудрено, что при таких обстоятельствах мрачные мысли все больше и больше накапливались в голове юноши, в придачу к тем, которые уже осели в нем от тяжелых впечатлений детства, а может быть, кроме того, и от слишком раннего проникновения в мрачную поэзию Байрона. Как у Вадима, змея, обвинявшаяся вокруг его сердца, обвивалась и вокруг вселенной, гнетущая мысль о собственном ничтожестве разрасталась в мысль о ничтожестве жизни. Но натура «героя» брала свое, потребность дерзать и владеть искала случая удовлетворить себя чем бы то ни было.

Только что произведенный в офицеры, Лермонтов пишет Лопухиной<sup>31</sup>: «Я теперь бываю в свете для того, чтобы меня знали, для того, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в *хорошем обществе*... Ах!.. я волочусь и, вслед за объяснением в любви, говорю дерзости. Это еще забавляет меня несколько, и хотя это не совсем ново, зато не все так делают. Вы думаете, что за такие подвиги меня гонят прочь? О, нет! совсем напротив: женщины уж так сотворены. Я начинаю приобретать над ними власть».

Итак, женщины — вот куда направится теперь жажда дерзать и владеть. Известно, что Лермонтов был, по его собственному показанию, влюблен десяти лет, чему придавал какое-то особенное значение, и за-

тем в детстве и ранней юности еще не раз подвергался припадкам нежной страсти. Понятно, что все эти увлечения должны были быть несчастны. Барышни, к которым пылал любовью Лермонтов, либо издевались над ним, либо охотно слушали страстные или сентиментальные речи не по летам развитого, остроумного влюбленного мальчика, но потом выходили замуж или переносили свою благосклонность на более взрослых поклонников. А в сердце самолюбивого мальчика, уже мечтавшего о роли великого человека, эти «измены» отзывались страшною болью. Надо заметить, что любовь для Лермонтова была всегда чем-то отличным от любви, как ее обыкновенно понимают и чувствуют. Она для него так или иначе, иногда неясными для него самого нитями, связывалась все с тою же жаждою держать и владеть или по крайней мере стояла рядом с ней. В одной из его юношеских тетрадей есть заметка, озаглавленная: «Мое завещание (про дерево, под которым я сидел с А. С.)». Заметка оканчивается так: «Похороните мои кости под этой сухой яблоней, положите камень, и пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего недовольно будет доставить ему бессмертие»<sup>32</sup> — бессмертие то есть загробное владение вниманием и сердцами людей. Печорин, говоря о наслаждении власти, подчеркивает в особенности власть над женским сердцем. Измаил-Бей, этот «повелитель, герой по взорам и речам», есть вместе с тем покоритель женских сердец: «Для наших женщин в нем был яд! Воспламенив воображенье, повелевал он без труда». С другой стороны, Демон и Вадим готовы примириться с жизнью и отказаться от своей грозной властной роли, если их полюбят — одного Тамара, другого Ольга. Выходит, что это как бы эквиваленты, легко замещающие друг друга. В «Горбаче Вадиме» есть одно место, в котором смутная мысль о какой-то эквивалентности любви и власти выражена настолько ясно, насколько это возможно для смутной мысли. Я выпишу это любопытное место целиком, без всяких пропусков. Сказав, что Юрий сразу стал близок и понятен Ольге, юный автор продолжает:

«Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два создания, уже знакомые прежде

рождения своего, читают свою участь в го́лосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому, таинственному влечению... оно существует и должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтобы оно питалось и двигалось... Что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войска! долго ли они прожили друг без друга?»

Повторяю, я не пропустил ни одного слова; поворот мысли от любви к отношениям Наполеона и его войска является полною неожиданностью, и вероятно для самого юного поэта связь между этими двумя родами человеческих отношений была не совсем ясна; он ее лишь чувствовал в себе, в своей собственной природе.

Из юношеских любовных увлечений Лермонтова наибольшую известностью пользуется его роман с Хвостовой, урожденной Сушковой. Она сама рассказывает этот роман в своих «Записках», и хотя рассказ ее вызвал сомнения и опровержения в частностях, но в общем фактическая его часть подтверждается самим Лермонтовым. Про свое в высшей степени недостойное поведение в этом деле он рассказывает в письме к Верещагиной и, кроме того, целиком воспроизвел его в неоконченной повести «Княгиня Лиговская». Пятнадцатилетним мальчиком Лермонтов очень увлекался Сушковой, которая была несколькими годами старше его, а она забавлялась этою любовью, причем, по-видимому, нисколько не щадила будущего знаменитого поэта. Через несколько лет они встретились опять, и в Лермонтове, все-таки еще совсем молодом человеке, нашлось достаточно силы и желания дерзнуть и владеть, чтобы победить когда-то смеявшуюся над ним гордую красавицу, победить и компрометировать. Кроме непосредственного удовольствия, которое доставляла ему эта игра, она ему была нужна, по его собственному выражению, как «пьедестал». Он хотел играть роль в петербургском светском обществе, быть замеченным, и, по его оправдавшемуся расчету, это удобнее всего было достигнуть громким, даже, пожалуй, скандальным романом. Все было пушено для этого в ход, вплоть до подложных анонимных писем. И Лермонтов понимал, что он делает дурное, злое дело. О герое «Княгини Ли-

говской», который проделывает с Негуровой все то, что сам Лермонтов проделал с Сушковой, говорится: «Ему надобно было, чтобы поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностью, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается... В нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций, значит почти: он выиграл столько-то сражений». Таким образом, Лермонтов отлично понимал «бедность» общества, в котором желал блистать, равно как и значение «светской известности». Что же касается собственно Сушковой, то безжалостное издевательство над ней оправдывалось в его глазах мстью. Он писал: «Я мщу за слезы, которые пять лет тому назад заставляло проливать меня кокетство m-He Сушковой. О, наши счета еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбие старой кокетки». В большинстве любовных приключений Лермонтова чувственность, по всем видимостям, не играла никакой роли, и, во всяком случае, его гораздо больше занимали тонкие и сложные операции над сердцем женщины, самый процесс этих операций. В «Странном человеке» одно из действующих лиц объясняет задумчивость героя тем, что его занимает вопрос, «как заставить женщину любить или признаться в том, что она притворялась». В «Маскараде» Арбенин (между прочим, вспоминая о «власти, с которою порою казнил толпу он словом, остротой») с каким-то диким психическим сладострастием добивается от Нины признания в том, что она притворялась. Это уже игра виртуоза.

Печорин (в «Княгине Лиговской») «знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъяснимому». Знал, конечно, эту аксиому и сам Лермонтов, и ему доставляло своеобразное наслаждение практически осуществлять ее при каких бы то ни было обстоятельствах, вполне сознавая мелочность, пошлость или даже преступность тех «пьедесталов», на которые ему приходилось иногда взбираться, чтобы оттуда дерзать и владеть. Только этим и объясняется его будто бы пристрастие к светскому обществу, за которое его так часто упрекали. Упреки эти, как известно, доходили до того, что, признавая огромный талант Лермонтова (его мало кто решался отрицать), его самого как личность совершенно вдви-

гали в толпу светских хлыщей и фатов, из которой, дескать, он выделялся разве только особенно несносным высокомерием и забиячеством, доходившим до бретерства. И много фактов, по-видимому, подтверждающих такой взгляд на Лермонтова. Даже Боденштедт, при всем своем глубочайшем уважении к нашему поэту, был неприятно поражен его личностью при первой встрече. Правда, на другой же день, при следующей встрече, это неприятное впечатление сгладилось, но и то Боденштедт находит возможным сказать только такие добрые слова: «Лермонтов вполне умел быть милым. Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним часто случалось... Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие, обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение».

Все это прекрасно, конечно, но далеко все-таки не соответствует тем высоким требованиям, которые невольно ставятся поэту, обнаружившему в своих произведениях такую исключительную мощь и глубину. Одним талантом, как бы он ни был велик, нельзя объяснить эту огненную и вместе с тем глубокомысленную поэзию — она должна была быть порождением, кроме таланта, еще из ряда вон выходящего ума и великого духа вообще. К счастью, на этот счет имеется показание, может быть, компетентнейшего из современников Лермонтова.

В свете Лермонтов все больше и больше преуспевал, уже не нуждаясь более в низменной спекуляции за счет прекрасных девиц. Стихи на смерть Пушкина, ссылка на Кавказ, дуэль с Барантом, новая ссылка — все это приковало к особе молодого офицера внимание светского общества, внимание частью почтительное, частью злобное. Одновременно шли и успехи в литературе. Он познакомился кое с кем из писателей, между прочим с Белинским, которого, однако, приводил в смущение отсутствием серьезности. По словам Панаева в «Литературных воспоминаниях», Белинский решительно недоумевал. Он говорил: «Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, но я ни разу не слышал от него ни одного умного и дельного слова; он,

кажется, нарочно щеголяет светской пустотой». Панаев, с своей стороны, прибавляет, что «действительно, Лермонтов как будто щеголяет ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера». Мимоходом заметим, это слова Панаева; что же касается сообщаемых им фактов, то собственно в них довольно мудрено усмотреть щегольство светскую пустотой. Факты очень, впрочем, скудные. Панаев рассказывает, как однажды Лермонтов ни с того ни с сего долгим взглядом черных глаз смутил некоего Языкова и даже заставил его выйти из комнаты в сильном нервном раздражении. Рассказывает еще об отношениях Лермонтова к Краевскому, тогда еще только начинавшему свое издательское поприще: они были на «ты», и Лермонтов позволял себе всякие школьничества с Краевским и разбрасывал его бумаги по полу, производил в его кабинете всяческую кутерьму и раз даже опрокинул его самого со стулом. Быть на *ты* с Краевским и школьничать в его кабинете — это едва ли признаки щегольства великосветскостью. Рассказывает, однако, Панаев и еще один факт, в высшей степени интересный, а именно восторг Белинского, когда ему удалось наконец поговорить с Лермонтовым по-человечески. Случилось это в ордонанс-гаузе, где Лермонтов сидел под арестом за дуэль с Барантом. Белинский восторженно рассказывал Панаеву об этом свидании. Г-н Пыпин в предисловии к одному из изданий сочинений Лермонтова (1873 г.) заподозрил Панаева в неточной передаче рассказа Белинского, а г. Скабичевский<sup>33</sup> в предисловии к павленковскому изданию сочинений Лермонтова пошел гораздо дальше и усомнился в самом факте свидания. Г-н Пыпин заподозрил Панаева только в преувеличении или неверной передаче, г. же Скабичевский косвенным образом заподозривает либо Панаева, либо Белинского во лжи. И это на том единственном основании, что, по словам Шангирея, в ордонанс-гауз к Лермонтову никого не пускали. Да и «сам Барант, сын французского посланника, следовательно, человек со связями, мог видеть Лермонтова в ордонанс-гаузе лишь тайком. После этого невольно берет сомнение, как мог пробраться к Лермонтову Белинский, человек маленький и к тому же совсем чужой Лермонтову». Если бы г. Скабичев-

ский внимательнее отнесся к своей задаче биографа и редактора собрания сочинений Лермонтова, он не впал бы в этот совершенно неуместный скептицизм. Из документов, частью приложенных к редактированной им книге, а частью в его собственном предисловии к ней напечатанных, он узнал бы, что Лермонтов был арестован сначала в ордонанс-гаузе, а потом переведен в арсенальную гауптвахту, и Барант был у него не в ордонанс-гаузе, а на гауптвахте; а порядки в этих двух местах заключения могли быть и разные — в одном строже, в другом послабее. Правда, Шангирей действительно утверждает, что в ордонанс-гауз никого, кроме него, Шангирея, не пускали. Но позволительнее, я думаю, заподозрить Шангирея в ошибке (тот же Шангирей утверждает, например, что Лермонтов родился в Тарханах), чем Панаева или Белинского в сочинении небывалого факта. Во всяком случае, существует собственный рассказ Белинского о посещении им Лермонтова, вполне совпадающий с рассказом Панаева, и надо поэтому думать, что так ли, сяк ли, а Белинскому удалось пробраться в ордонанс-гауз. Г-н Пыпин давно отрезался от своих подозрений<sup>34</sup> и признал, что Панаев «очень верно передал сущность дела». Письмо Белинского (к Боткину), в котором он говорит о своем свидании с Лермонтовым, было напечатано г. Пыпиным в его почтенном труде: «Белинский, его жизнь и переписка» и затем неоднократно цитировалось в журналах; совершенно даже непонятно, как могло оно остаться неизвестным биографу Лермонтова...

Белинский писал: «Недавно был я у Лермонтова в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух!» И далее: «Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал: «Дай Бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве! Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок — меня давят такие целостные полные натуры; я перед ним благоговее и смиряюсь в сознании своего ничтожества».

Наши художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны к русской литературе и в особенности к ее истории. Но фигуры Лермонтова и Белинско-



го достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудроно найти тему для картины более благодарную, чем это собеседование великого критика и великого поэта в ордонанс-гаузе. Представьте себе Лермонтова с привычно насмешливым складом губ и пронзительными черными глазами, от взгляда которых смущаются те, на кого он смотрит. Смущается, может быть, и Белинский, что не мешает ему, однако, «упорствуя, волнуясь и спеша»<sup>35</sup>, в горячей речи отстаивать свои «понятия». Он твердо уверен в истинности и возвышенности этих понятий; но всем своим чутким и детски искренним существом чувствует, что в беседующем с ним гусарском поручике есть нечто, чего в нем самом нет и перед чем он должен преклониться...

#### IV

В воспоминаниях известного в свое время и совершенно неизвестного ныне великосветского беллетриста гр. Соллогуба<sup>36</sup>, автора «Тарантаса», «Истории двух калош» и проч., много рассказывается о дружеских отношениях автора с Лермонтовым, о том, как Лермонтов с ним советовался, предлагал вместе издавать журнал и т. д. Соллогуб очень восторгается талантом Лермонтова и скорбит об его ранней кончине. Это понятно и приличествует всякому, знавшему и незнавшему поэта лично. Но, будучи приятелем Лермонтова, гр. Соллогуб может, конечно, сообщить нам о нем что-нибудь интимное, что-нибудь такое, что только наблюдению близкого человека доступно, и главным образом что-нибудь касающееся светских отношений Лермонтова. Но гр. Соллогуб почти совсем не трогает этого пункта, отсылая любопытствующих читателей к одному своему беллетристическому произведению. Он говорит: «Светское значение Лермонтова я изобразил под именем Леонида в моей повести „Большой свет“». Гр. Соллогуб прибавляет, что повесть эту он написал «по заказу» одной высокопоставленной особы. Было бы в высшей степени любопытно знать, какую цель преследовала эта особа, заказывая гр. Соллогубу такое произведение. Из воспоминаний графа этого не видно, но не видно также и мотивов, руководивших графом при исполнении «заказа». Действие повести происходит, как показывает

и заглавие, в «большом свете», где, между прочим, ставятся за одну скобку «стихи Л—ва и повести С—ба», то есть Лермонтов и Соллогуб как писатели. Герой повести, молодой офицер Леонин, играет в «большом свете» глупейшую роль сверчка, не знающего своего шестка и которого поэтому светские люди осмеивают и водят за нос сколько им угодно. Это просто дурачок какой-то, ничтожный, сентиментальный и даже в мазурке не сильный, насчет которой он серьезно совещается с другим действующим лицом повести, Сафьевым, истинно светским человеком, — быть может, в нем мы должны угадывать самого гр. Соллогуба. Надо заметить, что «Большой свет» был напечатан в 1840 году, в год дуэли Лермонтова с Барантом и появления в печати «Героя нашего времени». Спрашивается, как же отнесся пылкий, заносчивый, самолюбивый поэт, находившийся в это время на вершине своей славы, к своему якобы портрету, написанному якобы дружеской рукой гр. Соллогуба? В том же 1840 году Белинский в письме к Боткину так характеризовал «Большой свет»: «Много верного и истинного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев — ложное лицо. А впрочем, славная вещь. Бог с ней! Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь — себе на уме». Из этого следует, кажется, заключить, что ни Белинский не узнал в Леонине Лермонтова, ни Лермонтов не узнал сам себя.

Для славной памяти поэта не было бы, конечно, ничего оскорбительного в том, что какой-нибудь Сафьев превосходил его в танцевальном искусстве или в умении вести светские интриги, хотя с точки зрения Соллогуба это грехи не малые. Но в числе прочих биографических фактов нам нужно знать и «светское значение» поэта. И, по соображению со сведениями из других источников, мы должны признать, что значение это не имеет ни малейшего сходства с изображением гр. Соллогуба. Общего между Лермонтовым и Леониным только то, что оба стремятся попасть в высший аристократический свет, но Лермонтов никогда не был тем робким травоядным, каким является в «Большом свете» Леонин; он был, как показывает уже его история с Сушковой, скорее слишком смелым и бесцеремонным хищником. Да и самые выражения вроде «попасть в высший аристократический свет» требуют по отношению к Лермонтову

оговорок. Правда, их иногда употребляет и сам Лермонтов, говоря о себе, но совсем в особенном смысле. По свидетельству Вистенгофа, Лермонтов, еще будучи в Московском университете, вращался в светском обществе: «Он посещал великолепные балы тогдашнего московского благородного собрания, являлся на них изысканно одетым, в сообществе прекрасных светских барышень, к коим относился так же фамильярно, как к почтенным влиятельным лицам во фраках со звездами или ключами позади, прохаживавшимися с ним по залам». Таким образом, в смысле светского лоска Лермонтов был очень рано вполне готовым человеком и едва ли мог нуждаться, будучи уже офицером, в каких-нибудь уроках Сафьева или гр. Соллогуба. В юнкерской школе он был опять же товарищем и как бы даже первоприсутствующим в среде молодых людей так называемого высшего круга. Конечно, такого товарищества было еще мало, чтобы быть своим в аристократических салонах, но Лермонтов хотел быть в них не столько своим, сколько первым в своем роде, и новичком он был в них уже, конечно, не в смысле непривычки к светскому обществу, как Леонин. И тем не менее повесть гр. Соллогуба, как она освещается его собственным признанием насчет ее происхождения, является очень ценным материалом для определения «светского значения» Лермонтова. Если гр. Соллогуб решил поставить в своей повести рядом стихи Л—ва и повести С—ба, то из этого следует заключить, что талант Лермонтова признавался в большом свете. Но вместе с тем около него, очевидно, много накопилось ненависти, потому что вот заказывается пасквиль на него, и дружеская рука великосветского беллетриста исполняет заказ. Удар, по-видимому, не попал в цель, потому что Лермонтов даже не узнал себя<sup>37</sup>. Но ведь не это и нужно было; это даже совсем не нужно было, так как необузданный характер Лермонтова ничего хорошего персоне гр. Соллогуба не обещал, в случае если бы поэт узнал себя. Но где-то, в каких-то сферах нужно было изображение Лермонтова ничтожеством...

Поневоле вспоминаются слова Лермонтова о Пушкине:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной  
Вступил он в этот свет, завистливый и душный  
Для сердца вольного и пламенных страстей?  
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,—  
Он, с юных лет постигнувший людей!

«Врачу, исцелися сам»<sup>38</sup>, — можно бы было, по-видимому, сказать по этому поводу Лермонтову, потому что ведь он и сам рвался «в этот свет, завистливый и душный», и судьба Пушкина не послужила ему уроком. Однако это только по-видимому. «Мирных нег и дружбы простодушной» Лермонтов почти не знал, а «словам и ласкам ложным» отнюдь не верил. В 1839 году, сообщая М. Лопухиной о своем петербургском житье-бытье, он писал: «Весь народ, который я оскорблял в стихах моих, осыпает меня ласкательствами, самые хорошенькие женщины просят у меня стихов и торжественно ими хвастаются... Я возбуждаю любопытство, меня ищут, меня всюду приглашают, даже когда я не выражаю к тому ни малейшего желанья, дамы, с притязаниями собирать замечательных людей в своих гостиных, хотят, чтобы я у них был, потому что ведь я тоже *лев*; да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять... Эта новая опасность полезна; она дала мне оружие против этого общества, которое непременно будет преследовать меня своими клеветами, и тогда у меня есть в запасе средство для отмщения: ведь нигде не встречается столько низостей и странностей, как тут».

Таким образом, Лермонтов шел в «свет», как на битву, хорошо подготовленный и вооруженный, и соответственно вел себя там. Ходячее уподобление светских отношений Лермонтова и Пушкина решительно ни на чем не основано, кроме того чисто внешнего факта, что оба поэта вращались в большом свете и оба хотели в нем вращаться. Никогда Лермонтов не был и, насколько мы знаем его духовную физиономию, не мог быть в таких двусмысленных положениях по отношению к сильным мира, в каких не раз приходилось бывать Пушкину, никогда он ничего не просил, не получал, не брал на себя никаких поручений, никогда никаким покровительством не пользовался. Пушкину только случалось призывать на себя своими стихотворениями грозу, Лермонтов же делал, кажется, все возможное, чтобы создать вокруг себя постоянную атмосферу недовольства, вражды, ненависти.

В заметке, отнюдь не в пользу Лермонтова пристрастной, кн. А. И. Васильчиков говорит: «Лермонтов

не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запретным плодом; он был человек вполне своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши 30-х годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был вообще нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фронту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом»<sup>39</sup>.

Г-н Висковатов рассказывает про одного товарища Лермонтова по юнкерской школе, «достигнувшего потом важного государственного положения»: человек этот, говорит г. Висковатов, «приходил в негодование каждый раз, когда мы заговаривали с ним о Лермонтове. Он называл его самым «безнравственным человеком» и «посредственным подражателем Байрона» и удивлялся, как можно им интересоваться до собиранья материала для его биографии. Гораздо позднее, когда нам попались в руки школьные произведения нашего поэта, мы поняли причину такой злобы». Дело идет, очевидно, о каком-нибудь обидном стихотворении, которого злопамятный товарищ не простил поэту даже после его смерти<sup>40</sup>.

В вышеприведенном письме к Лопухиной Лермонтов говорит о людях, которых он «оскорблял в стихах своих» и которые, дескать, теперь окружают его лестью и ухаживанием. Весьма возможно, что многие из стихотворений, о которых тут упоминает Лермонтов, затерялись или даже намеренно уничтожались. Пропали же для русской литературы чрезвычайно характерные мелкие стихотворения его, сохраненные лишь Боденштедтом в немецком переводе. Все эти «Kleine Betrachtungen» и «Kleine Einfälle und Ausfälle», как они оза-

главлены у Боденштедта, носят печать страстной вражды и презрения к каким-то людям, судя по усваиваемым им атрибутам, принадлежащим к так называемому светскому обществу. «Всегда я чувствовал к вам полное презрение, названием ослов клеймил вас, шельмовал, и вы же у меня просили извиненья в том, что я вас ослами величал». Это — начало одного из стихотворений в не совсем удачном пере-переводе Минаева <sup>41</sup>. А вот два куплета другого стихотворения в немецком оригинале-переводе Боденштедта <sup>42</sup>:

Weil ich bei ihrem Thun vor Scham oft roth bin,  
Mir nicht Musik erscheint Geklirr von Ketten  
Und mir nicht lockt der Glanz von Bajonetten:  
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin!

Weil ich nicht ganz von altem Korn und Schrott bin  
Und nicht mit jedem Schritte rückwärts gehe:  
Wehaupten sie, dass ich kein Patriot bin,  
Mein Land nicht liebe und es nicht verstehe!

Это стихотворение, напоминающее мотив «Родины» («Люблю отчизну я»), но с острой полемической приправой, свидетельствует, что Лермонтову приходилось иметь дело и с столь обычную у нас клеветой беззастенчивых врагов насчет недостатка любви к отечеству. Вообще взаимные отношения между поэтом и окружавшею его светскою средою были самые напряженные. Есть доля фактической правды даже в отдающем цинизмом замечании кн. Васильчикова, что если бы и не Мартынов, так все равно кто-нибудь другой рано или поздно убил бы Лермонтова. Последняя драма в жизни поэта, несмотря на свой, по-видимому, бессмысленно случайный характер, подготовлялась давно. Г-н Висковатов сообщает со слов современников, что «многие» из бывших в то роковое лето в Пятигорске светских людей называли Лермонтова «ядовитой гадиной»<sup>43</sup>. Эти благородные люди подговаривали молодого офицера Лисаневича вызвать поэта на дуэль, но Лисаневич объявил, что у него «не поднимется рука на такого человека». У Мартынова поднялась... Все те резкие укоры, с которыми Лермонтов обращался к закулисным виновникам смерти Пушкина, вполне приложимы и к обществу, выдвинувшему Мартынова. Но надо все-таки признать, что сам Лермонтов был отнюдь не невинен в той атмосфере вражды и ненависти, которая вокруг него создавалась. По свидетельству всех, оставивших какие-нибудь воспоминания о Лермонтове,

как людей благорасположенных к нему, так и нерасположенных, немногие из его знакомых пользовались его искреннею и нежною привязанностью, а ко всем остальным он относился презрительно, заносчиво, враждебно, точно нарочно изыскивая предлоги к неприятностям и открытым столкновениям.

Мы поймем это, разумеется, неприятное для окружающих поведение, припомнив слова Печорина: «Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов,— вот что я называю жизнью». Странная задача, странное понятие о «жизни»! Но такого рода странностями переполнена, можно сказать, жизнь как самого Лермонтова, так и действующих лиц его произведений. И во всех этих странностях виден все тот же человек, страстно жаждущий деятельности, именно в смысле психического воздействия на людей, задающий себе разнообразные, утонченно сложные задачи этого рода.

Действовать, бороться, покорять сердца, так или иначе оперировать над душами ближних и дальних, любимых и ненавидимых — таково призвание или коренное требование натуры всех выдающихся действующих лиц произведений Лермонтова, да и его самого. Им было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтение к мысли, идее, теории, которое получило такое яркое выражение в знаменитом «я мыслю, следовательно, существую» Декарта, равно как и многие другие блестящие страницы истории философии. «Я мыслю» — из этого еще ничего не следует. Мысль, идея есть лишь зачаток действия и сама по себе отнюдь не может служить доказательством или мерилom существования. Существование самой мысли еще нуждается в доказательстве, которое дается лишь обнаружением ее в действии. Припомните слова Печорина: «идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические, их рождение уже дает им форму, и эта форма есть действие». Таков, по Лермонтову, естественный строй душевной жизни, и это воззрение весьма близко к тому, которое становится господствующим в современной психофизиологии. Лермонтов до-

шел до него не путем логических выкладок или систематического изучения; он прочел его готовым в своей собственной душе, которой была инстинктивно противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной действием. Столь же чуждо Лермонтову было и замкнутое, самодовлеющее художественное творчество. При всей его горячей любви и глубоком уважении к Пушкину, он никогда не подписался бы под известную поэтическую *profession de foi*\* своего старшего брата по искусству: «не для житейского волнения... не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Лермонтов желал, напротив, чтобы «мерный звук его могучих слов воспламенял бойца для битвы», чтобы его стих, как «божий дух, носился над толпой и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

Но если естественный строй душевной жизни требует превращения мысли в действие, то в действительности мы видим постоянные нарушения этого закона. Неудивительно поэтому, что значительная часть лермонтовской поэзии отличается резко отрицательным тоном. На каждом шагу наталкивался он на разнообразные формы отлучения мысли от дела или дела от мысли и, оскорбленный в коренном требовании своей природы, метал направо и налево свой «железный стих, облитый горечью и злостью». Нечего говорить о тех формах разлучения мысли и дела, которые могут быть сгруппированы под именем лицемерия. Вместе с другими большого роста людьми, освещающими путь человечества, Лермонтов клеймил, между прочим, и лицемерие, но не оно составляло специальный предмет его особенной вражды. «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много», — писал он, будучи еще юношей. Позже он печально глядит «на наше поколение», потому что «в бездействии состарится оно», потому что «мы вянем без борьбы», потому что «над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодотворной, ни гением начатого труда». Заметьте эти выражения; они не случайные красивые детища рифмы и ритма, как это часто бывает даже у высокоталантливых стихотворцев, а точное словесное отражение посто-

---

\* Исповеданье веры (*фр*) — *Ред.*



янной, излюбленной мысли поэта: мысль должна быть «плодовита», то есть иметь осязательный результат, быть действеною мыслью, а труд, то есть дело, должен быть начат гением. Это полный, законченный круговорот сил, и все, что становится поперек дороги превращению мысли в дело, все, разрывающее эти звенья единой цепи, больно и оскорбительно уязвляет поэта. Условия современной Лермонтову русской гражданственности и, в частности, условия нашей печати не позволяли ему быть очень определенным в указаниях на обстоятельства, препятствующие свободному превращению мысли в действие, но свободолюбивый дух ясно дает себя знать во всей его поэзии. «Ты хочешь знать, что делал я на воле?» — спрашивает Мцыри и отвечает: «жил». Но вольная жизнь дикаря, вырвавшегося из монастыря или плена, есть, конечно, не идеал Лермонтова, а только символ идеала или схематическое его изображение. В эту схему надо еще ввести многое, дикарю неизвестное, а Лермонтову дорогое. Лермонтов мог с завистью смотреть и на Мцыри, живущего полную жизнью в общении с природой, в битве с барсом и т. д., и на других своих героев, заимствованных из кавказской и более или менее отдаленной русской жизни, у которых мысль и действие сливаются в одно неразрывное целое. Но если это и был рай, то рай потерянный, и навсегда. Надо создавать новый рай, в котором, так сказать, пропорции первобытной, стародавней жизни были бы сохранены, но содержание жизни было бы обогащено всем истинно ценным, приобретенным на историческом пути от Хаджи-Абрека, или купца Калашникова, или горбача Вадима до Лермонтова. Но как это сделать?

В Хаджи-Абреке или в Вадиме Лермонтов ценит, конечно, не зверскую их жестокость, а лишь ту пропорциональность или эквивалентность мысли и дела, которой он тщетно искал вокруг себя, в своих современниках. Преступность кровопролития, равно как и вообще азбуку гуманизма, он понимал, уж разумеется, не хуже других. Об этом свидетельствуют даже минуты его отчаяния в будущем человеческого рода, в одну из которых он написал замечательный, хотя и мало замечаемый «отрывок»:

Теперь я вижу: пышный свет  
Не для людей был сотворен...<sup>44</sup>

Люди сгибают, и «наш прах лишь землю умягчит другим, чистейшим существам. Не будут проклинать они; меж них ни злата, ни честей не будет, станут течь их дни невинные, как дни детей; меж них ни дружбу, ни любовь приличья цепи не сожмут, и братьев праведную кровь они со смехом не прольют». А мы, люди, будем смотреть на этот «рай земли» из «бездны тьмы» и казнить завистью и тоской: «вот казнь за целые века злодейств, кипевших под луной».

Этот вопль повторяется, лишь в более мягкой форме, в часто цитируемых строках из «Валерика».

И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: жалкий человек!  
Чего он хочет?.. Небо ясно:  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он Зачем?

А между тем об этой самой битве при Валерике Лермонтов писал одному из своих приятелей<sup>45</sup> в таком тоне: «Нас было всего две тысячи пехоты, а их до шести тысяч, и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте,— кажется, хорошо!.. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными». Мало того, вскоре после битвы при Валерике мы видим Лермонтова чем-то вроде атамана шайки головорезов, предводителем сбродного партизанского «Лермонтовского отряда»<sup>46</sup>, во главе которого поэт проделывал настоящие фокусы отчаянной и совсем ненужной храбрости. Не уличить ли нам поэта в противоречии или не предоставить ли двум критикам доказывать — одному, что Лермонтов был любитель «бранной забавы», а другому, что он эту «забаву» ненавидел? Это возможно. Мало писателей, суждения о которых были бы столь разноречивы и противоречивы, как о Лермонтове. Есть критики и биографы, характеризующие Лермонтова как протестанта по преимуществу и в особенности подчеркивающие в нем «с небом гордую вражду»<sup>47</sup>; но находятся и такие, которые полагают, что девизом его жизни и деятельности могут служить смиренномудрые слова: «да будет воля Твоя». Одни ищут и находят в Лермонтове черты казенного патриотизма с барабанным боем, другие

указывают черты резко противоположные. Одни помещают поэта между небом и землей в costume «нарядной печали» и красивого презрения к маленьким и непрочным земным делам; другие приписывают ему, напротив, даже особливую приземистость. И все это, при желании и некотором, весьма даже незначительном искусстве, может быть доказываемо и подтверждаемо цитатами или ссылками на биографические факты. С таким же правом можно бы было доказывать и то, что Лермонтов был врагом кровопролития, и то, что он был его апологетом. Дело, однако, в том, что, не говоря о преходящих настроениях минуты, на которых ничего не следует строить, Лермонтов, совершенно независимо от своих убеждений, высоко ценил самую убежденность, засвидетельствованную делом. Пусть Хаджи-Абрек зверь, пусть Вадим еще больший зверь, но Лермонтов видит в нем «великую душу», хотя и жалеет, что его «геройское терпение, скорость мысли и решительность» пошли на дело зверской, личной мести. И многое простил бы он своим современникам, если бы видел в них готовность постоять хоть за что-нибудь с такою же непоколебимую решимостью, с какою Хаджи-Абрек, Калашников или Вадим стоят за свое дело.

В числе причин этого недуга бессилия любопытен «яд просвещения». Видеть в этом указании какой-нибудь протест против науки, теоретического знания как такового — совершенно неосновательно. Мимоходом сказать, школьное образование Лермонтова не было, конечно, значительно, но самостоятельно он, по-видимому, много учился, и не только в области изящной литературы, и не только в годы ранней юности. Так, в 1841 году, перед последней поездкой на Кавказ, он писал одному приятелю<sup>48</sup>: «Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг». Это свидетельствует о довольно широких и разносторонних чисто умственных интересах, и если «просвещение» является в глазах Лермонтова «ядом», то лишь в том смысле, что оно, при известных условиях, так сказать, парализует, подобно некоторым настоящим ядам, двигательные нервы, отнимает у них способность быть проводниками воли. И действительно, есть дозы и формы просвещения, которые, подмывая старые верования, служившие когда-то источником или импульсом деятельности, не дают взамен ничего нового и оставляют человека при голом скептицизме. Есть


другие дозы и формы просвещения, которые делают мысль, идею, познание, теорию настолько преувеличенно привлекательными, что человек на них останавливается, не помышляя о претворении мысли в дело и теории в практику. Такое-то просвещение и есть, с точки зрения Лермонтова, яд.

Лермонтову казалось иногда, что и сам он отравлен этим ядом. Оно так и было до известной степени, но в несравненно большей мере его точил другой недуг. Он рассказал о нем словами Печорина: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя неволью: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому, что в душе моей я чувствую силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных, из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Эта характеристика Печорина, сделанная им самим под диктовку Лермонтова, приложима и к Лермонтову, но с ограничениями. Ни из чего не видно, чтобы Лермонтов «навек утратил пыл благородных стремлений». Он умер слишком молодым, чтобы можно было делать подобные заключения, и все заставляет, напротив, думать, что он, в лице Печорина, слишком рано поставил на себе крест. Не совсем также верно, что он не угадал «своего назначения». Но зато вполне верно, что силы его были громадны и что эти силы тратились иногда на «приманки страстей пустых и неблагодарных». Исключительный размер сил Лермонтова сказался не только в его чарующей поэзии, совмещающей в своем содержании глубокую мысль и сильное чувство, а в своей форме — музыку стиха, живопись красок и пластику скульптуры. Исключительная сила выразилась и в житейских делах Лермонтова, даже в самых мелких и, прямо сказать, дрянных, нравственно безобразных. Нет имени его поведению в истории с Сушковой-Хвостовой, как мы ее знаем и от нее, и от него. Но, принимая в соображение его тогдашний мальчишеский возраст и житейскую, а в частности, светскую неопытность, нельзя все-таки не признать, что это — злая, бесспорно злая работа, но работа недужинной силы. И сила эта совершенно особенная,

редкий дар природы, приносящий с собой иногда много добра, иногда много зла, — дар дерзать и владеть, сила психического воздействия на людей. Печать этой силы лежит на всей поэзии Лермонтова, но и помимо поэзии она всегда рвалась в нем наружу, требовала работы, стихийно искала себе точки приложения. Именно стихийно. Лермонтов, по самой натуре своей, не мог не подчинять себе людей, так или иначе играя на струнах их душ, то намеренно их очаровывая, то столь же намеренно доводя их до озлобления. В последние годы своей жизни Лермонтов мечтал о том, чтобы выйти в отставку и совсем отдаться литературе, — он думал издавать журнал<sup>49</sup>. Мудрено гадать, чего мы лишились, благодаря неосуществлению этого проекта. Мудрено гадать даже о том, удовлетворился ли бы сколько-нибудь сам Лермонтов тою литературною деятельностью, какая была возможна в его время. Но вся жизнь его протекла в условиях, совершенно неблагоприятных для приискания деятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключением, разумеется, поэзии, в которую он и вкладывал свою уязвленную душу. Отсюда мрачные мотивы и мрачный тон этой поэзии. В придачу к тяжким впечатлениям детства, быть может и преувеличенных пылкостью воображения и болезненною чуткостью поэта, в пору сознательной жизни явилось еще нечто вроде мук Прометея, у которого печень вновь вырастает по мере того, как ее клюет коршун. Мы видели, что даже в юнкерской школе, среди веселого разгула и непристойных упражнений в поэзии, Лермонтов внутренне угрызался и тосковал. И так было всю жизнь. Становясь на Кавказе во главе чего-то вроде шайки башибузуков, он находил некоторое удовлетворение, которое сам сравнивает с ощущениями азартной игры; но это лишь увлечение минуты, за которым следует горькое раздумье и разочарование. Слепая сила его собственной природы стихийно побуждала его держать и владеть где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах, а голос разума и совести клеймил эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первом удобном случае, при новой встрече с женщиной, при столкновении с новым обществом, жажда дерзать и владеть выступала вперед, и опять голос разума и совести говорил: не то! не таково должно быть поле де-

ятельности для «необъятных сил»! Немудрено, что в душе поэта вспыхивали зловещие огни отчаяния и злого, мстительного чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему временами «пустою и глупою шуткой»...

Кн Васильчиков прав, говоря, что то было время «самое пустое в истории русской гражданственности», и указывая на «придавленность общества после катастрофы 14 декабря». Но он не прав, называя Лермонтова «человеком вполне своего века, героем своего времени» Или по крайней мере это определение требует оговорки Что бы ни хотел сказать Лермонтов заглавием своего романа — иронизировал ли он или говорил серьезно, собирательный ли тип хотел дать в Печорине или выдающуюся единицу, с себя ли писал «героя нашего времени» или нет,— для него самого его время было полным безвременьем. И он был настоящим героем безвременья.



## РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА

Только что вышла любопытная книжка г. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Собственно, этому заглавию соответствует только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоит из статей о г. Майкове, о Гончарове и о «Преступлении и наказании» Достоевского, кажется, уже раньше где-то напечатанных и не имеющих прямого отношения ни к причинам упадка литературы, ни к ее новым течениям. Возможно даже, что они введены автором в состав книжки единственно для пополнения ее до требуемого цензурным уставом десятилистного размера. Во всяком случае, интерес книжки не в них. Что же касается ее главного содержания, то оно составилось из публичной лекции, читанной г. Мережковским в конце прошлого года. Лекцию эту он через некоторое время повторил<sup>1</sup> и теперь напечатал, с довольно, по-видимому, значительными дополнениями. Перед нами, значит, произведение обдуманное, автор которого имел достаточно даже чисто внешних поводов для пересмотра и проверки своих мыслей. А ведь есть еще поводы внутренние, вытекающие из сознания важности предмета, о котором идет речь. И г. Мережковский вполне сознает эту важность. Он высоко ценит роль и значение литературы и любит ее настоящею, искреннею любовью. Для него, как он обнаруживается в своей книжке, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное дело, поприще служения высшим человеческим идеалам.

Тем не менее, нисколько не сомневаясь в искренности и добрых намерениях г. Мережковского, можно смело утверждать, что он не воспользовался или очень

мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и проверки своих мыслей.

В книжке не раз попадаются замечания такого рода: «Сущность искусства нельзя выразить никакими словами, никакими определениями» (32). Или: «Идею символических характеров никакими словами нельзя передать» (43). Без всякого сомнения, слово, как и все, что находится в распоряжении человека, ограничено известными условиями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношений. Но ведь и мысль человеческая поставлена в известные рамки, за пределы которых никаким образом не может выскочить, не свихнувшись, не изменив себе. Правда, рамки эти несравненно шире тех, в которые заключено слово, почему людям и приходится писать иногда целые страницы для выражения одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бывает, что мысль не потому трудно облекается в словесную форму, что нельзя найти слов для ее выражения, а просто потому, что она не созрела для словесного выражения, не выяснилась. И мне кажется, что мысль г. Мережковского очень часто находится в таком положении.

Книжка г. Мережковского начинается очень эффектно. Вот ее первые строки: «Тургенев и Толстой — враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба, в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга как великие представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов». И тем не менее, дескать, Тургенев перед смертью написал Толстому свое известное глубоко трогательное письмо<sup>2</sup>, увещавшее «великого писателя русской земли» вернуться на путь литературной деятельности: «на краю гроба Тургенев понял, что сердцу его старинный враг — ближе всех друзей». Можно бы было, на основании фактических данных, доказать, что собственно Тургенев, несмотря на ссоры с Толстым и на всю личную неприязнь к нему, всегда высоко ценил автора «Войны и мира» как писателя. Но дело не в этом. Я прошу читателя обратить внимание на «стихийность», которую г. Мережковский приписывает неприязненным отношениям Тургенева и Толстого: это — «представите-



ли двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов», это — «враги не по своей воле, а по своей природе». Значит, где бы и когда бы ни столкнулись два такие человека — в России или в Китае, в Англии или во Франции, в XIX или в любом другом веке, — они фатально, «стихийно» станут во враждебные друг к другу отношения. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но какова бы она ни была сама по себе, она выражена вполне ясно.

Вслед за тем г. Мережковский старается установить разницу между поэзией и литературой. Суть этих торопливых и сбивчивых рассуждений состоит в том, что отдельные явления в области поэзии, хотя бы и чрезвычайно светлые и далеко из ряда выходящие, еще не знаменуют собою существования литературы данного народа. Начиная с Пушкина, Лермонтова, Гоголя и кончая еще живым Толстым, мы можем предъявить миру гигантов поэзии, но «была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?» Нет, отвечает г. Мережковский. Литература невозможна без тесного взаимодействия между ее представителями, без сознания общности дела и преемственной связи. Например, во Франции «стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом» (6). А у нас? Наш писатель живет и умирает в одиночку. Если и слагаются иногда литературные кружки, то, во-первых, они недолговечны и не выдерживают первого враждебного дуновения, а во-вторых, они часто бывают еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватает «той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурного воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливают друг друга и возбуждают к деятельности». В виде иллюстраций г. Мережковский напоминает, между прочим, враждебные отношения Достоевского к Тургеневу, Некрасова и Щедрина к Достоевскому, Тургенева к Некрасову и заканчивает этот абзац так: «О печальной и столь характерной для русской литературы вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи» (8).

Читатель знает, что в начале статьи г. Мережковский говорил совсем не то. Там враждебные отношения двух знаменитых наших писателей являлись продуктом «стихийных» сил, а не особенностью наших культурных условий, там мы имели дело с «представителями первоначальных (?)», *вечно борющихся человеческих типов*», и, следовательно, отношения их никак не могут быть «столь характерны для русской литературы» специально. А между тем эти два взаимно исключаящие положения г. Мережковского отделены друг от друга всего семью страничками. И если первое положение произвольно и бездоказательно, то второе, может быть, еще произвольнее и бездоказательнее.

В самом деле, даже оставляя в стороне проблематическую вечную борьбу человеческих типов, — почему бы мы должны признать характерным для русской литературы явлением вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва ли литература всех стран, времен и народов знает много таких писем, а враждебных отношений между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г-ну Мережковскому угодно, в пику русской литературе, излагать в двадцати строчках историю французской литературы как стройный, спокойный, трехвековой процесс. В двадцати строках это можно сделать, а, пожалуй, даже иначе и нельзя сделать. Но если бы г. Мережковский вздумал отмечать в истории французской литературы эпизоды, аналогичные неприязненным отношениям Толстого и Тургенева и т. п., то двадцати строк оказалось бы очень мало. Напомню, например, общеизвестные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов<sup>3</sup>, предоставляя г. Мережковскому отнести их на счет вечной борьбы противоположных человеческих типов, или особенностей французской литературы, или, наконец, особенностей конца XVIII века. О настоящем положении французской литературы г. Мережковский говорит: «мы присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом». Из дальнейшего изложения видно, что автор разумеет под этими «усилиями народного гения» так называемое декадентское или символистское движение. И выходит так, как будто символисты и декаденты, с одной стороны, дружно, а с другой — не встречая противодействия в старших литературных поколе-

ниях, спокойно занимают свое место в истории. На самом деле ничего подобного нет. Г-н Мережковский ссылается в одном месте на книгу Гюре «Enquête sur l'évolution littéraire»<sup>4</sup>. Эта книга составилась из шестидесяти с лишком бесед автора с разными французскими писателями о современном положении французской литературы и о школах, на которые она распадается. Не все, однако, к кому обращался Гюре, беседовали с ним устно. Некоторые удовольствовались письменными ответами на его вопросы. В том числе был и Ришпен<sup>5</sup>. Он отказался высказать свое мнение о различных школах и их представителях, и сообщил только, что осуществление предпринятой Гюре enquête производит на него удручающее впечатление: точно говорит смрадное болото, в котором, под ногами у нескольких быков, множество лягушек надувается и квакает: «toi, toi, toi!»\* Приговор суровый, но довольно близкий к истине. Никогда, может быть, французская литература не была так раздираема разными школами, и никогда, может быть, обнаженные и взаимно враждебные я не играли в ней такой роли. Самая enquête Гюре подала повод к полемическим схваткам, из которых одна едва не окончилась дуэлью...

Эта несостоявшаяся дуэль (между Леконтом де Лилем и Анатолем Франсом) — явление столь обычное во Франции — не наводит г. Мережковского ни на соображения о вечно борющихся человеческих типах, ни на скептические мысли о французской литературе; тогда как такая же несостоявшаяся дуэль между Тургеневым и гр. Толстым фигурирует в числе опор его тезисов. Конечно, и поводы, и обстановка этих двух несостоявшихся дуэлей очень различны. Но дело в том, что, говоря о неприязненных отношениях между некоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковский или совсем не останавливается на их причинах, или довольствуется слишком простыми и голословными соображениями. Между тем это дело очень сложное. Неприязнь и вражда могут вытекать из чисто принципиальных источников: люди расходятся в дорогих для них убеждениях, и каждый из них столь крепко держится за свое, что никакое общение между ними невозможно. С другой стороны, люди вполне единомыслящие могут не сходиться характерами. Прибавьте сюда разные чело-

---

\* «Я, я, я!» (фр.) — *Ред.*

веческие слабости, вроде самолюбия, зависти, подозрительности, прибавьте разные чисто житейские столкновения,— и вы получите пеструю картину, вполне возможную и во Франции, и в России. И как она не помешала существованию французской литературы, так не помешает и русской литературе, хотя многие подробности ее, разумеется, очень прискорбны.

Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу от нападок г. Мережковского. Напротив, многое я выразил бы гораздо резче, но со многим, конечно, согласиться не могу. Оставляя в стороне нападки автора на отдельные определенные личности, представляющиеся ему зловредными, возьмем такое, например, его обвинение общего характера: «Литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было. Какие лица! Какие нравы! И ужасно, что эти лица самые молодые, бодрые, полные надежд. Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзия — самое воздушное и нежное из всех созданий человеческого духа, все более и более передается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!» Признаюсь, я не знаю, о ком здесь идет речь. Г-н Мережковский говорит так решительно, что ему, конечно, близко знакомы какие-нибудь яркие случаи этой мерзости. Но как бы ни был велик запас его наблюдений в этом роде, я не думаю, чтобы он имел право сказать, что «литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было». Всякие отдельные случаи возможны, но как бы они ни были омерзительны, от них еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая развертывается в настоящую минуту во Франции, в Италии, в Германии. И это не потому, чтобы русские писатели были как-нибудь по самой природе своей необыкновенно добродетельны. Может быть и так, но существует и гораздо более простая причина, та именно, что русская литература не представляет собою такой общественной силы, которую, как европейскую литературу, стоит покупать. Давление, оказываемое русскою литературою на русскую жизнь, слишком ничтожно. Конечно, эта гарантия не особенно лестная и не особенно прочная, но факт остается фактом: в настоящее время упрек г. Мережковского несправедлив, или по крайней мере преувеличен, а будущее до известной степени в наших руках. Чего-нибудь да стоит урок, препод-

даваемый нашей литературе теперешними европейскими скандалами, и можем же мы надеяться, что нечистые руки никогда не захватывают русскую литературу вконец.

Надо, однако, заметить, что если европейская — скажем, в частности, французская литература — сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская же литература бессильна и в этом отношении. И конечно, это практическое бессилие есть один из симптомов, а вместе с тем одна из причин упадка литературы, хотя г. Мережковский ее и не понимает. Он говорит о скуке, господствующей в литературной среде. Еще бы! Как тут не быть скуке и унынию, если мысль с трудом находит себе словесное выражение, а слово отделено от дела непродоходимою пропастью.

Впрочем, хотя «причины упадка современной русской литературы» и значатся в заглавии книжки г. Мережковского и, следовательно, должны бы составлять один из пунктов его особого внимания (другой такой же пункт — «новые течения»), но довольно трудно разобраться в его взглядах на этот предмет. Да простится мне вульгарное сравнение, мысль г. Мережковского скачет как блоха: направление, быстрота и вообще характер этих скачков имеют, может быть, свои внутренние резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься их какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.

Поговорив о скуке, господствующей в литературных кружках и редакциях, г. Мережковский делает ничем не мотивированный скачок к цитате из тургеневских «стихотворений в прозе» о мощи русского языка, а отсюда опять скачок к такому положению: «Три главные разлагающие силы вызывают упадок языка». Хотя, таким образом, вместо разговора об упадке литературы мы имеем разговор об упадке собственно языка и хотя автор не трудится указать связь и отношение этих двух упадков, но по крайней мере он пробует говорить с точностью, он выставляет даже цифру: *три* разлагающие силы. В добрый час! Но, перечислив свои *три* разлагающие силы (мы их сейчас увидим), г. Мережковский неожиданно заявляет: «*Другая* причина упадка литературы — система гонимых». Читатель с недоумением оглядывается: а где же первая? или почему это не четвертая? Затем оказывается, что главная, хотя никакой цифрой не отмеченная, причина упадка литературы есть

«критика», причем самые сильные удары автор направляет на гг. Протопопова, Скабичевского, Буренина и Вольтского. Но еще немного далее мы узнаем, что у нас есть превосходные критики в лице гг. Андреевского и Спасовича, а следовательно, огульный приговор русской критике надо взять назад: что навредили дурные — исправили или исправят хорошие. Ведь и в беллетристике у нас не все Тургеневы и Толстые, и в собственном поэзии не все Пушкины и Лермонтовы.

Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та же критика. Дело в том, что «еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный прием». Но язык Писарева был «сжат» и «увлекательно силен», а его преемники усвоили себе только дурные стороны его языка. Таким образом, причину упадка литературного языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать... Нельзя сказать, чтобы это рассуждение было очень блистательно в смысле логики. А между тем и вторая причина упадка совершенно такова же. Она заключается в той «особенной сатирической манере, которую Салтыков называл рабским эзоповским языком»<sup>6</sup>. Словом, дурной язык есть причина дурного языка: скачок куда-то в стороны и потом опять назад, на старое место... Наконец, третья приводимая г. Мережковским причина упадка литературы (или литературной речи) состоит в невежестве, все более и более вторгающемся в литературу. С этим я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которых г. Мережковский, к сожалению, не коснулся.

К этим беспорядочным, капризным скачкообразным приемам мысли г. Мережковского надо еще прибавить особенности его собственного языка. Это нечто бурно-пламенное, достигающее иногда высокой степени красоты и увлекательности, но иногда ставящее в тупик свою неточностью, бессвязностью и произвольностью. Мне хочется привести образчики хорошего. Вот, например, что говорит г. Мережковский о гр. Толстом:

«Художник тратит время на популярные брошюры о пьянстве, с наивным жаром квакера составляет, подобно методическому и упрямому норвежцу Бернсону, практические руководства к целомудрию молодых людей, предисловия к трактатам о беременности, о вегетарианстве, серьезно уверяет, что люди курят табак, чтобы заглушить совесть. Но если совесть людей такова, что не может противостоять даже табачному дыму,

стоит ли так много хлопотать о ней? На всех этих практических брошюрах лежит печать какого-то унылого и ледяного педантизма. Польза! Польза! Чей светлый ум не помрачало это слово в наш век?.. Мнимое чело-веколюбие, нравственное квакерство у холостяка отнимает трубку, у работника — чарку вина, суживает и омрачает без того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человека, придает ей характер какого-то филантропического, безотрадного и добродетельного приюта для калек. Не таковы истинные пророки любви».

Или вот еще несколько строк о Глебе Успенском:

«Муза Некрасова в унижении сохраняла признак власти, она была гордой. У Глеба Успенского нет такой силы. Но зато в этих кротких, как будто потухших глазах, в этом усталом лице — тихая жалость к людям, точно непрерывный упрек кому-то, точно мольба за них. Холодное, безбожное поколение наших дней может пройти мимо такого человека и бросить банальную укоризну: «это публицист, а не художник!» — не понимая, что, наперекор всем рамкам и законам эстетики, в мученической любви к народу не может не быть поэзии, не может не быть красоты».

Это превосходно: ярко, сильно без тени какой-нибудь искусственности или напыщенности, которые так часто исправляют должность настоящей силы и яркости (греху этому не чужд в иных местах книги и г. Мережковский). Если читатель всмотрится в такие хорошие места книжки, то увидит, что все они выражают известное настроение автора, причем он не пытается аргументировать или обосновывать какую-нибудь мысль, давать какому-нибудь явлению жизни определение, логически опровергать что-нибудь вообще, производить какую-нибудь более или менее сложную логическую операцию. Как только г. Мережковский пускается в эту последнюю область, так получается ряд туманностей без какого бы то ни было определенного, твердого ядра, полная беспорядочность мысли и изложения, путаница, противоречия. В лучших подобных случаях автор или задает совершенно определенный вопрос (на стр. 41: «что такое символ?») и так и оставляет его без ответа, или, как мы уже видели, утверждает, что этого, дескать, нельзя выразить словом и прячется за старинный афоризм: «мысль изреченная есть ложь»<sup>7</sup>. Но если это так, то лучше совсем не говорить или по крайней мере не писать для печати. И читая некоторые страни-

цы г. Мережковского, поневоле думаешь: да лучше бы этого не печатать.

Не угодно ли, например, ориентироваться в следующих рассуждениях о Тургеневе:

«Русские рецензенты имели бестактность видеть в Тургеневе публициста и с этой точки зрения предъявляли ему требования. С надлежащим ли одобрением или порицанием изображен человек 30-х годов. Потом человек 40-х годов, потом нигилист 70-х годов и т. д. Одни защищали Тургенева, другие утверждали, что он в лице Базарова оскорбил молодое поколение. Странно теперь читать эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумение могло возникнуть только из коренного непонимания. Впрочем, и сам Тургенев подал отчасти повод к недоразумению. Он писал свои большие романы на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня. В этом великом человеке был все-таки литературный модник, то, что французы называют «модернист». Как почти все поэты, он не сознавал, в чем именно его оригинальность и сила» (43 и след.). Далее автор поясняет, что настоящий оригинальный и сильный Тургенев, «царь обаятельного мира», которого просмотрели «наши критики-реалисты», это «Живые мощи», «Бежин луг», «Довольно», «Призраки», «Собака», «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе». А «Накануне», «Отцы и дети», «Новь», «Вешние воды» (и, вероятно, «Рудин», «Дым», «Дворянское гнездо», большая часть «Записок охотника» и еще кое-что) это вещи неодобрительные, по самой задаче своей условные, стареющие уже теперь.

Гоголевский почтмейстер рассказал длинную, сложную и очень занимательную историю капитана Копейкина, который был, по его мнению, не кто иной, как Чичиков. Рассказ уже приблизился к самому концу, когда почтмейстеру напомнили, что капитан Копейкин был безрукий и безногий калека, а Чичиков вполне владеет руками и ногами. Почтмейстеру стало неловко... Мне думается, что г. Мережковскому следовало бы, во избежание подобной же неловкости, быть несколько точнее и осмотрительнее. Первый писавший о Тургеневе в неприятном для г. Мережковского тоне был Добролюбов, а он умер в 1861 году и, следовательно, не дождал до «Живых мощей», «Довольно», «Призраков» и т. д. Споры, отчасти действительно комические, о Базарове тоже происходили задолго до так высоко цени-



мых г. Мережковским «Стихотворений в прозе» и «Песни торжествующей любви». Поэтому о «бестактности» и «коренном непонимании» можно бы было говорить с несколько большею осторожностью. Но и помимо этого хронологического соображения надо рассудить еще вот что. Всякие могут быть точки зрения, в том числе и такая, с которой «Собака» представляется более ценным произведением, чем «Рудин» или «Отцы и дети» (признаться, я бы этому не поверил до прочтения книжки г. Мережковского, но факт налицо). Но если сам Тургенев писал «на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня», то каким же образом могла бы обойти их критика, говоря о Тургеневе? Она именно обнаружила бы бестактность и коренное непонимание, если бы обошла то, что наиболее занимало самого художника. Я думаю, это ясно.

Ясно также мнение г. Мережковского о Тургеневе: будучи великим художником, он, однако, портил свое художественное дело чрезмерною отзывчивостью на жгучие вопросы дня. Так изображено на страницах 43, 44. Если же читатель обратится к странице 163, то найдет следующее: «Тургенев — великий художник по преимуществу, — в этом сила его и вместе с тем некоторая односторонность. Наслаждение красотой слишком легко примиряет его с жизнью. Он любит мир и красоту своей художнической мастерской и охотно удаляется в созерцание вечных образов от шумной и пестрой современности...»

В подобных случаях принято, кажется, говорить: комментарии излишни...

Не менее трудно уловить собственную художественную *profession de foi* \* г. Мережковского, независимо от его суждений о том или другом писателе. Он — поклонник красоты. Он говорит о красоте в восторженных выражениях, красота для него мерило вещей. «То же самое, великое и несказанное, что Гете называл красотой, Марк Аврелий называл справедливостью, Франциск Ассизский и св. Тереза — любовью к Богу, Руссо и Байрон — человеческою свободой» (27). «Красота образа не может быть неправдивой и потому не может быть безнравственной; только уродство, только пошлость в искусстве — безнравственны» (29). «Мне всегда казалось поучительным, что поэзия одинаково

---

\* Исповеданье веры (фр.). — Ред.

недоступна вполне безвкусным людям, как и вполне несправедливым» (32). «Как народу не любить красоты? Он сам — величайшая красота!» (60). «Едва ли не самый низменный и уродливый из человеческих пороков — неблагодарность... Повторяю, в одном лишь из всех наших пороков — в неблагодарности есть какое-то противоестественное, несвойственное человеческой природе безобразие» (72).

Нет никакого сомнения, что прекрасное есть естественная и совершенно законная категория требований человеческой природы, но мерять ею другие столь же законные, столь же самостоятельные требования — то же самое, что измерять пространство пудами или вес саженьями. Сказать, что красота не может быть неправдива, или что народ есть величайшая красота, или что неблагодарность есть худший из пороков, потому что она уродлива, — сказать что-нибудь подобное значит ровно ничего не сказать. Это, говоря, не помню чьим, картинным уподоблением, — наводнение слов в пустыне мысли. Из всех приведенных странных выражений следует только то, что Мережковский чрезвычайно чтит категорию красоты и, не отворачиваясь ни от нравственности, ни от справедливости, ни от жизни во всей ее многосторонней глубине, думает, что служение красоте есть высшая задача, к решению которой само собою приложится и все остальное. Поэтому-то он и Тургенева порицает за вмешательство в злобу дня. Поэтому он и на критиков-моралистов и публицистов негодует, поэтому же он прямо и торжественно заявляет: да, поэт должен творить «не для житейского волнения, не для корысти, не для битв».

Это не мешает, однако, тому же г. Мережковскому разразиться на странице 113 следующими пламенными строками. После соответственных цитат из пушкинского «Ариона» и лермонтовского «Кинжала» и после соответственных упреков Фету, Майкову и Полонскому, он пишет: «Вкусы различны. Что касается меня, я предпочел бы, *даже с чисто художественной точки зрения (а с иной, значит, и подавно)*, влажные, разорванные волнами ризы Ариона самым торжественным ризам жрецов чистого искусства. Есть такая красота в страдании, в грозе, даже в гибели, которой не могут дать никакого счастья, никакого упоение олимпийским созерцанием. Да, наконец, и великие люди древности, на которых любят ссылаться наши *парнасцы* (курсив г. Мережков-

ского), разве были они чужды живой современности, народных страданий и «злобы дня», если только понимать ее более широко? Я уверен, что Эсхил и Софокл, участники великой борьбы Европы с Азией, предпочли бы, не только как воины, но и как истинные поэты, меч, омоченный во вражеской крови, праздному мечу в золотых ножнах с драгоценными камнями!»

Вкусы различны... Это хорошо. Это снимает грозную опалу г. Мережковского с тех поэтов, которые не прочь от «житейских волнений», а стало быть, и с тех критиков, которые — пусть неумело, узко, грубо — руководствуются в своих суждениях этими самыми житейскими волнениями, что не мешает им, конечно, и красоте ценить. Это хорошо. Но когда прямо противоположные вкусы совмещаются в одном и том же человеке, то это, может быть, уж и не так хорошо. Это напоминает поговорку: чего хочешь, того просишь. Что же касается критики, то она, мне кажется, должна по отношению к г. Мережковскому, руководствоваться другой французской поговоркой «La plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a \*». Неясность, незрелость мысли г. Мережковского слишком очевидна, чтобы ему можно было предъявлять какие-нибудь требования в этом отношении: все равно ничего не получишь. Но намерения его несомненно добрые, настроение — несомненно благородное. С этой стороны его и брать надо. К сожалению, эту сторону нельзя выделить, не возвратившись к странным скачкам мысли автора.

Г-н Мережковский скорбит о современном состоянии русской литературы, но надеется на лучшее будущее. Он даже видит около себя зачатки, проблески этого лучшего будущего. Это — группа, которую он называет «современным поколением русских писателей-эпигонов». Называет он их также «современными идеалистами» и еще другими именами. Сюда относятся гг. Чехов, Фофанов, Минский, Андреевский, Спасович и Вл. Соловьев. В подстрочных примечаниях г. Мережковский присоединяет к этому списку еще несколько имен, и мы, может быть, еще обратимся к мотивам этого присоединения; *может быть* — потому что это не

---

\* Самая красивая девушка дает только то, что она имеет (фр.). — Ред.

особенно важно, хотя и интересно Сам г Мережковский, конечно, примыкает к этой группе, хотя и не говорит о себе Он отнюдь не преувеличивает значения и талантов «современных идеалистов» Конечно, таланты есть между ними, но в общем они подобны «младенчески слабым и беспомощным побегам молодого растения, пробивающимся из-под тяжелого камня» (36) Подобны они также Гомункулу второй части «Фауста», этому «странному существу, полудетскому, полустарческому» (55) И тем не менее «они теперь в России — единственная живая литературная сила У них достаточно в сердце огня и мужества, чтобы среди дряхлого мира всецело принадлежать «будущему» Исполненный отваги, г Мережковский припоминает эпизод из Севастопольской кампании русские солдаты шли на приступ, но перед ними был ров, и первые ряды наполнили его телами мертвых и раненых, следующие ряды прошли по трупам Так-то, говорит, и мы, «современные идеалисты», погибнем, но по нашим трупам пройдут следующие поколения и победят

Несмотря на некоторую напыщенность пафоса, я верю искренности г Мережковского, верю, что он действительно готов погибнуть — фигурально, конечно, выражаясь не в настоящем какомнибудь рву перед настоящим укреплением, а, например, под бременем насмешек Он это предвидит и смело идет навстречу выстрелам иронии Он говорит, что «ничего не может быть легче, как осмеять и отвергнуть» течение «современного идеализма» Я не думаю, однако, чтобы все вышеперечисленные представители этого течения столь же мужественно готовились к насмешкам Да и с какой стати? Над книгой г Минского «При свете совести»<sup>8</sup> действительно много смеялись, над книгой г Мережковского, я боюсь, тоже будут смеяться, хотя и не так сильно ради ее искренности, которой в произведении г Минского нет и следа Но взять, например, г Чехова О нем много говорят в литературе одни восхищаются его талантливymi картинками, другие сожалеют об «изъянах его творчества», по выражению нашего сотрудника, но ни единой насмешки по его адресу я не встречал, да, конечно, и не встречу Или г Спасович И на старуху бывает проруха, и г Спасовичу случалось промахиваться не без комического эффекта, но чтобы этот маститый деятель профессуры, адвокатуры и литературы мог ожидать себе гибели над бременем на-

смешек, чтобы он пошел на эту гибель — в этом позволительно по крайней мере усомниться.

Но позволительно усомниться и в гораздо большем, а именно в том, чтобы все занесенные г. Мережковским в список «современных идеалистов» чувствовали себя в этих рамках и в этом соседстве как в своей тарелке. Я думаю, что они попали в список потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковского и что благосклонность эта определяется не теми или другими их качествами, а исключительно настроением г. Мережковского. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно, в самом деле, читать такое, например, заявление г. Мережковского: «Так же, как и все люди нового поколения, Спасович — идеалист». Как известно, г. Спасович принадлежит, напротив, к очень старому поколению. Г-н Мережковский, правда, оговаривает энергию и молодость духа г. Спасовича, но ведь эти качества равно доступны всем поколениям и, во всяком случае, г. Спасович не есть продукт тех особенных условий, среди которых и под влиянием которых зарождается «современный идеализм» г. Мережковского. Он ведь только еще зарождается, этот современный идеализм, он выбивается из-под камня, «как младенчески слабые и беспомощные побеги молодого растения». Как бы кто ни смотрел на г. Спасовича, но неужели же он может иметь какое-нибудь отношение к этой младенческой слабости и беспомощности? «Parlez vous \*, г. Мережковский!» — думал, вероятно, г. Спасович, читая сравнения «новых течений» с беспомощными ростками и Гомункулом.

Г-н Мережковский заимствует свой свет от того движения в современной французской литературе, которое известно под именем символизма или декадентства, — я не могу здесь распространяться об этом обширном предмете, так как уже начал о нем беседу в другом месте. Скажу лишь следующее. Движение это отвечает некоторыми своими сторонами на действительную и, может быть, важнейшую верховную потребность человеческого духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первых, не один символизм, даже во Франции, пытается удовлетворить эту потребность, а во-вторых, из всех этих попыток символизм есть са-

---

\* Говорите за себя (фр.). — Ред.

мая плоская и уродливая, не только не подвигающая к разрешению задачи, но компрометирующая ее. Символизм слагается из умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнению некоторых, до психического расстройств, затем из шарлатанства, непомерных претензий и того, что французы называют блягой<sup>9</sup>.

Г-н Мережковский насчитывает «три главных элемента нового (то есть символистского или декадентского) искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Это приблизительно верная программа некоторых символистов, как они сами ее понимают или по крайней мере излагают. Приблизительно верно также и другое замечание г. Мережковского: «Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм — какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему». «К вечному» — это немножко сильно сказано, а возвращение к тому, что никогда не умирало — не совсем понятно. Но, во всяком случае, верно, что «новое искусство» содержит в себе мало нового, и это новое не хорошо, чего, впрочем, г. Мережковский отнюдь не думает.

С художественной стороны символизм, поскольку в нем есть зерно правды, представляет собою реакцию против «натурализма» и «протоколизма» Эмиля Золя с братией. Со стороны философской — поскольку можно говорить о ней в применении к людям весьма мало сведущим и совершенно беспорядочно мыслящим — он реагирует против последней крупной философской системы, выставленной Францией: против позитивизма. Идеи, вырабатываемые, а иногда только перерабатываемые Францией, имеют ту особенность, что они быстро и шумно распространяются далеко за ее пределы и овладевают чуть не всем цивилизованным миром. Так было и с позитивизмом в научно-философской области и потом с натурализмом в области художественной. Реакция против односторонности, сухости и узости этих доктрин естественно должна была в той же Франции принять наиболее острый характер и уже оттуда распространиться, как из центра, к периферии. Сам Огюст Конт, провозвестник позитивизма, стеснялся узкими рамками доктрины и ее черствостью и первый, собственно говоря, восстал на нее своим «субъективным методом» и «религией человечества»<sup>10</sup>. Но эта неудачная

попытка ослабевшего и расстроенного ума не привилась и не могла привиться в сколько-нибудь широких размерах. Задача состояла и посейчас состоит для Франции в религиозном объединении разума, чувства и воли, в таком расположении системы все растущих знаний, чтобы при этом получило удовлетворение и нравственное чувство; чтобы далее это нравственное чувство, в союзе со знанием, с наукой, проникало человека до полной невозможности поступать несогласно с указаниями нравственного чувства. В этом и смысл, и задача всякой религии. Религиозное чувство есть тот великий действительный элемент, без которого мертвы и наука, и нравственная доктрина. Беспредельные несчастья, сыпавшиеся на Францию в течение многих и многих лет и доселе ее не оставляющие, конечно, не способствовали исполнению великой задачи. Разумею не бурные периоды французской истории, а, напротив, периоды затишья. Страшен погром, вынесенный Францией в 1871 году<sup>11</sup>, но это был, в известном смысле, благодетельный эпизод — он заставил встрепенуться. Г-н Мережковский, имея, конечно, в виду главным образом Францию, говорит: «XVIII век и его ограниченный скептицизм не правы. Нет! Людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников». Ограниченный скептицизм всегда не прав, но о XVIII веке следовало бы, может быть, говорить осторожнее. Пусть г. Мережковский припомнит хоть, например, величественную смерть героя и мученика революции — Кондорсе<sup>12</sup>. Или, так как г. Мережковский поэт, пусть припомнит судьбу братьев Шенье<sup>13</sup>. Но бывали во Франции и другие времена, когда она действительно ни во что не верила и когда кокетливая, эпикурейски скептическая и, для меня лично, глубоко противная даже на портрете улыбка Ренана была, может быть, лучшим, что могла представить миру великая страна. В такое печальное время зародился и натурализм, или протоколизм, Эмиля Золя. Крупный художественный талант, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Золя дал толчок мелочной, протокольной точности описания. Фразами, блещущими всеми недостатками полужнания, он и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзии: протокол, копия с природы — больше ничего от искусства не требуется; идеалы, противопоставляемые непреодолимому естественному ходу вещей, нравственный суд над чело-

веческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, как рост дерева или вращение земли вокруг солнца,— все это вздор, ненужный балласт, подлежащий уничтожению.

Все это наконец надоело. Проснулась верховная потребность человеческого духа. Но проснулась, конечно, не в одних символистах, и я даже сомневаюсь, чтобы она в них в самом деле настояще проснулась. Во всяком случае, они противопоставили протоколу — символы, непреоборимости естественного хода вещей — мистицизм, грубым штрихам натуралистической поэзии — разные ухищрения тонкости. Кстати подоспели новейшие открытия в области психофизиологии: гипнотизм, внушение, чтения мыслей. Благодаря новизне этих явлений как объектов науки и благодаря их стародавности как явлений жизни, практики,— мистицизм, пристрастие к символам собственно за их загадочность и погоня за ухищренными тонкостями нашли себе в них кажущуюся опору.

Но довольно о французских символистах. Обратимся к их русскому отражению, к г. Мережковскому, разумея его, впрочем, исключительно как теоретика, как автора лежащей перед нами книги, потому что с его стихотворными произведениями я, признаюсь, недостаточно знаком.

Повторяю, я высоко ценю благородное настроение души г. Мережковского, не удовлетворяющегося сухостью, черствостью и односторонностью доктрин позитивизма и натурализма. Но протестовать против них можно с различных точек зрения, и любопытно знать, почему именно французский символизм пришелся ему по душе? Прежде всего, одно дело — Франция и другое дело — Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение «возмущения». Против чего возмущается г. Мережковский и указываемая им «единственная живая в России литературная сила» — отважное войско, состоящее из г. Чехова, Фофанова, Минского, Спасовича, Андреевского и Вл. Соловьева? Я, впрочем, не хочу ставить г. Мережковского в неловкое положение человека, взявшегося говорить от лица людей, не давших ему полномочий. Я остановлюсь только на нем самом.

Позитивизм Огюста Конта, о котором, впрочем, г. Мережковский прямо не упоминает, имел у нас некоторое значение, но его односторонность и узкость были



указаны в русской литературе очень давно, когда г. Мережковский еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а играл в лошадки и вообще предавался невинным забавам, свойственным младенческому возрасту. Натуралистическим теориям в искусстве отводил было одно время на своих страницах место «Вестник Европы»<sup>14</sup>, но и этот почтенный журнал от них давно отступился, и, во всяком случае, натурализм, или золаизм, отразился у нас разве только в некоторых произведениях гг. Боборыкина, Ясинского и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзии и беллетристики никогда не совпадало с натурализмом. Русская критика также никогда не вдохновлялась им. Правда, за этой русской критикой г. Мережковский считает другие тяжкие грехи. Но, каковы бы они ни были, «возмущение» г. Мережковского против русской критики может иметь лишь частный характер. Гг. Андреевский и Спасович являются в изложении нашего автора такими блестящими критиками, каким могут позавидовать гораздо более богатые, чем наша, европейские литературы, а ведь и там их не дюжинами считают. Г-н Мережковский возразит на это, что одна ложка дегтю портит бочку меду, а в данном случае даже наоборот выходит: бочка скверного, черного дегтя и в ней ложечка светлого, душистого, сладкого меда в лице г. Андреевского и Спасовича. И именно потому г. Мережковский направляет свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображение и справедливо, то оно все-таки не решает вопроса, а только отодвигает решение. Критика не однородное какое-нибудь тело в составе литературы, она часть ее, и потому надо спросить: отчего произошел упадок критики? Иначе вместо ответа на вопрос, поставленный даже в заголовке книги, получится вариация на мольеровскую тему<sup>15</sup>: *opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva* \*. Далее, г. Мережковский не первый ищет в критике причину упадка литературы. Замечательно, однако, что подобные жалобы на критику раздаются только у нас, хотя плохие критики есть везде и везде их больше, чем хороших. Только у нас господа беллетристы и поэты имеют двусмысленную смелость говорить: мы потому плохи, что

---

\* Опиум усыпляет потому, что обладает усыпляющей способностью (лат.).— Ред.

критика плоха. Я не знаю, к какому времени относит г. Мережковский начало зловредного влияния у нас критики. По-видимому, к очень давнему, и настолько, во всяком случае, давнему, что это зловредное влияние должно бы было отразиться и на Тургеневе, и на Гончарове, Льве Толстом, Достоевском. Однако не помешала же им критика. Мало того, наша критика, по мнению г. Мережковского, все ухудшалась, а между тем, по его же мнению, именно позднейшие произведения Тургенева и Достоевского стоят особенно высоко...

Одна из глав книжки г. Мережковского называется: «Начала нового идеализма в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого». На основании всего предыдущего следует, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана представляют собою начало того, что имеют поведать миру гг. Фофанов, Минский, Мережковский, Чехов, Андреевский, Спасович, Соловьев. А может быть, уже даже поведали? Я думаю, что *c'est trop fort* \*. «Начало» — великаны, а конец или продолжение — «Гомункулы» и «младенчески беспомощные ростки...». Тут что-нибудь не так. И действительно не так. Просто путаница, от разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что «Гомункулы», «младенчески беспомощные ростки» (они же «слабые и нежные дети вечерних сумерек») «взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание у Толстого и Достоевского. Все эти элементы нового идеального искусства они сделали более сознательными, попытались ввести даже в критику, обнажили от посторонних реалистических наслоений». Далее говорится, что, несмотря на все эти подвиги, гомункулы все-таки очень слабы. Но где, когда, кто из них сделал то, что рассказывает г. Мережковский? Остановлюсь на одном лишь примере. Из живых беллетристов нового поколения, нового идеального искусства и как их еще там г. Мережковский называет, он берет целиком только г. Чехова. Пусть же он укажет мистическое содержание в произведениях этого талантливого писателя, к великой его чести, решительно чуждого мистицизму.

Но дело, пожалуй, не в этом. Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой — это ведь вчерашний, даже се-

---

\* Это слишком сильно (*фр.*). — *Ред.*

годняшний день. И если г. Мережковский признает их своими духовными отцами, так против чего же он «возмущается»? Из подражания французским символистам? Но ведь те не признают ни натуралистов, ни «психологов», ни «парнасцев»; они действительно разрывают со вчерашним днем; им, по их мнению, не за что ухватиться в ближайшем прошлом. Г-н Мережковский находится в совсем ином положении. Тем более что кроме произведений Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого, он знает еще одно течение в нашей литературе, против которого он восставать не хочет и не может.

Он говорит: «Прежде чем я перейду к поколению современных русских писателей-идеалистов, я должен сказать несколько слов о другом могущественном литературном течении, также вполне современном, имеющим огромную будущность, которому лишь по недоразумению большинство наших критиков придает такой резкий утилитарный характер. В сущности, это течение очень близко к идеализму. Я разумею народничество». Из живых представителей этого направления г. Мережковский указывает на Гл. Успенского, В. Г. Короленко и меня... Это вынуждает меня на некоторые личные объяснения.

Лично обо мне г. Мережковский говорит, между прочим, следующее:

«Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере — он идеалист». И далее: «Не следует ли лучшим представителям прошлого, например Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что-нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: «Кто же эти молодые? Укажите на них. Что они говорят? Я их не слышу, я их не знаю...» Да, голос их слаб. Но хотя бы это был шепот,

он есть. Мы слабые, ничтожные люди, сегодня шепотом говорим друг другу на ухо то, что гений будущего заставит людей возвещать на кровлях и площадях народных. Разве в первый раз великое начинается с малого, отвергнутого и осмеянного?»

Г-н Мережковский сделал мне великую честь, поставив меня рядом с такими писателями, как Гл. Успенский и В. Г. Короленко. Я думаю, однако, что до известной степени самим характером моей работы эта честь мною действительно заслужена, и считаю себя вправе говорить не только от своего имени по крайней мере по одному пункту. Дело не в словах, не в названии — «что имя? звук пустой», — но мы не можем принять кличку «народников», и не по существу, а просто потому, что слово это слишком захватано, и в него нередко вкладывается смысл, с которым мы имеем мало общего. Г-н Мережковский называет нас еще «идеалистами» (с некоторою неприятною для него примесью). Отчего бы и нет? Но слово «идеализм» слишком неопределенно; в свою долгую историю — оно ведь очень старо — оно обозначало многое разное, и я отнюдь не уверен в том, что наш идеализм совпадает с тем, который вдохновляет г. Мережковского.

Теперь о себе. Г-н Мережковский замечает, что я «в своих молодых статьях — идеалист». Не знаю, идеалист ли в смысле г. Мережковского, но наверное знаю, что я и теперь тот же, что был в молодые годы; знает это и г. Мережковский и прямо говорит об этом в другом месте. Что же касается адресованного ко мне приглашения прислушиваться к «шепоту» «современных русских писателей-идеалистов», то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь к тому, что говорят молодые, по закону естества идущие на смену нас стариков. Это ведь, опять же по закону естества, продолжение нашего собственного существования в обновленной форме. Но, к сожалению, я не могу симпатизировать произведениям большинства провозвестников нового, молодого. И прежде всего, я не слышу «шепота». Напротив — гром и молния; гром не из тучи, конечно, а из среды самоуверенных до наглости, невежественных, неискренних и неблагодарных людей. Я в особенности настаиваю на искренности, потому что — г. Мережковский знает — «не всякий говорящий: «Господи!» внидет в царствие небесное».

Я не хочу входить в подробный разговор о разных «новых» течениях и ограничусь г. Мережковским. Он — искренний человек. Он действительно проникнут жаждой всеохватывающей религиозной преданности идеалу, недостатком которой страждет, конечно, не одна Франция. Теоретически он, по крайней мере иногда, понимает также, что удовлетворение этой жажды не может быть достигнуто как-нибудь в ущерб науке, точному знанию. Он говорит: «Великая позитивная и научная работа двух последних веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немислимо. Потому-то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании еще небывалом, с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма как неистребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца». Что облюбываемые г. Мережковским струи современного искусства именно таковы, это просто неправда; но верно, что такова задача, и не только искусства. Действительно, неистребима потребность в действительном объединении сущего и должествующего быть. Мало знать причины и следствия известного поведения — оно должно получить еще нравственную оценку, невозможную без определенного идеала; но мало и пассивной оценки, не обязывающей утвердиться в известном образе действия или изменить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще действовать. Та сила, которая направляет нашу волю к действию в соответствии с идеалом, построенным совокупным трудом разума и чувства, — эта сила и составляет сущность всякой религии. Не следует смущаться теми грубыми формами, под которыми скрывается иногда религия. Когда дикарь мажет сметаной или жиром губы своего идола в уверенности, что он за это пошлет ему счастливую охоту, эта уверенность составляет элемент науки дикаря, его понятий о причинной связи явлений, а не его религии. Лишь очень поверхностный или грубо понимающий человек может сказать: этот дикарь религиозен потому, что мажет идолу губы сметаной. Он делает это потому, что он невежествен. Но это не мешает ему быть глубоко религиозным, когда он так или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодам, опасностям, лишениям ради чего-то вне и выше его

стоящего, когда он, например, умирает, защищая своих богов и покровительствуемую ими родину или семью. Мы бесконечно далеко отошли от дикаря в понимании законов природы, но в историческом ходе событий односторонняя работа разума слишком часто подавляет область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механический аппарат познания с физиономией глубокомысленной или подкрашенной скептической улыбкой, либо разнузданный зверь, либо, наконец, жалкое существо, разьединенное колебаниями и сомнениями.

Г-н Мережковский глубоко огорчен этим унижением человеческой природы, этим ее потускнением, и я могу только сочувствовать ему. Я уверен, что и он, прочтя только что написанное, скажет: это верно. Но я не в первый раз это говорю, а между тем г. Мережковский утверждает, что я «не хочу примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом». Я прежде всего не хочу путаницы и двусмысленности вообще, а в серьезных делах в особенности. Что это, собственно, значит — «высший сознательный и божественный идеализм?» Я вынужден и г. Мережковскому напомнить изречение: «не всякий говорящий: «Господи! Господи!» внидет в царствие небесное»<sup>16</sup>. В своем растрепанном мышлении и еще более растрепанном изложении он играет словами «религиозный», «художественный», «божественный», «мистический», «идеалистический», не давая себе труда определять, как он их понимает, и чаще всего употребляя их как синонимы. Посмотрим, к чему это ведет.

Вернемся к мнениям г. Мережковского о произведениях Тургенева. Говорит он на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, как мы уже видели. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь в ту точку зрения, по которой, между прочим, выходит, что рассказ «Собака» должен быть поставлен выше, чем «Накануне» и «Отцы и дети». Я имел случай убедиться, что «Собаки» многие даже не помнят, а потому расскажу вкратце ее содержание.

В каком-то обществе зашла речь о возможности или невозможности явлений, «несообразных с законами природы», как выражается один из собеседников. По этому поводу другой собеседник рассказал случай из своей жизни. Это был небогатый помещик, отставной офицер, проигравшийся в карты и кое-как пристроившийся

к маленькому месту в столице. Звали его Порфирий Капитоныч. А случай с ним такой был. Однажды в деревне он ночью слышит, что у него под кроватью скребется и чешется собака, тогда как собак он не держал. Зажег свечку, посмотрел под кровать — никого нет. А как затушил свечку, так опять собака возится. Лакея позвал — то же самое; в темноте и лакей собаку слышит, а при свете никого нет. И так подряд из ночи в ночь. Сосед приехал в гости, ночевать остался, и при нем все то же. Поехал Порфирий Капитоныч в город и остановился у знакомого старика раскольника. Таинственная ночная собака и там от него не отстала, к великому негодованию хозяина-раскольника, который считал собак нечистой тварью. Узнавши, однако, в чем дело, раскольник смилостивился, решил, что «это есть явление, а либо знамение», и направил Порфирия Капитоныча к другому старику раскольнику, который уже окончательно рассудил: «это вам не в наказание послано, а в предостережение». Идите, говорит, на базар, купите щенка и держите того щенка при себе денно и ночью, «ваши видения прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу». Купил Порфирий Капитоныч щенка на базаре, и все произошло, как по писаному. Видения прекратились, а когда щенок вырос, то спас Порфирия Капитоныча от бешеной собаки, сразившись с нею...

По форме рассказ принадлежит к числу слабейших произведений Тургенева, с чем, я полагаю, и г. Мережковский согласится. Как художественное произведение, со стороны формы, сравнивать «Собаку» с «Накануне» или «Отцами и детьми» — даже не смешно. Г-н Мережковский подкуплен самою фабулою рассказа, его «мистическим содержанием». Содержание, несомненно, мистическое. Но при чем тут прочие слова, представляющие собою, по мнению г. Мережковского, синонимы мистицизма? Неужто в самом деле заслуживает названия «божественного идеализма» история о том, как щенок и два старика раскольника послужили орудиями спасения проигравшегося в карты Порфирия Капитоныча от бешеной собаки? Я отказываюсь понимать смысл такого произвольного сочетания слов, как «божественный идеализм». Но я достоверно знаю, что к области религии рассказанный в «Собаке» анекдот не имеет ровно никакого отношения. Или, может быть, его место в сфере науки? Ведь г. Мережковский обещал

нам «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма»...

Читатель без труда найдет в книжке г. Мережковского другие многочисленные следы беспорядочной игры словами и понятиями.

Я обращаю особенное ваше внимание на мотивы, по которым он считает «Сон Макара» лучшим из произведений В. Г. Короленко, а «Парамона юродивого» лучшим из произведений Гл. Успенского (стр. 68 и 71). Интересно также подстрочное примечание на странице 85, где автор одобряет г. Михайлова (Шеллера) за то, что он «чувствует потребность покинуть знакомую обстановку, из современного Петербурга перенестись ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса, в мир патриархальной фантазии». Тут же восторги перед «мистическими легендами» г. Лескова. Приглядываясь к подобным страницам, а равно к тем, где «статистика» и «политическая экономия» являются чуть не ругательными словами, мы можем прийти к окончательному заключению относительно г. Мережковского.

Г-н Мережковский не пророк и не герой нового течения, а жертва недоразумения. Он сам страдает недостатком того всеохватывающего начала, за отсутствие которого громит русскую литературу. Он лишь жаждет религиозного объединения своих понятий о причинной связи явлений и своего нравственного чувства, но думает удовлетворить свою жажду в безводной, давно высохшей пустыне и принимает миражи за действительность. По странному, но довольно обыкновенному в неустойчивых, колеблющихся натурах противоречию, он даже не хочет, чтобы расстилающийся перед ним красивый мираж превратился в настоящую действительность, где он в самом деле мог бы утолить жажду. Этот мираж красив именно как мираж и, следовательно, представляет особенную ценность для художника и пламенного поклонника красоты. Но он, кроме того, не обязывает, даже не призывает к жизни в полном глубоком значении этого слова, а г. Мережковский и хочет, и в то же время боится жить. Для человека жить не значит пить, есть и спать. Многие люди живут этой жизнью, но это недостойная человека жизнь, и г. Мережковский ее презирает. Жить — значит мыслить», чувствовать и действовать, причем все эти



три элемента должны быть в полном согласии, ибо это равноправные и друг друга поддерживающие функции или стороны жизни. Формула их сочетания меняется в истории, но она всегда есть или составляет великое искомое. Благодаря бесчисленным противоречиям г. Мережковского, я не умею сказать, как понимает он свое собственное отношение к этой формуле: считает ли он себя обладателем ее или только ищущим. Во всяком случае, со стороны дело виднее, и для меня нет сомнения, что он ищет, но ищет неверными приемами и там, где найти нельзя. Почему он так радуется, что г. Михайлов в каком-то своем произведении (мне оно неизвестно) «покинул знакомую обстановку и перенесся из современного Петербурга ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса»? Готов верить, что это прекрасное произведение, но г. Мережковский ничего не говорит об его красотах и радуется самому факту удаления романиста ко временам Артаксеркса. Я и против этого факта ничего не имею. Выбор того или другого исторического момента для рамки поэтического содержания ничего не говорит против произведения, но сам по себе ничего не говорит и за него, а по г. Мережковскому, уж и то превосходно, что автор из современного Петербурга в «мир патриархальной фантазии» удалился. Почему такая немилость к Петербургу? Потому же, почему «Собака» выше больших романов Тургенева. Как и французских символистов, неясность собственной мысли г. Мережковского влечет его от настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда же и его комическое негодование против статистики и политической экономии. На словах он обещает «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний», а на деле даже статистики боится. «Мистицизм» он проповедует открыто и даже с гордостью. Это его дело, но напрасно он отождествляет слова «мистический» и «религиозный». Это не только не одно и то же, а даже две противоположности. Религия призвана руководить человека в жизни, освещать ему его трудный, извилистый, полный соблазнов путь, и потому ей нечего бояться статистики. Другое дело мистицизм. Он, если позволено так выразиться, тушит светоч религии и уводит человека из настоящей действительной жизни куда-нибудь в туманную даль: «в мир патриархальной фантазии» времен Артаксеркса или в ту фантастическую об-

ласть, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит» и таинственная собака спасением какого-то Порфирия Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этим, что фантастические, или отдаленно исторические, или прямо мифологические сюжеты не подлежат художественной эксплуатации. Дело не в сюжете, а в том, как к нему художник относится; для г. Мережковского сюжет все губит и все спасает. Короленко в «Сне Макара» решительно тот же, что и во всех других своих произведениях: то же отношение к жизни, те же упования и идеалы. Но фантастический сюжет «Сна Макара» выделяет для г. Мережковского этот рассказ на недостижимую высоту над всеми писаниями Короленко. То же и с Тургеневым по отношению к «Собаке». Что бы ни говорил г. Мережковский, но «Собака» есть пустяковый анекдот по содержанию, нимало не блистающий художественными достоинствами по форме. Об ней не будет упоминаться даже в очень подробных историях литературы, или разве в такой форме, что согрешил, дескать, между прочим, Тургенев и «Собакой». Что же касается больших его романов, то, несмотря на многие их недостатки, и предвидеть нельзя того времени, когда они перестанут читаться с живым интересом. А для г. Мережковского мистическое содержание «Собаки» все выкупает, а мотивы действительной жизни в романах Тургенева все портят. Это от того зависит, что он боится жизни. Он хочет не пить, есть и спать, а жить по-человечески; хочет и не смеет, потому что инстинктивно чувствует свое бессилие ориентироваться в сложных путях жизни. При этих условиях мистические сферы остаются единственным убежищем, куда г. Мережковский и удаляется вслед за французскими символистами. Нам туда не по дороге. Во Франции и вообще в Европе не одни символисты вновь обращаются к мистике: там есть еще «маги», «необуддисты», «теософы» и другие разные. Я думаю, что мы еще слишком молоды, чтобы до такой степени извериться в жизнь и до такой степени ее бояться.



## ЕЩЕ О Г. МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ

Рассказы г. Максима Горького обратили на себя общее внимание. О них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако «более или менее», и если одни, например, восторгаясь писаниями г. Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие — и, надо признаться, с гораздо бóльшим правом — утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает<sup>1</sup>.

Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей» г. И — т<sup>2</sup>. От почтенного критика не укрылась часто впадающая в фальшь идеализация г. Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, как ангел небесный, как демон — коварна и зла». Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи г. Горького, «только с обратным математическим знаком». Там, где у Тамары стоит плюс, у босяков г. Горького — минус, и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босяков — безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов г. Горького «стремлением к добру, к истинной нравственности, к большей справедливости, к заботе об уничтожении зла». В этом-то контрасте à la Тамара навыворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов г. Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босяков г. Горького с героем драмы Жана Ришпена<sup>3</sup> «Le chemineau» \*. Ге-

\* «Бродяга» (фр.) — Ред.

рой этот есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти — ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно — любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу по принципу («Русские ведомости». № 170). Эту черту мы знаем и в чандалах г. Горького; и им, как мы видели в прошлый раз, не «силою обстоятельств» — по крайней мере эти обстоятельства остаются в тумане, — а каким-то внутренним голосом предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи!<sup>4</sup> Но, судя по изложению г. И—т, герой драмы Ришпена (мне она, к сожалению, неизвестна) совершенно чужд другой стороне их быта и психологии — той стороне, которая ставит их в тесное соприкосновение с «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словам критика, *le chemineau* — не загнанный бродяга, к которому подозрительно относятся лица, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подавание и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен; двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых. Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои г. Горького. В связи с этим находится и другое различие: *le chemineau* гуляет по белому свету бодрый и жизнерадостный, а в босяках г. Горького это настроение «заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве». В конце концов г. И—т, возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои г. Горького распадаются на три разновидности: в одних преобладает искание истины и невозможность найти ее, в других — деятельное стремление к водворению справедливости на земле, в третьих — разъедающий скептицизм. Все это вместе взятое лишает их жизненности

и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качеств chemineau Ришпена. Таков окончательный вывод г. И—т.

При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с ней вполне согласиться. Герои г. Горького много философствуют, слишком много, и в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено,— в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такою ясностью и определенностью, как в лермонтовской Тамаре. Там дело действительно ясно и просто: прекрасна телом, коварна и зла душой, и отсюда вытекает все остальное, со включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, просто в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего речь здесь не о теле идет и вообще не о наружности в буквальном смысле слова. Герои г. Горького не Квазимодо какие-нибудь. Если, например, Сережка довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец, и, читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа: «он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини»<sup>5</sup>. Или Кузька Косяк: «он стоял в свободно сильной позе; из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие, большие глаза хитро прищурились» (I, 90). Это, конечно, не пара Тамаре, не «ангел небесный», но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень ценит красоту. Она уверена даже, что «только красавцы могут хорошо петь» (II, 306) и что «красивые всегда смелы» (317). Безобразна внешняя обстановка босяков, но и то не совсем верно, потому что г. Горький часто помещает их на море и в степи и вместе с ними восторгается красотой открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лох-

мотья, в которые облечены босяки вместо «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но ведь иначе они и не были бы босяками. А во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости — бесспорно, внешность, но почему внешность то, что к ним приводит и в них совершается? Почему внешность — пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядит нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести ну хоть, например, ограбление и убийство «студентом» прохожего столяра («В степи») — к «исканию истины», или к «стремлению водворить справедливость на земле», или к «разъедающему скептицизму»? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен «смарать в себе все чувства и мысли», воспитанные прежнею жизнью, и что «нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей»<sup>6</sup> и *jenseits von gut und böse*\*, как сказал бы Ницше.

Столь обаятельная личность, какую Ришпен изобразил своего *chemineau*, естественно притягивает к себе женские сердца, и он не отказывается от радостей любви. Но, повинувшись инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и «с болью в сердце». Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где двадцать с лишним лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи, у постоянного очага. Но после некоторого колебания, он «с рыданиями» уходит куда глаза глядят, и драма оканчивается словами: *va, chemineau, chemine!*\*\* Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование Агасфера. Босяки г. Горького хотя и не обладают достоин-

---

\* По ту сторону добра и зла (*нем.*) — *Ред.*

\*\* Иди, бродяга, бродяжничай! (*фр.*) — *Ред.*

ствами chemineau, но тоже очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают, и скверно хвастают, но, например, Коновалову он безусловно верит. А у того «их», то есть женщин, «много было разных». И оставлял он их не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались с той или другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и chemineau не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои г. Горького порывают узы любви без колебаний и без sanglots<sup>1</sup>. Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает при расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горя и слез, а сам он нимало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством. Был у Коновалова роман с богатой купчихой Верой Михайловной, прекраснейшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше так же хорошо, «кабы не планета моя», говорит Коновалов, «все-таки ушел от нее — потому тоска! тянет меня куда-то». В другой раз Коновалов, по той же чувствительности своего сердца, помог одной проститутке выбраться из публичного дома. Но когда девушка поняла это в таком смысле, что он возьмет ее жить с ним «вроде жены», то, при всем своем к ней расположении, Коновалов даже испугался: «я есть бродяга и не могу на одном месте жить». Но Коновалов все-таки хоть грустит при расставании. А вот как утешает свою возлюбленную Кузька Косяк, уходя — без какой-нибудь особенной надобности — на Кубань: «Э, Мотря! Многие меня уже любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет! Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю... На одном месте скучно мне». Случайно подслушавший этот разговор хозяин Кузьмы, мельник Тихон Павлович, о котором у нас еще будет речь, говорит ему, что нехорошо он с девками поступает: «ежели, к примеру, ребенок? бывало ведь, а?» — «Чай, бывало; кто их знает», — от-

---

<sup>1</sup> Рыданий (фр) — Ред.

вечает Кузьма и на дальнейшие замечания мельника о «грехе» возражает: «Да ведь ребята-то, поди-ка, одним порядком родятся, что от мужа, что от прохожего». Мельник напоминает о разнице в данном случае между положением мужчины и положением женщины, и Кузьма на это уже не дает прямого ответа, а «серьезно и сухо» говорит: «Коли покрепче подумать, так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно. Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно и не сделал — грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Чай, неохота». — «Легкая, веселая твоя жизнь», — замечает с некоторою смесью зависти и уважения мельник...

Такую же легкую и веселую жизнь ведут и некоторые героини г. Горького. Старуха Изергиль рассказывает, «как она любила». Ей было пятнадцать лет, когда она сошлась с каким-то черноусым «рыбаком с Прута», но он ей скоро надоел и она ушла с рыжим бродягой гуцулом; гуцула повесили (за что Изергиль сожгла хутор доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него в гареме, из которого убежала с сыном турка; затем следовали поляк, венгерец, опять поляк, еще поляк, молдаванин... Мальва, героиня рассказа, озаглавленного ее именем, живет с рыбаком Василием, заигрывает и кокетничает с его сыном Яковом и наконец, перессорив отца с сыном, сходится с удалым забудыгой Сережкой, с которым, судя по некоторым признакам, и раньше была одно время близка...

Мальва — фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть так или иначе немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся *jenseits von gut und böse*, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом — одна из вариаций на сочетание двух знаменитых тезисов Достоевского: «человек деспот от природы и любит быть мучителем», «человек до страсти любит страдание». Мужские вариации на эту тему, как бы ни были они исключительны и болезненны, часто поражают у Достоевского своею яркостью и силой, но женские — в «Игроке», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» — решительно ему не удавались. Все эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляют вас в каком-то недоумении,



хотя Достоевский сводит иногда даже по две представительницы этого загадочного типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая<sup>7</sup> в «Идиоте», Грушенька и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых»). Вы только чувствуете, что у автора был какой-то сложный замысел, с которым, однако, не справился его жестокий талант. И недаром наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, обходила молчанием женщин Достоевского: это в художественном смысле наименее интересный пункт его мрачного творчества. Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, понятнее загадочных женщин Достоевского. Я, конечно, далек от мысли сравнивать изобразительную силу г. Горького с мощью одного из истинно великих художников, и дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский.

Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых»<sup>8</sup>. В этой не лишенной остроумия юмористической классификации Мальве нет места (как, впрочем, и многим другим женским типам). О сходстве с коровой не может быть и речи: для этого Мальва слишком жива, гибка и изворотлива, да и нет на ней той всегдашней печати материнства, которая лежит на корове. Со змеей же мы привыкли соединять представление о чем-то красивом и вместе с тем неизменно злобном. А Мальва вовсе не неизменно злобая женщина, да и вообще в ней нет ничего неизменного. Вся она состоит из переливов одного настроения или чувства в другое, часто противоположное, но быстро переходящее, причем сама она не могла бы не только определить причины этих переливов, но даже указать их границы, моменты перехода одного настроения или чувства в другое. И если нужно искать для нее зоологической параллели, которая бы выпуклее представила ее основные черты, я сказал бы, что она, как и загадочные героини Достоевского, напоминает собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетанием силы и мягкости (собственно Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героев г. Горького и в людях с более тонкими требованиями вызвала бы, конечно, совсем иные чувства; но я говорю о типе, остав-

ляя пока в стороне специально босяцкие черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность к самозащите иногда бегством, но иногда открытым и упорным сопротивлением, переходящим и в наступление; та же игривая ласковость и нежность, незаметно переливающаяся в озлобление, с которым кошка, играючи, придерживает ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапает и зубами грызет: ради этой смеси ощущений, она, как и кошка, сама вызывает известную примесь жестокости, и даже до боли, в ласке...

Я вспоминаю, что Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса<sup>9</sup> — существо с женской головой и грудью и с львиным туловищем и львиными, то есть преувеличенными кошачьими, когтями. И этот сфинкс в одно и то же время счастливит и мучит поэта, ласкает и терзает когтями:

Umschlang sie mich, meinen armen Leib  
Mit den Löwentatzen zerfleischend.  
Entzückende Marter und wonniges Weh,  
Der Schmerz wie die Lust unermesslich!  
Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,  
Verwunden die Tatzen mich grässlich.<sup>1</sup>

Читатель, который, может быть, только что возмутился не только вышеприведенным юмористическим разделением женщин на змеистых и коровистых, но и моим уподоблением известного человеческого типа кошке, теперь, пожалуй, подумает: с какой стати подниматься в высоты гейневской поэзии по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишком ли это много чести для нее? Может ли она сама ощущать и в других возбуждать те тонкие оттенки сложных душевных движений, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказал бы этого, если бы у нас шла речь о Грушеньке «Братьев Карамазовых» или Настасье Филипповне «Идиота», а между тем фактически ведь это продажные женщины, хотя им и доступны высшие колебания и тяготения. Но всякому своя

---

<sup>1</sup> В переводе М. Л. Михайлова:

Вот замерла — и меня обняла,  
Когти мне в тело вонзая  
Сладкая мука! блаженная боль!  
Нега и скорбь без предела!  
Райским блаженством поит поцелуй,  
Когти терзают мне тело

слеза солона. Да и, наконец, повторяю, не о Мальве собственно в эту минуту и речь. Несмотря на грязь, в которой она купается, в ней живут некоторые черты душевной жизни, которыми занимались люди высокого ума и сильного художественного дарования, но которые доселе мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главным образом к неопределенности границ между наслаждением и страданием, которые мы привыкли резко противопоставлять одно другому, вследствие чего вкладываем слишком абсолютный смысл в ходячее положение: человек ищет наслаждения и бежит страдания. Мрачный гений Достоевского стремился вывернуть этот афоризм на изнанку, придавая ему в этом вывороченном виде столь же безусловный смысл. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами, и своим собственным примером, характером своего творчества он дал блестящие иллюстрации той *entzückende Marter* и того *wonniges Weh*, той смеси страдания и наслаждения, которая несомненно существует. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы трактовать его в заметках об очерках и рассказах г. Максима Горького, и мы подойдем теперь прямо к Мальве. В таланте г. Горького нет ни силы, ни жестокости, ни бесстрашия Достоевского, но зато он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение.

Мальва живет с рыбаком Василием. Василий — пожилой мужик, покинувший для заработков пять лет тому назад деревню, где у него остались жена и дети. Живет он с Мальвой весело, но внезапно является к ним его сын, Яков, взрослый уже парень, с которым Мальва тотчас же начинает заигрывать. Делает она это, не только не стесняясь присутствием своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговор кончается тем, что Василий ее жестоко бьет.

«Она, не ахнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц и горели холодной грозной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом своей злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством и презрением взглянул на нее — она тихонько улыба-

лась. Сначала чуть-чуть дрогнули ее полные губы, потом вспыхнули глаза, на щеках ее явились ямки, и она засмеялась». Затем Мальва ластится к Василию, уверяет его, что она довольна его побоями, а что дразнила его — «так ведь это я нарочно... пытала тебя,— и, успокоительно усмехнувшись, она прижалась к нему плечом. А он покосился в сторону шалаша (где оставался сын) и обнял ее.— Эх ты... пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.— Ничего,— уверенно сказала Мальва, щуря глаза.— Я не сержусь... ведь любя побил? А я тебе за это заплачу...— Она в упор посмотрела на него, вздрогнула и, понизив голос, повторила: ах, как заплачу!»

Простодушный Василий видит в этом обещании нечто для себя приятное, но читатель может догадываться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и действительно делает большую неприятность Василию: ссорит его с сыном и доводит дело до того, что он уходит домой, в деревню. Но план этот она задумывает уже позже, по совету забулдыги Сережки, а перед тем у нее происходит с этим Сережкой такой разговор. Она сообщила Сережке, что ее прибил Василий; Сережка подивился — как это она далась. «Кабы захотела, не далась бы,— возразила она с сердцем.— Так что же ты?— Не захотела.— Крепко, значит, любишь седого кота?— насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папирасы.— Ну дела! а я было думал, что ты не из таких.— Никого я вас не люблю,— снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой от дыма.— Врешь, поди-ка?— Для чего мне врать?— спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего.— А ежели ты его не любишь, как же ты ему позволяешь бить тебя?— серьезно спросил он.— Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?»

Герои г. Горького вообще много дерутся, часто и баб своих бьют. Самые умеренные из них в этом отношении советуют: «никогда не следует бить беременных женщин по животу, по груди, и бокам... бей по шее или возьми веревку и по мягким местам» (II, 219). И бабы не всегда протестуют против этих правил. Жена Орлова говорит мужу: «очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... хотя бы ногами-то не бил» (I, 265). Бывает, однако, и так, что прекрасный пол переходит в наступление. В числе «бывших людей» есть старик Симцов, необыкновенно счастливый на амурные по-

хождения: он «всегда имел двух-трех любовниц из проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически — сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалеючи» (II, 235). Но кто бы кого ни бил у г. Горького — мужчину женщину или женщина мужчину, — а эти физические упражнения и сопровождающие их озлобление, обида, страдание, боль так или иначе оказываются в какой-то связи с лаской, любовью, наслаждением. И, читая описание этих битв, поневоле вспомнишь героя «Записок из подполья» Достоевского и его изречения<sup>10</sup>. «Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает: так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй...» «Знаешь ли, что из любви нарочно человека мучить можно». Или: «Любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Оттого-то «Игрок» и Полина, как и многие другие пары Достоевского, никак не могут разобратся — любят они друг друга или ненавидят, как не знает и Мальва, любит она или ненавидит Василия. Но у Достоевского люди «тиранствуют» и «мучат» друг друга утонченно, при помощи разных кусательных слов, мучительного давления на воображение и проч., а здесь, у г. Горького, просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мешает проявлениям того же переплета наслаждения со страданием, но даже особенно ярко подчеркивает его. Не одна Мальва додразнивает мужа или любовника до драки, за которою следуют нежные ласки. Вот и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побой озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо странными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил». А потом, когда злоба, достаточно насыщенная, утихала в нем и его брало раскаяние, он пробовал заговаривать с женой и допытываться, зачем она его дразнила. «Она молчала, но она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней» (I, 267).

Сюда же относятся следующие, например, случаи. Когда Коновалов объявил своей любовнице, Вере Михайловне, что он больше с ней жить не может, потому что его «тянет куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потом примирилась с его решением, а на прощанье — рассказывает Коновалов — «обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел» (II, 13). Старуха Изергиль рассказывает про одного из своих многочисленных любовников: «Был он такой печальный, ласковый иногда, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее» (II, 304).

Старуха Изергиль называет свою жизнь «жадной жизнью» (II, 312). Буквально то же самое говорит в рассказе «На плотях» одно из действующих лиц про Марью: «жадна жить» (I, 63). Так же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горького. И у Челкаша «натура жадная на впечатления» (I, 19), и Кузька Косяк учит: «жить надо и так, и эдак — вовсю чтобы» (I, 88). И т. д. Этим объясняется многое. Этим прежде всего снимается мистический покров с внутреннего голоса, предписывающего неустанное бродяжество. В условиях жизни героев г. Горького везде «тесно», везде «яма», как они беспрестанно, даже несколько надоедливо-однообразно повторяют. Является желание если не расширить и углубить сферу впечатлений, то менять их в пространстве, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственного возбуждения. Дается оно, конечно, пьянством, но не одним пьянством. Достоянна внимания отметка г. Горького о чувствах избиваемой жены Орлова: «побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, *возбуждая всю ее душу*». Вся душа Матрены Орловой требует работы, хотя бы и мучительной, лишь бы жить «вовсю». Эта потребность всесторонней душевной деятельности, покупаемой ценою примеси страдания к наслаждению, интересно иллюстри-

руется рассказом «Тоска». Это — «страничка из жизни одного мельника».

Мельник Тихон Павлович не босяк какой-нибудь. Он богат, пользуется уважением и почетом и наслаждается «ощущением своей сытости и здоровья». Но вдруг он с чего-то загрустил: тоска обуяла, скука, совесть за разные кулацкие успехи начала угнетать. И Тихон Павлович стал вспоминать, с какого это времени на него нашло. Был он в городе и наткнулся на похороны, в которых его поразила смесь бедности с торжественностью: много венков, много провожатых. Оказалось, что хоронят писателя, и на могиле его один из провожавших сказал речь, которая растревожила Тихона Павлыча. Оратор, воздавая хвалу почившему, говорил, что он был не понят при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души» и т. д. Красноречие ли оратора, особенности ли обстановки похорон или еще что-нибудь повлияло, но с этих пор Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламом повседневных забот душе». Затем Тихон Павлыч нечаянно подслушал вышеприведенный разговор своего работника Кузьки Косяка с девушкой Мотрей и сам имел с Кузькой беседу, в которой старался сохранять вид «нравоучительный и чинный», но в душе завидовал «легкой жизни» веселого собеседника. Заговорил было Тихон Павлыч с женой на тему о душе, заваленной хламом; та посоветовала в церковь что-нибудь пожертвовать, сироту в дом взять, за доктором послать, но все это не удовлетворяло мельника. Он решил ехать в соседнее село Ямки к школьному учителю, который еще недавно обличил в газете одну его кулацкую каверзу. Кузька советует ему иное: «вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там всю; вот вам и помогло бы». Однако мельник даже несколько обижается этим советом и едет к учителю. Но тот, больной и желчный, не может вникнуть в состояние души обличенного им кулака и понять его бессвязные речи. Мельник едет в город, бессознательно исполняя совет босяка Кузьки, и там, в городе, закучивает. Все подробности этой оргии для нас неинтересны, но некоторые из них надо припомнить.

Грязный трактир. Разные пьяные, пропащие люди. Собираются петь, музыка есть — гармоника. И вот как один из компании учит гармониста: «Нужно начинать

с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться... Она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» или «Во лузях», да с дробью, с пламенем, с плясом, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство: чего-то хочется и ничего не надо! *Тоска и радость* — так все и заиграет радугой...» Запели... Описание собственно этого пения (I, 128—133) принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького. Здесь нет и тени той фальши и тех досадных нарушений меры вещей, которые слишком часто оскорбляют и эстетическое чувство читателей, и их требование правды. Из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом «Певцов» Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения. И вы понимаете, что пьяный трактир действительно затих при звуках этой песни и что мельник действительно «давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем тоску, но теперь к ней примешивалось что-то едко-сладкое, щекочущее сердце... Было что-то жгучее и шиплющее во всех этих ощущениях — оно было в каждом из них и, соединяясь, образовало в душе мельника странную *сладкую боль*, точно большая, давившая его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его там, внутри».

«Сладкая боль»! — ведь это буквально гейневские *entzückende Marter* и *wonniges Weh* («сладкая мука, блаженная боль» в переводе М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливит и мучит мельника, и это состояние он старается выразить отрывистыми восклицаниями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!», «Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще в жизни!», «Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах, как! В огонь бы полез».

После четырех дней безобразного кутежа Тихон Павлович возвращается домой мрачный, недовольный. Автор в эту именно минуту покидает его, не сообщая ничего о его дальнейшей судьбе, но можно догадывать-



ся, что, вернувшись домой, он вернулся и к прежнему образу жизни, лишь изредка вспоминая мгновенья мучительно-сладких ощущений, пережитых им по рецепту босняка Кузьки...

Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горького добывают нужные им полноту и разнообразие впечатлений. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдельно от пьянства, хотя и соприкасаются с ним,— Матрена Орлова не в пьяном виде додразнивает своего мужа до взаимного озлобления, в котором находит, однако, источник некоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этих людей, помимо его скотски-грубых проявлений, может получить то объяснение, которое Тургенев влагает в уста Веретьеву в «Затишье»: «Посмотрите-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью,— чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается...»

Пойдем дальше. Чтобы «швырять себя куда хочешь и нестись куда вздумается» в пьяном виде, то есть мысленно облетать миры фантазии и действительности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать с места на место по всей земле, как этого хотят герои г. Горького, нужна свобода. Не свобода передвижения только, засвидетельствованная законным документом, подлежащими властями выданным, а свобода от всяких постоянных обязанностей, от всяких уз, налагаемых существующими общественными отношениями, происхождением, принадлежностью к известной группе, законами, обычаями, предрассудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видим, что герои г. Горького все отличаются свободолобием в этом широчайшем, безграничном смысле. Макар Чудра объявляет рабом всякого, кто не бродит по земле куда глаза глядят, а усаживается на месте и так или иначе пускает корни: такой человек «раб, как только родился и во всю жизнь раб». Для «жадного на впечатления» Челкаша Гаврила есть «жадный раб», и Челкашу обидно, что этот раб смеет по-своему «любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна». Значит, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набрав денег, зароется в свою деревенскую «яму», а жадный Челкаш

сейчас же разменяет эти деньги на острые и разнообразные впечатления севера и юга, востока и запада. На всякого рода границы, как географические, так и моральные, реальные и идеальные, эти отверженные или, вернее, как я уже говорил, отвергнувшие смотрят сверху вниз, с высоты своего «жадного жить» я, как на нечто, урезающее это я до непереносимости. Правда, некоторые из них иногда с грустью и даже с умилением вспоминают о своем прошлом, когда они еще входили в состав того или другого определенного общественного целого и сознательно или бессознательно подчинялись его распоряжкам, но это настроение посещает их редко и ненадолго, и вернуться к прошлому они все равно не хотят и не могут. В настоящем их ничто не объединяет в какое-нибудь прочное, постоянное целое. «Народ... он огромный, но я ему чужой и он мне чужой... Вот в чем трагедия моей жизни», — говорит «учитель» в «Бывших людях» (II, 205). Образцы отношений к другим общественным узам мы уже в прошлый раз видели и дальше опять встретим. Для одних из этого проистекает трагедия, для других комедия или даже водевиль, как для Кузьки Косяка, но это дело темперамента, и суть отношений от этого не изменяется.

Иные из героев г. Горького временами как будто «грядущего града взыскуют», но это только разговоры, одна словесность, притом нисколько для них не характерная. Гораздо более свойственные им идеалы и мечты сводятся, как мы видели, к полному отчуждению от людей, полному отсутствию «града», в смысле какого бы то ни было общежития, или к совершенно особому виду отношений, о котором сейчас поговорим подробнее, или же, наконец, к планам всеобщего разрушения. Замечательно однообразие, с которым (как и многое другое) высказывают эти планы люди г. Горького, в других отношениях, казалось бы, очень различные. Так, мы видели, Мальва «избила бы весь народ и потом себя страшную смертью». Так, Орлов мечтает «отличиться на чем-нибудь», хотя бы даже «раздробить всю землю в пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками — и вдребезги!» А вот еще Аристид Кувалда: «Мне, — говорит он, — было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги. Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других» (II, 234). Погибнуть, совершив нечто

большое, огромное, грозное, не справляясь с существующей моральной оценкой или даже вопреки ей,— такова мечта.

Но, кроме жития на манер Робинзона (причем и Пятницы не надо, и его можно за ненадобностью убить) и планов всеобщего разрушения, у героев г. Горького есть и еще одна мечта, быть может, самая интересная. Они «жадны жить», для чего им нужна безграничная свобода и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но из этого не следует, чтобы каждый из них в отдельности не хотел и других подчинять. Напротив, в подчинении и порабощении других они находят особое наслаждение. Челкаш «наслаждался, чувствуя себя господином другого» — Гаврилы. Он «наслаждался страхом парня и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек». Он «наслаждался своей силой, которой он поработил этого молодого, свежего парня». Оттого-то и Орлов мечтает «встать выше всех людей» и сделать им всем огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодеянием. И тот же Орлов одно время был одолеваем «жаждой бескорыстного подвига» — вот по каким мотивам: «Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилось желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы и заставило убедиться в его праве на самочувствие» (I, 303). Поневолле опять и опять вспомнишь Достоевского с его Ставрогиним<sup>11</sup>, который не знал разницы между величайшим подвигом самоотвержения и каким-нибудь зверским делом, и с его многочисленными иллюстрациями наслаждения властью, мучительством, тиранством. Жажда благородного подвига сказалась в Орлове, когда он вместе с Матреной поступил на службу в холерную больницу. Но и там ему скоро показалось «тесно», и это место болезни, печали и воздыхания, поманившее его радостью любовного труда, оказалось «ямой». В кратковременный же период увлечения мечтой о подвиге он рассуждал, например, так: «То есть если бы эта холера да преобразилась в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца,— сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орлов, сила,— ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов. Спас Россию от холеры». Больше ничего не надо». Но когда ему показалось «тесно», он опять при-

нялся за Матрену, постоянно переходя от страстных ласк к жестокой драке. Однажды, например, он было «поддался» жене — покорно выслушал ее упреки и признал, что нехорошо делает, что дерется. Но на другой же день раскаялся в этом душевном движении и «пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему: он не понимал почему, но твердо знал — нужно».

Подобные же черты читатель найдет и в других героях и героинях г. Горького. И, как бы проникаясь этим настроением своих созданий, сам автор от себя кладет в одном месте следующую психологическую резолюцию: «Как бы низко ни пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего» (II, 211).

Я написал: «как бы проникаясь настроением своих созданий». В действительности может быть совершенно наоборот: не автор, увлеченный самым процессом творчества, проникается настроением своих персонажей, а, напротив, автор творит людей по своему образу и подобию, вкладывая в них нечто свое, задушевное. Во всяком случае, только что приведенная авторская резолюция показывает, что, как бы мы тщательно ни всматривались в босяков г. Горького, мы их не поймем и, в частности, не оценим степени их подлинности, пока не приглядимся к самому г. Горькому.

До сих пор мы видели босяков, может быть и подкрашенных, но, во всяком случае, реальных. Но в собрании очерков и рассказов г. Горького есть и такие, в которых изображаются босяки, так сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегории и символы босячества. Таковы в первом томе «Песня о Соколе» и то, что Макар Чудра рассказывает про Лойка Зобара и Радду, а во втором — рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины» и то, что старуха Изергиль рассказывает про Данко. Герои этих рассказов — существа фантастические или полуфантастические — столь же вольнолюбивы и жадны жить, как и заправские босяки в освещении г. Горького, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни — мира тюрем, кабаков и домов тер-

пимости. Понятно, какой интерес представляют эти отвлеченные, фантастические существа для уразумения точки зрения автора. Та скорбь и то отвращение, которые он часто не может сдержать при описании пьянства, грубости, цинизма, драк реальных босяков, при этом, естественно, отпадают, и мы можем рассчитывать получить в чистом виде то, что поднимает отверженцев над общим уровнем, как в их собственных глазах, так и в глазах автора.

Начнем с рассказа Макара Чудры про Лойка Зобара и Радду. Это рассказывает старый цыган о молодых цыгане и цыганке, и рассказ его блещет роскошью восточных красок, гиперболических сравнений, сказочных подробностей, но я должен признаться, что он производит на меня впечатление неудачной подделки. Дело, впрочем, теперь не в этом. Зобар — красавец писаный, притом смел, умен, силен, вдобавок поэт и играет на скрипке так, что когда в таборе, к которому принадлежала Радда, в первый раз услышали, еще издали, его музыку, то произошло следующее: «Всем нам,— рассказывает Чудра,— мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего и *жить уж не нужно было* или, коли жить, так *царями над всей землей*». Характерно уже это «или — или»: или ничто, ~~небытие~~, или вершина вершин. Но Макар Чудра может испытывать это настроение во всей полноте только в минуты экстаза, вызванного чудодейственную музыкой. Другое дело Зобар. И Радда ему под пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смела. Естественное дело, что, когда судьба сталкивает молодого человека и молодую девушку таких исключительных и многообразных достоинств, между ними возгорается любовь со всем радужным блеском страсти и нежности. Зобар и Радда действительно полюбили друг друга, но, как и у реальных босяков г. Горького, любовь их до боли колюча — даже до смерти. Радда — та же Мальва, только поднятая на некоторую поэтическую высоту. Отношения начинаются с того, что Зобар, привыкший «играть с девушками, как кречет с утками», получает от Радды жесткий и язвительный отпор. Она зло издевается над ним, но он или провидит под этим издевательством нечто иное, или уж очень в себе уверен, а только, при всем честном народе, обращается к ней с такой речью: «Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила

ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, так то будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я все-таки свободный человек и буду жить так, как я хочу!» И с этими словами подошел к Радде, «стиснув зубы и сверкая глазами». Но Радда вместо ответа свалила его наземь, ловко захлестнув ему за ногу ременное кнутовище, а сама смеется. Зобар, пристыженный и огорченный, ушел в степь и там замер в мрачном раздумье. Через несколько времени к нему подошла Радда. Он схватился было за нож, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей и затем объяснилась в любви; однако, говорит, «волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня; так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом». «Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею»,— продолжает она и требует, чтобы он завтра же «покорился» и выразил эту покорность внешними знаками: публично, перед всем табором поклонился бы ей в ноги и поцеловал ей руку. Зобар на другой день является и держит перед табором речь, в которой объясняет, что Радда любит свою волю больше, чем его, а он, напротив, любит Радду больше, чем волю, и потому согласен на поставленные ею условия, но, говорит, «остаётся попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала». С этими словами он вонзает нож в сердце Радды, и она умирает, «улыбаясь и говоря громко и внятно: „Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь“». Выходит затем отец Радды и убивает Зобара, но убивает, так сказать, почтительно, как уплачивают долг уважаемому кредитору.

Такова любовь в тех фантастических, так сказать, надземных сферах, где герои г. Горького являются очищенными от всего, чем грязнит их мир кабаков, домов терпимости и тюрем. Пролита кровь, но не в какой-нибудь пьяной драке и не из корыстных видов: г. Горький так обставил дело, что кровь Радды проливается с ее согласия и она умирает «улыбаясь» и воздавая хвалу убийце, а ее отец и Зобар просто — один отдает, а другой получает долг. Зобар и Радда жадны жить. Как в короле Лире «каждый вершок — король», так и в них каждый вершок жить хочет. Поэтому они хотят быть

совершенно свободными, а любовь, они чувствуют, уже урезывает эту свободу: «смотрел я,— говорит Зобар,— этой ночью в свое сердце и не нашел места в нем старой вольной жизни моей». Если любовь с их точки зрения и не совсем совпадает с определением героя Достоевского («добровольно дарованное от любимого предмета право над ним тиранствовать»), то, во всяком случае, элемент господства, преобладания, власти играет в ней существенную роль. А так как Зобар и Радда равноценны, то задача покорения оказывается невозможной, и они на этой невозможности погибают. Но они не уклоняются от этой гибели и не жалеют о ней.

Не жалеет о своей гибели и сокол в «Песне о Соколе». Он расшибся, падая с высоты на камень (а потом в море), но на вопрос ужа презрительно и гордо отвечает: «Да, умираю!.. Я славно пожил... Я много прожил... Я храбро бился... И видел небо. Ты не увидишь его так близко... Эх ты, бедняга!» Заинтересованный этими словами, уж в меру своих сил тоже попробовал было подняться к небу, но «рожденный ползать — летать не может», и уж рассуждает: «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи... Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу». И т. д. Однако песня или сказка («Песня о Соколе» есть будто бы народная крымско-татарская песня-сказка) не согласна с ужом и поет хвалу жадному жить, свободному соколу: «О, смелый сокол! Ты, живший в небе, бескрайном небе, любимец солнца! О, смелый сокол, нашедший в море, безмерном море, себе могилу! Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь призывом громким к свободе, к свету!»

Чиж («О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины»), чиж — не сокол. Он птица маленькая и слабкрылая. Однако у него хватило силы и смелости смутить на некоторое время птиц своей рощи песнями о свободе, просторе, призывами «вперед». Но ученый дятел скоро отвратил от него общественное мнение, доказав птицам, что путь, предлагаемый чижом, полон опасностей и ни к чему хорошему привести не может. Бедный чиж, оставленный всеми, горько задумался: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!

Я же только и хотел пробудить веру и надежду — и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать на небеса?» Чиж предпринял ни больше ни меньше как возбудить в птицах уверенность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий». Он был тоже жаден жить, этот маленький чиж. Дятел же отстаивал противоположный тезис: «все мы — не более как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери». Чиж был жаден жить, но слаб и не сумел парировать аргументы дябла, и толпа отхлынула от него и оставила его в мрачном одиночестве, а автор резюмирует всю историю так: «Чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошел, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, мелки, позорно мелки...»

Черствы сердцем и мелки, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражил чиж и утихомирил дятел. Старуха Изергиль рассказывает такую легенду. Где-то, когда-то жили какие-то люди. Нахлынуло на них чужое племя и оттеснило в глухой, дремучий, болотистый лес. Плохо пришлось людям: назад идти нельзя — там сильные и злые враги, а впереди лес все дремучее, болота все непроходимее. Стали люди болеть, умирать. «Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар себя и волю свою, и никто уж, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Но среди этой запуганной толпы был Данко. Изергиль особенно напирает на его красоту и смелость — должно быть, он был похож на Лойко Зобара. Данко взялся вести своих товарищей по несчастью. Не то чтобы он знал какие-нибудь безопасные или удобные дороги — нет, единственно, на что он сослался, это то, что должен же быть у этого страшного леса где-нибудь конец, потому что ведь всему на свете бывает конец. Но он заявил это с такой уверенностью, что в сердцах слушателей заиграла надежда и они пошли за Данко. Но лес становился все гуще, мрачнее, люди стали роптать и, наконец,



даже грозить Данко смертью. Негодование и жалость к этим презренным людям овладели Данко, «и вот его сердце вспыхнуло ярким огнем желания спасти их и вывести на легкий путь... И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно же пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота». Руководимые этим факелом люди прошли сквозь лес в степь, но тут Данко, «кинув радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю», умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

Данко совершает подвиг самопожертвования, причем оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») тоже одинок в толпе соплеменников, но он не совершает подвига самопожертвования. Напротив... Ларра — сын орла и похищенной им женщины. Орел умер («когда он стал слаб, то поднялся в последний раз высоко на небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы гор»), его невольная жена вернулась к своему племени с двадцатилетним сыном, сильным, гордым и смелым красавцем, опять-таки вроде Зобара или Данко. Он сразу встал в дурные отношения к старейшинам племени, отказавшись им повиноваться и объявив, что «таких, как он, нет больше». Затем он подошел к одной красивой девушке и обнял ее; она его оттолкнула, а он «ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, встал так, что из ее уст кровь брызнула к небу и она вздохнула тяжело, извилась змеей и умерла». Его связали и хотели казнить, но сначала попытались добиться, зачем он убил девушку. Он отказался отвечать связанный, а когда его развязали, сказал следующее: «Я, может быть, сам не верно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она; а мне было нужно ее». Из даль-

нейшего разговора выяснилось, что «он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвигов, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого». И когда поняли это, то мудрейший из старейшин племени придумал ему страшное наказание: «Наказание ему в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание». Юноша весело ушел и стал жить «свободный, как отец его; но его отец не был человеком, а этот был человек». Он был ловок, силен, хищен, жесток; он приходил время от времени к людям и брал все, что ему нужно было. В него стреляли, но стрелы «не могли пронизать его тела, обвитого невидимым человеку покрывалом высшей кары». Многие, многие годы жил он так, но наконец это ему надоело. «Нельзя всегда наслаждаться — потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Он и пошел к людям с этой целью, но они не тронули его, он покушался убить себя, но смерть не брала его. «В глазах его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. И так с той поры остался он один, свободный и ищущий смерти. И вот он ходит, ходит, повсюду...»

Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра — вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они — преобразенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч., — в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же «жадность жить»; то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем не легко установить — отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием.

Но это не трафареты, а варианты, иногда, в отдельных чертах, даже слишком близкие между собою, иног-

да расходящиеся довольно далеко, но, во всяком случае, так сказать, вращающиеся около одной оси. Если, например, Орлов сегодня мечтает о спасении России от холеры ценою собственной жизни, а завтра об избиении «всех до единого жидов» или даже о раздроблении всей земли в пыль, то в коллекции очищенных босяков подвиг самопожертвования предоставлен Данко, а злодейские подвиги — Ларре; но, несмотря на эту разницу, и тот и другой являются нам в некотором ореоле гордой силы и красоты. Если Чиж слабокрыл и вообще слаб сам, то он все же зовет других к свободе, простору и по крайней мере на некоторое время покоряет сердца призывом птиц к великому делу. Если Коновалов находит ненужным присутствие даже Пятницы на острове Робинзона, а Ларре одиночество досталось в виде страшной кары, то с течением времени Коновалов, надо думать, пожалел бы, что убил «дикого», хотя бы уже потому, что оказался бы в «яме»; а Мальве, тоже мечтающей об одиночестве, люди, наверное, понадобились бы, чтобы «вертеть» ими. С другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовал боль и скорбь одиночества: он наслаждался им «не один десяток длинных годов», и вернулся он к людям потому, что его потянуло к страданию. В целом получается нечто смутное, загадочное, как бы еще только прорезывающееся и, по-видимому, оправдывающее претензию Аристиды Кувалды... мы новость в истории, нам нужны новые воззрения на жизнь...

Появлению таких ли, сяких ли «новых людей», не в виде одиноких ласточек, которые весны не делают, а в виде целого «класса», как это утверждает относительно своих босяков г. Горький, должно соответствовать известное изменение общественных условий. Но после всего сказанного едва ли есть какая-нибудь необходимость доказывать, что герои г. Горького «класса» не составляют, как в силу неопределенности их положения, так и в особенности в силу проникающего все их существо индивидуализма, исключаящего возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говорит против их «новости». Но мы видели, что г. Горький даже не коснулся тех внешних, объективных условий, которые действительно только в наше время создают босяков; что, вследствие этого, его «новые» босяки по происхождению ничем не отличаются от старых гулящих людей и голи кабацкой и даже напоминают собою

времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что в рядах героев г. Горького есть настоящие кочевники, ничем, собственно, из них резко не выделяясь. Зобар, Радда, Данко, Ларра — существа фантастические или по крайней мере легендарные; поэтому их, пожалуй, и нельзя брать в счет, хотя и то уже достойно внимания, что эти создания фантазии помещены в условия кочевого быта. Но Изергиль, Макар Чудра — цыгане, из тех, которые «шумною толпой по Бессарабии кочуют», то есть настоящие, живые кочевники, насколько они удержались в условиях современной европейской жизни. А между тем их мысли, чувства, поступки в общем совершенно те же, что у Мальвы, Гришки, Кузьки Косяка и проч. Значит, какая же это «новость»? Это, напротив, нечто очень старое, давно пережитое историей, лишь кое-где сохранившееся в урезанном виде и не имеющее никакой связи со вступительной картиной рассказа «Челкаш», где «гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено-страстного гимна Меркурию».

Если, однако, «новость» героев г. Горького ни единою чертою не оправдана с точки зрения их происхождения, порождающего их исторического процесса, то, как я уже говорил, в их психологии есть нечто действительно новое. Но в таком случае можно ожидать, что в психологию кочевников — Изергили, Макара Чудры и их отражений в мире фантазии и легенды, то есть Зобара, Ларры и проч.— автор ввел некоторые произвольные, не соответствующие действительности черты. Так оно и есть.

Слово «чандалы», подвернувшееся мне для обозначения наших босяков и европейского Lumpenproletariat'a \*, наводит на некоторые любопытные сближения. Существует мнение, что цыгане суть потомки индийских чандалов, когда-то выселившихся или выселенных из родины. Чандалы же индийские суть отверженцы разных каст, цементированные национальным элементом туземного, доарийского населения и затем строгими постановлениями суровых индусских законов и обычаев. Действительно ли цыгане их потомки или нет, но они, во всяком случае, представляют собою отверженное (или отвергнувшее) племя, распадающе-

---

\* Люмпенпролетариат (нем.).— Ред.

еся, как и все кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбие кочевого человека представляют собою нечто очень относительное: он с трудом переносит ограничения, налагаемые условиями цивилизованной жизни, но вместе с тем крепко стиснут теми общественными единицами, в состав которых входит. Об цыганской вольной жизни мы имеем совершенно фантастические представления, основанные главным образом на разных «цыганских романсах». В действительности, цыган и особенно цыганка находятся в полной власти своего табора, что сохранилось даже в тех цыганских «хорах», которые дают нам свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготеются этими узами, доколе остаются настоящими, типическими цыганами. Кочевник любит свободу, но совсем не так и не такую, как современный босьяк, и обратно — какой-нибудь Кузька Косяк, или Сережка, или Коновалов, при всей своей склонности к бродяжеству, почувствовали бы себя очень плохо в таборе, в котором так хорошо уживается Макар Чудра, тоже исповедующий принцип вечного бродяжества. Кочевник бродяжит целой ордой, табором, стадом, с которым связан самыми тесными узами, а Сережка и Кузька бродяжат в одиночку и никаких уз не знают или не хотят знать. В этом и состоит их «новость», но не только в этом.

Слово «чандалы» наводит еще на одну справку. Выше были указаны некоторые точки соприкосновения г. Горького с Достоевским. А в 1894 году, излагая на этих же страницах с некоторою подробностью учение Фр. Ницше<sup>12</sup>, я отметил подобные же точки соприкосновения с Достоевским несчастного немецкого мыслителя. Указывал я и на необыкновенное уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из мертвого дома»<sup>13</sup>. В одном из своих сочинений («Götzen Dämmerung»), восторгаясь силою психологического анализа, с которою Достоевский проникает в душу обитателей Мертвого дома, Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве «ненависти, мести и восстания против всего существующего»<sup>14</sup>, каковое чувство, дескать, живет в душе каждого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе».

Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, — он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре<sup>15</sup>) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае, Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.

Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе, *Gesellschaftslehre*, — науку об одиночестве, *Einsamkeitslehre*<sup>16</sup>. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний — оно неизбежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его я, а он на подобные уступки согласиться по самой своей природе не может\*.

Но, кроме сильных, существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многообразным ограничениям свободы, да и для сильных *Einsamkeitslehre* не исключает надобности в *Gesellschaftslehre* — не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»<sup>17</sup>; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание, и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрица-

---

\* Когда Ларру спросили, зачем он убил девушку (см. выше), он отвечал: «она оттолкнула меня, а мне было нужно ее». «„Но ведь она не твоя?“ — сказали ему. — „Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет своего только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще“ — Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой — своим умом и силой, своей свободой и жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым» (Горький, II, 297—298).

тельными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет *Wille zur Macht*, «воля к власти»<sup>18</sup>, как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы — жестокостью: «вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие»<sup>19</sup>; таков жестокий, но старый и могущественный закон» (*Genealogie der Moral*). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недостижимостью других индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и при том наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ»<sup>20</sup>, которую некогда исповедывали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди — «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудочным анализом и мертвящей рефлексией\*. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный ис-

---

\* Г-н Горький в одном месте раздумывается «о великом горящем сердце Данко (а почему бы и не о Зобаре и Ларре?— *Н. М.*) и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине, в которой были герои и подвиги, и о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем,— жалким временем мизерных людей с мертворожденными сердцами» (II, 322).

ход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)

Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставляю в стороне многое, очень многое, в том числе подробности о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему»<sup>21</sup> и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтобы покосить землю да и умереть, не успев даже могилы себе выкосить? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился, и во всю жизнь раб».

Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenröthe») всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства<sup>22</sup>, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.



Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка»<sup>23</sup>, высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут»<sup>24</sup>. Но, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожой», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.

Еще одно — и последнее — мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben»\*, тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье...

Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают — даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов — обитателей Мертвого дома и чандалов — Наполеонов<sup>25</sup>, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.

---

\* «О пользе и вреде истории для жизни» (нем.). — *Ред.*

Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот по крайней мере в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.

Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей ныне некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди *sans foi ni loi* \* пожелали опереться на «иммориализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «имморалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезающие личность, а также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть

---

\* Без чести и совести (*фр.*). — *Ред.*

люди, проповедующие мое учение о жизни <sup>26</sup>; и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение — аристократическое *durch und durch* \*, как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика» <sup>27</sup>; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала. Однако и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связь с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «*Von Darwin bis Nietzsche*» \*\*). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе» \*\*\*. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.

Все это я говорю как вообще ввиду растущего у нас интереса к учению Ницше \*\*\*\*, так, в частности, для убеждения читателя в том, что усвоение той или другой стороны этого учения, а тем более совпадение с одной из них, отнюдь не обязательно ведет к принятию всего Ницше. В данном случае у нас речь идет главным образом о некоторых темных явлениях душевной жизни, которые в нашей литературе разрабатывались Достоевским совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причем общее мировоззрение Достоевского резко отли-

---

\* Насквозь (нем). — Ред

\*\* «От Дарвина к Ницше» (нем.). — Ред.

\*\*\* Вопрос этот очень занимает европейскую литературу. Не говоря об известных и русским читателям сочинениях Гарда, Сигеле, Лебона, то и дело появляются на эту тему новые книги и журнальные статьи.

\*\*\*\* В самое последнее время, кроме журнальных статей, появились Алоиз Риль и Г Зиммель «Фридрих Ницше» (очерк Риля появился и раньше, в другом издании); Герман Тюрк. «Философия эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный перевод отрывка из книги «*Der geniale Mensch*»); «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше Очерк философско-нравственного их мировоззрения» проф. В. Г. Щеглова.

чается от мировоззрения Ницше и во многих отношениях даже прямо противоположно: если бы Ницше знал всего Достоевского, то, конечно, не отзывался бы о нем с такой восторженностью, как теперь.

Что касается г. Максима Горького, то он еще слишком молод (разумею, конечно, литературную молодость) и недостаточно определился, чтобы можно было судить как о его общем мировоззрении, так и о его дальнейшей литературной карьере. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но все это может в будущем и расцвести пышным цветком и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного. Конечно, и редкое вполне достойно нашего внимания, тем более что оно часто оттеняет собою и, следовательно, уясняет общие душевные процессы. Но психологические гастрономы, к числу которых Достоевский принадлежал, склонны, во-первых, придавать исключительному слишком общее значение, а во-вторых, искусственно и произвольно составлять разные пикантные комбинации.

«Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (II, 350). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью часто даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозит и г. Горькому. Он может считать себя неотвеченным за приведенную хвалу декадентам, потому что выказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному, Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие

автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светлые люди жизни», и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни», и т. д. Сомневаясь, чтобы специалист-психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности, думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.

Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость — два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа; она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб и, значит, я хорош! Вот как!» Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любит на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-

то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.

Интереснее изречение Ярославцева: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького — очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, — есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится — на величайший ли подвиг самоотвержения или на величайшее, даже фантастическое злодейство, — это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристиды Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков очищенных, легендарных даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обуславливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного, повелительного воздействия, которое способно доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия — так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же — смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть яв-

ление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что *Wille zur Macht* — жажда власти, превосходства есть необходимая струна человеческой души, то все же она лишь одна из струн и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Данко, с одной стороны, и Ларры — с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела по крайней мере одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел насмерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная для того, чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности», отвергнуть положение: «это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы его ему иллюстрировали так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, — это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе — это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что, по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие дека-

дентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.

Мне кажется, что г. Горького одолевает некоторая не совсем для него самого ясная идея; именно одолевает, несмотря на свою неясность, а может быть, благодаря этой неясности. И только когда он от ее гнета так или иначе освободится — совсем ли ее отбросит или вполне овладеет ею, — мы получим возможность окончательно судить о размерах и значении приобретения, сделанного в его лице нашей литературой. Как ни несомненно его знакомство с изображаемым им миром, но слишком подозрительна эта частая повторяемость одних и тех же (очень, впрочем, интересных) мотивов, даже одних и тех же выражений, слов; тем более подозрительна, что эти мотивы и выражения г. Горький предоставляет и не босякам: существам фантастическим и аллегорическим, а также двум сумасшедшим. Это свидетельствует, я думаю, что к своим наблюдениям г. Горький прибавляет кое-что им не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не беда, но — да простится мне грубоватое и, может быть, не совсем удачное слово — г. Горький еще не переварил того, что его так занимает, не усвоил настолько, чтобы претворять в образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности, о которых я уже упоминал и распространяться о которых мне не хочется.

К сожалению, г. Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно — «тонкие и острые иглы декадентства», которые в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы.

Но в двух томиках г. Горького есть и совсем иного рода задатки. Босяки занимают в этих двух томиках столько места и автор такими усиленными эффектами привлекает к ним внимание читателей, что неудивительно, если критика просто даже не заметила двух рассказов или очерков, не имеющих к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического. Это, во-первых, «Ярмарка в Голтве» — маленький очерк, написанный без претензий на



какую-нибудь глубину или «проникновение», безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького. Это, во-вторых, рассказ «Скуки ради», гораздо более серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполнению. Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» продельвается возмутительнейшее издевательство над людьми! Продельвается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие, что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники,— жертвы «ямы»... Рассказ этот так целен и в цельности своей хорош, что я не стану передавать его содержание или приводить отрывки из него — и то и другое может только ослабить впечатление.

Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупомянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой художественной силой. И неужели же этой силе суждено не заглухнуть в какой-нибудь нашей «яме» или уверовать в тонкость и остроту декантских иголок?



## КОЕ-ЧТО О Г. ЧЕХОВЕ

Ходят слухи о предстоящем в более или менее близком будущем издании г. Марксом Полного собрания сочинений А. П. Чехова<sup>1</sup>. В ожидании г. Маркс издал чрезвычайно интересный сборник под заглавием «Антон Чехов. Рассказы»<sup>2</sup>. Книга интересна не сама по себе: г. Чехов не новичок в литературе и не один раз давал сборники рассказов гораздо более значительных и ярких в смысле талантливости («Юмористические рассказы», «В сумерках», «Пестрые рассказы», «Хмурые люди»). Новый сборник интересен именно тем, что вошедшие в него рассказы не только не новы, а, по всем видимостям, относятся к самым ранним произведениям г. Чехова. Книга появилась без всяких объяснений, без предисловия, без хронологических дат, но на ней лежит несомненная печать того, что можно назвать «первой манерой» г. Чехова. Это дает возможность восстановить не бог знает какое далекое — лет, примерно, за пятнадцать, — но все-таки прошлое даровитого и плодovitого писателя, которое так и заглохло бы, погребенное в разных мелких периодических изданиях, где г. Чехов начал свою деятельность под псевдонимом «Чехонте». А первые шаги писателя, занявшего впоследствии одно из самых видных мест в литературе, представляют, конечно, большой интерес. Отсутствие хронологических дат не представляет в данном случае большой беды. Может быть, кое-что в последующих сборниках рассказов г. Чехова относится к тому же времени, что и рассказы, вошедшие в книгу, изданную ныне г. Марксом; но это значит только, что автор сам их выделил как более удовлетворяющие его позднейшим требованиям и только теперь, задумав Полное собрание своих сочинений, решил переиздать все свои ранние произведения. Во всяком случае, те с лишком

семьдесят рассказов, которые изданы ныне, почти все написаны одним и тем же стилем и, несмотря на чрезвычайное разнообразие сюжетов,— в сущности, на одну и ту же тему. Не то чтобы молодой автор задал себе эту тему и упорно искал ее проявлений в жизни. Нет, автор, напротив, очень неразборчив и торопливо набрасывает на бумагу решительно все, что ему подскажут наблюдение, память и воображение. Но общая тема сама постоянно подвертывается ему, сама, если так можно выразиться, лезет на удочку его темперамента и таланта, а он беспечно сидит на берегу житейского моря, вытаскивая из него штуку за штукой, одна другой забавнее. Забавность эту, однако, очень трудно передать своими словами — в переизложении она теряет весь свой аромат, потому что в самих фактах, рассказываемых г. Чеховым, обыкновенно нет ничего забавного, и только именно особенности таланта и темперамента автора заставляют вас то улыбаться, то рассмеяться. Г-н Чехов «первой манеры» отнюдь не мог бы сказать о себе: «мерещится мне всюду драма»<sup>3</sup>, хотя сюжеты его сплошь и рядом глубоко драматичны.

Возьмем несколько рассказов из супружеской жизни.

«Длинный язык». Молодая дама, вернувшись из Ялты, рассказывает о своих тамошних впечатлениях — о дороговизне, о красоте гор и проч. Муж спрашивает о проводниках-татарах: недавно он читал где-то про них какие-то «мерзости», говорят, они большие «донжуаны». Жена с презрением отзывается о проводниках, говоря, что видела их «издалека мельком»: «указывали мне на них, но я не обратила внимания». Но, благодаря своему «длинному языку», она в увлечении сообщает такие подробности, из которых ясно видно, что она отнюдь не мельком и не издали видела и Маметкула, и Сулеймана. Это не мешает ей сердиться, когда муж указывает на противоречия и высказывает подозрения. «Всегда у тебя такие гадкие мысли! — заключает она. — Не стану же я тебе ничего рассказывать. Не стану!»

«Мечь». Некоторый обыватель Турманов случайно подслушивает разговор своей жены с другим обывателем Дегтяревым. Оказывается, что Турманов обманут (и не в первый раз уже): его жена и Дегтярев находятся в амурной связи, его, Турманова, величают индюком, Собакевичем и пузаном и изобретают новый способ переписки: завтра к шести часам вечера госпожа Турма-

нова положит в мраморную вазу возле виноградной беседки в городском саду записку, а Дегтярев, проходя через городской сад, вынет ее. Оскорбленный супруг придумывает план мести и после разных предположений останавливается на следующем: он пишет богатому купцу Дулинову анонимное письмо, в котором предлагает ему положить в мраморную вазу к шести часам двести рублей; в противном случае он будет убит. На следующий день он в шесть часов садится в городском саду за куст и с злорадным нетерпением ждет последствий своей выдумки. Конечно, Дулинов дал знать полиции, и Дегтярев, засовывая руку в мраморную вазу, будет накрыт... Оказывается, однако, что Дулинов испугался угрозы и положил в вазу двести рублей, которые Дегтярев и взял.

«В почтовом отделении». Умерла двадцатилетняя жена шестидесятилетнего почтмейстера Сладкоперцева. На поминках вдовец рассказывает, каким образом он оградил супружескую верность покойницы. Он распространил по городу «нехороший слух», будто жена его живет с полицмейстером Залихватским. «Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицмейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтобы Залихватский чего не подумал». Слушатели изумлены и обижены — они в самом деле верили слуху...

«Муж». В уездном городишке остановился на ночевку кавалерийский полк. По этому случаю местные дамы потребовали бала, и бал состоялся. Дамы, увлеченные мимолетным знакомством с офицерами, весело танцевали, совершенно забывая о «своих штатских». В числе последних находился акцизный Шаликов, «существо пьяное, узкое и злое с большой стриженной головой и с жирными, отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего». Шаликов стоял, прислонившись к косяку, и не спускал глаз с жены, Анны Павловны, немолодой, некрасивой, но затянутой, напудренной и танцевавшей с увлечением. Он смотрел на блаженство, разлитое по лицу и по всей фигуре жены; смотрел и злился. Наконец «ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении... Мелкие чув-

ства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького уездного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши». Анна Павловна весело разговаривала после мазурки с своим кавалером («губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так: „у нас в Пютюрбюрге“»), обмахивалась веером и кокетливо шурила глаза. Шаликов подошел к ней и вслух, грубо и решительно потребовал, чтобы она шла с ним домой, иначе — прибавил он в ответ на протесты и просьбы жены — он «сделает скандал»... «Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как под ногами всхлипывает грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром — и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно! А Анна Павловна едва шла... Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покарал так господь бог? Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощнее состояния не мог бы придумать и злейший враг»...

Не довольно ли сцен из супружеской жизни? Остановимся на минутку.

Последний из переданных рассказов представляет собою нечто довольно исключительное в сборнике г. Чехова — исключительное не по сюжету, а по тону, каким говорит автор. Про ялтинскую даму, только издали видевшую проводников-татар, про неудачную месть Турманова, про удачную хитрость почтмейстера г. Чехов рассказывает весело, заражая своим весельем и читателя, который смеется или по крайней мере улы-

бается, не останавливаясь на кое-каких несообразностях в деталях. И таких рассказов огромное большинство. Иное дело «Муж». Тут автор и сам не смеется, и не желает возбуждать смех в читателе. Вам даже жутко становится, когда вы с ясностью представляете себе эту шлепающую по грязи из клуба домой супружескую пару, до краев переполненную злобными чувствами. Сколько, в самом деле, дрянной, мелкой злобы! И эти люди связаны на всю жизнь, ведь это настоящий ад, на мгновение раскрывшийся перед нами по случаю прибытия в город кавалерийского полка... И какая гнусная скотина этот Шаликов... Однако таково мастерство художника, набросившего ровную тень на все видимое пространство, что, дочитав рассказ до конца (а в нем и всего-то пять страничек), вы ясно понимаете, что дело не в этом грубом и злобном животном, а в чем-то гораздо более общем и важном. Не говоря о том, что и «пютюрбургская» дама не вызывает сама по себе большого сочувствия, читатель узнает, что Шаликов не всегда был гнусной скотиной, что и сейчас он, обросший мохом и плесенью, может быть, выше многих и многих из окружающих. Он зол, груб и вообще скверен, но ведь он прав, когда думает, что «жизнь вовсе не так прекрасна, как Анне Павловне кажется теперь в упоении», что «ничтожна, плоска эта жизнь». Он, этот злодей — потому что его поступок хоть и мелкий, но действительно злодейский, — есть жертва... чего?

Беспробудная пошлость жизни, всех и все покрывающая плесенью, — такова общая тема старых рассказов г. Чехова, вошедших в состав нового сборника. И эта ялтинская дама с своим «длинным языком», и «мститель» Турманов, и купец Дулинов, и счастливый любовник Дегтярев, и остроумный почтмейстер Сладкоперцев, и все слушатели его рассказа — все это продукты той же житейской пошлости, которая выработала грубое животное Шаликова. Но разница в отношениях к ним автора. К Шаликову он относится с очень сложным чувством, берет его со всеми корнями и ветвями, тогда как действующие лица первых трех рассказов ему просто смешны и рассказывает он про них именно на смех. Эта разница и на художественной стороне рассказов отражается.

Рассказ «Муж», несмотря на свой крошечный размер, есть настоящий перл в художественном отношении. Вот, например, описание кавалера Анны Павловны

в мазурке. Это был «черный офицер с выпученными глазами и с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно и с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку». Всего четыре, пять строк, а между тем это законченный портрет. Такие же несколько строк понадобились автору, чтобы изобразить, как Анна Павловна умаливала мужа шепотом, «с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение». Эти маленькие подробности — этот робкий шепот, эта напряженная, фальшивая улыбка — мастерски оттеняют душевное состояние Анны Павловны... Этой тонкости отделки нет и в помине в трех других вышеупомянутых рассказах. Талант, конечно, сказывается и здесь, но это какой-то уж очень юный талант, брызжущий слишком беспечно и небрежно, слишком, я сказал бы, веселый, ничего, кроме смеха, не имеющий в виду и не заботящийся даже о правдоподобии, лишь бы смешно вышло. Я думаю, что это видно уже по моему изложению тех трех рассказов. Но, для разнообразия, возьмем несколько других.

«В бане». Соль рассказа в том, что цирюльник Михайло принял в бане дьякона за человека вредного образа мыслей — длинные волосы у него и разговаривает о литературе. Михайло вознегодовал и уже послал было за каким-то Назаром Захарычем — «протокол составить», но недоразумение разъяснилось вовремя, и Михайло стал просить у дьякона прощения, кланяясь ему в ноги. «За что такое? — спрашивает удивленный дьякон. — «За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи!» Это так грубо и явно насмех выдуманно, что «комментарии излишни», как пишут в газетах.

Но всего в этом роде смешного не переберешь в сборнике г. Чехова, и я приведу еще только один рассказ, но зато целиком. Выбираю один из лучших в этом роде, то есть действительно очень забавных. Называется он «Неудача».

«Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви, объяснялись их дочь Настенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Ключет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Благословение образом свято и нерушимо. Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер!— говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки.— Вовсе я не писал вам писем!

— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало.— Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В Собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы... (вздых). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чем же вы писать можете?

— О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете — очумете. Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика важность! Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнувшей яичным мылом ручке.

— Снимай образ!— заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея и застегиваясь.— Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети...— забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами.— Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...

— И... и я благословляю...— проговорила мамаша, плача от счастья.— Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище!— обратилась она к Щупкину.— Любите же мою дочь, жалейте ее...

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили!— подумал он, млея от ужаса.— Крышка тебе теперь, брат! Не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «берите, я побежден!»

— Бла... благословляю...— продолжал папаша и тоже заплакал.— Настенька, дочь моя, становись рядом... Петровна, давай образ...

Но тут родитель вдруг перестал плакать и лицо у него перекошило от гнева.

— Тумба!— сердито сказал он жене.— Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-свет!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал».

Сотни раз в наших юмористических газетах фигурировали родители, «накрывающие» таким способом же-



ниха (способ этот эксплуатировался отчасти и гр. Толстым в «Войне и мире»: этим способом князь Василий Курагин преодолевает нерешительность Пьера Безухова). Но г. Чехов ввел в эту избитую тему новый, оригинальный, смехотворный эффект: портрет Лажечникова вместо образа. Эффект совершенно неправдоподобный, хотя бы уже потому, что образа у нас вешаются совсем не там, где может висеть портрет Лажечникова; но эта маленькая несообразность не только не мешает читателю смеяться, а еще подбавляет веселого настроения...

В подзаголовке предполагаемой статьи написано: «кое-что о г. Чехове». Я не думаю исчерпать всего г. Чехова — для этого подождем Полного собрания его сочинений. Мне хочется лишь напомнить некоторые моменты его развития.

Прежде всего любопытно заметить, что у г. Чехова нет сколько-нибудь ярких литературных ровесников: все сколько-нибудь ценное в литературе или гораздо старше его, или развернулось значительно позже. Порывшись в юмористических листках 80-х годов, мы нашли бы, может быть, не одного писателя, начинавшего такими же талантливими забавностями, как г. Чехов, да и в серьезной литературе того времени найдется, может быть, немало равноценных задатков. Но все эти задатки или навсегда заглохли, не успевши расцвести, или если расцвели, то много позже. Дело в том, что г. Чехов начал свою литературную деятельность в необыкновенно трудное для начинающего писателя время. Разумею не внешние, а внутренние затруднения, ту надломленность недавних идеалов и верований, которая овладела обществом без замены их какими бы то ни было иными идеалами и верованиями, ту странную и страшную серость и плоскость, которая так или иначе должна была отразиться на литературе вообще, на начинающем писателе в особенности. Таланты, вероятно, рождались — почему бы им не рождаться? — но они быстро глохли, затеривались, задыхались в этой серой плоскости, как чахнут и сохнут растения при недостатке света и влаги. Г-н Чехов уцелел, хотя долго расплачивался за грехи общества. Человек высокодаровитый, с огромным запасом свежего молодого юмора, он начал с того, что именно сел у житейского моря и... не ждал погоды, даже не думал о ней, а беззаботно выживал из

моря что попадется, расцветивая выуженное блестками веселой фантазии. И что ни выудит — то пошлость. Цельного, большого зеркала, в котором отразилась бы вся жизнь целиком или хоть значительная доля ее, в его распоряжении не было; но у него были бесчисленные зеркальные осколки, комически отражающие столь же бесчисленное множество отдельных эпизодов житейской пошлости. И то хорошо, конечно, и то свидетельствует, кроме таланта, о здоровом инстинкте, по крайней мере не возводящем пошлость в перл создания,— потому что ведь и такое бывало. Но, во-первых, обратите внимание на пределы кругозора молодого Чехова: цирюльник, мелкий чиновник, сапожник, заскорузлый провинциальный купец, учитель уездного училища и т. д.— вот герои его смешных рассказов. И невольно приходит в голову вопрос: да неужели же мрак пошлости клином сошелся на том мелком люде? А во-вторых, прислушайтесь к этому смеху. Какой это беззаботно веселый, благодушный, поверхностный и, если угодно, примирительный смех... Временами, очень редко, на автора находит более глубокое настроение, и он пишет что-нибудь вроде «Мужа», достигая вместе с тем и высокой степени истинно художественного творчества. Но это настроение быстро проходит, и он опять с беззаботным весельем обзирает окружающую его пошлость. Ах, отчего не посмеяться, и в особенности молодому-то человеку! Но, быть может, нотка не скажу гнева, а какой-нибудь из многочисленных форм недовольства не помешала бы делу художественного изображения пошлости, как не только не помешала, а еще помогла она в «Муже». Можно ведь и не исключительно с смешной стороны посмотреть, например, на этого цирюльника, приглашающего компетентное лицо для составления протокола по случаю разговора длинноволосого человека о литературе. Фраза цирюльника: «виноват, о дьякон, я думал, что у вас в голове есть идеи»,— режет ухо своею выдуманностью, но она содержит в себе намек на целое течение в русской жизни, течение слишком мрачное, чтобы быть только смешным.

Время шло. Г-н Чехов продолжал предьявлять изумительную изобретательность по части смехотворных эффектов (трудно даже вспомнить без улыбки, например, «Винт» или «Драму»), но с течением времени рядом с ними становились и отнюдь не комические сюжеты. Смех г. Чехова, несмотря на яркость отдельных

проявлений, в общем мало-помалу затихал. Читатель знает, что он наконец и совсем затих: прежний, веселый, смешливый и смешаший Чехов исчез, за последнее время из-под его пера выходят картины одна другой мрачнее. И не по существу своему только они мрачны — прежний Чехов сумел бы и их передать смешно и весело, быть может, даже затруднился бы передать их иначе, — а по настроению автора. Перемена состоит не только в этом, и не вдруг она совершилась. Началось с того, что на удочку г. Чехова стала попадаться не одна пошлость, и первое время он не знал, как отнестись к этому новому непривычному материалу: смеяться не позывало, а сочувствовать, сожалеть, восторгаться, скорбеть, грустить, негодовать... для всего этого еще не пришло время г. Чехову, еще не звенели соответственные струны в его душе, да и в окружающей серой атмосфере не веяло ветра, который заставлял бы эти струны звенеть. И, продолжая вытаскивать из безграничного житейского моря что попадется, г. Чехов безучастно, «объективно» описывал свою добычу, не различая ее по степени важности с какой бы то ни было точки зрения. У него не было такой общей, руководящей, расценивающей явления жизни точки зрения; и в числе странностей того странного времени, к которому относится этот момент развития г. Чехова, была и такая, что это отсутствие руководящей точки зрения ставилось ему в заслугу. Праздноболтающие литературные гамены, вытягивающие из себя слова, слова, слова без всякого смысла и связи, и доселе стоят в этой позиции, хотя сам г. Чехов уже давно совсем не тот. Под каким соусом ныне подается это оправдание или даже возвеличение безразличного отношения к темным и светлым явлениям жизни — это даже не интересно. А в свое время дело поставлено так: «Для нового поколения осталась только действительность, в которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознанием, что все в жизни вытекает из одного и того же источника — природы, все являет собою одну и ту же тайну бытия и возвращается к пантеистическому миросозерцанию»<sup>4</sup>.

Это, конечно, очень спокойно. Но талант редко уживается со спокойствием, в большинстве случаев он есть нечто беспокойное, требовательное. А г. Чехов настоящий, большой талант, и неудивительно поэтому, что он

не остался при безразличном отношении к свету и мраку, хотя они и «являют собою одну и ту же тайну бытия» и «вытекают из одного и того же источника — природы». «Идеалы отцов и дедов над нами бессильны»<sup>5</sup>, — говорили теоретики «пантеистического» мирозерцания. Пусть так — наживайте свои, новые... Нажил ли их г. Чехов, я не знаю, но он затосковал; понял, что «пантеизм», которому он послужил «без борьбы, без думы роковой»<sup>6</sup>, есть, собственно говоря, атеизм, и затосковал, или по крайней мере превосходно изобразил эту тоску. Всякий раз, как мне приходится писать или думать о г. Чехове, я вспоминаю слова, вложенные им в уста Николая Степановича в «Скучной истории»: «Сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывал мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, очень важного... Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего...»

Когда мне пришлось в первый раз цитировать эти проникнутые грустью строки, я выразил пожелание, чтобы г. Чехов, если уж для него бессильны идеалы отцов и дедов, а своей собственной «общей идеи или бога живого человека» он выработать не может, стал певцом тоски по этом боге. . Мое пожелание исполнилось, по крайней мере в том смысле, что действительность, когда-то настраивавшая г. Чехова на благодушно-веселый лад, а потом ставшая предметом безразличного воспроизведения в бесчисленных зеркальных осколках, вызывает в нем ныне несравненно более сложные и несравненно более определенные чувства.

Чрезвычайно любопытны две художественные экскурсии г. Чехова в область психиатрии: «Палата № 6» (1882) и «Черный монах» (1894), хотя собственно психиатрия тут, с позволения сказать, с боку припека или, пожалуй, рамка, в которую автор вставил нечто, не имеющее никакого отношения к психиатрии. В «Палате № 6» мы имеем превосходное описание больничных порядков, в «Черном монахе» — картинное изображение галлюцинации героя рассказа, но и эти больничные порядки, и эта галлюцинация представляют собою не бо-

лее как обстановку, которая могла бы быть и иною, и дело, очевидно, не в них.

В «Палате № 6» решается вопрос о том, как следует (или как не следует) относиться в действительности. Представителями двух резко различных на этот счет мнений г. Чехов выбирает психически больного, содержащегося в лечебнице Ивана Дмитрича Громова, с одной стороны, а с другой — доктора Андрея Ефимовича Рагина, который, однако, тоже кончает сумасшествием. Они, впрочем, могли бы с самого начала поменяться местами, эти два главные действующие лица рассказа... Рагин, как это ни странно в устах практикующего врача, исповедует и проповедует полное невмешательство в ход событий. Он находит, что «не следует мешать людям сходить с ума». Он спрашивает: «к чему мешать людям умирать, если смерть есть законный и нормальный конец каждого?» и «зачем облегчать страдания?» Он, пожалуй, «пантеист», если позволительно разуместь под пантеизмом примирение с действительностью, какова бы она ни была, только потому, что она — действительность. Для него все в жизни, подлежащее сравнению, безразлично и равноценно. Он, например, говорит: «все вздор и суета, и разницы между лучшею венской клиником и моей больницей, в сущности, нет никакой», хотя очень хорошо знает, что его больница есть просто скверность. И точно так же «между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы — покой и довольство человека не вне его, а в нем самом». Так рассуждает доктор Рагин. Сумасшедший Громов не согласен с такой «реабилитацией действительности». Он горячо возражает: «Я знаю только, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность».

Трудно сказать, почему рассуждающий так Громов есть сумасшедший и почему доктор Рагин призван его лечить. Последний объясняет дело так: «Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет,— вот и все. В том, что я доктор, а вы душевный больной, нет ни

нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность». Это, конечно, мало объясняет дело, и решение становится еще более затруднительным, когда самого доктора сажают в палату № 6 и он отказывается от своей теории безразличия и реабилитации действительности. Попав в больницу уже в качестве больного, а не врача Рагин сначала пробует философствовать на свой старый образец. Но когда сторож Никита, согласно принятым в больнице порядкам, прибил его — «от боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его среди хаоса ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день, эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят». На другой день доктор Рагин умер от апоплексического удара...

Ясно, кажется, что психиатрия ни при чем во всей этой истории: Громов слишком здравомыслящий человек для сумасшедшего, и если Рагин склоняется к его образу мыслей и отказывается от реабилитации действительности, только уже сам сидя в сумасшедшем доме, так ведь это просияние он мог бы получить и вне его, и гораздо раньше — стоило ему только испытать какую-нибудь серьезную «боль». И, однако, г. Чехов счел почему-то нужным вручить защиту мысли о естественной реакции «органической ткани на всякое раздражение» двум сумасшедшим... а может быть, и не сумасшедшим, а только по какой-то «случайности» сидящим в доме умалишенных...

Перейдем к «Черному монаху».

Молодой ученый Коврин переутомился на работе и, по совету врача, уехал на весну и лето в деревню. Но и в деревне он продолжал вести «такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе»: много читал, мало спал, много говорил, пил вино, временами до изнеможения слушал музыку. Между прочим, ему вспомнилась где-то, когда-то слышанная или читанная им легенда о черном монахе. Монах этот есть мираж или даже мираж миража, который через тысячу лет после первого своего появления на земле, по странствовав в междупланетном пространстве, должен вновь попасть

в земную атмосферу и показаться людям. Коврин жил у своего бывшего опекуна и воспитателя Высоцкого<sup>7</sup>, у которого была дочь, Таня. Коврин рассказал ей как-то занимавшую его легенду о черном монахе и в тот же вечер, гуляя в поле, увидел монаха. «Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза, приятно взволнованный, он вернулся домой. В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли — значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тани и Егору Семеновичу (Высоцкому), но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, плясал мазурку, ему было весело и все — часто и Таня — находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное и что он очень интересен». Ложась в этот день спать, Коврин было омрачился на некоторое время, сообразив, что он, должно быть, болен и дошел до галлюцинаций, но скоро утешился: «ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного». И, успокоившись на этой мысли, он почувствовал «непонятную радость, наполнявшую все его существо». Принялся было за работу, но она не удовлетворяла его: «ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего». Он заснул только после нескольких рюмок вина. Скоро он опять увидел черного монаха, который с ним даже в разговор вступил. Он сказал Коврину много лестного и приятного: что он «один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божьими»; что его мысли, намерения, его «удивительная наука» и вся его жизнь «носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно»; что человечеству предстоит блестящая будущность, приближение которой на тысячи лет ускоряется такими людьми, как Коврин, и т. д. Все это было очень приятно слушать, но Коврина брало сомнение: ведь монах — призрак, галлюцинация, значит, он, Коврин, психически болен, ненормален? На это черный монах возразил: «Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего лучше? Это то, к чему стремятся все вообще оза-

ренные свыше, благородные натуры... Почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди... Повышенное настроение, возбуждение, экстаз, все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью... если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо». Эти речи черного монаха привели Коврина в восторженное и умиленное состояние, и он, тотчас после приведенной беседы, объяснился Тане в любви и сделал ей предложение. И Таня, и ее отец, давно ждавшие этого, были в восторге.

Коврин женился. Переехали в город. Однажды ночью Коврину не спалось, и вдруг он увидел на кресле возле постели черного монаха. Они стали беседовать о славе, о счастье, о радости. Таня проснулась и с ужасом увидела, что муж, жестикулируя и смеясь, разговаривает с пустым креслом. Решено было лечить Коврина, чему он и не противился. «Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: «поздравьте, я, кажется, схожу с ума»,— но пошевелил только губами и горько улыбнулся».

Опять наступило лето, и опять доктор отправил Коврина в деревню. Он уже выздоровел, черный монах ему больше не являлся, и дело шло только об укреплении физических сил. Жена и тесть заботливо держали его на строгом гигиеническом режиме: он мало работал, совсем не пил вина, не курил, пил много молока. Но, поправляясь физически, он затосковал и стал раздражителен. Однажды после прогулки по тем местам, где он в первый раз видел черного монаха, он наговорил Тане и тестю неприятностей за их заботы о нем. «Зачем, зачем вы меня лечили?— говорил он.— Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг, все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был всегда бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все, я — посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной!» И еще: «Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза»



и вдохновения! Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет».

Семейная жизнь стала невозможной, и через два года мы видим Коврина уже с другой женщиной, в Севастополе, по дороге в Ялту. Он болен физически: слаб, кровь горлом идет, но психически, по-видимому, здоров. Он «теперь ясно сознавал, что он посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть». Но вот под влиянием злого, раздраженного письма Тани, с проклятием извещающей о смерти отца, Коврин горько задумывается, и черный монах является ему опять со словами: «Отчего ты не поверил мне? Если бы ты тогда поверил мне, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно». Коврин тотчас же поверил, но кровь хлынула у него горлом, и он умер под нашептывание черного монаха, «что он гений и что он умирает только потому, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения».

Я с подробностью передал содержание рассказа, поскольку оно касается «черного монаха» и Коврина, оставив совсем в стороне прекрасно нарисованные фигуры жены и тестя героя. Это вполне обыкновенные люди со своими слабостями и достоинствами. На Коврина они смотрят как на гения, человека необыкновенного, и в этом, собственно, и состоит их главная роль в рассказе. Но что значит самый рассказ? Каков его смысл? Есть ли это иллюстрация к поговорке: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», и не следует мешать людям с ума сходить, как говорит доктор Рагин в «Палате № 6»? Пусть, дескать, по крайней мере те больные, которые страдают манией величия, продолжают величаться — в этом счастье, ведь они собой довольны и не знают скорбей и уколов жизни... Или это указание на фатальную мелкость, серость, скудость действительности, которую надо брать так, как она есть, и приспособляться к ней, ибо всякая попытка подняться над нею

грозит сумасшествием? Есть ли «черный монах» добрый гений, успокаивающий утомленных людей мечтами и грезами о роли «избранников божиих», благодетелей человечества, или, напротив, злой гений, коварной лестью увлекающий людей в мир болезни, несчастья и горя для окружающих близких и, наконец, смерти? Я не знаю. Но думаю, что как «Палата № 6», так и «Черный монах» знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как писателе, перелома в его отношениях к действительности...

Тем временем теория «реабилитации действительности» в своем простейшем, первоначальном виде — выдохлась. Случилось это чрезвычайно быстро (разумею, конечно, литературу). И это не удивительно. Потребность идеала, мечты, чего-нибудь отличающегося от действительности и возвышающегося над ней слишком сильна в людях, чтобы по крайней мере те, кто призван поучать других, могли долго оставаться в пределах двух измерений, то есть на плоскости. Нужно, необходимо нужно и третье измерение, нужна линия вверх, к небесам, как бы кто эти небеса ни понимал и ни представлял себе. Нужна эта линия вверх хотя бы уже для того, чтобы можно было видеть что-нибудь дальше своего носа, окинуть глазом с некоторой высоты сколько-нибудь значительную часть действительности. Нужна она не только для руководства в практической жизни, а и для теоретического понимания действительности и даже для реабилитации ее. И вот началась работа. Но строители нового здания о трех измерениях, все эти открыватели «новых мозговых линий»<sup>8</sup>, творцы «новых слов», «созидатели новой красоты» — разбрелись разрозненно. Единодушны они были только в отрицании идеалов отцов и дедов. А затем, не говоря о юродствующих вроде г. Розанова, пляшущих в словесную присядку вроде г. Евгения Соловьева<sup>9</sup> и т. п., из которых каждый сам по себе и никакого течения не знаменует, мы видим, во-первых, людей, взобравшихся по ступеням новой красоты, может быть, и очень высоко, но в таком случае столь высоко, что оттуда действительности совсем не видно. Да они и не хотят ее знать: «люблю я себя как Бога»<sup>10</sup>, пишу глупые стихи, поклоняюсь мэонам<sup>11</sup>, то есть не существующим, «хочу быть развратным»<sup>12</sup>, созерцаю «тень несозданных созданий»<sup>13</sup>, прислушиваюсь к «громкозвучной тишине», пишу «то мягким гусиным пером»<sup>14</sup>, то развязным, размашистым языком» взвин-

ценную прозу и проч., и проч., — а на то, что делается на земле, в действительности, мне «вполне и исключительно наплевать», как говорит одно из действующих лиц Гл. Успенского. Отдельные ручейки, образовавшие это течение, иногда очень противоречили друг другу, так что, например, гг. Мережковский и Вольтинский принуждены были весьма непочтительно отзываться один о другом<sup>15</sup>; но в общем течение может быть названо эстетическим, что ясно отпечаталось не только на художественных произведениях, а и на философии г. Минского, и на критике гг. Вольтинского и Мережковского. Свое отношение к действительности гг. Минский и Вольтинский очень определенно выразили в 1893 году во французском журнальчике «l' Ermitage»<sup>16</sup>. «Грязь и кровь годятся для публицистов и политиков, а поэту тут не место», — гордо писал один из них; и не менее гордо другой: «художник живет внутреннюю творческую жизнью, которая выше всех форм жизни внешней, общественной». До какой бессмыслицы по содержанию и безобразия по форме может доходить это ломанье — свидетельством тому могут служить две литературные новинки, только что вышедшие: сборник стихотворений гг. Бальмонта, Брюсова, Дурнова и Коневского под заглавием «Книга (! 82 странички маленького формата!) раздумий» и «трагедия» в прозе г. Минского «Альма»...<sup>17</sup>

Г-н Чехов — художник слишком умный и по самой натуре своей несклонный к ломанью, чтобы хотя на одну минуту увлечься всем этим взвинченным вздором. Это течение миновало его.

Другое течение было соблазнительнее. Оно, если угодно, было своего рода реабилитацией действительности, но не в той простодушной форме, в какой эта реабилитация явилась впервые. Оно не отрицало наличности тяжелых и мрачных сторон жизни, но оно напирало на то, что эти стороны с такою же необходимостью выступают из недр истории, как и добро и свет, и верило, что они опять же необходимо превратятся в процессе истории в свою противоположность, и даже очень скоро. Между прочим, в состав этого учения входило убеждение в «идиотизме деревенской жизни» и в превосходстве «городской культуры» над деревенскою. Г-н Чехов нечаянно угодил этому течению рассказом «Мужики». Рассказ этот, далеко не из лучших, был сверх всякой меры расхвален именно за тенденцию, которую

в ней увидели. Г-н Чехов очень оригинально ответил на эти похвалы: он издал «Мужиков» отдельной книжкой вместе с другим рассказом, «Моя жизнь», в котором «городская культура» изображалась в своем роде еще более мрачными красками, чем деревенская (или, вернее, отсутствие культуры) в «Мужиках»...

Таким образом, ни одно из современных наших модных течений не захватило г. Чехова. Он остался сам по себе. Но он далеко еще не сказал своего окончательного слова, далеко не вполне выяснился ни в смысле силы таланта, все еще раздвигающегося, ни в смысле отношений к действительности. Иногда она ему представляется в виде ряда разрозненных анекдотов, над которыми доктор Рагин поставил бы эпиграфом слова: «здесь нет ни нравственности, ни логики, а одна случайность». Такие же анекдоты писал г. Чехов в первую пору своей деятельности, но какая разница и в выборе тем, и в их обработке, и в том тоне, который делает музыку! Теперь уже далеко не одна пошлость занимает г. Чехова, а истинно трудные, драматические положения, истинное горе и страдание. Анекдоты уже не разрешаются такими эффектами, как портрет Лажечникова вместо иконы или 200 рублей, вынутые из мраморной вазы вместо любовной записки. И уже не возбуждают они добродушного веселого смеха, напротив, возбуждают грустное раздумье или чувство досады на нескладницу жизни, в которой нет «ни нравственности, ни логики». Нет прежнего беззаботно-веселого Чехова, но едва ли кто-нибудь пожалует об этой перемене, потому что и как художник г. Чехов вырос почти до неузнаваемости. И перемена произошла, можно сказать, на наших глазах, в каких-нибудь несколько лет...

Очень характерен рассказ «О любви» (1898). Некий Алехин рассказывает в собравшемся у него в деревне маленьком обществе один эпизод из своей жизни. Характерен уже самый приступ Алехина к рассказу: «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, а самое лучшее, по моему,— это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаюсь

обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай».

В последних словах слышится как бы теоретическое оправдание или обоснование всей литературной деятельности г. Чехова — этой рассыпанной хранины бесчисленных житейских явлений, в которой, как говорит Николай Степанович в «Скучной истории», «даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека». Но это уже почти пройденная ступень для автора рассказов «В бане» на одном конце лестницы и «В овраге» — на другом. Алехин тут же, еще во вступлении, предъявляет своим слушателям некоторую общую идею, обнимающую далеко не один только тот случай, который он собирается рассказать. Он говорит: «Мы, русские порядочные люди... когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее... Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это я знаю». Как видите, Алехин высказывается с колебанием. Оно и неудивительно, потому что общей формулы для всех бесчисленных комбинаций и вариаций любовных отношений, конечно, быть не может. И тем более понятна осторожность Алехина, что, может быть, ни под каким флагом не совершается столько грязных подлостей, как под флагом любви. Однако не так же уж торчком стоят отдельные относящиеся сюда случаи, чтобы было невозможно хоть какое-нибудь частичное обобщение. И Алехин дает его.

Алехин любил некую Анну Алексеевну Луганович, молодую, умную, красивую, обаятельную женщину. У нее был муж, почти старик, «неинтересный человек, добряк, простак, который рассуждал с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держался около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верил, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей». И Алехин «все старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка». Доктор Рагин из «Палаты № 6» объяснил бы дело очень просто: тут нет ни нравственности, ни логики, а только одна случай-

ность. И он был бы прав, но от этого не легче тем, кого случайность бьет по сердцу. Анна Алексеевна, с своей стороны, тоже любила Алехина. И он это знал, вернее, чувствовал, потому что они не обменялись даже ни одним словом на эту страшную для них тему. А страшна она для них была вот почему. «Я любил нежно, глубоко,— рассказывает Алехин,— но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она бы пошла за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье?» Подобные сомнения и колебания одолевали и Анну Алексеевну. Они молча любили друг друга, от самих себя пряча свою тайну. И тяжело им было. «Минутами мне становилась тяжела до слез эта роль благородного существа»,— говорит Алехин. Тяжело было и ей. Она стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; на нее часто находило дурное настроение, она лечилась от расстройства нервов. Кончилось тем, что Лугановича перевели на службу в другой город, а перед тем Анна Алексеевна уехала, по совету врачей, в Крым. Провожая ее, Алехин уже незадолго до третьего звонка вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну забытую ею корзинку. «Когда тут, в купе, взгляды наши встретились,— рассказывает Алехин,— душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез,— о, как мы были с ней несчастны!— я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить с высшего и более важного, чем счастье и несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе...»

О, конечно, это рецепт не для всех, но Алехин и указывает, для кого он годится и для кого не годится: нужно, чтобы налицо было то «высшее», то «более важное», с высоты которого равно приемлемы счастье и несчастье. Алехин первый осудил бы применение своего рецепта без этого условия. В действительности бывает, обыкновенно, как раз наоборот: Алехины и Анны Алексеевны ломают свою жизнь, а люди, за душой у которых ничего «высшего» нет, которые с наслаждением купаются в грязи, свободно применяют алехинский рецепт. Такова действительность, и ясно кажется, как дорога стала г. Чехову вертикальная линия к небесам, то третье измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью; как далеко ушел он от «пантеистического» (читай: атеистического) мирозерцания, все принимающего как должное и разве только как смешное...

А бывают и такие случаи («Дама с собачкой», 1899). Господин Гуров и госпожа фон Дидерик (она и есть «дама с собачкой») случайно встретились в Ялте. Он женат, но жены не любит, да она и не стоит любви; она замужем, но, по ее словам, ее муж, «быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей!» Гуров уже давно и постоянно изменял жене и о женщинах отзывается презрительно: «низшая раса». Но жить без этой низшей расы не мог. «В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним». К Анне Сергеевне (так звали даму с собачкой) он отнесся так же, как и к другим женщинам: сошелся с ней без настоящей любви, а так, по привычке брать женщин. Она, молодая, легкомысленная, наивная, не знавшая жизни, отдалась тоже так, но потом полюбила его, не настолько, однако, чтобы захотеть соединить с ним свою судьбу, хотя и называла его «необыкновенным, возвышенным» и горько плакала при расставанье. Разъехались в разные стороны — он в Москву, она в С. Так как в действительности в Гурове не было ничего «необыкновенного и возвышенного», то он зажил в Москве своею обычною пустою жизнью и думал, что через какой-нибудь месяц Анна Сергеевна уйдет из его памяти, не оставив по себе никакого следа.

Случилось, однако, иначе: Анна Сергеевна все назойливее и назойливее поднималась в его памяти, и он наконец не выдержал, уехал в С., а потом она, тоже не забывшая его, стала приезжать к нему в Москву. Они виделись тайно и сравнительно редко. Это их мучило. «Только теперь, когда голова у него стала седой, он любил по-настоящему, как следует — первый раз в жизни. Они любили друг друга, как очень близкие люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем, — это было чудовищно; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках! Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих...»

В обширном житейском море судьба столкнула Алехина и Анну Алексеевну, Гурова и Анну Сергеевну. Вот две случайности, которые могли бы дать людям счастье и полноту жизни. Но в случайностях нет ни нравственности, ни логики: обе пары встретились слишком поздно. Автор и они сами горько задумываются над этой бессмыслицей действительности, «реабилитировать» которую, конечно, мудрено. Но бесполезно также и задумываться над вопросом: зачем это так оскорбительно и мучительно все вышло? Слепая судьба — или как бы мы ее ни называли: необходимая причинная связь всех явлений, естественный ход вещей — не знает этого вопроса. Она дает ответ только на вопрос «почему?» Судьба не друг и не враг людей, не злодейка и не благодетельница и ни за что не ответственна. И только сами люди, вторгаясь в причинную связь явлений со своими целями, берут на себя ответственность, связанную с вопросом «зачем?». Страшная это бывает ответственность, и все здесь зависит от достоинства целей, ради которых делается тот или другой шаг. Одно дело ялтинская дама, приятно проводившая время с Маметкулом и Сулейманом, и другое дело — Алехин и Анна Алексеевна; одно дело Гуров в начале знакомства с Анной Сергеевной, и другое дело — он же в конце рассказа. Имеют ли он и Анна Сергеевна право пользоваться алехинским рецептом, есть ли у них такое



«высшее», во имя которого можно и должно принять счастье и несчастье, свое и чужое,— это дело их совести. Нас занимает здесь г. Чехов, и, я думаю, нет надобности распространяться о том, какая произошла в нем перемена и какие новые стороны жизни ему открылись, как расширилось его понимание действительности и как усложнилось его отношение к ней.

Старая тема г. Чехова — житейская пошлость продолжает и теперь интересоваться его. Но она уже смешна для него, по крайней мере не только смешна, а и страшна, и ненавистна. «Человек в футляре» (1898), учитель греческого языка Беликов — ходячая, воплощенная пошлость. И, однако, это ничтожнейшее существо, бессознательно наглое и вместе трусливое, пятнадцать лет держало гимназию и весь город в страхе. «Мыслящие, порядочные читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть». Это «то-то вот оно и есть» символически выражает недоумение перед силой пошлости: никакого объяснения люди не находят и только руками разводят. Когда почтмейстер Сладкоперцев распустил ложный слух, что его жена состоит в любовной связи с полицмейстером Залихватским, он знал, что делал, знал нравы своего города: полицмейстера побоятся, он — власть. Но Беликов даже и не власть, он просто мрачный и тупой пошляк. И достаточно было одного смелого человека, который грубо обругал его и буквально спустил с лестницы, чтобы Беликов просто-напросто заболел от огорчения и умер. Но этот смелый человек явился в город только после пятнадцати лет тиранического господства Беликова. Его «с большим удовольствием» похоронили, радуясь «свободе». «Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет! «То-то вот оно и есть»,— сказал Иван Иванович и закурил трубку. «Сколько их еще будет!»— повторил Буркин».

Так кончает писатель, начавший свою деятельность с того, что каждым своим рассказом говорил: весело жить на свете, господа! Какое уж тут веселье, когда

смелый человек, готовый спустить с лестницы ничтожного пошляка, является в пятнадцать лет раз! Да и то еще остаются «человеки в футлярах» и люди только руками разводят: то-то вот оно и есть!

Я сказал: «так кончает» г. Чехов. Следовало бы сказать: так продолжает. Конца г. Чехову еще далеко не видно. За рассказами «О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Случай из практики» он дал широко задуманный и превосходно выполненный рассказ «В овраге». И это новый шаг вперед. Я не буду передавать содержание «В овраге», потому что эта вещь еще у всех в памяти. Не буду теперь вообще говорить о ней, как ничего не говорил о драматических произведениях г. Чехова. Я пока хотел сказать лишь «кое-что» о нем.



**«РАССКАЗЫ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.  
СТРАХ ЖИЗНИ И СТРАХ СМЕРТИ**

Существует мнение — мне не раз приходилось выслушивать его от заинтересованных людей, — будто в редакциях журналов не читают рукописей неизвестных авторов, будто нужна «протекция», чтобы статья была напечатана или даже только прочитана, будто вообще печатаются только произведения личных знакомых и «знаменитостей». Это одно из самых неосновательных представлений о редакционных порядках. И не только неосновательно это представление, а и обидно. Члены редакций тратят добрую половину своего рабочего времени на закулисный, невидный публике труд чтения сотен и сотен рукописей, доставляемых им, — и про них же складывается такая нелепая легенда! Нелепа она и в прямом, так сказать, ремесленном смысле, ибо увы! «знаменитостей» у нас слишком мало, чтобы какая-нибудь редакция могла спокойно расположиться на их плечах, а ведь материал-то для выпуска журнальной книжки в срок нужен. Но этого мало. Помимо всяких практических соображений редактор, именно потому, что ему приходится читать вороха подчас не только бездарных, а и безграмотных произведений, с особенною жадностью ищет в этой куче хоть проблеска таланта, хоть чего-нибудь, над чем бы могла отдохнуть его утомленная мысль и оскорбленное эстетическое чувство. О, конечно, редакторы могут ошибаться и неверно оценивать доставляемые им произведения, и это соображение может служить достаточным утешением для авторов непринятых произведений; а легенду о каком-то пренебрежении к новичкам, «неизвестным», «начинающим», следует бросить как совершенно нелепую...

В людях, обреченных на невидный и неблагодарный труд чтения не того, что им хочется читать, а того, что

они должны читать по обязанности, вырабатывается даже несколько злобное нетерпение: дескать, доберусь же я наконец до чего-нибудь настоящего, свежего, есть же они где-нибудь, эти таланты, а если нет сейчас, то объявятся завтра, послезавтра. И велика же бывает радость, когда наконец и в самом деле судьба пошлет что-нибудь оригинальное и сколько-нибудь значительное. Мне еще недавно пришлось напомнить читателям<sup>1</sup> о том восторге, которым Некрасов, Григорович и Белинский встретили «Бедных людей» Достоевского. Это история типическая, только расцвеченная особенностями возраста и темперамента действующих лиц.

И то же радостное чувство охватывает нашего брата, занимающего скромное, но ответственное положение сторожа при храме литературы, когда мы наталкиваемся на что-нибудь оригинальное и значительное не в рукописи, не для нашего журнала предназначенное, а уже напечатанное, в особенности когда автор принадлежит к числу «неизвестных», «начинающих». Конечно, всякий читатель встречает новый талант с удовольствием, но для нас яркость этого нового таланта особенно выделяется среди той неизвестной публике массы посредственных, бездарных и, наконец, безграмотных писаний, которую мы преодолеваем по обязанности. Мы способны даже преувеличить размеры и значение нового явления на литературном горизонте и были бы еще более склонны к подобным преувеличениям, если бы не воспитанный горьким опытом скептицизм: да, это хорошо, но будет ли эта искра разгораться и светить и греть, или завтра же потухнет, или занесет автора в те мрачные дебри, где «леший бродит» и где ненужно, да и невозможно никакое освещение? Все ведь это бывало...

И все это я пишу под свежим впечатлением только что прочитанного небольшого сборника «Рассказов» г. Леонида Андреева<sup>2</sup> — писателя, до тех пор мне совершенно неизвестного и во всяком случае «начинающего».

Форма небольших рассказов ныне в большой моде. Не проходит месяца, чтобы на книжном рынке не появилось несколько томиков «Рассказов», «Очерков и рассказов», «Маленьких рассказов», «Печальных рассказов», «Веселых рассказов» и т. п. В огромном большинстве случаев все это не возвышается над уровнем посредственности. Но самая форма, признанная,

по-видимому, заменить собою старый роман, конечно, вполне законна. Жалко немножко широких рамок романа, в которых могла так всесторонне отражаться жизнь, преломляясь в индивидуальности автора. Однако и в этом отношении дело «рассказов» не так уж плохо, как может показаться с первого взгляда. Мопассан и в маленьких своих рассказах, не связанных единством фабулы, умел отражать жизнь с разных сторон, накладывая на каждую картинку печать своей индивидуальности, своей «самости». А беда наших многочисленных творцов «маленьких рассказов», «сереньких рассказов» и т. п. состоит именно в том, что они не «сами». Они не имеют определенного «своего» угла зрения на те разрозненные явления жизни, которые совершенно случайно подвертываются под их перо. Только очень большой талант может при таких условиях выручить свою стихийную силу, но очень большой талант составляет и очень большую редкость. Немудрено поэтому, что появляющиеся на нашем книжном рынке бесчисленные сборники рассказов и очерков отличаются чрезвычайно тусклостью во всех отношениях — начиная с тусклости языка, хотя бы и насыщенного разными словоизлитиями, и кончая тусклостью содержания, хотя бы и переполненного кричащими эффектами.

Сборник рассказов г. Леонида Андреева резко выделяется из этой тусклой, серой массы. Их всего десять, этих рассказов (уже после выхода сборника я прочитал в «Журнале для всех» еще два рассказа — «Кусака» и «Случай»). Но, несмотря на это, вы ясно видите если не все черты и подробности физиономии автора, то по крайней мере несомненную оригинальность этой физиономии. Настоящую, подлинную оригинальность, а не подделку под нее, не ломающееся оригинальничанье, которого ныне развелось так много. Может быть — от слова не станется! — оригинальность г. Андреева, находящегося еще в начале пути, приведет его в конце концов в места не совсем здоровые, но можно, кажется, поручиться, что и в этом печальном случае он будет «сам». В нем находят нечто общее с Эдгаром По<sup>3</sup>. Это до известной степени верно, но огромная разница в том, что, за одним всего исключением (о нем потом), в рассказах г. Андреева нет ничего «необыкновенного», «странного», фантастического, таинственного. Все простые житейские случаи, даже тогда, когда в основе рассказа лежит тайна, как в рассказах «Молчание»

и «В темную даль». Здесь автор как бы закрывает половину своей картины, оставляя в неизвестности причины упорного «молчания» и самоубийства молодой девушки и удаления «в темную даль» молодого человека. Но ничего по существу таинственного здесь нет; этим приемом лишь выдвигаются на первый план душевные муки третьих лиц — родителей погибшей девушки и родственников неизвестно куда удалившегося молодого человека.

Творчество г. Андреева неровное. У него есть рассказы истинно превосходные, в которых ни прибавить, ни убавить, ни передвинуть ничего нельзя («Жили-были»), но есть и растянутые («Рассказ о Сергее Петровиче»). Не удаются ему дети («Ангелочек», «Валя»). Но, повторяю, везде и всегда он — «сам»; не только в смысле отсутствия подражательности в содержании и форме изложения, а и в смысле отсутствия той распушенности, которая побуждает большинство авторов «рассказов» плавать «без кормила и весла» по безграничному и бесконечно разнообразному морю жизни. У г. Андреева есть то, что можно назвать центром внимания, — дар высокой цены, если лучи, исходящие из этого центра, захватывают жизнь вширь и вглубь...

Невеселы рассказы г. Андреева. К смеху он совсем не склонен. Легкая улыбка — дальше он не идет в этом направлении, хотя некоторые из его сюжетов допускают и иную обработку, иной подход к ним. Читая его книгу, я уже с внешней стороны был поражен тем, как часто встречаются в ней слова и целые предложения, выражающие страх или отсутствие страха. Не то чтобы его тянуло рассказать непременно «страшные» истории — мы сейчас заглянем в одну историю, в которой нет ничего страшного и которая в другом освещении могла бы быть забавною, но и в ней страх играет важную роль. Просто страх, ужас и факты преодоления страха, сознательно или бессознательно, привлекают к себе его внимание, и, вероятно, именно этим он напоминает некоторым читателям Эдгара По. Может показаться, что эта тема до такой степени узка, что на ней мудрено построить целую серию рассказов. Но это зависит от того, как отнестись к теме, и я думаю, что с той точки зрения, на которой — повторяю, сознательно или бессознательно — стоит г. Андреев, это тема неисчерпаемая в своих комбинациях.

Смерть часто «косит жатву жизни» в рассказах г. Андреева («Большой шлем», «Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Жили-были»), а смерть — страшная штука. Но и жизнь бывает страшной штукой, как видно уже из того, что люди добровольно иногда меняют жизнь на смерть («Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче»). Страх смерти, страх жизни — уже эти две, грубо, так сказать, топором намеченные рубрики открывают обширные и разнообразные перспективы для поэтического творчества, а ведь есть и гораздо более тонкие оттенки. Мы увидим ниже, как у г. Андреева умирают люди, что они думают и чувствуют, приближаясь к той неизбежной точке, которую обрывают свою собственную работу, — по выражению нашего автора, «равнодушная слепая сила, вызвавшая нас из темных недр небытия»<sup>4</sup>. Сначала посмотрим, как люди жизни боятся.

Под заглавием «У окна» рассказывается история молодого мелкого чиновника Андрея Николаевича. В разговоре с некоей девицей Наташей он называет себя коллежским секретарем, но или это опечатка, или Андрей Николаевич хвастает. Чин на нем должен быть гораздо меньше: образование его ограничивается двумя классами реального училища, служебные обязанности состоят в переписке бумаг, товарищи прозвали его «Сусли-Мысли», а фамилия известна казначею, да и сам он в письме к той же девице Наташе называет себя чиновником «тринадцатого» класса<sup>5</sup>. Как бы то ни было, этот мизинный человек доволен своим положением, он по-своему хорошо, спокойно устроился у себя в комнате и в своей канцелярии. Вся сутолока жизни, весь ее шум, все ее тревоги идут мимо него, ему нет никакого дела до других людей с их скорбями и радостями, да им до него тоже дела нет. Но, говорит автор, «в созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживается от жизни, есть одно слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко». Главное — жутко, страшно. Конечно, такой страх наводят на Анд-

рея Николаевича не всякие мысли — он ими вообще не богат,— а те, которые в форме воспоминаний или предположений делают его участником жизни, ставят в ее шумный и вообще беспокойный и именно поэтому страшный водоворот.

Как раз против окна комнатки, которую Андрей Николаевич нанимал у пьяного пекаря, стоял красивый дом-особняк с зеркальными стеклами, загороженными тропическими растениями, вычурным фасадом и пр. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и представлять себе, как живут его обитатели и какое там множество всяких не виданных им роскошных вещей. Он знал в лицо и великолепного владельца дома, и его великолепную супругу, и ребенка, и кучера, и горничную. Наблюдения над домом и его обитателями наводили его на различные мысли. Так, при виде семилетнего сына владельцев дома, который с необыкновенною важностью позволял горничной усаживать себя в пролетку, Андрей Николаевич «искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонями на плечах, рождаются тем же простым способом, как и другие дети? Все подобные мысли не были, однако, отравлены ни единой каплей зависти, прискорбных или негодующих сравнений своего мизинного существования с этим блеском и роскошью. Андрей Николаевич был бесповоротно доволен своею тихою и незаметною жизнью или своим «отсиживанием от жизни». Но вот ему приходит в голову мысль, «что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены, и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему и не заговорит с ним и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илестом дне глубокого моря, и тяжелая темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ни-



чем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить».

Казалось бы, у такого человека могут быть страшные предположения и предвидения, но не может быть страшных воспоминаний, если только какой-нибудь трагический случай не разрезал его жизни пополам и не заставил его, как улитку, войти в свою раковину лишь во вторую половину своего существования. Такого трагического случая в жизни Андрея Николаевича, по-видимому, не было, он всегда быстро прятался в раковину при приближении опасности, а потому и должен бы быть гарантирован от нее. Но, по пословице «Резвый сам набезит, а на тихого бог нанесет», у Андрея Николаевича страшные воспоминания есть. Так, он с ужасом переживает мысль одно свое столкновение с начальством, столкновение, в котором он виноват только своим служебным усердием и которое, в его понимании, окончилось благополучно именно потому, что он, только что повышенный по службе, был, благодаря этому столкновению, возвращен в свое тихое, спокойное, безответственное писарское состояние. Но гораздо интереснее другое страшное событие в жизни Андрея Николаевича. У него был роман... Роман этот тоже кончился благополучно, в его вкусе благополучно, то есть ничего из него не вышло. Но и теперь, увидав на улице предмет своей бывшей любви — «вот баба-то! — ужаснулся Андрей Николаевич. — И слава богу, что я на ней не женился...»

Любовь окрыляет, поднимает тонус жизни. Даже птицы, гады, рыбы наряжаются в пору любви в яркие одежды и вооружаются разными воинственными приспособлениями. Как же это с нашим Андреем Николаевичем случилось? Это чрезвычайно любопытная история, богатая не столько внешними фактами, сколько душевными тревогами героя.

Первая встреча произошла на какой-то вечеринке. Наташа, по ремеслу папиросница, была красивая девушка, и любви ее многие добивались, в том числе некий Гусаренок, удалой и пьяный мастеровой. Наташа сама подсела к Андрею Николаевичу, заговорила с ним. Гусаренку это не понравилось, и девушка сочла нужным предупредить нашего героя, чтобы он остерегался забубенного мастерового: побьет. «Не смеет, я чиновник», — возразил Андрей Николаевич, и, действительно, нисколько не боялся. Он много и очень развязно раз-

говаривал. «Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или оставаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам. Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но когда за перегородкой у хозяйки он услышал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!». Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса».

Через два месяца они поцеловались и говорили друг другу ласковые слова, но из этого все-таки ничего не вышло. Когда «Сусли-Мысли» был возле Наташи, женитьба улыбалась ему, его захватывал тот инстинкт, который и птицу, и гада, и рыбу осмеляет, но в отсутствие девушки его брал ужас перед бесчисленными трудностями этого дела: надо к попу идти, шаферов искать, а они еще, пожалуй, не явятся вовремя, за ними ехать надо будет, потом в церковь ехать, а она вдруг заперта и сторож ключ потерял, потом квартиру нанимать, потом дети пойдут, и вдруг двойни... И пока он так «суслил-мыслил», Наташе надоело ждать и она вышла за Гусаренка. Андрей Николаевич почувствовал некоторую обиду, но и облегчение: чаша, полная беспокойств и волнений, миновала его... Так и доживает «Сусли-Мысли» свой век «у окна», тихо, спокойно, лишь изредка содрогаясь при воспоминании о тех страшных опасностях, которых он благополучно избежал, или при предвидении не менее страшных комбинаций обстоятельств, которых, впрочем — он наверное знает — никогда для него в действительности не наступит... Из других черточек, дополняющих образ Андрея Николаевича, отметим только одну еще: «Другие (чиновники) вон и благодарность принимают, а я не могу», — с гордостью заявляет он Наташе и прибавляет: «еще попадешься, грешным делом»...

«Рассказ о Сергее Петровиче» рисует нам фигуру в некоторых отношениях совершенно противоположную Андрею Николаевичу. Сергей Петрович — студент, бедный, некрасивый, ограниченный, бездарный, робкий, не способный ни к напряженной мысли, ни к сильному чувству, словом, во всех отношениях обделенный судьбою. Андрей Николаевич тоже не из богато одаренных, но он счастлив в своей раковине, где его только изредка навещают беспокойные думы о том, как страшно жить шумную жизнь или жениться, и очень доволен собой. Сергей Петрович, наоборот, вполне сознает свое круглое ничтожество и вместе с тем любит мечтать о каком-нибудь перевороте, который внезапно сделает из него красавца, умницу, богача. Любимым его чтением были «80 000 верст под водою» Жюль Верна и «Один в поле не воин» Шпильгагена, в которых он восторгается гордыми героическими личностями капитана Немо и Лео. В последнее время он увлекся еще «Заратустрой» Ницше, где его особенно поразила идея сверхчеловека — того, кто «полноправно владеет силою, счастьем и свободой» (всей книги он, впрочем, не дочитал). «Заратустра» был для него кнутом, который было заставил его выпрямиться, но в конце концов он, постоянно сравнивая свою серость с ярким блеском сверхчеловека, остановился на следующем изречении Заратустры: «Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть». Он решил умереть. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть — впервые за всю жизнь он испытал глубокую и горделивую радость раба, ломающего свои оковы. «„Я не трус“, — сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя и с гордостью принял». Накануне назначенного дня он испугался мысли о смерти, но скоро устыдился. «Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить, и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки, как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей». А затем Сергей Петрович отравился...

«Большой шлем». Трое мужчин и одна дама аккуратно три раза в неделю собирались для игры в винт, размещаясь за столом постоянно в одном и том же по-

рядке, так что партнеры не менялись. Замечу, что «Большой шлем» по тонкости отделки один из лучших рассказов в сборнике г. Андреева, но нас будут интересовать здесь только два игрока: Николай Дмитриевич, игравший с некоторою страстностью и тщетно мечтавший о «большом шлеме», и его неизменный партнер, методический Яков Иванович, никогда не игравший больше четырех. Вообще Николаю Дмитриевичу не везло. Но вот однажды ему повалила карта и наконец пришла такая, что если в прикупке попадет пиковый туз, то «большой шлем» готов. «Николай Дмитриевич протянул руку за прикупком, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку». Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, что, может быть, было результатом волнения, вызванного возможностью осуществления мечты о «большом шлеме». Но это была только возможность, прикупки своей Николай Дмитриевич не успел вскрыть; за него это сделал его неизменный партнер, Яков Иванович...

«Одно соображение, ужасное по своей простоте, потрясло художное тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь он никогда не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени ужасно, бессмысленно и непоправимо. Никогда не узнает. Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты — Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, — «шлем», а теперь все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда,— медленно, по слогам произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но оно было до того чудовищно и горько, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним, и со всеми. Он плакал — и играл за Николая Дмитриевича его картами и брал взятки одну за другой, пока не собрал их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич не узнает».

Яков Иванович с ужасом думает и о покойнике, и о том, что и ему, Якову Ивановичу, и «всем» предстоит смерть, но — любопытная черта — это не мешает ему доигрывать игру Николая Дмитриевича, жизнь продолжает прядь свою нитку даже в минуту особенно ясной мысли о неизбежности смерти. Жизнь хочет во что бы то ни стало, хотя, казалось бы, если смерть так страшна, то и жизнь страшна, уже просто потому, что она должна кончиться. Но мы знаем, что и помимо того жизнь бывает страшна — не только для ничтожного и смешного Сусли-Мысли, но и для ничтожного же, но не смешного, потому что сознавшего при холодном свете идеи сверхчеловека свое ничтожество Сергея Петровича, и для унесшей с собой в могилу тайну «молчания» молодой девушки. Далее, Николай Дмитриевич умер, не узнав, что к нему пришел «большой шлем», о котором он давно мечтал, и, собственно, это-то и внушает Якову Ивановичу скорбь. Ну, а если бы Николай Дмитриевич умер, не узнав о чем-нибудь тяжелом, неприятном, оскорбительном, — о своем разорении, о подлом коварстве друга, о смерти сына, об измене любимой женщины и т. п.? Скорбел ли бы тогда об его участи Яков Иванович? И потом: Яков Иванович печалуется за «всех», и это понятно в такой неопределенности. Но кто же может по совести сказать, что он никогда и никому не желал смерти и не думал о ней отнюдь не с печалью? Оставим убийц из мести, зависти, корысти; оставим наследников, с жадным нетерпением прислушивающихся к предсмертному хрипению стариков; оставим чиновный люд, ожидающий очищения вакансии, и проч. Припомним только одно из стихотворений Добролюбова:

Печальный вестник смерти новой,  
В газетах черный ободок  
Не будит горести суровой  
В душе, исполненной тревог.

. . . . .

Чьей смерти прежде трепетал я,  
Тех стариков уж нет давно;  
Что в старом мире уважал я,  
Давно все мной схоронено.

Ликуй же, смерть, в стране унылой,  
Все в ней отжившее рази  
И знамя жизни над могилой  
На грудах трупов водрузи!<sup>6</sup>

Страшно думать о том, что «нет великого Патрокла<sup>7</sup>, жив презрительный Терсит», но нет ничего страшного в том, что умирает «отжившее», заслоняющее свет. О, конечно, не все к лучшему в нашем, допустим, даже наилучшем из миров, много в нем «бесмысленного и жестокого», много ужасного, но в том виде, как он есть, обновление жизни, покупаемое ценою смерти «отжившего», не страшно. Дело не в возрасте, разумеется. Мы знаем светоносных стариков, смерть которых облекла бы нелицемерным трауром всю родную страну и даже далекие чужие страны. Но знаем и таких, которые свою жизнь сокращают сумму жизни на земле, жестоко и бессмысленно вырывая и давя ростки жизни; знаем и юных мерзавцев. И, конечно, не ужас и печаль должно вызывать их уничтожение.

Скажут: самому-то умирающему от этого не легче, он то все-таки жить хочет и всеми силами отпихивает от себя страшную картину своей смерти и похорон, которая с такую художественною отчетливостью рисовалась Сергею Петровичу (читатель найдет на странице 93). Раз возникшая жизнь упорно не сдается и до последней возможности, корчась от страданий, отстаивает свою форму, будь то форма могучего льва или ничтожной бактерии, гордой пальмы или смиренной бледной травинки. Однако как раз человек составляет исключение из этого общего правила. Он может так испугаться жизни, что предпочтет ей смерть. И кто знает, может быть, тот зловредный старик, который застит людям солнце и с бессмысленною жестокостью давит и рвет ростки жизни,— может быть, и он ужаснулся бы своей жизни, если бы его осияло сознание. «Вот она — смерть-избавительница»,— говорит измученный совестью волк в щедринской сказке<sup>8</sup>. А тот, другой, светоносный старик, одна мысль о смерти которого страшит нас,— боится ли он ее в такой же мере, в какой люди боятся за него? Может быть, но, уж конечно, не по тем мотивам, по которым щедринский волк так радостно встретил смерть. Блажен тот, кто почему бы то ни было может сказать: «Ныне отпускаеши раба твоего с миром, яко видеста очи мои спасение», и жалко, страшно умирать тому, кто чего-нибудь не добрал от жизни, не доделал чего-нибудь такого, во что душу свою клал — чего именно, это уж от свойств души зависит: Бокль, умирая, скорбел о том, что его «История цивилизации» останется недописанной, Яков Иванович

страдал за Николая Дмитриевича, потому что тот «большого шлема» не дождался, иной дома не достроил, детей в люди не успел вывести, не совершил подвига, к которому готовился, и проч., и проч. Никто не может с полною уверенностью сказать, как он встретит смерть. Еще старик Монтень заметил<sup>9</sup>, что можно путем опыта закалиться против физических страданий, против унижений и т. п., но в деле смерти все мы — неопытные новички. Однако, по чисто теоретическим соображениям, можно, кажется, утверждать, что смерть не страшна человеку, так или иначе доплывшему до своего берега, взявшему от жизни все, что он мог с нее взять по своим аппетитам и силам, и, напротив, ужасна в своей бессмысленной жестокости, когда косит то, что сознает свое право расти и цвести...

Г-н Андреев и к жизни, и к смерти подходит больше с этой последней стороны, со стороны их бессмысленной жестокости. «Жили-были» — это не только заглавие едва ли не лучшего из его рассказов, а и как бы итог всех их. Миллионы людей вызываются «равнодушной слепой силой из темных недр небытия» и опять в эти недра ввергаются. Какой смысл в этом возникновении и уничтожении? Вот, например, купец Кошеверов. Он на своем веку много ел, много любил женщин, много работал, но «все, что было в нем силы и жизни, все было растрчено и изжито без нужды, без пользы, без радости... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькой обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе». И вот он умирает. «Он не хотел жизни и не боялся смерти». Но когда смерть совсем близко подступила, он обозлился: растравил злым намеком соседа по больнице — студента, которого давно не навещала любимая девушка; злобно открыл глаза другому соседу, добродушному, жизнерадостному дьякону, который думал, что он поправляется, тогда как ему оставалось жить несколько дней. Но когда дьякон заплакал, пораженный этой вестью, он размяк. На его вопрос, о чем дьякон плачет, смерти что ли боится, — тот ответил, что не смерти боится, а «солнышка жалко... Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии светит... За ми... За милую душу!» Тогда заплакал и купец. «Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив»,

которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти».

Вы понимаете, что дьякону, которого радуют и вобрей, и солнце, который с умилением вспоминает о четырехлетнем внуке, и о том, какая у него чудная яблоня в саду растет, и какой «сладостный» квас у него, который мечтает, выздоровев, к троице сходить, соборы осмотреть и пр., — вы понимаете, что ему жизнь действительно «мила» и расставаться с ней тяжело. И нам вчуже обидно за него, не успевшего, по воле бессмысленной судьбы, наглядеться на внука, вдоволь нарадоваться солнцу и т. д. Но купец Кошеверов, можно сказать, объелся жизнью, и если он злобствует и плачет, так вспоминая свою жизнь, в которой не было даже тех маленьких, но настоящих радостей, которые знакомы простоватому дьякону. Есть вещи гораздо страшнее смерти купца Кошеверова... Одну из них рассказывает г. Андреев под заглавием «Ангелочек».

Рассказ этот несколько испорчен неудачной фигурой мальчика, стоящей в центре. Но зато у этого рассказа удивительный по красоте и трагической значительности конец. Действующие лица: тринадцатилетний мальчик Саша, выгнанный из гимназии за безобразное поведение; его отец, когда-то учитель и земский статистик, давно опустившийся и ныне непьющий, потому что уже не может пить — болен и почти не встает с лежанки; мать — Феоктиста Петровна, пьяная и грубая баба, ненавидящая статистиков, книги и вообще все, что напоминает лучшее прошлое мужа. В доме ад. Отец «ежится от постоянного озноба и думает о несправедливости и ужасе человеческой жизни». Сашке временами хочется «перестать делать то, что называется жизнью», а в ожидании он всем грубит, дерзит, дерется и только в его отношениях к отцу из-под грубой оболочки сквозит что-то доброе. Надо сказать, что в грубости Сашки автор пересолит, это грубость ненастоящая, деланная. Как бы то ни было, в этом аду появляется ангел — «ангелочек». Когда-то отец Сашки давал уроки у неких Свечниковых и любил сестру хозяйки, но случился у них грех с дочерью квартирной хозяйки, Феоктистой Петровной, и он женился, а затем и та, любимая девушка, Софья Дмитриевна, вышла замуж. Но Свечниковы сохранили к нему добрые отношения, помогали ему и пригласили однажды Сашку к себе на елку. Сашка вел себя там, по обыкновению, безобразно, давая



волю своей озлобленности, но вдруг увидал на елке то, «чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые». Это был ангелочек, искусно сделанный из воска. Сашка не понимал, что влечет его к этой игрушке и почему она так поразила его, но он не мог от нее оторваться и, чередуя грубость с унижением, выпросил ангелочка и тотчас же ушел домой. Там ждал его отец, и вот, при свете кухонной лампочки, отживший старик и почти не живший мальчик любят на ангелочка. Старику чудится в нем ласка любимой и навсегда потерянной для него женщины и весь тот светлый мир, в котором она живет; думы мальчика туманнее, неопределеннее, для него только «исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный, жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски». Долго любовались в каком-то благоговейном экстазе отец и сын ангелочком. Наконец легли спать, а ангелочек «был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафель; так его могли видеть оба, и Сашка, и отец», пока не заснули...

«Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек вострепнулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко ангелочка и, дернув усиками, побежал дальше...»

Автор не рассказал нам, что почувствовали отживший старик и не живший мальчик, когда, проснувшись, увидели, что случилось с ангелочком. Автор, заставивший Сергея Петровича пережить картину его собственных похорон, рассказавший много и других страшных вещей, затруднился изобразить муки этих людей, для которых на мгновение мелькнул в аду луч света, никогда не виданный мальчиком, давно забытый стариком. Не потому ли опустил здесь автор занавес, что пробуждение старика и мальчика должно оказаться страшнее всякой смерти? В самом деле, к страху смерти приплещается много посторонних примесей. Тут и страх физи-

ческих страданий привходит, и страх воздаяния в загробном мире, и форма похоронного обряда действует (в странах, где трупы сжигаются, а не зарываются в землю, подвергаясь медленному и эстетически неприятному процессу разложения, смерть имеет, конечно, совсем другой облик). И вот если отвлечь все эти осложняющие элементы, то на долю собственно уничтожения, прекращения бытия останется не так уж много, по крайней мере для людей, которые живут в аду и которых среди этого ада посетило «мимолетное виденье» идеала, чтобы в следующую минуту вновь погрузить в холод и мрак. Все равно, в чем состоит этот идеал, воплотился ли он в личности, или остался бесплотной идеей, или кристаллизовался в общественную форму, — под этого воскового ангелочка можно подвести любой вид идеала. Он умилил ожесточенное сердце мальчика и отогрел измученное сердце старика — и исчез, растаял... Страшнее этого ничего быть не может. И мне опять припоминается одна из сказок Щедрина, «Баран непомнящий». Баран этот, как известно, увидел какой-то загадочный, взволновавший его сон (потом оказалось, что он «вольного барина» видел), сон стал повторяться, а баран тосковать, и когда он наконец понял значение сна, «сильное, потрясающее бляенье вырвалось из его груди... Он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим взором его развернулась сладостная тайна его снов... Еще минута, и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю». У озлобленного Сашки и его жалкого отца, когда они, проснувшись, увидели бесформенную кучку воска вместо ангелочка, должно было вырваться нечто в роде потрясающего бляенья барана непомнящего. Г-н Андреев уклонился от изображения этого ужаса. И я думаю, что он поступил правильно: в деле «страшного» есть границы, переступая которые художник безнужно терзает нервы читателя, и все-таки ни на волос не усиливая правды поэтического воспроизведения жизни. А г. Андрееву дорога правда и, может быть, ему самому недешево обходится...

Среди его житейски простых по своей фабуле рассказов есть один, сильно меня смущающий. Смущает он меня потому, что в нем сквозит какая-то опасность для дарования автора. Он называется «Ложь». Я не берусь передать его содержание. Это что-то вроде монолога

душевнобольного, в котором беспорядочным вихрем носятся фантастические образы, переплетаясь с реальной действительностью. «Спасите меня, спасите!» — так оканчивается рассказ, слишком напомнив этим концом гоголевского Поприщина: «Матушка, спаси своего бедного сына!» Но подлинного сумасшествия во «Лжи» так же мало, как и в «Записках сумасшедшего». Задача рассказа состоит, по-видимому, исключительно в красивой передаче известного тяжелого настроения, отрешенного от каких бы то ни было определенных форм действительности, вызвавшей это настроение. В хаосе образов и картин, проносящихся перед читателем, явно слышится только одно слово: «ложь, ложь, ложь». Любимая женщина лжет рассказчику, он требует правды, но она сама ее не знает; «освященные окна высокого дома» советуют ему «своим красным и синим языком» убить ее, потому что таким образом он убьет ложь; но когда он хватается за нож, окна говорят ему: ты никогда не убьешь ее, потому что оружие в твоих руках такая же ложь, как ее поцелуи; однако он убивает ее, но ложь остается бессмертной; он хочет уйти туда, «куда она унесла правду и ложь и где «темно и страшно», и там потребовать от нее правды; но сейчас же соображает, что и это ложь: «там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее, и нет нигде». «О, какое безумие быть человеком и искать правды! Какая боль!»

Я не знаю, что может значить эта «Ложь», кроме настроения отчаяния, вызванного невозможностью добиться правды. Может быть, лгущая женщина даже ни при чем в самом центре драмы (она и сама не знает правды о себе, и ей это страшно). Может быть, это — настроение художника, тщетно старающегося уловить и выразить словом истинный смысл жизни в бесконечной пестроте ее явлений. Недаром г. Андреев говорит в одном месте о «непередаваемых красках жизни и смерти»<sup>10</sup>. Да, слово оказывается часто слишком бедным для выражения мыслей и чувств, в которых и в самих так много противоречий, что и сам мыслящий и чувствующий не всегда может различить свою правду. Но ведь художнику слова все равно приходится орудовать словом. Настроение, отрешенное от определенных форм действительности, его вызвавшей, и потому разрешающее себе облекаться в формы совсем неподходящие, заражает в последние годы довольно

обширную область поэзии. Поэты ищут таких звуков, которые, хотя бы и лишенные всякого логического смысла, давали в своих сочетаниях известное настроение. Это отрешенное, так сказать, чистое, беспримесное настроение надо предоставить музыке, а когда господа декаденты называют себя символистами, то они забывают, что символы в поэзии так же стары, как сама поэзия, да вот и восковой ангелочек символ, но смысл его совершенно ясен. Я не могу этого сказать о «Лжи». Этот странный рассказ представляется мне маленьким темным облаком на светлом будущем г. Андреева как художника. Вопрос в том, разрастется ли это облачко в мрачную тучу, которая весь горизонт закроет, или, набежав на мгновение, рассеется в пространстве.

Говоря о светлом будущем, предстоящем г. Андрееву как художнику или по крайней мере возможном для него ввиду его оригинального таланта, я не смущаюсь мрачным характером его книги о жизни и смерти, как можно бы было назвать сборник его рассказов. В слепой и равнодушной силе, рождающей и убивающей нас, нечего искать разума и справедливости — таков итог наблюдений и впечатлений нашего автора. Но человек может внести в то кольцо, которым смыкаются жизнь и смерть, — и разум, и справедливость. Сумел же — по своему, конечно — разрешить задачу жизни и смерти Сергей Петрович. А ведь он ничтожество. Для него было «закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокою, человеческой... Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, — работать для людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, и никогда не суждено ему было испытывать жгучее наслаждение борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что читится всем миром как святыня...»

Как видите, в этих нескольких строках намечен целый ряд мотивов — и не все мрачных — для новой книги о жизни и смерти, которую хочется поскорее прочесть. Лишь бы благополучно рассеялось облачко, имя которому «Ложь»...

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Печатается по изданию: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957.

Первая редакция этой работы составляла VII, IX, X и XI разделы цикла Михайловского «Записки профана» (1875—1877), которые были опубликованы в майском, июньском и июльском номерах «Отечественных записок» за 1875 г. В собраниях сочинений Михайловский печатал цикл полностью, но в 1887 г в первом выпуске «Критических опытов» он выделил эти разделы цикла под названием «Десница и шуйца Льва Толстого» как самостоятельное сочинение, сократив и переработав текст указанных разделов.

Причины этой переработки Михайловский объяснял тем, что отдельные очерки «Записок профана» были насыщены многочисленными отступлениями и «полемическими экскурсиями». «Для предполагаемой книжки,— писал Н. К. Михайловский,— я постарался все это устранить, тщательно выделив лишь то, что относится к характеристике графа Л. Н. Толстого. Однако следы первоначального облика всей работы там и сям сохранились, и я прошу читателя снисходительно отнестись к возникшим отсюда неровностям и шероховатостям, обнаруживающимся уже при самом приступе к делу: подробности специально педагогической распри, из-за которой сыр-бор загорелся, я старался устранить по возможности совсем» (Михайловский Н. К. Критические опыты. СПб., 1887. Т. 1. С. 3).

В «Литературных воспоминаниях...» Михайловский так писал об истории создания своей первой крупной работы о Толстом: «В 1874 г. гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом (оно у меня сохранилось), в котором просил, чтобы «Отечественные записки» обратили внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в московском комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило в редакции большой интерес. Собственно Некрасов не особенно высоко ценил спор о преподавании грамоты в народных школах, но гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой,

разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу, и Некрасов, как опытный журналист, хорошо понимал значение сотрудничества автора «Войны и мира». (...) В конце концов порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в «Отечественных записках»: он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтоб отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действия. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме Некрасову он повторял уверенность, что у него с «Отечественными записками» никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам высказался. Я взял на себя труд познакомиться с делом, и мы обменялись по этому случаю с гр. Толстым несколькими письмами. Я взялся сначала именно только познакомиться с делом, отнюдь не обязываясь писать о нем, и взялся не потому, чтобы очень интересовался вопросом о методах преподавания грамоты, а просто в качестве горячего почитателя гр. Толстого как художника (...) Действительно, я добросовестно принялся за разные методички, учебники, статьи, посвященные вопросам о методе звуковом, буквослагательном и проч., в том числе и за старые педагогические статьи гр. Толстого, составляющие четвертый том его сочинений. На все это, при обилии других занятий, потребовалось столько времени, что гр. Толстой меня не дождался: статья его «О народном образовании» была напечатана в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1874 г. и вызвала целую бурю как в общей, так и специально-педагогической литературе. Я же мог утилизировать плоды своего педагогического изучения только в январе 1875 года. (...) Изучив четвертый том сочинений гр. Толстого, на который я прежде, вместе с большинством читателей, обращал очень мало внимания, я был поражен смелостью, широтой, искренностью взглядов автора, весьма далеких от элементарной педагогической техники. Для меня это было целое открытие, и легко убедиться, что не для одного меня. (...) Да и весь четвертый том проникнут таким бурным и глубоким демократизмом, таким «культом народа», как сказал бы, не совсем, впрочем, правильно, г. Боборыкин, что упомянутые восторги критики можно было объяснить только незнакомством с подлинными взглядами г. Толстого» (Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1905. Т. 1. С. 199—201).

Подробнее об отношении Михайловского и редакции «Отечественных записок» к Толстому и о полемике, разгоревшейся вокруг их статей, см. в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Семидесятые годы» (Л., 1974. С. 40—65).

Цитируя Толстого, Михайловский ссылается на издание: Толстой Л. Н. Соч. М., Т. 4. 1873.

<sup>1</sup> Он (Магницкий — Б А) отрицал университеты — М Л Магницкий (1778—1855), попечитель Казанского учебного округа и университета, член Главного управления училищ, в частности, в докладе о ревизии Казанского университета обвинил его состав в безнравственном и безбожном направлении преподавания и потребовал немедленной ликвидации университета

<sup>2</sup> В И Аскоченский (1813—1879), писатель, публицист, журналист, издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения», автор антинигилистического романа «Асмодей нашего времени» (1858) Был постоянным объектом насмешек демократической журналистики В С Курочкин посвятил ему стихотворение «Печальный рыцарь тьмы кромешной» (1861)

<sup>3</sup> Даже г Страхов, которого трудно представить рядом с гр Толстым иначе как в коленопреклоненной позе, даже и тот хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти — Говоря о «коленопреклоненной позе», Михайловский скорее всего имеет в виду предисловие к книге литературного критика, философа и публициста Н Н Стрхова (1828—1896) «Критические статьи об И С Тургеневе и Л Н Толстом», в котором Страхов писал «Задолго до нынешней славы Толстого, до восторгов, вызванных его произведениями за границей и повторенных у нас я почувствовал великое значение этого писателя Во всяком случае, я могу сослаться на этот факт как на доказательство живости и независимости чувства, внушавшее мне поклонение, которое я с тех пор исповедываю» (СПб, 1885 С IV) В том смысле, о котором пишет Михайловский, можно истолковать следующие слова в отзыве Стрхова о статье Толстого «Не мудрено, что эта статья возбудила всеобщее внимание таково уж свойство всего, что пишет гр Л Н Толстой Сила его заключается не в необычности содержания, не в эффекте изложения, а в той простоте и искренности » (Там же С 392 )

<sup>4</sup> Е Л Марков (1835—1903), писатель, критик, публицист, педагог, в 1859—1870 гг учительствовавший в Туле, выступил в «Русском вестнике» (1862 № 5) с критикой взглядов Толстого, выраженных им в статье «О народном образовании» (Ясная Поляна 1862 № 1)

<sup>5</sup> В Московском обществе любителей российской словесности кто то читал отрывок из ненапечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной» — 16 февраля 1875 г на заседании Общества поэт и критик Б Н Алмазов (1827—1876) прочел по корректурам журнала «Русский вестник» XXX главу первой части «Анны Карениной» Отчет о заседании Общества и посланная Толстому телеграмма были опубликованы в «Московских ведомостях» и «С -Петербургских ведомостях» Об этом см Гусев Н Н Л Н Толстой Материалы к биографии с 1870 по 1881 год М., 1963 С 369

<sup>6</sup> *Вот и г. Бунаков... пишет, что... статья гр. Толстого есть сплошная нелепость...*— Статья видного представителя звукового метода обучения Н. Ф. Бунакова (1837—1904) «Письмо редактору „Семьи и школы“» действительно была написана в резком тоне. Впоследствии Бунаков признал справедливость ряда положений статьи Толстого.

<sup>7</sup> *...против версальского склада жизни...*— то есть богатой и пышной жизни французской придворной аристократии до революции 1789 г.

<sup>8</sup> *Декларации прав...*— Имеются в виду Декларация независимости Соединенных Штатов, принятая в Филадельфии в 1776 г. в период национально-освободительной Войны за независимость Северной Америки, и Декларация прав человека и гражданина, провозглашенная Учредительным собранием в начале Великой французской революции в 1789 г.

<sup>9</sup> *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781).

<sup>10</sup> *Кифа Мокиевич* — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души», любитель пустых и многословных рассуждений.

<sup>11</sup> *Рипост* (фр.) — ответный выпад.

<sup>12</sup> *Спенсер сочиняет социологию... а радикалу и торию говорит: благодарю вас за все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут...*— Михайловский имеет в виду следующую цитату из труда Г. Спенсера «Изучение социологии», которую он приводил и комментировал в «Записках профана»: «Для радикала очевидно, что предрассудки тория не позволяют ему видеть много зла в настоящем и добра в будущем. Для тория не подлежит сомнению, что радикал не сознает добра, скрытого в учреждении, которое хочет он уничтожить, и не умеет понять зла, которое должно произойти от перемены, предлагаемой им. Ни тому, ни другому не приходит в голову, что его противник играет не менее полезную роль, чем он сам» (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909—1913. Т. III. С. 371. В дальнейшем: Михайловский Н. К.).

<sup>13</sup> Автором статьи был видный теоретик народничества, философ и социолог П. Л. Лавров, в 1870 г. бежавший из ссылки за границу и поэтому публиковавший свои работы в «Отечественных записках» без подписи.

<sup>14</sup> *...все идет к лучшему в сем наилучшем из миров...*— ставшие афоризмом слова Панглоса из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

<sup>15</sup> В третьей главе первой части пятитомной «Истории Англии от востшествия на престол Якова II» ее автор, английский историк, публицист и общественный деятель Т. Б. Маколей (1800—1854), писал о торжестве прогресса в английской жизни.

<sup>16</sup> Английский экономист и священник Т. Р. Мальтус (1766—1834) в своем труде «Опыт о законе населения» (1798) доказывал, что бедность является следствием постоянно возрастающего



несоответствия между средствами существования и численностью населения, и призывал принять меры для урегулирования размножения человечества.

<sup>17</sup> *Сволбка* — деталь ручного ткацкого станка.

<sup>18</sup> А. Гергей (1818—1916), главнокомандующий венгерской армией во время революции 1848—1849 гг., в августе 1849 г. капитулировал перед русскими войсками, посланными Николаем I для подавления революции, заявив при этом, что он предпочитает сдаться скорее России, чем Австрии.

<sup>19</sup> Романы Н. А. Чаева (1824—1914) *«Богатыри»* из времен Павла I и *«Пугачевцы»* графа Салиаса де Турнемир (1840—1908, печатался под фамилией *Салиас*) были опубликованы в 1873 г

<sup>20</sup> *...Скабичевский... далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром»... и «Пугачевцами» и «Богатырями»...* — В статье «Литературные противоречия» (Отеч. зап. 1874. № 3) А. М. Скабичевский писал: «Г. Салиас и Чаев сумели вполне отрешиться от собственных физиономий: их самих вы тщетно будете искать в романах, вы найдете в них вездесущее присутствие одной только личности — гр. Толстого, у которого романисты взяли все, что только можно взять, — характеры, сцены, мотивы, философию...» (С. 22).

<sup>21</sup> Имеется в виду программная формула министра народного просвещения с 1833 по 1849 гг. С. С. Уварова (1786—1855). В «Циркулярном предложении управляющего министерством народного просвещения Уварова по поводу вступления его в управление министерством» говорилось: «Общая наша обязанность состоит в том, что народное образование, согласно с высочайшим намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности».

<sup>22</sup> *...Страхов... старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа...* — Н. Н. Страхов, в частности, писал, что «нигилизм Герцена есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца» (Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 122).

<sup>23</sup> *...если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого... он потщится свалить Петра с пьедестала как личность...* — 20 февраля 1873 г в петербургской газете «Биржа» появилось сообщение, перепечатанное на следующий день в «С.-Петербургских ведомостях», о том, что Толстой «занят в настоящее время собиранием исторических материалов для нового романа с широко задуманным планом из времен императора Петра Великого». «Героем романа будет державный преобразователь России. До настоящего времени более двух третей материала уже собраны, а равно и написаны первые главы романа». Несмотря на большую подготовительную работу, Толстой романа о Петре I не написал.

В первоначальных набросках отношение к Петру I благоприятное, позднее Толстой чаще оценивал его личность отрицательно. Об этом см: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 114—117, 127—132.

<sup>24</sup> В. А. Полетика (1820—1888) — инженер, владелец сталелитейного завода, издатель газет «Биржевые ведомости», «Молва». А. В. Никитенко писал, что он говорил «очень легко, живо и умно» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 476).

<sup>25</sup> ...о тех жеужмах, которые получили название «почвенников», — умалчиваю о головоногих «Гражданина». — Идеологи почвенничества Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов обвиняли Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского в «кабинетном» теоретизировании, незнании народа, в стремлении обнаружить в русском крестьянстве готовность к революции. Совпадая во многом со славянофилами, «почвенники» не отрицали целиком и западничества. С начала 1873 г. по апрель 1874 г. Достоевский редактировал политическую и литературную газету-журнал «Гражданин», основанную в 1872 г. князем В. П. Мещерским, в критико-библиографическом отделе которого сотрудничал Н. Н. Страхов. Руководители «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин и Михайловский резко критически относились к идеологической позиции «Гражданина».

<sup>26</sup> ...назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так... — такую характеристику Н. Н. Страхов дал Э. Ренану в статье 1872 г. «Ренан». Приведенные ниже высказывания Ренана Михайловский цитирует по этой же статье. См.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 290, 277.

<sup>27</sup> ...Страхов... преклоняет колена перед г. Н. Данилевским... — Н. Н. Страхов высоко ценил исследование участника кружка Петрашевского, ученого, публициста и философа, близкого к славянофильству и почвенничеству, Н. Я. Данилевского (1822—1885) «Россия и Европа», вышедшее отдельной книгой в Петербурге в 1871 г. К этому изданию Страхов написал предисловие. Об отношении Страхова к Данилевскому Михайловский писал: «Г-н Страхов... ухватился обеими руками за грошовые положения г. Данилевского. Это для него какая-то манна, которой он ждал, сорок лет странствуя в пустыне. Идет ли речь о Дарвине, г. Страхов пишет: эта сторона учения Дарвина блистательно объяснена в книге Н. Я. Данилевского. Идет ли речь о Ренане — г. Страхов замечает: можно подумать, что Ренан только прочел книгу Н. Я. Данилевского» (Михайловский Н. К. Т. 1. С. 724).

<sup>28</sup> На гнилом западе мало ли что делается. — Михайловский иронизирует над ставшим широко распространенным благодаря славянофилам мнением о «загнивающем западе», которое поддерживал и Н. Я. Данилевский, писавший: «Сама мысль, высказанная славяно-

филами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною...» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1871. С. 75).

<sup>29</sup> Михайловский имеет в виду статьи писателя и публициста, автора «антинигилистических романов» В. Г. Авсеенко (1842—1913) об «Анне Карениной» в ежедневной общественно-политической и литературной газете «Русский мир», издававшейся в Петербурге с 1871 по 1880 гг., где, в частности, говорилось: «Отличительная черта таланта гр. Л. Толстого... заключается именно в том, что он умеет находить этих людей, сохраняющих среди новых общественных наслоений лучшие предания старого культурного общества» (1875. № 34). «Эта обособившаяся жизнь, чуждая интересов и волнений толпы, кажется большинству современных читателей совершенно бессодержательною и пошлою. На самом деле она, конечно, не такова. ...Вся прелесть жизни сводится к сохранению ее прежних очарований, к поддержанию живучести преданий» (1875. № 69).

<sup>30</sup> ...«науки, им ослушной, суеты и пустоты!»— из стих. Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835). У Баратынского: «Воспеваает, простодушный, /Он любовь и красоту, /И науки, им ослушной, /Пустоту и суету».

<sup>31</sup> Подробно о выступлениях названных педагогов с точным указанием их статей Михайловский писал во 2-м разделе «Записок профана» «Буря в стакане педагогической воды» (Михайловский Н. К. Т. III. С. 294—330).

<sup>32</sup> ...«птенцов гнезда Каткова»...— иронически переосмысленная строка из поэмы Пушкина «Полтава» «птенцы гнезда Петрова».

<sup>33</sup> Книга общественного деятеля, публициста и педагога Н. А. Корфа (1834—1883) «Наш друг. Книга для чтения учащихся в школе и дома и руководство для обучения родному языку» впервые вышла в 1872 г., а затем многократно переиздавалась. Из четвертого издания (СПб., 1876) Корф изъясил главы, которые критиковал А. А. Цветков.

<sup>34</sup> Михайловский цитирует один из предлагаемых для детского чтения текстов из книги И. Д. Белова «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, для чтения в гимназиях, учебных семинариях и городских училищах» (СПб., 1873. С. 36).

<sup>35</sup> Михайловский иронизирует над методом наглядного обучения, одним из сторонников которого был известный педагог Н. Ф. Бунаков (1837—1904), и предлагаемыми им в качестве примера вопросами ученикам, частично процитированными в статье Толстого «О народном образовании».

<sup>36</sup> Имеется в виду статья Е. Л. Маркова «Софисты XIX века» о «нравственном достоинстве адвокатуры» (Голос. 1875. 5 и 6 апр.).

<sup>37</sup> Слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. 2, явл. 4).

<sup>38</sup> В Евангелии лицемеры сравниваются с «*гробами повапленными*», то есть раскрашенными, которые «снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Матф., 23: 27).

<sup>39</sup> ...*Мальбругу-Маркову не стоило бы в поход ехать...*— намек на популярную французскую шуточную песню «Мальбруг в поход собрался...», названную по имени ее героя английского герцога Мальборо, которую, по воспоминаниям современников, любил напевать Наполеон.

<sup>40</sup> «*Мы все, вверху стоящие...*» — неточная цитата из стих. А. Н. Майкова «Вопрос» (1874), входящего в цикл «Вечные вопросы». У Майкова: «Мы все, хранители огня на алтаре, / Вверху стоящие, что город на горе, / Дабы всем виден был!»

<sup>41</sup> *Если бы вы были чем-нибудь вроде г. Скальсковского...*— Михайловский неоднократно полемизировал с инженером, секретарем Общества для содержания русской промышленности и торговли, путешественником и публицистом К. А. Скальсковским (1843—1905), в частности по поводу его писем с Московской политехнической выставки (Отеч. зап. 1872. № 8), упрекая его в непоследовательности и противоречивости.

<sup>42</sup> Автор статьи, этнограф, археолог и писатель Н. М. Ядринцев (1842—1894), пересказывал мысль автора книги «Наследственность таланта, ее законы и последствия» (1869) английского психолога и антрополога Ф. Гальтона (1822—1911).

<sup>43</sup> ...*те немногие, которые об этом знают...*— цитата из первой части «Фауста» Гете.

<sup>44</sup> Имеется в виду картина А. А. Иванова «Явление Христа народу».

<sup>45</sup> ...*Писарев доказывал, что Шекспир неразвит, потому что верит в привидения, и что Щедрин неразвит, потому что не занимается популяризацией естественных наук...*— В статье «Мотивы русской драмы» (1864) Писарев писал, что «средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы». В статье «Цветы невинного юмора» (1864) он указывал Щедрину: «Если бы Добролюбов был жив... он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии... но г. Щедрин, разумеется, этого не понимает... И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем».

<sup>46</sup> ...*я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что наше сельское хозяйство подлежит развитию.*— Михайловский имеет в виду точку зрения юриста, публициста, предводителя дворянства Петербургской губернии В. П. Орлова-Давыдова (1809—1882), высказанную им, в частности, в статье «Земледелие и землевладение» (Вестн. Европы.

1873 № 6), с которой он резко полемизировал в «Письме к графу В Орлову-Давыдову» (Отеч зап 1873 № 9)

<sup>47</sup> автор с комической серьезностью уверяет, что он впервые разоблачает с этой стороны «Войну и мир» — Автор статьи (возможно, им был П Ткачев) писал «Если бы наша критика была несколько попроницательнее и посмелее, она увидела бы очень ясно, что в шести томах великой и «вековечной» эпопеи гр Толстой с настойчивой развязностью старается доказать, что так называемая гражданская деятельность, так называемые политические стремления, предпринимаемые во имя принципа цивилизации, в сущности представляют призрачный вздор » (Дело 1875 № 5 С 24)

<sup>48</sup> «сильной и плодovitой самки» Наташи Безуховой — В X главе первой части Эпилога романа «Война и мир» о Наташе говорится, что в ней была видна «сильная, красивая и плодovitая самка»

<sup>49</sup> Фребелевские сады — Немецкий педагог Ф Фребель (1782—1852) выдвинул идею организации детских садов и разработал методику преподавания в них

<sup>50</sup> Конттовой классификацией наук — Французский философ, основоположник позитивизма О Конт (1798—1857) в соответствии с принципом возрастания сложности предложил следующую группировку всех наук 1) математика, 2) астрономия, 3) физика, 4) химия, 5) биология, 6) социология

<sup>51</sup> Книга историка и юриста М Ф Владимирского-Буданова (1838—1916) вышла в Ярославле в 1874 г

<sup>52</sup> Ф И Янкович де Мириево (1741—1814), педагог, серб по происхождению, в 1782 г был приглашен в Россию как крупный специалист по народному образованию Под его руководством был разработан план школьной реформы, принятый по уставу 1786 г, автор «Руководства учителям первых и вторых классов народных училищ» (1783) и других пособий

<sup>53</sup> по схеме Крыжанича — Имеется в виду система историка, хорвата по происхождению, Ю Крыжанича (1617—1683), изложенная им в сочинении «Политика», изданном в Петербурге в 1860 г Михайловский пересказывает ее по книге Владимирского Буданова

<sup>54</sup> Рецензия историка и юриста И Е Андреевского (1831—1891) опубликована в первом «Сборнике государственных знаний» за 1874 г, выходившем ежегодно до 1880 г

<sup>55</sup> Труд немецкого естествоиспытателя Э Геккеля (1834—1919) «Общая морфология организмов» (1866) Михайловский читал в подлиннике

<sup>56</sup> «Солдаткино житье» — О том, как был написан этот рассказ, впервые опубликованный в «Ясной Поляне» (1862 № 9), см «Воспоминания о Л Н Толстом ученика Яснополянской школы» В С Морозова (1848—1912), названного в статье Толстого «Федькой» (Л Н Толстой в воспоминаниях современников М, 1978 Т 1 С 147—148)

<sup>57</sup> ...*один из пещерных критиков гр. Толстого...*— Цитируемая статья «По поводу нового романа графа Толстого» была подписана инициалом «А» и принадлежала писателю и критику В. Г. Авсеенко (1842—1913).

<sup>58</sup> *«У меня четырнадцать прадедов крестьян...»*— Это высказывание французского социолога П. Ж. Прудона (1809—1865) приводится в книге Ю. Жуковского «Прудон и Луи Блан» (СПб., 1866. С. 1). Михайловский также высоко отзывался о биографии Прудона, написанной Сент-Бёвом.

<sup>59</sup> *Франциль Венециан* — «История о храбром рыцаре Франциле Венециане и о прекрасной королеве Ренцивене», произведение лубочной литературы на сюжет западно-европейского рыцарского романа, написанное А. Филипповым (М., 1787) и затем многократно переиздававшееся.

<sup>60</sup> В. И. *Водовозов* (1825—1886) был автором многих методических пособий и практических руководств по педагогике: «Словесность в образах и разборах» (СПб., 1868); «Книга для первоначального чтения в народных школах» (СПб., 1871); «Книга для учителей» (1871) и др. Подробнее о нем см. вступительную статью В. С. Аранского «Педагогическая деятельность и педагогические взгляды В. И. Водовозова» в кн.: *Водовозов В. И. Избранные педагогические сочинения.* М., 1986.

## ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

Впервые — Отеч. зап. 1882. № 9, 10. Печатается по изданию: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957.

<sup>1</sup> См. ниже гл. II «Записок современника». — Вторая глава «Записок современника» представляла первый отклик Михайловского на смерть Достоевского. В 5-м томе собрания сочинений Михайловского (СПб., 1897) она следовала за статьей «Жестокий талант».

<sup>2</sup> Историк русской литературы, фольклорист, профессор Петербургского университета, первый биограф Достоевского О. Ф. *Миллер* (1833—1889) многократно, начиная с 1874 г., выступал с речами и лекциями о Достоевском, а также публиковал статьи о его творчестве. Все они собраны в его книге «Русские писатели после Гоголя» (СПб., 1886).

<sup>3</sup> ...*литографированная речь или лекция г. Соловьева... Соловьев... победоносно кричит: вот пророк божий!*— Речи религиозного философа, публициста и поэта В. С. Соловьева (1853—1900) были объединены им в брошюру «Три речи в память Достоевского» (М., 1884). Приводимых Михайловским слов в речах нет, но есть близкие по смыслу высказывания: «...церковь как положительный идеал... вот

последнее слово, до которого дошел Достоевский и которое озарило всю его деятельность пророческим светом» (С. 20). Или: «Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми,— они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества» (С. 25).

<sup>4</sup> *...вперед! всех. . . г. Гайдебуров... г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву...*— В газете «Неделя», издателем которой был П. А. Гайдебуров (1841—1894), и «Русь», редактируемой публицистом и поэтом И. С. Аксаковым (1823—1886), были помещены статьи участника Крымской войны, издателя газеты «Русский мир» генерала М. Г. Черняева (1828—1898) и министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева (1832—1908), в которых высоко оценивалась деятельность М. Д. Скобелева (1843—1882).

<sup>5</sup> В 1882 г. Скобелев выступил в Париже в защиту балканских народов против политики Германии и Австро-Венгрии. Это выступление привело к осложнениям международных отношений, после чего Скобелев был отозван из Парижа Александром III.

<sup>6</sup> *...какие это были полтора года — волосы на голове дыбом встанут!*— Имеется в виду прежде всего убийство народолюбцами Александра II и последовавшая за ним правительственная реакция.

<sup>7</sup> *...после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику...*— См. примеч. 1 к с. 153.

<sup>8</sup> Имеется в виду следующее изд.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1882—1883.

<sup>9</sup> *...образ Ставрогина («Бесы»), который «уверял, что не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою шуткой и каким угодно подвигом...*»— это не слова Ставрогина, а вопрос, который ему задавал другой персонаж романа «Бесы» Шатов. См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 201. (В дальнейшем: Достоевский Ф. М.)

<sup>10</sup> Из стих. Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832).

<sup>11</sup> *Платон понимал величие такого художника..* — Сократ различал три рода художественного творчества: 1) поэт ведет рассказ от своего лица, выражая свои мнения, характер, знания; 2) перевоплощается в героя, подражая его поведению, выражая его образ жизни и мыслей; 3) род творчества, представляющий собой смешение первого и второго. Истинным искусством Платон считал только первый род творчества, а о художнике-подражателе говорил так: «А кто, по видимому, стяжав мудрость быть многообразным, и подражает всему, придет со своими творениями и будет стараться показать их, тому мы поклонимся как мужу дивному и приятному и, сказав, что подобного человека в нашем городе нет и быть не должно, помажем ему голову благовониями, увенчаем овечьей шерстью и вышлем его в другой город». См.: Платон. Политика или государство. СПб. 1863. С. 164.

<sup>12</sup> Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта Достоевского и о «гуманистическом» направлении его художественного чутья.— В статье «Забитые люди» (1861) Добролюбов так писал о романе «Униженные и оскорбленные»: «Эта бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неумение обработать каждый характер даже настолько, чтоб хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения,— все это... прямо говорит против художественной полноты и цельности его созданий». Достоинство же произведений писателя он видел в следующем: «Г-н Достоевский в первом же своем произведении явился замечательным деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гуманистическим. В «Бедных людях»... г. Достоевский... принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высокогуманный идеал. Идеал этот не принадлежал ему исключительно и не им внесен в русскую литературу» (Д о б р о л ю б о в Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1963. Т. 7. С. 239, 244—245).

<sup>13</sup> И. К. Кайданов (1782—1843), профессор Царскосельского лицея, автор учебников и книг по всемирной и русской истории, написанных возвышенно-витиеватым слогом.

<sup>14</sup> ...о тех людях, о которых сказано, что никто в своей земле проком не бывал...— Имеются в виду слова Христа из Евангелия от Луки: «...истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве» (4:24).

<sup>15</sup> Слова Менения Агриппы из пьесы В. Шекспира «Кориолан». Восходят к Плутарху, который рассказывает о том, что римский консул Менений Агриппа уподоблял различные слои общества частям тела. См.: П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 250.

<sup>16</sup> *Lucida intervalla* (лат.) — медицинский термин, означающий промежутки времени, в которые у душевнобольных восстанавливается нормальное мышление.

<sup>17</sup> ...«печной горшок всего дороже» на свете, ибо «в нем пищу мы себе варим» — неточная цитата из стих. Пушкина «Поэт и толпа» (1828), первоначально названное в печати «Чернь».

<sup>18</sup> ...классическое детоубийство... проповедуемое на Страстном бульваре в Москве...— По гимназическому уставу 1864 г. утверждалось три типа средней школы: классическая гимназия с двумя древними языками, классическая с одним древним языком и реальная — без древних языков. Н. М. Катков, типография которого находилась на Страстном бульваре, был активным сторонником классической системы образования. Новый устав гимназий, принятый в 1871 г., расширял систему классического образования и закрывал доступ в университет выпускникам реальных гимназий.



<sup>19</sup> ...нужно, например, как Марату, сто тысяч голов... — Ж. П. Марат (1743—1793), видный деятель Великой французской революции, в 1791 г. писал: «Отрубите затем без всяких колебаний головы контрреволюционным генералам, министрам и бывшим министрам; мэру и членам муниципалитета, являющимся противниками революции; перебейте без всякой пощады весь парижский генеральный штаб, всех депутатов национального собрания — попов и приверженцев министерства, всех известных приспешников деспотизма. Теперь... возможно, потребуется отрубить пять-шесть тысяч голов; но если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты». См.: М а р а т Ж. П. Избр. произв.: В 3 т. М., 1956. Т. 2. С. 235.

<sup>20</sup> ...некоторые наши молодые беллетристы, к сожалению, сблизнились примером Достоевского... — Михайловский имеет в виду прежде всего М. Н. Альбова (1851—1911), о котором он писал: «...всякий признает в г. Альбове ученика Достоевского по манере и приемам, а отчасти и по сюжетам его писаний» (М и х а й л о в с к и й Н. К. Т. 5. С. 910).

<sup>21</sup> То вдруг брякнет, что крепостное право само по себе нисколько не мешало идеально-нравственным отношениям между господами и крепостными. — См.: Дневник писателя за 1880 год // Достоевский Ф. М. Т. 26. С. 162—163.

<sup>22</sup> То изречет пророчества, что мы возьмем в самом скором времени Константинополь, а турки пойдут торговать халатами... — О возможности завоевания Россией Константинополя Достоевский действительно неоднократно писал в «Дневнике писателя». См.: Достоевский Ф. М. Т. 25. С. 65—74. Далее же Михайловский иронизирует над этими мыслями Достоевского.

<sup>23</sup> Катков негодует на слабость приговоров суда присяжных и требует «строгих наказаний, острога и каторги». — Это одно из постоянных утверждений Н. М. Каткова. См. например: Моск. вед. 1879. 14 июля. № 180; 1881. 1 февр. № 30.

<sup>24</sup> Имеется в виду знаменитая речь Достоевского при открытии памятника Пушкину, произнесенная 8 июня 1880 г. и затем опубликованная в «Дневнике писателя». В своей речи Достоевский говорил о типе «русского скитальца», соотносимом с образами «лишних людей» в русской литературе, которые «ударяются в социализм», веруя, что «достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного» (Достоевский Ф. М. Т. 26. С. 137—138). Об этом см.: Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев. Л. 1987. С. 172—176.

<sup>25</sup> ...статью г. Страхова, в которой доказывалось... что г. Стахеев есть настоящий и большой художник, а Некрасов и Щедрин — так себе, пустопорожнее место. — В рецензии на повесть малоизвестного писателя и журналиста Д. И. Стахеева (1840—1919) «Наследники»

Н Страхов противопоставлял «мягкий юмор» и точность описания русской жизни в произведении Стахеева «гиперболической иронии», переходящей «в чистое глумление», в произведениях Щедрина и Некрасова (Рус вестн 1875 № 6)

<sup>26</sup> *музыкальные новаторы гнали собственно пение и возводили на пьедестал речитатив* — Полемизируя в «Записках профана» со статьей «Наша национальная особенность», подписанной инициалами «П Ч», в которой ставился вопрос о национальной русской опере, Михайловский видел в этой статье «пример национального хвастовства и бессознательного подбора элементов народного быта» и под черкивал «Один поймет дело так, что надо брать сюжеты из русской жизни и вводить в оперу народные русские мотивы, другой укажет, например, на «Русалку» как на типичное либретто русской оперы, третий потребует совсем других, но тоже национальных русских драматических мотивов, г Кюи (глава ведь) скажет, что все это — пустяки можно взять либретто из Гейне или из Гюго, но только вы гнать мелодию и насадить речитатив — это и будет национальная русская опера» (М и х а й л о в с к и й Н К Т III С 764)

<sup>27</sup> *кто у нас нападает «на существующие порядки вещей»*. — Михайловский не совсем точно передает высказывание одного из персонажей романа «Идиот» Евгения Павловича Р (Д о с т о е в с к и й Ф М Т 8 С 277)

<sup>28</sup> *«дикую, беспредельную властью хоть над мухой»* — Слова Алексея Ивановича из романа Достоевского «Игрок» «Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение» (Д о с т о е в с к и й Ф М Т 5 С 231)

<sup>29</sup> Имеются в виду Н В Гоголь, который, живя в Италии, получал ежегодное денежное пособие от Николая I, Г Р Державин, получивший как вознаграждение за оду «Фелица» от Екатерины II золотую табакерку

<sup>30</sup> *«самый забытый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой»* — Это высказывание Ихменева из «Бедных людей» (Д о с т о е в с к и й Ф М Т 3 С 189) имеет своим источником мысль Белинского, высказанную им в рецензии на «Петербургский сборник» «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат „Верь — это тоже люди, ваши братья“» (Б е л и н с к и й В Г Полн собр соч В 12 т М, 1955 Т 9 С 554)

<sup>31</sup> (*«нервической чепухой» «даже сильнее», прибавляет г Пыпин в известной книге о Белинском*) — Отзыв Белинского о повести Достоевского «Хозяйка» содержался в его письме к В П Боткину от 4—8 ноября 1847 г, которое вошло в книгу историка литературы А. Н Пыпина (1833—1904) «Белинский, его жизнь и переписка»

(СПб, 1876 Т 2 С 247) Слово «чепуха» Пыпин добавил от себя, заменив им более сильное выражение

<sup>32</sup> Михайловский неточно пересказывает сюжет романа М Жозефа (1804—1857), писавшего под псевдонимом *Эжен Сю*, «Парижские тайны», переведенного в России в 1843 г

<sup>33</sup> Теория благотворности правильно направленных страстей развернута Ш *Фурье* (1772—1837) в его труде «Теория четырех движений и всеобщих судеб» На русский язык в XIX в эта книга переведена не была

<sup>34</sup> « с лютой подлостью вражда» — из стих Некрасова «Песня Еремуске» (1859) в цензурной редакции Подлинный текст «Необузданную, дикую/К угнетателям вражду »

<sup>35</sup> Из третьей редакции поэмы «Демон» (Лермонтов в М Ю Собр соч В 4 т Т 2 Л, 1980 С 495)

<sup>36</sup> Михайловский имеет в виду следующее рассуждение Достоевского из «Дневника писателя» за 1880 г « если б только Коробочка стала и могла стать настоящей, совершенной уже христианкой, то крепостного права в ее поместье уже не существовало бы вовсе несмотря на то, что все крепостные акты и купчие оставались бы у ней по прежнему в сундуке Ну какие же тогда рабы и какие же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христианство!» (Достоевский Ф М Т 26 С 162—163 )

<sup>37</sup> Из стих А И Полежаева «Вечерняя заря» (1826—1828)

<sup>38</sup> Из оды Г Р Державина «Бог» (1784) У Державина «Измерить океан глубокий/Сочесть пески, лучи планет »

<sup>39</sup> Из стих А Фета «Я пришел к тебе с приветом» (1843)

<sup>40</sup> Точное название статьи «Когда же придет настоящий день?» (1860)

<sup>41</sup> *Тургенев откровенно разъярил* — Михайловский ссылается на «Предисловие» к романам Тургенева, опубликованное в III томе его сочинений (М, 1880) Текст «Предисловия» и подробный комментарий к нему А И Батюто см Тургенев И С Полн собр соч. и писем В 30 т Соч М, 1982 Т 9 С 560—562

## О ТУРГЕНЕВЕ

Впервые — Отеч зап 1883 № 9 Печатается по тексту Михайловский Н К Литературно критические статьи М, 1957

Входила в состав VII раздела цикла «Письма постороннего в редакцию «Отечественных записок» Как отдельная статья была включена в 6-й том Собр соч (Михайловский Н К Собр соч В 6 т СПб, 1879—1883)

<sup>1</sup> *Литературной критики нет!* — Михайловский полемизирует, в

первую очередь, с П. Д. Боборькиным, который в статье «Наша литературная критика» писал: «Вот уже по крайней мере двадцать лет, как не замечается таких приемов критики — будет ли она философская, публицистическая или художественная, — с помощью которых произведения, люди, идеи, интересы выяснились бы в настоящем свете» (Наблюдатель. 1883. № 1).

<sup>2</sup> ...попадают и такие чудачки, которые считают последним критиком Аполлона Григорьева. — Михайловский имеет в виду Н. Н. Страхова, который утверждал, что А. Григорьев был создателем истинной русской критики, а себя считал его продолжателем. См.: Стр а х о в Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 23, 296—315.

<sup>3</sup> В. В. Чуйко (1839—1899), литературный критик. Сотрудничал в журнале «Женский вестник», в газете «Молва», вел критическое обозрение в «Новостях и биржевой газете». Михайловский часто и резко с ним полемизировал.

<sup>4</sup> ...гг. Авсеенки да Маркевичи, Боборькины да Летневы... — Здесь Михайловский отсылает читателя к предыдущим «Письмам постороннего в редакцию „Отечественных записок“», где он писал о беллетристике названных авторов в журналах «Русский вестник» и «Наблюдатель» в ироническом тоне: «Знаю я именно, что беллетристический отдел «Русского вестника» на двух китах стоит. Один из них называется г. Маркевичем, другой — г. Авсеенко. Но почему один называется Авсеенко, а не Маркевичем, а другой Маркевичем, а не Авсеенко — этого я не знаю» (1882. № 1). «Но оставим самого Боборькина как беллетриста... Возьмем беллетристику того самого «Наблюдателя», который любезно предоставил свои страницы походным упражнениям г. Боборькина. Мы найдем там два больших романа: «В наше смутное время» г. Летнева и «Кошмар» г. Зависецкого... Г-н Летнев давно уже известен как внешнею занимательностью фабулы его романов, так и полным отсутствием художественного дарования» (1883. № 3). П. Летнев — псевдоним романистки П. А. Лагиновой (1829—1892).

<sup>5</sup> Тургенев сам говорит о том удивлении... с которым он... встречал любезности разных мракобесов. — В статье «По поводу отцов и детей», которую имеет в виду Михайловский, Тургенев писал: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня...» Впервые опубликовано: Тургенев И. С. Соч. М., 1869.

<sup>6</sup> Савл — первоначальное имя апостола Павла. До обращения в христианство был жестоким гонителем христиан.

<sup>7</sup> В цитированной выше статье «По поводу отцов и детей» Тургенев писал: «Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю...»

<sup>8</sup> ...называли его «пророком Божиим» и провозвестником «нового слова». — См. примеч. 3 к с. 154.

<sup>9</sup> Михайловский близко к тексту пересказывает эпизод из романа «Накануне», в котором один из персонажей, Курнатовский, утверждал, что если берущий взятку даже и не виноват, так как иначе поступить не мог, но он попался, то его следует «раздавить» «ради принципа». См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М., Л., 1964. Т. 8. С. 108.

## О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Впервые — Сев. вестн. 1885. № 12. Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957.

<sup>1</sup> В одном из своих писем... Тургенев... говорит... — См. примеч. 2 к с. 290.

<sup>2</sup> Г-н Гирс замахнулся «Старой и юной Россией»... — Начало романа беллетриста и редактора-издателя газеты «Русская правда» (1878—1880) Д. К. Гирса (1836—1886) было опубликовано в «Отечественных записках» (1868. № 3—4), продолжение вышло в журнале «Дело» (1870. № 1), но роман так и остался незаконченным.

<sup>3</sup> Роман И. А. Кушчевского (1847—1876) «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» впервые опубликован в «Отечественных записках» (1871. № 1).

<sup>4</sup> С. И. Смирнова (1852—1920) опубликовала в «Отечественных записках» романы «Соль земли» (1872) и «У пристани» (1879). Михайловский благожелательно относился к ее произведениям.

<sup>5</sup> Из стих. Некрасова «Я не люблю иронии твоей» (1850).

<sup>6</sup> Из письма Тургенева А. П. Filosoфовой от 11 сентября 1874 г. (Первое полн. собр. писем И. С. Тургенева. СПб., 1884. С. 241—242.)

<sup>7</sup> ...гг Маркевича, Авсеенку, Боборыкина... — См. примеч. 4 к с. 236.

<sup>8</sup> То есть сборниках рассказов В. М. Гаршина, вышедших в Петербурге в 1882 и 1885 гг.

<sup>9</sup> Из стих. Лермонтова «Ребенку» (1840)

<sup>10</sup> М. Ш. Корде (1768—1793) в 1793 г. проникла в жилище Марата и убила его.

<sup>11</sup> «Дома и на войне» — книга А. В. Верещагина (1850—1909), брата художника В. В. Верещагина, вышла в Москве в 1885 г.

<sup>12</sup> ...Монтионовской премии... — то есть премии, утвержденной за добродетель французским филантропом А. О. Монтионом (1733—1820).

<sup>13</sup> ...«ты, палец от ноги?!» — См. примеч. 3 к с. 477.

<sup>14</sup> Из стих. Ф. Шиллера «Праздник победы», в переводе Жуковского названного «Торжество победителей» (1828).

<sup>15</sup> ...*издавна распинали на кресте и сжигали...* — из 3-го действия (ч. 2) «Фауста» Гете.

<sup>16</sup> Эта заметка была включена в сборник «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889).

<sup>17</sup> .. *«общественное животное, как называл человека еще Аристотель...»* — Правильный перевод этого выражения из трактата Аристотеля «Никомахова этика»: человек — «животное государственное», или «полисное», то есть существо, которому свойственно организовываться государственно, в полисе. См. комментарии Н. В. Брагинской в кн.: А р и с т о т е л ь. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 696.

## ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ

Впервые — Сев. вестн. 1886. № 2. Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. В цикле «Дневник читателя» следовала непосредственно за статьей «О Всеволоде Гаршине».

<sup>1</sup> Слова Фауста из трагедии Гете (ч. 1).

<sup>2</sup> *Спенсеровы дети* — то есть сторонники органической теории Г. Спенсера, согласно которой каждое сословие представляет собой необходимый орган единого социального организма.

<sup>3</sup> ...*поют, как поет птица* — неточный пересказ основной мысли стихотворения Гете «Певец» (1783). У Гете в переводе Фета так: «По божьей воле я пою/Как птичка в поднебесье,/Не чая мзды за песнь свою./Мне песнь сама возмездье!»

## Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

Впервые опубликована в качестве вступительной статьи к двухтомному собранию сочинений Г. И. Успенского (СПб., 1889. Изд. Ф. Ф. Павленкова), а затем в 1897 г. включена в пятый том сочинений Н. К. Михайловского.

В 1902 г. Михайловский опубликовал статью «Материалы для биографии Г. И. Успенского (Рус. богатство. 1902. № 3, 4), которую и использовал для новой редакции статьи о Г. И. Успенском, предварявшей XII том Полного собрания сочинений писателя (Киев, 1904. Изд. Б. К. Фукса). Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957.

<sup>1</sup> Имеются в виду писатели-разночинцы А. И. Левитов (1835—1877), начавший печататься в 1861 г., Н. Г. Помяловский (1835—1863), опубликовавший в 1861 г. повести «Мещанское счастье» и «Молотов», Ф. М. Решетников (1841—1871), издавший в 1864 г. повесть «Подлиповцы», В. А. Слепцов (1836—1878), первый цикл очерков которого вышел в 1861 г., Н. В. Успенский (1837—1884), опубликовавший в 1861 г. первый сборник рассказов.

<sup>2</sup> *...отсутствии «выдумки», как говорил Тургенев...*— Тургенев 2 января 1868 г. писал Я. П. Полонскому: «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д.— но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где? Они ничего выдумать не могут — и, пожалуй, даже радуются тому: эдак мы, полагают они, ближе к правде. Правда — воздух, без которого дышать нельзя, но искусство — растение, иногда довольно причудливое, которое зреет и разливается в этом воздухе. А эти господа — бессемяники и посеять ничего не могут» (Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884. С. 129).

<sup>3</sup> *Кипсек* (англ.) — роскошное иллюстрированное издание.

<sup>4</sup> *...комнаты «с небилью».*— В 1863 г. А. И. Левитов в журнале «Библиотека для чтения» опубликовал цикл очерков под названием «Московские „комнаты снебилью“».

<sup>5</sup> *«До чего договорился Глеб Успенский»*— так называлась статья Л. Е. Оболенского, опубликованная в «Рус. богатстве» (1883. № 7). Ранее с резко отрицательной оценкой произведений Успенского выступил, в частности, критик и публицист И. И. Каблиц (И. Юзов), писавший: «Какой умник г. Иванов! (Псевдоним Г. И. Успенского — Б. А.). Как он просто и с какой легкостью понял неразгаданного до сих пор сфинкса — народ! С ним могут соперничать разные станковые пристава, которые давно уже знают, что «наш народ — подлец» (Неделя. 1878 № 9. Стб. 285). О полемике, развернувшейся вокруг деревенских очерков Г. И. Успенского, см. примеч. к полному собранию его сочинений (АН СССР. 1940 Т. 5. С. 425—468. В дальнейшем: Успенский Г. И.).

<sup>6</sup> *...он же написал и «Защиту английского народа»...*— Английский поэт Д. Мильтон (1608—1674) выпустил в 1650 и 1654 гг. две книги под таким заглавием, в которых выступал поборником суверенитета английской республики.

<sup>7</sup> Первый рассказ Успенского «Михалыч» был опубликован в приложении к журналу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в 1862 г.

<sup>8</sup> *«Женский вестник»* — журнал, издававшийся в Петербурге в 1866—1868 гг. Н. А. Благовещенским (1837—1889) и А. К. Шеллером (Михайловым) (1838—1900).

<sup>9</sup> Цитируется серенада Дон Жуана из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» (1859—1960) и стих. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

<sup>10</sup> ...пейзажи Тургенева (над которыми... так злобно и ядовито насмеялся в «Бесах» чуждый пейзажу Достоевский)...— В романе «Бесы» Тургенев карикатурно изображен в лице писателя Кармазина, читающего на литературном вечере свое произведение «Mergis». Зачин и концовка этого произведения пародируют обращение Тургенева к читателям в статье «По поводу „Отцов и детей“», в центральной части пародируются «Призраки» и «Довольно!». Об этом см.: Д о л и н и н А. Тургенев в «Бесах». В сб.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л.; М., 1924. С. 119—136; Б у д а н о в а Н. Ф. Достоевский и Тургенев. Л., 1987. С. 56—72.

<sup>11</sup> ...всякие «звуки сладкие»...— Имеются в виду заключительные строки стихотворения Пушкина «Поэт и толпа»: «Мы рождены для вдохновенья/Для звуков сладких и молитв». После статей Д. И. Писарева, в которых резко отрицательно оценивалось творчество Пушкина, эти строки использовались для характеристики «чистого искусства», «изящной словесности» или «салонной литературы».

<sup>12</sup> Бегуны (странники) — одно из ответвлений раскола, возникшее в последней четверти XVIII в. Основатель его Ефимий (?—1792) учил, что в России властвует Антихрист, поэтому надо порвать все связи с обществом и уклоняться от всех гражданских повинностей. Михайловский мог знать эту песню по статье А. П. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» (Время. 1862. № 11), в которой есть такие слова: «У меня ли во пустыне / Нету светлого-то платья. / У меня ли во пустыне / Нету светлые палаты».

<sup>13</sup> Имеется в виду предисловие Успенского «От автора» к первому тому издания «Сочинений» 1883 г.

<sup>14</sup> В пользовавшемся широкой популярностью памфлете «Менцель французоед» (1837) немецкий писатель и публицист Л. Бёрне (1786—1837) писал: «Ах! Они думают, что я пишу, как другие, чернилами и словами, но я пишу не так, как другие: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает духа собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее» (Б ё р н е Л. Соч.: В 2-х т. Т. 1. СПб., 1896. С. 8).

<sup>15</sup> Слова из стих. Некрасова «Памяти Белинского» (1853), впервые опубликованного под названием «Памяти приятеля».

<sup>16</sup> ...«людей и нравов» (одно из заглавий Успенского)...— Впервые под заглавием «Люди и нравы» в 1876 г. в «Отечественных записках» были опубликованы очерки «Книжка чеков», «Неплательщики» и др. В 1880 г. Успенский выпустил книгу «Люди и нравы современной деревни».

<sup>17</sup> Примеры сокращения Успенским юмористических эпизодов в своих произведениях см. в кн.: Ч е ш и х и н-В е т р и н с к и й В. Глеб Иваинович Успенский. М., 1929. С. 266—273.

<sup>18</sup> Он и теперь с понятной горечью вспоминает, что от этой операции герои «стали только хуже...»— Во вступлении «От автора» ко



второму изданию «Сочинений» (СПб., 1889) Успенский привел отрывок из предисловия к первому изданию, заканчивающийся следующими словами: «При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл, и они стали только хуже, а правды в них меньше» (Успенский Г. И. Т. 12. С. 400—401).

<sup>19</sup> То есть повести Лермонтова без заглавия, впервые опубликованной в «Вестнике Европы» (1873. № 10), позднее названной «Вадим» по имени главного героя.

<sup>20</sup> *Старинное деление Сен-Симона исторических эпох на органические и критические...*— Разделение исторических эпох на «органические», когда все объединены общими идеалами и общественный порядок не оспаривается, и «критические», когда все недовольны существующим порядком, нет общей веры и цели, а во всех областях жизни царит скептицизм, открывающий путь к новому творчеству, содержится в «Изложении учения Сен-Симона» (1829), предпринятом его последователями, прежде всего С. А. Базаром (1791—1832). См.: Изложение учения Сен-Симона. М.; Л.: АН СССР, 1947. С. 180—186.

<sup>21</sup> Имеются в виду знаки отличия, выдаваемые чиновникам за длительную «беспорочную службу».

<sup>22</sup> Из стих. А. А. Фета (1843).

<sup>23</sup> ...«Один в поле не воин» Шпильгагена...— Роман немецкого прозаика и драматурга Ф. Шпильгагена (1829—1911) «В строю» был опубликован в журнале «Дело» в 1867 г. под заглавием «Один в поле не воин».

<sup>24</sup> Из стих. Некрасова «В больнице» (1855).

<sup>25</sup> «Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей, недовольным Сократом, чем довольным дураком...»— эти слова принадлежат английскому экономисту, публицисту и философу Д. С. Миллю (1773—1836). См.: Милль Д. С. Утилитарианизм. О свободе. Пб. 1866—1869. С. 23.

<sup>26</sup> ...и даже «презрительно и высокомерно относится к народу».— Распространенная в 80-е гг. точка зрения на творчество Успенского, особенно среди славянофилов. Например, рецензент газеты «Русь» писал: «Народ, каким его изображает Гл. Успенский, может возбудить отвращение, досаду, презрение, негодование — все что хотите, только не любовь» (1882. № 3. 16 янв.).

<sup>27</sup> ...«недоумение нулей, к какой пристать им единице».— Источник цитаты установить не удалось.

<sup>28</sup> Я видел где-то такую карикатуру: лежит мужик, полураздавленный подобием земного шара («земли»), а Успенский изо всех сил толкает этот шар вперед...— Михайловский вспоминает юмористи-

ческий рисунок в кн.: М и х н е в и ч В. л. Наши знакомые. Фельетонный словарь современников. СПб., 1884. С. 228 (рис. 55).

<sup>29</sup> В первой публикации этого очерка в журнале «Русская мысль» (1884. № 12) Успенский писал: «Г-н Потанин в сборнике «Вятская незабудка» рассказывает...» Включая очерк в собрание сочинений, Успенский снял упоминание о «Вятской незабудке», может быть, потому, что этот сборник за 1878 г. был запрещен цензурой и уничтожен, но, возможно, и потому, что очерка такого содержания этнограф, фольклорист и публицист Г. Н. Потанин (1835—1920) в «Вятской незабудке» не публиковал. Эти колебания Успенского могут объясняться и тем, что содержание очерка он, вероятно, пересказывает не по первоисточнику, а по статье Н. К. Михайловского «Борьба за индивидуальность», где дается точное заглавие статьи Потанина — «От Новочеркасска до Казани» и указывается сборник, в котором она помещена — «Первый шаг». (Казань, 1875.)

<sup>30</sup> *На ней изображена девушка в очень простом платье, в пледе, в мужской шапочке...* — Успенский имеет в виду картину Н. А. Ярошенко «Курсистка» (1883).

<sup>31</sup> *...девушки строгого, почти монашеского типа.* — Создавая этот образ, Успенский имел в виду прежде всего В. Н. Фигнер. См.: Успенский Г. И. Т. 10. Кн. 1. С. 606.

<sup>32</sup> Брошюре П. К. Энгельмейера «Экономическое значение современной техники...» (М., 1887) посвящена статья Успенского «Не все коту масленица» (1888).

<sup>33</sup> *На статье его, вызванной книгой г. Тимощенко, нам надо остановиться. В ней очень много странного, об чем я здесь говорить не буду...* — В очерке Успенского, в окончательном варианте, называвшемся « „Трудовая“ жизнь и жизнь „труженическая“ », была дана высокая оценка части книги Ив. Тимощенко «Борьба с земельным хищничеством...», опубликованной в журнале «Новь» (1886. № 19—22). После выхода отдельного издания книги со вступительной статьей А. Скабичевского Михайловский в журнале «Северный вестник» (1888. № 1, 2) опубликовал две рецензии, где отрицательно отзывался как о книге, так и о вступительной статье.

<sup>34</sup> *«Песнь о рубашке» Томаса Гуда...* — Рефрен из этого стих. («Шей, шей, шей...») английского поэта Т. Гуда (1799—1845), впервые опубликованного анонимно в 1843 г. в журнале «Панч» и переведенного на русский язык М. Л. Михайловым в 1860 г., цитируется в очерке Успенского.

<sup>35</sup> *Кольцовская формула «слуга и хозяин»...* — Имеются в виду слова из стих. Кольцова «Песня пахаря»: «Весело на пашне! / Ну, тащися, сивка! / Я сам-друг с тобою, / Слуга и хозяин». Успенский неоднократно пользовался этой формулой и, в частности, в цикле очерков «„Мы“ на словах, в мечтаниях и на деле»: «Народный строй, напротив,— все хозяева, каждый хозяин сам себе, каждый слуга са-

мому себе,— словом, каждый «слуга и хозяин» в одном лице, и все общество состоит из миллионов таких же вполне самостоятельных личностей» (Успенский Г. И. Т. 10. Кн. 2. С. 51).

<sup>36</sup> Впервые опубликована Михайловским в статье «Материалы для биографии Г. И. Успенского» (Рус. богатство. 1902. № 4). Текст ее см.: Успенский Г. И. Т. 14. С. 575—580.

<sup>37</sup> «Дм. Васин» — псевдоним дяди Успенского Д. Г. Соколова (?—1904), опубликовавшего также воспоминания «Детство Глеба Ивановича Успенского» (Новости и бирж. газета. 1902. № 109).

<sup>38</sup> ...Б. Н. Синани... вел за время его болезни дневник... — опубликован в «Летописях Государственного литературного музея» (М., 1939. Кн. 4. С. 515—597) с биографическим очерком доктора Б. Н. Синани (1851—1920), написанным А. Б. Дерманом.

<sup>39</sup> Успенский родился 13 октября 1843 г.

<sup>40</sup> Сначала, в 1861 г., Успенский поступил на юридический факультет Петербургского университета, из которого в декабре этого же года был отчислен, так как университет был закрыт из-за студенческих волнений. В 1862 г. подал заявление в Московский университет, но платы за учение внести не мог.

<sup>41</sup> В конце 1867 — начале 1868 г. определился новый состав редакции и основной круг сотрудников журнала. Номинальным редактором остался А. А. Краевский, действительным же руководителем журнала и отдела поэзии стал Н. А. Некрасов, отдел беллетристики возглавил М. Е. Салтыков-Щедрин, отдел публицистики — Г. З. Елисеев. В конце 1868 г. активным сотрудником журнала стал Михайловский.

<sup>42</sup> В 1871 году Успенский уехал за границу... — Это было в 1872 г.

<sup>43</sup> Автобиография Успенским написана предположительно в 1883 г.

<sup>44</sup> Из стих. А. Н. Майкова «Fortunata» (1845).

<sup>45</sup> П. И. Якушкин (1822—1872) — фольклорист-этнограф, автор очерков и рассказов из народной жизни. О нем см. статью З. И. Власовой в кн.: Якушкин П. И. Соч. М., 1986.

<sup>46</sup> Х. Д. Алчевская — деятельница народного образования, автор работ и пособий по обучению взрослых, которые высоко ценил Успенский. Написала воспоминания о встрече с Успенским. См.: Алчевская Х. Передуманное и пережитое. М., 1912.

<sup>47</sup> Имеется в виду Е. П. Леткова (1856—1937), писательница, друг Успенского.

<sup>48</sup> ...напечатал свой рассказ в «Неделе», где в то время «осмеивал лучшие идеалы людей некто, подписавшийся псевдонимом «Единица». — Еженедельная политическая и литературная газета народнического направления «Неделя», издававшаяся в Петербурге с 1866 по 1901 г., вела полемику с другими журналами этого направления. Беллетрист, литературный критик и автор путевых очерков В. Л. Кигн

(1856—1908), чаще всего писавший под псевдонимом Дедлов, сотрудничал в газете с 1876 г., подписываясь псевдонимом «Единица». В 1883 г. он опубликовал статью, в которой дал отрицательную оценку «Власти земли» Успенского (Неделя. 1883. № 41. 9 окт. Стб. 1354). О нем см. в кн.: Б у к ч и н С. «Дорогой Антон Павлович...»: Очерки о корреспондентах А. П. Чехова. Минск, 1973. С. 77 — 143.

<sup>49</sup> См.: М и х а й л о в с к и й Н. К. Литература и жизнь. СПб., 1892. С. 291.

<sup>50</sup> И. Ф. Горбунов (1831—1895) — мастер устных юмористических рассказов из жизни мещан, мастеровых крестьян, впоследствии опубликованных. Несмотря на огромную популярность, его рассказы иногда оценивались только как юмористические, лишённые серьёзного содержания, чему во многом способствовали произвольные вставки и искажения их некоторыми исполнителями, а также ряд фальсификаций, издаваемых в коммерческих целях под его именем.

<sup>51</sup> «Тут был литературно-музыкальный вечер». — Комментарий к этому письму см.: У с п е н с к и й Г. И. Т. 13. С. 577.

<sup>52</sup> ...«Сегодня послал я вам доверенность»... — Этот эпизод и письмо приводит в своих воспоминаниях об Успенском Короленко. См.: К о р о л е н к о В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955 Т. 8. С. 38.

<sup>53</sup> ...«обнаженные нервы» — я не знаю никого, к кому это изобретенное кем-то из наших ломающихся декадентов выражение так подходило бы. — А. Н. Емельянов-Коханский (1871 — ?) в 1895 г. выпустил книгу стихов «Обнаженные нервы». Михайловский оценил ее резко отрицательно (Рус. богатство. 1895. № 8. С. 65). В настоящее время высказывается достаточно аргументированная точка зрения, что эта книга — сознательная мистификация. См.: Т я п к о в С. Н. К истории первых изданий русских символистов: В. Брюсов и А. Емельянов-Коханский // Рус лит. 1979. № 1. С. 143—152.

<sup>54</sup> В альбоме врача-гипнотизера О. И. Фельдмана (?— 1912) Михайловский сделал такую запись 8 февраля 1889 г.: «В иные времена вас сожгли бы на костре или произвели бы в чудотворцы, смотря по тому — доброму или злему приписали бы ваши «чудеса». Теперь мы знаем наверное, что в вас живет дух добрый — дух научной пытливости, и чтим в вас человека, способствующего расширению горизонта науки». Успенский от себя добавил к этой записи следующее: «Вполне разделяю справедливое мнение Н. К. Михайловского о вашем большом деле и счастлив, что имел возможность присутствовать при ваших поучительных опытах». См.: Летописи Государственного литературного музея. Глеб Успенский. Кн. 4. М., 1939. С. 206.

<sup>55</sup> ...«чудовищные тирады», «непостижимый бред», апофеоз «крепостничества»... — выражения из статьи В. Богучарского «Что такое земледельческие идеалы?» (Начало. 1899. № 3. С. 90, 91).

<sup>56</sup> То есть пароходе, принадлежавшем волжской пароходной компании «Самолет».

<sup>57</sup> *Меннониты, штундисты* — религиозные секты, представляющие собой ответвления баптизма. Секта меннонитов, возникшая в Нидерландах в XVI в., получила название по имени ее основателя Меннона Симонса. В России распространилась во 2-й половине XVIII в. Штундисты (от нем. Stunde — час для чтения Библии) отрицали официальную церковь и духовенство.

<sup>58</sup> В. П. Буренин поместил в нескольких номерах «Нового времени» за 1884 г. (с 17 февраля по 23 марта) статью об Успенском «Беллетрист шестидесятых годов», в которой писал, что в «Отечественных записках» Успенский «не числился в категории столпов издания и рядом с г. Салтыковым стоял не он, а гг. Елисеев и Михайловский» и поэтому писатель «до сих пор принужден писать в неблагоприятных для беллетриста условиях, до сих пор насиловать свое дарование спешной работой». Далее Буренин доказывал, что Успенский убивает свой талант, когда пишет произведения, подчиняясь либеральной тенденциозности журнала. См.: Б у р е н и н В. Критические этюды. СПб., 1888. С. 308—309, 379.

<sup>59</sup> Письмо К. Маркса в редакцию «Отечественных записок» впервые было опубликовано в «Вестнике „Народной воли“» (1886. № 5), а затем в «Юридическом вестнике» в октябре 1888 г. См. ответную статью Успенского «Горький упрек» и комментарий к ней: У с п е н с к и й Г. И. Т. 12. С. 581—583.

<sup>60</sup> *Этот Л. был одним из тех явлений, на которых отдыхала душа Успенского...* — Имеется в виду выдающийся деятель народнического движения Г. А. Лопатин (1845—1918). Успенский встречался с Лопатиным в Петербурге и Париже и хотел написать о нем повесть под названием «Удалой добрый молодец». Помимо приведенного письма к Михайловскому восторженная оценка его личности содержится в воспоминаниях об Успенском Н. Е. Кудрина (Галерея шлиссельбургских узников. Ч. I. СПб., 1907. С. 196), а также в автобиографической записи «Мои дети» (У с п е н с к и й Г. И. Т. 14. С. 587—589). О событиях, упоминаемых в письме, см.: Д а в ы д о в Ю. В. Герман Лопатин, его друзья и враги. М., 1984.

<sup>61</sup> Впечатления от поездки в Болгарию в 1877 г. были описаны в цикле Успенского «Мы. Очерки. IV. Под впечатлением поездки по Дунаю».

<sup>62</sup> Из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 14).

<sup>63</sup> *...народная легенда о св. Николае Чудотворце и св. Касьяне...* — Существует несколько вариантов этой легенды. Успенскому она могла быть известна по записи, сделанной П. И. Якушкиным и опубликованной в кн.: А ф а н а с ь е в А. Н. Русские народные легенды. М., 1859. С. 42—43.

## ГЕРОЙ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Впервые — Рус. вед. 1891. № 192, 216, 235. Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911. Т. VI.

<sup>1</sup> *Справка эта была опубликована лишь в 1873 году Розановым в «Русской старине».*— Заметка «Время рождения и крещения поэта Лермонтова» опубликована в июльском номере этого журнала членом Московского археологического общества и Общества истории и древностей при Московском университете Н. П. Розановым.

<sup>2</sup> Ф. Боденштедт (1819—1892), немецкий писатель, переводчик, журналист. В 1852 г. выпустил в Берлине двухтомное издание своих переводов «Поэтическое наследие Лермонтова»— первое зарубежное собрание сочинений поэта. Весной 1841 г. лично встречался с Лермонтовым. Отрывки из статей и воспоминаний Боденштедта о Лермонтове в русском переводе М. Л. Михайлова опубликованы в «Современнике» (1861. № 2. С. 318—334). См.: Сигал Н. Боденштедт — переводчик Лермонтова: Уч. зап. ЛГУ. 1941. № 64.

<sup>3</sup> ...*Ростопчина справедливо замечает...*— Е. П. Ростопчина (1811—1858) — писательница. Своими воспоминаниями о Лермонтове поделилась в письме к А. Дюма-отцу. См.: Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972. С. 283. (В дальнейшем: Лермонтов в воспоминаниях.)

<sup>4</sup> См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1954. Т. 6. С. 534. Впервые — в «Отечественных записках» (1841. № 2).

<sup>5</sup> В стих. «Поэт».

<sup>6</sup> *Он сам подсмеивался над своею «страстью повсюду оставлять следы своего существования»...*— из письма Лермонтова к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. См.: Лермонтов в М. Ю. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1971. Т. 6. С. 111. Впервые письма Лермонтова к Лопухиной были опубликованы в журнале «Русский архив» (1863. № 3—5).

<sup>7</sup> *«Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает...»*— См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 283.

<sup>8</sup> ...*Лермонтов зашел к А. Н. Муравьеву...*— Об этом эпизоде поэт и мемуарист А. Н. Муравьев (1806—1874) вспоминал в книге «Знакомство с русскими поэтами» (Киев, 1871. С. 24). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 197.

<sup>9</sup> Воспоминания Е. А. Хвостовой (1812—1868) отдельным изданием вышли в Петербурге в 1870 г. См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 82—97.

<sup>10</sup> Имеется в виду баллада В. Скотта «Томас Рифмач», написанная по мотивам легенды о шотландском поэте XIII в. Томасе Эрселдауне, по прозвищу Лермонт, который считается зачинателем шотландской литературы.

<sup>11</sup> *Шангирей думает...*— См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 35.

<sup>12</sup> В юношеской лирике Лермонтова...— Ниже Михайловский цитирует стих. «Кавказ» (1830), «Эпитафия» (1832), «Ужасная судьба отца и сына...» (1831).

<sup>13</sup> М. М. Сперанский (1772—1839), государственный деятель, юрист и дипломат, друг А. А. Столыпина (1778—1825), родственника Лермонтова с материнской стороны.

<sup>14</sup> П. А. Висковатов (Висковатый, 1842—1905), историк литературы, биограф Лермонтова, профессор Дерптского университета. Михайловский цитирует Висковатого по статье «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» (Рус. мысль. 1881. № 12. С. 32—33). В 1891 г. в Москве под этим же заглавием Висковатов издал книгу, которая была наиболее полным для своего времени систематическим сводом данных о поэте. Этот труд Висковатова со вступительной статьей Г. М. Фридендера и примечаниями А. А. Карпова переиздан в Москве в 1987 г.

<sup>15</sup> От Галахова до г. Спасовича целый ряд писателей старался определить влияние на Лермонтова... Байрона.— Историк литературы, писатель, сотрудник «Отечественных записок» А. Д. Галахов (1807—1892) в статье «Лермонтов» (Рус. вестн. 1858, № 13, 14, 16) специально рассматривал влияние на Лермонтова европейской культуры, особенно творчества Байрона. Начатое Галаховым сопоставление творчества Лермонтова с западно-европейскими образцами продолжили представители культурно-исторической школы. В частности, известный адвокат, публицист и литературовед В. Д. Спасович (1829—1906) в статье «Байронизм Лермонтова» (Вестн. Европы. 1888. № 4) писал: «Не будь Байрона и его влияния на Лермонтова, вышел бы, может быть, крупный поэт, не очень высокого полета, с узким национальным направлением. Под влиянием Байрона из Лермонтова выработался поэт весьма высокого полета».

<sup>16</sup> Другой ряд критиков, от Боденштедта до г. Острогорского... находил... что тон поэзии Лермонтова вполне объясним и без этого влияния.— Об этом писал педагог, автор популярных книг для детей и юношества, посвященных творчеству выдающихся русских писателей, В. П. Острогорский (1840—1902) в статье «Мотивы лермонтовской поэзии» (Рус. мысль. 1891. № 1, 2).

<sup>17</sup> ...говорит Боденштедт.— См.: Современник. 1861. № 2. С. 321.

<sup>18</sup> В статье «Еще о героях» (1891) Михайловский, анализируя книгу английского философа, историка и публициста Т. Карлейля (1795—1881) «Герои, почитание героев и героическое в истории» (СПб., 1891), выделил, в частности, следующие мысли ее автора: «Великий человек «достаточно мудр, чтобы верно определить потребности времени, и достаточно отважен, чтобы повести его прямою дорогою к цели». ...Культ героев всегда существовал и всегда будет существовать — преклонение перед тем, что выше нас, есть глубочайшая потребность и вместе с тем благороднейшая черта человеческой

природы. ...Уже из этого видно, что карлейлевский культ героев не включает в себе ничего раблепного» (Михайловский Н. К. Т. II. С. 371, 372, 373).

<sup>19</sup> Михайловский приводит цитату из XI главы романа Лермонтова о «пугачевщине», известного под редакторским заглавием по имени героя «Вадим», над которым поэт работал, когда ему было девятнадцать лет.

<sup>20</sup> ...*Лермонтов говорил Белинскому о задуманной им романтической трилогии...*— Об этом Белинский писал в рецензии на второе издание «Героя нашего времени». См.: Белинский В. Г. Т. 5. С. 455.

<sup>21</sup> Из стих. «Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...» (1830).

<sup>22</sup> «...он кончит жизнь ничтожным человеком»...— из письма Лермонтова (1832, авг.) к С. А. Бахметевой. См.: Лермонтов М. Ю. Т. 6. С. 411.

<sup>23</sup> ...«самого главного его недостатка — суетности и самолюбия»— из письма Лермонтова (начало 1839 г.) к М. А. Лопухиной. См.: Лермонтов М. Ю. Т. 6. С. 740.

<sup>24</sup> Из стих. «Он был рожден для счастья, для надежд...» (1832).

<sup>25</sup> Воспоминания П. Ф. Вистенгофа (ок. 1815 — после 1878) впервые были опубликованы в журнале «Исторический вестник» (1884. № 5. С. 333). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 108.

<sup>26</sup> ...*Панаев вспоминает...*— Михайловский цитирует «Литературные воспоминания И. И. Панаева» (Современник. 1861. № 2. С. 657). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 232—233.

<sup>27</sup> ...*Лермонтов, уже тогда считавший себя «океаном», в котором «надежд разбитых груз лежит»...*— из стих. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1832).

<sup>28</sup> Об этом вспоминал соученик Лермонтова по Школе юнкеров А. М. Меринский (?— 1873) в статье «М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе» (Рус. мир. 1872. № 5). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 38.

<sup>29</sup> ...«*российским дворянином Скот-Чурбановым*» — из статьи В. П. Бурнашева (?—1888) «Мих. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников» (Рус. архив. 1872. № 1). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 190—194.

<sup>30</sup> ...*Лермонтов... называет в одном письме время пребывания в юнкерской школе «страшными годами»*— в письме к М. А. Лопухиной от 23 декабря 1834 г. См.: Лермонтов М. Ю. Т. 6. С. 428.

<sup>31</sup> В письме от 23 декабря 1834 г.

<sup>32</sup> См.: Лермонтов М. Ю. Т. 6. С. 387.

<sup>33</sup> *Г-н Пыпин в предисловии к одному из изданий Лермонтова... г. Скабичевский в предисловии к павленковскому изданию...*— См.: Лермонтов М. Ю. Соч. СПб., 1891. Т. I. С. 48.



<sup>34</sup> *Г-н Пыпин давно отрекся от своих подозрений...*— См.: Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876. Т. 2. С. 37.

<sup>35</sup> Из стих. Некрасова «Памяти Белинского» (1853), впервые опубликованного под названием «Памяти приятеля».

<sup>36</sup> Впервые воспоминания о Лермонтове В. А. Соллогуб (1813—1882) опубликовал в «Русском архиве» (1865. № 5—6), а затем в несколько измененном варианте в 1886 г. в «Историческом вестнике». Сущность отношения Соллогуба к Лермонтову частично раскрывается в сохранившемся наброске беседы П. А. Висковатова и Соллогуба, недавно опубликованном А. А. Карповым: «Граф его терпеть не мог и был склонен умалять его талант. Хваля его, он делал уступку общественному мнению, но тут же всегда прибавлял что-нибудь, ясно свидетельствовавшее, что он в душе досадовал на славу, которую приобрел себе поэт. Так, говоря, что в лице Лермонтова русская литература понесла сильную утрату, граф уверял, что Лермонтов, впрочем, никогда не отдался бы серьезной работе. «Он, как и я, был только наездником на русском Парнасе. Ему посчастливилось больше меня, может быть, потому, что он вовремя умер, а я имел глупость остаться жить...» (Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 445—446).

<sup>37</sup> *Удар, по-видимому, не попал в цель, потому что Лермонтов даже не узнал себя.*— П. А. Висковатов писал об этом так: «Гр. Соллогуб поместил свой роман «Большой свет» в «Отечественных записках» за 1840 г. (Т. 9). Но Лермонтов раньше еще узнал о нем (писан он был в конце 1839 года), и стихотворение «Первое января» является до некоторой степени ответом на нападки в романе, направленные против поэта. Соллогуб, легкомысленный человек, плохо, кажется, сознавал, какую незавидную роль играл он, когда писал роман свой с целью унижить поэта в глазах общества, иначе он в своих воспоминаниях не говорил бы о подробностях по поводу появления его» (Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 290).

<sup>38</sup> *«Врачу, исцелися сам»...*— Евангелие от Луки, 4:23.

<sup>39</sup> *«...над храбрым офицером и великим поэтом».*— Михайловский цитирует воспоминания секунданта на последней дуэли Лермонтова князя А. И. Васильчикова (1818—1881) «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым» (Рус. архив. 1872. № 1). См.: Лермонтов в воспоминаниях. С. 367.

<sup>40</sup> *...о каком-нибудь обидном стихотворении, которого злопамятный товарищ не простил поэту даже после его смерти.*— Речь идет о соученике Лермонтова по Школе юнкеров, позднее генерал-фельдмаршале князе А. И. Барятинском (1814—1879), изображенном в качестве главного героя в поэме «Гошпиталь».

<sup>41</sup> ...*пере-переводе Минаева*.— См.: Затерянное стихотворение М. Ю. Лермонтова. Перевод с немецкого Д. Д. Минаева//Ист. вестн. 1883. № 9. С. 597.

<sup>42</sup> ...*оригинале-переводе Боденштедта*...— См.: Ч и р и к о в Г. С. Неизданные стихотворения Лермонтова в немецком переводе Боденштедта (Рус. старина. 1873. С. 398). Перевод цитируемого Михайловским стихотворения Лермонтова см. в кн.: В и с к о в а т ы й П. А. Перевод 18 стихотворений М. Ю. Лермонтова, сообщенных на немецком языке Фр. Боденштедтом. Дерпт, 1880. С. 4—5.

<sup>43</sup> П. А. Висковатов писал об этом: «Выражение, которым клеймили поэта многие. Некоторые из современников и даже лиц, бывших тогда на водах, говоря о нем, употребляли это выражение в беседе со мною» (Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 357).

<sup>44</sup> Из стих. «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась...», 1830).

<sup>45</sup> В письме от 12 сентября 1840 г. к близкому другу Лермонтова А. А. Лопухину (1813—1872).

<sup>46</sup> ...*сбродного партизанского «Лермонтовского отряда»*...— Об этом П. А. Висковатову рассказывал неприязненно относившийся к Лермонтову барон Л. В. Россильон (1803—1883). См.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. С. 304—305.

<sup>47</sup> Из второй редакции поэмы Лермонтова «Демон».

<sup>48</sup> В письме 1841 г. ставропольскому знакомому А. И. Бибикову (?— 1856).

<sup>49</sup> ...*он думал издавать журнал*.— Об этом писал П. А. Висковатов со слов А. А. Краевского и В. А. Соллогуба. См.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. С. 324—325.

## РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА

Впервые — Рус. богатство. 1893. № 2. Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900. Т. II.

Этой работе предшествовала статья «Макс Нордау о вырождении. Декаденты, символисты, маги и проч.» (Рус. богатство. 1893 № 1), где Михайловский так объяснил свой интерес к французским литературным школам «конца века»: «Прочитавши книгу Нордау, я сперва хотел только проверить его цитаты, потому что многое из этой оригинальной литературы совершенно теряется в переводе на немецкий (и, конечно, на русский) язык. Но когда на столе у меня очутилась чуть не целая декадентская библиотека, я понемногу заинтересовался ею как в высшей степени любопытным не только литературным, но и общественным явлением».

За публикуемой статьей в № 4 «Русского богатства» следовала работа «Еще о декадентах, символистах и магах», где Михайловский снова анализировал французскую поэзию и прозу «конца века», в основном оценивая ее отрицательно, частично соглашаясь с центральным тезисом книги М. Нордау о психопатологической основе творчества декадентов и символистов.

<sup>1</sup> Лекцию эту он через некоторое время повторил...— Лекцию Мережковский прочел в 1892 г., издал ее отдельной книгой, а затем повторил издание в 1893 г., добавив названные выше статьи.

<sup>2</sup> После несостоявшейся дуэли в 1861 г. отношения между Толстым и Тургеневым прервались на 17 лет. В 1878 г. Толстой первый прервал многолетнее молчание, отправив Тургеневу письмо, которое заканчивалось так: «Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся». Тургенев отвечал: «...С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами дружескую руку». Михайловский имеет в виду письмо от 9 июля 1883 г., в котором Тургенев, в частности, писал: «Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре .. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! ...Друг мой, великий писатель русской земли, внимайте моей просьбе!» См.: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 178—179, 203.

<sup>3</sup> ...общественные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов. — Руссо порвал с энциклопедистами после того, как Д. Дидро, чтобы смягчить впечатление от его статьи «О политической экономии», опубликовал в энциклопедии статью П. Буланже под тем же названием. Вольтер расхотелся с Руссо и энциклопедистами в вопросе об отношении к религии.

<sup>4</sup> Об этой книге, изданной Ж. Гюре в Париже в 1891 г., Михайловский писал в предыдущей статье «Декаденты, символисты, маги и проч.»: «Гюре, сотрудник газеты «L'echo de Paris», задался мыслью собрать мнения всех сколько-нибудь выдающихся писателей друг о друге и о школах, по которым они группируются. Он снял таким образом шестьдесят четыре допроса (большую часть устных), из которых составила чрезвычайно любопытная книга». См.: Рус. богатство. 1893. № 1

<sup>5</sup> В том числе был и Ришпен.— См. примеч. 11 к с. 532.

<sup>6</sup> ...Салтыков называл рабым эзоповским языком.— В частности, в очерке «Зиждитель» (1874) из цикла «Помпадурсы и помпадурши» Салтыков-Щедрин писал: «Скушное время, скушная литература,

скушная жизнь. Прежде хоть «рабы речи» слышались, страстные «рабы речи», иносказательные, но понятные; нынче и «рабьих речей» не слышать». Выражение «эзоповский язык» идет от имени свободолюбивого раба Эзопа, вынужденного говорить иносказательно.

<sup>7</sup> ...прячется за старинный афоризм: «мысль изреченная есть ложь». — Михайловский имеет в виду следующую мысль Мережковского, высказанную непосредственно за этой цитатой из стих. Тютчева «Silentium!»: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя».

<sup>8</sup> *Над книгой г. Минского «При свете совести» действительно много смеялись...* — См. примеч. 11 к с. 532.

<sup>9</sup> То есть шутовством, сумасбродством.

<sup>10</sup> *Сам Огюст Конт... восстал на нее своим «субъективным методом» и «религией человечества». Но эта неудавшаяся попытка ослабшего и расстроенного ума...* — О. Конт ввел в науку термин «социология», обосновав свой метод в шеститомном труде «Курс позитивной философии» (1830—1842). В четырехтомной «Системе позитивной политики...» (1851—1854) пытался создать новую «религию человечества», разрабатывая ее «культ» и «катехизис». Во вступительной статье к книге Д. С. Милля «Подчиненность женщины» Михайловский делил деятельность Конта на три периода: «В первом он является учеником Сен-Симона; во втором самостоятельным мыслителем, творцом «Курса позитивной философии»; в третьем, наконец, помешанным создателем нового культа, каким-то первосвященником человечества, пишущим письма к императору Николаю I (не получая, разумеется, ответа), придающим некоторым цифрам мистическое значение, видящим в догмате Богородицы какое-то указание на самостоятельность женщины путем безмужнего зарождения...» (Михайловский Н. К. Т. X. С. 301).

<sup>11</sup> То есть разгром Парижской коммуны, «кровавой майской недели», во время которой погибли 4 тысячи человек и 36 тысяч были преданы военно-полевому суду.

<sup>12</sup> Философ-просветитель, математик, экономист и политический деятель маркиз Ж. А. Кондорсе (1743—1794) с начала французской революции был сторонником республики. В период террора резко и страстно повел борьбу против Робеспьера, был обвинен в заговоре и заочно приговорен к смерти. Некоторое время скрывался в доме у небогатой женщины, но скоро покинул убежище, так как укрывшей его женщине и ее родственникам по закону грозила смертная казнь,

и был схвачен. В тюрьме, желая избежать публичной казни, принял яд.

<sup>13</sup> А. М. Шенье (1762—1794) и М. Ж. Шенье (1764—1811), французские поэты, принимали деятельное участие во французской революции. А. М. Шенье во время террора был обвинен в монархическом заговоре и гильотинирован.

<sup>14</sup> *Натуралистическим теориям в искусстве отводил... место «Вестник Европы»...*— Многолетним сотрудником журнала был Э. Золя, который с 1875 по 1880 г. помещал здесь свои «Парижские письма». С 1872 г. печатались отдельные части «Руггон — Маккаров». Начиная с 1880 г. журнал регулярно помещал статьи, посвященные творчеству Золя и теории натурализма, публиковались произведения «русских натуралистов» П. Боборыкина, И. Ясинского, Д. Мамина-Сибиряка.

<sup>15</sup> Михайловский имеет в виду карикатурное изображение экзана по медицине в пьесе Мольера «Мнимый больной».

<sup>16</sup> ...«*Не всякий говорящий: Господи! Господи! увидит в царстве небесное*».— Михайловский не совсем точно цитирует Евангелие от Матфея (7:21).

## ЕЩЕ О Г. МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ

Впервые — Рус. богатство. 1898. № 10 (как продолжение статьи «О г. Максиме Горьком и его героях»). Представляет собой рецензию на двухтомное собрание «Очерков и рассказов» Горького, вышедшее в 1898 г. Печатается по тексту: Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1914. Т. VIII.

<sup>1</sup> ...одни... восторгаясь писаниями г. Горького... подчеркивают... художественный такт... другие... утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает.— А. И. Богданович в рецензии, подписанной инициалами А. Б., писал: «Автор с истинно художественным тактом сумел везде удержаться от преувеличений, представляя героям говорить за себя» (Мир божий. 1897. № 7. С. 231). В неподписанной рецензии библиографического отдела журнала «Русская мысль» (1897. № 9. С. 427) о Горьком говорилось, что это «натура резкая, мятущаяся, неуравновешенная».

<sup>2</sup> Имеется в виду статья И. Н. Игнатьева, опубликованная в газете 22 августа 1898 г.

<sup>3</sup> Ж. Ришпен (1849—1926), французский поэт, прозаик, драматург. Его роман «В смутное время» был опубликован в «Русском богатстве» (1889. № 3—9). Пьеса «Бродяга» написана в 1897 г.

<sup>4</sup> ...предписано, как Агасферу: *ходи, ходи, ходи!*— Сюжет легенды об Агасфере, послуживший материалом для многих литературных

произведений, состоит, примерно, в следующем: иудей ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Христа, оттолкнул Иисуса, когда тот попросил позволения отдохнуть у его дома, за что был осужден на вечное скитание по земле и вечное презрение со стороны людей.

<sup>5</sup> ...я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа...— Установить источник цитаты не удалось.

<sup>6</sup> Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей»...— эту формулу Ницше выносит в подзаголовок своей книги «По ту сторону добра и зла». См.: Ницше Ф. Собр. соч. М., [б. г.] Т. 2.

<sup>7</sup> Михайловский ошибается: Аглая не была княжной.

<sup>8</sup> Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых».— О каком философе идет речь, установить не удалось.

<sup>9</sup> ...Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса...— Михайловский имеет в виду стихотворное «Предисловие к третьему изданию» «Книги песен», где изображается встреча героя со сфинксом.

<sup>10</sup> ...вспомнишь... Достоевского и его изречения.— Следующие ниже цитаты были приведены в качестве эпиграфа в статье Михайловского «Жестокий талант».

<sup>11</sup> ...вспомнишь Достоевского с его Ставрогиным...— См.: Достоевский Ф. М. Т. 10. С. 201.

<sup>12</sup> А в 1894 г., излагая на этих же страницах... учение Фр. Ницше...— Михайловский отсылает к своим статьям «О Максе Штирнере и Фридрихе Ницше», «Еще о Фридрихе Ницше». «И еще о Ницше» (Рус. богатство. 1894. № 8, 11, 12).

<sup>13</sup> ...уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из Мертвого дома».— В действительности первое знакомство Ницше с творчеством Достоевского состоялось в 1887 г., когда он прочел во французском переводе «Записки из подполья» и «Хозяйку», объединенные в сборник «Подпольный гений». Эта книга вызвала у Ницше интерес, и он прочел во французском переводе роман «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома». В переписке Ницше упоминает также ряд повестей и рассказов Достоевского, прочтенных уже по-немецки, и роман «Преступление и наказание». Кроме того, сохранился его конспект французского перевода романа «Бесы». О знакомстве Ницше с творчеством Достоевского см.: Ф р и д л е н д е р Г. Достоевский и мировая литература. М., 1970. С. 233—235.

<sup>14</sup> ...Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве ненависти, мести и восстания против всего существующего...— «Все духовные новаторы имеют некоторое время на челе бледное, фатальное клеймо чандала: не потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного

и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из фаз его развития, «катилинарное состояние», чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже есть, что больше не становится... Катилина — форма предшествования всякого Цезаря» (Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. СПб., 1907. С. 127).

<sup>15</sup> В рассказе «Коновалов».

<sup>16</sup> *...рядом с наукой об обществе... науку об одиночестве...*— Об этом Ницше писал в книге «Сумерки богов».

<sup>17</sup> *...Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»...*— Имеется в виду следующее утверждение Ницше в «Несвоевременных мыслях»: «...для чего существует отдельный человек — вот что ты должен спросить самого себя, и если бы никто не сумел бы тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание твоему существованию... ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное «для того», высокое и благородное «для того». Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель — я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть на великом и невозможном...» (Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 163).

<sup>18</sup> «Воля к власти» — одна из основных категорий философии Ницше (см.: Ницше Ф. Воля к власти. Собр. соч. М., 1910. Т. 9).

<sup>19</sup> *«...вид страдания доставляет удовольствие...»* — См.: Ницше Ф. Происхождение морали. «Сама месть приводит опять к той же проблеме: «Каким образом причинение страдания может быть удовлетворением?» Современному человеку, этому изнеженному, прирученному и приученному к тонким кушаньям домашнему животному, противно представить, до какой степени жестокость была радостью и удовольствием древнейшего человечества, составляя необходимую и главную составную часть каждой его радости; и как наивна, как невинна была его потребность жестокости, являясь как бы нормальным свойством человека...» (Ницше Ф. Собр. соч. М., [б. г.] Т. 9. С. 140).

<sup>20</sup> *...«мораль рабов» в противоположность «морали господ»...*— Ницше Ф. Происхождение морали. С. 51—57. В статье «И еще о Ницше» Михайловский так разъяснял эти положения Ницше: «Когда-то где-то жили люди (иногда это греки, иногда римляне, иногда германцы), по своим инстинктам подобные хищным зверям... В конце концов, однако, их мораль, то есть их понятия о добре и зле, о нравственно одобрительном и неодобрительном, резко отличалась от наших теперешних. Злое, то есть злобное, отнюдь не означало для них «дурное», равно как «доброе» не значило «хорошее». Совсем даже напротив. И вот они столкнулись с другой расой, более слабой,

победили ее и обратили в рабство. Мораль рабов, слабых, придушенных, естественно отличалась от морали господ... они должны были жаться друг к другу и воспитывать в себе так называемую любовь к ближнему, мягкость, осторожность, умеренность, хитрость... Им удалось, неизвестными путями, произвести «переоценку всех ценностей» или, вернее, навязать человечеству свою «рабскую» мораль смирения, самоотречения, воздержания, кротости, сострадания и вытеснить ею мораль «господ» (Рус. богатство. 1894. № 13).

<sup>21</sup> .. о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему»...— См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913. С. 81—83.

<sup>22</sup> Ницше рекомендовал... удаляться в дикие места и там основывать новые государства...— Имеется в виду следующее рассуждение Ницше: «Не должен ли был бы... каждый из вас думать про себя: „Лучше уйти отсюда и стать властелином какой-нибудь дикой, девственной страны, прежде всего стать властелинами над самими собой; менять место до тех пор, пока грозит малейший призрак рабства...“» (Ницше Ф. Утренняя заря. М., [б. г.] С. 195).

<sup>23</sup> Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка»...— Имеется в виду высказывание: «Двух вещей хочет истинный мужчина: опасности и игры. И поэтому он хочет женщины как самой опасной игрушки» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913. С. 87).

<sup>24</sup> ...«если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут»— из книги Ницше «Так говорил Заратустра» (СПб., 1913. С. 89).

<sup>25</sup> Ницше различает чандалов — обитателей Мертвого дома и чандалов-Наполеонов.— Он пишет: «Тип преступника — это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным... Это в обществе, в нашем смирном, посредственном, оскотинном обществе сын природы, пришедший из гор или из морских походов, необходимо вырождается в преступника... ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества: корсиканец Наполеон самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского.. он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни... Этот глубокий человек... нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, всё тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал — как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле.<sup>1</sup> Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что их не считают благодетельными, полезными,— то чувство чандала, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим». (Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. СПб. 1907. С. 125—126).



<sup>26</sup> ...«Есть люди, проповедующие мое учение о жизни...» — Имеется в виду высказывание: «Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни, и вместе с тем они проповедники равенства и тарантулы. Они говорят об оправдании жизни, эти ядовитые пауки, а сами сидят в норах своих, отворачившись от жизни» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913. С. 123).

<sup>27</sup> О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика»... — В «Несвоевременных размышлениях» Ницше писал: «Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же поberi их черт и статистика!» (Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 164).

### КОЕ-ЧТО О Г. ЧЕХОВЕ

**Впервые** — Рус. богатство. 1900. № 4. Текст печатается по изданию: Михайловский Н. К. Последние сочинения. СПб., 1905. Т. I.

<sup>1</sup> Договор с А. Ф. Марксом об издании собрания сочинений был подписан 26 января 1899 г. Подробно об этом см.: Видуэцкая И. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс. М., 1977.

<sup>2</sup> Речь идет не о сборнике, а о первом томе Собрания сочинений (Чехов Анто н. Рассказы. СПб., 1899).

<sup>3</sup> Из стих. Некрасова «Ванька» (1850).

<sup>4</sup> «...и возвращается к пантеистическому мирозерцанию». — Михайловский цитирует статью «Новое литературное поколение» (Неделя. 1899. 1 нояб.).

<sup>5</sup> «Идеалы отцов и дедов над нами бессильны»... — Из статьи «Отцы и дети нашего времени» («Неделя». 1890. № 5. За подписью: В. Б.).

<sup>6</sup> ...«без борьбы, без думы роковой»... — См. примеч. 44 к с. 361.

<sup>7</sup> ...Высотского... — у Чехова Песоцкого.

<sup>8</sup> ...открыватели «новых мозговых линий»... — Михайловский имеет в виду «Литературные заметки» А. Волынского (Сев. вестн. 1889. № 1), где говорилось: «Времена меняются. Современная жизнь течет под иным освещением... Силой обстоятельств возник целый ряд вопросов и запросов, на которые нет ответа в талантливейших произведениях былых авторитетов. Время обозначило новый угол души, открыло новую мозговую линию, которой нужны жизнь, свет, яркие впечатления, свежие краски».

<sup>9</sup> ...о юродствующих вроде г. Розанова, пляшущих в словесную присядку вроде г. Евгения Соловьева...— Резко отрицательную характеристику книги В. В. Розанова «Литературные очерки» (СПб., 1899) Михайловский дал в статье «О г. Розанове» (Рус. богатство. 1899. № 12). О книгах Е. Соловьева в биографической серии Ф. Павленкова о Писареве, Гегеле, Дюринге и книге «Белинский в его письмах и сочинениях» Михайловский резко отозвался в статье «О г. Соловьеве как «моменталисте-трансформисте» и развязном человеке вообще» (Рус. богатство. 1899. № 10).

<sup>10</sup> Из стих. З. Гиппиус «Посвящение», впервые опубликованного в «Северном вестнике» (1895. № 3).

<sup>11</sup> ...поклоняюсь мэонам...— Имеется в виду теория «мэонизма», развернутая Н. Минским в трактате «При свете совести» (1890). Об этой книге Михайловский писал в статье «О совести г. Минского».

<sup>12</sup> ...«хочу быть развратным»...— В критическом обзоре (Рус. богатство. 1900. № 2) Михайловский писал: «Один из поэтов «Сев. курьера», г. Осип Яковлев, восклицает: „Я хочу, хочу быть порочным!“»

<sup>13</sup> ...«тьнь несозданных созданий»... «громкозвучной тишине»...— из стих. В. Брюсова «Творчество» (1895). У Брюсова — «звонкозвучной тишине».

<sup>14</sup> ...«то мягким гусиным пером...»— Михайловский иронизирует над следующей фразой из «Литературных заметок» А. Волынского: «...различные письма одного и того же корреспондента писаны не в одном и том же стиле — где мягким гусиным пером, где несколько развязным, размашистым языком» (Сев. вестн. 1896. № 3).

<sup>15</sup> ...гг. Мережковский и Волынский принуждены были весьма непочтительно отзываться один о другом...— А. Волынский, в частности, писал о Д. С. Мережковском: «Перевод, компиляция — естественная сфера для г. Мережковского... для тем Мережковского нужна творческая сила Гете или Шелли, а не тот декадентский талант мелкого пошиба...» (Сев. вестн. 1892. № 4).

<sup>16</sup> *Свое отношение к действительности гг. Минский и Волынский очень определенно выразили в 1893 г. во французском журнальчике «l'Ermitage».*— Эпизод с журналом «Эрмитаж» Михайловский описывал так: «В июле месяце я получил из Парижа письмо за подписью совершенно мне неизвестных и вообще едва ли многим известных господ... Письмо предлагало мне ответить на один вопрос, с которым редактируемый означенными господами журнал «Эрмитаж» уже обращался к «главным писателям молодого литературного поколения (не достигшего еще тридцати). Напечатав уже 98 ответов этих молодых людей, редакция «Эрмиtaja» решила обратиться с тем же вопросом к писателям старшего поколения, в том числе и ко мне». Предлагаемый вопрос был поставлен в следующей форме: «Каково

лучшее условие общественного блага — самопроизвольная и свободная или же дисциплинированная и методическая организация? К которому из этих двух понятий должны склоняться предпочтения художника?» Далее Михайловский сообщает, что в 1893 г. журнал прекратился, но номер с ответами на вопрос редакции ему удалось получить, приводит несколько примеров этих ответов, среди которых и цитируемые ниже мнения Н. Минского и А. Волинского (Рус. богатство. 1893. № 12).

<sup>17</sup> Эти книги вышли в Петербурге в 1900 г. Трагедии Н. Минского Михайловский посвятил специальную статью: «Об «Альме», «трагедии из современной жизни» г. Минского» (Рус. богатство. 1900. № 5).

### РАССКАЗЫ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА СТРАХ ЖИЗНИ И СТРАХ СМЕРТИ

Впервые — Рус. богатство. 1900. № 11, в качестве ежемесячного критического обзора под заглавием: «Об одном неосновательном мнении.—«Рассказы» Леонида Андреева.— Страх жизни и страх смерти.— Несколько слов „Финляндской газете“». Первая тема, указанная в раскрывающем содержание обзора заголовке, тесно связана с рецензией на книгу Л. Андреева и потому включается в публикуемый текст. Последняя тема — «Несколько слов „Финляндской газете“» — опускается, так как не имеет отношения к центральной теме обзора и самим Михайловским отделена от основного содержания графически (чертой). Этот обзор вошел во второй том «Последних сочинений» Михайловского (СПб., 1905). Печатается по этому изданию.

<sup>1</sup> *Мне еще недавно пришлось напомнить читателям...* — См.: Рус. богатство. 1901. № 10.

<sup>2</sup> Имеется в виду первое издание «Рассказов» Л. Андреева, вышедшее в Петербурге в 1901 г.

<sup>3</sup> *В нем находят нечто общее с Эдгаром По.* — Об этом писал В. Ф. Боцяновский в журнале «Литературный вестник» (1901. № 8).

<sup>4</sup> *...«равнодушная слепая сила, вызвавшая нас из темных недр небытия»* — неточная цитата из «Рассказа о Сергее Петровиче» Л. Андреева.

<sup>5</sup> По введенной Петром I Табели о рангах все должности в армии, флоте и гражданском аппарате подразделялись на 14 рангов (классов).

<sup>6</sup> *...одно из стихотворений Добролюбова...* — не совсем точная цитата из стих. «На смерть особы» (1857).

<sup>7</sup> *...«нет великого Патрокла...»* — См. примеч. 14 к с. 275.

<sup>8</sup> *говорит измученный совестью волк в щедринской сказке.*— Этими словами заканчивается сказка «Бедный волк» (1883)

<sup>9</sup> *Еще старик Монтень заметил ..*— См.: Монтень М. Опыты. М., 1962. Т 1 С. 141.

<sup>10</sup> . *Андреев говорит в одном месте о «непередаваемых красках жизни и смерти».*— Михайловский не совсем точно цитирует следующую фразу из четвертой главы «Рассказа о Сергее Петровиче»: «И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро провлакивает перед ним самое жизнь и смерть в их непередаваемых красках».

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авсеенко В. Г.— 236, 260, 261,  
264, 280, *565, 568*<sup>1</sup>  
Аксаков И. С.—98, 115, *569*  
Александр I—420  
Александр II—569  
Александр III—569  
Александр Македонский — 71  
Алмазов Б. Н.— *561*  
Алчевская Х. Д.— 365, *581*  
Альбов М. Н.— *571*  
Андреев Л. Н.— 542—545, 550,  
553, 554, 556—558, *597*  
Андреевский И. Е.— 121, *456*,  
461, 466, 467, 468, *567*  
Анна Иоанновна — 123  
Антокольский М. М.— 239  
Аранский В. С.— *568*  
Аристотель — 281, *576*  
Арсеньева Е. А.— 410  
Аскоченский В. И.— 36, *561*  
Афанасьев А. Н.— *583*  
Базар С. А.—*579*  
Базунов А. Ф.— 373  
Байрон Д. Г.— 480, 411, 412, **428**,  
*585*  
Бальмонт К. Д.— 533  
Барант Э. де — 432, 434  
Баратынский Е. А.— *565, 569*  
Барятинский А. И.— *587*  
Батюто А. И.— *573*  
Бахметова С. А.— *586*  
Белинский В. Г.— 214, 216, 235,  
236, 306, 420, 425, 432—435,  
542, *572, 584, 586*  
Белов И. Д.— 75, *565*  
Берне К. Л.— 305, *578*  
Бетховен Л.— 96—98, 115  
Бибииков А. И.—*588*  
Благовещенский Н. А.—*577*  
Боборыкин П. Д.— 236, 260—  
264, 280, 467, *560, 574, 591*  
Богданович А. И.— *591*  
Богучарский В.—*582*  
Боденштедт Ф.— 403, 411, 412,  
432, 440, *584, 588*  
Бокль Г. Т.— 52  
Боткин В. П.— 434, *572*  
Боцяновский В. Ф.— *597*  
Брагинская Н. В.— *576*  
Брюсов В. Я.— 533, *582, 596*  
Буданова Н. Ф.— *571, 578*  
Букчин С.— *582*  
Буланже П.— *589*  
Бунаков Н. Ф.— 37, 71, 75, 79, **80**,  
127, *562, 565*  
Буренин В. П.— 456, *583*  
Бурнашев В. П.— *586*  
Бэкон Ф.— 86, 87  
Васильчиков А. И.— 438, 440,  
448, *587*

<sup>1</sup> Выделенная курсивом страница отсылает к тексту примечаний.

- Васин Дм.— псевдоним Дмитрия  
Глебовича Соколова — 354,  
355, 360, 361, 362
- Вергилий — 183
- Верещагин А. В.— 265—270, 575
- Верещагин В. В.— 575
- Верн Ж.— 549
- Видуэцкая И. П.— 595
- Висковатов П. А.— 439, 440, 585,  
587, 588
- Вистенгоф П. Ф.— 425, 437, 586
- Владимирский-Буданов М. Ф.—  
116—122, 124, 125, 139, 567
- Власова З. И.— 581
- Водовозов В. И.— 148, 568
- Волынский А. Л.— 456, 533,  
595—596
- Вольтер — 452, 589
- Гайдебуров П. А.— 155, 569
- Галахов А. Д.— 411, 585
- Гальтон Ф.— 86, 566
- Гартман Э.— 181
- Гаршин В. М.— 261—264, 266,  
269, 270, 273, 275—277, 279—  
288, 575
- Гегель Г. В. Ф.— 41, 116, 595
- Гейне Г.— 310, 487
- Геккель Э.— 125, 567
- Гёргей А.— 58, 563
- Герцен А. И.— 425
- Гете И. В.— 129, 131, 566, 576
- Гиппиус З. В.— 596
- Гирс Д. К.— 259, 575
- Гоголь Н. В.— 84, 85, 142, 148,  
201, 236, 240, 297, 451, 562,  
572
- Гомер — 183
- Гончаров И. А.— 84, 233, 290,  
449, 468, 469, 483
- Горбунов И. Ф.— 368, 582
- Горький А. М.— 477—483, 485—  
488, 490—496, 500—508,  
510—512, 514, 515, 591
- Грибоедов А. С.— 84, 583
- Григорович Д. В.— 240, 542
- Григорьев А. А.— 235, 564, 574
- Гуд Т.— 346, 347—349, 580
- Гусев Н. Н.— 561, 564
- Гюре Ж.— 453, 589
- Давыдов Ю. В.— 583
- Данилевский Н. Я.— 66, 564, 565
- Декарт Р.— 441
- Державин Г. Р.— 572, 573
- Дерман А. Б.— 581
- Дидро Д.— 589
- Добролюбов Н. А.— 159, 204—  
206, 208—211, 214, 228, 231—  
233, 235, 236, 458, 551, 564,  
570
- Долинин А. С.— 578
- Достоевский Ф. М.— 153—159,  
163, 164, 166—170, 179, 185—  
190, 192—194, 196—198, 201,  
202, 204—209, 212—216,  
220—223, 226—228, 233, 236,  
241, 299, 302, 449, 451, 468,  
469, 482, 483, 485, 487, 493,  
497, 503, 506, 509, 510, 542,  
564, 568, 569, 570—573, 578,  
592
- Дудышкин С. С.— 408
- Дурнов М. А.— 533
- Дюма А. (отец) — 260, 584
- Дюринг Е.— 595
- Евтушевский В. А.— 71, 79, 80,  
111
- Екатерина II—11, 420, 572
- Елисеев Г. З.— 581
- Емельянов-Коханский А. М.—  
582
- Жорж Санд — псевдоним Авро-  
ры Дюдеван — 252
- Жуковский В. А.— 576
- Жуковский Ю. Г.— 568

- Зиммель Г.— 509  
 Золя Э.— 292, 464, 465, 591
- Иван IV Грозный — 178, 184, 377  
 Иванов А. А.— 97, 98, 566  
 Игнатъев И. Н.— 591  
 Игнатъев Н. П.— 155, 569, 591  
 Иоанн Новгородский — 97, 98  
 Каблиц-Юзов И. И.— 577  
 Кавелин К. Д.— 51  
 Кайданов И. К.— 163, 570  
 Карлейль Т.— 412, 585  
 Карпов А. А.— 585, 587  
 Катков М. Н.— 72, 155, 183, 187, 223, 225, 570, 571  
 Кигн В. Л.— 581  
 Киреевский И. В.— 65  
 Киреевский П. В.— 65  
 Кольцов А. В.— 300, 301, 580  
 Кондорсе Ж. А.— 465, 590  
 Коневской И.— 533  
 Конт О.— 464, 466, 567, 590  
 Корде Ш. М.— 264, 575  
 Короленко В. Г.— 357, 374, 469, 470, 474, 476, 582  
 Корф Н. А.— 72, 75, 111, 148, 565  
 Краевский А. А.— 433, 581, 588  
 Крамской И. Н.— 365  
 Крыжанич Ю.— 119, 124, 567  
 Крылов И. А.— 182  
 Кудрин Н. Е.— 583  
 Курбский А. М.— 377  
 Курочкин В. С.— 561  
 Кутузов (Голенищев-Кутузов М. И.) — 58  
 Кушевский И. А.— 259, 575
- Лавров П. Л.— 562  
 Лажечников И. И.— 534  
 Лебон Г.— 509  
 Левитов А. И.— 319, 364, 577  
 Леконт де Лиль — 453  
 Лермонтов М. Ю.— 84, 236, 300, 302, 312, 402—412, 414—448, 451, 456, 573, 575, 577, 579, 584, 585, 586, 587, 588
- Лермонтов Ю. П.— 402, 410  
 Лесков Н. С.— 474  
 Леткова Е. П.— 581  
 Летнев П.— псевдоним Лачиновой П. А.— 236, 574  
 Лисаневич С. Д.— 440  
 Лопатин Г. А.— 583  
 Лопухин А. А.— 588  
 Лопухина М. А.— 424, 427, 428, 438, 439, 584, 586  
 Лютер М.— 40, 46
- Магницкий М. Л.— 35, 561  
 Майков А. Н.— 449, 460, 566, 581  
 Маколей Т. Б.— 52, 55, 562  
 Максимов Н. В.— 376  
 Мальтус Т. Р.— 52, 562  
 Мамин-Сибиряк Д. Н.— 591  
 Марат Ж. П.— 183, 571, 575  
 Маркевич Б. М.— 236, 260, 261, 264, 280  
 Марков Е. Л.— 36, 37, 40, 41, 43, 49, 51, 52, 69—72, 74—83, 88, 93, 101, 134, 145, 561, 565  
 Маркс А. Ф.— 516, 595  
 Маркс К.— 583  
 Мартынов Н. С.— 440, 587  
 Медников Ф. Н.— 71, 79, 80, 127  
 Менений Агриппа— 174, 281, 570  
 Мережковский Д. С.— 449—476, 533, 589, 590  
 Мерзеевский И. П.— 276  
 Меринский А. М.— 428, 586  
 Мещерский В. П.— 66, 564  
 Миллер О. Ф.— 153, 154, 568  
 Милль Д. С.— 579, 590  
 Мильтон Д.— 293, 577  
 Минаев Д. Д.— 588  
 Минский Н. М.— 461, 462, 466, 468, 533, 596, 597  
 Миропольский С. И.— 75, 110, 127, 147

- Михайлов М. Л.— 484, 490, 580,  
 584  
 Михневич В. О.— 580  
 Мольер — псевдоним Жана Ба-  
 тиста Поклена — 591  
 Монтень М.— 597  
 Монтион А.— 575  
 Морозова В. А.— 369  
 Моцарт В. А — 178  
 Муравьев А. Н.— 404, 584  
  
 Наполеон I Бонапарт — 58, 139,  
 506, 507, 566  
 Наполеон III—52  
 Некрасов Н. А.— 167, 306, 373,  
 451, 542, 559, 560, 573, 575,  
 578, 579, 581, 587, 595  
 Нерон Клавдий Цезарь — 178,  
 184, 513  
 Никитенко А. В.— 564  
 Николай I—572, 590  
 Ницше Ф.— 480, 503—510, 549,  
 592, 595  
 Нордау М.— 589  
  
 Оболенский Л. Е.— 577  
 Орлов-Давыдов В. П.— 102, 566  
 Островский А. Н.— 233, 236, 290,  
 483  
 Острогорский В. П.— 411, 585  
 Оттон I—52, 53  
  
 Павленков Ф. Ф.— 350, 373, 576,  
 595  
 Пальмерстон Г. Д.— 52, 53  
 Панаев И. И.— 425, 432—434,  
 586  
 Перикл — 86, 87  
 Песталоцци И. Г.— 40  
 Петр I Великий — 60, 61, 98, 122,  
 564, 597  
 Петрашевский-Буташевич М. В.—  
 564  
 Петрункевич М. И.— 382, 387  
  
 Писарев Д. И.— 102, 235,  
 566, 578, 595  
 Платон — 86, 87, 158, 569  
 Плутарх — 570  
 По Э.— 544  
 Полежаев А. И.— 573  
 Полетика В. А.— 64, 102, 564  
 Полонский Я. П.— 460, 577  
 Помяловский Н. Г.— 577  
 Потанин Г. Н.— 580  
 Потемкин Г. А.— 58  
 Протопопов С. Д.— 456  
 Прудон П. Ж.— 146, 147, 568  
 Пушкин А. С.— 84, 96, 97, 115,  
 126, 127, 178, 236, 239, 257,  
 404, 422, 432, 437, 438, 442,  
 451, 456, 570, 571, 578  
 Пыпин А. Н.— 433, 434, 572, 587  
  
 Ренан Э.— 66, 85, 465, 564  
 Реформатский Н. Н.— 372  
 Решетников Ф. М.— 319, 577  
 Риль А. Р.— 509  
 Ришпен Ж.— 453, 477, 478, 479,  
 480  
 Робеспьер М.— 590  
 Розанов В. В.— 532, 595  
 Розанов Н. П.— 402, 584  
 Россильон Л. В.— 588  
 Ростопчин Е. П.— 403, 404, 584  
 Румянцев П. А.— 58  
 Руссо Ж. Ж.— 40, 41, 100, 452,  
 589  
  
 Салиас де Турнемир Е. А.— 59,  
 60, 95, 96, 563  
 Салтыков-Щедрин М. Е.— см.  
 Щедрин М. Е.  
 Сен-Симон А.— 315, 590  
 Сент-Бев Ш.— 568  
 Сибиряков И. М.— 373  
 Сигал Н.— 584  
 Сигель Л.— 509  
 Сикорский И. А.— 276, 277



- Синани Б. Н.— 351, 355, 358, 371, 372, 394, 395, 397, 581
- Скабичевский А. М.— 59, 351, 400, 433, 456, 563, 580
- Скальковский К. А.— 85, 566
- Скобелев М. Д.— 155, 268, 569
- Скотт В.— 406, 584
- Слепцов В. А.— 290, 319, 577
- Смирнова С. И.— 259, 575
- Соболевский В. М.— 368, 374, 380, 381, 387, 389, 390
- Соколов Г. Ф.— 354, 362
- Соколов Д. Г.— 581
- Сократ — 86—88
- Соллогуб В. А.— 435, 436, 437, 587, 588
- Соловьев В. С.— 154, 461, 466, 468, 568
- Соловьев Е.— 532, 595
- Спартак — 513
- Спасович В. Д.— 411, 456, 461—463, 466—468, 585
- Спенсер Г.— 50, 562, 576
- Сперанский М. М.— 410, 585
- Станкевич М. М.— 425
- Стахеев Д. И.— 571
- Столыпин А. А.— 410, 585
- Страхов Н. Н.— 36, 60, 66, 67, 85, 86, 87, 561, 563, 564, 574
- Суворов А. В.— 58
- Сю Эжен — 221, 222, 573
- Тард Г.— 509
- Тимошенко И.— 345, 580
- Ткачев П. Н.— 567
- Толстой А. К.— 577
- Толстой Л. Н.— 34—41, 43, 44, 48—63, 65—80, 82—84, 87—96, 98—103, 108—116, 123, 126, 129, 131—134, 136—140, 142, 144—152; 265, 292, 317, 347, 450, 451, 452, 453, 456, 468, 469, 483, 523, 565, 567, 577, 589, 559—563
- Тургенев И. С.— 84, 95, 98, 232, 233, 236, 237—241, 242—257, 259—261, 290, 302, 316, 317, 450, 451—453, 456, 458—460, 468, 469, 472, 473, 475, 476, 483, 490, 491, 573, 574, 575, 578, 589
- Тютчев Ф. И.— 590
- Тюрк Г.— 509
- Тяпков С. И.— 582
- Уваров С. С.— 563
- Угланов Я. И.— 399
- Унковский А. М.— 373
- Успенский Г. И.— 289—301, 303—307, 310—315, 317—321, 323, 325—331, 333—336, 339—342, 344—356, 358—374, 375—380, 382, 384, 385, 387—391, 393—395, 397, 399, 457, 469, 470, 474, 533, 576, 577, 583
- Успенский Н. В.— 290, 319, 354, 364, 365, 577
- Ушинский К. Д.— 111
- Фельдман О. И.— 376, 377, 582
- Фет А. А.— 460, 573, 576, 579
- Фидий — 86—88
- Филиппов А.— 568
- Философова А. П.— 575
- Фофанов К. М.— 461, 466, 468
- Франс А.— 453
- Франццль-Венециан — 148
- Фребель Ф.— 567
- Фрей А. Я.— 357, 371, 394
- Фридлендер Г. М.— 585, 592
- Фурье Ш.— 221, 222, 573
- Хвостова Е. А. (Сушкова) — 405, 430, 431, 436, 446, 584
- Хомяков А. С.— 65, 98
- Цветков А. А.— 71—78, 83, 101, 134, 565

- Чаев Н. А.— 59, 60, 563  
Чернышевский Н. Г.— 564  
Черняев М. Г.— 155, 569  
Чехов А. П.— 461, 462, 466, 468,  
516, 517, 519—521, 523—528,  
532—535, 537, 539, 540, 582,  
595  
Чешихин-Ветринский В. Е.— 578  
Чириков Г. С.— 588  
Чуйко В. В.— 235, 236, 574
- Шангирей А. П.— 403, 408, 433,  
434  
Шекспир В.— 102, 193, 197  
Шеллер А. К. (Михайлов) —  
474, 577  
Шенье А. М.— 465, 591  
Шенье М. Ж.— 465  
Шершевский М. М.— 366  
Шибанов В.— 377
- Шиллер — 562, 576  
Шопенгауэр А.— 181, 504  
Шпильгаген Ф.— 323, 549, 579
- Щапов А. П.— 578  
Щеглов В. Г.— 509  
Щедрин М. Е. (Салтыков-Щед-  
рин) — 102, 373, 451, 556,  
564, 566, 581, 589
- Эзоп — 590  
Эйхенбаум Б. М.— 560  
Энгельмейер П. К.— 345, 580
- Ядринцев Н. М.— 566  
Якушкин П. И.— 364, 581, 583  
Янкович де Мириево Ф. И.— 117,  
567  
Ярошенко М. П.— 387  
Ярошенко Н. А.— 365, 580  
Ясинский И. Н.— 467, 591

---

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Фронтиспис: Н. К. Михайловский. Фотография. 1902 г.
- Н. К. Михайловский. Фотография. Начало 1850-х гг.
- Н. К. Михайловский. Фотография. Начало 1860-х гг.
- Н. Д. Ножин. Фотография. Конец 1860-х гг.
- М. Е. Салтыков-Щедрин. Фотография. Середина 1860-х гг.
- Н. А. Некрасов. Фотография. 1865 г.
- Г. З. Елисеев. Фотография. Конец 1860-х гг.
- Л. Н. Михайловская (жена Н. К. Михайловского) с сыновьями Николаем и Марком. 1870-е гг.
- Н. К. Михайловский. Фотография. 1870-е гг.
- «Н. К. Михайловский, вышедший в запас барабанщик русской литературной армии». Карикатура М. М. Далькевича на обложке журнала «Осколки» (1891, 26 янв.).
- Карикатура на Г. И. Успенского в книге «Наши знакомые» (Фельетонный словарь современников. СПб., 1884). Упомянется Н. К. Михайловским в статье о Г. И. Успенском.
- Н. К. Михайловский. Фотография. 1880 г.
- Д. С. Мережковский. Фотография. Начало 1900-х гг.
- А. М. Горький. Фотография. 1901 г.
- Л. Н. Андреев. Фотография. Конец 1890-х гг.
- А. П. Чехов. Фотография. 1895 г.
- Н. К. Михайловский. Фотография. Конец 1890-х гг.
- Н. К. Михайловский в деревне Селище Костромской губернии. Конец 1890-х гг.
- Похороны Н. К. Михайловского в Петербурге в 1904 г. Фотография.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

*Б. Аверин. Социологическая критика Н. К. Михайловского . . .* 3

### СТАТЬИ 1875—1901

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО . . . . .	34
ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ . . . . .	153
О ТУРГЕНЕВЕ . . . . .	235
О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ . . . . .	259
ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ . . . . .	283
Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК . . . . .	289
ГЕРОЙ БЕЗВРЕМЕНЬЯ . . . . .	402
РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА . . . . .	449
ЕЩЕ О Г. МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ . . . . .	477
КОЕ-ЧТО О Г. ЧЕХОВЕ . . . . .	516
«РАССКАЗЫ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. СТРАХ ЖИЗНИ И СТРАХ СМЕРТИ . . . . .	541
Примечания . . . . .	559
Именной указатель . . . . .	599
Список иллюстраций . . . . .	605

**Михайловский Н. К.**

**М69** Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX — начала XX века/Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. Б. Аверина.— Л.: Худож. лит., 1989—608 с., 1 л. портр.; ил. (Русская литературная критика).

ISBN 5—280—00391—3

Секрет популярности и редкого «литературного долголетия» Н. К. Михайловского (1842—1904) объясняется глубиной и оригинальностью его мышления. Статьи о крупнейших русских писателях XIX в.: Л. Толстом, Ф. Достоевском, И. Тургеневе, М. Лермонтове — были частью темпераментных выступлений известного социолога и публициста в демократической журналистике. Многие из включенных в сборник статей публикуются в советское время впервые.

**М** 4603010101—056 223—88  
028(01)—89

**ББК 83.3 Р1**

**НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ**

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

*Статьи  
о русской литературе  
XIX — начала XX века*

Составитель  
**Борис Валентинович Аверин**

Редактор *А. Шелаева*  
Художественный редактор *В. Лужин*  
Технический редактор *Н. Литвина*  
Корректоры *М. Зимина, Г. Щеголева*

ИБ № 5144

Сдано в набор 02.06.88. Подписано в печать 23.12.88. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92 + 0,05 вкл. + 0,84 альбом = 32,81. Усл. кр.-отт 33,70. Уч.-изд. л. 34,41 + 1 вкл. + альбом = 35,13. Тираж 25 000 экз. Изд. № ЛІХ—171. Заказ № 1600. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



**В 1989 году**  
**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ**  
**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**ВЫИДЕТ КНИГА:**

**А. С. Долинин. Достоевский и другие:**

*Статьи о русской классической  
литературе*

В сборник статей известного историка русской литературы А. С. Долинина (1883—1968) вошли его статьи разных лет, посвященные творчеству крупнейших писателей: Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, А. П. Чехова, а также эссе и рецензии, связанные с литературным процессом начала XX века. Последний раздел представит современному читателю, по-новому в настоящее время осмысляющему литературные явления этого периода, имена В. В. Розанова, Ф. К. Сологуба и др.